

Фёдор Сологуб

Собрание сочинений

Том 2

Рассказы (1909-1921)

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner:

<http://verlag.kubon-sagner.de>

© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig.

«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH

SLAVISTISCHE BEITRÄGE

Begründet von
Alois Schmaus

Herausgegeben von
Peter Rehder

Beirat:

Tilman Berger · Walter Breu · Johanna Renate Döring-Smirnov
Wilfried Fiedler · Walter Koschmal · Ulrich Schweier · Miloš Sedmidubský · Klaus Steinke

BAND 343

VERLAG OTTO SAGNER
MÜNCHEN 1997

00051952

ФЕДОР СОЛОГУБ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Составители
Бернхард Лауэр – Ульрих Штельтнер

Том второй
РАССКАЗЫ (1909–1921)
Составитель: Ульрих Штельтнер



VERLAG OTTO SAGNER
MÜNCHEN 1997

92. 37544-2

**Bayerische
Staatsbibliothek
München**

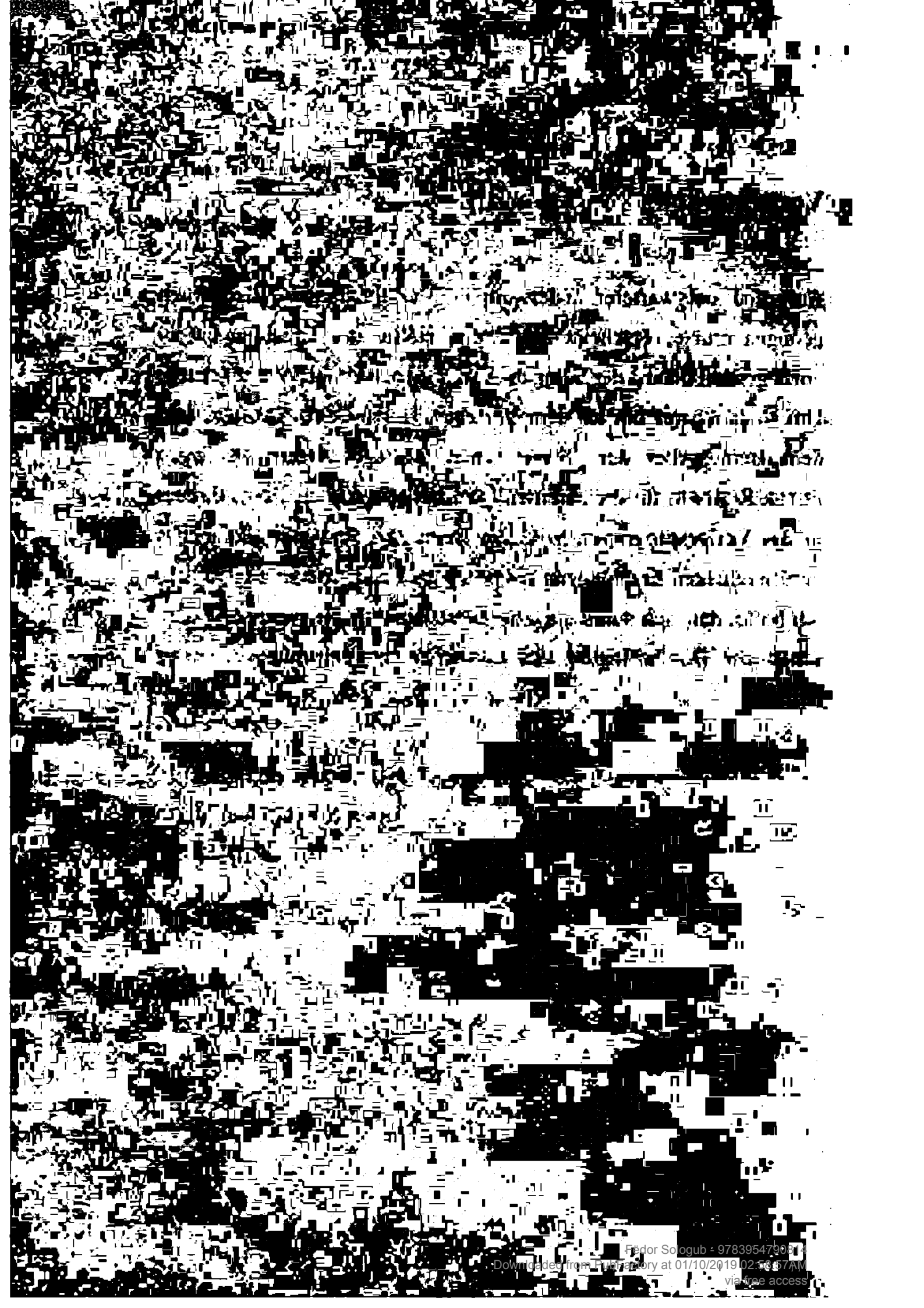
ISBN 3-87690-663-6
© Verlag Otto Sagner, München 1997
Abteilung der Firma Kubon & Sagner
D-80328 München

97 P 87690

Vorbemerkung

Aufgrund unerwarteter anderweitiger Verpflichtungen, denen ich genügen mußte, erscheint die zweite Hälfte der Erzählungen im vorliegenden Band 2 der Sologub-Ausgabe nach einiger Verzögerung. Um so dankbarer bin ich dem Verleger, Herrn OTTO SAGNER, und dem Herausgeber der "Slavistischen Beiträge", Herrn Kollegen PETER REHDER, für die bereitwillige Übernahme auch dieses Bandes in das Verlagsprogramm bzw. die Reihe. So sind nun alle jemals veröffentlichten Erzählungen aus Sologubs Feder wieder zugänglich. Ich hoffe, daß sich damit auch die Grundlage für die weitere wissenschaftliche Durchdringung des russischen Symbolismus verbreitert hat.

ULRICH STELTNER, JENA



СОДЕРЖАНИЕ

Белая березка	1
Сон утешающий	4
Иван Иванович воскрес	8
Путь в Эммаус	12
Старый дом	14
Золотая лестница	50
Красногубая гостья	58
Наивные встречи	65
Благополучный Иуда	69
Одно слово	76
Путь в Дамаск	82
Земной рай	90
Помнишь и не забудешь	93
Лознгрин	102
Поцелуй нерожденного	113
Турандина	119
Звериный быт	127
Алая лента	164
Мечта на камнях	172
Смутный день	178
Сергей Тургенев и Шарик	186
Дама в узах	199
Сдавшиеся	201
Венчанная	203
Жена умного человека	206
Барышня Лиза	215
Правда сердца	252
Обручальное	261
Танин Ричард	263
Три лампы	266
Сердце сердцу	269
Сними траур	274
Визит	279
Незамерзающий мальчик	282

Дед и внук	289
Тихий зной	293
Свет вечерний	299
Красавица и оспа	303
Возвращение	307
Надежда воскресения	309
Неутомимость	311
День встреч	316
Ошибка Гофлиферанта	325
Отрава	333
Самый сильный	350
Крутильда и семь других	356
Мышеловка	361
Сказка гробовщицовой дочери	365
Голос крови	370
Прачка с длинною косою	377
Солнышко	381
Самый темный день	384
Сочтенные дни	390
Колебание стен	407
Самосожжение зла	414
Комментарии	423
Ульрих Штельтнер: Рассказы Сологуба	427
Алфавитный указатель рассказов Сологуба	432

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА

– Миленькая моя! Беленькая моя!

На березку залюбовался, сидит на скамеечке в своем саду, шепчет, – сам маленький, тоненький, бледный мальчик–подросток. В светлой коломянковой блузе. Слегка согнулся. Руки, чуть–чуть загорелые, на колени положил, – и лежат они, дремлют.

Подошла сзади тихохонько и вдруг засмеялась, звонко так, – на румянном лице смех разливается, и в карих глазах ничего иного, кроме того, что на лице. Присела на скамейку рядом с братом.

– На березку смотрит, сам о Любочке сладко мечтает. Дурак ты, Сережка. У нее – жених.

Сережа смотрел на сестру с выражением неопределенным и смутным, словно прислушивался к тому, что она говорит, и не совсем понимал ее слова. Вздохнул. Протянул тихохонько:

– Придумала тоже! Что мне Любка твоя! Очень мне интересно. Приблизительно в три раза красивее самой грациозной из болотных жаб.

– Фу, дурак, – с громким смехом отвечала девочка. – Разве о девицах так можно?

Сережа спокойно посмотрел на нее и сказал:

– Ты, Зинка, ничего не понимаешь, а ругаться научилась. Если ты меня еще раз дураком назовешь, я тебя опять в воду окуну.

– Кто кого еще окунет, – хмурясь полусердито, полупритворно, возразила Зина.

Встала, тряхнула черными косичками и отошла. Небрежно бросила брату:

– И разговаривать с тобой не желаю.

Когда она совсем ушла, и уже не стало слышно по дорожкам жалобного скрипа песчинок под каблучками, Сережа подошел к березке, прижался к ней ласково и поцеловал ее тонкую, розовато–белую кору. Легкое трепетание пробежало по тонкому телу березы, зашелестели веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманящий голову запах, сладкий запах северной белой березы нежно обвеял мальчика. И он тихо обнял ствол березы, и прижался щекой к легко щекощущим кожу лица, гладким пластинкам ее коры.

Была ночь, северная, легкая, прозрачная, призрачная ночь. Барышни сидели в саду. Никуда не пошли, – устали за день. И смеялись. И шум их голосов неприятен был Сереже. Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна и глядел на розоватое, странное и милое небо, такое пустое и такое значительное, и ждал. Когда уйдут.

Дождь. Все затихло. Мальчик спустился в сад и пошел к своей березе.

Дача стояла на высоком берегу. Внизу шумела река, переливаясь по камням. Все шумела, тихо, упрямо, однозвучно. Шумела, плескалась. Туманом прикрывалась, и журчала, шурша о камни, о берег.

И тоненькая, тоненькая, как хворостинка, с зеленоватым телом и зелеными глазами, поднялась из воды русалка. Сквозь тонкое ее тело предметы слабо просвечивали, и глаза ее смотрели любопытно и странно, – неживые, не наши очи нежити, зачем-то таящейся около.

И тонкая, с зеленовато-белым телом, березка тихонько вздрагивала и лепетала что-то своими клейкими, сладко душистыми листочками. Лепетала, шептала. Вздрагивала.

Из-за кустов пробиравлась нездешняя, звала:

– Ко мне иди лучше. Со мной веселее. Она молчит. Я тебе сказок наскажу.

– Пошла, – сердито сказал Сережа, – нужны мне твои сказки! Сказки Гауфа читала? Нет? И Афанасьева не знаешь? То-то! Уходи.

Стеклянным, тонким, звонким засмеялась смехом. Засмеялась, ушла, легкая, прозрачная, призрачная. Где-то в камышах долго лепетала что-то быстрое и неразборчивое. Не то смеялась, не то плакала, – и жаловалась, и смеялась. Русалочий смех – тонкие слезы. Русалочий смех. Лепет воды по камням.

И о чем лепечет? И о чем смеется? И на что жалуется?

Жарко было каждый день. Еще начало лета, и еще зеленая трава, и свеженькая листва у березки, а уже торопит, торопит знойное лето.

Надо что-то сделать, поскорее, пока не пожелтели клейкие листочки на белой березышке. Белая, кудрявая, милая березка!

Стоит над Сережей, – а он на скамеечку под березкой лег, – стоит, качается по ветру, тихохонько листочками шелестит. Так весело и так томно!

А вот подошла кухня Лиза, веселая, румянощекая, черноглазая, черноволосяя красавица, недавно овдовевшая, но уже опять веселая и обворожительная по-прежнему. Подошла, стала над Сережей, запахла противными, сильными, нескладными духами, так не идущими к зеленому саду и нежно-пахучим, клейким листочкам на веточках у белой березки, – и принялась дразнить Сережу. Такая уж у нее привычка.

– Сереженька! – позвала она тихонько и даже ласково, как будто с умильными пришла к нему словами.

А сама таит, хитрая, злые усмешечки, лукавые насмешечки.

– Ну, чего тебе? – сердито отвечает Сережа.

Уже он предчувствует, что не с добром пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и дебелая?

«Бабица!» – сердито бранится про себя Сережа.

Нахмурился сердито, лег на живот, и ногами болгает преувеличенно развязно.

Ласково спрашивает Лиза:

– Милый! лежишь, встать не можешь?

– Что такое? – не понимая, но уже досадуя, спрашивает Сережа.

– Лежишь под березкой, о Любочке мечтаешь, что же ты к ней не пойдешь? – спрашивает Лиза.

– Глупости! – ворчит Сережа.

– Может быть, у тебя животик разболелся? – опять спрашивает Лиза и тихонько смеется.

– Глупые глупости, – сердито отвечает Сережа.

– Ты Любочкиной помадой объелся? – очень ласково спрашивает Лиза, и гладит его по голове рукой мягкой и нежной, но несколько слишком сильной.

– Какие глупые глупости! – сердито кричит Сережа. – У Любочки и помады нет, она не помадится.

– А ты откуда знаешь? – спрашивает Лиза, и смеется. – Ты у нее шарил? Но это нехорошо! И стянул ленточку на память. Где она?

Полезла в Сережин карман.

– Не в кармане ли носишь?

Сережа вскакивает и проворно убегает. Отбежав на приличное расстояние, останавливается и кричит:

– Вдова очень нахальная!

Лиза смеется очень весело и уходит к большим, таким же грубым и злым, как и она. Для нее было только маленькое развлечение, и о нем она сейчас же успела забыть, а Сереже она испортила весь день.

Весь день настойчиво вспоминалась противная Любочкина помада, которой и не было никогда у Любочки, но от которой все-таки у Сережи весь день был скверный вкус на языке, точно он и в самом деле объелся этой небылой помадой.

Все очарования, и высокие, и низкие из одной и той же темной восходят области, из зыбкой мглы небытия.

Опять ночь. Влажная, тихая, говорящая миллионами молчаний, роями неисчислимых тишин. Ночь.

Стали так спокойно все деревья в саду, и заслушались. Заслушались. Замечтались.

И она одна шептала им. Прошептала тихонько, и тоже замолчала...

Слушали что тихо говорит им задумчивый, бледный мальчик.

Тихий, теплый туман надвигался с полей, – постоять, помолчать, послушать, помечтать. В белом и тихом забыться молчании.

Тихим шепотом говорил Сережа:

– Люблю тебя, милая, белая березка. Только тебя люблю.

– За что? – спросил кто-то тихий и печальный, как легкий вздох, как сладкий звон свирели.

И, отвечая, говорил Сережа:

– Люблю тебя за то, что ты – весенняя, что ты молчишь, не смеешься, не дразнишь. За то, что ты выросла мне на радость. На сладкую внешнюю радость.

– Только на радость? – печальным шепотом спросила тихая, гаящаяся.

– Не знаю, – говорил Сережа. – Ты выросла, стоишь и молчишь. И ничего не хочешь, и никого не ждешь, никого не зовешь. Не хочешь, – и хочешь. И хочешь так сладко, и так верно. И что ты хочешь, то и сбудется. Веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись. Вся белая, вся тихая, березынька

моя милая. Ты меня приласкаешь, ты меня поцелуешь, ты мне на радость.

– На радость, а не на муку? – печально спросила опять близкая, таящаяся.

– И если на муку, – тихо говорил Сережа, – пусть и так. Вот прикинну к тебе, вот будет мне и тебе сладко и нежно.

– Сладко и нежно, – шепнула березка так тихо, так ласково. – Ты хочешь? ты можешь? – тихо шептала она.

Прильнул к ней Сережа. Обнял руками ее тонкий ствол, прижался головой к ее нежной коре, замер в сладком восторге.

Желания томили, и была тоска и печаль. Кто-то плакал так близко и так грустно, – прозрачный и хрупкий звенел плач ревнивой русалки с зеленой пеной кос, и из-за зеленых зарниц, затаившихся в ее очах, падали холодные слезы.

Сад был полон туманной печалью. Бессильны были белые припелыцы из влажных долин, потерявшие свои древние личины и новых ликов еще не нашедшие. В бесформенный туман сливаясь, стояли они, и томились, и вздыхали холодными вздохами ночной бессильной тоски.

Неживой и печальный лик поднялся высоко, – но бессильно было его очарование.

Безнадежность и любовь...

Колыхался холодный туман, и неживой тоской томились деревья в саду над рекой, в тумане, под луной холодной, ворожащей, но бессильной.

Две жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, – и вкушали горькую безнадежность ласк.

Такие же две безнадежно далекие одна от другой, как и всякие две души в их жизненном союзе, – вот соединили они свои трепеты и свои устремления, отдали друг другу все, что было у той и другой, – и изнемогали обе в бессильном дрожании двух тонких, трепетных, холодеющих тел.

Таящаяся, непоказывающая никогда своего земного лица людям подошла близко, и ждала, – и веяло от нее на них очарованием, сильнейшим всех очарований и восторгов жизни.

И спросила она:

– Дитя неразумное, чего же ты хочешь?

Истекая сладким соком, шептала белая березка:

– Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, – о, дай мне только одно пламенное мгновение!

Мгновенной молнией восторга вспыхнуло все тонкое тело белой березки. И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два тонкие, два трепетно-холодеющие тела.

СОН УТЕШАЮЩИЙ

Сережа умирал.

Была страстная неделя. В доме, как всегда, готовились к празднику, радостному для детей и приятному для взрослых, – красили яйца кошенилью, распускали в кипятке шафран для кулича, месили творог и сметану для пасхи. Пахло ванилью и кардамоном. Паркет был натерт с мастикой, пыль и грязь отовсюду были заботливо убраны,

окна вымыты. Прислуга сбилась с ног. Барышни, Сережины сестры, мечтали о приятных поцелуях, и морщились при мысли о том, что придется целоваться и с противными.

А Сережа лежал в своей комнате, просторной, нарочно пустынной, чтобы мебель не отнимала воздуха, в комнате, где слащаво пахло салолом, и умирал.

Ему было только пятнадцать лет. Он был умный и веселый. В семье его любили. Начиналась весна. Близок был праздник Светлого Воскресенья. Сережины сестры хотели радости, и боялись думать о смерти.

И то, что Сережа умирал, так не вязалось с предпраздничной суетой, что хотелось всем обмануть себя, и думать, что он вдруг для такого праздника почувствует себя лучше.

Давно прихварывал. Решили увезти куда-нибудь. Но как-то промедлили, не сумели выбрать быстро, куда именно везти. И вдруг, неизвестно почему, процесс в легких пошел так быстро, и Сережа так ослабел, что везти его стало невозможно: дорога будет утомительна, и теплый климат, все равно, уже не спасет.

– Не более месяца, – говорил молодой доктор растерявшемуся Сережину отцу.

– Да, или недель шесть, – сказал старый доктор, равнодушно и устало.

Отец суетливо провожал их. Лицо у него было красное и сконфуженное, и движения неловкие. То, что Сережа должен умереть, как-то не вмещалось в его сознание. И мысли его были медленны и тупы.

Перед зеркалом над камином в столовой он остановился, и зачем-то смотрел долго на свое лицо, поправлял сползающий на бок галстук, черный на белой манишке, и приглаживал дрожащими пальцами начинающие сесть усы.

Как-то неловко, точно виноватый, подошел он к столу, где его жена вынимала из теплой воды миндалины, с которых разбухшая сваливалась кожура. Засунув руки в карман коротенького домашнего пиджака, он постоял за ее спиной, и вдруг, по каким-то едва уловимым признакам, – по ее непривычной суетливости, по легкому вздрагиванию, как от заглушаемого усилием воли телесного тайного страдания, ее покрасневшей щеки, по неловкости ее всегда проворных прежде пальцев, – он понял, что она все знает. Его поразило больно, что она не плачет, не бьется головой в мягких подушках постели, а сидит здесь с младшими мальчиками, по-видимому, спокойная, но так жестоко страдающая.

И мальчики, помогая матери, болтают и смеются беспечно.

Острое ощущение ее одинокого страдания пронизало его вдруг неожиданно яркой болью. Как-то странно и нелепо сопя, он пошел быстрыми и мягкими шагами прочь от жены, рассыпая на скользкий паркет дробный, сухой стук своих башмаков с невысокими каблуками. Серенький и маленький, бежал он по гулкому коридору в свой кабинет, – броситься на диван, лицом к его высокой спинке, метаться по его темно-зеленой коже, томиться и вздыхать.

Услышав за спиной дробный стук его шагов, жена его покраснела еще сильнее, и что-то билось и дрожало в ее лице. Но она сидела прямая и спокойная. Кончила с миндалем. Вытерла полотенцем мягкие, белые руки. Неторопливо пошла в его кабинет.

И там они сидели рядом, и плакали оба, и не знали никакого себе утешения, и тосковали...

Была Великая Суббота. Сережа заснул. И увидел сон, страшный,

но утешительный.

Был знойный день. Перед Серезиными глазами простерлась долина, выжженная ярким блистанием солнца. Сережа сидел на пороге бедной хаты. Широкие листья двух пальм бросали сквозную тень на его загорелые ноги и на белую ткань грубой его одежды.

Сереза чувствовал себя маленьким, как лет десять тому назад, и очень радостным. Маленькое тело, едва прикрытое бедной тканью, было легким, как тело ангела, рожденного на земле. Все веселило, — земля, такая плотная и горячая под голыми ногами, — воздух, такой знойный, но легкий, — небо такое синее, высокое, но и такое близкое, словно оно начиналось здесь, на земле, — быстрые полеты птиц, — визги ребятишек около соседних хат, — гортанный, совсем неожиданно-новый голос матери у колодца, где и другие стояли женщины, в белых одеждах, смуглые, босые и весело-разговорчивые, как и его мать.

Вот она возвращается домой. На ее плечах длинный, узкогорлый кувшин. Высоко поднялась, придерживая его, смуглая, обнаженная до плеча рука. Яркими зорями пылают ее щеки, ярким пурпуром приоткрытые улыбаются уста, на смуглом лице ее черные под широкой тенью длинных ресниц сияют и радуются на ребенка глаза. Гордая ликует мать о своем сыне, — и он тянется к ней радостно, и смеется.

В его руке игрушка, сделанная им самим из красной, липкой глины под его ногами, — птица, глиняная, но совсем, как живая.

Дивный маленький ваятель лепил ее из косной глины, — и пальцы его были живы и быстры, и глина хотела ожить, и дивно изваянное из глины птичье тело трепетало в жарких детских пальчиках напряжением воли, творящей жизнь.

Мать проходила мимо, торопясь освободиться от своей ноши. Улыбаясь, не сгибая стройной шеи, не склоняя головы, она косила на сына смеющийся радостно взор знойно-черных глаз.

Мальчик протянул левую руку к матери, схватил кончики ее загорелой стопы, и закричал:

— Смотри, мама!

Слабо удивился было чуждому звуку своих слов на ином наречии, но сейчас же забыл, что говорит на чужом языке, и перестал дивиться тому, что понимает эти гортанные слова.

Мать засмеялась и остановилась. Спросила:

— Ну что, сынок?

Мальчик поднял руку с глиняной птицей, и весело говорил:

— Вот, мама, птица, — я сам ее сделал, и она поет, как живая.

Он приложил к губам хвост глиняной птицы, где было отверстие для свистульки, дунул в него, — и из глиняного клюва птички вырвался легкий свист. Ослабляя и усиливая дыхание, мальчик дул в свою глиняную свистульку, рождая в ней переливные, звонкие звуки.

Мать смеялась и говорила:

— Сынок-то у меня какой искусный! Какую птичку сделал! Смотри за ней, держи ее крепче, как бы она у тебя не улетела.

И ушла себе в хату, занялась своим делом. А мальчик на пороге задумчиво смотрел на свою птичку, тонкими пальчиками глядя ее перья. Спросил ее тихо:

— Хочешь лететь?

И всколыхнулись крылышки у птички.

— Хочешь лететь? — опять спросил птичку мальчик.

И забилося сердце у птички.

– Хочешь лететь? – в третий раз спросил мальчик.

И затрепетало все птичье легкое тельце, поднялись перья и забились крылышки, – защебетала птичка, поворачивая головку вправо и влево.

Мальчик раскрыл руку. Полетела птичка. И слышен был в яркой синеве воздушной ее радостный щебет. Все дальше. Все тише.

Все выше знойное солнце. Все душней неподвижный воздух.

Сереза проснулся, весь облитый липким потом.

Мучительная боль в груди, и дышать тяжело, – но где же ты, милая птичка? Та, которую я создал?

Вот, она за окном щебечет, трепещет крылышками, и улетает.

Моя птичка!

Приподнялся Сереза, и опять упал на подушку. Бредит, шепчет:

– А кто же я?

Мать наклонилась над ним, – не видит ее Сереза. Не видит стен своей комнаты, – опять отошло обставшее его сегодня.

Он на горе один. Широкие простерлись перед ним просторы, осиянные знойным полднем. Изношенная бедная его одежда, усталые ноги его покрыты дорожной пылью, и серая в короткой, золотистой бороде его пыль. Спутники его остались далеко внизу, в тени олив, и спят, усталые.

А вокруг него все ярче свет, и все торжественнее сияние широких небес. Прозрачно рея в воздухе и небесную прохладу неся в широко взвешиваемых складках своих одежд, два светозарные мужа предстали и беседуют с ним. И спрашивает он:

– А кто же я?

– Не бойся, – говорят ему светозарные мужи, – ты в третий день воскреснешь.

И уже пламенно белы его одежды, и уже огненный нимб над его головой, и огнем вся в теле пламенеет его кровь, и несказанный восторг исторгает из его груди громкий вопль.

Очнулся. Сбежались на его крик, испуганные стоят у его постели. Тонкая струйка крови течет из его рта, выливаясь из левого края побледневших губ. Лицо его мертвенно-бело, глаза испуганно смотрят вверх своих, собравшихся у его смертного ложа, – широкие глаза, неподвижный ужас.

Черная, безглазая, только страшными белыми сверкая зубами, подходит к нему неумолимая, вея вечным холодом и вечной тьмой. Она громадная, она весь выпила Серезин воздух, и как черная туча, колыша тяжелые складки своих одежд, стремится она прямо на Серезу.

Но слышен голос светозарного мужа, подобный грому:

– И в третий день воскреснешь.

И за черной мантией мертвой гостью загораются золотые молнии воскресшего дня, радуя Серезины очи. Серезино бледное лицо озаряется радостью золотых молний, и в глазах его тихий восторг. Он шепчет задыхаясь:

– В третий день воскресну.

И умирает...

И в третий день его хоронили.

ИВАН ИВАНОВИЧ БОСКРЭС

I

Иван Иванович Завидонский, чиновник очень усердный, служил постоянно в столице, где родился и вырос.

Родители его давно умерли. Близких родственников у него не было. С дальними виделся он редко и неохотно. Друзей и приятелей постоянных он себе не завел. Переваляло уже ему за тридцать пять лет, а он все еще жил холостяком. Снимал комнату у хозяйки, – нынче здесь, а на следующий год в другом месте.

Жизнь Ивана Ивановича проходила скучно и однообразно. Видя это, его случайные приятели порой говорили ему за откровенной бутылкой вина или за бесцеремонной парой пива где-нибудь в шумном, тесном ресторанчике, облюбованном служащими в разных казенных и частных учреждениях, – чиновниками, бухгалтерами, приказчиками:

– Хороший ты человек, Иван Иванович, а живешь ты не по-людски. Не живешь, а киснешь, точно мертвый.

Иван Иванович в недоумении спрашивал:

– Почему?

Бледное лицо его наклонялось над не слишком чистой скатертью, и мутные от водки глаза вопросительно обводили собеседников.

Те смеялись, и один из них говорил:

– А потому, Иван Иванович, что ты не женишься.

Иван Иванович спорил:

– А что хорошего жениться? То ли дело холостая жизнь. Что хочу, то и делаю: куда хочу, туда и пойду.

Приятели говорили:

– Зато у тебя неуютно, неряшливо.

Иван Иванович возражал:

– А мне и так хорошо. Главное – свобода.

Но, говоря так, Иван Иванович все-таки чувствовал, что в жизни его чего-то не хватает. Как-то сухо, неприветливо протекала она, и порой сам себе казался он мертвым.

Хотелось бы воскреснуть. Да как воскреснешь?

II

Затягивает Ивана Ивановича однообразным своим ходом скучная машина жизни. Встанет он не рано. Голова тяжелая. Мысли неприятные. Надо идти на службу.

Встает, собирается. Платье чищено кое-как. На белье не хватает пуговок. То там, то сям прорехи.

Самовара пока дозвонишься. Посуда сборная. Скатерть в пятнах. Пьет Иван Иванович, а в комнате еще ночной беспорядок.

На службе работа спустя рукава, скучная, неинтересная, медленная. Больше на показ. А нет вблизи начальника, – говорят, курят. Рассказывают анекдоты, конечно, неприличные, но зато веселые. Кое-как досаживают, – и разбегаются.

Обед в ресторане. Водка. Разговоры со случайными соседями о случайных предметах. Чаще всего о внешней политике. Если обедает с сослуживцами, то говорят о своих департаментских интересах, о

строгостях нового министра, о наградах, о перемещениях и повышениях ожидаемых и чаемых.

Потом – пустыня вечера, которую надо чем-нибудь наполнить.

В гости, – карты, флирт, вино, болтовня.

В театр, – фарс, оперетка.

Потом опять ресторан. Попойка.

Случайные женщины, крикливые и жадные. С ними поездки в какие-то пригоны, то шикарные и дорогие, то попроще и подешевле. Но всегда одинаково-противные и насквозь гнусные.

Напряженная, шумная веселость, а на дне души – липкая, тусклая, вечная скука. И никуда от нее не уйти.

Зато Иван Иванович везде бывает на премьерах, открытиях, чтениях, слушает и смотрит всех приезжих знаменитостей, интересуется борьбой, слегка играет на тотализаторе, записан членом двух клубов. В игре довольно счастлив.

Только дома у него грязно. Ни принять кого, ни угостить.

III

Наконец, когда жалованье Ивану Ивановичу прибавили, нанял он свою квартиру в четыре комнаты, и завел обстановку. Квартира на Петербургской стороне, но близ линии трамвая. Комнаты маленькие, обстановка не Бог весть какая, но для холостяка чего же больше? Живет!

На полу в кабинете Иван Иванович ковер разостлал. На стену в гостиной повесить купил гравюр и фотографий, и заказал к ним красивые рамочки, – все вроде тех гравюр, фотографий и рамок, которые видел он у своих семейных знакомых. Провел электрическое освещение.

В кабинете на столе Иван Иванович телефон поставил. Как же, нельзя без телефона! У всех есть. Чуть что, сейчас позвонишь, соединят, спросишь:

– Это дирекция итальянской оперы?

– Да.

– Билеты на Таису есть?

– Сколько угодно.

Или к знакомым:

– Петр Петрович дома?

– Его нет. А кто говорит?

– Это я говорю, Завидонский.

– А, Иван Иванович, здравствуйте. Узнаете по голосу?

– Как же! Здравствуйте, Анна Алексеевна. Вечером собираетесь в оперу?

– Нет, сегодня мы дома. Приходите. Свободны?

– О, да, благодарю очень. С большим удовольствием.

– Кстати, я еще кое к кому и позвоню.

Вот и позвали. Вот вечер и наполнен.

IV

А все-таки скука! В квартире пусто и холодно. Скучно, что о всех мелочах надо самому распорядиться.

Кухарка, правда, попалась хорошая, и готовит отлично, так что и пригласить порой кое-кого можно. Но когда его спрашивают:

– А сколько у вас выходит на хозяйство?

И он говорит цифру, то дамы смеются. Спрашивают насмешливо:

– Это на одного?

Барышни смотрят с сожалением на Ивана Ивановича, но ничего не говорят. Или заводят нарочно разговор о другом, чтобы вывести Ивана Ивановича из неловкого положения.

И догадывается Иван Иванович, что кухарка обкрадывает его беззастенчиво. Но как же быть? Не ходить же ему самому за мясом, за рыбой, за дичью?

Горничная тоже попалась ему очень приличная, красивая, видная, знающая свое дело. Но она, очевидно, рассчитывает на что-то. Она иногда подходит к Ивану Ивановичу ближе, чем надо, а то вдруг вспыхивает и убегает слишком быстро. Порой у нее расстегнется невзначай кофточка, обнажая кусочек белой, высокой груди. Порой, перемывая чайную посуду, руки откроет слишком высоко, и так зайдет за чем-нибудь в кабинет к Ивану Ивановичу.

Порой ночью встанет и бродит по комнатам босая. Иван Иванович выглянет из двери, досадливо спросит:

– Что вы, Наташа?

Она улыбается, смотрит на Ивана Ивановича долго, и не спеша говорит:

– Простите, барин. Кошка мяучит где-то. Хочу ее на кухню выгнать, чтобы вам спать не мешала.

Постоит еще немного, играя глазами, потом вздохнет, и уходит, белея в темном коридоре из-под серого платка низом рубашки и мягко ступающими ногами.

Все это возбуждает Ивана Ивановича. Но он не хочет заводить связи с горничной. Чувствует, что это опасно, липко, и потому ведет себя очень осторожно, – как бы не въехать!

V

Все чаще и чаще повторяют Ивану Ивановичу знакомые и случайные, сегодняшние приятели:

– Женитесь, Иван Иванович, воскреснете.

Все чаще и чаще повторяет себе Иван Иванович:

– Женюсь, – воскресну.

Не легко было Ивану Ивановичу решиться на это. Привычки холостой жизни были сладки, и страшила неизвестность.

Но счастье подстерегает человека на всех путях его. Как ни бежит от него человек, оно-таки раскидывает над ним, как мальчик над бабочкой, свою радужную сетку, и ловит упрямого, и сажает его в коллекцию счастливых.

И особенно, если это человек зрелого возраста, но еще без единого седого волоска, на хорошем счету у своего начальства, первый кандидат на должность начальника отделения, да и сам кое с какими средствами.

VI

И вот, наплась барышня, Марья Ивановна Краснолеская, генеральская дочка, – и она очаровала Ивана Ивановича. И сама очарована была его прекрасными достоинствами и восхитительной

внешностью.

Нет никакой надобности рассказывать подробно о том, как Иван Иванович и Марья Ивановна познакомились на танцевальном вечере у одного директора департамента, какое они произвели впечатление друг на друга, как родители Марьи Ивановны покровительствовали их зарождающейся любви, как они хлопотали о быстрейшей карьере Ивана Ивановича, как некто влюбленный и коварный строил козни, и был посрамлен, и о многом еще интересном. Все это давно уж рассказано в старых романах. Значительны только последние страницы романа: в них говорится о том, чем дело кончится, и на чем сердце успокоится.

Когда Марья Ивановна услышала трепетное признание и роковой вопрос, она, краснея очень и улыбаясь смущенно, но не колеблясь ничуть и не раздумывая ни минуты, сказала:

– Да. Поговорите с мамашей.

Иван Иванович за мгновение до этого еще томившийся неизвестностью и страхом отказа, вдруг просиял. Целуя руки своей невесты, он воскликнул:

– Марья Ивановна, теперь я воскрес!

Но он ошибался. Какое же это воскресение, когда человек еще холост. По-настоящему воскрес Иван Иванович только тогда, когда обвенчался с Марьей Ивановной.

VII

И точно, – теперь жизнь Ивана Ивановича ровна и спокойна. В квартире его уютно и светло. Слышны милые голоса Марусиных подруг.

Женины родственники любят Ивана Ивановича, и стараются делать ему маленькие и большие приятности.

Кухарка, обсчитывавшая Ивана Ивановича, уличена и уволена. На ее место взята другая. Она готовит не хуже, а красть не может, потому что Марья Ивановна строго и внимательно контролирует ее счета.

Горничная осталась та же. Но уже она знает свое место и не имеет никаких претензий на благосклонность Ивана Ивановича.

Хорошо теперь живется Ивану Ивановичу! Уже он не засиживается по кабачкам и по ресторанам. Когда сослуживцы соблазняют его закатиться куда-нибудь, он говорит:

– Извините, сегодня я не могу. Сегодня мы с Марусей едем к ее бабушке.

– Ну, завтра.

– Простите, и завтра не могу. У нас ужинают завтра Марусины папа и мама.

– Ну, послезавтра.

– Послезавтра, пожалуй. Только знаете ли, иногда хочется и дома посидеть, отдохнуть.

Лицо у Ивана Ивановича румяное и веселое. Глаза его поблескивают. Брюшко приятно округляется. Жизнь его наполнена и успокоена. Уж он не кажется сам себе мертвым, как некогда прежде.

Иван Иванович счастлив, Иван Иванович воскрес.

ПУТЬ В ЭММАУС

На Страстной неделе в семье Синегоровых, как в прошлый год, как и всегда, было предпраздничное оживление. Особенно веселы были младшие члены семьи, гимназист Володя, двенадцатилетний мальчик, и десятилетняя Леночка. Интересно было очень участвовать в раскрашивании лиц разноцветными шелковыми тряпочками, обрывочками лент и переводными картинками; да и традиционная в их семье кошениль распускала в горячей воде свою красную кровь так забавно. Так же очень приятно было попробовать пасху, – она сладкая и вкусная, и хотя еще сырая, еще не была под прессом, а прямо из горшка, зачерпнутая деревянной большой ложкой, но тем, конечно, гораздо интереснее.

Мама озабочена была подарками для родных и для прислуги, – чтобы все остались довольны, и чтобы не потратиться слишком. Отец шелестел кредитными бумажками, и досадливо морщился. Ворчал:

– Ох, уж мне эти праздники! Вот где они у меня сидят, – говорит он, потирая свой красный под седыми волосами, затылок. – Я очень рад, что заговорили о сокращении праздников. Что там Никон вологодский ни пиши, а сократить положительно необходимо.

Гимназист Володя деловито возражал:

– Ну, уж Пасху–то нам не сократят. Уж этот праздник во всяком случае останется.

Александр Галактионович Синегоров сердито говорил, с невольной завистью глядя на беззаботно–румяное лицо и мальчишески–лукавую улыбку своего сынишки:

– Нет, я вот именно этот–то праздник бы первым делом сократил. Ни в какой другой день так много денег не выходит.

Его жена, Екатерина Константиновна, останавливает его:

– Саша, побойся Бога! При детях, что ты говоришь! И совсем на тебя не похоже, – вовсе ты не такой скупой. И ты сам прежде всегда так любил этот праздник.

В это время вошла в комнату Нина Александровна, старшая дочь Синегоровых, бледная, высокая, черноглазая девушка. Вслушавшись в разговор, она усмехнулась невесело, и сказала тихо:

– Да, я в этом совершенно согласна с папой. Какой же нам праздник! Какая же у нас Пасха! Кому же мы скажем «Христос воскрес»? Кого же мы с любовью обнимем!

– Ниночка, Ниночка, что ты говоришь! – опять с ужасом восклицает мама. – Как же это спрашивать, кому! Ну, конечно, своим, родным, друзьям, знакомым.

– Ах, мама милая! – тихо и печально говорит Нина, – что ж родным, знакомым! Ведь это всемирный праздник, для всех. В церкви были, причащались, при этом всем врагам своим должны были простить, всем, всем, кто причинил нам зло. А я как же? Вот, жениха моего казнили, и теперь уже в сердце моем нет злобы, и я простила. И судья, и палач, – Бог с ними! Но как открою мои объятия, как поцелую?

Мама сказала строго:

– Нина, Христос все–таки воскрес, и если бы ты веровала, то нашла бы утешение.

Нина улыбнулась. Она знала, что ни мать ни никто другой не могут сказать ей утешающих слов, которых бы и она сама не знала. И она молча ушла к себе.

«Древняя, мудрая вера, не оправданная разумом, но торжествующая над ним, что же ты меня не утешаешь? Вот, друга моего умертвили, и он шел на смерть, на позорную казнь, полный гордыми надеждами, как и до него многие в веках шли умирать в надежде воскресения. Но в сердце моем темное уныние и тоска, и одна ли я тоскую бессильно!»

Старые, детские воспоминания пробуждались в бездейственно-тоскующем уме. Вдруг захотелось прочитать страницу из Евангелия. Нашла маленькую книжку, открыла Евангелие от Луки, прочла рассказ о явлении Христа двум по дороге из Иерусалима в Эммаус, – простодушный и трогательный рассказ.

«Не горело ли в нас сердце наше?»

Закрывает книгу. Сладким и смутным томимая беспокойством, надевает осеннюю шляпу, демисезонное пальто, и вышла на улицу.

Была Великая Суббота, и уже вечерело. Два молодых человека очень сильно напомаженные и чрезмерно завитые, вышли из парикмахерской, и им было весело. Дворники развешивали на проволоках от одного фонарного столба до другого разноцветные шкалики для иллюминации. Хихикали молоденькие швейки, пробегая торопливо. Извозчики были уже пьяны и красны. Молодой телеграфист провожал куда-то двух барышень, которым было холодно в их нарядных платьицах. Он их уверял:

– В нашей церкви гораздо лучше, как можно сравнивать, помилуйте!

Барышни говорили что-то, обе вместе, но ветер относил их слова, и Нина их не расслышала.

И все было как-то обычно празднично. Заведенный исстари праздник приготавливались справлять люди, праздник среди праздников, – и день, который должен был бы быть праздником из праздников, торжеством из торжеств, будет, конечно, только табельным днем, одной из неизбежных принадлежностей скучного быта.

«Но разве сердце мое не горит во мне?»

Вот на перекрестке двух шумных улиц подходит к Нине кто-то, как будто бы знакомый ей. Но туман лежит на ее памяти, и на глазах ее – незримая, но тяжелая пелена. И воля ее окована унынием и тоской, и даже не хочется ей припоминать, где видела она своего неожиданного спутника. В нем нет ничего особенного, что выделяло бы его из числа многих знаемых, – обычная городская одежда, интеллигентное лицо, и только глубокий взор черных глаз так пытлив, что кажется Нине, – в самую глубину души ее смотрит он. И сердце ее горит.

Тихо спрашивает он Нину:

– О чем вы так задумались? Отчего вы так печальны?

И говорит ему Нина:

– Что же вас удивляет моя печаль! Неужели вы не знаете, что происходит у нас в эти годы?

– Что же? – спрашивает он.

Говорит ему Нина долго, и жалуется, и плачет. Точно сама с собой говорит, и глаза ее смотрят в израненную красными огнями тьму шумных улиц, и сердце ее трепещет и горит.

Когда она замолчала, он говорит ей тихо, но с такой силой в голосе, как имеющий власть:

– Разве это не малодушие? Так надлежит прийти в мир нашей правде, так, – в страданиях, нестерпимых для слабого, в подвигах, превышающих меру человеческих сил. Или приятного и легкого вы ожидали, когда внимали словам наставников и мудрецов ваших? И

разве не научили они вас той истине, что нет силы на земле, которая могла бы отворотить роковой ход событий, предсказанный в мудрых книгах?

И говорил, цитируя слова мудрых книг и поясняя их. И сердце ее горело в ней.

Несмело спросила она:

– А он? жених мой возлюбленный, которого казнили? Где он?

И услышала кроткий голос:

– Он с тобой.

Подняла удивленный взор на своего спутника и услышала опять:

– Я с тобой всегда, невеста моя милая, – утешься! Или ты меня не узнала, – меня, приходящего в тайне?

Радостно взволнованная, спросила Нина:

– Но кто же ты?

И уже не было никого возле Нины, – в суетливой толпе, в смутной и тревожной полутьме шумных улиц исчез ее спутник. Только студент с черной коротенькой бородкой оглянулся, усмехаясь, на Нину, услышав ее восторженное восклицание, и прошел равнодушно дальше, попыхивая папироску.

Но в сердце у Нины была радость, и черные глаза ее горели восторгом. Он с ней, он всегда с ней! В сердце, в ее мыслях, в ее поступках, везде он, возлюбленный ее, с ней! Не надо бояться и унывать, надо верить и делать то, что и он делал, любить то же, что и он любил, – с ним делить печали поражений и радости побед. С ним, всегда с ним!

Нина возвращалась домой, под веселый звон колоколов пасхальных, и вся пламенела восторгом, и плакала от счастья и от сладостной печали. И светлым праздничным огням, и ветру, веющему внешними утехами, шептала счастливые, безумные шептала слова:

– О, я счастливая! И я была на пути в мой Эммаус, и на моем омраченном пути со мной беседовал он, пришедший ко мне в тишине и в тайне, и в моем Эммаусе я, счастливая, счастливая невеста, обрела его!

СТАРЫЙ ДОМ

Памяти Михаила Чеботаревского

I

Дом был старый, большой, деревянный, одноэтажный, с мезонином. Стоял он в деревне, в одиннадцати верстах от станции железной дороги, и в полусотне верст от уездного города. Вокруг этого дома дремотно-зеленеющий сад раскинулся, и просторы бесконечно-плоских, нескончаемо-сучных полей.

Когда-то этот дом был выкрашен в лиловый цвет, и уже давно полинял. Его крыша, когда-то красная, стала темно-бурой. Но столбы

террасы были еще совсем крепки, и беседки в саду целы, и Афродита в кустах. А пруд ряской затянуло.

Казалось, что старый дом полон воспоминаниями: стоит, дремлет, вспоминает, опечалится порой, когда грустные нахлынут вокруг вереницы воспоминаний.

В этом старом доме все было по-прежнему, как в те же дни, когда вся семья была летом вместе, когда еще Боря был жив.

Теперь в усадьбе жили только женщины: бабушка Борина, Елена Кирилловна Водоленская, – Борина мать, Софья Александровна Озерова, – и Борина сестра, Наталья Васильевна. И старуха-бабушка, и мать, и молоденькая девушка казались очень спокойными, порой веселыми. Жили они уже второй год в старом доме, и ждали младшего в семье, Бориса. Того самого Бориса, которого уже нет в живых.

Они почти не говорили о нем друг с другом, но мыслями, воспоминаниями, мечтами о нем наполнены были их дни. Порой в ровную ткань этих дум и грез вплетались черные нити печали, и падали тяжелые, горькие зерна слез.

Когда злое солнце стояло в притине, – когда грустная луна ворожила, – когда заря холодом поутру розовым веяла, – когда на закате заря смехом кровавым полыхала, – в четыре темпа был размах качелей от заревой радости к притинной высокой печали. На тех качелях стремительно качаясь, они все трое переживали попеременно симпатию и антипатию предметов и времен.

Заревая радость, – раз, – яркая дневная печаль, – два, – заревая радость, – три, – белая ночная тоска, – четыре! Качели, подвешенные высоко, выше, выше тех качелей, на которых качался, кончался он.

II

По заре было бледно-розовой, когда влажные никнут ветки на березках, весело-зеленых, стройно-белых, в саду перед окнами, за песочной площадкой, за круглой куртиной, – по заре бледно-розовой, когда с речки от купаленки повеет прохладой, – первая из трех просыпается Наташа.

Как весело проснуться на заре бледно-розовой! Откинуть полог, кисейно-легкий, сквозной, – на локоток опереться, повернуться на бок, – и глянуть в окошко черными, широкими, жуткими глазами.

За окошком небо видно, низкое над далекими белыми березками. На небе заря бледно-алая, веселая, горит матовым огнем сквозь транспарант простертого над землей покрывала. В ее тихом, бледно-радостном разгорании есть такое напряжение юных страстей и полусознанных желаний, такое напряжение, такое счастье, и такая печаль! Улыбчивая сквозь росу легких, утренних слез над белыми ландышами, над синими фиалками широких полей!

Да о чем же слезы! К чему же ночная тоска!

Вот, за окном привешенная, качается ветка отгоняющего всякое зло аира. Повесила ее бабушка, и няня снимать не велит, старая. Зеленая, качается ветка аира, улыбается сухой зеленой улыбкой.

Улыбается Наташа тихой розовой улыбкой. Земля просыпается в утренней свежей бодрости. Доносятся до Наташи голоса пробудившейся жизни. Вот, гомозясь в упруго-влажных ветках, чирикают шумливо проворные птицы. Вот за окном слышен издали переливно-долгий звук рожка. Вот близко-близко, по песочной дорожке под окошком

звуки чьих-то тяжело и твердо ступающих ног. Слышно веселое ржание жеребенка, и протяжное мычание недовольных чем-то коров.

III

Наташа встает, улыбается чему-то, подходит поспешно к окну. Ее «окно высоко над землей», в мезанине, широкое в три просвета. Наташа не задергивает его на ночь занавесками, чтобы не застить от засыпающих глаз прохладного мерцания звезд и ворожащего лика луны.

Весело Наташе открыть окно, распахнуть его сильной рукой. В горящее сном лицо нежная веет от речки утренняя прохлада. За березками сада, и за его кустарниками видны широкие поля, такие милые с детства. На полях пологие пригорки, полосатые пашни, зеленые рожицы, отдельные кустики.

Вьется речка прихотливо-брошенными на зеленое извилами. Еще колышутся над ней белые клочки изорванной к утру туманной фаты. Речка видна кое-где, и чаще закрыта изгибами невысокого берега, но далеко-далеко означила она свой извилистый путь купами верб, темно-зеленых на светло-зеленой траве.

Наташа проворно умылась, – и было приятно лить на плечи и на шею холодную воду. Потом по-детски прилежно молилась, ставши на колени перед темным в сумрачном углу образом, не на коврик, а прямо на пол, – так угоднее Богу.

Повторила ежедневную свою молитву:

– Господи, сотвори чудо!

И приникла лицом к полу.

Встала. Потом проворно надела легкое светленькое платьице с широкими лямками на плечах, с прямоугольным вырезом на груди, и кожаный пояс, перетянутый сзади широкой пряжкой. Наскоро заплела и сложила кое-как вокруг головы тяжелые черные косы. С размаху всунула в них роговые гребенки и шпильки, какие нашлись под руками. Набросила на плечи серый вязаный платок, такой приятно-мягкий, и торопилась выйти на террасу старого дома.

Ступеньки неширокой внутренней лестницы из мезанина вниз тихо скрипели под легкими Наташиными ногами. Жесткое ощущение досчатого холодного пола под теплыми ногами было забавно-веселым.

Когда Наташа спустилась вниз и шла по коридору и по столовой, она ступала тихохонько, чтобы ни мать, ни бабушка не слышали, и не проснулись бы, и не встали. И на лице было милое выражение веселой озабоченности, и складка меж бровей. Как сложилась в те дни, так и осталось складочка.

Еще задернуты были занавески в столовой. Комната казалась сумрачной и печальной. Скорее хотелось пробежать по ней, мимо широкораздвинутого стола. Не было охоты остановиться у буфета, что-нибудь взять, съесть.

Скорее, скорее! На волю, на воздух, к улыбкам беззаботной зари, позабывшей все свои докучные вчера.

IV

На террасе было светло, свежо. Светлая Наташина одежда вдруг загорелась бледно-розовыми заревыми улыбками. Веселый холодок

набегал из сада. Ласкаясь, лобзал он Наташины ноги.

Опершись розовыми, тонкими локтями обнаженных рук о широкий парапет террасы, Наташа садилась на легкий плетеный стул. Она принималась смотреть в ту сторону, где виднелась из-за кустов калитка в садовой изгороди, и за ней часть серой дороги, безмолвной, но, по заре бледно-розовой, такой счастливо-успокоенной.

Наташа смотрела долго, пристально, немигающим, жутким взором черных глаз. Какая-то жилка дрожала в левом углу рта. Едва заметно вздрагивало левое веко. Все определеннее намечалась резкая вертикальная складочка между глаз. Подобно напряжению трепетно и ало полыхающей зари было напряженное внимание слишком пристальных, слишком неподвижных глаз.

Если бы всмотреться долго в сидящую так на заре утренней Наташу, то показалось бы, что не видит она того, на что смотрит, и что на что-то иное, что не здесь, устремлен ее слишком далекий взор.

Словно хочет увидеть того, кого нет, — того, кого ждет, — того, кто придет, — придет сегодня. Если свершится чудо. А как же без чуда!

V

А перед Наташей серая и докучная влеклась повседневная обычность. Предметы все те же, все на тех же местах. И те же, как вчера, как завтра, как всегда, люди. Вечные приснолюди. Стремительно и тупо шел мужик, гулко стуча о глину дороги подкованными подошвами тяжелых сапог. Верткая баба проходила, мягко шурша по росистой траве придорожной мельканием высоко-приоткрытых загорелых ног. Пугливо озираясь на старый дом, пробегали темные от загара, милые, чумадые, белоголовые ребятишки.

Мимо, да мимо. Никто не останавливался у калитки. Никто и не видел молодой девушки из-за точеного столбика террасы.

Шиповник цвел у ограды. Он ронял первые бледно-розовые лепестки на розоватую желтизну песочной дорожки, лепестки, райски-невинные и в самом падении своем.

В саду благоухали сладко, страстно и наивно розы. У самой террасы возносили они к озарениям с неба свои напряженно-алые улыбки, ароматную нестыдливость своих мечтаний и желаний, невинных, как все было невинно в первозданном раю, невинных, как невинны на земле только благоухания роз.

На куртине пестрым ковром раскинулись белые табаки и алые маки. За куртиной в зелени белел мрамор Афродиты, как вечное пророчество красоты, среди зеленой, влажной, благоуханной, звучной жизни этого мгновенного дня.

Тихо сама себе сказала Наташа:

— Он, должно быть, переменялся очень. И не узнаешь, поди, как вернется.

Тихо, сама себе отвечая, сказала Наташа:

— Но я бы его узнала сразу по голосу и по глазам.

И точно, вслушиваясь, услышала его голос, звучный, глубокий. И точно, всматриваясь, увидела его черные глаза, — пламенный, властный, юношески-дерзкий взор. И еще вслушивалась во что-то, всматривалась в далекое. Слегка пригнулась, склонила к чему-то

тихому чуткое ухо, неподвижный, и жуткий приковала к чему-то взор. Словно застыла в напряжении, несколько диком.

Розовая улыбка разгорающейся зари несмело играла на побледневшем Наташином лице.

VI

Кто-то крикнул вдали, длинно и гулко.

Наташа вздрогнула. Встрепенулась. Вздохнула. Встала. По шатким, широким ступенькам спустилась в сад, на песчаную площадку. Хрустели песчинки под ногами. Легкие, тонкие на мелком сером песке отпечатывались следы узких маленьких ног.

Наташа подошла к белому мрамору.

Долго всматривалась она в безмятежно-прекрасное лицо богини, все еще далекой от нашей скучной, чахлой жизни, и в ее вечно-юное тело, нестыдливо обнаженное, неложную сулящее радость освобождения. Розы атели у строгого пьедестала. Они примешивали очарование своих недолгих алых благоуханий к очарованию вечной красоты.

Тихо, тихо сказала Афродите Наташа:

– Если он придет сегодня, я вложу в петлицу его тужурки самую алую, самую милую розу. Он смуглый, и глаза у него – черные, – о, самую алую твоих роз!

Улыбалась вечная, придерживая дивными руками края ниспадающего на колени тихими складками покроя, и говорила беззвучно, но внятно:

– Да.

Вечное «да» всякому сказыванию жизни, улыбка вечной иронии, улыбка прекраснейшей из богинь, и самой страшной из них.

И опять сказала Наташа:

– И сплету себе венок из алых роз, и косы распушу, мои черные, мои длинные косы, и венок надену, и буду плясать, и кружиться и смеяться, и петь. Чтобы утешить его, чтобы обрадовать его.

И опять говорила ей вечная:

– Да.

Сказала Наташа:

– Ты его помнишь. Ты его узнаешь. Вы, боги, все помните. Только мы, люди, забываем. Чтобы разрушать и творить, – себя и вас.

И в молчании белого мрамора вечное, внятное было «да». Ответ, всегда утешающий. Да.

Вздохнула Наташа, и от мрамора отвела глаза.

Заря разгоралась, и весь радостный сад улыбался переживаниями заревого, вечно-юного, вечно-торжественного смеха.

VII

Потом Наташа тихо шла к садовой калитке. Там она опять долго смотрела на дорогу. Так напряженно держалась она за верх калитки, точно готовая вот-вот распахнуть ее перед тем, кто придет, перед тем, кого ждут.

Вздымая серую дорожную пыль, предрассветный влажный ветер тихо веял в Наташино лицо, и шептал ей в уши что-то настойчивое,

злое, вешее. Точно завидовал ее ожиданию, ее напряженному покою.

Ветер, всюду веющий, ты все знаешь, ты хочешь, ты встаешь и падаешь, и влечешься в нескончаемые дали. Печалью и радостью вея, влечешься ты к недостижимым далям.

Ветер, всюду веющий, залетал ли ты в те страны, где он? Восточку от него принес ли? принесешь ли?

Хоть бы вздох один принес ты от него или к нему, хоть бы легкий, бледный призрак слова!

От предрассветного ветра краснеет лицо, глаза краснеют, румяные губы морщатся, на черных глазах слезы выступают, и гнется тонкий стан, — оттого, что веет ветер, прохладный, пустынный, безучастный, мудрый ветер. Веет, как веяние невозвратного, бысролетного времени. Веет, жалит, печалит, и не жалеет, и уносится прочь.

Уносится прочь, и бессильная падает серовато-розовая по заре, но все же тусклая, бледная дорожная пыль. Спутала все свои следы, забыла прошедших над ней, — и лежит, по заре слабо-розовея.

Ноет сердце от сладкой печали ожидания.

Говорит кто-то близкий, тихо говорит на ухо Наташе:

— Он придет. Он на дороге. Встретила бы.

VIII

Наташа открыла калитку, и быстро пошла по дороге, в ту сторону, где, за одиннадцать верст от старого дома, стоит железнодорожная станция. Дойдет Наташа до пригорка над рекой, за полторы версты от дома, остановится, и будет смотреть.

С этого пригорка видна вся дорога. Откуда-то снизу, с поля, слышен резкий крик кулика. Прямо и влажно пахнет трава.

Восходит солнце. Вдруг все становится белым, ярким, ясным. Радостная смеется широкая даль. Утренний ветер на пригорке сильнее, крепче и слаще. Кажется, что забыл он пустышную свою грусть.

Трава такая мокрая от росы. Так нежно приникает она к ногам. По ней яркие, многоцветные переливаются рассыпанными алмазами еленички росы.

Красное лицо с торжественной медленностью поднимается над синей мглой горизонта. В красном, ярком горении солнца затаилось предчувствие тихой грусти.

Наташа опускает взор к орошенным травам. Цветочки милые! Узнает Наташа цветок верности, лазоревый барвинок.

Но что это! Тут же, близко, напоминанием о смерти, черная белена. Ну что же! Он везде. Утешайте, утешайте, лазоревые цветочки!

— Ни одного из вас не сорву, и не из вас, лазоревые, венки сплету.

Ждет, стоит, смотрит.

Показался бы по дороге, увидела бы, узнала бы его еще издали. Но нет, — никого нет. Дорога пустынна, и немые влажные просторы.

IX

Постояла Наташа, подождала, пошла назад. Ноги ее тонули в мокрых травах. Стебли высоких трав путались около тонких ног, и

шуршали, зеленые, о край светлого платья. Наташины руки были опущены, покорные, прикрытые серым вязаным платком, стройные с розовыми локтями руки. А глаза уже утратили напряженность выражения, и перебегали рассеянные взгляды с предмета на предмет.

Сколько раз ходили по этой дороге, все вместе, и сестренки, и Боря! Было весело и шумно. О чем не говорили! Как спорили! Какие гордые гимны пели! Теперь одна, и Боря все не возвращается.

Не знает, что его ждут. Не знает, как его ждут. Ничего не знает. И не узнает?

В Наташином сердце просыпается предчувствие горьких воспоминаний. В темноте усталой памяти уже с тяжелым шорохом шевелится злая змея.

Медленно и скучно Наташа возвращается домой. Глаза ее дремотны, и блуждают тоскливо, и никнут утомленные взоры. Трава кажется ей неприятно-сырой, ветер надоедливый, ногам ее мокро, и край тонкого платья отяжелел от сырости. Новый свет нового дня, ярко-солнечного, сияющего переливами смеющихся рос, птичьих гамов и людских голосов, для Наташи по-старому назойливо ярок.

Ах, не всходить бы новому дню! Не звать бы к недостижимому!

Все слышнее робкий шепот беспощадных воспоминаний. Тяжелый груз неодолимой тоски наваливается аспидно-серой горой на сердце. Гордо сжимается томительно-жестким предчувствием слез.

Чем ближе к дому, тем торопливее становится Наташин шаг. Все скорее, скорее, под ускоряющийся стук тоскующего сердца бежит Наташа по сухим глинам дороги, по мокрым травам придорожной, протоптанной пешеходами, тропинки, по влажно-хрупким песчинкам садовых дорожек, еще хранящим ее предрассветные, нежные следочки. Бежит Наташа по теплым доскам еще неметеного пола, с пылью и соринками. И уже не старается ступать легко и неслышно. Наталкивается на удивленную, зевающую Глашу. Взбегает стремительно и шумно наверх, к себе, и бросается в постель. С головой укутывается в одеяло. Засыпает.

Х

Борина бабушка, Елена Кирилловна, спит внизу. Она старая, и не спится ей утром; но за всю жизнь она никогда не вставала рано, а потому и теперь просыпается только немного позже, чем Наташа. Долго лежит Елена Кирилловна, прямая, худенькая, неподвижная, словно влипнув затылком в подушки и ждет, когда придет горничная с чашкой кофе. — она издавна привыкла пить кофе в постели.

У Елены Кирилловны худое, желтое лицо, все в разбегающихся морщинках, а глаза еще блестящие, и волосы еще черные, особенно днем, когда уже она их смажет черным фиксауаром.

Горничная Глаша обыкновенно запаздывает. Утром ей сладко спится: с вечера она любит уходить к деревне на мост. Там скрипит гармоника, и по праздникам поют и пляшут, бывают веселые молодые люди и бойкие девицы из деревни, — словом, весело.

Елена Кирилловна звонит несколько раз. Наконец, безответность тишины за дверью начинает сердить ее. Она досадливо ворочается, ворчит. Напряженно сгибая в локте сухую, желтую руку, долго и с усилием нажимает костлявым пальцем на белую пуговку электрического звонка, лежащего на круглом столике возле ее изголовья.

Тогда, наконец, Глаша слышит над собой продолжительный,

дребезжащий звон. Она соскакивает с постели. Суетливо мечется по своей тесной каморке под лестницей в мезанин. Ищет что-то. Набрасывает на себя юбку. Бежит к старой барыне, и на бегу кое-как оправляет рассыпающиеся космы перепутанных волос.

Лицо у Глаши сердитое и сонное. Еще недоспанный сон шатает ее. Пока она добежит до дверей барыниной спальни, утренняя прохлада немного освежает ее. Когда Глаша входит к барыне, у нее уже не такое смятое лицо.

На Глаше розовая юбка и белая рубашка. В полусумраке занавешенных окон ее загорелые руки и стремительные ноги кажутся тоже белыми. Вся она, молодая, крепкая, грубая и внезапная, вдруг вырастает перед постелью старой барыни, слегка всколыхнув тяжелой поступью барынину металлическую, грузную кровать с никеллированными столбиками и шариками, и круглый столик, на котором слегка звякнет стакан о флакон.

XI

Елена Кирилловна встречает Глашу все тем же изо дня в день негодующим восклицанием:

— Глаша, когда же мне будет кофе? Я звоню, звоню, никто не идет. Ты, мать моя, спишь, как убитая.

Глаша делает притворно-удивленное и притворно-испуганное лицо. Поправляет, невольно позевывая, старенький стертый коврик у кровати. Придвигает мягкие, стоптанные туфли. Говорит тем усиленно-ласковым, почтительным тоном, который так нравится в прислугах старым барыням:

— Простите, барыня, сию минуту все будет. Господи, да как вы сегодня рано проснулись, барыня! Не поспалось вам, барыня, штой-то ли?

Елена Кирилловна говорит:

— В мои годы уж какой сон! Дай ты мне кофейку поскорее. Глашенька, да и вставать я уж стану.

Уже она говорит спокойно, хотя и звучат в ее голосе капризные ноты.

Глаша отвечает усердно-радостным тоном:

— Сию секундочку, барыня. Я живым духом.

И повертывается уходить.

Но Елена Кирилловна останавливает ее гневным окриком:

— Глаша, куда ты? Ничего не помнишь, сколько раз ни говори! Занавески открой.

Глаша проворно отдергивает темно-зеленые занавески у двух окон в барыниной спальне, и вылетает из комнаты. Она невысокая и тоненькая, и по ее лицу видно, что она читает книжки, но звук ее быстрых ног отчетлив и тяжек, точно бежит кто-то большой, сильный, тяжелый, умеющий делать все, кроме легкого. Барыня ворчит, сердито глядя за ней:

— Боже мой! как она топает! Ни пола, ни пяток своих не жалеет!

XII

Но вот звуки Глашина бега затихают в гулкой тишине длинного коридора. Барыня лежит, ждет и думает. Она опять прямая, неподвижная, вся закрытая одеялом, такая желтая и тихая. Кажется,

что вся ее жизнь сосредоточилась в ярком блеске зорких глаз.

Солнце, еще невысокое, неярко и розово освещает стену перед барыниными глазами. Светло в спальне, и тихо. Пляшут в воздухе быстрые пылинки. Блестят стекла развешанных на стене фотографических портретов и узкие золоченые полоски их черных рамок.

Елена Кирилловна смотрит на портреты. Ее по-молодому блестящие и все еще зоркие глаза отчетливо различают милые лица. Многие уже нет на свете.

Борин портрет, – большой, в широкой темной раме. Совсем еще юношеское лицо, лицо семнадцатилетнего мальчика. Смуглый. Черноглазый. На губе уже усики, довольно густые. Губы упрямо сжатые. Во всем складе лица выражение настойчивой воли.

Елена Кирилловна смотрит на портрет, и вспоминает Борю. Из всех внуков больше она любила его. И вот вспоминает.

Она помнит, какой он был. Каким-то он теперь стал?

Вот Боря вернется. Бабушка обрадуется, насмотрится на него.

Скоро ли?

Думает успокоенно старая женщина:

«Теперь уж увидимся скоро.»

Кто-то пробежал под окошком. Чей-то послышался звонкий крик.

Елена Кирилловна повернулась на постели. Смотрит в окно.

Белые акации под окном, зелено и радостно шелестя, улыбаются по-детски наивно и весело. За ними сплошная купа зеленолиственных широких крон, березки теснятся да липки. Ветки совсем близко тянутся к окошку. Упругий их шелест напоминает что-то Елене Кирилловне.

Вот так бы крикнул под окошком Боря. Он любил этот сад. И любил белые цветы акаций. И полевые любил цветочки собирать. И ей приносил. Особенно васильки ему всегда нравились.

XIII

Наконец, Глаша принесла кофе. Поставила на круглый стол около кровати серебряный поднос. Над фарфоровой широкой синей с золотом чашкой дымится легкий пар, слегка синеватый.

Елена Кирилловна подбирается всем своим худеньким тельцем повыше, к подушкам, и усаживается в постели, прямая, сухонькая, тоненькая, в белой ночной кофточке. Суетливо поправляет дрожащими руками затянувшиеся за ночь завязки белого гофрированного чепчика.

Глаша заботливо и ловко подсовывает под ее спину подушки, сложив их высокой, мягкой, такой уютной горкой.

Звенит хрупким смехом серебряная ложечка в синих старухиных руках, размешивая в чашке сахар. Потом из маленького молочника льется густой струей молоко, и падает слегка желтоватыми хлопьями тяжелая жирная пенка.

А Глаша, повертевшись еще немного в сторонке, поглядевшись украдкой, мимоходом, в барынино зеркало, уходит.

Елена Кирилловна, не торопясь, принимается пить кофе. Она ломает пополам сладкий обсыпанный сахаром сухарик, бросает половинку в кофе, и долго держит его там. Потом, уже когда он совсем размякнет и пропитается кофеем, она осторожно вынимает его ложечкой.

Зубы у Елены Кирилловны еще совсем крепкие. Она этим очень

гордится, но все-таки в последнее время она гораздо больше любит есть то, что помягче. Она жует измокший сухарик. На ее лице выражается удовольствие. Маленькие зоркие глаза весело поблескивают.

Когда кофе выпит, Елена Кирилловна ложится еще полежать. Дремлет с полчаса, вытянувшись на спине под одеялом. Потом она опять звонит, и ждет.

XIV

Приходит Глаша. Уже она причесалась, и надела розовую кофточку. Оттого она кажется еще более тоненькой, чем первый раз. Но так как теперь она вовсе не торопится, то шаги ее кажутся еще более тяжелыми.

Глаша подходит к барыниной кровати. Молча откидывает одеяло. Помогает Елене Кирилловне сесть на постели, ловко поддерживая ее под локоть. Потом, опустившись на колени, натягивает ей на ноги длинные черные чулки, и надевает ей мягкие серенькие туфли.

Елена Кирилловна держится за Глашины плечи слабыми вздрагивающими нервно и неровно руками. Она завидует Глашиной молодости, силе и наивной простоте. Будируя втихомолку против своей барской, но все же несладкой судьбы, Елена Кирилловна думает уныло, что охотно пожертвовала бы всем своим комфортом, и согласилась бы стать такой же, как и эта Глаша, простой девушкой-служанкой, с грубой кожей на руках и с покрасневшими от утренней сырой свежести стопами необутых ног, только бы ей молодость, веселость, беззаботность и счастье, доступное на земле нашей только неразумным.

Брюзжит часто на судьбу старая, — а сама ни от одной барской привычки не могла бы отказаться!

Глаша говорит:

— Готово, барыня.

Елена Кирилловна встает. Говорит:

— Теперь капот мне, Глаша.

Но Глаша уже и сама знает, что надо подать. Надевает на Елену Кирилловну белый фланелевый капот. Проворно застегивает его.

Елена Кирилловна говорит:

— Ну, иди, Глашенька. Уже я позвоню, если что понадобится.

XV

Глаша уходит. Бежит на заднее крыльцо.

Там она второй раз моется из подвешанной к столбикам крыльца на веревочке глиняной кувиркалки, — давеча только наскоро ополоснула лицо и руки похолодевшей за ночь водой. Брызжет воду далеко на зеленую траву двора, на лиловато-серые доски крыльца, и на свои ноги, порозовелые от свежести ранней, утренней и от нежных прикосновений росистых трав на огороде. Смеется сама с собой, — так, оттого, что вокруг нее светло, не жарко, весело, — оттого, что она молодая, здоровая девушка, — оттого, что утренняя свежесть бодрими холодками пробегает по всему крепкому, быстрому телу, — оттого наконец, что недалеко от нее на деревне живет бойкий, как она, красивый молодчик, который на нее заглядывается, и который ей нравится.

Правда, за него мать бранит ее, — молодой человек беден.
А Глаше — то что ж? Не даром сложилась поговорочка:
«Пусть бы хлеба ни куска, был бы парень без уска.»

Смеется Глаша весело и звонко.

Из окна кухни Степанида кричит ей:

— Глаш, а Глаш! что ты ржешь?

Глаша смеется, не отвечает, и уходит.

Степанида высовывает из окна простодушное, румяное лицо.

Спрашивает:

— Чего й-то она?

Никто ей не отвечает. Некому отвечать. На дворе пусто. Только где-то за сараями слышны лениво переговаривающиеся голоса работников.

XVI

Меж тем Елена Кирилловна в своей спальне кряхтя опускается на колени перед образом. Она молится долго. Добросовестно перечитывает все молитвы, какие знает. Сухие, малинового цвета губы шевелятся. На лице строгое, сосредоточенное выражение. Все морщинки тоже кажутся строгими, усталыми, равнодушными.

Молитвенных слов много. Все они святы, воздушны, возвышенны или трогательны. Но то, о чем в них говорится, от частого повторения как-то словно заостенела, и стало обычным и простым, только привычные выжимает на глаза слезинки старческого умиления, и не имеет никакого отношения к тому тайному трепету невозможных надежд, которым в последнее время пронизано сердце старой женщины.

Уста ее прилежно шепчут все те же каждый день мольбы о прощении грехов вольных и невольных, сотворенных словом, или делом, или помышлением, — мольбы об очищении душ наших от всякой скверны, — и опять слова о беззакониях наших, о лукавых наших деяниях, о нечисти нечестивых, о всеобщем нашем достоинстве, о мирских злых вещах, и о дьявольском носпешении, — об окаянной душе и окаянном теле, и о страстной жизни, — все только об этом всеобщем зле и об этой всемирной порочности. Точно сложены эти молитвы для титанов, созданных переустроить вселенную, но из постыдной лености делающих это важное дело спустя рукава.

И ни слова о своем, личном, задушевном.

Шепчут старые, иссохшие уста о милосердии, о щедростях, о человеколюбии, об истинном свете, — обо всех этих верховных благах, изливаемых извне на все творение. И ни слова о чуде, жадно и трепетно чаемом.

Да и разве чудо не нарушило бы молимого установленными словами заученных из детства молитв тихого и безмолвного жития?

Да, воистину, подымлет бунт всякий, кто дерзновенно молит о чуде.

Но вот и слова о находящихся в темницах и в заточениях, мольба об их освобождении, об их избавлении.

Вот, наконец, это о Боре.

Свободу и избавление...

Но дальше, все дальше бежит молитвенная речь, о чужих, о далеких, о всеобщем; только на миг, только слегка остановилась на своем, на родном, на чаемом.

Потом об усопших, — о тех, других, давно оплаканных, почти

позабывших, оживающих в слове только в часы этих общих, по всему душевному миру быстро скользящих молений.

Окончены молитвы. Елена Кирилловна минуту медлит. Словно еще что-то забыто необходимое.

Что же еще? Или это и все?

«Все», говорит кто-то тихий, равнодушный и непреклонный.

Тогда Елена Кирилловна поднимается с колен. Подходит к окну. Душа ее спокойна и равнодушна. Молитва не оставила в ней молитвенного настроения, а только на краткое время вынула из утомленной души всякое конкретное, особенное, будничное переживание.

XVII

Елена Кирилловна смотрит в окно. Она словно опять возвращается из какого-то темного, отвлеченного мира к ярким, красочным, многозвучным впечатлениям грубой, веселой, немножко милой жизни.

На небе высоко, среди светлой, светлой синевы, медленно тая, плыли белые с розовым легкие тучки. Казалось, что у них сквозь холодные, белые тела просвечивает пламенная, алая, как раскаленный ярко уголь, душа, и, пламенея, сжигая белые тела туч, сгорает и сама, и тает, и тонет в холодном, высоком, голубом. Солнце, еще невидное из-за левого угла дома, уже обливало весь сад теплой и радостной волной веселья, смеха и света, в которой купались суетливые стайки птиц.

Елена Кирилловна думает:

– «Ну, что же, одеваться пора».

И звонит.

Скоро на звонок является Глаша. Елена Кирилловна одевается.

Наконец она готова. Бросает на себя последний взгляд в зеркало, – все ли в порядке.

Волосы у Елены Кирилловны причесаны тщательно волосок к волоску, и слегка приглажены черным фиксажуром. От этого они блестят и кажутся склеенными. При каждом движении Елены Кирилловны по ним против света передвигается вправо и влево узкая серебристая ниточка, – световой рефлекс на перегибе заглаженной прически. На лице немножко чуть-чуть, пудры.

Платье на Елене Кирилловне всегда какого-нибудь светлого цвета, если не совсем белое, и самого простого покроя. Мягкая, мелкая пloidка широкого воротника скрывает шею и подбородок. Туфли уже заменены легкими летними башмаками без каблучков.

XVIII

Елена Кирилловна выходит в столовую. Смотрит, как накрывают на стол к утреннему раннему завтраку. Всегда заметит какой-нибудь беспорядок. Тихо брязжа, сама переставит с места на место что-нибудь на столе.

Потом она идет в переднюю, пустую и просторную, с запертой дверью на крыльцо переднего фасада. Проходит коридором в сени и на заднее крыльцо. Стоит на высоком крыльце, щурится от солнца, и смотрит, что делается на дворе. Маленькая, совсем прямая, как молоденькая институтка, сухонькая, с желтым морщинистым лицом, на котором изображается строгая хозяйственная внимательность, – стоит,

смотрит и молчит, никому здесь ни для чего ненужная. Никто не обращает на нее никакого внимания.

Елена Кирилловна говорит:

– Здравствуй, Степанида!

Степанида, дебелая румяная молодка в ярко-красной юбке, из-под которой виден белый подол рубахи и загорелые толстые ноги, возится на дворе у крыльца с самоваром, и старательно раздувает его. На ее голове зеленый платочек нарядливо подтыкан, закрывая сложенные косы словно повойником.

Пузатые бока самовара красно горят на солнце. Над его напрасно изогнутой трубкой клубится в мреющем воздухе синий дым, от которого резко едко и слащаво пахнет можжевельником и смолой.

На привет старой барыни Степанида поворачивает к ней широкоскулое озабоченно-веселое лицо с крохотными изюминками темнокарих глаз, и певучим, ласковым голосом протяжно говорит:

– Здравствуйте, матушка барыня, с добрым утречком вас! Раю сегодня встать изволили, матушка барыня. Теплынь-то такая стоит, милость-то Божья!

Слова ее точно медовые, и точно на эти медвяные слова летит с густым жужжанием ранняя лохматая пчела, золотясь трепетно в прозрачном жидком золоте утреннего еще не злого солнца. Но Степанида уже замолкла, и опять возится со своим самоваром, – и пчела разочарованно улетает, медленно затихая за изгородью огорода.

Елена Кирилловна морщится от резкого смолистого запаха, и говорит:

– Что это, как можжевельником сильно пахнет! Ты бы, Степанида, отошла, а то у тебя голова закружится.

Степанида, не оборачиваясь, отвечает лениво и равнодушно:

– Ничего, барыня, мы привычны. От него дух легкий от можжевельника-то.

Сквозь синий, кудрявый дым можжевельника ее сладкий голос кажется притворным, горьким. В горле у Елены Кирилловны начинает першить. Ее голова слегка томно кружится. Елена Кирилловна торопится уйти, и спускается с крыльца, в свой обычный утренний путь.

XIX

В это время выбегает за ней Глаша. Она преувеличенно-громко топчет по гулко-сбегающим ступенькам быстрым мельканием крепких ног, розовеющих словно крылатыми стопами из-под взвешиваемой ее бегом розовой юбки, и звонко кричит озабоченно-радостным голосом:

– Барыня, что-й-то вы пошли без ничего! Еще вам солнцем напечет. Вот извольте вашу шляпку.

Соломенная шляпа, желтая, с темно-лиловой лентой, в Глашинных руках мелькает, как странная, порхающая низко птица.

Елена Кирилловна надевает шляпу, и говорит Глаше:

– Что ты растреной бегаешь! Приделась бы, – знаешь, кого мы ждем.

Глаша молчит, и на ее лице появляется жалостливое выражение. Она долго смотрит за уходящей барыней, покачивает головой, потом улыбается и идет домой.

Степанида громким полушепотом спрашивает ее:

– Что, все внучка ждет?

Глаша отвечает жалостливо:

– Да уж и не говори! Просто смотреть то на них жалость берет, столько времени изводятся.

А Елена Кирилловна идет по двору, в огород, мимо служб и людских на скотный двор, и потом в поле. Вдоль садовой ограды она выходит на дорогу.

Там, недалеко от сада, под тенью старой развесистой липы стоит скамейка, – когда-то покрашенная в зеленый цвет доска на двух столбиках. Отсюда видна дорога, и речка, и сад, и дом.

Елена Кирилловна садится на скамейку. Смотрит на дорогу. Сидит тихо, маленькая, худенькая, прямая. Ждет долго. Потом начинает дремать.

Сквозь тонкую дрему порой улыбнется вдруг милое смуглое лицо, и зовет тихонько родной голос:

– Бабуся!

Она встрепенется, откроет глаза. Нет никого. Но она ждет. Верит и ждет.

XX

Воздух земной жизни легок. Дорога светла и тиха. Ветер легкий и отрадный веет мимо, мимо. Солнце греет старые кости, сквозь платье лаская худенькую спину. Все вокруг ликует в зеленом, золотом и голубом. Листва берез, ив и лип медленно шелестит, зелено и влажно. В полях медвяно пахнет клевер.

Ах, как легок, ах, как сладок воздух земной нашей жизни!

Как ты прекрасна, моя земля, изумрудная, сапфирная, золотая! Кто из рожденных на тебе захотел бы умереть? Захотел бы закрыть глаза на твои тихие прелести и на твои великоленные просторы? Кто из почивающих в тебе, мать земля сырая, не захотел бы встать, не захотел бы вернуться к твоим очарованиям и уладам?

И пламенеющего жаждой жизни кто, жестокий, прогонит в смертную сень?

По дороге, где он ходил, он опять пройдет. По земле, еще его следы хранящей, он опять пройдет. Боря, милый бабушкин Боря вернется.

Вот, пролетая, пчела золотая жужжит. Говорит золотая, что Боря вернется в тишину старого дома, отведаст душистого меда, – сладкого дара мудрых пчел, жужжащих под солнцем земной, милой жизни. И пчелиного ярого воска свечу затеплит бабушка радостно перед иконой Приснодевы, – дар мудрых пчел, жужжащих в золоте дневных лучей, – дар человеку и дар Богу.

Вот проходят по дороге деревенские женщины и девушки с обветренными румяными лицами. Кланяются старой барыне, и жалостливо смотрят на нее. Елена Кирилловна улыбается им, и говорит привычно-ласковым голосом:

– Здравствуйте, милые!

Они проходят. Их крикливые голоса замирают вдали, и забывает о них Елена Кирилловна. Они опять пройдут здесь еще сегодня, когда настанет их час. Пройдут. Вернутся. По дороге, где косо лежат их пыльные, скучные следы, пройдут они опять.

XXI

Елена Кирилловна очнулась вдруг от своей полудремы. Обвела

недоумевающим взором все, предстоящее здесь ей.

Все было ясно, светло, беззаботно, – и беспощадно. Неуклонное, все выше поднималось на гору небес торжественное светило. Уже видно было, что оно злое, мудрое, яркое, равнодушное к земной тягостной печали и к сладким радостям земным. И смех его высок, безрадостен и беспечален.

Все, как и раньше, было зеленое, голубое и золотое, многократно и ярко окрашено, словно для светлого праздника все окрест предметы в природе показали истинный цвет своей души. Но уже легкая пыль на безмолвной дороге потеряла розовые заревые оттенки и вздымалась теперь по ветру серой, скучной фатой. Когда же утихал ветер, и пыль никла не вдруг, то словно серая змея безглазая влеклась тучным призрачным чревом, и обессилен падала, распластывалась и издыхала.

Скучной стала вся обычность. Эта липкая скука ясных повторений начинала томить Елену Кирилловну серым предчувствием тоски, горьких слез, отчаянных молений, безнадежности.

XXII

Из калитки в сад показалась Глаша. Весело глянула она по дороге в обе стороны. Замедля шаги, чинно подошла к Елене Кирилловне.

Глаша теперь уже была обыкновенная, дневная, скучная. Уже нечему было в ней завидовать. И уже одета она по-дневному. На голове у нее косы сложены, как у барышни, и заколоты тремя прозрачно-рыжими гребенками. Кофточка светлая, – по белому розовые полоски и лиловые цветочки, – с короткими рукавами до локтя. Прямая синяя юбка. Белый передник.

Елена Кирилловна спросила:

– Ну, что, Глашенька? Сонюшка-то вышла?

Глаша ответила почтительно:

– Софья Александровна встает. Сейчас выйдут. Приказали спросить, можно на террасе накрывать?

– Да, да, на террасе. А что Натаненька? – спрашивает Елена Кирилловна, тревожно глядя на Глашу.

– Барышня спят, – отвечала Глаша. – Сегодня опять утром бегали гулять прямо с постели, ничего даже не покушавши. Юбочка вся в росе. Как бы не простудились. Теперь спят. Хоть бы вы им сказали.

Елена Кирилловна говорит неопределенно:

– Ну, ну. Пойду уж я. Иди себе, Глашенька.

Глаша уходит. Елена Кирилловна медленно поднимается со скамейки, точно жалея расстаться с тем местом, где в легкой дремле прирезился ей Боря. Медленно идет она к дому.

Возле калитки она останавливается, и еще смотрит недолго на дорогу, в ту сторону, где станция.

Телега гулко тархтит по укатанной дороге. Мужик еле держит вожжи, и покачивается сонно. Чалая лошаденка машет хвостом и головой. Беловолосый мальчуган, свесив с края телеги коричневые ноженки в широких синих штанишках, тархтит васильковые светлые глазенки на собаку. А собака, тощая, злая, бежит и хрипло лает.

Елена Кирилловна вздыхает, – Бори все еще нет, – и уходит в сад.

На террасе мелькает светлая Глашина кофточка. Звенит посуда. Слышен ворчливый говор старой Бориной няньки.

XXIII

Позже всех, когда уже солнце на небе высоко и греет жарко, просыпается Борина мать, Софья Александровна. Сквозь легкие светлые занавески, которыми задернуты у нее на ночь окна, уже ясным светом облита вся ее спальня.

Софья Александровна просыпается вдруг, точно разбуженная толчком каким-то, или чьим-то зовом. Правой рукой она порывисто и сильно отбрасывает легкое белое одеяло. Быстро садится на постели, согнувши колени, и охватывает их руками. Потом с минуту смотрит прямо перед собой, в какое-то пустое место среди легкого узора светло-зеленых обоев.

Глаза у Софьи Александровны черные, широко открытые, с черными пламенниками, затаившимися в бездонной глубине жуткого взора. Лицо бледное, продолговатое, с ровной матовой кожей, совсем свежее, почти без морщин. Губы ярко пылают.

Софья Александровна смотрит, словно пораженная каким-то ужасным внезапным видением. Покачивается вперед и назад.

Потом она порывисто, одним прыжком, соскакивает с постели. Бежит к умывальнику, — белый мрамор и красное дерево. Моется быстро, точно торопится куда-то. Бежит к окну. Отдергивает занавески. Смотрит тревожно, какая погода, не ходят ли в небе тучи, из которых пойдет дождь, и тогда будет грязно по дороге, где поедет, возвращаясь домой, Боря.

Небо тревожно-радостное. Березки шелестят хрупким шелестом. Воробьи воровато и торопливо чирикают. Все зелено, ярко, страстно, но всем дышит напряжение надежд и ожиданий. Голоса слышны, — перекликаются звонко и весело, и смеются. Бежит кто-то смешливый, — торопится жить.

По бледным щекам Софьи Александровны быстрые льются слезы. Грудь порывисто дышит под белым полотном легкой сорочки.

XXIV

Софья Александровна идет к образу. Досадливо отшвырнула ногой положенный там нарочно с вечера Глашей бархатный коврик. Бросилась перед образом на колени. Колени мягко стукнули о пол. Софья Александровна быстро крестится, кланяется в землю, и страстно шепчет:

— Господи, Ты же знаешь, Ты все знаешь, Ты все можешь, сделай это, Господи, сделай, верни его к нам, верни его матери, верни сегодня.

Мольба горяча и пламенна, и не похожа на молитву. Слова бессвязны, падают часто, как мелкие, дробные слезы. К обнаженным ногам приникает тусклый холод крашеного пола. Дрожит и трепещет на полу жаркое тело плачущей женщины. Голова ее бьется о пол, разметывая черные косы.

Молится она не долго. Потoki слез точно омыли душу. Вдруг стало радостно и спокойно.

Так же порывисто Софья Александровна встает и звонит. Садится на край постели. Измятым носовым платком вытирает мокрые

слезами щеки. Беззвучно смеется. Кончик ее ноги нетерпеливо постукивает по коврику перед кроватью. Глаза блуждают по комнате, и, кажется, не видят предметов.

Глаша только что принялась одеваться, и уже завязывала сзади на тонкой талии узкие, белые тесемочки передника. Резкий нетерпеливый звонок заставляет ее вздрогнуть. Она бежит к барыне, захвативши с собой почищенные утром башмаки и юбки.

Софья Александровна отрывисто говорит:

– Глаша, скорее, одеваться!

И нетерпеливо смотрит, как Глаша освобождается от своей ноши.

Торопливо совершается обычный обряд. Софья Александровна одевается сама. Глаша только застегивает ей башмаки и крючки платья сзади.

Скоро Софья Александровна совсем готова. Рассеянно и коротко глядится она в зеркало.

Ее бледное лицо кажется еще молодым и красивым. Она тонкая. Как и ее мать, и невысокая. На ней белое, узкое платье с широкими, короткими рукавами. Прическа греческим узлом, перетянута двойным обхватом красной ленты. На маленьких, стройных, с высоким подъемом ногах цветные шелковые чулки, белые башмаки, на них серебряные пряжки.

XXV

Софья Александровна быстро идет в столовую. Там на столе стоит белый кувшин с парным молоком. Она сама наливает себе стакан молока. Стоя выпивает его, и съедает кусочек черного хлеба.

В то же время она заказывает обед. Все такие выбирает блюда, которые любит Боря. Напоминает, что Боря любит, чтобы вот это было сделано так-то, и не любит вот того-то.

Степанида слушает ее уныло, и плачущим голосом повторяет:

– Да уж знаю! Да уж что там! Не первый раз.

Что-то спрашивает Глаша. О чем-то многословно толкует дряхлая няня. Машинально, торопливо отвечает им Софья Александровна. И кажется, что она прислушивается, не гремит ли дальний колокольчик, не стучат ли по дороге колеса. Торопится уйти. И уже не слушает, что еще ей говорят. Уходит.

Идет в Борин кабинет. Там все по-старому, и все прибрано. Когда Боря вернется, то найдет все на месте.

Софья Александровна заботливо и торопливо обходит комнату. Она смотрит, все ли на месте, стерта ли пыль, положен ли коврик перед кроватью, налиты ли чернила в чернильницу. Сама переменяет воду в вазе с васильками. Если что не в порядке, досадливо плачет, звонит, и горько упрекает Глашу.

У Глаши тогда становится испуганное, жалостливое лицо. Она смиренно просит прощения.

Софья Александровна выговаривает ей:

– Как это ты так, Глаша! Ведь ты знаешь, мы ждем его с минуты на минуту. Вдруг он войдет, и такой беспорядок.

Глаша говорит смиренно:

– Простите, барыня. Уж вы себя не расстраивайте, я живым духом.

Выходит, и роняет на белый передник две три слезинки жалости.

А Софья Александровна уже идет торопливо в сад. Ни на что не глядя, ни белой Афродиты не видя, ни ее алых роз, идет в ту беседку, высоко над углом забора, из которой видна дорога. Над беседкой кровелька в четыре ската зеленеет железная, от солнца, а от любопытных глаз суровое полотно занавески с красной обшивочкой.

Софья Александровна смотрит на дорогу жадными черными глазами. Ждет нетерпеливо, прислушиваясь к быстрому, неровному стуку сердца, — ждет, вот покажется Боря.

Ветер веет ей в лицо, и задевает его краем занавески, — но лицо у нее бледное, и глаза у нее сухие. Солнце жарко целует ее тонкие руки, — но они лежат неподвижно на широком лиловато-сером парапете беседки. Ярко, зелено и многоцветно все в полях, — но ее глаза прикованы к серой пыльной змее, разлегшейся на просторе полей.

Если так ждут, неужели Боря не придет?

Но его нет. И напрасно пронзают жадные взоры пустынный простор, — Бори нет.

Все напряженнее, все неотступнее прикован к дороге ее безумно-тоскующий взор, — но Бори нет.

Все только то же, что вчера, что всегда. Мирно, безмятежно, — беспощадно.

XXVII

Был час первого, раннего завтрака. Сидели все трое на террасе у накрытого стола. Был поставлен и четвертый прибор, и стоял четвертый стул, на всякий случай, — может быть, Боря подъедет к завтраку.

Солнце было уже высоко. День становился зноен. Алые розы у пьедестала богини благоухали все жарче. Еще яснее и безмятежнее улыбалась мраморно-белая Афродита, вечным движением роняя дивные складки одежды. В ярком сверкании солнца песок на дорожках казался желтовато-белым. Тени от деревьев были резки и черны. Казалось, что от них исходит земляной, сочный, теплый запах.

Женщины сидели так, что каждой из трех видна была за раскрытыми занавесками террасы и за кустами не широкой и не длинной аллеи садовая калитка и за ней часть дороги, — и видели они всякого прохожего и проезжего.

Но в этот час дня почти никто не проходил и не проезжал мимо старого дома.

За столом служа, Глаша надевала на круто-сложенные косы свежее-выглаженный чепчик с подкрахмаленными бантами и с плюеной сквозной оборочкой. Забавно мелькал этот снежно-белый чепчик над свежей загорелостью Глашина лица.

В саду под террасой на скамеечке, на открытом месте сидела старенькая Борина нянька, в темно-лиловой кофточке, черном платье и темно-синем платке. Она грела на жарком солнце старые косточки, прислушиваясь к разговору на террасе, ворчала что-то а то дремала.

Она ширококоста, полная. Лицо у нее круглое, приятное, и даже сквозь мелкую сеть морщин видно, что когда-то было красивое. Глаза еще ясные. Волосы седые, гладко причесанные. На лице и во всей

фигуре застывшее выражение унылого добродушия.

XXVIII

Как всегда, ели и пили, и разговаривали весело и дружно. Иногда говорили сразу двое. Если бы послушать из сада, то казалось, что на террасе сидит большое общество.

В разговоре часто слышится Борино имя:

- Как бы не забыть, Боря любит...
- Может быть, Боря привезет...
- Что-то Бори еще не видно...
- Я думаю, Боря приедет с вечерним...
- Надо спросить Борю, читал ли он...
- Может быть, Боря это знает...

А внизу под террасой старая нянька всякий раз, как только услышит Борино имя, крестится и шепчет:

- Упокой, Господи, душу раба твоего Бориса.

Сначала шепчет тихо, потом все громче и громче.

Наконец сидящие за столом на террасе женщины слышат эти слова. Тогда они вздрагивают, и тревожно переглядываются. На их лицах изображается смутный страх. Но они сейчас же опять начинают разговаривать еще громче, и смеются еще веселее. Говорят без перерыва, и за шумом их голосов и смеха не слышат пока нянькина бормотания в зеленеющем весело саду.

Но упадут случайно голоса после того, как названо милое имя, – и опять слышатся тихие, страшные слова:

- Упокой, Господи...

За завтраком сидят долго, больше говорят, чем едят. Тревожно поглядывают на калитку. Кажется, что им странно встать из-за стола и куда-нибудь идти, пока нет еще с ними Бори.

XXIX

К концу завтрака приходит почта. За ней каждый день ездит на станцию четырнадцатилетний паренек Гриша верхом на гнедой, смирной лошадке. Он бойко скачет мимо калитки, подымает облака серой пыли и отчаянно болтает в воздухе локтями. При этом его пыльные ноги колотятся пятками в бока его кобылки, а на ремне через плечо болтается черная сумка.

Гриша оставляет лошадку на дворе, а сам с кожаной сумкой идет через сад, и чему-то широко ухмыляется. Поднимаясь по ступенькам террасы, он объявляет громко и радостно:

- Почту привез!

Он веселый, загорелый, потный. От него пахнет солнцем, землей, пылью и дегтем. Пясти рук и стопы ног у него крупные, как у взрослого. Губы мягкие и пухлые, как у добродушного жеребенка. У косоного ворота его рубахи не хватает пуговиц, видна сквозь ворот полоска загорелой груди да серый кусочек гайтана.

Софья Александровна порывисто поднимается со своего места. Отбирает от Гриши сумку. Быстро опрокидывает ее на стол. На белую скатерть сыплется груда бандеролей. Все три женщины склоняются над столом, и ищут писем. Но письма бывают редко.

Натанша хмуро смотрит на ухмыляющегося паренька. Спрашивает:

- Писем нет, Гриша?

Гриша переступает по ступеньке лестницы большими ногами,

кирпично-красными от солнца, ухмыляется и отвечает всегда одними и теми же словами:

– Письма еще пишут, барыня.

Софья Александровна говорит нетерпеливо:

– Ну, иди, Гриша.

Гриша уходит. Женщины принимаются читать газеты.

Софья Александровна берет «Речь». Читает ее быстро. Часто говорит то, что остановило в газете ее внимание.

Наташа раскрывает «Слово». Читает молча, медленно и внимательно.

Елена Кирилловна берет «Русские Ведомости». Неспешно разрывает бандероль. Раскрывает на столе весь лист. Читает, быстро бегая глазами по страницам.

XXX

Няня, кряхтя, медленно поднимается по ступенькам. Софья Александровна отрывается на минуту от газеты и смотрит на старуху испуганно. Наташа нервно вздрагивает и отвертывается. Елена Кирилловна читает спокойно не глядя на няньку.

Нянька вздыхает, садится на скамейку у входа, и спрашивает монотонно, – один и тот же вопрос каждый день:

– Казненных-то нынче сколько пропечатано? Повешено-то сколько?

Софья Александровна роняет газету, вскакивает и вся бледная, смотрит на старую. Все ее тело дрожит мелкой дрожью. Елена Кирилловна складывает газету, отодвигает ее, и смотрит прямо перед собой остановившимися глазами. Наташа встает, повертывается внезапно-побледневшим лицом к старухе, и говорит каким-то не своим, деревянным голосом:

– В Екатеринославе – семь, в Москве – один.

Или другие города и другие цифры, – то, что принесли свежие газетные листы. То, что они приносят нам каждый день.

Нянька поднимается со скамейки, и крестится истово. Говорит:

– Упокой, Господи, души рабов твоих! И сотвори им вечную память!

Тогда Софья Александровна вскрикивает отчаянно:

– Боря, Боря, Боря мой!

Лицо ее так бледно, что кажется, как будто бы ни одной кровинки не осталось под матовой, эластичной кожей. Судорожным движением сжимая руки, она с ужасом смотрит на Елену Кирилловну и на дочь. Елена Кирилловна отводит глаза в сторону, и, глядя на старую няньку, качает укоризненно головой. Голова ее трясется, как и у старенькой няньки, а на глазах проступают, как ранние росинки вечером, скупые слезы.

Наташа упрямо смотрит на мать, и говорит побледневшими, трясущимися губами:

– Мама, успокойся.

Вдруг голос ее опять становится холодным и деревянным, – и точно кто-то чужой и злой заставляет ее медленно, отчетливо произносить все те же каждый день слова.

– Ведь ты же знаешь, мама, что Боря повесили еще в прошлом году!

Смотрит на мать, неподвижным, жутким взором слишком черных глаз, и повторяет:

– Ты же это знаешь, мама!

Глаза у Софьи Александровна широко открыты, сухи, в них ужас, и глубокие пламенники в их слишком черной глубине горят безумно. Она повторяет беззвучно, глядя прямо в Наташины глаза:

– Повесили!

Садится на свое место, смотрит жуткими глазами на белую Афродиту и на алые розы у ее ног, и молчит. У нее белое лицо и алые губы, лицо неподвижное, и губы крепко сжатые, в немигающем взоре ее черных глаз затаилось безумие.

Перед изваянием вечной красоты, перед благоуханием мгновенно-торжественных роз она каменеет образом вечной скорби неутешной матери.

XXXI

Елена Кирилловна тихо уходит по боковой узкой лесенке в сад. Садится на дальнюю скамейку. Смотрит на затянутую зеленой ряской гладь пруда, и плачет.

Наташа поднимается к себе в мезанин. Открывает книгу, старается читать. Не читается Наташе. Она откладывает книгу, и смотрит в окно, и глаза ее мертвы.

Над старым домом все выше и выше поднимается беспощадно-ясный Дракон. Радостным смеющимся колыбом веселого простора замыкает, как в пламенный круг, омраченную тоской тишину старого дома. Меткие мечет лучи, как острые, оперенные стрелы, и дрожит от вечного, неистощимого гнева.

В старом доме тихо и тоскливо. Никого не ждут, никто не придет. Боря умер. Беспощадное колесо времени не знает поворота назад.

Так ясно, так светло свершается течение дня! Слитный белый свет говорит, что не на что надеяться.

XXXII

Наташа сидит в своей комнате у открытого окна. Книга лежит на подоконнике. Не хочется читать.

Каждая строка в книге напоминает о нем, о нескончаемых разговорах, о жарких спорах. О том, что было. О том, чего нет.

Воспоминания все ярче, и, наконец, достигают ясности и полноты видения, представшего, чтобы очаровать душу.

Меркнет в небе ярый Дракон, – затмился свинцовой тучей. Меркнет и память о нем. Кажется, что в небе ходит холодная, ясная, безмятежно-тихая луна. Лик ее бледен, но не от печали. Лучи ее чаруют заснувшую землю и недостижимо-высокое небо.

Лунные чары в полях, в отуманенных долах. Матовым светом мерцают на спящих травах тихие, прохладные росы.

В их призрачном мерцании воскресает то, что погибло, – былая нежность и любовь, бросающая на подвиги сверх меры человеческих сил. К устам опять восходят давно уже непетые, гордые гимны и обеты подвига и верности.

И что же из того, что подстерегает подстрекающий злой взор, и с пылкими речами юности смешалась речь предателя! Горение любви дерзающей не угасят и воды холодных океанов, не отравят все земные лукавые отравы.

Очарованный лунной тайной лес чуток, мглисто темен и молчалив. Непонятны и недоступны людям его медленные, неуклонные переживания и тайна его скованных желаний.

В его лунную тишину принесли люди буйство юной жизни, говора и смеха, но, очарованные лунной тайной, вдруг примолкли и призадумались.

Полянка в лесу, замороженная зеленым, холодным лунным мерцанием, кажется белой. Обступившие полянку по краям тени деревьев такие неверные, и мглистые, и таинственно-тихие.

Луна медленно, словно крадучись, поднимается все выше по бледно-лазурному склону небес. Круглая, холодная, вся обернувшись в тонкую пелену молочно-белого тумана, она, раздвигает своим бесстрастным ликом туманно-тихие вершины заснувших деревьев, и смотрит на поляну немигающим любопытным взором белых глаз.

Матовая россыпь тихой росы на холодных травах поляны тает, — выпивает ее жадно белый ночной туман. Воздух сладок и томен. На край полянки выступает несколько тоненьких, стройных, белоствольных березок, сонно застывших, невинных, как девственные участницы в зеленых с белым платьицах.

XXXIII

Под тонкими березками на поляне расположились несколько девушек, юношей, подростков. Кто сидит на пенечке срубленного дерева, на поваленном грозой стволе старой березы, кто улегся на разостланном по траве пальто, а кто к стволу березки прислонился спиной. Мигает одинокий, слабый огонек папироски и скоро гаснет.

В светлом, грезовом тумане все кажется белым, призрачным, сказочно-очаровательным. И кажется, березки на поляне и луна на небе ждут чего-то.

Здесь Наташа. Подруга Наташина, московская курсистка, с остренькой беленькой мордочкой хорошенького, веселенького зверька. Боря и его товарищи, — два мальчика, оба худенькие, и почему-то похожие один на другого, в полотняных курточках, с неживыми лицами пестеровских отроков, с горящими кругами темных глаз.

И еще один, высокий, плотный, в темной блузе. Он смотрит самоуверенно, и кажется самым знающим, опытным и бывалым.

Его обступили подростки и девушки, и спрашивают. Простодушно-радостные, нетерпеливые звенят голоса:

— Спойте, спойте нам Интернационал.

Боря, мальчик с бледным, нахмуренным лбом, с иссиня-черными кругами около глаз, смотрит ему в глаза, и спрашивает усерднее всех.

Высокий, плечистый Михаил Львович смотрит исподлобья, и упрямо отказывается, не хочет петь.

— Не могу, — говорит он угрюмо. — Я сегодня что-то не в голосе.

Боря и Наташа настаивают.

Михаил Львович машет рукой, и так же угрюмо говорит:

— Да ну, уж ладно.

Все рады.

Михаил Львович становится на колени. Над туманно-белой поляной, над белолицыми мальчиками, над белым туманом поднимаются к луне, тихо в небе ворожащей, слова гордого, страстного гимна: «Восстань, проклятьем заклейменный!»

Михаил Львович поет. Глаза его упрямо смотрят в землю, на холодные травы, белые в жутком свете полной, ясной луны. Точно он не хочет или не может посмотреть прямо в глаза этим девочкам и мальчикам, в эти доверчивые, чистые глаза.

А вокруг него столпились, – так близко, близко к нему приникли невинно–дышащие молодые девушки, мальчики стоят около него на траве на коленях, наивно смотрят ему прямо в рот и тихонько подпевают. Растет, ширится гордая, отважная мелодия. Торжественным пророчеством звучат вещие слова:

«В Интернационале
объединился род людской.»

XXXIV

Михаил Львович допел до конца. Была минута молчания. Потом растроганные, взволнованные голоса, – все вместе зазвучали, колыша влажную лесную тишину.

Ясные девичьи глаза смотрят, не отрываясь, на угрюмо–склоненное лицо Михаила Львовича. Звонкий девичий голосок молит настойчиво и нежно:

– Еще пропойте, пожалуйста, милый. Повторите еще раз. Я запомню слова. Я хочу выучить их наизусть.

Наташа подходит и говорит тихо:

– Мы все выучим эти слова и будем петь их каждый день, как молитву. С верой будем петь.

Михаил Львович, наконец, поднимает глаза. Маленькие, блестящие, умные. Теперь они строго и пытливо уставились на вдруг смутившуюся от этого змеиного взора Наташу.

Михаил Львович говорит ей угрюмо:

– Ну, нет, петь–то в лесу, втихомолку, не большая нужна храбрость. Всякий сумеет.

Наташа багряно вспыхивает. В глазах ее зажигаются черные огни недетской решительности. Она говорит слегка вздрагивающим голосом:

– Мы выучим слова, и споем их там, где это будет надо. Боже мой, да разве одни у нас слова, только слова! Мы готовы на дело.

Боря повторяет за ней:

– Мы готовы. Мы исполним все, что надо. И, если понадобится, умрем.

Михаил Львович говорит со спокойной уверенностью:

– Ну, я знаю.

В глазах его, упрямо прикованных к земле, горит тусклый огонек.

XXXV

Минута молчания. И опять звенит тоненький голосок. Говорит тоненькая, как березка, девушка с остреньким, веселеньким личиком:

– Боже мой! какая сила! какой пафос!

Михаил Львович неторопливо поворачивает к ней лицо. Угрюмо улыбается и молчит.

Девушка заломила на коленях руки. Ее поза удивительно–красива. Лицо ее вдруг становится значительным, дышит усердной мольбой

и пламенной решительностью. Она горячо восклицает:

– Давайте петь все хором! Все! Михаил Львович нас поучит.

Правда, Михаил Львович? Поучите?

Михаил Львович с угрюмой важностью соглашается:

– Ладно.

Он обводит тесный круг восторженных детей тусклым, тяжелым взором. Он один сидит спиной к поляне и чарующей в небе луне. Его лицо кажется темным, и оттого еще более значительным. Все, что исходит от него, носит теперь печать особой угрюмой торжественности.

А лица детей в лунном свете белы. Одежды их лунно-светлы. Голоса их лунно-прозрачны. В их простодушной доверчивости есть нечто обреченное.

Тоненькая девушка, волнуясь, восклицает:

– Ну, начинаем!

Михаил Львович торжественным, тяжелым движением поднимает руку, и начинает: «Восстань, проклятьем заклеянный!»

Девушки и мальчики благоговейно поют, сливая свои звонкие, чистые голоса с гудящим низко голосом Михаила Львовича. Жарким восторгом восстания и освобождения пылают их юные голоса. Выше, выше, выше белых туманов и темного леса, к облакам серебристым, к мерцающим тихо звездам, к луне ворожащей восходят призывные звуки гимна.

И белоствольные кудрявые березки, и молочно-белая застывшая в холодном небе луна, и белая, серебрящаяся, примятая детскими коленками трава, – все тихо, все молчит и слушает чутко. Все окрест чутко и торжественно слушает, как эти дети, светлые, облитые прозрачным серебром холодного лунного мерцания, склонив на траву колени, подняв к пустынно-ясному небу горящие темными кругами на бледных лицах глаза, потом повторяя слова вслед за высоким, слишком полным молодым человеком, лицо которого темно, и взоры упрямо прикованы к земле. Повторяют:

«В Интернационале
объединился род людской!»

Чужестранное, нерусским звуком взятое слово звучит, как высокое, святое наименование обетованной земли. Новой земли под новыми небесами. Земли, в которую верят, земли, без благочестивой мечты о которой и жить нельзя.

Когда замолк гимн, от земли до небес простерлось молчание, святое и торжественное. Как в храме нового, неведомого культа, в таинственный миг жертвоприношения.

XXXVI

Михаил Львович первый нарушает тишину. Он говорит медленно, ни на кого не глядя, устремив тяжелый взор поверх детских бледных лиц, за пламенный круг их взоров:

– Друзья, вы знаете, какое теперь время. Каждый из нас может понадобиться. Если кого-нибудь из нас пошлют, то, надеюсь, никто из нас не будет дрожать за свою драгоценную жизнь; никто не разжалобится мыслью о маменькином горе.

Дети восклицают:

– Никто! никто! Только бы послали!

И Наташа думает гордо:

«Что же горе одной матери в сравнении со страданиями целого

народа!»

На мгновение встает в памяти матово-бледное лицо матери, и ее слишком черные, вещие глаза. Острая боль мгновенно пронзает сердце. Но что ж! ведь это только один миг слабости. Гордая воля победит это малое страдание об одной близкой великой любовью ко многим далеким, но тяжело страдающим.

Что же горе одной матери! Пусть Ниобея вечно плачет о детях своих, умерщвленных жгучими, отравленными стрелами высокого Дракона, пусть Рахиль никогда не утешится, — что же горе бедной матери! Безоблачен Аполлонов лик, светел Аполлонов сон.

Но больно, больно! Меркнет милая мечта, словно темный лик рокового человека, запевавшего гордый гимн, затмил ворожащую в небе луну, и на самое сердце бросил угрюмую тень.

И нет луны, и нет ночи, и нет белой полянки в тумане в лесу. Снова ясный день перед Наташей, и она у окна, и перед ней книга, и старый дом молчит опять тоскливо. Рассеялась туча, снова небо ясно, — брызнули пламенные стрелы злого Дракона, снова о торжестве своем говорит победитель!

Навстречу тоске беспощадной! Жаль, жги, мучь, проклятый Дракон! Торжествуй, победитель! О, скоро и ты склонись к закату, и обольешь опять полнеба жаркой кровью, умирая на закате!

XXXVII

Наташа надевает соломенную желтую шляпу и идет в поле. Земля горяча, небо синее, воздух зноен, ветер спит, нивы желты, травы зеленеют. И опять, утопая в ярком зное, Наташа будит в себе сладкую истому воспоминаний, радующих забвением этого темного дня.

Идет, — и перед ней, как и тогда, то же раскинулось колеблемое жарким ветром золотое, жаркое поле. Воскрес давно пережитый, душный, знойный полдень.

Воскрес...

То было в дни, когда еще Наташа так любила это милое светило, земное, наше солнце, источник жизни и радости, вечный, неутомимый зов к трудам и подвигам, к подвигам свыше сил человека.

О, предательская речь искушителя Змия! Дурманит, и манит, и сказочной страной кажет бедную земную нашу. Зачем?

Зыбкое опять перед Наташей стелется море застывших от жары колосьев и синеньких, миленьких цветочков, застенчиво склонивших перед беспощадным Драконом свои сладко-затуманенные знойными грезами головки.

Наташа и ее брат Борис идут вдвоем. Межа тесна. Это их радует почему-то. Не потому ли, что между обступили золотые волны ржи?

Такая высокая рожь! Из-за ее колосьев едва виднеется вправо зеленая кровля старого дома и полукруглое окно в мезанине, и слева маленькие деревенские избы, серенькие, мохнатые.

Наташа и Борис идут друг за другом. Колышатся вокруг них шуршащие сухо стебли ржи, колышатся васильки синеглазые. Колышатся во ржи два тоненькие, хрупкие силуэта.

Наташа идет впереди. Борис отстал. Наташа оглядывается.

Мальчик, смуглый, тоненький, с горящими кругами глаз, в полотняной курточке, рвет синие цветочки. И уже большой сон их едва держится в его руках.

XXXVIII

Натанша смеется и говорит брату:

– Довольно, милый, довольно. Я их не смогу и в руках держать.

Весело отвечает Борис:

– Удержишь, ничего!

Натанша протягивает свою загорелую руку, и берет от него цветы. Она тоненькая, и сноп синеньких васильков раскинулся на ее груди, совсем закрыл ее, – и такая тоненькая с этим громадным снопом в руках!

Весело спрашивает Борис:

– Ну, что, тяжело?

Натанша смеется. Лицо ее светится благодарной радостью и веселой, детской решительностью. Говорит:

– Уж донесу эти-то, но и довольно.

Борис говорит упрямо:

– Я хочу нарвать тебе как можно больше. Ведь мы, может быть, не скоро увидимся.

Голос его при этих словах печально вздрагивает.

Натанша говорит задумчиво:

– Может быть, никогда.

Их лица становятся печальны и озабочены.

Борис, хмурясь, смотрит в сторону, и спрашивает:

– Натанша, ты с ним едешь?

Натанша знает, что Борис спрашивает ее о Михаиле Львовиче, – о том человеке, который теперь посылает ее на опасное дело, который потом пошлет и Бориса на безумнодерзкий подвиг. Что ж! Безумство храбрых!

И Натанша отвечает:

– Нет, одна. Он только потом проводит меня до места.

Борис смотрит на Натаншу грустными, завидующими глазами, и осторожно спрашивает:

– Странно, Натанша?

Натанша улыбается. Такая гордость в ее улыбке! Говорит спокойно:

– Нет, Борис. Радостно.

Борис видит, что лицо ее радостно, и глаза, черные пламенные, веселы. Он смотрит на нее, и ее спокойствие сообщается и ему, – спокойная уверенность в себе и в деле.

Безумство храбрых!

Дети идут дальше. Борис опять рвет васильки. Натанша мечтает о чем-то, – сорвала колосок, задумчиво жует зернышко.

XXXIX

Длится жаркий, знойный день. Неумолимый равнодушно глядит на детей Дракон. Он мечет без устали свои острые, багровые стрелы на смуглолицего отрока с пламенными кругами глаз, и на девушку, стройную, тоненькую, черноглазую. Жгучие стрелы его метки и злы, и свет его беспощадно ровен, – но она идет, и в глазах ее надежда, и в глазах ее решительность, и в черных глазах ее горит огонь, на котором пламенеет душа к подвигу свыше сил человека.

Натанша вдруг останавливается в конце межи у пыльной дороги.

Снежным, любованием смотрит на Бориса. Словно хочет она запомнить покрепче все эти милые черты родного смуглого лица, – излом густых бровей, упрямую сжатость румяных губ, твердый очерк подбородка, строгий профиль.

Вздыхает Наташа легонько. И говорит Борису нежно и весело:

– Довольно, милый. А то меня с таким ворохом, пожалуй, и в вагон не впустят. Скажут, сдавайте в багаж.

Смеются оба беззаботно. А Борис все-таки не может оторваться от васильков. Говорит:

– Еще, еще только немножко. Я хочу, чтобы у тебя букет был гигантский.

Шутит Наташа:

– Тебе бы все гигантское!

Но уже не смеется. Знает, как это в нем глубоко и значительно.

Борис смотрит на нее, и отвечает, повторяя любимую, задушевную свою мысль:

– Да, это правда, я люблю все такое огромное, чрезмерное. Во всем, во всем! Если бы мы всегда поступали так! Так отдавались бы всецело! О, как иначе сложилась бы тогда вся жизнь!

Наташа задумчиво повторяет:

– Чрезмерно, свыше сил человека, расточать, расточать жизнь. Только бы не скупость, только бы не дрожать над своим, – лучше умереть, всю жизнь собрать в один узелок, и бросить!

– Да, да! – говорит Борис, и глаза его, черные, как ночь, пылают далекой грозой. – Не жалеть жизнью, расточать их, расточать без конца, только так можно достигнуть высокой нашей цели!

Перешли через дорогу. Опять идут тихо по узкой меже, и одежды их белы среди золотых волн. Наташа протягивает тонкую руку, – шуршат сухо колосья, и тяжелые в загорелую руку надают зерна спелой ржи.

Реют над детьми багровые стрелы неумолимого Дракона.

Дети идут, обреченные оба. Доверчиво идут, и не знают они, что посылающий их, – предатель, и что цена их крови ничтожна.

XL

Что же это шуршит так хрупко? Сегодняшняя рожь. А где же васильки и Борис? Васильки во ржи, синеокие, а Борис повешен.

– А я? – в странном, тяжелом недоумении спрашивает сама себя Наташа.

Озирается кругом, как разбуженная.

– Как же я?

Сама себе отвечает:

– А я уцелела. Меня счастливый случай спас.

Так тяжело Наташе думать об этом. Как можно пережить!

– Лучше бы я погибла!

Так просто это вышло. Наташу поставили третьим номером, у самого вокзала, на случай неудачи первого и второго. Но справился первый, – хотя и сам погиб от взрыва!

Второй, услышавши невдалеке от себя взрыв, совсем растерялся. Бросился спасаться. Сел на извозчика. Доехал до реки. Нанял лодку. На середине реки бросил бомбу в реку. Лодочник догадался, что дело не ладно. Да и увидели с казенного парохода и с берега. «Второго» взяли, судили и повесили.

Наташа ничем не выдала себя. Ушла спокойно, не торопясь, со своей опасной ношей, никем не замеченная. Вмешалась в общий поток прохожих, озабоченных каждый своим делом. Сдала бомбу, куда было назначено.

Через несколько дней она уехала домой. За ней не следили.

Наташа ждала другого поручения.

И вдруг как-то отошла от этого дела, потому что погибла вера в него.

Это случилось еще до того, как Борю повесили. Разрешилось окончательно в те кошмарные дни, когда неожиданно и быстро была оборвана его жизнь.

Ужасные дни.

Но нет, не надо о них думать, не надо их вспоминать. Воспомянув, казнишь себя.

Лучше будет память о другом, безоблачном, прошлом.

ХLI

Волшебное зеркало памяти, в тебе отражено так много! Мелькают милые картины.

Цветы, за которыми они сами ухаживали. Грядка, над которой возились так любовно. Свежий, томный, вечерний дух левкоя. Влажный по заре от росы куст жасмина, от которого пахнет так сладко, так нежно, что хочется плакать, как плачет росой трава по заре золотой!

Площадка в саду. Столб, гигантские шаги. Как быстро, как высоко взлетали они с Борисом!

Милые детскому сердцу праздники. Сочельник, – елка со свечами на зеленых веточках, с разноцветным блеском золотых орехов, красных, зеленых, голубых подвесок, фольги, белого ватного снега; подарки, всегда неожиданно-радостные. Днем, – снег настоящий, хрупкий, блестящий, как соль; мороз щиплет щеки, солнце красно, рукавички пушисты, шапочки белы и мягки, салазки мчатся с горки, – ух!

А вот наступает Пасха. Торжественная ночь. Заутреня. Радостное пение. Огоньки, огоньки без конца. Пахнет куличами. Разноцветно-расписанные яички. Поцелуй со всеми. Все рады.

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

А дорогие сердцу покойники мертвы.

Нет. Милые, наивные воспоминания не перебьют рокового круга, воскрешения тех же смутных, отрывочных, страшных воспоминаний. Неудержимо влечется мечта к страшным, последним минутам.

ХLII

Жили в столице зимой. Борис учился в последнем классе гимназии. На святках уехал в другой город. Сказал, к родственникам.

Наташа догадалась было. Но он не сказал правды.

– Право ничего, – отвечал он на все ее расспросы. – Никто меня не посылает. Сам еду. К тете Любе.

Да Наташа и не настаивала.

И вот несколько дней не было от него писем. Но дома не

беспокоились. Борис не любил писать. Думали, что веселится и некогда.

Был вечер в начале января. Мать и бабушка были в гостях, Наташа осталась дома. Сказала, голова болит.

– Полежу на диване. Пройдет.

А настоящая была причина, – не хотелось ехать в этот скучный дом к чопорным светским родственникам.

Прислуга тоже отпросилась в гости. Наташа осталась в квартире одна. Легла у себя на диване. Взяла новую, интересную книжку. Читает.

После нескольких дней праздничного веселья и всякой иной суеты, Наташа чувствует себя славно. Уютно, спокойно, легко. Занавески на окнах непроницаемо-плотны. Лампа горит весело и ровно, под бисерной бахромой абажура скрывая от глаз ярко-раскаленные, молочно-белые перегибы своих тонких в стеклянной группе ниточек. Вся небольшая комната тонет в светлой зелено-розовой тени.

Страница за страницей, – ровные строки, ровная речь, – утомляют, наконец, Наташино внимание. Наташа дремлет. И засыпает. Раскрытая книга с мягким шумом падает на ковер, и в неровной измятости страниц забывает, где была раскрыта.

XLIII

Вдруг звонок. Наташа встрепенулась.

Наши? Нет. Звонок прозвенел так неуверенно, так робко. Казалось, что это во сне услышала звонок, не наяву, или кто-то маленький и проказливый шалит несмелой рукой.

Или послышалось?

Так дремлет. Лень встать. Пусть звонят.

Но вот и второй звонок, настойчивее, громче.

Наташа вскакивает и бежит в переднюю, оправляя на бегу смявшуюся на валике дивана прическу.

Двери не открывает, вспомнив, что она в квартире одна, и спрашивает:

– Кто там?

Из-за двери слышится негромкий, сильный голос, словно простуженный, – почтальонский голос.

– Телеграмма.

Забилось сердце боязливо. Так странно всегда получать телеграммы. Не торопятся только хорошие вести, – злые спешат.

Наташа вложила в узкое железное ложе плоский конец дверной цепочки. Приоткрыла дверь, смотрит. Посыльный с телеграфа, – башлык на фуражке, заледенелые, обвислые усы, высокий, сутулый, тощий. Сует телеграмму. Просит:

– Расписочку, барышня.

В Наташиной руке дрожит крохотный сверточек серовато-белой бумаги. Наташино сердце вдруг упало, захолонуло. Наташа говорит бессвязно:

– Что там? Боже мой! Расписку?

Бежит к столу. Руки дрожат. Едва вывела фамилию «Озорена» на серой бумаге, по которой скребет и царапает перо.

– Возьмите, вот расписка.

Сунула через цепочку в руку посыльного расписку и на чай. Захлопнула за ним дверь. Бежит к лампе. Что такое?

Разорвала с боку ленточку, читает. Страшные слова. Такие

простые, и такие непонятные. Потому что о Борисе.

«Борис стрелял... Арестован вместе с товарищами. Завтра военный суд. Грозит смертная казнь.»

XLIV

Наташа перечитывает телеграмму. Быстрый ужас, странно похожий на стыд, мгновенно сжимает ее сердце. Она слышит тяжелое стучание крови в своих висках. Точно давит что-то со всех сторон, и тяжело дышат, и словно железные воздвигались отовсюду вокруг нее стены, и все сдвигаются, – торопливые, бледные, карандашом брошенные на серую бумагу строчки.

Вот медленно, одна за другой, втесняются в Наташино тусклое сознание мысли, тяжелые, злые, беспощадные.

Тупо думает Наташа о том, как сказать об этом маме. Замечает, что дрожат руки. Вспоминает номер телефона Лареевых, где теперь должна быть мама.

Вдруг снова ужас, как лихорадочный озноб, потрясает ее всю с ног до головы. В голове яркая сумятица мыслей.

Нет, это ошибка! Этого не может быть! Безумная, жестокая ошибка! Чья-то бессмысленная, грубая шутка.

Борис, наш милый мальчик, с такими правдивыми глазами, – его повесят! Он захрипит, задыхаясь, качаясь в петле. Тугой острой болью сожмется детская нежная шея, побагровеет смуглое лицо, и, весь в пене, изо рта выползет распухший язык, и широко раскрытые глаза отразят ужас жестокого умирания.

Нет, нет, этого не может быть! Это ошибка! Но кто же так злобно ошибается?

И где же Борис?

Холодное сознание говорит, что это так, что нет никакой ошибки. Слова ясны, адрес верен, – да, да! Ведь этого и надо было ждать. Вот, это же и есть то расточение жизни, о котором он мечтал, – о котором мечтали они оба.

– Люблю все безмерное. Расточать жизни, – только так достигнем высокой нашей цели.

Ноги дрожат. Все тело точно опустелое. Наташа садится на диван.

Господи, что же это? Как же сказать об этом ужасе маме?

Или скрыть? Самой сделать, что можно? Да нет, что она может сделать одна!

Надо сказать. Скорее, скорее. Нельзя медлить ни минуты. Может быть, еще можно спасти Бориса, ехать, просить.

Что же она сидит! Надо действовать, скорее.

XLV

Наташа бросилась к телефону. Как долго не отвечает станция!

Наконец соединили. Слышна музыка, шум голосов. Веселый знакомый голос спрашивает:

– Кто у телефона?

– Это я, Наташа Озорева.

– А, здравствуй, Наташа. – болтает звонко Маруся Лареева. – Как жаль, что ты не пришла. У нас превесело.

– Здравствуй, милая Маруся. Мама у вас?

- Да, да, у нас. Позвать ее?
- Нет, нет, ради Бога. Скажите ей что-нибудь осторожнее...
- Что-нибудь случилось?
- Маруся, у нас страшное несчастье. Нашего Бориса арестовали.
- Боже мой. Да за что же?
- Не знаю. Военный суд. Я в отчаянии. Такой ужас! Ради

Бога, не испугайте сразу маму. Пусть она едет домой, скорее, пожалуйста.

- Ах, Боже мой, какое горе!
- Маруся, милая, ради Бога, скорее!
- Сейчас, я скажу своей маме. Подожди, Наташа, не отходи от телефона.

Стоит Наташа с телефонной трубкой, прижатой к уху, ждет. Слышит шум шагов. Кто-то запел.

Опять тот же голос, взволнованный очень:

- Наташа, ты слушаешь? Твоя мама сама хочет с тобой говорить.

Наташа дрожит от страха. Мама, Боже мой! Переспрашивает:

- Что? сама хочет говорить?
- Да, да. Я передаю трубку твоей маме.

XLVI

Слышен голос Софьи Александровны, весь разорванный странным беспокойством:

- Наташа, это ты? Ради Бога, что случилось?

Наташа отвечает:

- Да, мама, это я. Пришла телеграмма. Мама, ты не бойся, это, должно быть, какое-то недоразумение.

Слышен упавший голос:

- Прочти мне сейчас телеграмму.
- Сейчас принесу, - говорит Наташа.

Принесла телеграмму, прочла.

- Что? военный суд?

- Да, военный.

- Завтра?

- Да, да, завтра.

- Казнят его?

- Мама, ради Бога, не волнуйся. Может быть, можно что сделать.

- Мы туда едем. Наташа, собирайся. Сейчас мы с мамой вернемся домой, и выедем с первым поездом.

Отбой.

Наташа одна. Мечется по пустой квартире. Собирает что-то, роняя вещи в чуткой тишине. Возится с чемоданами, с подушками.

Да, надо посмотреть, когда поезд. Половина первого. Ну, еще успеем на ночной.

Звонок, испугавший еще больше того, первого. Это приехали мама и бабушка, обезумевшие от бледного ужаса.

XLVII

Бессонная, томительная ночь в вагоне. Стук колес, скрежещущий, мерный. Остановки. Так все медленно! Такая тоска! О, скорее,

скорее!

Или желать лучше, чтобы застыло время? чтобы окоченели его распростертые над миром мохнатые крылья? чтобы немигающим на веки остановился его совиный взор на том мгновении, когда еще не сказано страшного слова?

Приехали, наконец, днем. На вокзале, унылом и грязном, их встретил Наташин двоюродный брат, молодой присяжный поверенный. По его бледному, растерянному лицу поняли, догадались, что все кончено.

Говорит много, но бессвязно. Утешает надеждами, в которые сам не верит.

Суд уже был, рано утром. Борис и оба его товарища, – все такая же зеленая молодежь, – приговорены к смертной казни через повешение. Кассационная жалоба не будет допущена. Вся надежда на местного генерала. Он, в сущности, не злой человек. Может быть, удастся вымолить у него облегчение участи, – каторгу без срока.

Бедные матери, о чем они молят!

XLVIII

Поехали к генералу Софья Александровна и Наташа. Долго ждали в пустынном, тихом зале, где блестел лощеный паркет, висели портреты в золотых рамах, и гулки были осторожные шаги мужчин в мундирах, выходявших время от времени из огромной белой двери.

Наконец приняли. Генерал любезно выслушал, и решительно отказал. Встал, звякая шпорами, вытянулся во весь рост, – стройный, высокий, с грудью, увешанной орденами, с седыми волосами, красным лицом, черными бровями и широким носом.

Напрасны унижительные мольбы.

Мама, бледная, гордая мама стояла на коленях перед генералом, целовала, плача горько, его руки, в ногах валялась, – напрасно. Холодный ответ:

– Простите, сударыня, не нахожу возможным. Понимаю вашу скорбь, вполне сочувствую вашему горю, но что же я могу? Кто же в этом виноват? На мне лежит тяжелая ответственность перед Престолом и отечеством. Долг службы, – ничего не могу. Пеняйте сами на себя, – вырастили.

Что же слезы бедной матери! Бейся на холодном паркете головой о черный блеск его сапог, или уйди гордо и молча, – все равно, он ничего не может. Твои слезы и мольбы его не тронут, твои проклятия его не оскорбят. Он – добрый человек, он – любящий отец семейства, но его прямая солдатская душа не трепещет перед словом смерть. На войне он дерзко бросал свою жизнь навстречу смертным опасностям, – что же ему смерть крамольника?

– Но ведь он совсем мальчик!

– Нет, сударыня, это не детская шалость. Простите.

Уходит. Мерно звякают шпоры. Паркет смутно отражает высокую, стройную фигуру.

– Генерал, сжальтесь!

Холодная, белая дверь захлопнулась. Тихий, любезный говор молодого офицера. Поднимает, помогает уйти.

Дали свидание. Несколько минут промчались в сумятице вопросов, ответов, объятий, слез.

Борис почти ничего не говорил.

– Ты, мама, не плачь. Я не боюсь. Ну, они иначе не могут. Кормят здесь не дурно. Кланяйтесь родным. А ты, Наташа, береги маму. С нашей семьи довольно. Ну, прощайте.

Какой-то был равнодушный и далекий. Казалось, что думал о чем-то ином, о чем не говорят никому. И звучали его слова, как внешние, так, для разговора.

Ночью перед рассветом Бориса повесили. Казнили его в тюремной ограде. Неведомо где зарыли.

Мать молила на другой день:

– Покажите мне хоть могилу!

– Какая ж могила! В гроб положили, в землю зарыли, насыпь с землей сравняли, – известно, как казненных хоронят.

– Хоть скажите, как умер.

– Что же, молодцом. Спокойно, серьезно. А вот от священника отказался. И креста не целовал.

Так и вернулись домой. Туман тоски навис над ними. А под ним безумная зажглась надежда, – нет, Боря не умер, Боря вернется.

L

Мысль о том, что Бориса повесили, не могла войти в круг будничных, привычных мыслей. Только в зенитный солнечный час да еще в лунную полночь она острым кинжалом врезывалась вдруг в разбуженное сознание. И опять пронзала душу острой, нестерпимой болью, и опять по заре с тупым туманом тусклой тоски уходила прочь. И опять возникла безумная уверенность.

Нет, Боря вернется. Вот звякнет звонок, откроет дверь.

– А, Боря! Где ты пропал?

Как мы его расцелуем! Новостей сколько!

– Где пропал, там нету. Пропал, и нашелся, как блудный сын.

Сколько радости будет!

А старенькая нянька плачет неутешно. Причитает.

– Борюшка, Борюшка, ненаглядненький мой! Я ему говорю: Я, Борюшка, в богадельню пойду. А он мне: не хочу, говорит, нянечка, не пусти тебя в богадельню, я тебя, говорит, возьму к себе, старенькая, дай мне только вырасти, живи, говорит, у меня. Борюшка, да что же это!

Утром пошла старая няня в переднюю. Видит, – чье это серое пальто на вешалке? Борино, гимназическое. Разве он сегодня не пошел в гимназию?

Идет в столовую, шагая мягкими туфлями.

– Наташенька, да что это, Борюшка дома? Смотрю, пальто на вешалке. Или болен?

– Нянька! – восклицает Наташа. И с испугом смотрит на мать.

Вспомнила старенькая няня. Плачет. Трясется седая голова в черной повязке. Причитает старая:

– Пошла, смотрю, пальто на вешалке. Борюшкино пальто, в

гимназию ходил Борюшка, думаю, с чего дома? не праздник. Борюшка, – нет Борюшки моего!

Все громче вопли. Упала старая, бьется на полу.

– Боречка, Боречка, родненький! Господи, меня бы, старую, прибрал вместо него. На что мне жизнь! Брожу, ни себе ни людям радости.

Наташа бледная шепчет слова:

– Нянюшка, милая, успокойся.

– Успокой меня ты, Господи! Господи, чуяло мое сердце. Сны все снились нехорошие. Сбылись черные сны! Боречка, родной!

Бьется, плачет старая. Наташа просит мать:

– Мамочка, ради Бога, – вели убрать с вешалки Борино пальто.

Софья Александровна смотрит на нее пламенно–черными глазами, и говорит угрюмо:

– Зачем? Пусть висит. Вдруг оно ему понадобится.

О, ненавистные воспоминания! Пока царит на небе злой Дракон, никуда не уйдешь от них.

Наташа мечется, не находит себе места. В лес пойдет, – о Борисе думает, о том, что он повешен. К реке пойдет, – о Борисе думает, о том, что его нет. Вернется домой, – и стены старого дома о Борисе напоминают, о том, что он не вернется.

Бледной тенью ходит по аллеям сада мать, выбирая места, где гуще тень. Сидит на скамеечке бабушка, прямая, как молоденькая институтка, и дочитывает газеты. Все то же каждый день.

LI

Но вот уже вечереет. Солнце низко и багрово. Оно смотрит людям прямо в глаза, словно, издыхая, о жалости молит. От речки веет прохладой и смехом белых русалок.

Развеваются весело подола рубашек у мальчишек, бегающих шумной толпой, и пузырями надуваются их рукава. Где–то вдаль пиликает хрипая гармоника, и песня льется развеселая. В поле громко скрипит коростель, и скрип его похож на зычный генеральский храп.

Старый дом опять расправляет и раскидывает далеко свои смятые грубым днем темные тени. Окна его загораются заревой алой радостью.

Томно пахнут в далеких аллеях левкои. Розы по заре еще розовее и благоуханнее. Вечная, розовая нагим мрамором дивного тела, снова улыбается Афродита, роняя одежды движением, пленительным, как прежде.

И все опять, как прежде, к милым, безумным надеждам устремлено. Изнеможенная в пылании дня, тоской ясного дня измученная душа истощила всю свою волю к страданиям, и падает из железных объятий тоски на темную, милую землю былой жизни, вновь орошенную мечтательно–прохладной росой.

И опять, как по заре утром, ждут своего Бориса три женщины в старом доме, на краткое время счастливые в своем безумии.

Ждут и говорят о нем, пока из–за деревьев темного леса не поднимет своего вечно–опечаленного лика холодная луна. Мертвая луна над белым саваном тумана.

Тогда они опять, все трое, вспоминают о том, что Боря повешен, и сходятся к затаенному ряской пруду плакать о нем.

Прежде всех выходит из дому Наташа. На ней белое платье и черный плащ. Ее черные волосы прикрыты легким платком. В ее слишком черных глазах затаились глубокие пламенники. Она стоит, обратив к луне бледное лицо. Ждет остальных двух.

Елена Кирилловна и Софья Александровна приходят вместе.

Елена Кирилловна выходит из дому раньше, но Софья Александровна бежит за ней, и уже у самого пруда ее догоняет. На них черные плащи, черные платки на головах, и черные башмаки.

Наташа говорит:

– В ночь перед казнью он не спал. Луна, такая же ясная, как теперь, смотрела в узкое окно его камеры. На полу его камеры она печально чертила зеленый ромб, пересеченный вдоль и поперек узкими черными чертами. Борис ходил по камере, глядел то на луну, то на зеленый ромб, и думал. Я бы хотела знать, о чем он думал в эту ночь?

Так спокойно звучит ее вопрос. Как о чужом.

Софья Александровна порывисто ломает руки, и говорит, и голос ее трепетен и напоен тоской:

– Что можно думать в такие минуты! Вот луна светит, давно уже мертвая. Пять шагов от двери до окна, четыре шага поперек. Мысль прыгает лихорадочно с предмета на предмет. О том, что завтра утром казнь, стараешься не думать. Упрямо гонишь эту мысль. А она стоит, не отходит, давит душу тяжким, уродливым кошмаром. Тоска томит неодолимая. Но не надо, чтобы мои тюремщики и все эти чиновники, которые придут, заметили мою тоску. Буду спокоен. Такая тоска, – завыл бы, к бледной луне поднимая бледное лицо!

Елена Кирилловна шепчет тихо:

– Страшно, Союшка.

В ее голосе слезы, – простодушные, старухины, бабушкины слезы.

Софья Александровна, не слушая, продолжает:

– Зачем-то надо, чтобы я шел на казнь смело и решительно. Но не все ли равно? Казнят за оградой, в темной ночи. Умру ли я смело, буду ли я малодушно рыдать, молить пощады, отбиваться от палача, – не все ли равно. Никто не узнает, как я умер. Перед лицом моей смерти я один. Зачем же терпеть мне эту дикую тоску? Занюю, зарыдаю, всю тюрьму переполошу моим отчаянным воплем, и город разбужу, свободный, но так же скованный, как и моя тюрьма, – чтобы не один я томился, чтобы и другие приобщились к моему предсмертному томлению, к последнему ужасу моему. Но нет, не надо. Моя судьба, – умру один.

Наташа встает, дрожит, сжимает своей рукой холодную руку матери, и говорит:

– Мама, мама, это ужасно, если один. Не надо, чтобы он чувствовал себя одиноким. Будем с ним.

Елена Кирилловна шепчет:

– Да, Союшка, это страшно, если один. В такие минуты!

– Мы с ним, – настойчиво повторяет Наташа. – Мы уже с ним.

На губах Софьи Александровны улыбка, подобная той, которой умирающий встречает свое последнее утешение. Софья Александровна говорит:

– Последнее утешение, мысль, что я не один. Он со мной. Эти стены призрачны, эта тюрьма – воздвигнутая людьми ложь. Не ложно и не призрачно страдание мое, и в тоске моей я соединен с ними. Бедное утешение! Все-таки я, вот этот я, особенный, сам для себя родившийся Борис, я умираю.

– Я умираю, – повторяет Наташа.

Ее голос темен и звучит отчаянием. И все трое молчат недолго, объятые очарованием трогательных слов.

LIV

Опять говорит Софья Александровна. Голос ее кажется спокойным, и звучит неторопливо, мерно:

– Нет никакого утешения для умирающего. Тоска его неодолима. Холодная луна мучительно томит его. Из его горла рвется стон, подобный дикому вою плененного зверя.

Тоскливо говорит Наташа:

– Но он не один, не один. Мы же с ним в его тоске.

Ее глаза, – они чернее черной ночи, – поднимаются к неживой в небесах луне, и зеленая чародейка отражается в них, и томно мучит.

Софья Александровна улыбается, – и улыбка ее мертва, – и голосом неутраченного горя говорит опять медленно и тихо:

– Мы с ним только в его безнадежности, в его жалкой безутешности, в его темном одиночестве. Один, один, он был задушен рукой наемного палача, задушен за страшной оградой, которой нам не разрушить. И мертвая луна томила его, как она и нас томит. Искушала она его безумной жадной диких воплей, звериного, предсмертного воя. А мы теперь, в этот час, под этой луной, разве мы не томимся той же безумной жадью, – бежать, бежать далеко от людей, и стонать, и рыдать, и метаться от невыносимой тоски!

Она встает порывисто, и идет, ломая прекрасные белые руки. Идет быстро, почти бежит, словно гонимая чужой бешеной волей. Наташа идет за ней неторопливой, но быстрой, отчетливо-мертвой походкой автомата. А за ними торопится, роняя скупые слезинки на черный плащ, Елена Кирилловна.

Луна внимательно и равнодушно смотрит на их поспешное шествие через сад, через поле, в тот лес, на ту тихую полянку, где когда-то дети пели гордый гимн, где когда-то к безумным подвигам звал их тот, кто собирался продать их за сходную цену, – юная кровь за золото.

В полях росисты травы. Над речкой бел туман. В небе луна ясна и холодна. Так везде тихо, точно в мертвом лунном свете потонули все земные шорохи и шумы.

LV

Вот и поляна. Наташа, помнишь? Как дружно пели!

«Восстань, проклятым заклеянный».

Наташа, споешь? Не страшно?

– Спою, – кому-то тихо отвечает Наташа.

Поет тихонько, почти про себя. Слушает мать, и бабушка слушает, – а березкам, и травам, и ясной луне какое дело до людских песен!

«В Интернационале
объединился род людской!»

Замолкла. Тихо в лесу. Луна ждет. Туман задумчив. Березки чутки. Небо ясно.

Ах, вся эта жизнь для кого? кто зовет? кто отзовется? или все это – мертвая игра?

Горьким воплем зовет мать:

– Боря, Боря!

Заливаясь слезами, отвечает Елена Кирилловна:

– Боря не придет. Его нет.

Натанша протягивает руки к нежной луне, и кричит:

– Бориса повесили!

Они все трое становятся рядом, смотрят на луну, и плачут. Все громче и отчаяннее звучат их рыдания. Их стелющиеся вопли переходят наконец в протяжный, дикий вой, слышимый далека окрест.

Собака у избышки лесника настораживается. Дрожит всем худым телом, подняла ухо, взъерошила редкую шерсть. Встала, вытянулась на сухих лапах. Острая морда с оскаленными зубами поднята к мучительной луне. Глаза горят тоскливыми огнями. Собака воет, вторя далекому плачу женщины в лесу.

Люди снят.

ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА

Со времени смерти своей матери Леонид не мог и не хотел утешиться, и тяготела над ним неотступная печаль, такая несвойственная его возрасту, – ему только на днях исполнилось пятнадцать лет. Прошло уже несколько месяцев с того дня, когда по талому снегу последнего зимнего дня погребальная колесница двигалась медленно от лестницы старого прадедовского дома, по старой березовой аллее, сопровождаемая толпой родных, друзей и знакомых, колесница черная с белым, матовая и страшная, увозя бездыханное в тесном гробу тело возлюбленной, милой мамы, – и все еще как в первый день смертной скорби, смутен и грустен был Леонид, и ничему не улыбался, и не обрадовался ни разу ничему. Ничему!

Каждый день, рано утром, спускался он в сад по каменной широкой лестнице, и садился на скамье, поставленной на ее нижней площадке. Смотрел на эту высокую серую лестницу, по которой так медленно и печально несли тогда черные люди белый гроб, – смотрел, вспоминал, мечтал о чем-то грустном. Когда было необходимо замяться чем-нибудь, он с тоской и неохотой оставлял свое любимое место, и потом опять торопился к подножию высокой лестницы.

В полугоре стоял старый, большой дом, – он теперь вместе со всем этим имением, принадлежал Леониду. Каменная длинная лестница вела от него вниз, к аллее старых берез и к весело зеленеющему саду. Из серого камня были вытесаны столбики ее перил, и она лежала на горе, холодная и печальная. Там, наверху, где была терраса у входа в дом, еще не кончалась она, загибалась в левую сторону дома, и поднималась снаружи к высокой башне, с которой далекие видны были окрестные просторы. В сравнении с домом лестница казалась слишком большой, и каменная, холодная печаль ее,

казалось, тяготела над обоими жильями старого дома, и восходила к высокой башне, небесами открывая, безмолвным и высоким, свои высокие, холодные томления, свои тусклые, вечные вздохи.

Когда багряная на радостном небе играла вечерняя заря, недолгой радостью алели холодные, каменные ступени, – и бессильно погасали опять.

Но ясны были небеса над лестницей перед башней, омрачались ли они печалью темных туч, – Леониду всегда казалось, что невидимые вестники печали нисходят к нему по каменному холоду ступеней. И у них крылья остры, длинные и черны, и в глазах у них пламенная тьма, и в нежных руках у них до краев наполненные слезницы. Взоры их упали глубоко в душу Леонида, – и не улыбался он дню и солнцу, и не радовался веселью и смеху, закипавшим в просторах старого сада.

Напрасно благоухали и пестрели перед Леонидом цветы, оберегаемые заботливостью опытного, искусного садовника, – напрасно небеса над Леонидом голубели в высокой ясности безоблачного дня, – напрасно звенели над ним быстрые вскрики легкокрылых птиц и забавно радостные их щебетания, – напрасно приходили к Леониду говорить с ним, утешать его и забавить его многочисленные родственницы, – сестры, тети, – и подруги их, и улыбались ему карминно-алой прелестью беззаботных улыбок, – напрасно! Леонида не радовало ничто, и ничто не вызывало на его уста улыбки.

Сестра его Елена говорила ему:

– Мы все любили маму...

И темно-карие глаза ее становились влажными.

– Мы все не можем забыть ее...

И легкой печалью омрачалось ее милое лицо, – милое лицо чистой сердцем семнадцатилетней девушки.

– Но разве мама, наша милая мама, была бы довольна, если бы видела, что мы тоскуем и плачем без конца?

И отвечал ей Леонид:

– Когда я закрою глаза, мне представляется, что по этим ступеням идут ко мне из нашего дома один за другим вестники печали. И подходят ко мне один за другим, и я вижу острый излом черных крыльев, и слышу, – каждый говорит мне горькое слово. И в словах их – укор несправедливой жизни и хвала утешающей смерти. И проходят. Когда я прихожу сюда ночью, я опять вижу их на холодных ступенях, под холодной луной, – и одежды их смутно белеют, и очи их темны, и речи их горьки, – ах, горьки, но и радостны, радостны радостью, смертельно жалеющей мое сердце!

И говорит ему Елена:

– Они говорят неправду. Что ж из того, что они приходят к тебе из нашего старого дома! Ты не должен им верить. Они злые послы злого духа, и обманчивы их скорбные взоры, и печальные речи их, – ложь. Разве ты не знаешь, что уже давно обличена неправда их злых, коварных внушений?

– Кем обличена? Когда? – грустно спрашивал Леонид.

Прислушивался к ее ответу, и надеялся услышать что-то несомненное, что победило бы его тоску. Но не мог поверить тому, что говорила, отвечая ему, Елена.

Говорила:

– Разве ты забыл сладчайшее имя Того, кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть?

И отвечал ей Леонид:

– Он родился, и мы его убили. Он рождается, и мы его

убиваем. Ах, знаю, — явлены были чудеса и слава, но нам-то что! Коснеем мы во тьме жизни, пеленой и безобразной. И как же не поверить мне милым вестникам нескончаемой скорби, нисходящим ко мне по холоду этой серой лестницы!

Молчали долго. И спросила Елена:

— Разве мы только убиваем? Страдая творим и, творческим подвигом радуя, радуемся.

— Не знаю радости, — говорит Леонид. — Тяжелые камни на моей душе.

— Я сниму их, — говорила Елена.

— Не хочу, — отвечал Леонид. — Горька печаль моя, но путь мой прав, и не к жизни ведет он. Умру от печали, здесь у этих серых плит, здесь, у ног непрерывно нисходящих вестников скорби.

И вот выражение непреклонной воли легло на Еленино прекрасное лицо, и черные брови ее упрямо сдвинулись, и темные глаза ее с угрозой поднялись к старому дому и к серым ступеням, по которым нисходили незримые. Она сказала:

— Нет, так не будет! Если даже и правы они, злые и безрадостные, то все же воля моя преобразит мир скорби в светлый мир восторга. Зачарую вестью радости серые ступени этой тяжелой лестницы, и золотую на ее месте ты увидишь лестницу, и по этой лестнице низведу к тебе радостных вестниц, легкую вереницу вестниц, обрадованных и радующих. Тогда ты, Леонид, поверишь ли им и мне? Тогда утетишься ли? Тогда благословишь ли ты легкий, сладкий воздух земного, милого бытия?

— Да, — тихо отвечал Леонид, — тогда поверю, и утешусь, и благословлю. Но нет, Елена, эта лестница такая высокая, такая тяжелая, такая холодная, — как же ей быть золотой лестницей! По ее ли жестким ступеням пройдут нежные ноги тихо радующихся дев?

Ничего не сказала ему на это Елена. Ушла. И оставила его одного с его печалью. К сестрам и подругам ушла, и говорила с ними о чем-то долго, и уговаривала их, склоняя к чему-то.

Приходили к Леониду и другие, и, утешая, говорили с ним. Сестрица Лиза, влюбленная красавица, готова была без конца говорить о своем женихе. И вдруг, перебивая сама себя, говорила:

— Милый Леонид, поверь мне, — жизнь так хороша, так сладко жить! Только ты один наводишь на всех нас уныние. Перестань тужить и печалиться. Будь, как все добрые люди.

Леонид отвечал ей спокойно:

— Ты счастливая и веселая, иди к таким же веселым и счастливым, а меня оставь.

Она легонько вздыхала и уходила.

Приходила Анна Петровна, фельдшерница. Она садилась рядом с Леонидом, тонкая, прямая, улыбалась сухими, тонкими губами большого рта, закуривала папиросу и говорила:

— Очень вредно скучать так долго. Это может скверно отразиться на вашем здоровье, Леонид.

Леонид мельком взглядывал на туго сложенный на затылке узел черных волос Анны Петровны, и молчал. Анна Петровна продолжала:

— Необходимо принять меры. Лучше всего обратиться к врачу. Но и до прибытия врача можно кое-что предпринять. Гимнастика, игры, купание, — все это может изменить ваше настроение в хорошую сторону. Вы сегодня купались, Леонид?

— Нет еще, — отвечал Леонид.

— Я бы советовала вам сейчас же выкупаться.

Она вытаскивала длинными, тонкими пальцами из-за черного с

узкой пряжкой пояса на их матово-белый циферблат, задумывалась на минуту и говорила:

– Да, теперь как раз самое удобное время. Идите же, Леонид, не пропускайте удобного времени, когда еще солнце не очень высоко.

– Хорошо, – говорил Леонид.

Он шел купаться. Неширокая и неглубокая тихая река огибала длинной лукой сад старого дома. Даль полей зеленела за ней, тихая, грустная, тая в своем молчании далекие голоса.

Леонид входил в прохладу вод и плыл к противоположному берегу и обратно. Отраден был глубинный холод вод, и не о жизни говорил он Леониду. О смерти холодной, спокойной, утешающей, уводящей от злых томлений под очами безумно пламенеющего в пустыне высоких небес Дракона.

Леонид неторопливо одевался. По влажному песку берега, по теплым травам лужаек, по мелкому сухому песку аллея проходила он тихо, и земля приникла к его нагим стопам, родная, милая земля, та, в которой спит его мама, и влажная росой трава обвивалась нежно вокруг его открытых до колен ног.

Милая земля, не из тебя ли возникла вся жизнь земная? Но, приникая к стопам тоскующего отрока, не о жизни напоминаешь ты, к утешительному зовешь ты успокоению в тишине и во тьме твоей глубины.

Леонид возвращался к скамейке у подножия серой лестницы. И к ногам его льнул холод с каменных ступеней, и смеялся кто-то незримый, повторяя:

– Где же золотая лестница?

Легкое облачко табачного дыма синело, расплываясь в теплом утреннем летнем воздухе, – как дым ладана синело дымное облачко. Анна Петровна курила, сидя на скамейке, и, улыбаясь навстречу Леониду, смотрела на его покрытые росой ранних трав ноги.

– Вот так лучше, – говорила она. – Теперь займитесь-ка гимнастикой. После купания очень полезно. Ну-с, сделаемте вот что.

Она хмурила брови, и все ее сухое лицо выражало строгую деловую озабоченность; задумывалась на минутку, и, наконец, называла какое-нибудь гимнастическое упражнение. Леонид послушно исполнял ее команду и проделывал одно за другим несколько упражнений. Телу было удобно двигаться в легкой, короткой летней одежде, грудь легко дышала под тонким белым полотном, – но лицо его оставалось спокойным и нерадостным, и улыбки не цвели на нем, и потому со стороны странно было смотреть на этот урок гимнастики в саду, на песчаной площадке у подножия высокой серой лестницы, ведущей в старый дом и выше, на его башню.

Но Анна Петровна была довольна. Она серьезно отсчитывала темп движений:

– Раз! Два! Три! Четыре!

Когда, по ее мнению, было довольно, она, вместо «четыре», говорила:

– Стой!

И придумывала новое упражнение. В промежутках между двумя движениями приговаривала:

– Главное, дышите свободно и глубоко. Нормальное дыхание – очень важное условие хорошего самочувствия.

Леонид смотрел на ее серьезное лицо, на ее худощавые смуглые щеки с выдающимися монгольскими скулами, и думал, что она вся механическая, как кукла, заряженная чужими словами, и что она сама

по себе никогда ничего не думает и ничего в мире не раз по своему не почувствовала. И он думал, что уж если надо жить на этой земле, то хорошо быть вот таким «организмом».

И Анна Петровна говорила:

– Человеческий организм для своего правильного развития требует известных условий, которые более или менее точно установлены наукой. Ну–с, вольных упражнений достаточно. Теперь мы займемся бегом. Я бегу, вы меня догоняете. Вы помните, надеюсь, как следует держать туловище при беге? Главное, дышите свободно и глубоко.

Анна Петровна бросала докуренную папироску, вставала,правляла скучные складки своей строгой лиловой юбки и, хлопая в ладоши, мерно считала:

– Раз! Два! Три!

Со словом «три» она срывалась с места, и мчалась по березовой аллее, прижимая локти к бокам и отводя плечи назад, чтобы грудь дышала свободнее. Но лицо ее оставалось озабоченным, и тонкие губы ее слабо и неверно улыбались, точно по заказу.

Леонид бежал за ней тихо и не скоро, не догоняя ее и не отставая. Движения высоко открытых ног его были легки и красивы, и руки его двигались, как у бегущего юного полубога, но лицо его оставалось печальным, и улыбки не было на его алых, на его нежных губах. И сердце билось в груди и сжималось томлением тоски и печали, и ритмичный бег его был точно бег увлекаемого в стремительное кружение на последнем смертном пути. Лиловые на зеленых радостях листвы и трав веяние строгой юбки, было перед ним, как веемый незримо цвет безнадежной печали, влекущей стремительно в смертный путь.

Добежав до речного берега, Анна Петровна останавливалась и говорила:

– Вы, Леонид, опять не могли догнать меня. Положим, я хорошо бегаю. Но я довольна. И я надеюсь, что сегодняшние упражнения благоприятно отразятся на общем состоянии вашего организма, а, следовательно, и на вашем настроении.

Леонид благодарил Анну Петровну, и уходил на свою скамейку, к подножию вечно–серой лестницы. И, глядя на ее высокие, строгие ступени и на строгий очерк ее тяжелых перил, он думал с безнадежной грустью:

– Умру от печали, а ты никогда не будешь золотой лестницей, и не сойдет ко мне очаровательная вестница восторга, унящего душу и побеждающего тоску и смерть.

Закрывал глаза, и приходили перед ним вестники печали. И одежды их были белы, и крылья их черны, длинны и остры, и горькие с их строгих уст падали слова.

Вот раздавались снова чьи–то робкие голоса, – девичьи голоса звучали смущенно и весело.

Леонид открывал глаза. Перед ним стояли поповны, румяные, смущенно–веселые девушки: Алевтина, Антонина, Валентина и Зинаида.

Они подталкивали одна другую, перешептывались, и, наконец, старшая, Алевтина, говорила Леониду:

– Составьте нам, Леонид, компанию в саду нашем погулять.

– Мне гулять не хочется, – отвечал Леонид.

– А посидеть здесь с вами можно, разрешите, Леонид? – спрашивала Антонина.

– Пожалуйста, посидите, – отвечал Леонид спокойно и весело.

Сестры усаживались рядышком. Их светлые платья при этом

почему-то шумели, точно слегка подкрахмаленные. Они хихикали, переглядывались, и разговор заводила уже третья, по порядку.

– Мне очень нравится ваш сад, – говорила Валентина.

И младшая, Зинаида, говорила за ней:

– Очень красивая лестница, а сверху, с башни, удивительно восхитительный вид на всю окрестность.

– Я не понимаю, – говорила Алевтина, – как можно скучать, когда имеешь такой шикарный дом с такой упоительной лестницей, и такую великолепную башню с таким отличным видом.

Антонина говорила:

– Сделайте нам такое большое удовольствие, поднимемся с вами на башню, полюбоваться видами окрестности.

– Пойдемте, – равнодушно говорил Леонид.

Поповны радостно устремлялись вверх, а за ними шел Леонид. О, скучное восхождение по серому камню ступеней! И каменный холод у ног, и жесткие под ногами камни!

На каждой из трех площадок доверху и на террасе у входа в дом поповны останавливались, восхищаясь и ахали.

И, наконец, на башне, поповны замирали от восторга.

Ах, милые земные дали! Вы зелените и цветете, и вольный проносится над вами ветер, взвевая сизые пыльные вихри, – но вся ваша цветущая радость отравлена истомой смерти!

И нет радости Леониду, и нет улыбки на его губах. Поповны сходят с башни, и глядят на его печальное лицо. Они добрые, и хочется им развлечь Леонида и обрадовать, но не знают они утешающих слов, и вздыхают и уходят.

Иногда приходит к Леониду здешняя сельская учительница, Марья Николаевна, молодая девушка. У нее очень умное лицо, мягкие, как у лошадки, губы, и кроткие серые глаза. Она постоянно таскает с собой какую-нибудь тоненькую, но умную книжку, и пользуется всякой свободной минуткой, чтобы почитать. Она говорит:

– Не хорошо, что вы ничем серьезно не займетесь, Леонид.

– Я учусь не плохо, – отвечает ей Леонид.

– Я это знаю, – говорит Марья Николаевна, – но я посоветовала бы вам заняться самостоятельным чтением. Есть очень умные и очень полезные книги.

Она говорит долго и умно.

Леонид смотрит на ее лицо, и думает, что ее мягкие губы и ее кроткие глаза не идут к умному выражению ее лица, и что потому она вся нескладная. Миленькая, недурная, стройненькая, ничего себе, к лицу причесана, ничего себе, к лицу одета, хотя и скромненько, – а все-таки нескладная какая-то. И что она лепечет о книжках, – ах, глупая! Что скажут книги ему, тоскующему на диком холоде серой каменной лестнице?

Много жило в доме молодых девушек и молодых женщин, – много PRIHODILO в дом молодых к ним подруг! – и все они заводили с Леонидом добрые, утешающие речи, – и ни одна из них не умела утешить его.

Собрала Елена своих родственниц и подруг, и сказала им:

– Всем нам жаль нашего милого Леонида, который не хочет утешиться. Он настойчиво возвращается на скамью на нижней площадке большой лестницы и смотрит на ее серые, холодные ступени. Ему кажется, что по лестнице спускаются незримые вестники печали:

нескончаемой вереницей проходят они перед ним и говорят ему горькие слова, — хулят жизнь и славят смерть. Но мы изгоним злых вестников. Во имя Того, кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть, мы изгоним их. Серую лестницу печали мы преобразим в золотую лестницу красоты и восторга.

— Как же это сделать? — спросили ее сестры и подруги.

И рассказала им Елена свой замысел. Некоторые из них, — правда, немногие, — согласились сразу, другие же спорили и отказывались. Им казалось неловко и стыдно исполнить то, о чем говорила Елена. Они боялись, что их осудят соседи, и что на них рассердятся их родители. Спорили и уговаривали их остальные долго, — несколько дней прошло в этих совещаниях, — и, наконец, все согласилось. И было много их, молодых женщин и девушек, родственниц Леонида и подруг их, — когда Елена сосчитала всех готовых прийти к Леониду вестницами восторга, то число их было двадцать семь.

Знойный день опять склонялся к падению, и было тихо окрест безмолвного старого дома. Тени берез, как утомленные долгой дорогой путницы, легли устало на нижние ступени серой лестницы. Леонид сидел на своем обычном месте. Он знал, что скоро солнце, падающее к закату, станет в просвет березовой аллеи, и короткой нежно-алой надеждой затеплятся серые ступени, чтобы через несколько минут опять охолодеть и окаменеть в тусклой, серой своей безнадежности. С настойчивой печалью говорили ему тихо скользящие мимо вестники скорби:

— Обманами радости и смеха прельщает жизнь, — не верь ее прельщениям.

— Многообразны пути пленительных заблуждений и соблазнов, но правый путь один.

— Смертный путь.

— Смеется жизнь над теми, кто мечтает оправдать ее.

— Только в смерти — истина, только смерти принадлежит правая победа.

И проходили один за другим.

Но вот пришла Елена. Она сказала Леониду, что много ее слегка вздрагивал от волнения:

— Пройдут краткие минуты, и по золотой лестнице пройдут вестники восторга, хвалящие милую жизнь. И ты обрадуешься им, Леонид?

— Да, — сказал Леонид, — если бы они пришли! Но во всем передо мной тусклая обычность и холод серого камня, и взвешивая на ступени ветром серая пыль шуршащего хворого сада и обих этого М

— Жди, что сказала Елена.

Она медленно поднималась по ступеням, и долго следил Леонид за мельканием ее легко розовеющего на солнце платья.

Она скрылась в дверях старого дома. И никого не было в саду, и все окрест томилось странной тишиной. Где-то на востоке, за деревьями чутко замолкнувшего сада, было лиловое, свинцовое предчувствие грозы.

Отдвинулись от серых ступеней тени берез, и ликий свет спускавшихся по лестнице в вестников печали, проливая странное смутение и на лицах их отразился чрезвычайный жесткий и страшный вондями, подобными крикам ветревоженных птиц, они проглотили

воздухе тихо алеющего вечера свои острые, черные крылья, и быстрой, длинной вереницей устремились к небесам. В пронизанной вечерней алостью и зеленоватой янтарностью голубых высот они стали, как сливающиеся в одну тучу облака, и голоса их были тогда подобны отголоскам далекого грома.

Удивился Леонид и поднял глаза к высокой башне своего старого дома. Чудное зрелище представилось его глазам.

Вереница радостных жен и дев спускалась неторопливо с высокой башни по ступеням лестницы. В лучах зари вечеряющей, невинной алостью радовались, золотясь, ожившие вдруг под нежными, обнаженными стопами милых вестниц ступени. Легкие туники облекали стройные тела радостно идущих и смеющихся вестниц, – и цвета их туник были, как переливы струящихся алых огней и пламенеющих розово, янтарно и зелено зорь. Милые плечи их радовались поцелуям ветра и солнца, и обнаженные руки их ликовали, алея алостью смеющейся зари, и веселы были их высоко открытые в легком движении ноги. И под радостно нагими стопами вестниц, радостно смеющихся, преобразились холодные ступени, – и золотая стала перед глазами Леонида лестница, лестница красоты и восторга.

– Милые вестницы, – говорил Леонид, простирая к ним руки, – о, милые вестницы радости!

Проходили веселые, легкие, мимо Леонида, и говорили ему слова утешения и радости.

– Творя красоту радуемся, – говорила Елена, – и скорбь нашу преобразуем в легкую радость.

– Жаждем любви, и любим, и радуемся, – говорила Елизавета.

– Как радостно дышать милым воздухом земли! – говорила Анна. – Как радостно отдавать свое тело сурово-нежным лобзаниям стихий!

– Какая милая, родная земля под нашими ногами! – говорила Алевтина.

– Какие веселые открывает земля перед нами дали, бесконечные дали! – говорила Антонина.

– Какие сладкие ароматы у цветов! – говорила Валентина. – Какой радостью дышат земные травы!

– Какая радость – восходит высоко, высоко, любоваться небом и звездами! – говорила Зинаида.

– Так много радостей на земле! – говорила Мария, – и радостен труд, и мудрые утешительные книги.

И все двадцать семь жен и дев прошли перед Леонидом, хваля жизнь и ликуя о ней.

И потом окружили его, закружились в легком беге, увлекали его в радостное, легкое кружение восторга, и на влажной вечерней росой траве завели веселый, буйный хоровод.

А в высоте над ними громыхали тяжелые тучи, и быстро темнело небо, и было смятение и гнев, и голоса разъяренных вестников печали. И грому, и блистанию молний, и голосам бурь, и потокам холодного ливня отвечали буйные, ликующие голоса неразумного земного восторга.

О себе радовалась ликующая юность, преобразая обычное земное в необычайность прекрасного и восторгающего душу.

КРАСНОГУБАЯ ГОСТЬЯ

Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и мало достойный, но все-таки брат наш, спасен от алых чар ночного волхования словами непорочного Отрока. Темной, вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, — но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть.

Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольского тяжелая и томная. Он все больше и больше отдалялся от всех своих друзей, родственников и знакомых, — все охотнее просиживал короткие, темные дни и длинные черные вечера в унылом великолепии своего старого особняка, ограничиваясь только недолгими прогулками по всегда тщательно выметенным аллеям тенистого небольшого сада при его доме. Он даже не принимал почти никого, кроме своей недавней знакомой, Лидии Ротштейн, бледнолицей и прекрасной молодой девушки с жутко-громоздкими глазами и чрезмерно-яркими губами.

Прежде Николай Аркадьевич любил все прелести веселой, рассеянной жизни, любил светское общество, зрелища, музыку, спорт; бывал везде, где бывают обыкновенно все, и живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться. Был он молод, независим, богат, в меру окружен и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров.

А теперь вдруг все это страшно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть, забылась пестрота впечатлений и опущений разнообразной, веселой жизни, и ни к чему не тянуло, ничего не хотелось. Все, что прежде перед его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилось бледным, жутко-прекрасным лицом его краснотубой гостью.

И только хотелось ему смотреть в бездонную глубину этих страшных, точно не живых, точно на веки замороженных тишиной и тайной, зеленоватых глаз. И только хотелось ему видеть эту безумно-алую на бледном лице улыбку, видеть этот большой, прямо разрезанный рот с такими яркими губами, точно сейчас только разрезан этот рот, и еще словно свежей дымится он кровью. И только хотелось ему все слушать, да слушать тихие, злые слова, неторопливо падающие с этих страшных и очаровательных уст.

Такое все стало скучное, что вне этих стен! Такой докучной, ненужной казалась ему вся эта жизнь, внешняя, шумная, которой он жил до сих пор.

Вялая леньность разливалась в его теле, прежде таком бодром и радостном, — и голова стала часто болеть и томно кружиться, полная глухих, безумных шумов и звонов, — и лицо его бледнело, точно яркие губы Лидии Ротштейн выпивали всю его жизнь.

С чего это началось? Теперь это как-то смутно и неохотно припоминалось ему.

Познакомились где-то в сумеречном, холодном свете осеннего вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевич был чем-то в тот день занят и увлечен. Она была бледна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили с минуты, не больше. Разошлись, — и Николай Аркадьевич забыл о ней, как забывают всегда

о случайных и ненужных встречах.

Прошло несколько дней. Николай Аркадьевич кончал завтрак. Ему сказали, что его желает видеть госпожа Лидия Ротштейн.

Николай Аркадьевич слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забыл совсем. Досадливо поморщился. Спросил лакея:

– Кто такая? Просительница? Так дома нет.

Молодой, красивый лакей Виктор, тщательно подражавший своему барину в манерах и модах, усмехнулся такой же ленивой и самоуверенной, как и у Николая Аркадьевича, улыбкой бритых, холеных губ и сказал с такой же, как и у барина, растяжкой:

– Не похожи на просительницу. Скорее будет из стилизованных барышень. Где-нибудь на пляже вы изволили с ними познакомиться.

– Ну, почему же непременно на пляже? – уже весело улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич.

– Да так-с, мне по всему сдается, – отвечал Виктор. – По общему впечатлению. Первое впечатление почти никогда не обманывает. При том же из городских словно бы такой не припомню.

– А какая она из себя? – спросил Николай Аркадьевич, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейн.

Виктор принялся рассказывать:

– Туалет, черный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы черные, причесаны, как у Клео де-Мерод. Губы до невозможности алого цвета, так что даже удивительно смотреть, и при том же невозможно предположить, чтобы употреблена была помада.

– А! Вот это кто!

Николай Аркадьевич вспомнил. Оживился очень и сказал почти радостно:

– Хорошо. Сейчас я к ней выйду. Проводите ее к малахитовую гостиную и попросите подождать минутку.

Он наскоро кончил свой завтрак и прошел в ту комнату, где ожидала его гостья.

Лидия Ротштейн стояла у окна и смотрела на великолепные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся в изысканно-черном, она стояла так тихо и спокойно, как неживая, и казалось, что грудь ее не дышит, что ни одна складка ее строгого платья не шевельнется. Очерк ее лица сбоку был строг и тонок. Лицо было так же спокойно, безжизненно, как и ее застывшее в неподвижности тело, и только на бледном лице чрезмерная алость губ была живой.

С жестокой нежностью чему-то улыбались эти губы, и трепетно радовались чему-то.

Заслышав отчетливый звук легких шагов Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго красивой гостиной, в которой преобладал зеленоватый камень. Лидия Ротштейн повернулась лицом к Варгольскому.

С нежной жестокостью чему-то улыбнулись ее чрезмерно алые губы, ее губы прекрасного вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость их была злая и победительная.

Взором, неотразимо берущим душу в расторжимый плен, она смотрела прямо в глубину глаз Николая Аркадьевича. И было в нем странное смущение и непривычная ему неуверенность, когда он услышал ее первые слова, сказанные золотозвонящим голосом.

Она говорила:

– Я к вам пришла, потому что это необходимо. Для меня, и

для вас необходимо. Вернее, неизбежно. Пути наши встретились, и мы должны покорно принять то, что неотвратно должно случиться с нами.

Николай Аркадьевич с привычной, почти машинальной любезностью пригласил ее сесть. Привычный скептицизм человека светского и очень городского подсказывал ему, что его красноустая гостья – просто экзальтированная особа, и что слова ее высокопарны и нелепы. Но в душе своей он чувствовал неодолимое обаяние, наводимое на него холодным мерцанием ее слишком спокойных, зеленоватых глаз. И не было в душе его спокойствия, которое до того времени было ее постоянным и естественным состоянием во всяких обстоятельствах его жизни, хотя бы самых экстравагантных.

Лидия Ротштейн села в подставленное ей Николаем Аркадьевичем кресло. Медленно снимая перчатки, она медленным взором обводила комнату, – ее стены с малахитовыми колоннами, – ее потолок, расписанный каким-то лукаво-мудрым художником конца позапрошлого столетия, – ее старинную мебель, все эти очаровательные вещи, соединившие в себе прелесть умной старины и слегка развращенного, изысканного вкуса той далекой эпохи напудренных париков, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданием которой был старый дом Варгольских.

Тихо говорила Лидия Ротштейн:

– Как очаровательно все это, что вас здесь окружает! Этот старый дом имеет, конечно, свои легенды. По ночам, быть может, здесь иногда ходят призраки ваших предков.

Николай Аркадьевич отвечал:

– Да, в детстве я слышал кое-что об этом. Но мне самому не доводилось видеть здесь призраков. Люди нашего века так скептически настроены, что призраки боятся показываться нам, слишком живым и слишком насмешливым.

– Чего же им бояться? – спросила Лидия.

– Электрический свет вреден для них, – отвечал Николай Аркадьевич, стараясь придерживаться тона легкой шутки, – а наша улыбка для них смертельна.

– Электрический свет! – тихо повторила Лидия. – Самые страшные для людей призраки – это те, которые приходят днем. Днем, как я пришла. Не кажется ли вам и в самом деле, что я похожа на такой призрак, приходящий днем? Я так бледна.

– Это к вам идет, – сказал Николай Аркадьевич. – Вы очаровательны.

Ему хотелось быть слегка насмешливым. Но его слова, против его воли, звучали нежно, как слова любви.

Лидия говорила:

– Может быть, и я пройду перед вами, как один из призраков вашего старого дома, и исчезну, изгнанная вашей скептической улыбкой, как те призраки, которых вы уже погнали отсюда. Если изгнали. Впрочем, Бог с ними, с этими призраками. Я могу пробыть с вами сегодня только недолгое время, а мне надо многое сказать вам. Или, может быть, вы не захотите меня выслушать?

– Пожалуйста, я весь к вашим услугам, – сказал Николай Аркадьевич.

Лидия помолчала немного и продолжала:

– Меня зовут Лидией, но мне больше нравится, когда меня называют Лилит, как называл меня мечтательный юноша, один из тех, кого я любила. Он умер. Умер как все, кого я любила. Любовь моя смертельна, – и мне хорошо, потому что любовь моя и смерть моя

радостнее жизни и слаще яда.

– Если яд сладок, – заметил Николай Аркадьевич.

Он старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовал, что улыбка его бледна и бессильна.

– Слаще яда, – с холодной, почти безжизненной настойчивостью повторила Лидия. – Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама. Земное, древнее, грубое солнце мне, бледной Лилит, ненавистно, и не люблю я дневной жизни и безобразных ее достижений. К холодным успокоениям зову я тех, кого полюбила, к восторгам безмерной и невозможной любви зову я их. Пеленой мечтаний, которая слаще ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия, – многоцветной, яркой пеленой застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои, и сладостны мои лобзания. И у того, кого я люблю, я прошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара, – только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила.

Очарованием великой печали и тоски безмерной звучали золотые звоны ее отравленных странным и страшным желанием речей. В холодной глубине ее глаз разгоралось холодное, зеленое пламя, – и мерцание этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Он сидел, и молчал, и слушал тихие, золотом звенящие слова своей зеленоокой, краснотрубой гостью.

И она говорила:

– Только одну каплю крови. Моими устами прикинну я к телу возлюбленного моего, – моими жаждущими устами я, как вставший из могилы вампир, вопьюсь в это милое, горячее место между горлом и плечом, между горлом, где трепещет дыхание жизни, и белым склоном плеча, где напряженная дремлет сила жизни, – вопьюсь, вопьюсь в сладостную плоть возлюбленного моего, и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю, – ну, может быть, две, три, или даже четыре. Ах, возлюбленный мой не считает! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко, – только бы оживить меня, холодную, жарким трепетом своей жизни, – только бы я не ушла от него, не исчезла, подобная бледному, безжизненному призраку, исчезающему при раннем крике петуха.

Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевич сказал:

– Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально, – но я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому.

Но он сейчас же почувствовал всю ненужность и неправду своего жалкого ответа. И потому, по мере того, как он говорил, голос его становился глуше и слабее, и последние слова он сказал совсем тихо, почти прошептал.

Лилит встала, подошла к нему, – и в движениях ее не было той порывистой страстности, с какой земные женщины произносят свои признания. Стоя перед Варгольским и глядя прямо в его глаза холодным взором жутких глаз, в которых разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:

– Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой.

Подчиняясь золотым звонам ее голоса, он встал со своего места. И стояли они друг против друга, – она, бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, и вся холодная, как неживая, лунная Лилит, – и он, зачарованный и словно всю свою утративший волю.

Лилит сказала:

– Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнее, чем любил ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилит.

Упала минута молчания, – и казалось тогда, что не было сказано ни одного слова. И вот спросила его Лилит:

– Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?

Варгольский тихо ответил ей:

– Люблю.

И чувствовал, как душа его тонет в зеленой прозрачности ее тихих глаз.

И опять спросила его Лилит:

– Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнее чем все очарования и прелести дневной жизни меня, твою лунную, твою холодную Лилит?

Отвечал ей Варгольский, – и холод великого успокоения был в звуке его тихих слов:

– Моя лунная, моя холодная Лилит, я люблю тебя сильнее, чем все очарования дневной жизни. И уже отрекаюсь от них, и отвергаю их все за один твой холодный поцелуй.

Радостно улыбнулась Лилит, но радостно холодная улыбка ее была коварная и злая. И сказала Лилит:

– Отдашь ли ты мне каплю твоей многоценной крови?

Чувствуя, как в душе его возникают и сплетаются в дивном борении ужас и восторг, Варгольский сказал, простирая к ней руки:

– Отдам тебе, моя Лилит, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмерно и навсегда.

И она прильнула к его устам поцелуем долгим и томным. Темное и томное самозабвение осенило Варгольского, и того, что было с ним потом, он никогда не мог отчетливо вспомнить.

С того дня Лидия Ротштейн приходила к Николаю Аркадьевичу в неопределенные сроки, то чаще, то реже, почти всегда неожиданно, в разное время, то днем, то вечером, то поздней ночью. Она как-то ухитрялась всегда заставать его дома. А потом это стало и нетрудно, когда он почти совсем прекратил сношения с людьми.

Всегда эти свидания с Лилит были окутаны в сознании Варгольского густой пеленой странного, почти досадного ему забвения. Одно знал он несомненно, – как ни крепки были объятия Лилит, как ни безумно дико были ее поцелуи, все же их связь оставалась чуждой грубых земных достижений, и ни разу не отдавалась ему эта странная, красноустая гостья с неживыми глазами и с апокрифическим именем.

Когда она приникала к его плечу, легкая острая боль пронизывала все тело Варгольского, – и тогда становилось ему сладко и томно. В теле чередовались жуткие ощущения зноя и холода, точно была его лихорадка. Знойные, жадные губы Лилит, только одни живые в холоде ее тела, впивались в его кожу, и поцелуй их был подобен холодному бешенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его точится капля за каплей.

Лилит исчезала незаметно, – и долго после ее ухода Варгольский лежал погруженный в томное бессилие, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чем. Даже о Лилит не мечтал и не вспоминал он тогда, и самые черты ее лица припоминались ему неясно и неопределенно.

Иногда он думал о ней потом, когда проходило то оцепенение, в которое погружали его ее ласки. Он думал иногда, что она – не человек, а вампир, сосущий его кровь, что она его погубит, что

надо ему оградиться от нее. Но эти короткие и вялые мысли не зажигали его обессилевшей воли. Ему было все равно.

Иногда он спрашивал себя, любит ли он Лилит. Но, прислушиваясь внимательно к темным голосам своей души, он не находил в них ответа на этот вопрос. И было в душе его равнодушие, холодное и спокойное. Любит, не любит, – не все ли равно!

Лакей Николая Аркадьевича, Виктор, был женат. Однажды незадолго до святок, он пришел к Николаю Аркадьевичу не в урочное время и сказал ему:

– Жена моя, Наталья Ивановна, разрешившись на днях от беременности, просит вас, Николай Аркадьевич, сделать нам большую честь и удостоить быть восприемником от купели нашего первого сына, новорожденного младенца Николая.

Виктор старался держаться своего всегдашнего спокойного и солидного тона, но при последних словах, вспомнив опять со всей остротой новизны, что он – уже отец, покраснел от радости и гордости и засмеялся с неожиданным, почти деревенским простосердечием. Но, впрочем, тотчас же сдержался, и опять стал вести себя чинно и степенно. Сказал с всегдашним своим достоинством:

– И с своей стороны осмеливаюсь присоединиться к просьбе моей жены. Сочтем за великую для себя честь, и будем чрезвычайно рады.

Николай Аркадьевич поздравил счастливого отца и согласился немедленно – не потому, что хотел согласиться, а просто потому, что вялое равнодушие давно уже угнездилось в его душе.

И странное дело, – это обстоятельство, такое, по-видимому, незначительное в его жизни, с какой-то неожиданной силой внесло резкую перемену в его отношения к Лилит.

Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабо попискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому в мягкие, нарядные пеленки. Глаза малютки еще не умели останавливаться на здепних предметах, – но земная, вновь повторенная из темного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждой новой жизни.

Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткие пламенники неживых глаз его белолицой гостью с чрезмерно красными губами, – и сердце его вдруг сжалось ужасом и страстной тоской по шумной, радостной, многоцветной и многообразной жизни.

Когда после веселого обряда крестин, в котором он принял недолгое участие, он вернулся к себе, в мерцающую тишину высоких покоев, он опять почувствовал в теле слабость и в душе равнодушие ко всему.

Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник.

Где же он встретит праздник? Как его проведет? Уже давно, больше месяца, он упрямо не принимал никого и сам ни у кого не был.

Над холодным его равнодушием возникали то тихо поблескивающие глазенки его крестника, то слабый его писк. И напоминали ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары. Все, что было забыто, что было отваяно холодным дыханием рассеянной, светской жизни, припомнилось опять, и опять томило душу сладким предчувствием восторга.

Варгольский взял книгу, которую не открывал уже много лет, и прочел трогательные, простые и мудрые рассказы о рождении и детст-

ве Того, Кто придет к нам, чтобы нашу бедную, дневную земную жизнь оправдать и обрадовать. Кто родился для того, чтобы развенчать и победить смерть.

Трепетна была душа и слезы подступали к глазам.

Злые обольщения его коварной гостью вдруг вспомнились Варгольскому. Как мог он поддаться их лживому обаянию! Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые, невинные детские глаза!

Но ведь она, лунная, неживая и лживая Лилит, опять придет. И опять зачарует обаянием смертной тишины.

И кто же поможет? Кто спасет?

Книга бессильно выпала из рук Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась в его обессиленной душе.

И как бы он стал молиться? Кому и о чем?

Как молиться, если она, лунная, холодная Лилит, уже здесь, за дверью?

Вот чувствует он, что она стоит там за дверью, в странной нерешительности, и медлит, колеблясь на страшном ему и ей пороге. Лицо ее бледно, как всегда, и в глазах ее холодное пламя, и губы ее цветут страшной яркостью, как и яростные губы упившегося жаркой кровью выходца из темной могилы, вампира.

Но вот Лилит преодолела страх, в первый раз, остановивший ее у этого порога. Быстрым, как никогда раньше, движением она распахнула высокую дверь и вошла. От ее черного платья повеяло страшным ароматом туберозы. – веянием благоуханного, холодного тления.

Лилит сказала:

– Возлюбленный мой, вот я опять с тобой. Встречай меня, люби меня, целуй меня, – подари мне еще одну каплю твоей многоценной крови.

Николай Аркадьевич протянул к ней руки угрожающим и запрещающим движением. Он сделал над собой страшное усилие, чтобы сказать:

– Уйди, Лилит, уйди. Я не люблю тебя, Лилит. Уйди навсегда.

Лилит смеялась, – и был страшен и жалок трепет ее чрезмерно алых губ, обреченных томиться вечной жаждой, – и говорила она:

– Милый мой, возлюбленный мой, ты болен. Кто говорит твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя в мои объятия, я, твоя лунная Лилит. Я опять прижму тебя к моей груди, которая так успокоенно дышит. Я опять прильну к твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилит.

Медленно приближалась к нему Лилит, и было неотразимо очарование ее смеющихся алых губ. И был слышен золотой звон ее слов:

– Целованием последним прильну я к тебе сегодня, и навеки уведу тебя от лживых очарований жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне блаженный покой вечного самозабвения.

И приближалась медленно, неотразимо. Как судьба. Как смерть.

Но уже когда ее протянутые руки почти касались его плеча, вот между ними дивный затеплился тихо свет, и Отрок в белом хитоне стал между ними. От Его головы струился дивный свет, как бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи Его были благостны и строги, и лик Его прекрасен.

Отрок поднял руку, повелительно отстранил Лилит, и сказал ей:

– Бедная заклятая душа, вечно жаждущая, холодная, лунная

Лилит, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки, – уйди, Лилит, уйди. Еще нет мира между тобой и детьми Евы, – уйди, Лилит, уйди. Исчезни, Лилит, уйди отсюда навсегда.

Легкий стон был слышен, и свирельно-тихий плач – и, бледная в сумраке полуосвещенного покоя, медленно тая, исчезла Лилит.

Краткие прошли минуты, – и уже не было здесь дивного Отрока, и все было, как всегда, обыкновенно, просто, на месте. Как будто бы только легкой грезой в полусне было злое явление Лилит, и как будто и не приходил дивный Отрок.

Только ликующая радость звенела и пела в душе измученного, усталого человека, и говорила ему, что никогда не вернется к нему бледноликая, холодная, лунная Лилит, злая чаровница с безмерной алостью безумно жаждущих губ. Никогда!

НАИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только Он и Она. Конечно, Он старше. Она очень молода. Но не все ли равно, сколько им лет? В его памяти неизгладимы навеки несколько мгновений, две-три встречи.

Навеки остался в памяти у Него ярко-солнечный миг морозного дня на перекрестке туманных улиц громадного северного города, и встреча с Ней. Одна в толпе равнодушно закутанных и спешащих прохожих шла Она, вся покрасневшая от мороза, в легких светло-серых мехах. Ярким румянцем пылали ее щеки, и горели ее черные глаза так ярко, так юно, так весело! И губы ее, нежно алые на морозе, улыбались, – морозу, солнцу, толпе, молодости своей и веселью.

Она шла и улыбалась, счастливая, опьяненная счастьем бессознательно юным, – нет, еще не счастьем даже, а его радостным предчувствием.

Как на одесском портрете Монье лицо Елисаветы, ее прекрасное лицо было обвеяно упоением сладостно-легкой жизни, восторгом пробуждающегося бытия.

Она шла в дивном восторге мимо Него, и уже почти прошла, не заметив, – и вдруг взор ее черных, радостно смеющихся глаз упал на Него. И зарадовались оба, – и весь внешний шум и свет погас для Него, и только одно было ее лицо, покрасневшее на морозе, с нежно-алыми губами, обвеянное восторгом, опьяненное радостным предчувствием неведомого счастья.

Он подошел к Ней, пожал ее тонкую руку в мягкой теплой перчаточке. Говорили что-то, незначительное. Не все ли равно, что?

Он спросил ее:

– Вам весело? Вы рады?

Она ответила Ему звенящим от радости голосом:

– Так хочу радости и смеха в этот день! Если бы даже горе было и слезы, я бы радовалась и смеялась.

– Чему? – тихо спросил Он.

Уже в душе его редкой и недолгой гостью бывала радость и усталость все чаще томилась, и суровыми укорами уже была в его глазах развенчана прекрасная, но злая царица Жизнь, щедрая подательница бед.

Она смотрела на Него, широко открыв удивленные, радостные глаза. Он повторил вопрос:

– Чему бы радовались?

– Я не знаю, – сказала Она. – Я хочу радости, – разве этого мало? Мне весело. А вам? Вы не рады?

– Я рад тому, что вас встретил, – ответил Он.

Она засмеялась.

– Вы все шутите, – сказала Она. – Нет, вы серьезно скажите, – вам не хочется смеяться и радоваться?

– Мало ли что нам хочется, – сказал Он. – Вам легко, у вас нет ни забот, ни огорчений.

– Ну, вот, почему нет! – воскликнула Она. – И плачешь иногда. Так что ж!

– О чем же вы последний раз плакали? – спросил Он.

– Стоит вспоминать! – с радостным укором сказала Она. – Так, с мамой что-то. У нее нервы расстроены, – у нее неприятности, она так раздражительна. Ну да что, стоит ли вспоминать!

Шли, разговаривали, – Он, обрадованный только Ей. Она, вся обвеянная восторгом ликования.

Прошли дни. Была весна. Другая встреча.

Поля слегка туманились перед забором сада. Тонкая сосенка на дороге перед калиткой сладко дремала, погруженная навеки в милую свою бессознательность. Слезы прозрачного смолистого сока застывали на ее коре, – слезы, Бог весть о чем. Серела пыль на дороге, и мягки были в вечерней мгле очертания дорожных колеи.

Заря вечерняя уже погасла, но весь мглистый воздух был пропитан мечтанием о тихой заре вечерней. И над ними, над двумя, в безмолвном воздухе вечернем трепетал внешней радостью тихий лепет мечты.

Они сидели на скамейке у забора. На Нем была светло-серая одежда: краснел узкий галстук; темным пятном нависла над его лицом желтая соломенная шляпа.

Она была в легком белом платье. Ее стройные руки были открыты, еще не было загара на ее прекрасном лице, и белы были ее босые ноги.

Говорили о чем-то. И молчали. И прислушивались к далекому плеску речки на порожистом русле о покрытые пеной камни.

– Пора домой, – сказала Она.

– Посидите еще немного, – просил Он.

– Ну, еще пять минут, – сказала Она.

– Вам холодно? – спросил Он, нежно глядя на ее белые босые ножки.

Слегка краснея, Она спрятала ноги под платье, и сказала:

– Немножко сыро ногам еще с непривычки. Мама бранится иногда, а я ни за что не хочу надеть башмаков. Так весело ходить босиком. И немножко стыдно. И это тоже весело и забавно. Такая мягкая земля под голыми ногами, такая нежная под ногами пыль.

– А песок? – спросил Он.

– С непривычки немножко больно, – сказала Она. – Так щекочет. Но я непременно хочу, чтобы привыкнуть.

– А зачем это вам? – спросил Он.

Такой городской, так привыкший к камням и асфальтам столицы.

Она улыбалась и говорила:

– Так. Так хочу. Люблю, люблю мою землю. Она темная и нежная, и суровая. Как мать, суровая и нежная. Лелеет, ласкает, – и не балует, и мучит иногда. И все, что от нее, радостно.

– Да ведь от нее и смерть! – тихо сказал Он.

– Ах, все от нее радостно! – с восторгом сказала Она. – Я такая городская, а здесь я точно нашла сама себя, и от радости и счастья словно пьянею. Так тороплюсь насытиться воздухом и светом, и так радостно погружаться в холодную воду в реке, и так весело прикинуть к земле обнаженными ногами. Так хочу быть радостной и простой, как девушка дикого племени где-нибудь на острове среди далекого океана.

Она замолчала. И ясное выражение счастья было на ее лице.

Он смотрел на Нее, любовался Ей. Она откинулась на спинку скамейки, мечтательно глядела прямо перед собой, и из-под края ее платья опять стали видны положенные одна на другую легкие, тонкие стопы ее белых ног.

Он слегка дотронулся до ее рук, скрещенных на коленях, и тихо спросил:

– Отчего же вы не хотели сегодня днем идти со мной гулять?

Она улыбнулась, и тихо сказала:

– Так.

– А завтра пойдете? – спросил Он.

– Нет, еще не завтра, потом, – сказала Она.

– А почему не завтра? – спрашивал Он.

С милым выражением откровенности Она говорила:

– Мне еще пока стыдно, что у меня такие белые ноги. Глупые, бедные, белые ноги. А я жду, когда они хоть слегка покроются загаром. А надеть башмаки ни за что не хочу. Люблю мою землю.

И тихо повторила Она:

– Люблю мою темную землю. Люблю. Люблю. Люблю.

Радостное волнение охватило Ее. Грудь ее дышала трепетно и неровно. Легкая дрожь пробегала по ее телу. С мечтательным восторгом смотрели во мглу ее черные глаза, и нежно алые уста повторяли сладкое слово:

– Люблю. Люблю.

Свирельно звенящим звуком трепетало это вечно радостное слово, и каждый раз оно звучало все новым волнением и все иным, все более сладостным восторгом. И уже Она словно задыхалась от восторга и сладостной печали, и свирельными стопами и вздохами перемежалось вечно ликующее слово:

– Люблю, ах, люблю!

Он подвинулся к Ней. Она доверчиво прижалась к Нему. Он всмотрелся в ее лицо. Оно было бледно. Из ее глаз текли слезы. Она плакала и улыбалась, – и слезы ее были слезы юного восторга и сладостной, внешней печали.

Он обнял Ее, и поцеловал ее нежную щеку, и повторял:

– Милая, милая!

И ощущал трепет ее тела, и слышал ее замирающие стоны:

– Люблю.

И тогда спросил:

– А меня ты любишь?

– Ах! – воскликнула Она.

И вся занялась радостью, и задрожала, и целовала Его, нежно повторяя:

– Люблю тебя, люблю!

И вдруг легким и быстрым движением Она освободилась из его объятий. Шепнула:

– Милый, прощай! До завтра.

С тихим скрипом раскрылась и опять закрылась калитка. И уже Она в саду. В густой тени молчаливых деревьев слабо белеет ее платье. На темном и сыром песке дорожек мелькают ее белые босые ножки. И вот Она скрылась за поворотом дороги, там, где из-за деревьев едва виден огонь лампы на террасе.

Он долго стоял у калитки. Глядел на деревья в саду, которые осеняли Ее сегодня. Глядел на дорожки, хранящие следы ее милых ног. Мечтал о чем-то. Был счастлив и печален. И счастьем и печалью были напоены его мечты.

Потом привычным движением горожанина Он вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них, подумал, что уже поздно, что уже пора спать, и пошел домой.

Закурил папиросу. Помахивал тросточкой.

Поля были туманны и теплы. На реке кто-то неумно-шаловливый плескался струйками вечно бегущей воды.

Он тихо шел, о Ней мечтая. Каблуки его сапог мягко вдавливались в серую пыль проселка. Красный кончик его папироски чертил в мглистом воздухе неровный огненный путь.

Человеку в серой удобной и красивой одежде захотелось быть таким же, как Она, радостным и простодушным, – но где же взять наивности и простоты?

У природы научиться?

Но природа молчала и томилась вечным ожиданием того, кто должен прийти и все еще не приходит.

Прошли дни. Был день ясный и знойный. Он и Она шли в полях, Он опять в том же светло-сером костюме и в соломенной шляпе, Она в легком белом платье. У Нее на голове пестрый шелковый платочек: босые ноги слегка загорели.

И опять радостный смех на ее алых губах, и восторг в черных глазах, и щеки рдеют. И говорят о чем-то, – не все ли равно, о чем!

И опять вопрос:

– Ты меня любишь?

И тот же сладостный ответ:

– Люблю тебя, люблю.

Она смеется, – ясному небу, зеленым травам, тихо веющему Ей навстречу ветру, птичкам и тучкам, всему, всему, – и говорит, – и свирельно звонок ее легкий голос:

– Люблю мою землю, и камешки, и серенькую пыль под моими ногами, и траву, и цветы полевые, кашки и ромашки.

Смеется и говорит:

– Милые кашки и ромашки, я вас люблю. А вы меня любите?

Зыбкий бежит по лугу ветер, и колышутся полевые цветочки, – кивают ей глупыми своими головками.

– Все тебя любит, – говорит Он Ей. – Ты идешь, как воздушная царица радостных стран, и земля приникла к твоим ногам, и лобзает их нежно.

Она смеется и сияет ликующей радостью, и идет среди трав и колосьев, как царица радостной страны далекой. И зыбкий ветер целует ее ноги, и солнце, милое солнце ясного дня рассыпает у ее

ног золото своих горячих лучей.

Потом... а не все ли равно, что потом было? Была жизнь, и события случались, и будут случаться. Дни за днями идут, и будут идти. В докучном шуме злых дней померкнет радостное сияние простодушной мечты, и ликование безмятежной радости положен будет предел. Но что же такое! А все в памяти неизгладимы эти наивные часы, эти радостные встречи, и этот милый лепет, мечты и счастья.

Счастья, творимого по воле.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ИУДА

Дела инженера Генриха Зонненберга были теперь в очень сложном и деликатном положении, и вся его судьба висела на волоске. Очень обширные и смелые предприятия, начатые Генрихом Зонненбергом, оказывались такой природы и такого свойства, для которых готовится, по выражению Некрасовской поэмы о современниках, «в результате миллион или коническая пуля». Широта, быть может, гениальная его замыслов граничила с преступностью дерзкой воли.

В настоящий момент вся судьба и предприятий Генриха Зонненберга и самой его жизни зависела от того, какое слово надпишет на одном, уже изготовленном, но еще не пущенном в ход докладе одно весьма влиятельное и высокопоставленное лицо. Если оно начертает на полях ослепительно-белой и умопомрачительно-аккуратно написанной на ремингтоне официальной бумаги быстрыми и отрывочными движениями своего остро-отточенного карандаша вождельные буквы «со св. ст. не и. пр.», что обозначает «со своей стороны не нахожу препятствий», то Генрих Зонненберг вздохнет свободно, в карман его польются чужие миллионы, и безумно дорогая вилла на Ривьере, которую он уже присмотрел, будет принадлежать ему.

Но может случиться и совсем иначе. Быть может, на пергаментно-желтом лице старого сановника мелькнет презрительно-суровая усмешка, в его маленьких, еще по-молодому ярких глазах затеплятся злые огоньки, и маленькая сухая ручка, энергично сжимаемая карандаш, бросит на бумагу крупные, страшные буквы «откл.», что будет обозначать «отклонить». И тогда наступит полный крах: будут предъявлены ко взысканию какие-то нелепые векселя, потом делами Генриха Зонненберга заинтересуются прокуроры и судебные следователи, одержимые манией видеть признаки преступления там где есть только ловкие и смелые, хотя и рискованные, конечно, комбинации; на неделикатном языке юристов заговорят о подлогах, мошенничествах, растратах, вовлечениях в невыгодные сделки и еще Бог весть о чем. Деньги иссякнут, Зизи его выгонит, а милая графиня Мими не только изгонит его из своего сердца, но и не станет узнавать его при встречах на улицах или в собраниях.

Но нет, до этого, конечно, не дойдет. Генрих Зонненберг не из тех, кто терпит унижения. В ящике его письменного стола лежит револьвер, а на случай внезапного ареста он носит при себе, в хорошо скрытом хранилище, две-три капли быстро и верно действующего яда.

Дерзкая решимость покончить с собой наполняет душу Генриха

Зонненберга незаконным подобием храбрости. Но его красивое, смуглое лицо правящегося женщинам брюнета становится часто мечтательным, и глаза вдруг начинают глядеть рассеянно.

Он сидел со своими приятелями в общей зале одного дорогого кабака. На столе перед ними в вазе со льдом стояла бутылка шампанского, уже не первая. На эстраде выкрикивала что-то безголосая певичка в кургузом платье нелепого золотого цвета, показывая публике свои толстые икры, обтянутые ярко-голубыми чулками, и порой свою голую набеленую спину. Никто ее не слушал и никто почти не смотрел на нее.

Приятели подшучивали над рассеянностью и мечтательностью Генриха Зонненберга.

- Наш Генрих влюблен опять.
- И ревнует.
- Нет, он не ревнив, он боится сцены ревности.
- Вернее, сцен: будет ревновать Зизи и еще другая.
- А кто другая?
- О, это его секрет.

Генрих Зонненберг улыбался лениво и кое-как отшучивался. Его любовные приключения были общеизвестны, — кроме, конечно, его отношений к графине Мими, о которых не знал никто.

Подшучивали. Не знали настоящей причины. Генрих Зонненберг вел эти свои дела так, что еще никто не догадывается о их настоящем положении. А если бы они знали!

Генрих Зонненберг даже вздрогнул слегка, когда ему пришла в голову мысль о том, какие злорадные лица были бы у этих его милых друзей, если бы они знали хотя только часть истины.

Чтобы перевести разговор на другие темы, он спросил вполголоса одного из своих собутыльников, Сержа Котелянского, который знал всех в городе, почти со всеми был хорош, или по крайней мере знаком, и был вхож в неисчислимое количество домов:

- Кто это?

И показал легким, едва заметным движением головы на пробиравшегося между рядами столиков к оставленному для него месту близ эстрады очень молодежавого господина, элегантно одетого и как-то странно красивого. Красота его лица была несомненна, но было в ней что-то противное и даже как будто позорное. В сладкой упитанности его тела было что-то бесстыдное и волнующее при том. Цвет его лица был чрезмерно нежен, бел и румян. Золотистые волосы его вились так круто, словно были завиты. Глаза его глядели томно и нагло, и маслянистый блеск их казался неприличным. Черты лица его были чрезвычайно правильны, и античный профиль его отличался изысканной строгостью очертаний, рыжеватая, коротко подстриженная бородка нарушала чистоту этих строгих линий, но зато она как бы подчеркивала лукавый и порочный характер этого противоречивого лица.

Серж Котелянский поклонился новому посетителю с очень почтительным выражением. Тот ответил ему дружеским кивком и любезной улыбкой. Потом сел к своему столику, где уже его ждали две сильно накрашенные, наглые женщины и потертый, но бойкий господин во фраке.

Серж Котелянский сказал Генриху Зонненбергу:

- Вот! Неужели ты его не знаешь?
- Правда, не знаю.
- Ну, я тебе скажу, это — человек, которого надо знать.
- Вот как! Даже надо!

– Да, да, именно надо. У него связи и влияние прямо-таки удивительное. Это Иуда Искариот.

Генрих Зонненберг жадно всматривался в знаменитого человека. Серж Котелянский рассказывал с обычной своей развязанностью:

– Я как-то его спрашиваю, знаешь, во время откровенной болтовни: Послушай, говорю, Иуда, с чего ты взял себе такой странный и страшный псевдоним? Разве, говорю, ты не мог подписывать своих статей более благозвучным именем? Да ведь ты, говорю, даже вовсе и не Иуда.

– А как его настоящее имя? – спросил Генрих Зонненберг.

– Его зовут Иосиф Аристархович Эдельвейс, – отвечал Серж Котелянский. – Не правда ли, звучное имя?

– Слишком звучное, – с легкой усмешкой сказал Генрих Зонненберг.

– Ну, вовсе не слишком, – возразил Серж Котелянский. – Ну, да не в том дело. А можете вы себе вообразить, что он мне ответил?

– А что?

– Представьте себе, – это прямо бесподобно, – он мне говорит: я и есть Иуда Искариот. Я его спрашиваю: Тот самый? А он мне самым спокойным тоном говорит: да, тот самый. И совершенно серьезно.

– Он шутил, может быть? – предположил Генрих Зонненберг.

– Или ты, Серж, шутишь, – сказал один из друзей.

– Ну, вот, с чего мне врать! – обидчиво сказал Серж Котелянский. – Потом я узнал, что у него нечто вроде мании воображать, что он – второй раз родившийся Иуда.

Генрих Зонненберг задумался. Потом сказал таким тоном, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно:

– Да, с ним не мешает быть знакомым. Это именно тот, кто нужен.

Друзья стали подшучивать над Генрихом Зонненбергом, говоря, что Иуда Искариот, пожалуй, и не возьмется за устройство любовных дел. Но Генрих Зонненберг, не смущаясь, возразил спокойно:

– Мое дело, может быть, его заинтересует. Я сумею его заинтересовать. Серж, ты можешь меня с ним познакомить?

Серж Котелянский слегка покраснел от гордости и сказал:

– Ну, конечно, мы с ним очень хороши.

– И если можно, сегодня же, – сказал Генрих Зонненберг.

– Можно и сегодня. Только...

Серж Котелянский сделал серьезное лицо и продолжал:

– Я должен тебе вот что сказать, если ты хочешь чего-нибудь через него добиться. Это все знают, что он умеет провести всякое дело, и черт его знает, как он это делает. Но чтобы воспользоваться его услугами, надо выполнить одно, несколько, как тебе сказать... ну, скажем, щекотливое условие.

– А именно? – нетерпеливо спросил Генрих Зонненберг.

Серж Котелянский нагнулся к самому его уху, и зашептал:

– Надо совершить маленькую нескромность, – выдать ему чей-нибудь секрет, принести какое-нибудь важное и секретное письмо, ну или что-нибудь в этом роде. Понимаешь? На это, не всякий пойдет, потому что не у всякого есть что-нибудь такое, чем можно кого-нибудь выдать, – но он не брезгает и маленькими секретами, интрижками какими-нибудь.

И потом, отодвинувшись от Генриха Зонненберга, уже обыкновенным тоном, потому что в общей зале ресторана неудобно и непрактично секретничать так долго, чтобы все обратили внимание,

Серж Котелянский сказал:

– Не правда ли, это черт знает, что такое! Но, может быть, он таким способом именно и приобретает способность влиять!

– Весьма возможно, – спокойно ответил Генрих Зонненберг.

– Так вот, видишь, – наставительно сказал Серж Котелянский, – если хочешь иметь с ним дела, так его надо заинтересовать, а это не так-то легко сделать, не правда ли?

Генрих Зонненберг холодно усмехнулся и спокойно сказал:

– Я его заинтересую.

Серж Котелянский смотрел на Генриха Зонненберга с уважением.

В тот же вечер знакомство состоялось. «С места в карьер» Генрих Зонненберг стал делать Иуде Искарриоту кое-какие «авансы». Иуда Искарриот относился к этому благосклонно.

Иуда Искарриот и со всеми всегда был любезен и мил. А теперь он чувствовал, как опытный психолог, что Генриху Зонненбергу что-то от него нужно, и что ценой крупной услуги будет и достаточно крупное предательство.

На другой вечер Генрих Зонненберг опять встретился с Иудой Искарриотом в другом таком же увеселительном заведении. Угостил Иуду Искарриота ужином, который вскочил ему в копеечку.

Во время ужина Генрих Зонненберг улучил минуту шепнуть Иуде Искарриоту, что у него есть к нему интересное дело. Подчеркнул выражением слово «интересное». Прибавил для большей ясности:

– И еще мне хочется принести вам кое-что. Надеюсь, что это вам будет хоть немножко интересно.

– Нечто интимное? – переспросил Иуда Искарриот.

– Да, весьма интимное, – ответил Генрих Зонненберг.

Иуда Искарриот засмеялся весело, и Генрих Зонненберг невольно вздрогнул от какого-то жуткого и противного чувства. Иуда Искарриот не обратил, по-видимому, на это никакого внимания.

Иуда Искарриот привык к тому, что его собеседники иногда не могли скрыть по отношению к нему своего брезгливого чувства. Он находил это очень глупым, но не обижался. Ему было все равно, что о нем думают люди. Сам же он считал их подлыми и на все способными.

Иуда Искарриот назначал Генриху Зонненбергу день и час для свидания.

И этот час настал. Генрих Зонненберг приехал к Иуде Искарриоту. В кармане сюртука Генриха Зонненберга лежала пачка писем графини Мими и пачка бумаг украденных ей по его просьбе из кабинета ее мужа.

«Предатели живут недурно!», подумал Генрих Зонненберг, подъезжая к подъезду двухэтажного белого особняка, очень красивой архитектуры, где жил Иуда Искарриот.

Да, Иуда Искарриот жил превосходно. Но описывать обстановку его палат не стоит. Все вещи были дорогие, и все было устроено с большим вкусом приглашенными для этого дела за большие деньги мастерами. Но слишком чувствовалось, что все это куплено за деньги. Ни на чем не было отпечатка живой души, того соответствия с характером хозяев и их домочадцев, которое бывает во всех настоящих жилищах человеческих, во дворцах так же, как и в нищенских лачугах.

Всю душу свою Иуда Искарриот носил с собой и не расточал ее на вещи.

Был уют просторного кабинета, и сигары дымились. Мраморный Мефистофель, согнувшись в три погибели, неустанно демонстрировал

свою пустынно-злобную улыбку, свои тощие ребра и диковинные изломы своего голого, дьявольски-ненорочного тела.

Генрих Зонненберг подробно и ясно, со свойственным ему талантом убедительного, врезывывающегося на память изложения, рассказал свои обстоятельства. Был откровенен, – в сущности, ему теперь было нечего терять, а выиграть он мог очень много.

Иуда Искариот выслушал внимательно. Сказал, глядя прямо в глаза Генриха Зонненберга своими противно-ясными глазами:

– Возможно, что я что-нибудь и смогу для вас сделать. Но мое правило: услуга за услугу.

– Я готов, – поспешно сказал Генрих Зонненберг.

– Иуда Искариот усмехнулся отвратительно-любезно, остановил Генриха Зонненберга легким движением руки, на пальце которой переливным многоцветным блеском зыбко засмеялся крупный бриллиант, и сказал:

– Услуга за услугу и откровенность за откровенность. Видите ли, я не даром принял исторически-известное имя взамен моего мещански-благопристойного прозвища.

Серый пепел падал от его сигары, потому что Иуда Искариот чертил ее пламенеющим концом в безмолвном воздухе какой-то запутанный узор. Петли этого узора гипнотизировали Генриха Зонненберга, глаза его приковались к красному глазу сигары, и отвратительно звучный голос Иуды Искариота доносился до его слуха как будто издалека, но с беспощадностью, бичующей ясностью.

Иуда Искариот говорил, развалившись в своем покойном кресле:

– Некоторые думают, что это – только моя странная причуда. Но я – истинный Иуда Искариот, тот самый, который когда-то копил жалкие гроши, торговался с почтенными старцами синедриона, предал Учителя за тридцать сребренников, потом удавился. О, это очень тяжелый вид смерти! До сих пор помню резкое ощущение веревки, обвившиеся вокруг моей шеи. Я тогда был наивен и глуп.

Иуда Искариот засмеялся. Говорил:

– Подумать, какие-то жалкие тридцать сребренников! Как бы то ни было, эти веки, которые я томился в области, неведомой людям, не прошли для меня даром. Я вдруг почувствовал, что созрела пора для более совершенных предательств, и родился вторично.

– Зачем? – спросил Генрих Зонненберг.

Иуда Искариот ответил со спокойной, деловитой обстоятельностью:

– Чтобы развить великое дело предательств на рациональных основаниях. Вы, конечно, согласитесь со мной, что и история, и наблюдения над современностью учат нас этой простой истине: человечество нуждается в предателях. Предательство – не случайное преступление, совершаемое какими-то исключителями-злодеями, а совершенно необходимой во многих обстоятельствах и вполне естественный акт. Только животные могут быть правдивы и верны, потому что они не одарены речью, которая обладает способностью Хчрезвычайной ко лжи. Помните у Тютчева?

– «Мысль изреченная есть ложь», – припомнил Генрих Зонненберг.

– Вот именно, – сказал Иуда Искариот. – Животное только действует, – стало быть, оно обладает только одним способом выражения своей духовной жизни, и потому поневоле правдиво. Человек не только действует, но и говорит. У него, следовательно, два способа выражения: одно он делает, другое говорит. Так естественно в человеке, особенно культурном, что его слово расходится с его

делом, что он лжет, обманывает, клеветает, предает. И заметьте, чем человек культурнее, тем более ему приходится лгать. Вы согласны со мной, не правда ли?

Генрих Зонненберг сказал:

– Все, что вы говорите, очень остроумно и, может быть, отчасти, верно.

– Скажите, вполне верно, – возразил Иуда Искариот, – и вы будете совершенно правы. Человек не может не лгать, потому что странно было бы ему не пользоваться этим превосходным средством борьбы, – иногда даже единственным средством слабого против сильного. Припомните хотя бы ваше собственное детство. Каково-то вам было бы при некоторых неприятных обстоятельствах, если бы вы строго держались тогда прекрасного и одобряемого всеми сильными правилами всегда говорить правду вашим почтенным родителям, которые, конечно, и вас уверяли, что они руководятся только желанием вам добра?

Генрих Зонненберг засмеялся.

– Да, – сказал он, – и так влетало достаточно.

Иуда Искариот продолжал:

– Итак, иная ложь во спасение. Но, впадая в крайность, когда уже ей начинают злоупотреблять, ложь вызывает и наилучшее средство борьбы с ней, средство такого же точно происхождения и такой же природы, предательство всех видов, начиная с невинных детских проявлений, с наушничества и фискальства. Опять обращусь к воспоминаниям из золотой, невозвратной поры детства, этого святого невинного возраста. Может быть, и вам случалось иногда испытывать высокое удовлетворение, когда вам удавалось более или менее ловко подвести обидчика под чувствительное наказание?

– Да, это не лишено приятности, – сказал Генрих Зонненберг.

На лице его отразилось злорадство старых воспоминаний. Иуда Искариот смотрел на него с удовольствием.

– Впрочем, – сказал он, – эту тему можно развивать без конца. Будем кончать. Повторю вкратце: Я поумнел, исправился; на пустяки, как тогда, не польщусь, и за тридцать целковых в петлю не полеку. Да и вообще ни за что и ни за кого своей жизни не отдам. Живу только для себя, люблю только себя, верен только себе, и предать готов каждого, кого только могу, но не иначе, как за весьма приличную плату. А предать я могу очень многих, потому что владею многими тайнами. Я мог бы продать даже и такие ценности, на которые пока еще нет покупателей. И потому я богат, меня уважают, жизнь моя легка и приятна, и умру я, – если, конечно, умру, – не качаясь в петле на осине, и не под пулями стражников, как разбойник Варрава, а «под пленительным небом Сицилии, в благовопной древесной тени, созерцая, как олице пурпурное погружается в море лазурное», ну, и так далее, – помните?

– Как не помнить!

– Так вот, перейдем, если вам угодно, к делу. Вы ждете от меня вполне определенной услуги, а именно, чтобы на докладе о вашем деле была поставлена благоприятная резолюция. ТАК?

Генрих Зонненберг молча наклонил голову. Иуда Искариот продолжал:

– Что же вы дадите мне за это? Конечно, вы понимаете, денег я не беру. Я жду от вас большего и лучшего, жду того, что составляет смысл и цель всей моей жизни, поэзию моего существования, того, для чего я восстал из мертвых, преодолев тяготы многовекового могильного сна, – словом, жду предательства.

Кого же вы мне сегодня предадите?

Генрих Зонненберг слегка побледнел, но ответил без малейшего колебания:

– Графиню Марию Картомину и ее мужа.

Иуда Искарriot радостно улыбнулся и сказал:

– Признаться, я так и думал. Ваша любовница и ее чванный супруг. Хорошо. Ну-с?

Он протянул руку к Генриху Зонненбергу, – и, казалось, что уже он видит эти письма и эти бумаги сквозь черную ткань сюртука. Генрих Зонненберг быстро вытащил из кармана обе пачки и подал их Иуде Искарriotу. И уже после того слабо удивился этой почти мимовольной быстроте.

Прошла едва минута, – и Генрих Зонненберг уже пожалел, что отдал письма прежде, чем гарантировал себя чем-нибудь. Почти с ненавистью смотрел он на Иуду Искарriota. С ненавистью, страхом и надеждой.

Иуда Искарriot читал письмо за письмом. Не видно было по его лицу, доволен ли он новым своим приобретением. Он сказал, наконец, очень спокойно:

– Мими вас очень любит.

– Да, – сказал Генрих Зонненберг, – она для меня готова на все.

– Правда? – спросил Иуда Искарriot с неискренним любопытством. – И эти бумаги?

И он принялся перелистывать похищенные графиней Мими бумаги.

Генрих Зонненберг слегка смутился, но, пряча смущение под развязность тона, сказал:

– Да, это ее рук дело.

Иуда Искарriot внимательно прочитывал бумагу за бумагой. Наконец, он сказал:

– Здесь есть кое-что очень ценное. Ценное, конечно, только для меня, в связи с тем, что я уже имею. Из писем графини Мими действительно интересно только одно. Остальные, впрочем, я тоже оставляю себе на всякий случай. Что касается вашего дела, я постараюсь его устроить.

Иуда Искарriot улыбался и смотрел в глаза Генриху Зонненбергу своими омерзительно-ясными глазами. И вдруг Генрих Зонненберг почувствовал, что голова его кружится, и ему показалось, что пол качается под его ногами.

Страшная мысль внезапно поразила его:

«Где же ручательство в том, что Иуда Искарriot исполнит свое обещание? Предать меня, как и других, что стоит предателю?»

Но, словно, читая его мысли, Иуда Искарriot сказал ему:

– Вы можете не сомневаться. На этот раз я, по всей вероятности, вас не обману. Едва ли мне представится расчет предать вас. Я даже рассчитываю, что вы еще будете мне полезны. Конечно, вы в моих руках, – для этого вы мне достаточно рассказали, – и продать вас я не постеснялся бы, – продали же вы и женщину, которая вас так любит, – но кто же вас купит? Итак, до приятного свидания. Вернее всего, что уже дня через три ваше дело будет решено...

ОДНО СЛОВО

Никогда с такой приятностью не вспоминается нам лето, как в самые темные зимние дни. И еще если при этом переживаешь одиночество, разлуку с любимым, томишься печалью о быстро-промелькнувших, невозвратных годах молодости!

Константин Михайлович Сладимов, человек почти богатый, мало занятый и еще не старый, начинал свой декабрьский день только после полудня.

В обширной, красиво обставленной квартире Сладимова было безлюдно и тихо. Прошло уже четыре года с того дня, как жена Константина Михайловича ушла от него. Их единственного ребенка, мальчика, он отдал ей.

Теперь Константин Михайлович жил один, странной, пеленой жизнью обеспеченного, ничем особенно не занятого и начинающего стареть человека.

Проснувшись поздно утром, часто с головой тяжелой от излишне-выпитого вчера вина, Константин Михайлович еще долго лежал в постели.

Ни одного внешнего звука не доносилось к нему из-за тяжелых, бесшумно-мягких портьер и занавесей темной спальни. Тусклые, раздавленные мокрой мглой лучи серо-облачного дня не пробивались сквозь эти строгие занавеси. Только потому, что уже не хотелось ему спать, знал Константин Михайлович, что там, где-то, влечется день трудов и злости. Константин Михайлович поворачивал один из бронзовых выключателей у постели, — вспыхивали тонкие, молочно-белые шточки в стеклянной группе под потолком, и возникала необычайная опять в своей замкнутости обычность, неподвижная жизнь зеркал, бронзы, мрамора, красного дерева и пышных тканей.

Константин Михайлович не торопился вставать. Он вспоминал.

Обыкновенно вспоминались ему вчерашние встречи в театре, на улице, у знакомых, в клубе, на беггах, на скейт-ринке. И вот перед ним проходила яркая, цепкая вереница непужных, надоевших давно лиц: любезно-улыбающиеся дамы, развязно-целовкие девицы, молодые люди, облеченные в черные смокинги и фраки, те выложенные юнши, молодость которых всегда кажется преувеличенной, и люди пожилые с такими достойными манерами, что все они казались посланцами великих держав или отдыхающими министрами.

О каждом из этих людей Константин Михайлович знал какой-нибудь пакостный случай, анекдот, сплетню, по секрету рассказанное, но всем известное приключение. И хотя Константин Михайлович знал и то, что и о нем самом говорят многое, столь же пакостное, — одно бегство жены сколько дало пищи злым языкам! — но все же не мог отказать себе в удовольствии презирать этих людей его общества. Людей из другого общества он почти никогда не вспоминал, не потому, что не любил их, и не потому, что брезгливо сторонился от них, а только потому, что с детства не привык думать об этих людях иначе, как только слегка и недолго. Он совершенно искренне считал себя человеком особой, высшей расы, одним из посетителей угонченной культуры.

Иногда Константину Михайловичу вспоминалась его жена, Татьяна Алексеевна. Особенно часто почему-то стал вспоминать ее в последнее время. Вместе с ее образом в душе Константина Михайловича бурно поднимались острые, смешанные чувства вновь оживающей любви, жа-

лости, ревности и безумного гнева.

Константин Михайлович пытался покрыть эту бешеную смуту чувств холодным презрением, – но не было холода презрения в его душе, и воспоминания жгли и жалили его тем больше, чем светлее были милые образы воспоминаний, образы нежной идиллии. Тогда Константин Михайлович звонил, – шустрый, быстроногий и сероглазый мальчуган–казачок, в серенькой узкой одежде и в серых мягких башмаках, приносил газеты, – новости, сплетни, болтовня, суэта и смута наших дней...

Выйдя уже поздно в английском синем халатике из своей спальни, Константин Михайлович подходил неторопливо к среднему окну своего обширного, опрятно–холодного кабинета, с очень строгой обстановкой, и долго смотрел на улицу.

Был декабрь, а погода в тот год стояла еще осенняя, и люди, которые все знают, говорили, что это из–за кометы, которая прошла мимо земли весной, рассыпаясь от дряхлости.

На серой, тусклой улице мостовая темнела, мокрая и грязная. Некрасивые дома пялили на улицу мокрые глаза темных окон, и некрасивые вывески грузно свешивались над унылыми стеклами магазинов. Хрупали о камни копыта дымящихся извозчичьих лошадемок, и, упруго дрожа на резинках, пронеслись дрожки с поднятыми верхами, кожа которых тускло поблескивала сквозь серую пасмурность мокрого дня.

По мокрым, скользким тротуарам шли неуклюжие, намокшие люди в тяжелых, грубых одеждах. Кувалды–барыни топырили над собой черные зонтики и тыкали ими в котелки встречных чиновников.

Через дорогу перебиралась девочка в коротком синем платьице, кутаясь в большой темно–серый платок и осторожно ставя на верхи камешков тонкие ножки в забрызганных ботинках и видных до колен черных чулках. Прямо на нее, тяжело грохоча и покачивая грязно–зеленой дугой с черными разводами, катилась телега с серыми кулями, но девочка запрыгала поживее и перебежала под самой мордой смиренного ломовика.

Была скука разлита в сером воздухе, и серой скукой отравлены были прохожие и проезжие, да и стены тусклых домов, и плиты докучных тротуаров, и ржавое железо вывесок, – все это неподвижное и бездыханное переняло у человека его скуку и томилось, сучая, тоскуя.

Тогда опять вспоминал Константин Михайлович лето в далекой деревне, где встретился он с милой своей Таточкой, где над тяжелой запутанностью его нечистой, угарной, слишком городской жизни возникла нежная очаровательница – невинная, легкая, простодушная любовь.

В мечте снова вставали навсегда милые места: длинная аллея таких веселых, празднично–нарядных, зеленолистных и белостволых берез; мелкие камешки на дороге, и легко–означенные на ней колеи; старый помещичий дом с просторными залами, с уютными покойчиками, с укромными, темными переходами; старый, широко–разросшийся сад, где были такие тенистые дорожки и такие милые скамейки и беседки; причудливо–вьющаяся речонка у самого сада, и к ней спускающийся глубокий овраг, заросший ломким кустарником. И милое Таточкино лицо, улыбка милая, и легкий, звонкий смех, и ручки маленькие и загорелые.

Три–четыре образа особенно часто повторялись в памяти Константина Михайловича.

Вот в зале за старым роялем сидит Таточка. По клавишам

быстро бегают тонкие пальчики. И такие нежные, звенящие сладостно звуки льются в легкий сумрак предвечерний, что плакать хочется и смеяться от счастья и печали.

Вот на реке вечереющей в лодке легкой и зыбкой они двое, – он гребет, Таточка на руле. Заслушалась его рассказов, и лодка тянет к берегу, и шуршит бортом о зеленый камыш. Смеется Таточка:

– Чуть на мель не сели!

Вот утром Таточка идет с реки по тропинке мимо рощи домой. Она только что купалась. Волосы ее влажны, лицо нежно румянится, веселыми кажутся быстро-мелькающие босые ножки. Увидела идущего навстречу Константина Михайловича, застыдилась легко, прикрыла зардевшееся лицо свернутым полотенцем, убежать хотела, да передумала и, улыбаясь, подошла к нему. Такая милая, зардевшаяся стоит перед ним и говорит веселые слова.

А впрочем, что же вспоминать! Ничего особенного не случилось. Все было, как у вас, – Константин Михайлович и Таточка влюбились друг в друга, потом поженились.

Родные его и ее были довольны. Все находили, что Сладимов и Таточка как нельзя лучше подходят друг к другу.

Несколько лет жили они мирно, счастливо, беспечно. Родился скоро мальчик. Больше детей у них не было.

Первая, нежная влюбленность прошла, сменилась тихой любовью. Потом как-то уж очень скоро привыкли они друг к другу. Те радостные, золотистые нимбы, которые чудились ему над головой милой и ей над головой милого, мало-помалу полиняли, а там и вовсе смылись. И все в их жизни, пока еще согласной, понемногу стало обычным, докучным и пресным.

Но Константин Михайлович остался верен своей Таточке, а вот Таточка ему изменила. Увлеклась красивым инженером, холодным и пустым фразером, и ушла с ним от Сладимова. Ушла, а сына себе выпросила, – и Константин Михайлович с ней не спорил.

С тягостным злорадством думал теперь Константин Михайлович о том, что счастья не было Таточке. Инженер скоро ее бросил, – завел более выгодную связь.

Константин Михайлович, конечно, посылал Татьяне Алексеевне денег на воспитание сына. Этих денег едва хватало. К своим родным Татьяна Алексеевна стыдилась обращаться. Константин Михайлович знал, что его Таточке живется не сладко.

«Ну и пусть!» – досадливо думал он.

Иногда приходила ему в голову мысль, что надо бы денег посылать побольше Таточке. Но он гнал от себя эту мысль.

«Пусть работает», – думал он.

И Татьяна Алексеевна работала, как умела.

В толпе торопящихся к трудам людей, снующих под окнами этой дорогой квартиры, проходила иногда, может быть, и она. Может быть, взглядывала торопливо и робко на эти окна и спешила пройти поскорее.

Иногда Константину Михайловичу хотелось узнать все еще милые черты своей Таточки в лице одной из быстро проходящих женщин: иногда что-то в походке, в манере держать зонтик напоминало ему Татьяну Алексеевну. Всмотривался и убеждался, что ошибся.

Константин Михайлович отходил, не спеша, от окна, и одевался, как всегда, тщательно. На улице уже его ждал экипаж.

Спускаясь по темно-красному ковру красивой и светлой лестницы и потом проходя в широкую зеркальную дверь подъезда, мимо

почтительно-изгибающегося швейцара, Константин Михайлович думал почему-то, что есть в городе лестницы со двора, темные, с истертыми ступеньками, лестницы, где пахнет кухонным чадом и кошками, где за каждой обшарпанной дверью таится кто-то бледный, с усилием старающийся свести какие-то концы с какими-то концами. И его милая Таточка ходит по такой лестнице, ходит в старенькой жакетке и в старомодной шляпке, и тоже думает об этих концах.

Константин Михайлович усмехался злорадно, и думал:
«Ничего, ходит – привыкла!»

* * *

Ходит Татьяна Алексеевна Сладимова по грязной лестнице, где пахнет кошками, – ничего, привыкла.

Но как-то часто и Татьяне Алексеевне стало припоминаться то лето и та ее любовь, первая. И полинявший нимб над головой милого зажигался снова, и новая была в нем прелесть – заманчивая прелесть недоступности.

В серой, томной и тошной будничности, к которой Татьяна Алексеевна уже привыкла, возникали опять волнения прежней, казалось, навсегда погребенной любви. И все чаще и чаще томило ее сознание недоступности того маленького рая на земле, который она сама отвергла, сознание невозвратности бывшего, милого счастья.

Недоступное, невозвратное! Но так ли это? Так хочется сердцу верить! И разве есть невозможное? Разве упорная всегда воля человека уже не творит и в наши дни чудес?

Чудо из чудес, рождение и воскресение любви, – ты воле человека, тебя жаждущего, разве не подчинишься?

Однажды вечером, когда скучная лампа горела над белой скатертью стола и маленький румяный гимназист-второклассник Сергунчик с озабоченно-скучающим лицом учил скучные на завтра уроки, Татьяна Алексеевна вздохнула и сказала негромко:

– Сергунчик!

Мальчик, хмуря брови, взглянул на мать, положил палец на необходимую ему строчку, и спросил:

– А? Что, мама?

– Не написать ли нам отцу? – спросила Татьяна Алексеевна. – Может быть, он пас опять к себе возьмет.

Сергунчик оживился, а Татьяна Алексеевна уже упрекала себя, зачем сказала это мальчику. Надо было написать, не говоря Сергунчику. Ведь еще неизвестно, что ответит Константин Михайлович.

А Сергунчик болтал оживленно, забывая о своих уроках, и торопил ее:

– Пиши же, мама, скорее. А то мы не успеем на елку переехать к папе.

Татьяна Алексеевна писала, а Сергунчик стоял, нагибаясь за ее плечом, повторял шепотом каждое слово и плакал от умиления и восторга.

Свет от лампы был холоден и тих, – белая штора на окне висела неподвижная, неживая, – от железной в углу печки слабо веяло приторным, неживым теплом, – тень от стола лежала на полу широкая, тупая и холодная, – все вокруг враждебное было и неживое. Только в лампаде перед образом мерцал живой, таинственный огонек, – но жизнь, которая была в нем, иная была, не здешняя.

Татьяна Алексеевна писала:

«Милый Константин Михайлович, тяжело и грустно живется мне. Тот, с которым ушла я от вас, меня оставил, — и поняла я, что между нами никогда и не было любви. Когда прошли первые дни этого внезапного и безумного увлечения, мы оба увидели ясно, что ничто прекрасное и высокое не соединяет нас. Мы расстались, — и теперь только со стыдом и отвращением я вспоминаю угарные минуты нашего сближения.

«Вот живу я с моим Сергунчиком, жизнь моя наполнена заботами о нем, работаю для него, а сама я точно неживая: живу — не живу. Точно и нет жизни, точно только и есть заботы, что забота о каждой копейке, дума о том, как бы концы с концами свести. Но не стала бы я писать вам обо всем этом, если бы опять в душе моей не проснулось то, что когда-то мы с вами переживали вместе так хорошо, так молодо, так искренне.

«Помните ли вы то лето, навсегда для меня милое, когда вы мне сказали, что полюбили меня? Милый мой, любимый, любите ли вы меня еще хоть сколько-нибудь? Можете ли вы когда-нибудь простить мне то злое, что я вам сделала?

«Если бы вы знали, как устала я в моей печальной и трудной жизни, вы, конечно, пожалели бы меня. Вот я пишу вам, я прошу вас, как голодная, озябшая на дороге нищенка, — пустите меня к себе, возьмите меня. Даже не прошу, чтобы вы меня простили теперь же, — будьте со мной неласковы и строги, очень строги, — только бы мне видеть вас иногда, быть около вас, слышать звук ваших слов, хотя бы и не мне сказанных.

«Вам трудно, может быть, и неприятно найти для меня слова привета, — ответьте мне хоть кратко. Хоть одно только слово напишите мне, чтобы я знала, могу ли я прийти к вам. А если и нет вы мне скажете, вы будете правы.

«Ваша Татьяна.

«Я хотела подписаться "Таточка", и почему-то не посмела. Боюсь вас, мой милый, любимый, желанный мой.»

* * *

Туман стоял на улице, и не было дня; темное утро, не одолевшее мглистого тумана, сменялось сырым, дождливым, быстро-темнеющим вечером. Равнодушный свет электрической лампы мертво лежал на зеленом сукне стола в кабинете Сладимова и на белой бумаге Таточкина письма.

Константин Михайлович читал и перечитывал это письмо. Радость и злоба жили в нем, любовь и ненависть одновременно.

Таточка, милая Таточка, та самая, чей смех звенел, такой чистый, в аллеях старого сада, чей взор, такой ясный, там, на озаренных лучами ясного заката просторах, сладостно очаровывал его душу, Таточка опять придет к нему. Таточка, чьи ручки наполняли сумрак предвечерний звенящим благоуханием звуков, чьи попки погружались в прохладные росы утренних трав.

Жена, его обманувшая, ему изменившая, покинувшая его, замкнувшая вокруг него тяжелую черту одиночества и злорадства, — эта ненавистная женщина опять стучится в его двери.

— И он пустит ее?

Коварно-улыбающаяся, лживая, она опять будет с ним, на его ложе и за его столом? Властная, войдет в его жизнь госпожой, хозяйкой войдет в его дом?

Милая, придет, поцелует, будет ласкать его, как тогда, в

первые дни в первые ночи.

Будет ласкать его, как ласкала своего любовника.

Теперь униженная и робкая, она скоро поднимет голову.

Но пусть придет, пусть! И будет плакать и просить...

Злые желания и жестокие томили Константина Михайловича.

Бросить ей в лицо все слова, рожденные в тоске одиноких дней и ночей, все беспощадные слова! Унизить, измучить прекрасную, все еще милую, – тем более измучить, чем жалче будет мучить ее!

Или простить, забыть? И сладко будет помириться?

Она просит теперь только одного слова, – она получит это слово, одно слово, которого она ждет и которое все же будет неожиданным для нее.

Решительными движениями Константин Михайлович достал лист бумаги, написал одно слово, только одно, быстро заклеил конверт, написал адрес, позвонил, отдал письмо пришедшей на звонок стройной, миловидной Глаше и сказал:

– Отпустите в почтовый ящик сейчас!..

Пришло письмо вечером. Дрожали пальцы и Татьяны Алексеевны, когда она разрывала конверт. Сергунчик смотрел с любопытством и спрашивал:

– От отца? да? от отца?

Татьяна Алексеевна молчала. Раскрыла письмо. Вот оно, – одно слово, холодное, суровое. Только одно, но зато какое слово!

Лицо Татьяны Алексеевны багряно вспыхнуло. Как-то странно замрежили очертания предметов, – сквозь слезы.

Ни одного не нашел для нее ласкового слова. Такая жестокость!

Но не сама ли она этого хотела? И в самом деле, разве надо, чтобы душа у человека была, как из гуттаперчи, и чтобы все шло гладко, как ни в чем не бывало?

Так и надо. Или не надо? Должна ли она идти к нему, должна ли она перенести это жестокое, подчиниться тому, что сказано этим одним словом?

Должна. Для себя, для Сергунчика. Или не должна? Так страшно ей стало и стыдно, – но иначе как же быть? Вот суровое одно слово, – но это слово от него, от милого, от любимого. Или и от любимого нельзя этого стерпеть?

Пусть решит Сергунчик. Ведь этого же она не для себя только захотела, а и для Сергунчика. Чтобы у него была елка, был дом, был отец. Ну, вот, пусть Сергунчик и решает.

Татьяна Алексеевна медленно сказала:

– Вот, Сергунчик, прочти, что написал отец. Прочти и скажи, что мне делать: идти к нему, или уж лучше здесь остаться? Как ты скажешь, так я и сделаю.

Отдала письмо Сергунчику и смотрит на него глазами, полными слез. Прекрасные глаза полные слез!

Как покраснел Сергунчик! Звонящим странно голосом сказал:

– Только одно слово!

И заплакал.

Ласкала своего Сергунчика Татьяна Алексеевна и спрашивала:

– Что же мне делать, Сергунчик?

И улыбалась. И уже не было печали и смуты в ее душе. Как скажет Сергунчик, так и будет.

Долго плакал Сергунчик и, наконец, сказал:

– Что ж, мама, уж если ты захотела вернуться к папе, так пусть так и будет. Пойдем к отцу, милая мама, – и ничего не

бойся, — это пройдет, и опять будет хорошо.

Татьяна Алексеевна вздохнула и сказала спокойно:

— Хорошо, Сергунчик. Завтра пойдем.

И уже не стыдилась, не боялась. Пусть будет, что будет, — вернуться счастливые дни, и венцы счастья и радости засияют снова.

* * *

На другой день, к вечеру, Татьяна Алексеевна и Сергунчик поднимались по широкой с цветами и с зеркалами лестнице в бель-этаж, к дверям квартиры Сладимова. У Татьяны Алексеевны щеки, все еще такие нежные и прекрасные, горели от стыда, и тяжело билось в груди сердце. И Сергунчик был взволнован и тревожно поглядывал на мать.

Завидя знакомую дверь, еще ярче зарделась Татьяна Алексеевна, — остановилась на одной из верхних ступенек, — и уже готова была повернуться и бежать. Но уже на звонок, данный швейцаром, открылась бесшумная дверь, и на пороге показалась в белом передничке и в гофрированном чепчике Глаша, — та же горничная, которая еще при Татьяне Алексеевне была взята.

Глаша весело говорила:

— Пожалуйста, барыня! Мы все так рады были, когда барин нам сказали, что вы вернетесь.

Веселая улыбка была на Глашином лице, но казалась она Татьяне Алексеевне насмешливой. С неловкостью, разлитая во всем теле, исполованная бичами стыда, Татьяна Алексеевна вошла в переднюю.

Все, как при ней было, стояло и теперь, здесь и в зале, видно из дверей передней. И было тихо там, в глубине безмолвных комнат, там, где затаилось то, что будет.

Что-то говорила Татьяна Алексеевна, сама не слыша своих слов. Что-то отвечала ей Глаша.

Сергунчик нерешительно вошел в залу и с любопытством рассматривал полузабытые предметы. Глаша, улыбаясь, сказала Татьяне Алексеевне:

— Пожалуйста, барыня, уже все для вас приготовлено.

И пошла в ту сторону, где и прежде были комнаты Татьяны Алексеевны. И за Глашей тихо и робко шла смущенная Таточка — и не знала, радоваться ей, или плакать.

ПУТЬ В ДАМАСК

От буйного распутства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти, — милый путь в Дамаск...

Вечером весеннего тихого дня, когда на весело-шумных улицах громыхали дрожки, свирепые оборванцы и увядшие женщины продавали наивные ландыши, Клавдия Андреевна Кружинина вышла от доктора, красная и дрожащая от стыда и отчаяния, совершенно подавленная тем, что ей, молодой девушке, пришлось услышать, — и казалось ей, что

все, и дожидаящиеся в гостиной больные, и горничная в передней, смотрят на нее с насмешкой, жалящей сердце змеиными укусами.

Кто же возьмет ее, такую некрасивую и совсем неинтересную, застенчивую, неловкую, теряющуюся всегда при мужчинах?

Уже давно зеркало приводило ее в отчаяние, — правдивое стекло, отражающее беспощадно только то, что есть, — лицо, не только некрасивое, но и лишенное всякого очарования. Некрасивость лица не скрашивалась даже несколькими отдельными приятными и милыми чертами: глаза, живо отражающие всякое душевное движение, глубокие и умные, — умильные ямочки на щеках и подбородке, — густые волны черных, как осенняя ночь, волос, — все эти разрозненные прекрасности печально дисгармонировали с общим серым тоном лица и всей неграциозной фигуры.

Кто же ее возьмет? Кто назовет ее женой?

С беспощадной откровенностью циника, каким сделала его профессия, доктор бросил ей беспощадные слова...

— Но, доктор, — сконфуженно лепетала Клавдия Андреевна, — как же это? разве это от меня зависит? У меня нет жениха.

Доктор пожал плечами.

— С природой не заспоришь, — равнодушно сказал он, — никакое лекарство вам не поможет.

В том состоянии растерянности и стыда, когда дрожат и подкашиваются ноги, и не знаешь, что делать, Клавдия Андреевна шла по улицам. Знакомые перекрестки и переходы привели ее в квартиру в четвертом этаже, со двора. Там жила ее подруга, Наталья Ильинична Опричина, девица волоокая, полногрудая, энергичная, славный человек и отличный товарищ...

Клавдия Андреевна все ей рассказала. Если бы прошло хоть сколько-нибудь времени, хоть один только день, тогда, может быть, стало бы стыдно даже и подруге сказать об этом. Но теперь вышло как-то само собой. Тем более, что Опричина сразу, по несчастному, опрокинутому лицу Клавдии Андреевны поняла, что случилось неожиданное что-то и очень неприятное, — и стала расспрашивать. Клавдия Андреевна села, улыбнулась растеряннно и стыдливо, и принялась рассказывать, подробно и добросовестно, как твердо заученный урок.

Рассказала и заплакала. Опричина ходила по комнате шагами грузными, от которых легонько позвякивали на столе стеклышки подсвечников, и думала.

— По-моему, — сказала она, — плакать тут нечего, а надо действовать. У тебя нет никого на примете?

— Нет никого, — жалобным голосом призналась Клавдия Андреевна.

— Они скверные, все эти наши мужчины, — говорила Опричина, — и это возмутительно и несправедливо, что за всякой смазливой рожицей ухаживают охотно, будь она глупа, как набитый осел, а на некрасивых никто не хочет смотреть.

Она остановилась вдруг, и подошла к Клавдии Андреевне с таким видом, точно внезапно придумала что-то очень удачное и остроумное.

— Знаешь, я тебе могу помочь. У меня как раз есть подходящий... Ну, одним словом, это — один мой очень хороший знакомый. Он любит иметь дело с невинными девушками. Я тебе это устрою.

Через несколько дней Клавдия Андреевна сидела в отдельном кабинете дорогого ресторана с изысканно одетым господином лет

сорока с чем-то. Разговор плохо вязался. Был сервирован легкий, но дорогой ужин, – были устрицы, шампанское. Клавдия Андреевна была смущена, но храбро старалась скрыть это. Сергей Григорьевич Ташев, ее собеседник, говорил комплименты ее уму, остроумию, образованности.

– Давно уже я не проводил такого приятного вечера... Вы – самая умная из всех женщин, которых я знаю в Петербурге.

Клавдия Андреевна смотрела на его подозрительно черные волосы, на его слишком прямой стан, на неприятный очерк прямо разрезанного рта с короткопостриженными над ним черными и жесткими усами, – и чувствовала она, что все это говорится потому, что невозможно похвалить ее наружность, и все-таки необходимо говорить приятные и сближающие слова.

Иногда вдруг казалось ей все это сном, выдумкой. Она – некрасивая, сутуловатая, в своем вечном черном, убого прикрашенном ради «случая» голубым галстучком платье, никогда не посещавшая ресторанов, не знавшая, как держать себя, как открыть электричество и управиться с артишоками. И эта странно-чуждая комната с красными раздражающими обоями, традиционными зеркалами, пианино в углу и бархатной гранатовой портьерой, за которой скрывается еще что-то, – что? умывальник? постель? И элегантный господин с крупными, точно миндалины, желто-белыми зубами, тщательным пробором над помятым лицом, со складками вокруг рта и глаз, и его чрезмерно, на ее взгляд, изысканный костюм, и удивительный темно-гранатовый пластрон на батистовой сорочке.

Что свело их здесь? Почему они с ним, такие чужие, далекие, вчера еще незнакомые, сидят здесь одни, вдвоем, отделенные гранатовыми портьерами от улицы, от города, от всего внешнего, вседневного, привычного.

Эта прямо-странная обстановка действовала на Клавдию Андреевну, как кружащее голову наводнение. Белые нарциссы и багряные гвоздики в хрустальной чаше среди стола благоухали в нагретом воздухе. Вино, играющее так приятно, благодарно согревающее и поднимающее, золотое, радостное, в высоких шарообразных рюмках.

Забыла всю неленицу спутанной связи событий, и зачем сюда пришла, забыла, потеряла память об этом, уронила ее в золотые слезы в рюмках, – и сидела радостная, отвечала, говорила, даже засмеялась на смешной рассказ о знакомом профессоре.

– Не знаю, как могут интеллигентные люди посещать подобные места, – говорил Ташев, заканчивая анекдот. – Я, например, могу похвастаться, если уж на то пошло, что ни разу не обладал женщиной без любви.

Клавдия Андреевна вздрогнула, может быть, от слишком холодного вина, в котором плавали кусочки перастаявшего льда.

– Женщина, в которую мы влюблены, может быть, некрасивой, – да и что такое красота, как не условное понятие? Но она должна сохранять в себе нежные чары, обаяние вечно-женственного, таинственного и безотчетного. Тонкие, неуловимые нити должны протянуться между пей и мужчиной прежде, чем их соединит то, что мы называем любовью.

Лицо его, желтовато-бледное, оживилось и окрасилось. Глаза заиграли, и неприятно-крупные зубы чаще сверкали из-под верхней, выпяченной, ярко карминового цвета губы.

Устрицы, холодные и скользкие, на большом круглом блюде. Клавдия Андреевна робко свернула себе на тарелку две штучки, и в замешательстве выжидала, пока ее собеседник тоже вооружится пожом

и покажет ей, что делать с этим невиданным ей блюдом.

– С лимоном или так? – спросил он, услужливо протягивая ей хрустальную тарелочку с желтыми кружками и золоченой вилочкой.

Вдруг она почувствовала, что краснеет, от корней волос до плеч, как краснеют, сознавая безысходность положения. Он, должно быть, понял, взял нож, ловко раскрыл им створку, и быстро опрокинул в рот скользкий комок.

Клавдия Андреевна почувствовала к нему благодарность и даже нечто вроде расположения. Он избавил ее от первых мучительных минут. Но что будет дальше?

Было жутко и любопытно, и все время, как во сне, как в тумане. Потом снова вино, золотистые бокалы, золотые ломтики ананаса на хрустальной тарелке, – и снова тусклые сквозь туман разговоры о красоте, о женщинах, о любви.

– Что такое красота, – никто из нас не знает, но только стремится познать. И притом ведь не в этом дело.

«Ты сегодня совсем не красива,

Но особенно как-то мила»,

продекламировал Ташев, любивший щегольнуть знанием новых поэтов, иностранной литературы, бывавший на всех первых представлениях и парадных спектаклях. Как только он успевал!.. Студентам читать лекции, председательствовать на всевозможных ученых и полученных собраниях, ездить в заграничные командировки, писать книги.

Рядом, в большом кабинете шло настоящее веселье. Слышались звуки матчиша, кэк-уока, отрывки цыганских и опереточных мотивов. Разбитый истерический голос от времени до времени пытался вытянуть на высоких нотах:

«Я поцелуями покрою...»

но каждый раз срывался на одном и том же месте, и горестно взвизгивал:

– Не могу, не могу!

Кто-то на что-то жаловался уже совсем пьяным голосом, кого-то утешали, кто-то звучно целовался, стараясь заглушить звуки поцелуев взрывами хохота. Шалая, пестрая и пьяная, должно быть, была компания!..

– Вот как люди веселятся, а мы с вами еще и первой бутылки шампанского не роспили, – сказал Ташев, вливая вино в бокал Клавдии Андреевны. – Я пью за женщин интересных, умных, с такими прекрасными глазами, как у моей очаровательной собеседницы.

И неожиданным движением, быстро наклонившись, поцеловал у Клавдии Андреевны руку.

Неожиданность смутила, но не поразила ее. Ведь этого она и ждала, к этому готовилась, подымаясь еще два часа тому назад с бьющимся сердцем по обитой ковром под бронзой прутьев лестнице первоклассного ресторана. И у нее так редко целовали руку! От этого поцелуя, беглого и неожиданного, трепетно сияющая протянулась нить от него к ней, нить невидимая, но значительная. Он подошел к ней, так что на узком диванчике уже не было между ними места, положил свою руку, желтоватую, с темными, резко выделяющимися волосами, на ее небольшую смуглую пясть, и говорил уже интимным тоном, которому старался придать оттенок задушевности:

– Единственный недостаток наших эмансипированных женщин, – это то, что они все же, несмотря на свободу мысли, не хотят такой же свободы для тела. По-моему, гармоническое развитие личности должно соединять в себе и то и другое.

Клавдия Андреевна смотрела на смуглое чужое лицо, слушала эти пыльные слова, знакомая по романам, и как-то переставала чувствовать странность своего положения, своей близости к этому, совсем ей чужому, второй раз в жизни виденному ей человеку. Равнодушные, тупое и безразличное, овладело ей.

«Все равно, все равно», – мелькало в ее утомленной и отуманенной голове.

Жизнь, такая серая, такая безжалостная, не сегодня завтра все равно придавит. И перед Клавдией Андреевной мелькнула унылая полоса безрадостных годов, молодость, проходящая без увлечений, в докучных заботах о заработке, в мелких огорчениях и тщетных попытках полюбить, найти «человека», – друга, мужа.

Пьяный гул рядом ей вдруг напомнил, как в прошлом году на маслянице она ехала в вагоне третьего класса ночью, вызванная телеграммой в Калугу, где застрелился младший ее брат, студент. На соседней с ней полке в вагоне примостилась пьяная развеселая пара, мастеровой с гармоникой и женщина, может быть, проститутка, его подруга на эту ночь.

Всю эту ужасную ночь Клавдия Андреевна, точно в тяжком чаду, оцепенев, не сомкнула глаз, и всю ночь взвизгивала гармоника, лихо гаркал мастеровой, и орала пьяные песни пьяная проститутка.

Она ехала к себе в семью, собиравшуюся только тогда, когда с кем-нибудь из членов ее случалось несчастье, – смерть, ссылка, проводы на войну, – а теперь готовились хоронить младшего брата. Так, в эти печальные мгновения жизни собирались они все, некрасивые, неудачники, каждый со своей отравой в душе, молча толпились возле гроба или возле поезда, не знали и не умели сказать ничего утешительного друг другу. Толпой химер, серых и унылых, стояли они, обмениваясь тусклыми взглядами и серыми словами.

В ту истомную ночь она тоже позабыла обо всем этом, и в тупом оцепенении слушала пьяный визг, брань, поцелуи, визгливую гармонику. Не все ли равно, – казалось и тогда, – не сегодня завтра жизнь придушит, не все ли равно!

Повернулась на жесткой скамейке, и вдруг закаплялась от чада махорки. За невысокой стенкой хрипло засмеялась проститутка.

– Дохает кто-то, барышня, кажись, – раздался ее противно-простуженный голос.

Толстый парень с зеленым лицом и колючим взором серых глаз высунулся на минуту из-за перегородки. Уколол взором Клавдию Андреевну, и вдруг лицо его стало презрительно скучным. Отвернулся.

Из-за перегородки слышался его пьяный, наглый голос:

– Морда отпетая, дохает туда же, пи как красавица.

– Мордолизация! – хрипло взвизгнула проститутка.

Острое жало обиды прокололо насквозь бедное сердце тоскующей 00Хдевушки.

Вспомнила теперь эту ночь, и эту обиду, и опять стыдной болью заняло сердце. Такой болью, что она словно разлилась по всему телу, по всему вдруг покрасневшему телу, и вдруг ударила по нерву болевшего на днях зуба, – который собиралась да так и не успела запломбировать.

Ташев участливо глянул на ее вдруг искаженное болью лицо.

– Что с вами? – спросил он, нагибаясь к ней и обдавая ее легким ароматом вина.

– Зуб разболелся, – сказала она.

И брызнули жалкие, мелкие слезы. Невольно. Лепетала:

– Ничего. Это сейчас пройдет.

Что-то говорил Ташев, – едва слышала, сквозь багровый туман, кружащий голову, едва понимала, что слышала.

– Возьмите воды, пополощите зубы.

Едва сознавала, что, повинувшись ему, идет куда-то, и он поддерживает ее ласково и бережно под локоть левой руки. Перед самыми глазами заколебались багрово-тяжелые складки портьеры.

– Здесь есть вода. Позвольте, я вам помогу.

Откинул тяжелые складки. Повернул выключатель, – и вдруг неярким светом электрической лампочки в потолке озарился тесный альков, – серый мрамор умывальника с медными, красивыми кранами, и громоздкая, нагло-громадная кровать.

Так стыдно было стоять около этой кровати. Налил ей воды. Взяла ее в рот, на больной зуб. Боль утихла. Клавдия Андреевна лепетала несвязно:

– Благодарю вас. Мне легче. Прошло.

Повернулась, – уйти из алькова. Навстречу ей – улыбка и блестящие, неприятно-крупные зубы.

– Подождите, успокойтесь, не торопитесь, – говорил Ташев.

Слегка задыхался, и глаза его блестели лукавыми и страстными огоньками. Клавдия Андреевна почувствовала на своей талие прикосновение его жаркой руки. Он шептал:

– Вы устали. Прилягте. Отдохните. Это вас успокоит.

Совсем близко наклонился к ней. Ласковыми, но настойчивыми движениями подвигал ее к мягким успокоениям слишком нарядной кровати.

Стыдливый ужас вдруг охватил ее. Диким порывом оттолкнула Ташева, и бросилась из алькова, вся красная, вся трепетная.

Схватила за шляпку. Ташев растерянно повторял:

– Клавдия Андреевна, да что же это? Да что с вами? Да вы успокойтесь. Я же, право, не понимаю. Кажется, я...

Дрожащими руками, не попадая, куда надо, Клавдия Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала из ее дрожащих рук, и на паркете звякнула и заблестела ее крупная, стеклянно-синяя головка.

Ташев, бормоча что-то и видимо сердясь, подходил к Клавдии Андреевне. Она испуганно взвизгнула, схватила свою легкую накидку, и бросилась вон из кабинета. Слышала за собой обрывки восклицаний Ташева:

– Я не понимаю! Это Бог знает что! Зачем же!

Ресторанные лакеи с удивлением смотрели на стремительно бегущую мимо них барышню.

Клавдия Андреевна быстро шла, почти бежала, по шумным городским улицам. Привычной дорогой добежала до того дома, где живет Опричина, и уже поднялась до половины лестницы, и вдруг так же стремительно повернула обратно, и опять очутилась на улице.

То шла, то останавливалась, поправила сваливающуюся шляпку, заколов ее единственной оставшейся шпилькой. Села в первый попавшийся трамвай, и сидела там, тупо, без мыслей, красная и несчастная на вид, пока все не стали выходить, и кто-то в темноте не сказал скучным и злым голосом:

– Приехали. Дальше не пойдет.

Вышла. Осмотрелась. Городская окраина. Маленькие серые домишки. Сбитые плиты узкого тротуара. Чахлая, но весело зеленеющая и сквозь вечернюю мглу, травка меж камней мостовой.

Пошла наудачу. И шла усталая, тихая, безвольная. Ночь была кругом, и тишина, и полутемно, и печаль на земле, и пустынная синева над землей.

Казалось, что плачет кто-то, забытый и ненужный. И влажный вешний воздух был тих и печален, и пахло водой, и свирельный в ночной тишине доносился откуда-то издалека стон.

Вдруг Клавдия Андреевна различила, что это – звуки скрипки. Играл кто-то, точно плакала скрипка над милым, успокоенным прахом. Клавдия Андреевна пошла по тому направлению, откуда к ней доносились эти звуки.

Вот бедный, тихий дом, весь темный. Калитка. Со двора доносится тонкий плач тоскующей скрипки.

Клавдия Андреевна вошла во двор. Слабый свет виднелся сквозь занавеску окна в глубине двора. По шатким доскам узких мостков Клавдия Андреевна подошла к окну. Стояла и слушала долго у открытого окна.

На высокой, долгой, стелящей ноте замерли свирельные вопли. И слышно было, как с тихим стуком легла скрипка на стол, и слышны были быстрые, неровные шаги взад и вперед.

Что это было, легкий ли ветер отдернул край занавески, сама ли Клавдия Андреевна слегка отвела ее кончиками вздрагивающих пальцев, – но она увидела музыканта.

Это был молодой человек в студенческой тужурке, с нервным, бледным, измученным лицом, с густыми вьющимися круто и упрямо волосами, торчачими спутанной копной над крутизной упрямо выпуклого лба, с порывистыми движениями и угловатым, резким жестом сухих рук, быстро ерошащих волосы. Студент ходил, метался по комнате, – и в движениях его была тоска, и в лице его дрожало томление тягостное до смерти.

Бездонно-черный взор его глаз остановился на лице Клавдии Андреевны, – но было ясно, что студент не увидел ее, почной, случайной, неведомо как сюда пришедшей девушки. И в бездонно-черном взоре его глаз таилось томление, последнее томление человека.

Во всей обстановке бедной комнаты, – заурядного логовища для одинокого от хозяев, – было что-то неуловимо-значительное.

Какой-то внезапный беспорядок, странный и тоскливый беспорядок места, где есть умирающие.

На столе, среди книг и всякого обычного скарба, между коробкой папирос и недопитым стаканом чая, лежала слишком прямо положенная и видимо только что написанная записка. Ящик в столе был слегка выдвинут, и это почему-то особенно бросалось в глаза, словно в этом было что-то значительное.

А, может быть, так показалось Клавдии Андреевне потому, что едва она увидела этот слегка выдвинутый ящик, как уже студент подошел к нему, и, неловко сутулясь, стал шарить в нем.

Клавдия Андреевна с жадным любопытством ждала, что он вынет из ящика. И настойчиво, как злое внушение, вместе с тяжелым стучанием крови в ее висках, повторялось одно, улично-обычное слово:

– Револьвер, револьвер.

И оправдалось злое внушение, злое предчувствие, – студент отошел от стола, и в его руке Клавдия Андреевна увидела стальной блеск маленького, изящного, как дамская игрушка, оружия.

Резким жестом свободной руки студент взъерошил свои упрямые кудри, и поднял револьвер к виску. Глаза у него расширились, и

рука странно колебалась в воздухе, устанавливая дуло револьвера на удобное положение.

Потом опустил руку, глянул в дуло револьвер еще раз размашисто взъерошил волосы, крикнул отрывисто и громко:

– Баста!

И решительным движением взмахнул револьвером к голове. Внезапный женский вопль заставил его дрогнуть. Всмотрелся.

Порывистым движением обеих рук раздернув занавеску, Клавдия Андреевна отчаянно крикнула:

– Милый, милый! Зачем? Не надо!

И студент увидел, что незнакомая, некрасивая девушка лезет к нему в окно, неловко цепляясь руками за раму, задевая за что-то платьем, – неловкая, с кое-как сидящею на растрепанных волосах шляпкой, с лицом красным, взволнованным, несчастным, облитым слезами, искаженным рыдающими гримасками.

Лезет, такая смешная, забавная, заплаканная, и повторяет слезливо и жалобно:

– Миленький, не надо, не надо!

Студент сунул револьвер в ящик стола, бросился к окну и, бормоча что-то несвязное и невнятное, помог неожиданной гостье перелезть подоконник.

Полная возбуждениями последних дней, она бросилась к нему, обняла его и, плача, повторяла без конца:

– Милый, хороший, не надо, – живи, люби меня, живи, я тоже несчастная.

– Извините, – сказал студент, – вы успокойтесь. Может быть, чаю?

Клавдия Андреевна засмеялась, все еще плача. Говорила:

– Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Вот, если вы дошли до того, что уже нечем жить, – душевно нечем, – то вот, и я тоже, и если мы захотим, разве нельзя, разве так уж совсем нельзя сотворить жизнь по нашей воле, и жизнь, и любовь, и смерть! Вот, послушайте.

И рассказывала ему о себе, долго, сбивчиво, подробно и откровенно по-детски. Все рассказала. И опять вернулась к обидам, жгущим сердце уколами тысячи пчелиных жал. Смеясь и плача говорила:

– Он говорит, – морда дохнет туда же, – это, что я закашлялась от его махорки. А она говорит – мордолизация. И оба смеются. Морда! Ну и пусть и пусть!

Студент взъерошил свои лохмы, резким, привычным жестом вскинув руки как-то слишком вверх, и сказал утешающим голосом:

– Ну, это наплевать. Я тоже морда порядочная.

И вдруг засмеялись оба, и не было уже смертного томления в его глазах и в ее душе. И он подошел к ней близко, и обнял ее порывисто, и поцеловал звучно, весело и молодо в ее радостно дрогнувшие губы.

– Эту ерунду к черту! – сказал он, и сердито захлопнул ящик стола.

И она целовала его, и повторяла:

– Милый, милый, мой, мой! Люби меня, люби меня, целуй меня, – будем жить вместе, и умрем вместе.

«Легче вдвоем.

Если не сможем идти,

Вместе умрем на пути,

Вместе умрем».

Так, убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску, в союзе любви, сильной как смерть, и смерти, сладостной как любовь.

ЗЕМНОЙ РАЙ

I

- Хандришь?
- Хандрю.
- И все валяешься на этом диване?
- Ну, и валяюсь.

Спрашивал гость, веселый молодой человек, Павел Павлович Елисейский. Отвечал хозяин, молчаливый и ленивый холостяк среднего возраста, Андрей Сергеевич Ласточкин. Гость ходил по мрачному кабинету, хозяин лежал, книга валялась на темно-зеленом ковре рядом с диваном.

У гостя блестели белые зубы (одолю), черные волосы на голове, усах стрелками и коротко-постриженной бородке (ориантим) и веселые темно-карие большие глаза (атропин). У хозяина все было тускло и уныло. Только ногти были длинные и вылощены.

Елисейский сказал:

- Знаешь что? Тебя надо выгасить, а то ты совсем закиснешь.

Ласточкин хмуро усмехнулся и сказал лениво:

- Выгаскивай.

Елисейский оживленно говорил:

- Я повезу тебя в Земной Рай.
- Это что же такое? – спросил Ласточкин.

Елисейский воскликнул с удивлением:

- Да неужели ты не слышал? Да ведь об этом милом учреждении весь город говорит.

Ласточкин спокойно возразил:

- Я не слышал. Я сижу дома, газет не читаю, никого к себе не пускаю, и удивляюсь, как это тебя сегодня ко мне пустили.

Елисейский махнул рукой.

- Оригиналы! – сказал он примирительно. – Ну, слушай, я тебе расскажу.

И он, сверкая белыми зубами, принялся с восторгом описывать Земной Рай, обширный сад за городом.

Там всякий чувствовал себя так легко и приятно, словно в раю. Были увеселения там, и музыка, и несколько театров, и все для спорта. Главная же прелесть этого сада заключалась в том, что воздух в саду был напоен какими-то неведомыми ароматами, состав которых оставался пока тайной изобретателя. Под влиянием этих ароматов посетители становились невинно-веселыми, как дети, и спадали с них тягостные узы городских условностей.

Разнеженность смутных мечтаний возникла над туманной нестройностью в душе Ласточкина. Жажда невинных радостей прельстила его. Он встал с этого постылого и в то же время милого дивана, на котором так лениво дремалось, на котором такие тоскливые и унылые рождались в его голове мысли.

Сказал гостю:

– Ну что ж, я, пожалуй, поехал бы. Только лень одеваться.

Елисейский сказал:

– Ну, вот, я подожду.

Ласточкин подошел к зеркалу. Всмотрелся в свое желтое лицо.

Сказал досадливо:

– А что надеть надо?

– Да просто фрак, – сказал Елисейский таким тоном, как будто фрак был для него самой простой формой одежды.

II

Через полчаса Ласточкин был готов. Вышли на улицу.

Мостовые были непривычно сухи и обнажены. Поэтому улицы стали громкими, и говорить с извозчиками было трудно. Впрочем, эту обязанность взял на себя Елисейский. Ласточкин заметил только, что извозчик запросил пять рублей, и согласился ехать за три.

Ласточкин спросил:

– Что ж, это очень далеко?

Елисейский молча усмехнулся. Сказал:

– Ты не беспокойся. Я такого извозчика нанял, что он живо домчит.

Ласточкин замолчал. Всю дорогу ограничивался только редкими краткими репликами на болтовню Елисейского. А Елисейский говорил непрерывно. Ласточкин думал о своем.

Всегда возвращение весны в этом громадном северном городе, на эти великоленные граниты, приводило его в мечтательное, элегическое настроение. Смирялась в душе его та злость, которая осенью и зимой всегда томила его в шумном многолюдстве центральных улиц, и популярных сборищ. Уже толпа на улицах и в ярко освещенных залах не казалась его тоскующим очам сонмищем нагальванизованных трупов.

По тротуарам людных улиц шли милые девушки, и улыбались розовеющему на их румяных щеках закатному сиянию с просторно-голубых небес. Элегантные дамы в бесшумно-несущихся экипажах казались царицами радостных стран: легкому трепету белых перьев на их шляхах отвечал тонкой трепет легко веемых теплым с моря ветром вуалей и лент. Черные цилиндры и черные квадратные бороды самодовольных рыцарей индустрии и биржи красиво вмешивались в блистательную пестроту гвардейских мундиров.

Там, на гулких тротуарах, где мелькали котелки, фуражки с кокардами, мягкие шляпы, была густая мешанина всякого сорта людей. Для этой публики дюжие, небритые парни охрипшими с перепоя голосами предлагали букетики невинных беленьких цветочков; спрашивали за букетик по двугривенному, уступали за пятак два букетика.

III

Наконец Ласточкин и Елисейский выбрались из шумной городской тесноты. Долго еще ехали они тусклыми улицами заречной стороны.

Здесь все было серо и просто, но тоже очень мило. Рваные ребятишки были веселы. На окнах деревянных домишек пестрели в горшках незамысловатые комнатные растения.

Деревянная настилка моста упруго звучала под колесами. Была

река, широкая, милая и еще по весеннему пустынная. А за рекой, на том берегу, виднелся длинный деревянный забор, и прямо против моста в заборе массивные, вычурные ворота. Над воротами вывеска, – на белом поле зелеными крупными буквами надпись ЗЕМНОЙ РАЙ.

Стояло много экипажей в стороне. Вереница экипажей подъезжала к вычурно украшенным воротам.

Елисейский сказал:

– Ну вот и приехали.

Ласточкин с тупым недоумением, согнувшись на своем месте, осматривался вокруг. Что-то ему вокруг не понравилось, а что именно, он еще не мог понять. Захотелось опять, по-зимнему, спорить. Ворчливым тоном он сказал, не глядя на Елисейского:

– Стоило такую даль тащиться!

Елисейский уверенно возразил:

– А вот войдешь, так увидишь, стоило ли.

И видно было по его спокойно-радостному лицу, что он совершенно уверен в том, что Земной Рай очарует Ласточкина.

А Ласточкин ворчал:

– По-моему, ужасно некрасиво все это, – и эта нелепая вывеска, и этот идиотский забор, и эти глупые ворота.

Елисейский мельком глянул на него, усмехнулся и сказал:

– Об этом я не стану с тобой спорить. Снаружи это, действительно, не производит хорошего впечатления. Но ведь это все наскоро и пока. У них все внимание было обращено на то, что внутри, и тут им, действительно, удалось достигнуть...

IV

В это время извозчик повернул к седокам обросшее рыжей щетиной лицо и промолвил угрюмо:

– Барин, деньги приготовьте. Полиция гонит, потому съезд большой.

Елисейский сказал:

– Готово, готово.

И сунул извозчику трехрублевую бумажку.

Когда уже вышли, Ласточкин понял вдруг, что его раздражает. Он крикнул Елисейскому:

– Прощай, черт с тобой, я не пойду!

И сердито запатал по желтой песчаной дорожке, проложенной вдоль забора.

Елисейский, уже вставший было в хвост перед кассой брать билеты, с растерянным и удивленным видом пустился догонять его. Говорил, слегка запыхавшись от неожиданности и торопливости:

– Послушай, Андрей Сергеевич, да что с тобой? С чего это ты? Уверяю же тебя, что там все очень прилично, и если ты думаешь, что что-нибудь такое, то уверяю тебя, что все как следует, и ничего шокирующего нет.

Ласточкин спросил отрывисто:

– Что стоит вход?

Елисейский говорил:

– Собственно вход пустяки, всего три рубля. Там, конечно, есть еще разные местечки, но уж это по желанию, ну, и там различная плата, в зависимости от того...

Так же сурово спросил Ласточкин:

– А у кого нет трех рублей?

Елисейский сказал с некоторым даже неудовольствием:

– Ну, у кого нет! Понятно, туда всякую шантрапу не пускают. Там все очень прилично, и рассчитано на самую избранную публику.

Ласточкин едко переспросил:

– Да? На избранную публику? На ту самую, которая платит бешеные деньги прославленным гастролерам, хотя ни уха, ни рыла не смыслит в искусстве?

Елисейский пробормотал смущенно:

– Ну, зачем же так резко! вовсе уж мы не такие профаны.

V

Ласточкин, не слушая его, говорил:

– Земной рай! Смотри, вот перед тобой берега прекрасной реки. Воды ее сияют в лучах заката. Небеса пустынно-торжественны над ней. Деревья на ее берегах томятся сладко грустью бессознательного счастья. Влажные травы облелены тишиной и тайной внешнего вечера. Вот, уже меркнет заря. Уже над рекой поднимаются легкие, прозрачные предвестники тумана. Сладостной завесой забвения закутается бедный мир придуманного людьми города. Нежными вздохами счастья и печали донесутся сюда из города отголоски людской суеты. Преображенный мир предстанет перед нами, чаруя нас опять и опять мечтательным предвещанием земного рая, рая без оград и без замкнутых ворот, без платы за вход, рая, доступного для всех. Видишь, там, на траве, на росе, белые мелькают пляшущие ноги отроков и дев, и свирель стонет нежно, и прозрачно-легкий колыхнется смех, трепетно-звонящий в очарованном смелой волей человека воздухе свободного навеки мира. Ты хочешь, несчастный, чтобы предвещательные мои мечтания я променял на утехи твоего придуманного ароматического сада за решеткой! оставь меня, иди туда один, забавляйся, как умешь, а меня оставь моей задумчивой печали и легкому томлению моих мечтаний.

И расстались они, – своей дорогой пошел каждый.

ПОМНИШЬ, НЕ ЗАБУДЕШЬ

Предпраздничная веселая, но все же всем надоевшая, шумная суета кончилась. В квартире Скоромыслиных стало, наконец, тихо и по-праздничному легко. Запахи куличей, только что испеченных, вкусные, но тяжелые, сменялись с легким, как сказка ароматом духов.

Торжественные звоны, пушечные выстрелы, легкие гулы веселых голосов и стук колес и копыт по торцам мостовой слабо доносились в тишину и уют просторного кабинета, полузаглушенные тяжелыми складками портьер.

Николай Алексеевич Скоромыслин не пошел к пасхальной заутрене. Он всегда ходил в эту ночь в церковь вместе с женой и с детьми, а сегодня ему что-то занездоровилось. И настроение было тоскливое, совсем не праздничное.

Впрочем, в последнее время это с Николаем Алексеевичем нередко случалось такое несоответствие его настроений с тем, что чувствуют и переживают все другие. Вокруг веселые люди смеются и

шутят, а Николай Алексеевич грустен, задумчив, ему скучно, он готов говорить всем неприятные слова. И, наоборот, бывает, – все вокруг волнуется, негодуют, плачут, а он спокоен, даже иногда весел. Стали даже говорить знакомые, что у Скоромыслина тяжелый характер.

Николаю Алексеевичу просто не хотелось сегодня идти в церковь: недомогание было только предлогом, чтобы не сказать коротко и просто:

– Не хочу. Поезжайте без меня.

Разные причины удерживали Николая Алексеевича дома. И потому, между прочим, не хотелось идти, что будет много знакомых в той церкви, – домовой, – куда они ходят потому, что имеют кое-какие связи с людьми, причастными к тому ведомству.

Если пойти, то надо будет всем знакомым улыбаться, делать беззаботное лицо, и говорить что-то легкое и никому не нужное, но совершенно обязательное в эту ночь. И вообще, как всегда со знакомыми, надевать маску общепринятого образца.

Ах, эти скучные маски! Отчего нельзя всегда быть самим собой!

Самим собой можно быть только тогда, когда остаешься один, совсем один, когда знаешь, что никто не постучится в дверь, когда можешь положить трубку телефона, чтобы не услышать докучного звонка. Только тогда спокойно можно отдаться мечтам и воспоминаниям, погрузиться в ту легкую задумчивость, которая слаще всего на свете.

Вот этого утешения захотелось теперь Николаю Алексеевичу.

Перед заутреней жена вошла к Николаю Алексеевичу в кабинет, шурша белым шелком нового платья, поправляя холодный, матовый жемчуг на теплой белизне стройной шеи, и сказала:

– Пора уж нам ехать. Неудобно приходиться слишком поздно. А ты поедешь?

Николай Алексеевич встретил жену привычно-ласковой улыбкой, поцеловал ее белую, стройную руку с кольцами, сияющими блеском камней, на длинных, тонких пальцах, от которых пахло сладко и нежно, и сказал:

– Нет, я лучше останусь дома. Подожду вас. Полежу здесь. Голова у меня все еще побаливает.

– Да, конечно, – сказала жена, – раз что ты неважно себя чувствуешь, так лучше останься дома. А то еще простудишься. На улице холодно, и ветер такой холодный. Ты много работал в последнее время, – и это нехорошо. Не надо так утомляться.

Николай Алексеевич лениво усмехнулся и вяло возразил:

– Ну, где там! Какая теперь моя работа? В городе совсем нет времени заняться, как следует.

– Да, – сказала жена, – уж эта городская жизнь! Но, ведь ты знаешь, Коля, для детей приходится. А я и сама очень не люблю города. Я бы и зимой охотно жила в деревне.

Николай Алексеевич тоже любил повторять, что не любит города, где так много пустых развлечений, встреч и разговоров, мешающих работе, где так поздно ложатся спать и так поздно начинают день. Городские жители очень отравленные милым ядом городской жизни и очень влюбленные в соблазны этой шумной жизни, любят хулиганить нелепость и суету жизни большого города.

– Я дам тебе хищину, – сказала жена, – это тебе отлично поможет.

– Ну, вот, зачем! – попытался возражать Николай Алексеевич. – Ничего мне теперь не надо. Я полежу спокойно, и все пройдет.

Но жена уже не слушала его. Она исчезла за темно-синей портьерой двери, легкая, как девочка, совсем непохожая на сорокалетнюю даму, на мать пятерых детей. Через минуту она уже вернулась, и легко, шурша недлинным шлейфом по синему, затянувшему пол, сукну, пробежала через комнату. Она держала в одной руке на блюдечке с розовым рисунком на фарфоре коробочку с облатками хинина, и высокую рюмку с темной мадерой, — запить горький порошок.

Веселая, нарядная в своем белом, шитом тяжелым, тусклым золотом платье, с полными белыми плечами, и с полными стройными руками, открытыми по локоть, все еще красивая, с пылающими от безотчетной веселости щеками и с порозовевшими раковинками тонких, маленьких ушей, полузакрытых завитыми локонами, благоухающая какими-то легкими, как сладостная райская мечта, духами, она стояла перед Николаем Алексеевичем и требовала с ласковой настойчивостью, чтобы он принял эту ненужную для него пакость.

Николай Алексеевич шутливо вздохнул и развел руками, покаясь неизбежному. Сказал:

— Ах, милая, я все еще тебе послушен.

Жена улыбалась весело, обрадованная его шуткой. Николай Алексеевич с легкой гримасой усилия проглотил облатку, запил ее мадерой. Лег на диван и с удовольствием протянулся на его широком, упругом ложе, ощущая левой рукой холодноватую, мягкую кожу его высокой прямой спинки, с полочкой наверху, где стояло несколько фотографических портретов, и со шкафчиками по бокам.

Жена неторопливыми, ловкими движениями приятных полуобнаженных рук поправила под головой Николая Алексеевича шитую зелеными и розовыми шелками, — веноч из роз, — атласную подушку, и покрыла Николая Алексеевича мягким клетчатым пледом, под которым сразу стало тепло, приятно и спокойно, и таким милым стал легкий озноб в спине.

— Ну, что, Коля, теперь удобно тебе? — спросила жена.

— Очень. Спасибо, милая, — ответил Николай Алексеевич. — Уж ты не возись со мной, иди себе. Дети ждут, должно быть.

Но прежде, чем уйти, жена переставила с письменного стола на столик у дивана наполовину отпитый стакан с кислотовато-сладким, зеленоватым питьем и раскрытую книгу, новый роман. Потом она простилась с Николаем Алексеевичем нежным поцелуем, сказала:

— Постарайся поспать до нашего прихода.

И ушла, легкая, веселая, благоуханная, — по сукну прошуршала шлейфом, портьеру колыхнула у двери, — ушла.

Николай Алексеевич смотрел за ней, и глаза его благодарили, и губы улыбались ласково. Лихорадка мучила и нежила его, меняя ознобы и знои. Она напоминала ему о другой, которой с ним уже нет, — и губы его улыбались и шептали:

— Помнишь, не забудешь? Милая Иринushка, не забудешь?

Были слышны недолго слабые из-за дверей отзвуки веселых голосов в зале и в передней, донесся издали стук закрытой на лестницу двери, — и стало тихо.

Николай Алексеевич остался один.

Он взял книгу. Пробежал несколько страниц. Но скучно было читать, и казалось неудобно держать книгу руками из-под пледа, который при этом сползал с плеч и комкался под правым боком.

Николай Алексеевич положил книгу на столик и повернул выключатель стоявшей на столике легкой лампы-качалки. Теперь кабинет был освещен только отраженным от потолка светом двух

лампочек люстры, прикрытой снизу тяжелым, темным щитом.

Николай Алексеевич закутался пледом и погрузился в смутное состояние полудремоты.

Бывало, Николай Алексеевич любил мечтать о будущем. Признак юности и скованной еще силы – мечта о будущем. Мечты о будущем утешали, когда настоящее было темно.

Теперь Николай Алексеевич больше любил вспоминать былое. Старость ли надвигалась, слишком ли яркие мечты утомили душу, или милого много накопилось в былом, – к былому с каждым годом все чаще обращались мысли.

Воспоминания – как мечты иногда. А иногда они, как проза. Иногда в них странное сплетение прозы и мечты, милого и постылого.

Что же эти дни, о которых вспоминается так сладко и так горько? Дни, когда было молодо, бедно, трудно и радостно, – что же эти дни?

И горе в них было, и тусклость бедной, скудной жизни.

Очень трудна была жизнь, – только молодость все скрашивала и еще более, несравненно более, ее любовь. Любовь милой Иринушки, первой жены Николая Алексеевича.

Иринушкина любовь чудеса для него делала и на убогий мир действительности надевала для него пышный наряд царственной мечты. Милая Иринушка, явленная в обличии простодушной Альдонсы, преображалась торжественной Дульцинеей, прекраснейшей из прекрасных, и преображала для него мир.

Это было давно, так давно!

А теперь?

Теперь Николаю Алексеевичу идет, – и уже давно идет, – пятый десяток. И все в жизни его изменилось. Бледная, скучная бедность отошла. Жизнь полна, легка, и приятна. Хорошо теперь Николаю Алексеевичу живется.

Хорошо?

Да, конечно, хорошо.

Только иногда странно как-то. Бедность и достаток, – откуда они? Зачем они так пыгают человека? Зачем то немудрое, чего добивается человек, приходит так поздно?

Вот были годы, когда, едва начав свою самостоятельную трудовую жизнь, бедный учитель в уездном городишке, женился Николай Алексеевич на своей милой Иринушке. Женился потому, что любил Иринушку, потому, что она любила его. Женился, хотя оба они были бедны и одиноки.

Жена молоденькая в его доме, – и свирепая в его доме бедность. Душа просит радости и смеха, а жизнь грозит напастями и бедами, и утомляет трудами и не дает отдыха.

Работали они оба очень много, а денег у них в доме было очень мало. Порой и совсем не было денег. И очень мало было вещей. Да и те вещи, которые были, были плохи.

Но разве деньги и вещи сильнее человека?

Город, где они жили, был скверный, маленький, ветхий городишко, обнищавший вдали от сильных людей и от больших дорог. И люди в этом городе жили жалкие, угрюмые, злые, завистливые, нищие духом люди. А те, в ком теплилась живая душа, томилась там, и тосковали, и рвались убежать из этого постылого города, от этой тусклой жизни; и, если не могли убежать, умирали рано, или убивали сами себя, или спивались.

А вот теперь у Николая Алексеевича дорогая, красивая, хорошо

обставленная квартира на одной из лучших улиц большого города. В этой квартире с Николаем Алексеевичем живут жена его, дети, у детей гувернантка, студент-репетитор, бонна и целый штат прислуги. В этой квартире часто бывают гости, милые, любезные, просвещенные люди; смеется и плачет рояль, кто-то поет нежные и страстные романсы; танцуют весело и оживленно; говорят о всем, что в широком мире случается, волнуя сердца, и что в искусствах живет живой жизнью. Когда нет гостей, вечер занят театром, концертом, маскарадом, посещением знакомых, ужином в ресторане.

Николай Алексеевич работает много, но все-таки гораздо меньше, чем в те юные годы, его первые годы жизни с милой Иринишкой. Имя его довольно известно, — книги, которые пишет Николай Скоромыслин, раскупаются не плохо, — в обществе о нем иногда говорят, газеты бранят его с достаточной свирепостью, — словом, известность несет ему свои дани.

Николаю Алексеевичу, конечно, кажется, что у него мало денег. Никому из живущих в городах не довольно того, что есть. Николай Алексеевич в этом не составляет исключения.

А все-таки получает Николай Алексеевич за иной месяц в двадцать раз больше, чем он получал за то же время в те давние годы, за иной месяц в тридцать раз больше, а то иногда и в сорок раз. Бывают и еще более удачные месяцы, но редко.

Когда Николай Алексеевич получит в сорок раз больше, чем прежде получал за месяц, то часть этих денег откладывается; если в тридцать раз, — концы с концами кое-как сводятся; если только в двадцать, — тогда тратятся и те деньги, которые были отложены в удачливые месяцы. Но в конце концов денег на все не хватает; и на скромный образ жизни, и на книги и картины, и на заграничные ежегодные поездки, без которых никак нельзя обойтись, потому что все знакомые за границу ездят, и много об этом говорят, и потому, что за границей жить легко, приятно и удобно. Приятнее, чем в России, где газеты каждый день приносят такие странные, неожиданные новости.

Николай Алексеевич скучающими глазами обвел знакомые, приятно-привычные предметы своего кабинета. Все здесь было дорого, просто, прочно и красиво, в строгом скандинавском духе. Преобладал спокойный и холодный темно-синий цвет.

На громадном письменном столе были расположены в педантическом порядке бумаги, конверты, чернильницы, карандаши, перья, рамки с портретами, часы, лампа, подсвечники, вазы с цветами, бронзовые фигурки для надавливания на разрозненные бумажки и еще какие-то красивые вещицы без определенного назначения. По стенам стояли шкафы американской системы, набитые книгами в переплетах и без переплетов, и все эти книги были расставлены строго по форматам, — маленькие повыше, — и в каждом формате по алфавиту.

В углу, близ окна, стояла очень странная, но дорогая скульптура, — словно ножом или долотом наспех вырезанная из липового чурбана фигура неуклюжего, некрасивого, голого увальня, опирающегося на палку, и согнувшего для чего-то толстые, мягкие колени. Но это было не дерево, а мрамор, и непонятно было, зачем так безжалостно изуродован кусок прекрасного камня талантливым, скульптором. А что скульптор был талантлив, это было несомненно при первом же взгляде на эту диковинную статую, — столько в ней было силы и незабываемой выразительности.

В таком же странном роде были и несколько висевших по стенам картин в гладких серебристо-серого цвета рамах, их краски были

непомерно ярки, а фигуры написаны были так, что долго надо было всматриваться, чтобы что-нибудь понять. И все же это были картины, отмеченные печатью несомненного таланта, сильного, яркого, необузданно-смелого, хотя, к сожалению, слишком модного. А все модное в искусстве, как и в жизни, имеет тот прискорбный недостаток, что рано или поздно выходит из моды и забывается. Иное, впрочем, воскресает в поздних поколениях; иное же забывается и погибает навсегда.

На круглом столе под люстрой видны были газеты, книжки новых журналов и несколько горшков с белыми гиацинтами.

Много простора, света и книг было в этой комнате, а Николаю Алексеевичу припоминалась та убогая квартиренка, которую он и его Иринушка снимали за три рубля в месяц. Ведь их было тогда только двое. — куда ж бы им была большая квартира? Да и что бы они стали делать с большой квартирой?

Иринушка даже не соглашалась взять прислугу. Жалованье и содержание прислуги составили бы слишком обременительную статью в их более чем скромном бюджете.

Иринушка сама справлялась со всеми работами по хозяйству и храбро делала все то, чему ее не учили ни в гимназии, ни дома, — пищу стряпала, полы мыла.

Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, милая, помнишь?

Помнишь, Иринушка, этот маленький, захолустный городишко, грязный, тусклый, ленивый, сонный, этот злой город, осатанелый от лени, водки и сплетен?

Пришлось в нем прожить несколько лет. И особенно тяжело было в первый год.

Николаю Алексеевичу еще ничего было, — он был постарше. А его шестнадцатилетней Иринушке, должно быть, круто приходилось. Но она не жаловалась, и всегда очень была весела. Сама смеялась и его забавляла. Звонким, зыбким смехом заслоняла от него уродливый лик темной жизни. Разгоняла злые чары жизни, как умела, как могла, — смехом, песней, пляской.

— Иринушка, милая, помнишь, не забудешь? Помнишь, Иринушка, эту первую осень, беспросветную, холодную, мокрую, злую?

Серые тучи облекли все небо, и серый, холодный, скупой, сеялся сквозь них свет осеннего, скудного дня. Тоска разлита была в тяжелых, мокрых тучах и в воздухе холодном и сыром, — и от земли, от этих немощных улиц поднималась неизбывная тоска.

Весь день шел дождь, мелкий, упрямый, маленький и злой дождичек, гнусный спутник маленькой, тусклой жизни серого захолустья. Стекла маленьких окон были от этого дождика слезливо мокры и жидкая, липкая, черная грязь лежала на улицах, а на мостках, гнилых и грязных, пухли и зябли рябые лужицы, и мокры были давно уже голые ветки берез и осин в садах и огородах за серыми заборами.

Ветер проносился порывами воя злобно и жалобно, сырой и холодный, и с мелкой яростью трепал эти голые ветки мокрых, растрепанных деревьев. И в топких визгах ветра все та же слышалась безумная тоска.

По улице медленно тащилась телега с какими-то серыми кулями, колесами увязая в грязи, и пегая лошаденка тяжело ступала, звучно хлюпая в грязи ногами и тяжело дыша, вся мокрая, понурая, жалкая. Такая же тихая, с плачущими глазами, с растрепанными ветром мокрыми космами седой гривы, и жалкая такая же, как бредущий по грязи рядом с телегой мокрый мужик в каком-то сером, заскорузлом

кожане.

Через улицу медленно и лениво зачем-то перебирался босоногий мальчишка, высоко засучив ветхие штанишки и утопая в жидкой грязи до покрасневших голых коленок. На нем был надет рваный кафтанишко; его трепанные светлые волосенки прикрывала помятая шапка с расколотым козырьком; шею обматывал пухлый, грязно-красного цвета платок; голые худые ножонки были сини от холода и грязны. Остановившись посередине улицы, мальчишка засунул пальцы в рот и пронзительно засвистал, поглядывая направо и налево по улице, словно поджидая кого-то. Но никого не было, и мальчишка побрел себе дальше, по-видимому, наслаждаясь этим купанием в грязи.

Ворона одним глазом смотрела на него, усевшись на высоком заборе, и пронзительно каркала.

Николай Алексеевич вышел по шатким ступенькам крыльца на двор, чтобы помочь Иринушке донести ведра с водой. Брызги холодного дождя настойчиво бились в его лицо, и сырой ветер тяжело колыхал на его лбу прядку отбившихся волос.

Под мелким дождиком, по узким, брошенным через грязь на дворе, дощечкам, осторожно переступая мокрыми босыми ногами, тихо шла от города Иринушка – на речку за водой ходила. Тяжелое коромысло грузно лежало на Иринушкином плече. Два ведра с легким скрипом колыхались, плеща порой воду на покрасневшие от холода стопы Иринушкиных легких ног. Ветер трепал подол ее подобранной высоко синей юбки.

Иринушка, придерживая обеими маленькими, покрасневшими, мокрыми от дождя руками коромысло, гнулась под его тяжестью. Горячо рдели ее щеки, и выражение усилия было на ее лице. Темные, густые Иринушкины брови слегка хмурились, а ее нежные, алые губы весело улыбались ему, вышедшему ей помочь.

Помнишь, милая, не забудешь – Иринушка, помнишь?

Старое, рваное платьишко, похолодавшие маленькие руки, и эта кроткая улыбка, и покрасневшие от холода глиной запачканные ноги.

Николай Алексеевич снял с коромысла ведра, внес их в сени, ласково Иринушку стал упрекать:

– Иринушка, Иринушка, разве же так можно? На дворе так холодно, а ты ножек не обула!..

Иринушка улыбается и оправдывается:

– Такая глина липкая и вязкая, так башмаки пачкает, – потом бьешься, бьешься, не очистишь. А ноги – в воду опуцу, сойдет глина.

– Так, ведь, холодно – говорил Николай Алексеевич.

– Так что ж, что холодно! – весело отвечает Иринушка, смеется и, легкая, взбегает по шатким ступеням, нарочно громко стуча по ним ногами, чтобы согреться поскорее. – Согреюсь, – говорит она весело.

– Помнишь, милая, не забудешь? Эту тесную, угрюмую квартирку, Иринушка милая, не забудешь?

– Как забыть! Не забудешь. И хочешь забыть, да не забудешь.

Полусгнившее крыльцо гнулось на бок. Балясины перил пообломались, упали иные, кто-то сжег их в печке.

Старая крыша дала течь. Подстилали на чердаке тряпки какие-то, корыто оставили, – а все же иногда и в комнате капало с потолка.

Доски пола шатались под ногами и скрипели жалобно и противно. От окон дуло. В одном из окон разбитое пополам стекло было склеено замазкой, чтобы не вставлять нового.

– Некрасиво, Ирипушка, – говорил Николай Алексеевич. – Купим новое.

– Некрасиво, да спасибо, – говорила Ирипушка.

И смеялась.

Милая Ирипушка! Хоть бы раз ты его упрекнула! Хоть бы словечко укора ему или судьбе промолвила когда-нибудь! Хоть бы заплакала когда, хоть бы, плача, пожаловалась, пороптала бы хоть немножко!

Никогда, ни разу не видел Николай Алексеевич Ирипушкиных слез, не слышал ее жалоб и ропота, – никогда!

Был вечер. Усталые оба, они сидели у стола, при свете керосиновой лампы, прикрытой зеленым стеклянным абажуром. На вязаной белой скатерти лежала раскрытая книга. Ирипушка читала вслух, Николай Алексеевич слушал.

Он смотрел на склонившуюся над книгой голову, на ровный пробор в темно-русых волосах, слушал Ирипушкин ровный голос, так отчетливо произносивший слова рассказа о далеком, о чужом. Потом Николай Алексеевич переводил глаза на зеленый узор обоев, на стул с прямой спинкой, стоявший у стены, на темную этажерку в углу близ окна, на железную печь в другом углу. Бедные предметы скучного обихода с докучной ясностью метались в глаза. Николаю Алексеевичу было грустно.

Ирипушка кончила читать, закрыла книгу, сказала:

– Будет на сегодня. Завтра дочитаем.

Посмотрела на Николая Алексеевича, улыбнулась и спросила:

– Коля, что ты не весел, голову повесил?

Улыбнулась, и Николай Алексеевич улыбнулся ей в ответ, но улыбкой тоскливой, как дождь осенний за коленкоровой шторой, за мокрым окном, на улице, где темно и уныло.

Спрашивала Ирипушка:

– Хочешь, Коля, я для тебя буду танцевать, хочешь?

И танцевала, тоненькая, легонькая, едва касаясь жестких досок пола розовыми пальчиками легких босых ног, красивым жестом маленьких рук приподнимая юбочку свою синюю.

Николай Алексеевич улыбался невесело и говорил:

– Милая Ирипушка, отчего ты меня никогда не упрекаешь?

Ирипушка поднимала брови милым движением удивленной ма-
ленькой женщины, и спрашивала:

– Коля, да за что же мне тебя упрекать? Что же ты мне сделал худого?

И говорила:

– Я с тобой счастлива, милый Коля, милый!

И, присев к нему на колени, обнимала его жаркими, тонкими руками и целовала его нежно и долго.

Николай Алексеевич говорил:

– Милая Ирипушка, не на радость ты меня полюбила. Я так беден, и тебе со мной так трудно.

– О, бедность! – беспечно говорила Ирипушка. – Да разве это такая большая беда? Разве надо жить в роскошных палатах? Только надо быть веселым и сильным и хотеть счастья.

И спрашивала Ирипушка Николая Алексеевича, обвив руками его шею и заглядывая в его грустные глаза своими синими, счастливыми глазами:

– Ты хочешь со мной счастья? Хочешь?

Николай Алексеевич говорил, невесело улыбаясь:

– Кто же не хочет счастья! Все его хотят.

Иринушка весело говорила:

– Ну, вот, и я хочу, – и уже я счастлива. Я с тобой, Коля милый, больше мне ничего и не надо.

Потом Иринушка задумывалась ненадолго и говорила:

– Надо сохранить в себе волю к жизни, – вот только это надо. Все остальное дастся.

Николай Алексеевич спрашивал:

– А ты знаешь, Иринушка, как сохранить эту волю?

Иринушка улыбнулась уверенно, как озаренная высокой мудростью, и говорила:

– Знаю. Чтобы сохранить волю к жизни, надо питать ее жаждой счастья. Тогда и жизнь и счастье будут наши.

Опять смеялась Иринушка радостно и громко и плясала по тесной комнате, и был весел на шатких досках пола легкий плеск ее быстро мелькающих из-под синей юбочки ног. И казалась она тогда легкой девой высот, сошедшей на землю, чтобы утешить тоскующего в долине бед человека.

Николай Алексеевич был утешен, и силы вновь чувствовал в себе великие на труд, на достижения.

Вот и прошли они, эти тяжелые годы.

Иринушка, милая, ты помнишь их? Ты их не забудешь?

Иринушка, милая, где ты?

Прошли тяжелые годы. Успокоенная жизнь катится легко и мирно. У Николая Алексеевича жена и дети, и весь удобный, обеспеченный обиход.

И жену Николай Алексеевич любит, и жена его любит. Ему кажется иногда, что он любит жену за пережитые Иринушкой тяжелые годы. И когда он думает об этом, он сам себе дивится, дивится тому, что он любит эту, вторую, за Иринушкин труд жизни, сохраненной жаждой счастья. Счастья, которое не Иринушке улыбнулось.

Не странно ли это! Правда ли, что за одну любит Николай Алексеевич другую?

Да и как же иначе? Нельзя любить два раза, – думает иногда Николай Алексеевич. – Кого полюбил однажды, того полюбил навеки.

Но навеки полюбил он Иринушку.

Милая Иринушка, где ты?

Там, в городе постылом и ненавистном, на далеком кладбище, в тесной и темной могиле истлевая, спит Иринушка. Руки на груди сложила, плотно синие глаза сомкнула, успокоилась рано.

В первое время после Иринушкиной смерти был неутешен Николай Алексеевич. Но забудется всякое на земле горе, и всякая скорбь земная смирится.

Любит Николай Алексеевич свою вторую жену, любит нежно, и дети от нее милы ему. Но порой, в последнее время все чаще, Иринушка ему вспомнится, – и тогда эта, вторая, чужой кажется ему и далекой. И тогда вдруг все, что вокруг, становится для Николая Алексеевича чужим и ненужным. И только одного хочет сердце – хочет невозможного, хочет вернуть невозвратное.

Иринушка, Иринушка, где ты?

Вот, кажется, подходит она тихо к его ложу, – и в глазах ее кроткий упрек, в глазах Иринушкиных, синих, как ночное небо. Покачивает головой, сказать что-то хочет – и не может.

* * *

Вот и вернулись. Из церкви. В передней голоса и шум, – веселые голоса, легкий шум. За дверью быстрые шаги, легкий стук милый голос второй жены:

– Коля, ты спишь? Мы уже вернулись. К тебе можно?

Николай Алексеевич тихо отвечает:

– Войди.

А встать ему не хочется и не хочется видеть людей, и пасмурное лицо повернуто к спинке дивана.

Шелест нарядного платья слышится, и приближаются легкие по сукну шаги и тихий голос, говорящий весело что-то.

Присела на диван к Николаю Алексеевичу, к его груди приникла, – веселая, радостная, все еще такая молодая, милая вторая жена, не Иринушка.

Иринушка, милая Иринушка, где же ты?

Милая Иринушка, помнишь, не забудешь?

Где же ты? Душа моя тебя жаждет!

Тихие слышны слова, ответом на страстные зовы:

– Христос воскрес.

И так же тихо ответил Николай Алексеевич:

– Воистину воскрес.

Он повернул, протянул руки, обнял милую, целует. И близко, близко в его глаза глядят иные, милые глаза.

Кто же это? Неужели чужая?

– Иринушка, это ты?

Тихо отвечает она, прильнувшая к его груди, отдаваясь его объятиям:

– Это – я. Разве ты не узнал меня приходящую тайно в полночи? Ты зовешь меня второй женой, ты любишь меня, не зная, кто я, ты называешь меня, как называли меня дома: бедным чужим именем, Наташей. Но узнай, узнай в эту святую ночь, что я – я, что я – твоя, – что я – та, которую ты не забыл, которую ты зовешь, Ириша твоя вечная твоя спутница, вечно с тобой. Похоронил ты бедное тело маленькой твоей Иринушки, но любовь ее сильнее смерти, и душа ее жаждет счастья, и жизни хочет, и расторгает оковы тления, и во мне живет. Узнай меня, целуй меня, люби меня.

Радостно обнял Николай Алексеевич свою вторую жену, и смотрел в ее глаза, и узнавал в них Иринушкин привет, – и лобзал ее губы, и узнавал в них ласку, негу и зной Иринушкиных уст, жаждущих счастья, жизни и любви.

Николай Алексеевич повторял, плача от счастья, сладчайшего всех земных утех:

– Милая, ты помнишь? Ты не забудешь, милая?

А она ему отвечала:

– Коля, милый, у тебя совсем расстроены нервы. Я же тебе говорила, что не надо так много работать. Прими бром.

ЛОЭНГРИН

Машенька Пестрякова была девушка молоденькая, миловидная, мечтательная и педалекая. Нос у нее был немпожко вздернутый, глаза серые и бойкие, а по весне на щеках под глазами и на носу полумаской рассыпались веселые веспушки. Она жила на гороховой,

кажется в том же самом доме, где жил некогда Обломов. Жила Машенька вместе с матерью и с братом. Занималась она тем, что давала уроки в какой-то частной школе, где платили не щедро и не аккуратно. Любила ходить в оперу, и больше всего любила Вагнера.

Машенькина мать получала небольшую пенсию, распространяла за проценты какие-то книги, и сдавала комнаты. Три комнаты сдавали, в остальных сами жили. Брат Машенькин ходил в гимназию. А Машенька помогала им обоим: матери давала немного денег, брату показывала уроки.

Мечтательность неопределенная и сладостная владела Машенькой все чаще и все слаще. Образ милой мечты принимал иногда более определенное очертание, сливаясь с образом того или другого из знакомых молодых людей. Встречи порой становились приятными, но всегда ненадолго.

Что-то противное для Машеньки было всегда в том действительном и неожиданном, что представляла жизнь под мечтательно прекрасным образом. Вместо слов пламенных и страстных, подобных тем, которые так обольщают на страницах романа, которые так очаровательно звучат с далекой сцены Мариинского театра, когда их поет Собинов, вместо всей этой необыкновенной и далекой от жизни на Гороховой гармонии, звучали слова обыкновенные, прозаические, скучные слова о делах своих или чужих, слова расчетов, мелких осуждений, завистливых насмешек, лукавых сплетен, и порой льстивых, но слишком неловких комплиментов.

Тускнел милый образ, и становился отвратным. И даже несколько дней мечтать ни о чем и ни о ком не хотелось Машеньке, и в сердце ее была равнодушная скука. До новой встречи. Но и новая встреча обманывала.

И все-таки скоро пришел некто, и завладел Машенькиной душой. И был он молодой человек совсем не красивый, но высокий, тщедушный и неловкий, с подслеповатыми, часто моргающими глазами, с редкими рыжеватыми волосами на голове, с жидкими рыжеватыми усиками и с рыжеватой редкой бородкой. Одевался он опрятно и чистенько, носил сердоликовый перстень, и жемчужной булавкой закалывал лиловый или зеленый галстук-самовяз, — но одежда его не обличала в нем ни особенного вкуса, ни больших средств.

Чем занимался он и кто он был, Машенька долго не знала. Звала его, как-то странно, по-оперному, Лознгрином.

— Мой Лознгрин придет сегодня, — говорила она матери.

— Твой Лознгрин звонится, — говорила ей мать, заслышав прозвучавший в передней неуверенный, робкий звонок.

— Твой Лознгрин — дурак, — говорил ей откровенный Сережа.

Ему нравилось иногда подразнить сестру. Немножко, конечно. Ему ведь было всего только двенадцать лет, и еще побаивался он своей сестры.

Сначала Машенька называла своего друга Лознгрином потому, что познакомилась с ним на галерее Мариинского театра в тот вечер, когда шла опера Лознгрин. А потом и другая причина утвердила за ним это странное прозвище.

Машенька Пестрякова была тогда в театре с подругами и с двумя знакомыми студентами. Лознгрин сидел сзади ее, немножко сбоку, и уже перед вторым действием Машенька заметила на себе его неотступный взгляд.

Машеньке стало неловко. Она сердито глянула на незнакомца. Его наружность ей не понравилась. Его пристальный взгляд показался

ей навязчивым и дерзким. И еще больше не понравилось ей то, что, когда она второй раз метнула на него еще более строгий взгляд, еще сильнее нахмутив свои крутые бровки, глаза дерзкого незнакомца трусливо и виновато забегали с такой странной быстротой, как будто он привык смотреть пристально и вдруг быстро отворачивать свои взоры. Машенька хотела показать на него одной из подруг, спросить, не знает ли она этого субъекта, но в это время началась музыка, все замолчали, и Машенька вдруг забыла в наступившей внезапной темноте о навязчивом незнакомце, очарованная звуками несравненной музыки.

В следующем антракте Машенька не вспомнила о нем до тех пор, пока, гуляя по коридору, не увидела при повороте обратно, что он идет за ней и смотрит на нее. Потом долго она чувствовала на своей шее, на том самом светленьком промежутке, где кончается прическа над белой полоской воротничка, его пристальный взгляд. Машеньке было так досадно и неловко, что она не знала, что ей делать. Уже только в конце антракта, когда в узких дверях стало шумно и тесно, она спросила шедшего с ней рядом студента:

– Вы не знаете кто этот, вон там, сзади идет, еще он сзади вас сидит?

Машенька говорила тихо, чтобы тот навязчивый не слышал. Студент оглянулся, и сказал громко:

– Не знаю. А вы почему спрашиваете? – спросил он Машеньку.

И Машенька почему-то затруднилась ответом.

– Да так, – сказала она тихо, – смотрит все на меня.

– Очаровался, – также громко и спокойно сказал студент.

Сел на свое место, приготовился слушать, – и Машеньке почему-то стало досадно, что он так равнодушно отнесся к ее словам. Словно на зло ему, она внимательно посмотрела на незнакомца, и с презрительным сожалением подумала:

«Бедненький, туда же! Может быть, тоже воображает, что прекрасен я неотразим».

На ее губах мелькнула легкая улыбка, и Машенька не без удовольствия заметила, что от этой мгновенной улыбки лицо незнакомца слегка зарумянилось, и что глаза его стали радостными. Но она сейчас же спохватилась, нахмурилась, посмотрела на него сердито, и отвернулась. Подумала:

«Нет уж, пусть не воображает. Противный!»

И в третьем антракте он ходил за ней, робкий и смешной, и уже совсем не досадный, похожий на забавную, рыжеватую, по стенкам крадущуюся тень. И одеваясь в тесноте, Машенька опять увидела его. Он поторопился выйти раньше и уже стоял в пальто с барашковым воротником и в котелке, смотрел на нее, протискиваясь сквозь толпу, словно просверлившись через нее острыми копчиками своих тараканьих усиков, смотрел странно и досадно бегающими глазами, точно ему хотелось получше рассмотреть и запомнить каждую складочку ее платья и жакета.

Теперь Машеньке было досадно, неловко, и уже не решилась она сказать кому-нибудь об этом человеке. Думала досадливо и тоскливо:

«Прилип!»

Шли по улицам целым табуном, разговорчивым и веселым. Машенька старалась не оглядываться, но знала наверняка, что он идет за ней. Не хотела прислушиваться, и все-таки невольно слушала легкий звук его шагов, – осторожная, крадущаяся походка.

У ворот, прощаясь с подругами и с студентами, Машенька увидела его. Он тихо прошел мимо, перешел на другую сторону, и

повернул обратно.

Неуклюжий дворник в громадном, косматом тулупе и в наезжающей на лоб и на уши шапке с медной бляхой, отомкнул для Машеньки скрипучую калитку тяжелых ворот. Молодые люди, Машенькины спутники, шумно разговаривая, ушли. Калитка захлопнулась. Машенька остановилась под воротами, и прислушивалась.

Она слышала, как кто-то вороватыми шажками подошел к воротам, и тихо-тихо заговорил с дворником. Бормочущим голосом неохотно отвечал что-то дворник, потом поблагодарил за что-то, потом еще что-то говорил. Как Машенька не напрягала слух, она не могла разобрать ни одного слова. Не могла потому, что говорили тихо, и еще потому, что мешало слушать охватившее Машеньку волнение: сердце тяжело стучало, и кровь билась в висках, и в ушах тяжело и мерно шумело что-то.

Машенька плохо спала в эту ночь. Ей снился прекрасный рыцарь, светлокудрый Лоэнгрип в блистающей одежде, и слышались его слова:

– Я – Лоэнгрип, святыни той посол.

Потом вдруг черты лица и вся фигура Лоэнгрипа странно изменялись. Тщедушный маленький человек с рыжими тараканьими усами, сдвинув котелок на затылок и потирая маленькие красные уши, то одно, то другое, а барашковый воротник, нелепо размахивал руками в серых меховых перчатках, и скользя блестящими калошами по обледенелому тротуару Гороховой, пел те же слова. И голос его был так же звучен и сладок, но что-то смешное и противное звучало в нем.

С тех пор Машенька каждый день встречала этого молодого человека на улице, возвращаясь из своей школы. Он шел за Машенькой, как неотступная, и досадная, и забавная тень, и провожал ее до самых ворот. Иногда он даже входил во двор, и подвигался по лестнице, и, когда Машенька входила в квартиру и захлопывала за собой дверь, она чувствовала, что он стоит за дверь. Машенькино сердце билось, щеки ее нежно румянились, глаза блестели, она улыбалась и думала:

«Кто же он, этот рыжий Лоэнгрип?»

Наконец, это ей надоело. Однажды на улице, когда Лоэнгрип шел близко за ней, Машенька вдруг обернулась, подошла к нему, и спросила:

– Что вам надо? Зачем вы каждый день ходите за мной?

Машенькины щеки покраснелись, и голос слегка вздрагивал, и руки в тонких перчатках, спрятавшиеся в муфту, были жарки и трепетны. Чувствовала Машенька, что под ее теплой одеждой плечи ее дрожат и краснеют, и что по всему ее телу пробегают жар и дрожь.

Глаза незнакомца виновато зашмыгали по сторонам. Он приподнял свой черный котелок, опять надел его, и, как-то странно сгибаясь, заговорил довольно приятным, хотя слегка сиповатым, словоно простуженным голосом:

– Виноват, простите пожалуйста, Мария Константиновна...

– Откуда вы знаете мое имя? – воскликнула Машенька с досадой.

Ее удивило, что голос этого молодого человека, который она только теперь в первый раз услышала, слегка напоминает голос певца, исполнявшего тогда, в театре партию Лоэнгрипа, – такой же русский звук и такая же нежная сладость. И еще более напоминал бы, если бы не было в нем этой неприятной сипоты.

Молодой человек говорил:

– Ваше имя и отчество, Мария Константиновна, я узнал от дворника того дома, где вы изволите жить, так как, не имея с вами общих знакомых, лишен был возможности узнать это иначе.

Машенька досадливо спросила:

– Что же, значит, вы обо мне расспрашивали дворника? Хорошее занятие, нечего сказать!

Незнакомец, несколько не смущаясь, сказал:

– И об вас расспрашивал, и об вашей почтенной маменьке, и о вашем милом братце. Собрал все сведения в тот же самый вечер.

– Зачем же это вам понадобилось? – спросила Машенька.

Сама не замечая этого, она повернулась и шла по направлению к своему дому, и рыжеватый молодой человек шел рядом с ней. Шел и говорил со странной обстоятельностью:

– Вы, Мария Константиновна, конечно сами можете понять, что по нынешним временам следует быть весьма осторожным, и что никак не возможно сводить знакомства с кем попало, а предварительно необходимо узнать, с кем имеешь дело.

Машенька засмеялась и сказала:

– Будьте же осторожны, и не знакомьтесь со мной.

Незнакомец говорил:

– Извините, Мария Константиновна, но для меня это совершенно невозможно.

– Что невозможно? – с удивлением спросила Машенька.

– Невозможно не познакомиться с вами, – спокойно говорил незнакомец, – потому что при первой же нашей встрече тогда, если изволите припомнить, на представлении оперы Лозингин, вы произвели на меня неизгладимое впечатление, и я немедленно же почувствовал, что чрезвычайно сильно полюбил вас. Поэтому я не мог не последовать за вами до самых ворот вашего дома, и тогда же узнал о вас достаточные подробности от дежурившего у ворот дворника.

Машенька, улыбаясь, говорила:

– Напрасно трудились узнавать. Мне достаточно тех знакомых, которые у меня есть, и новых мне не надобно. Меня стесняет, что вы постоянно ходите за мной, а так как вы кажетесь мне человеком порядочным, то я попрошу вас больше не искать встреч со мной. Я не хочу, чтобы мои знакомые могли подумать обо мне дурно.

Пока Машенька говорила, незнакомец шел рядом, слушал внимательно, и не делал попыток прервать ее речь. Машенька замолчала, а он, казалось, думал, что ей ответить. И Машенька подумала вдруг:

«Сейчас он приподымет свой котелок, повернется и уйдет, и больше приставать не будет».

И от этой успокоительной мысли Машеньке вдруг стало как будто досадно чего-то, или как будто чего-то жалко, – как будто бы уже привыкла она к своему безмолвному, некрасивому и пеловкому спутнику.

Но он поступил совсем иначе. Котелок он точно приподнял, но только для того, чтобы сказать:

– Позвольте, Мария Константиновна, иметь честь вам представиться: Николай Степанович Склоняев.

Машенька пожала плечами и сказала:

– Напрасно вы представляетесь. Почему вы думаете, что я хочу с вами знакомиться? Ведь я же вам сказала, что не ищу иных знакомств!

Молодой человек робко заглянул ей в глаза и сказал:

– Мария Константиновна, не отгоняйте меня от себя. Я от вас

пока ничего не прошу, но так как я вас полюбил чрезвычайно, до такой даже степени, что не могу себе представить, как я вперед мог бы жить без вас, то позвольте мне только надеяться, что и вы, узнавши, сколь сильно я вас люблю, также меня полюбите.

– Какая глупость! – сказала Машенька. – Совершенно незнакомый человек на улице подошел, и вдруг такой разговор. И что это я делаю! Зачем это я вас слушаю! Оставьте меня, пожалуйста!

Машенька пошла поскорее, но ее спутник не отставал. Он говорил ей слова, которые досадовали и смешили ее. Он говорил, все так же робко и осторожно заглядывая в ее глаза:

– Мария Константиновна, вы то извольте взять во внимание, что это очень часто так бывает, что люди были незнакомыми между собой, а потом вдруг взяли да и познакомились.

– Да не на улице же знакомятся! – сказала Машенька, и засмеялась громко.

Смеяться ей, конечно, не следовало бы и она сейчас же спохватилась и закусила крепкими, беленькими зубками румяную на морозе, красивую и пухленькую нижнюю губу. Сообразила, что ее смех только поощряет этого навязчивого человека.

А он говорил умоляющим голосом:

– Помилуйте, Мария Константиновна, да отчего же не на улице! Не все ли равно! Если любовь громко говорит в сердце чувствительного человека, то поверьте, Мария Константиновна, что все внешние условности и светские приличия перестают для этого человека существовать, и он не может думать ни о чем другом, как только о предмете своей пламенной страсти.

Говоря это, он прижал обе свои руки к сердцу, и потом размахнул левой рукой в воздухе, точь-в-точь, как делал это оперный певец, рассказывающий о происхождении Лознгринна.

Машенька никак не могла настроить себя на серьезный лад, и ей даже стало немножко досадно, что во всем этом приключении для нее нет ничего пугающего. Только забавно. И какая-то жалость к нему, такому прилипчивому и такому нескладному. Она улыбалась, слушала его слова и думала:

«Туда же, о любви говорит, рыженький Лознгрин!»

А тот продолжал:

– А так как намерения мои самые благородные и возвышенные, то я и сам не хотел бы уличных встреч и свиданий где-нибудь в предосудительном для молодой девицы месте, как, например, в отдельном номере в ресторане. А потому счел бы себя чрезвычайно польщенным, ежели бы вы, Мария Константиновна, оказали мне великую честь представить меня вашей почтенной маменьке.

Машенька воскликнула:

– Чего захотели! С какой это стати я буду знакомить вас с мамой? Ведь она бы меня прежде всего спросила, где я сама с вами познакомилась! Отойдите от меня, пожалуйста, а то я, наконец, серьезно рассержусь.

А сама смеялась. И он говорил.

– Мария Константиновна, сердиться вам на меня не за что, потому что я ничего обидного для вас не сделаю, и, если вы, по прошествии некоторого времени, не почувствуете ко мне сердечной склонности, то я не осмелюсь долее омрачать ваше спокойствие, и, удалясь в тень моего скромного существования, буду только издали взирать на ваше счастье с другим, более меня достойным вашей любви.

Когда он так говорил, его маленький нос покраснел, и

покраснели маленькие суетливо шмыгающие глазенки, и он еще более согнулся, казался совсем маленьким, и похоже было на то, что он сейчас заплачет.

Машенька, стараясь оправдать сама себя в своих мыслях, думала:

«Ну, как не пожалеть такого! Как ты тут его прогонишь! Ведь не кричать же на него, не городского же звать!»

И ей было приятно, что в нее влюбился кто-то. Ведь все те, кто ухаживали за ней раньше, или делали это несерьезно, или были противные, грубые, нахальные. А этот идет смиренно, говорит с забавным красноречием, почти так же, как говорят в романах влюбленные виконты и маркизы, а сам не отстаёт от нее.

Стараясь придать себе суровый вид, Машенька спросила его резко:

– Да кто вы такой?

– Я влюбленный в вас человек, – сказал Лознгрин.

– Это уж я слышала, – сурово говорила Машенька, – я хочу знать, кто вы такой, чем вы занимаетесь?

Вдруг Машенька подумала, что, говоря это, она подает своему спутнику надежду на возможность знакомства. Ей стало досадно на себя. А ее спутник уже отвечал ей:

– Мария Константиновна, помилуйте, зачем же вам это надобно знать!

– Да, совершенно верно, мне этого совсем не надобно знать, – сказала Машенька, – и вы от меня отойдите.

Но, так как Машеньку раздосадовал ответ ее спутника, и эта новая досада прибавилась к прежней досаде на себя, то Машеньке вдруг захотелось доказать ему, что она имела повод его спрашивать, – и, не преодолев этого неблагоприятного желания, она продолжала:

– А вот вы говорили, что хотите представиться моей маме, – да как же бы я вас стала представлять? сказать бы маме: Вот господин влюбленный, – так, что ли?

– Так точно, – сказал он.

– Какой вздор! – сказала Машенька. – Как же это можно!

– Отчего же нельзя, если это правда! – возразил Лознгрин.

В это время пришлось переходить через улицу. Он взял Машеньку под руку. Машенька взглянула на него с удивлением, но руки своей от него не отняла. Осторожно поглядывая по сторонам и пережидая экипажи, он молча перевел ее через мостовую, покрытую тонким слоем грязного, коричневого снега, изрезанного полозьями и колесами. А на тротуаре выпустил ее руку, и пошел отдельно. Она сказала:

– Нет, так нельзя. Так не делается. Да и не надо мне знакомить вас с мамой.

Он говорил:

– Мария Константиновна, поверьте, что я очень хорошо понимаю, что вы желали бы знать мое звание и социальное положение. Если же я всего этого вам теперь не открываю, то на это есть весьма серьезные причины. На мне лежит зарок, наложенный на меня людскими предубеждениями, и открыться вам я никак не могу, во избежание неприятных последствий.

– Какие глупости! – опять повторила Машенька.

– Нет, Мария Константиновна, – возразил он, – вы так не говорите. Что причины могут быть очень серьезными для того, чтобы не открывать до поры до времени своего социального положения, на это доказательством может вам послужить та самая опера, на представлении которой я имел удовольствие увидеть вас первый раз.

Вы видели, сколь неблагоприятно поступила прекрасная, но слишком любопытная госпожа Эльза, добываясь от своего таинственного супруга, чтобы он открыл ей свое имя, звание и адрес, и как она была за это жестоко наказана. Потом уж она раскаивалась, но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут.

– То-то мы с вами, – сказала Машенька, – очень похожи на Лознгина и на Эльзу!

Насмешливый тон Машенькиных слов не смутил ее спутника. Он говорил:

– Вы, Мария Константиновна, несравненно прекраснее и лучше госпожи Эльзы, и потому, если я и не дерзаю равнять себя с Лознгином, то, все-таки, взятые вместе, мы это сравнение выдержать можем. Правда, рыцари в латах в наше время повывелись, но рыцарские чувства остались, любовь в сердцах чувствующих людей горит не менее ярко, чем прежде, и окружающая нас жизнь только так кажется, что она бесцветная и скучная, а на самом деле она содержит в себе не меньше тайн, чем во времена давно прошедшие, когда рыцарь Лознгрип подъезжал к принцессе Эльзе на среброкрылом лебеде.

– Ах, Лознгрин! – сказала Машенька, улыбаясь не то насмешливо, не то чувствительно.

Ее спутник смотрел на нее, и ждал, что она скажет. Но Машенька молчала. Молча дошли они до ее дома. А у ворот Машенька остановилась, посмотрела на своего Лознгина и сказала:

– Что же мне с вами делать, господин Лознгрин? Уж вы идите домой, или по вашим делам таинственным, а к нам сейчас неудобно.

Лознгрин смотрел на Машеньку тревожно и радостно, и с такой надеждой в глазах, что Машенька не могла не сказать:

– Ну, так и быть, приходите сегодня вечером в восемь часов. Я предупрежу маму. Хоть и знаю, что мне достанется от мамы, но, может быть, она согласится вас пустить.

Пришлось Машеньке предупредить мать, и рассказать ей всю эту историю. Мать поворчала немного:

– Да как же это, Машенька! Да разве можно с улицы! Да кто его знает, что у него на душе! Может быть, жулик какой-нибудь.

Но потом решила:

– Ну, да посмотрю, что за гусь.

Лознгрин пришел в назначенное время, принес коробку конфет, посидел часа полтора, пил чай, был почтителен с Машенькиной матерью, смешил гимназиста Сережу, забавлял Машеньку своими витиеватыми речами, и ушел раньше, чем мог надоесть.

Мать спрашивала потом:

– Да кто же он такой?

Машенька говорила:

– Мамочка, да ведь я же вам все подробно рассказала. А больше ничего совсем и не знаю. Лознгрин, только и знаю. Зовут Николай Степаныч, фамилия Склоняев, а чем занимается, – да просто Лознгрин.

– Пойдешь завтра в свою школу, – говорила мать, – посмотри в «Весь Петербург», какой-то такой Склоняев. Так, по разговору, по манерам, как будто бы ничего себе, человек приличный. А ведь кто же его знает, в душу не влезешь. Надо все-ж-таки узнать.

На другой день в своей школе Машенька посмотрела в «Весь Петербург», но фамилии Склоняева там не нашла. И стала даже думать, что и нет такой фамилии на свете, что Лознгрин сам себе ее придумал.

А он повадился ходить. То букет цветов принесет, то коробку конфет. Зато на улицах уже не старался встретиться. Разве только случайно попадется.

Когда Лознгрин пришел второй раз, Машенька спросила:

– Отчего же вашей фамилии нет во «Всем Петербурге»?

Он не смутился ничуть, – и вообще Машеньку удивляло в нем то, что, несмотря на свой робкий вид, шмыгающие глаза и крадущуюся походку, этот странный человек всегда чувствовал себя очень спокойно и смущался редко. Он сказал:

– Так как я еще только недавно приехал в здешнюю столицу, то моя фамилия и не попала в «Весь Петербург». Я так полагаю, что в будущем году запишут и напечатают.

Говоря это, он усмехался, и Машенька думала, что он говорит неправду.

Машенька спросила:

– А где вы живете? И чем вы занимаетесь? Служите где-нибудь?

Лознгрин отвечал:

– Извините, Мария Константиновна, – никак не могу сказать вам ни моего адреса, ни моей профессии.

– Да почему же? – в недоумении спрашивала Машенька.

Он отвечал:

– Как я уже вам имел честь объяснить, Мария Константиновна, имею важные причины держать все это в строгом секрете.

Машенька призадумалась и сказала:

– Послушайте, да ведь это же очень странно. Сначала я думала, что вы просто шутите. А если вы серьезно, так это, право, странно как-то уж очень.

– Нисколько даже не шучу, – говорил он, – а, между прочим, и то имею соображение, что, если вы меня полюбите, так меня самого, не смотря на то, кто бы я не был и чем бы ни занимался.

– А если не полюблю? – с улыбкой спросила Машенька.

Он сказал:

– Тогда я скроюсь из поля вашего зрения, подобно Лознгрину, когда он уплывал в той ладье, которую увлекать вдоль по многоводному Рейну среброкрылый лебедь.

– Ах вы, Лознгрин! – смеясь, сказала Машенька.

Смеялась Машенька. Привыкла называть его Лознгрином. Так и все его стали звать.

Смеялась Машенька, а иногда задумывалась и мечтала. И все теснее в ее мечтах сливался оперно-красивый образ рыцаря Лознгриня в блистающих доспехах, сладко поющего и делающего театрально-красивые жесты, с образом этого невзрачного молодого человека, поющего котелок вместо шляпы и крахмальную сорочку вместо лаг, говорящего витиевато-сиповатым, но приятным ярославским говорком, и делающего такие забавно-торжественные жесты.

«Он меня любит, бедненький!» – думала Машенька, и все приятнее становилось ей думать об этом.

Очень поверить в то, что ты любима, не все ли равно, что полюбить самой? Разве любовь не заражает? Сладкая, вкрадчивая, волшебница – любовь, на все, на что захочет, набрасывающая светло-блистающие покровы очарований!

Так, мало-помалу привыкая к приятной мысли о его влюбленности, привыкая понемногу к этому смешному сначала слиянию двух Лознгринов, одного из оперы мудрого очарователя Вагнера, и другого

с будничной Гороховой улицы, Машенька почувствовала, наконец, что любит своего Лознгринна. Эта забавная тайна, которой он облекал свою действительную жизнь, все менее смущала ее.

Но, когда Лознгринн догадался, что Машенька его полюбила, и сказал ей:

– Мария Константиновна, вы можете сделать меня самым счастливым из людей, – согласитесь быть моей женой.

То вот теперь, как ни готова была Машенька к тому, чтобы услышать эти слова, ее охватила жестокая тревога. Подозрения, ужасные и темные, уже уснувшие было в ней, опять овладели ее мыслями. Она смотрела на Лознгринна со страхом и думала:

«Не потому ли он скрывает свои занятия, что они постыдны и презренны? Может быть, он – сыщик или палач?»

Как раз незадолго перед этим Машенька прочитала в газете рассказ об одном молодом рабочем, нанявшемся в палачи. Такой же был тщедушный и невзрачный человек. И показалось даже Машеньке, что наружность ее Лознгринна соответствует описанию, прочитанному ей в газете.

– Скажите мне сначала, – робко молвила Машенька, – кто вы. Мне страшно.

Она чувствовала, что щеки ее побледнели, и что ноги ее дрожат. Она села в глубокое мягкое кресло в углу гостиной, в то самое, где любила сидеть Машенькина мать, которое было в семье с незапамятных времен, и с которым было связано столько приятных и жутко-волнующих воспоминаний. Опустившись в глубину этого большого кресла, где пахло старым штофом и рогожкой, Машенька казалась маленькой и жалкой, и руки ее, сложенные на коленях, бледные, вздрагивали, как от холода.

Лознгринн покраснел и смутился так, как еще никогда раньше Машенька не видела его смущенным. Он стоял перед ней спиной к окнам, но и в полусвете видела Машенька, как по лицу его забегали странные тени. Часто моргая глазами, как-то странно двигая покрасневшими маленькими ушами, он делал руками странные жесты, мало соответствовавшие смыслу его слов и говорил:

– Мария Константиновна, если госпожа Эльза была неблагоприятна и любопытна, и если рыцарь Лознгринн не мог сопротивляться ее настойчивости, то зачем же мы с вами повторим эту роковую ошибку? Вы изволите говорить, Мария Константиновна, что вам страшно. Но что же из того? Я чувствую к вам любовь необыкновенную, любовь, пожирающую всю мою жизнь, такую любовь, которая в жизни почти никогда не встречается и описывается только в романах, да и то не нынешних, а прежних сочинителей. Любя вас, дорогая Машенька, столь необыкновенной любовью, столь пламенно, что и жить без вас не смогу, так что если вы меня отвергнете, то я принужден буду немедленно лишиться себя жизни, я хочу, дорогая Машенька, чтобы и ваша любовь преодолела страх, который вы испытываете, и все то, чего вы еще не знаете. Любовь истинная, пламенная, должна быть сильнее даже и самой смерти. Итак, дорогая Машенька, победите ваш страх, и скажите мне, любите ли вы меня, и будете ли вы меня любить, что бы вы обо мне не узнали.

Машенька заплакала. Что же ей еще оставалось делать? Слезы так хорошо помогают в разных трудных обстоятельствах жизни. Она пошарила вокруг себя, нет ли платочка, платочка, конечно, не нашла, и принялась вытирать слезы ладонью правой руки, – так, сразу, с обеих щек, беспомощно тиская при этом свой слегка вздернутый нос. Плакала и говорила:

– Зачем, зачем вы мне не хотите сказать, кто вы такой? Зачем вы меня так мучаете? Может быть, вы делаете что-нибудь нехорошее.

Лоэнгрин пожал плечами, и сказал:

– Это как кому может показаться как на чей взгляд. Кому-нибудь мое занятие, может быть, и покажется низким, и кто-нибудь за это, может быть, погнушается мной. Но я делаю, что умею, а какой я человек, кроме моего дела, это вы сами изволите видеть. Если вы меня полюбили, то вы должны мне довериться, и если бы даже оказалось, что я – вурдалак нечистый, и кровь вашу выпить хочу, то и тогда вы в мою могилку за мной последуете, потому что, если я вижу вас прекраснейшую из здешних девиц, очаровательную госпожу Эльзу, то и вы, полюбив меня, должны видеть во мне благородного рыцаря Лоэнгринга, отец которого, Парсиваль, хранит чашу святого Грааля. А что мы с вами обитаем в прозаическом городе Петербурге, на самых обыкновенных улицах, а не в рыцарских замках, и занимаемся обыкновенными делами, а не рыцарскими подвигами, так уж это такую нам судьба дала долю, а пламенности наших чувств все это изменить не может.

Машенька плакала и смеялась. Замысловатые речи Лоэнгринга нежно и сладостно убаюкивали ее. И она думала:

«Уж я теперь – не Машенька, я – принцесса Эльза. Так я себя чувствую, – значит, так это и есть на самом деле, а не так, как это кажется другим. А он мой Лоэнгрин? Неужели он и в самом деле ходит по улицам, подстерегает, шпионит, или занимается провокацией, или надевает веревочные петли на чьи-то шеи? Как страшно! Но пусть, пусть! Я его все-таки люблю, для меня он – Лоэнгрин, и если жить с ним мне будет страшно и тяжело, то умереть с возлюбленным Лоэнгрином сладостно будет мне».

Она встала, обняла его нежно, и плача горько, сказала:

– Лоэнгрин, мой Лоэнгрин, кто бы ты ни был, я люблю тебя! Куда бы ты ни повел меня, я пойду за тобой! Что бы ты ни делал, я помогу тебе, – я помогу тебе в жизни, и помогу тебе в смерти. Я люблю тебя, как ты хочешь, милый, смешной мой Лоэнгрин, – я люблю тебя так, как любили девушки в романах прежних сочинителей.

Скоро ушел счастливый и гордый Машенькиной любовью Лоэнгрин. Плакала и смеялась Машенька. А мать недоумевала:

– Да как же, Машенька, за кого же ты замуж выходишь собираешься? Как же ты слово-то ему дала, ничего толком не узнавши? А вдруг он окажется беглый каторжник, или что похуже?

Машенька покраснела, и повторяла упрямо:

– Пусть каторжник, пусть шпион, пусть палач, – и я такая же буду, потому что я его люблю!

Сережа говорил ей шепотом:

– Если он – атаман разбойников, то ты попроси, чтобы он меня записал в свою шайку. Я могу лазать в форточки.

Машенька смеялась.

А Лоэнгрин, придя домой, решил, что дальше скрываться невозможно и не стоит. Положил в конверт свою визитную карточку, и послал ее по почте Машеньке.

На другой день, когда Машенька вернулась из своей школы, Сережа с таинственным видом сказал ей:

– Там тебе письмо есть, должно быть, от Лоэнгринга. Должно быть, он тебе свидание назначает.

Машенька поспешила к себе, разорвала конверт, там лежал толь-

ко кусок картона, и на нем было что-то напечатано и что-то приписано фиолетовыми чернилами. Машенькины руки дрожали, и в глазах ее туманилось, и она с трудом прочла простые слова: «Николай Степанович Балкашин, переплетных дел мастер. Матвеевская, 48».

А приписано было следующее:

«Скрывал свое настоящее звание от вас, дорогая Машенька, опасаясь, что вы погнушаетесь ремесленником, теперь же я ничего не боюсь, совершенно уверенный в неизменности вашей любви ко мне».

И Машенька, и Машенькина мать были рады, что нет ничего страшного. Машенькина мать поворчала было немного, зачем он ремесленник, но скоро утешилась, когда Машенька сказала ей, что они будут делать художественные переплеты, и широко разовьют это дело. А Сережа был разочарован, – он так мечтал о ночных похождениях, и вот, не придется ему лазать в чужие форточки.

Может быть, Машеньке было немножко досадно, что прекратилось страшное и жуткое, что все объяснилось так просто и обыкновенно, но все-таки Лознгрин всегда останется Лознгрином и мечтательный образ не поблекнет, потому что любовь сильнее не только смерти, но и страшной в своей обыкновенности жизни.

ПОЦЕЛУЙ НЕРОЖДЕННОГО

Служащий в конторе большого акционерного предприятия шустрый мальчик, коротко остриженный, в узкой с двумя рядами бронзовых мелких пуговиц курточке, на которой незаметно было пыли, потому что она была серая, заглянул в дверь той комнаты, где работали пять переписчиц, стуча порой одновременно на пяти шумно-стрекочущих машинках, и, взявшись за притолоку и качаясь на одной ноге, сказал одной из барышень:

– Надежда Алексеевна, вас просят к телефону госпожа Колымцева.

Он убежал, и шагов его не было слышно по протянутому в узком коридоре серому мату. Надежда Алексеевна, высокая, стройная девушка лет двадцати семи, с уверенными и спокойными движениями и с тем спокойствием глубокого взгляда, который дается только тому, кто пережил тяжелые дни, неторопливо, дописав до конца строчку, встала и пошла вниз, в комнату возле передней, к телефону. Думала:

«Что опять случилось?»

Привыкла к тому, что, если сестра Татьяна Алексеевна пишет ей или звонит к ней по телефону, то это почти всегда бывает потому, что в семье что-нибудь случилось, – болезнь детей, служебная неприятность у мужа, какая-нибудь история в школе, где учатся дети, острый приступ безденежья. Тогда Надежда Алексеевна садилась на трамвай и отправлялась на далекую окраину города, – помогать, утешать, выручать. Сестра была старше Надежды Алексеевны лет на десять, давно вышла замуж, и, живя в одном городе, они виделись не часто.

В тесной телефонной будке, где почему-то всегда пахло табаком, пивом и мышами, Надежда Алексеевна взяла разговорную трубку и

сказала:

– Я слушаю. Это – ты, Танечка?

И голос сестры, плачущий и взволнованный, точь-в-точь такой, какой и ожидала услышать Надежда Алексеевна, послышался ей:

– Надя, ради Бога, приезжай поскорее, у нас страшное несчастье. Сережа умер, застрелился.

Еще не успевши испугаться неожиданной вести о смерти своего пятнадцатилетнего племянника, милого мальчика Сережи, как-то растерянно и бессвязно Надежда Алексеевна говорила:

– Таня, милая, что ты говоришь! Какой ужас! Да из-за чего же? Когда это случилось?

И, не дождавшись и не слушая ответа, поспешно сказала:

– Я сейчас приду, сейчас.

Бросила трубку, забыв даже надеть ее на крючок, и быстро пошла к управляющему отпрашиваться по семейным обстоятельствам.

Управляющий разрешил ей уйти, хотя и сделал недовольное лицо и ворчал:

– Вы знаете, теперь такое горячее время перед праздниками. У вас у всех всегда что-нибудь случается неотложное в самое неудобное для нас время. Ну, что ж, идите, если вам так необходимо, но только помните, что работа стоит.

Через несколько минут Надежда Алексеевна уже сидела в вагоне трамвая. Надо было ехать минут двадцать. В это время мысли Надежды Алексеевны опять вернулись к тому же, к чему увлекались они всегда в те минуты жизни, когда столь частые в этой жизни неожиданности, почти всегда неприятные, нарушали скучное течение дней. А чувства Надежды Алексеевны были неопределенны, и подавлены. Острая жалость к сестре и к мальчику только по временам вдруг заставляла ее сердце больно сжиматься.

Было страшно думать о том, что этот пятнадцатилетний мальчик, который еще только на днях приходил к Надежде Алексеевне и долго разговаривал с ней, веселый прежде гимназист Сережа, вдруг застрелился. Было больно думать о том, как тоскует и плачет его мать, и без того уже утомленная трудной и не совсем удачной жизнью. Но было еще что-то, может быть, более тяжелое и страшное, тяготеющее над всей жизнью, что мешало Надежде Алексеевне отдаться этим чувствам, – и не могло теснимое давней тоской сердце ее сладостно истониться муками горя, жалости и страха. Точно был придавлен тяжелым камнем источник облегчающих слез, – и только скудные, редкие слезинки наворачивались иногда на глаза, привычное выражение которых было – равнодушная скука.

И опять память возвращала Надежду Алексеевну все на тот же пройденный ей страстный и пламенный круг. Вспоминались прожитые несколько лет тому назад немногие дни самозабвения и страсти, любви, отдающейся беспредельно.

Дни светлого лета для Надежды Алексеевны были, как праздник. Радостно голубело для нее небо над бедными просторами чухонской дачной природы, и забавно весело летние шумели дождики. Запах смол в теплом хвойном лесу опьянял слаще благоухания роз, которых не росло в этом угрюмом, но все же милым сердцу крае. Зеленоватосерый мох в темном лесу был сладостным ложем пег. Лесной ручей, струясь среди серых, нескладно разбросанных камней, лепетал так радостно и звонко, как будто его прозрачная водица стремилась прямо в поля счастливой Аркадии, и весела и радостна была прохлада этих звонких струй.

В веселом упоении влюбленности так быстро промчались для

Надежды Алексеевны счастливые дни, и настал день последний, о котором не знала она, конечно, что это – последний счастливый день. Так же все вокруг было безоблачно и светло и простодушно-весело. Так же прохладна и задумчива была лесная тень широкая, смолою благоухающая, и так же радостно-нежен был теплый мох под ногами. Только птицы уже перестали петь, – гнезда свили, вывели птенцов.

Только на лице ее милого была какая-то смутная тень. Но это потому, что в тот день утром он получил неприятное письмо.

Так он сам говорил:

– Ужасно неприятное письмо. Я в отчаянии. Сколько дней не придется тебя видеть!

– Почему? – спрашивала она.

И еще не успела опечалиться. А он говорил:

– Отец мне пишет, что мать больна. Надобно ехать.

Отец писал совсем другое, но Надежда Алексеевна не знала об этом. Не знала еще, что любовь бывает обманута, что уста целовавшие говорят ложь, как правду.

Он говорил, обнимая и целуя Надежду Алексеевну:

– Приходится ехать, делать нечего! Такая скука! Я уверен, что ничего нет серьезного, но все-таки нельзя не ехать.

– Да, конечно, – говорила она, – если твоя мама больна, то как же тебе не ехать! Но ты пиши мне каждый день. Я так буду скучать без тебя!

Проводила его, как всегда, до опушки леса, до большой дороги, – и пошла домой лесной тропинкой, слегка опечаленная, но так уверенная в том, что он скоро вернется. Но он не вернулся.

Надежда Алексеевна получила от него несколько писем, – странные это были письма. Смущение сквозило в них, недоговоренность чувствовалась, пугали какие-то непонятные намеки. И все реже эти письма приходили. Надежда Алексеевна стала догадываться, что он ее разлюбил. И вдруг узнала, от чужих людей, в случайном разговоре, в конце этого лета, что уже он женился.

– Как же, разве вы не слышали? На прошлой неделе прямо из-под венца уехали в Ниццу.

– Да, счастливец, – подхватил жену красивую и богатую.

– Большое приданое?

– Ну, еще бы! У отца...

Уже не стала слушать, что у ее отца. Отошла в сторону.

Вспоминалось часто все то, что было потом. Не хотелось вспоминать: Надежда Алексеевна старалась гнать эти воспоминания, задушить их в себе. Так тяжело было и унижительно, – и так неизбежно, – почувствовавши себя матерью там, среди тех милых мест, где все еще напоминало ей его ласки, тогда, в те первые тяжелые дни, когда она узнала об его свадьбе, – только что почувствовавши первые движения нового существа, уже думать об его смерти. И убить нерожденного!

Никто из домашних не узнал, – Надежда Алексеевна придумала правдоподобный предлог для того, чтобы уехать на две недели из дому. Кое-как, с большим трудом, собрала столько денег, сколько надо было заплатить за злое дело. В каком-то гнусном приюте сделала это страшное дело, подробности которого так не хотелось всегда вспоминать, – и вернулась домой, еще полубольная, исхудалая, бледная и слабая, с жалким героизмом скрывая боль и ужас.

Воспоминания о подробностях этого дела навязчивы были, но все-таки Надежда Алексеевна как-то умела не давать им долгой

власти над своей памятью. Так быстро, торопливо припомнит все, содрогнется от ужаса и отвращения, – и спешит чем-нибудь отвлечься от этих картин.

А вот что было неотступно, и с чем не могла и не хотела бороться Надежда Алексеевна, – это был милый и страшный образ перожденного, ее ребенка.

Когда Надежда Алексеевна оставалась одна и сидела спокойно, закрыв глаза, к ней приходил маленький мальчик. Ей казалось, что она видит, как он вырастает. Так живы были эти ощущения, что ей казалось порой, что она переживает год за годом, день за днем все то, что испытывает настоящая мать живого ребенка. Ей казалось порой, что груди ее полны молока. Потом она вздрагивала, услышав шум какого-нибудь упавшего предмета, – не ушибся ли то ее мальчик.

Иногда хотелось Надежде Алексеевне поговорить с ним, взять его на руки, приласкать его. Она протягивала руку, чтобы погладить мягкие волосы, золотисто-светлые, своего сына, – но рука ее встречала пустоту, и за ее спиной, чудилось ей, звучал смех убежавшего и спрятавшегося где-то близко ребенка.

Она знала его лицо, – свое дитя, хотя и перожденное. Ясно видела она его лицо, – милое и страшное сочетание черт того, кто взял ее любовь, и бросил, кто взял ее душу, и вышил, и забыл, – его черт, все-таки, несмотря ни на что, еще милых, с ее чертами.

Веселые глаза, серые, – это от отца. Легкие раковинки маленьких розовых ушей, – это от матери. Мягкий очерк губ и подбородка, – это от отца. Круглые, нежные плечи, похожие на плечи молодой девушки, – это от матери. Золотистые, слегка вьющиеся волосы, – это от отца. Умильные ямочки на румяных щечках, – это от матери.

Так все разберет Надежда Алексеевна, – и ручки, и ножки, и все узнает. Все знает. Узнает привычки, – так руки держит, так нога с ногой скрещивает, – от отца перенял, хотя и не видел своего отца перожденный. Засмеется, посмотрит в сторону, зарумянится нежно и стыдливо, – от матери, это от матери взял перожденный.

Сладко и больно. Точно кто-то нежным пальчиком и розовым беретит глубокую рану, жестокий и милый, так больно! Но прогнать его нельзя.

– И не хочу, не хочу прогнать тебя, перожденный мой мальчик. Хоть так живи, как можешь. Хоть эту жизнь я тебе дам.

Только мечтательную жизнь. Весь только в ней. Милый, бедный перожденный! Не обрадуешься сам, не засмеешься сам для себя, не заплачешь сам о себе. Живешь, и нет тебя. В мире живых, среди людей и предметов, тебя нет. Такой живой, и милый, и светлый, – и тебя нет! Вот что я с тобой сделала!

И думала Надежда Алексеевна:

«Теперь еще мал, не знает. Подрастет, узнает, сравнит себя с рожденными, захочет жизни живой, и упрекнет мать. Тогда умру».

Не замечала и не думала, что безумными покажутся мысли ее, если судить их здравым смыслом, ужасным и безумным судьей наших дел. Не думала о том, что тот маленький, безобразный, сморщенный зародышек, который она выбросила, так и остался бездушным комком материи, мертвым веществом, которому человеческий дух не дал оживляющей формы. Нет, для Надежды Алексеевны жив был перожденный, и нескончаемой мукой томил ее сердце.

Он был светлый, в светлой одежде, с белыми ручками и ножками, с ясными, невинными глазами, с непорочной улыбкой, и,

когда смеялся, смеялся радостно и звонко. Правда, когда она хотела его обнять, он убегал и прятался, но убегал недалеко и прятался здесь же, где-нибудь близко. Убегал от ее объятий, но зато сам часто обвивал ее шею теплыми, нежными ручонками и прижимался к ее щеке легкими губами в те минуты, когда она сидела тихо, закрыв глаза. Только в губы прямо не поцеловал ее ни разу.

«Подрастет, поймет, – думала Надежда Алексеевна, – опечалится, отвернется, уйдет навсегда. Тогда умру».

И теперь, сидя в монотонно-грохочущем тесном трамвайном вагоне, среди чужих закутанных людей с праздничными покупками на коленях, Надежда Алексеевна закрыла глаза и опять увидела своего мальчика. Опять смотрела в его ясные глаза, слышала его легкий лепет, – в слова не вслушивалась, – и так доехала до того места, где надо было выходить.

Надежда Алексеевна вышла из вагона и пошла по снежным улицам, мимо невысоких каменных и деревянных домов и мимо садов и заборов дальней городской окраины. Шла одна. Люди попадались навстречу чужие, – не было с Надеждой Алексеевной своего, милого и страшного. И думала она:

«Грех мой всегда со мной, и никуда мне не уйти от него. Зачем же я живу? Ведь вот Сережа умер же!»

Шла, и тупая тоска была в ее сердце, и она не знала, что ответить себе на этот вопрос. Зачем живу? Но и умру зачем?

И думала она:

«Он всегда со мной, мой маленький. Он уже подрастает, – ему восемь лет, и он должен многое понимать. Отчего же он на меня не сердится? Разве ему не хочется поиграть со здешними ребятами, покататься с ледяных гор на салазках? Вся прелесть нашей земной жизни, все то, чем и я так светло наслаждалась, вся эта прелесть, пусть даже и обманчивая, но такая очаровательная, прелесть жизни на этой милой земле, в этом лучшем из возможных миров, – неужели не манит его».

Теперь, когда Надежда Алексеевна шла одна по чужой и равнодушной улице, уже мысли ее не долго останавливались на ней самой и на ее мальчике. Вспомнилась ей семья ее сестры, куда она шла: сестрин муж, заваленный работой, всегда усталая сестра, орава детишек, шумная, капризная и вечно требующая того или другого, бедная квартира, мало денег. Племянники и племянницы, которых Надежда Алексеевна любила. И застрелившийся гимназист Сережа.

Можно ли было ожидать этого? Он был такой веселый, бойкий мальчик.

Но вот вспомнился Надежде Алексеевне разговор с Сережей на прошлой неделе. Мальчик был печален и взволнован. Говорили о чем-то прочитанном в русских газетах и, стало быть, кошмарном. Сережа говорил:

– И дома плохо, и газету возьмишь, – ужас и гадость.

Надежда Алексеевна отвечала что-то, чему и сама не верила, только чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей. Сережа усмехнулся невесело и сказал:

– Тетя Надя, подумай, как все это нехорошо! Подумай, что вокруг нас делается! Ведь это очень страшно, если лучший из людей, такой старый, бежит из своего дома и умирает где-то! Он только яснее всех нас увидел тот ужас, в котором мы все живем, и не мог его перенести. Ушел – и умер. Страшно!

Потом, помолчав немного, Сережа сказал слова, испугавшие тогда Надежду Алексеевну:

– Тетя Надя, я скажу тебе откровенно, потому что ты – милая и меня поймешь, – мне очень не хочется жить среди всего того, что теперь делается. Я знаю, что я – такой же слабый, как все, и что я могу сделать? Только буду понемножку втягиваться в эту мерзость. Тетя Надя, это у Некрасова верно сказано: «Хорошо умереть молодым».

Надежда Алексеевна была испугана очень и долго говорила с Сережей. Ей показалось, наконец, что он ей поверил. Он улыбнулся весело, как раньше улыбался, и сказал прежним беззаботным тоном:

– Ну, да уж ладно, поживем, увидим. «Прогресс подвигается, и движению не видно конца».

Сережа любил читать не Надсона и не Бальмонга, а Некрасова.

И вот Сережи нет, застрелился. Так и не захотел жить и смотреть на величественное шествие прогресса. Что теперь делает его мать? Целует его повосковелые руки? Или намазывает масло на хлеб для проголодавшихся с утра ребятишек, испуганных и заплаканных, таких жалких в своих поношенных платьишках, курточках, с протертыми локтями? Или просто лежит на кровати и плачет, плачет без конца? Счастливая, – счастливая, если может плакать! Что в мире слаще слез!

Вот, наконец, Надежда Алексеевна дошла до их дома, поднялась по узкой, каменной лестнице с крутыми ступеньками в четвертый этаж, поднялась быстро, почти взбежала, так что запыхалась, и прежде чем позвонить, остановилась передохнуть. Дышала тяжело, держалась правой рукой в теплой вязаной перчатке за узкую железную полосу перил и смотрела на дверь.

Дверь была обита войлоком, обтянута клеенкой, и по этой клеенке шли крест накрест узкие черные полоски для украшения или для прочности. Одна из этих полосок наполовину оторвалась и повисла, клеенка в этом месте продралась, и торчал серый войлок. И от этого почему-то стало жалко и больно Надежде Алексеевне. Плечи ее задрожали. Она быстро закрыла лицо руками и громко заплакала. Точно ослабела вдруг, быстро села на верхнюю ступеньку и плакала долго, закрыв лицо. Под теплыми вязаными перчатками из закрытых глаз текли обильные слезы.

Было холодно, тихо и полутемно на лестнице, и наглухо закрытые двери, – три на одну площадку, – были неподвижны и немые. Долго плакала Надежда Алексеевна. Вдруг услышала она знакомые, легкие шаги. Замерла в радостном ожидании. И он, ее маленький, обнял ее за шею и опять прильнул к ее щеке, отодвинув теплой ручкой руку в вязаной перчатке. Прильнул нежными губами и сказал ей тихо:

– Что же ты плачешь? Разве ты виновата?

Она молчала и слушала и не смела двинуться и открыть глаза, чтобы он не ушел. Только правую руку, ту, которую он отстранил, она опустила на колени, а глаза прикрыла левой рукой. И слезы старалась удержать, чтобы не испугать его некрасивым женским плачем, плачем бедной земной женщины.

И он сказал ей еще:

– Ты ни в чем не виновата.

И опять поцеловал ее щеку. И сказал ей, повторяя страшные Сережины слова:

– Мне не хочется жить здесь. Благодарю тебя, милая мама.

И опять сказал:

– Правда, ты поверь, милая мама, мне не хочется жить.

Эти слова, которые были так страшны, когда говорил их Сережа,

были страшны, потому что их говорил тот, кто, получив от неведомой силы живой образ человека, должен был сберечь данное ему сокровище и не умерщвлять его, — теперь эти самые слова в устах нерожденного радостны были для его матери. Тихо-тихо, боясь испугать его грубым звуком земных слов, она спросила:

— Милый, ты меня прости?

И он ответил:

— Ты ни в чем не виновата. Но если ты хочешь, я прощаю тебя.

И вдруг сердце Надежды Алексеевны наполнилось предчувствием неожиданной радости. Еще не смея надеяться, еще не зная, что будет, она медленно и боязливо протянула руки, — и на коленях своих почувствовала его, нерожденного, и на плечах ее легкие его руки, и губы его прижались к ее губам. Она целовала его долго, и казалось ей, что прямо в ее глаза смотрят светлые глаза нерожденного, светлые, как солнце благочестного мира, но глаз своих открыть она не смела, чтобы не умереть, увидев то, чего нельзя человеку видеть.

Когда разжались детские объятия, и на ступеньках лестницы послышались легкие шаги, и ушел ее мальчик. Надежда Алексеевна встала, вытерла слезы и позвонила в квартиру своей сестры. Шла к ним, спокойная, и счастливая, помочь изнемогающим от печали.

ТУРАНДИНА

I

Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет тридцати, уже два года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога.

Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастливым, — ему удалось получить защиту по двум уголовным делам, по назначению от суда и одно гражданское дело у мирового судьи по влечению сердца. Все три дела он блистательно выиграл: присяжные заседатели оправдали бедную швею, облившую серной кислотой лицо девушки, на которой хотел жениться ее любовник, и молодого человека, зарезавшего своего отца из жалости, потому что старик слишком усердно постился и от этого страдал; а мировой судья присудил взыскать полтораста рублей по векселю, так как дело было бесспорное, хотя ответчик и говорил, что деньги он отработал. За все эти дела гонорара получил Петр Антонович всего только пятнадцать рублей, — эти деньги дал ему держатель бесспорного векселя.

На такие деньги понятно жить нельзя, и Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же приходилось пока довольствоваться одной только славой.

Но слава еще не была очень громкой, и получки от отца были

умеренные. Поэтому Петр Антонович бывал часто в элегическом настроении. Смотрел на жизнь довольно пессимистически, и пленял барышень краспоречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному поводу.

Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять одини по узким полевым дорожкам забрался далеко от дома.

Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба с разбросанными на нем разорванными облачками и озаренная неяркими, радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, влилась над высоким берегом неширокой, тихо льющейся по крутым изгибам своего русла реки, неглубокая вода которой была прозрачна, и казалось отраднo-свежей и прохладной. Казалось, что стоит только войти в нее, и станешь вдруг обрадован простодушным счастьем, и сделаешься таким же легким, как те купающиеся в ней мальчишки, тела которых казались розовыми и необычайно гибкими. Невдали от этой тропинки тянулся радостный, успокоенный лес, а за рекой громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые легточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен.

Все вокруг было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно. И ему казалось, что от этой прелести, которая окружает его, грусть становится еще острее, — как будто кто-то коварный и недобрый искушал его сердце, раскрывая перед ним в таком очаровательном виде всю прелесть земную.

Петр Антонович думал, что вся эта зримая прелесть, все это очарование взоров, вся эта нежнейшая сладость, легко льющаяся в его молодую, широко дышащую грудь, все это — лишь златотканый покров, брошенный враждебной людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиной прелести нечисть, несовершенство и зло природы. Эта жизнь, нарядившаяся так красиво, обвеившая себя такими ароматами, на самом деле была, думал Петр Антонович, только скучной прозой, тяжело скованной цепью причин и следствий, тягостным рабством, от которого не спастись человеку.

От этих дум становилось Петру Антоновичу порой так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц. И думал Петр Антонович:

«Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на краткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий! Сказка, сотворенная своенравным хотением человека, плененного жизнью и не мирящегося со своим пленом, — милая сказка, где ты?»

Петр Антонович вспомнил прочитанную им вчера в журнале министерства народного просвещения статью, из которой ему особенно почему-то запомнилось в коротких словах пересказанное предание о лесной волшебнице Турандине, которая влюбилась в пастуха, оставила для него свою очарованную родину и прожила с ним несколько счастливых лет, пока не призвали ее таинственные лесные голоса. Ушла, — но счастливые годы остались в благодарной памяти человека.

Хоть бы несколько лет сказки, хоть бы несколько дней!

Сладостно размечтавшись, Петр Антонович воскликнул:

— Турандина, где ты?

Солнце склонилось низко, и тишина упала на окрестные поля. Ближний лес был тих. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижим, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась.

Был тот миг, когда исполняются желания человека, миг, для каждого человека, быть может, единственный в жизни и во всем, что было вокруг, чувствовалось напряженное ожидание.

Петр Антонович остановился, взгляделся в светлую мглу перед собой, и повторил:

– Турандина, где ты?

И очарованный странным впечатлением тишины, как бы потерявший всю свою, отдельную от общей жизни, волю, как бы сливаясь общей любовью, он сказал, с великой силой и с великой властью, как только однажды в жизни дано говорить человеку:

– Турандина, приходи!

Тихий и радостный голос ответил ему:

– Я здесь.

Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обыкновенной, отдельной от мирового процесса душой маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал.

Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую и недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственной красоты. Она была бы подобна небесному ангелу, если бы ее тяжелые, черные брови не срастались над переносьем, обнаруживая в ней колдунью, и если бы цвет ее кожи не был смуглым, как бы облелеянный солнцем знойного лета.

Петр Антонович в удивлении молчал и глядел на странную девушку. Она сказала ему:

– Ты звал меня, и я к тебе пришла. Ты позвал меня вовремя, как раз в то время, как мне понадобился приют среди людей. Ты возьми меня, и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на моей голове, этой рубашки на моих плечах и этой сумки в руках.

Она говорила тихо, так тихо, что звуки ее голоса не заглушили бы и легчайшего здешнего шума. Но и так явственно говорила она, и так вкрадчиво лились звуки ее голоса, что и самый невнимательный человек не проронил бы ни одного звука из ее нежно-звонящей речи.

Когда она говорила о том, что она принесла с собой, об этих трех ее вещах, Петр Антонович увидел в ее руке мешок из красной кожи, верхний край которого стянут золотым шнурком, – очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы носят в театры бинокли.

Петр Антонович спросил:

– Кто же ты?

Она отвечала ему:

– Я – Турандина, дочь короля Турандоне. Мой отец очень любит меня. Но я сделала то, чего не следовало мне делать, – из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня, и изгнал меня из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти три вещи: золотой венец – знак моего происхождения, белая сорочка – мой бедный покров, и этот мешок, где лежит все, что мне понадобится. Хорошо, что я встретила тебя. Ты – тот человек, который защищает впавших в несчастье и заботится о том, чтобы среди людей торжествовала правда. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.

Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно, что эту девушку, одетую так легко и говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.

Петр Антонович догадывался, что это, может быть, какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть просто от родителей.

Впрочем ничто в ее лице и в ее наружности, кроме костюма и слов, не намекало на безумие. Она была тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиной, то это могло быть потому, что она слышала, как это имя он произносил; историю же о Турандине она могла прочесть в какой-нибудь книге.

III

Сообразив все это, Петр Антонович сказал прекрасной незнакомке:

– Хорошо, милая барышня, я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата, и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы – дочь короля Турандоне. Такого короля в настоящее время, кажется, нет.

Турандина улыбнулась. Сказала:

– Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне согласишься, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья, – ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.

Петр Антонович пожал плечами.

– Если вы настаиваете на своем, – сказал он, – то я умою руки, и слагаю с себя ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта и окажу вам всякую помощь и поддержку. Но, как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени и звания.

Турандина с улыбкой слушала его. Когда он кончил, она сказала:

– Ты ни о чем не заботься, все будет хорошо. Ты увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. И не говори мне так много о моем настоящем имени и звании, – я тебе сказала правду. Больше сказать тебе не могу, – не велено мне говорить все. Веди же меня к себе. Солнце заходит, я пришла издалека, и хочу

отдохнуть.

Петр Антонович поспешно сказал:

– Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место, – и нельзя найти извозчика.

Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает стопы легких ног.

Когда уже над высоким берегом реки показались первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину, и заговорил с некоторой неловкостью в тоне голоса:

– Извините, пожалуйста, милая барышня...

Турандина посмотрела на него, слегка нахмурила брови, и, перебивая его, сказала с укором:

– Разве ты забыл, как меня зовут, и кто я! Я – Турандина. Я – не милая барышня, а дочь короля Турандоне.

Петр Антонович почему-то смутился и забормотал:

– Извините, пожалуйста, *mademoiselle* Турандина, – очень красивое имя, хотя совершенно не употребительное у нас. Но я хотел сказать вам следующее.

Опять Турандина перебила его и сказала:

– Ты говори не нам, а мне. Мои оставили меня, и я здесь одна. Не говори со мной, как с одной из знакомых тебе барышен. Говори мне ты, как должен говорить верный рыцарь своей прекрасной даме.

Петр Антонович почувствовал в словах Турандины такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он, обратясь к своей спутнице, в первый раз назвал ее Турандиной и первый раз сказал ей ты, он вдруг почувствовал себя легко и просто с ней. Он говорил:

– Турандина, неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды? Если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы этим.

Турандина улыбнулась и сказала:

– Не знаю. Разве этой одежды мало? Мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот возьми, посмотри сам, – может быть, ты и найдешь там то, что хочешь.

С этими словами она протянула Петру Антоновичу свой мешок. Растягивая на тугом шнурке его верхнее отверстие, Петр Антонович думал:

«Хорошо, если догадались положить туда хоть какое-нибудь легкое платье».

Он опустил руку в мешок, нащупал там что-то мягкое, и вытащил небольшой сверток, – такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандины. Когда же Петр Антонович развернул этот сверток, то оказалось, что это было именно то самое, чего он хотел, – платье точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне.

Петр Антонович помог Турандине надеть это платье, и застегнул его на ней, – конечно, оно застегивалось сзади.

– Теперь хорошо? – спросила Турандина.

Петр Антонович с некоторым сожалением посмотрел на мешок. Конечно, в таком небольшом мешке не могло быть башмаков. Но

все-таки Петр Антонович опять опустил туда руку, думая:

«Хоть бы сандалии нашлись».

Он нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий. Тогда он вытер травой ноги Туранидины, надел на них сандалии, и затянул их ремешки.

– Теперь хорошо? – опять спросила Турандина.

В голосе ее была покорность, и по лицу ее видел Петр Антонович, что она готова исполнить все, что он велит; ему стало радостно. Он сказал:

– Да, шляпу можно после.

IV

Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно не приспособленной для принятия сказки. Родные молодого юриста с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостии, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Туранидины ее настоящего, по его мнению, имени: пускался на разные хитрости, чтобы поймать ее на словах и доказать ей, что она говорит неправду. Турандина никогда не сердилась на его упорство и на его подходы. Она улыбалась светло и простодушно и терпеливо повторяла каждый раз одно и то же:

– Я сказала тебе правду.

– Где же находится та страна, где царствует король Турандоне? – спрашивал Петр Антонович.

– Далеко отсюда, – говорила Турандина, – а если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может. Только мы, рожденные в чародейной стране короля Турандоне, можем войти в этот очарованный край.

– А ты можешь показать мне туда дорогу? – спрашивал Петр Антонович.

– Не могу, – отвечала Турандина.

– А сама можешь вернуться туда? – спрашивал Петр Антонович.

– Теперь не могу, – отвечала Турандина, – а когда позовут меня, вернусь.

Не было ни грусти в ее словах, и на ее лице ни радости, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Голос Туранидины звучал всегда ровно и спокойно. Она глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз, но любопытство ее было спокойное, как будто она легко ко всему привыкала и легко узнавала все, что являлось ей. Узнав что-нибудь однажды, она уже потом не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которые сказали ей люди, или которые сама она подметила, выполняла она легко и просто, как будто привычные ей с детства. Имена и лица людей узнавала она с первой встречи.

Она ни с кем не спорила, и никогда не говорила неправды. Когда ей советовали сказать обычную в светском мире неправду, она покачивала головой, и произносила странные слова:

– Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.

Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого и великого короля.

Но жизнь, которой жил молодой юрист и все его близкие и

родные, трудно мирилась со сказкой. Боролась с ней, ставила ей всяческие ловушки.

V

Когда Турандина прожила несколько дней в семье филолога, пришел в кухню урядник, и сказал кухарке:

– Тут у вас, сказывают, барышня гостит чужая, так прописать надо.

Кухарка сказала жене филолога, жена своему мужу, филолог Петру Антоновичу, а Петр Антонович пошел к Турандине, которая сидела на террасе и читала с большим удовольствием.

– Турандина, – сказал Петр Антонович, – пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.

Турандина очень внимательно выслушала Петра Антоновича. Спросила:

– Что такое паспорт?

– Это, видишь ли, Турандина, – объяснил Петр Антонович, – вид на жительство. Такая бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание, возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.

– Если это надо, – спокойно сказала Турандина, – то это, должно быть, есть в моем мешке. Вот он лежит, – возьми, посмотри, нет ли в нем этого вида на жительство.

И точно, в чудном мешке нашелся вид на жительство, маленькая в шагреновой коричневой обложке бессрочная паспортная книжка, выданная из астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы, семнадцати лет. Все было по форме, печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер, – все, как во всех паспортных книжках.

Петр Антонович, улыбаясь, смотрел на Турандину.

– Так вот ты кто! – сказал он: – Ты – княжка, и зовут тебя Тamarой.

Турандина отрицательно покачала головой:

– Нет, – сказала она, – меня никогда не звали Тamarой. Это книжка говорит неправду, – она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я – Турандина, дочь короля Турандоне. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Впрочем, об этой книжке я ничего не знаю. Кто положил мне ее в мой мешок, тот знал, что она мне понадобится. Верить же ты должен только моим словам.

Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжной или Тamarой Тимофеевной, а для своих она осталась Турандиной.

VI

Для своих – потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни: Петр Антонович полюбил Турандину, Турандина полюбила молодого юриста. Он и решил и повенчаться, и родные молодого юриста слабо спорили с ним.

Говорили филолог и его жена:

– Несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина – очень милая девушка,

красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь ты-то подумай, – у тебя нет денег, да и у нее тоже.

– На эти полтораста от отца жить в Петербурге вдвоем будет трудно.

– Особенно с княжной.

– При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни.

– У нее нежные, маленькие ручки. И хотя она ведет себя очень скромно, и ты говоришь, что, когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке, но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе.

Петр Антонович сначала призадумался было. Потом воспоминание о платье, вынутом из мешка Турандины, навело его на смелую мысль. Он засмеялся и сказал:

– В Турандинчикином мешке нашлось для нее домашнее платье. Кто знает, порываться хорошенько, может быть, и бальный туалет найдется.

Жена филолога, милая молодая дама с большими хозяйственными способностями, сказала:

– Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы рублей пятьсот было, хоть бы кое-какое приданое ей спить.

Петр Антонович смеясь говорил:

– Найдется и пятьсот тысяч, – приданое принцессы.

Жена филолога засмеялась и сказала:

– Размечтался! Довольно с тебя и ста тысяч.

В это время из сада на террасу, где шел этот разговор, тихо поднималась Турандина. Увидя ее, сказал Петр Антонович:

– Турандиночка, покажи-ка свой мешок, нет ли в нем ста тысяч.

Турандина протянула ему свой мешок и сказала:

– Если надо, то там есть.

Петр Антонович опять опустил руку в мешок, и вытащил пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, – но и без счета было видно, что денег много.

VII

Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказка место. Купила сказка место в жизни, – очарованием своим, и сокровищами волшебного мешка.

Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать, и выросстал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца, и выросла веселой и рассудительной девочкой.

Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиной. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой.

И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов:

– Турандина, приходи. Турандоне тебя простил.

Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было семь лет, а ее дочери пять лет.

Ушла из жизни сказка, и не вернулась. Но сын Турандины не забыл своей матери.

Иногда он уходил от людей далеко. Когда он возвращался к людям, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу:

– Он был у Турандины.

ЗВЕРИНЫЙ БЫТ

Глава первая

I

Подобно тому как в природе кое-где встречаются места безнадежно унылые, как иногда восходят на земных просторах растения безуханные и нерадующие глаз, – так и среди людских существований бывают такие, которые как бы заранее обречены кем-то недобрым и враждебным человеку на тоску и печаль бытия. Будет ли виною тому какой-нибудь телесный недостаток, иногда совершенно незаметный для света, да зачастую забываемый и самим обладателем этого недостатка, плохое зрение, слабые легкие, маленькая неправильность в строении какого-нибудь органа, или что-нибудь иное, – или слишком нежная, слишком восприимчивая ко всем впечатлениям душа с самого начала своего сознательного бытия поражена была почти смертельно какими-нибудь безобразными и грубыми выходками жизни, бабищи дебелой и румяной, – как бы то ни было, вся жизнь таких людей является сплошной цепью томлений, иногда с трудом скрываемых.

Кто из людей, знающих свет, не встречал таких людей, и кто не удивлялся их странной, капризной неуравновешенности!

Такою, обреченною всегда томится, душою обладал некий петербуржец, Алексей Григорьевич Курганов. Один из многих.

Жизнь его с внешней стороны складывалась очень удачно.

Раннее детство его протекало на лоне природы, в прекрасном и благоустроенном имении его родителей, расположенном в живописной местности средней России. Первые впечатления бытия были ему радостны: леса, поля и реки раскрывали перед ним много интересного, и люди вокруг были очень занятные. Воспитывали его тщательно и даже не слишком уж дурно, хотя и сообразно с неподвижными традициями хорошего дворянского рода.

Учился Алексей Григорьевич хорошо, нигде не засиживался. В деньгах никогда особенно не нуждался, – родители давали ему всегда ровно столько денег, сколько ему было нужно. Потом они умерли как-то очень вовремя, не слишком рано, но и не слишком поздно, и догадались ему оставить приличные средства.

Когда Алексей Григорьевич сделался самостоятельным, хорошие связи и знакомства всегда помогали ему очень недурно устроиться. Он служил на видных, но совершенно спокойных местах, дававших ему порядочное жалованье и не мало досуга. Казенная служба скоро перестала ему нравиться, – да ему и ничто не нравилось долго, – и

тогда он некоторое время служил по выборам. Потом устроился очень хорошо в правлении одного очень видного и крупного предприятия. Получал большое жалованье, удачно, хотя и очень осторожно, играл на бирже, и выигрывал на скачках и на бегах.

Когда ему было двадцать восемь лет, он женился по любви на дочери видного земского деятеля, Шурочке Нерадовой. Жена его была очаровательна и принесла ему прекрасное приданое. В ее нежном и задумчивом лице было что-то, напоминающее лучшие портреты Генсборо. Она очень мило пела, недурно играла на рояле, любила стихи новых поэтов, особенно французских, и обладала изысканным и тонким вкусом. Туалеты ее были превосходны, и она ухитрялась тратить на них не слишком много.

Со своею Шурочкою Алексей Григорьевич чувствовал себя наверху блаженства, а в обществе был горд своею женою. И только порою грустные глаза ее, остановившись на нем с неизъяснимым выражением, наводили на него смутный страх, и он старался разогнать его усиленную веселостью. А поездками в те места, где люди хотят веселиться, он пытался заставить Шурочку улыбаться и смеяться, как другие. И Шурочка улыбалась, — ей было весело.

Через два года Шурочка родила ему сына, веселого и здорового мальчика. Сама выкормила его. Когда он стал подрастать, было заметно, что он больше похож на мать, чем на отца.

II

Вот все внешние признаки благополучия были налицо. Вся жизнь, казалось, идет легко и приятно, как сон в летний полдень. И все же...

Еще в детстве как-то болезненно и памятно чувствовались мелкие обиды, которые судьба не устает причинять даже и тем, к кому она, по-видимому, так благосклонна. Всякая несправедливость и неправда больно поражали его.

Тогда еще он не знал, а потом, узнавши, не мог помириться с тем, что несправедливость и неправда очень удобны для людей, а справедливость и правду надобно еще создавать, — нет их в земной природе. Всякая ложь в людских отношениях была чувствительна для него. Горько было узнать, что не лгать не могут люди, что ложью держится их жизнь, а правда разрушает ее.

Слишком рано пришлось Алексею Григорьевичу — и слишком часто — жалеть людей или презирать их, слишком часто, так что для любви к ним уже и немного осталось сил в его сердце.

С казенной службы ушел Алексей Григорьевич потому, что его заставили сделать что-то, совсем не согласное с законом, но очень выгодное для влиятельного лица.

Знакомые дивились его щепетильности. Говорили ему:

— Зачем вы это? Для чего? Вам-то что за дело? Ведь вы — только исполнитель. Отвечает за это ваш начальник.

И другие говорили:

— Все равно, вы ничего этим не достигнете. Не вы, так другой это сделает. Только себе карьеру испортите.

Алексей Григорьевич молча улыбался. Он уже знал, что спорить с людьми бесполезно. Но и с ним спорить было бесполезно также. Для себя самого он навсегда решил не делать лишних уступок злу и безобразию грубой жизни.

Служба по выборам сначала поправилась ему очень. Ему казалось,

что здесь можно многое сделать для народа, для приближения народной жизни к европейским нормам благополучия и культурности. Скоро он во всем этом разочаровался навсегда. И он точно с неба упал, когда познакомился с теми махинациями и интригами, которые беззастенчиво практиковались здесь. И отсюда он ушел.

Служба в коммерческом деле, откровенно преследующем цели личного обогащения, оказывалась пока самым чистым делом. Пока, конечно. Скоро Алексей Григорьевич разочаруется и в этом деле и покинет и эту службу.

III

Однажды Алексей Григорьевич сидел у себя в кабинете за какую-то работу. Он считал эту работу спешною, хотя никто особенно не был озабочен ее скорым окончанием.

Вдруг он услышал из гостиной легкий кашель. Он удивился.

«Кто же это?» подумал он.

Он знал, что никого чужого в доме нет и что Шурочка одна.

Кашель повторился. Алексей Григорьевич обеспокоился. Поспешно вышел в гостиную. Так и есть: кашляла жена.

– Шурочка, ты простудилась? Где ты простудилась? – спрашивал он, подходя к жене и с тревогою глядя на нее.

Шурочка спокойно смотрела на него и закрывала рот тонким маленьким платком, от которого нежно и слабо пахло ее любимыми духами, – кирризом. В ее глазах было какое-то удивительное выражение, которого еще никогда не видел в них, то спокойствие, которое пугает прежде, чем поймешь причину своего испуга.

Алексей Григорьевич сел рядом с Шурочкою. Ласково вынул из ее рук платок. По самой середине маленькой батистовой тряпочки краснелось крохотное пятнышко.

Алексей Григорьевич растерянно переводил глаза с красенького пятнышка среди платка на спокойное, только чуть-чуть побледневшее Шурочкино лицо. Не знал, что сказать. Было ясно в комнате и тихо, и лампы горели по-зимнему, и камин тихонько трещал, бросая на ковер красноватый свет. В соседней комнате, столовой, тихо звенели чайные ложки в руках расторопной горничной Даши.

Шурочка заговорила тихо:

– Лена, разве ты не знал, что я скоро умру?

Алексей Григорьевич воскликнул:

– Шурочка, Бог с тобою! Разве можно говорить такие слова! Тебе надобно серьезно полечиться, – и все это пройдет.

Шурочка покачала головою. Глаза ее были большие и печальные, и лицо у нее было спокойное, и она казалась слишком красивою, – словно уже неживая, словно она была только мечтою художника, только вечным созданием искусства. Но кто же этот художник, создающий, чтобы разрушить?

– Нет, – тихо сказала Шурочка, – я с детства чувствовала, что мне долго не прожить. Я никогда не могла так играть и так долго бегать, как мои подруги. Даже пение меня всегда утомляло. У меня всегда была слабая грудь.

И, помолчав немного, она продолжала:

– Я – нехорошая. Мне бы не следовало выходить за тебя. Если я рано умру, я знаю, это будет для тебя таким большим горем. Но мне так хотелось счастья!

Она прижалась к плечу Алексея Григорьевича. Такая счастливая

была на ее нежных губах улыбка, что Алексей Григорьевич подумал:

«Ничего нет серьезного, одно воображение. Все пройдет, только полечиться надобно хорошенько. Поправится Шурочка, и опять все будет хорошо».

Но что-то против его воли настойчиво говорило ему, что Шурочка не поправится, что Шурочка умрет скоро и что дом его будет пуст.

IV

Врачи утешали Алексея Григорьевича. Брали гонорар и говорили беззаботно:

– Ничего опасного. Самое обычное явление. Пока пропишу микстурку, а самое главное – климатическое лечение. Больше ничего. Будьте спокойны.

Один, другой, третий, и еще, и еще, и здесь, и там, и в ином месте, – много перевидали врачей. И Алексей Григорьевич уже не мог поверить врачам. Да они об этом и не заботились. Лечение указано согласно с наукою, – чего же больше!

А Шурочка была совершенно спокойна и даже весела. Ей нравилось лежать на широких террасах элегантных санаториев, дышать редким горным воздухом, смотреть на снеговые вершины гор, слушать легкий плеск горного озера. Она говорила:

– Я – счастливая. Разве этого мало? Разве надобно, чтобы счастье человеческое продолжалось долго, долго, пока не надоест? Я – счастливая, больше ничего и не надобно.

V

Климатическое лечение не помогло: Шурочка приметно с каждым днем угасала.

Был ясный день. Снежные горы белели вдали, похожие на красивую сказку, – безоблачное синело небо, – легкий плеск озера был слышен в долине, плеск ласковый и веселый, – от зеленеющих молодо и весело деревьев ложились темные, отрадные тени, – и птицы проносились высоко, легкие, свободные. Так все было спокойно и невозмутимо, как может быть только в мирной ограде земного рая, или разве еще только в стране бережливых и аккуратных фермеров и рангьеров, так же уверенных в прочности своего благополучия, как уверены ангелы в бесконечной невозмутимости своего блаженства.

Шурочка сидела в саду, и тихая задумчивость баюкала ее. Она перебирала в памяти своей те радости, из которых составлена была ее жизнь. Вспоминала ясное, милое детство, пору внешних мечтаний, время сладкой влюбленности, жизнь с нежно-любимым мужем, рождение сына. Все было хорошо, все радовало ее.

Только дышать было трудно. И совсем не было сил. Пройдет несколько шагов, и уже устала.

И вот скоро стало быть конец? Как же так?

Всю жизнь Шурочка думала, что умрет рано, и не боялась смерти ничуть. Даже немножко кокетничала сама с собою тем, что умрет молодая. Но когда стало близким то, чего она ожидала всегда, эта готовящаяся таинственная перемена стала давить ее, потом печалить и наконец уже ей стало странно. И обидно было думать,

что ее тело, привыкшее к нежным удобствам и к изысканным нарядам, зароят в черную яму.

Муж подошел к ней.

– Я умираю, – сказала она.

Ее глаза были широко открыты и неподвижно глядели на Алексея Григорьевича, и было в них выражение человека, который смотрит на то неведомое, чего он уже перестал бояться, но от чего уже никогда не отведет взора.

– Полно, Шурочка, мы еще поживем, – сказал он, пытаясь легким тоном этих слов успокоить ее.

Шурочка слегка нахмурила тонкие брови. Сказала:

– Как же я могу жить, если у меня легкие разваливаются?

И заплакала тихо.

Алексей Григорьевич, бледный и растерянный, стоял перед нею и не знал, что сказать.

VI

Потянулись для Алексея Григорьевича дни тупого отчаяния. Обострились эти ощущения, так памятные еще из детства, – тоска навстречу новому дню, так часто омрачавшая его утра, – и радостное облегчение, когда приближались ночь и сон, – милое подобие утешительной смерти.

Ожидание Шурочкиной смерти претворялось иногда в безумное желание, чтобы смерть эта пришла скорее, так было тяжело ждать ее и так томилась Шурочка. И так как Алексей Григорьевич любил правду человеческого чувства и ненавидел людские притворства, то и себя он не упрекал за это жестокое желание. Даже, может быть, если он с Шурочкою был один в пустыне, он бы сам убил ее, сделать смерть ее сладостною и свободною. Но люди злы: они убивают только тогда, когда ненавидят.

Через несколько дней Шурочка умерла.

Хлопоты с перевозом тела на родину развлекли Алексея Григорьевича. Он не рыдал над милым прахом, как рыдают другие, и его близкие и родные не опасались за то, что он в порыве горя лишит себя жизни. Он был спокоен.

Шурочкина смерть осталась в его сердце навсегда, – горем невозрастающим и незабываемым. Как бы частью его души, неизменною атмосферою его бытия. И через много лет в душе его без конца повторялись все те тихие Шурочкины слова:

– Я умираю.

И душа его трепетала от боли, которой не видел никто.

Глава вторая

I

Прошло несколько лет. Алексею Григорьевичу было сорок два года и его Грише двенадцать лет. Алексей Григорьевич был директором правления в одном крупном предприятии, но уже эта деятельность утомила и разочаровала его, и он думал все чаще о том,

чтобы оставить ее. И все чаще хотелось ему переменить жизнь.

Грустные Шурочкины взоры говорили ему о тоске и тщете этой жизни в городе. Все темнее и томительнее волновала его женщина города, это странное существо, созданное современным Содомом и стремящееся стать подобием парижанки, пустой и ничтожной, но всемирной, как всемирным становится все, исходящее из милого и страшного Парижа. И так колебался он между двумя влияниями, – жены отошедшей и тихой, зовущей к жизни шумной, торопливой, широкой.

Но жизнь в городе становилась ненавистна ему, потому что ему все яснее представлялось, что в городе наших дней, великодушном Содоме, возрождается древний зверь и хочет властвовать. Все то жестокое, что совершалось в стране, шло отсюда.

Если же было счастье в жизни Алексея Григорьевича, то оно только в жизни его сына, в заботах о нем каждый день и в одной великой заботе о том, чтобы он был лучше своих предков, чтобы он жил для достойной жизни, – свободный, чистый и смелый. И когда смотрел Алексей Григорьевич на обласканное ярким светом сильное Гришино тело, то ему казалось, что нет больше счастья, как то, чтобы стать двенадцатилетним небожащимся и нестыдящимся отроком.

И вот произошли некоторые события, которые заставили Алексея Григорьевича резко изменить многое в своей жизни.

Была середина зимы. День праздничный, ясный и морозный смотрел в широкие и высокие окна кабинета Алексея Григорьевича. Белая снежная пелена зимней мостовой делала красиво эту тихую городскую улицу с рядом старавшихся быть пышными и богатыми домов, где жили в лицевых квартирах люди, тратящие много, а в квартирах во дворе, тесных, темных и неудобных, ютились те странные люди, которым правилось сознание, что и они живут на аристократической улице.

Алексей Григорьевич был дома один. Он только что кончил завтрак. Никуда не собирался, никого к себе не ждал. Сидел дома и лениво читал новую книгу о многообразии религиозного опыта.

Раздался тихий стук в дверь.

– Войдите! – сказал Алексей Григорьевич, с некоторою досадою отрываясь от книги.

Не то, чтобы книга очень интересовала его, но ему сейчас не хотелось видеть людей, говорить с ними, – какое-то утомление жизнью в этом холодном, темном городе владело им.

II

Бесшумно открылась дверь и, колыхнув складки тяжелой темно-синей портьеры, гармонировавшей своим спокойным светом с синими стенами кабинета, вошла горничная Наташа, молодая быстроглазая девушка.

Тихо ступая мягкими серыми башмаками по темно-синему сукну, затянувшему весь пол кабинета, она неторопливо подошла к дивану, где сидел, удобно прижавшись к углу и подобрав под себя ноги в легких лакированных ботинках, Алексей Григорьевич.

Наташа подала ему карточку и очень тихо сказала:

– Просят, чтобы вы их приняли. Говорят, что они по очень важному для вас делу и что им необходимо переговорить с нами сегодня же.

Когда Алексей Григорьевич опустил глаза на карточку, где он

прочел совершенно незнакомое ему имя, Наташа быстро глянула в зеркало над топившимся камином, поправила быстрым движением красивых белых открытых до локтя рук свою слишком сложную, как у барышни, прическу с вложенным в нее бледно-розовым цветком, и, опуская руки, тесно прижала их к бокам, так что ясно и отчетливо обрисовалась ее высокая, слишком пышно развившаяся грудь молодой и здоровой девушки.

Алексей Григорьевич заметил все эти Наташины маневры и сердито поморщился.

«Положительно, следует отказать ей», – подумал он, уже не в первый раз за эту зиму.

Алексее Григорьевичу очень не нравилось, что Наташа, которая была такою скромною в первые два года службы у него, теперь кокетничает с ним. Смотрит на него иногда какими-то странными глазами. Старается подойти к нему поближе. Ночью выскивает предлоги, чтобы встать с постели и, словно невзначай, встречается с ним не одетая.

Надо ее рассчитать. Но за что? Она такая услужливая. Все делает исправно. Мебель и вещи Алексея Григорьевича держит в порядке. Не за что отказать.

Алексей Григорьевич быстро окинул Наташу сердитыми глазами. Она покраснела и чуть-чуть усмехнулась.

– Наташа, – строго сказал Алексей Григорьевич, – для чего это вы видели этот глупый цветок в голову? Выньте и вперед не смейте являться ко мне с цветами в волосах.

– Слушаю, барин, – покорно сказала Наташа и вынула цветок из волос.

– И нельзя ли делать прическу попроще? – продолжал Алексей Григорьевич.

Наташа отвечала так же покорно:

– Слушаю, барин.

И стояла перед ним, прямая и почтительная, чуть-чуть, едва заметно, усмехаясь, – так легка была усмешка, что нельзя было за нее сделать замечания. И у Наташи был такой вид, точно она понимает, что все это, и о цветке, и о прическе, только придирки, капризы барина, но что она и капризы его сносит покорно.

III

Алексей Григорьевич опять опустил глаза на карточку. Там типографским косым шрифтом было напечатано:

Илья Никанорович

Кундик-Разноходский

Комиссионер по наведению справок.

Селивановская, 18, кв. 73.

Алексей Григорьевич тщетно напрягал свою память, – положительно, он не помнил этого господина. Собрать о ком-нибудь или о чем-нибудь справки через комиссионеров ему не приходилось, и теперь он в этом не нуждался. Принимать совершенно незнакомых людей он не любил. Знал по долгому опыту, что эти посещения всегда бывают неприятны. Все это были или прожектеры с явно несбыточными проектами, или попрошайничающие лгуны, или просто-напросто воры.

Он сказал:

– Спросите его, Наташа, толком, какое именно у него до меня дело. Я его совершенно не знаю и не могу принять его, не зная.

зачем он пришел. Притом же я занят.

– Слушаю, барин, – с тою же стереотипною вежливостью отлично дисциплинированной горничной и с тою же едва заметной усмешкою отвечала Наташа.

Проходя мимо камина, она приостановилась, нагнулась, как будто бы для того, чтобы поправить дрова, хотя в этом не было никакой надобности, а на самом деле для того, чтобы лишний раз выказать свою ловкость и свои формы, – бросила в огонь свой смятый цветок, который она до того держала в руке, и постаралась сделать это так, чтобы Алексей Григорьевич это заметил и оценил бы ее покорность. Потом, легко поднявшись, опять быстро глянула в зеркало и тою же неслышною походкою ушла.

IV

Через минуту Наташа вернулась, опять подошла к дивану, где все еще сидел Алексей Григорьевич, и сказала тихо, точно сообщая что-то секретное:

– Они говорят, что безусловно не могут мне сказать. Им беспрерывно надо вас лично повидать. Скажите, говорят, вашему барину, что, безусловно, необходимо повидаться немедленно по делу, лично для вас очень важному.

Алексей Григорьевич досадливо помолчал и спросил:

– Ну, а с виду-то он какой? Приличный? Или похож на просителя?

Наташа повела легонько круглым, полным плечом, изобразила на своем лице замешательство, и, еще более понижая голос, сказала:

– Как сказать, уж, право, не знаю. Цилиндр на них и перчатки, ну, а пальто совсем немодное и потертое, а с лица, – так, не очень симпатичные. Борода большая, черная, очки, а сами как будто из цыган будут.

– Одним словом, темная личность, – тихо, как будто про себя, сказал Алексей Григорьевич.

– Не могу знать, – сказала Наташа.

И усмешка ее уже была смелая, словно она воспользовалась этими лишними словами Алексея Григорьевича. И Алексею Григорьевичу стало досадно на самого себя. Как всегда в таких случаях, раздражение на себя обратилось на другого. Он резко сказал Наташе:

– Да я вас и не спрашиваю, Наташа. Пригласите.

Наташа покраснела, – и Алексей Григорьевич подумал, что она краснеет слишком часто. И опять ему стало досадно на то, что он слишком много обращает внимания на эту красивую, хитрую девушку, и тем как бы поощряет ее старание кокетничать с ним.

Когда уже Наташа вышла, Алексей Григорьевич подумал, что этого господина принимать не следует, и сообразил, что это слово «пригласите» печально вырвалось у него, и просто с досады. Он порывисто встал с дивана, поспешно подошел к своему большому, загроможденному множественным нужным и ненужным вещам, письменному столу и схватился за лежащую на нем в холодной бронзовой оправе в виде зеленовато-голубой лягушки на длинном синем шнурке пуговку электрического звонка, чтобы позвать Наташу и отменить свое распоряжение, но сразу же сообразил, что уже поздно и что, по всей вероятности, Наташа уже сняла с господина в цилиндре его потертое пальто и открыла перед ним дверь в комнаты.

Алексей Григорьевич выпустил из рук холодную лягушку, и она боком упала на зеленое сукно рядом с вазочкою для карандашей. Он подошел к среднему окошку. Стоял и ждал. И почему-то вдруг почувствовал, что предстоящее свидание с комиссионером для наведения справок его странно волнует.

Глава третья

I

После легкого Наташина стука в дверь колыхнулась портьера, и, как-то ниже, чем можно было ждать, показалась голова смуглолицего, рябоватого человека с черною бородою и уже потом вся его, облеченная во фрак, фигура.

Алексей Григорьевич стоял у окна и смотрел на неожиданного гостя, нисколько не стараясь придать своему лицу любезное выражение. Комиссионер по наведению справок ему сразу не понравился.

Это была какая-то смесь Урии Гипа из Диккенсовского романа и капитана Лебедкина из Достоевского. Не по наружности, конечно, а по тому характеру, который всегда слишком ясными чертами изображается на лице для всякого привыкшего жить на свете. По наружности же это был довольно плотный, хотя и не совсем чистоплотный господин. Фрак на нем был совсем приличный и сидел не плохо, и крахмальная сорочка была почти чистая, а вот на галстук, черном и слишком большом для фрака, виднелись два сероватые пятна. Черные в полоску брюки чем-то странно отличались от его фрака и были натянуты и лоснились на коленях. Синие стекла больших очков были слишком светлы, и это придавало его лицу странное выражение неудачного маскарада.

Как-то странно сгибаясь и потирая руки с таким видом, точно он был уверен, что руки ему не подадут, Кундик-Разноходский медленно подвигался к Алексею Григорьевичу. Руки у него были большие, красные, очевидно, недавно вымытые, — но почему-то, когда Алексей Григорьевич взглянул на них, то ему стало противно, и своей руки он, точно, не протянул.

Вместо того он как-то поспешно показал левою рукою на приставленное сбоку письменного стола кресло и сказал:

— Прошу садиться.

Гость, продолжая неловко кланяться и потирать руки, говорил притворно-смущенным, жидковатым голосом, с противною приторностью улыбаясь:

— Прошу извинить. Побеспокоил, может быть, оторвал от занятий. Кундик-Разноходский, — моя фамилия. Впрочем, карточку мою изволили видеть? Там, извините, и моя профессия обозначена. Справки собираю, по поручениям, а иногда и от себя, — такова уж моя специальность. Люблю узнавать разные сведения. С детства отличался любознательностью и, смею сказать, проявлял в этом направлении незаурядные способности, вроде Лекока или, извините, Шерлока Холмса, и потому могу иногда сообщить чрезвычайно любопытные известия.

Говоря это, Кундик-Разноходский как-то бочком пробирался к указанному ему креслу, еще раз поклонился и уселся. Тогда стало заметно, что устроен он как-то очень непропорционально, — ноги слишком короткие, туловище длинное, — и потому, сидя, он казался

выше, чем стоя. И это тоже почему-то было противно Алексею Григорьевичу. Ему казалось, что неправильность тела должна сопровождаться каким-нибудь изломом или вывихом души.

Алексей Григорьевич сел в свое кресло перед письменным столом и спросил неприветливо:

– Чем же я могу вам служить? Справок я не собираю.

Кундик-Разноходский захихикал, заерзал в кресле, еще быстрее стал потирать свои руки и поспешно заговорил:

– Извините-с, Алексей Григорьевич, это я вам хочу служить. Имею сделать вам чрезвычайно важное сообщение.

Он замолчал и смотрел на Алексея Григорьевича так, словно ждал чего-то. А Алексея Григорьевича все больше раздражали красные руки гостя и хотелось просить его, чтоб он перестал так сильно тереть их. Видя, что гость молчит, Алексей Григорьевич сказал холодно и спокойно:

– Пожалуйста, говорите, господин Кундик-Разноходский, я вас слушаю.

Гость опять захихикал.

– Извините, – сказал он, – но так как это моя специальность и так как я списываю этим средства к пропитанию, то, будучи человеком совершенно не обеспеченным в материальном отношении и притом же имея на своем попечении большую жену, детей, которых надо учить, и престарелых родителей, которых надо покоить, и ввиду все возрастающей дороговизны припасов, то вы, милостивый государь, конечно, и сами поймете, что я не имею никакой возможности сообщать имеющиеся у меня сведения иначе, как за некоторый, хотя бы и самый умеренный, гонорар.

Алексей Григорьевич с удивлением слушал это длинное и запутанное объяснение. Потом сказал:

– Да мне не нужно никаких от вас сведений, ни за деньги, ни даром.

Кундик-Разноходский развязно продолжал:

– После такого холодного ответа с вашей стороны, собственно говоря, должен был бы немедленно встать и откланяться. Но, кроме желания заработать на вашем деле и возместить расходы по собиранию справок, и расходы довольно значительные, я руководствуюсь еще и человеколюбием. Сам имея детей, я обладаю, к сожалению, слишком чувствительным сердцем. Сведения, которые я могу вам сообщить, – не иначе, конечно, как за приличную плату, – могут избавить вас и ваших близких от большого несчастья.

Алексей Григорьевич улыбнулся. Самоуверенный тон Кундик-Разноходского начинал его забавлять. Он сказал:

– Несчастья для себя лично я не боюсь, а близких людей у меня нет.

Кундик-Разноходский сделал чрезвычайно-серьезное лицо, рознял свои руки в первый раз с тех пор, как пришел сюда, поднял со значительным видом указательный палец и сказал забавно-торжественным тоном:

– Извольте забывать самого близкого к себе человека, вашего единственного сына, отрока Григория. А мне известно, что вы в нем души не чаете и потерять его было бы для вас весьма тягостно.

Кундик-Разноходский замолчал и сидел, уставясь на Алексея Григорьевича с выражением опасливого сожаления.

Алексей Григорьевич почувствовал, что он бледнеет. Какие-то смутные подозрения, уже томившие его не раз после того, как в прошлом году его Гриша получил от своего деда большое наследство,

опять зашевелились в его душе. Он пристально смотрел на Кундик-Разноходского и напряженно думал, можно ли ему хоть сколько-нибудь поверить.

II

Очевидно было по всему, что Кундик-Разноходский, действительно, человек подозрительный. Но потому он и может иметь такие сведения, какие можно получить только при постоянном общении с преступными и подозрительными элементами городского населения.

Алексей Григорьевич знал, что крупное наследство, доставшееся его Грише по завещанию Шурочкина отца, вызвало большое озлобление среди других родственников, особенно у Гришина дяди по матери, Дмитрия Нерадова, быстро разоряющегося господина.

Дети умирают так часто и так легко от какой-нибудь случайной заразной болезни, что никого бы не удивило, если бы и Гриша умер. Тогда его наследство опять вернулось бы в род его матери.

Гриша был всегда на глазах Алексея Григорьевича, и уберечь его, по-видимому, было нетрудно. Но кто может поручиться за то, что не случится, чтобы или он сам, или экономка, или Гришина гувернантка чего-нибудь не досмотрели?

И ведь весь вопрос только в том, чтобы заплатить этому человеку сколько-то денег. Пусть он даже лжет, но разве жалко денег! И странно было бы предположить, что ничего не знающий человек приходит с улицы и рассказывает небылицы, требуя за это денег.

III

Алексей Григорьевич решительно спросил:

— Сколько вы хотите получить?

Кундик-Разноходский, ни на минуту не задумываясь, и уже не хихикая и не потирая рук, и даже слегка отвалившись на спинку кресла, с развязностью, почти наглою, сказал:

— За предварительное сообщение и, вообще, за мой сегодняшний визит соблаговолите уплатить мне сто целковых. Затем понадобятся еще кое-какие расходы, но, оценив значительность моих сообщений, вы уже сами определите подходящую сумму за передачу вам имеющихся в моих руках чрезвычайно-любопытных документов.

Алексей Григорьевич выдвинул ящик письменного стола. Достал из него бумажник синей шагреновой кожи, большой, мягкий и удобный. Приоткрыл его с таким жестом, как будто опасался, что гость его ограбит. Вытащил оттуда сторублевую бумажку и протянул ее Кундик-Разноходскому.

Кундик-Разноходский взял бумажку бережно. Видно было по его лицу, что ему как будто бы жаль или досадно, того ли, что спросил мало, того ли, что нельзя заняться приятным делом пересчитывания засаленных и потрепанных кредитных бумажек. Он все-таки положил сторублевку себе на колено, погладил ее широкою ладонью, вздохнул и уже потом спрятал ее в свой большой, с поломанной застежкой, рыжий кошелек, который он вытащил из кармана брюк и в котором виднелись, когда он его открыл, какие-то квитанции и расписки.

Потом Кундик-Разноходский сказал:

– Надеюсь, что позволите говорить с вами совершенно откровенно.

Алексей Григорьевич отвечал с досадою:

– Ну, конечно, иначе зачем же бы мне с вами и разговаривать.

– Кроме того, – говорил Кундик–Разноходский, – вы, конечно, сообразовайте дать мне обещание, что никому не откроете источника тех необычайных сведений, которые я вам сообщу. Потому что, как вы сами изволите понимать, для успеха моих специальных занятий совершенно необходимо, по крайней мере в известных случаях, соблюдение строжайшей тайны.

– Хорошо, – сказал Алексей Григорьевич, – я обещаю, что никому не скажу, что от вас узнал то, о чем вы мне расскажете.

IV

Кундик–Разноходский помялся, поежился, потер руки и заговорил, понижая голос и принимая противное для Алексея Григорьевича выражение интимной и доверительной беседы:

– Позвольте мне начать немножко издалека и, так сказать, наметить некоторые ходы и нити. Дело, которое привело меня к вам, началось с того момента, когда вскрыто было завещание покойного Николая Степановича Нерадова, по коему все имения и капиталы покойного перешли к его внуку, вашему единственному сыну, Грише. Конечно, вам небезызвестно, что таким завещанием был крайне обижен дядя сего наследника, сын покойного господина Нерадова, Дмитрий Николаевич. Хотя отношения Дмитрия Николаевича к его отцу всегда оставляли желать лучшего, но все-таки он рассчитывал, что получит хотя половину наследства. А деньги Дмитрию Николаевичу, как вы сами изволите знать, при его долгах и при его широком образе жизни, всегда крайне нужны. Это – первое обстоятельство. В нем, как вы изволите видеть, пока еще нет ничего угрожающего. Затем позвольте вам напомнить, что летом минувшего года вы с Гришей были приглашены в имение достопочтенной супруги Дмитрия Николаевича вместе с Гришей, но почему-то отклонили приглашение. Причиной этого было, насколько мне известно, полученное вами анонимное письмо.

– Уж не вы ли писали это письмо? – резко прервал его Алексей Григорьевич.

Кундик–Разноходский немедленно и с величайшею охотою согласился:

– Я-с. Единственно только из человеколюбия, не имея в виду никаких корыстных мотивов. Вы были благоразумны и вняли предостерегающему голосу.

– Вы ошибаетесь, – возразил Алексей Григорьевич, – и без вашего письма я не имел намерения ни сам туда ехать, ни Гришу посылать.

– Смее спросить, почему? – спросил Кундик–Разноходский. Алексей Григорьевич улыбнулся и сказал:

– Вы очень любопытны.

– Извините, – сказал Кундик–Разноходский, – любопытство есть черта, свойственная моей профессии.

– Довольно неприятная черта, – сказал Алексей Григорьевич.

– Что делать? – с наглою ужимкою отвечал Кундик–Разноходский. – Тем живем. Так как вы изволили разрешить мне говорить с

вами откровенно, то по некоторым признакам я заключил, извините, что вы отклонили это приглашение вследствие того, что система воспитания детей Дмитрия Николаевича вами не одобряется, ибо вашего Гришу вы воспитываете в трогательной близости к природе и внушаете ему идеи демократические, – только потому, а отнюдь не вследствие опасения, что катание на лодке или купание в речке может окончиться катастрофой.

– Какой вздор! – сказал Алексей Григорьевич.

– Из подслушанных разговоров, – возразил Кундик–Разноходский, – одно из щедро оплаченных мною сообщений.

– А не даром ли вы потратили ваши деньги? – насмешливо спросил Алексей Григорьевич.

– Ну, нет-с, извините, – возразил хвастливо Кундик–Разноходский, – имею нюх, натаскан на этих делах. Прислуга вообще любит подслушивать и не всегда умеет хранить секреты. Перехожу к третьему обстоятельству. Дмитрий Николаевич обладает натурой увлекающеюся и наружностью, обольстительною для женщин. Если бы, например, случилось, что достопочтенная, хотя и юная воспитательница сына вашего Гриши, Елена Сергеевна, благосклонно отнеслась к ласковым словам Дмитрия Николаевича, то в этом не было бы ничего удивительного. Может быть, извините, их сближение уже и начинается. И хотя вы и очень доверяете этой молодой особе, приставленной вами к вашему единственному сыну, но если бы вам были известны некоторые обстоятельства, или, так сказать, передачи вещей и денег, то, быть может, в ваше сердце закрались бы некоторые опасения.

– Кажется, – сказал Алексей Григорьевич, – все это ваши фантазии. Елена Сергеевна – девушка скромная и честная, и напрасно вы позволяете себе все эти намеки. И, вообще как я вижу, вы сообщаете мне вещи, мне хорошо известные и совершенно мне обычные, и прибавляете к ним ваши собственные измышления.

– Пожалуйста, подождите, – сказал Кундик–Разноходский. – Что вы скажете, если я затем перейду к таким предсказаниям, которые осуществляются в ближайшем будущем? И даже именно сегодня вечером? Известно ли вам, что Дмитрий Николаевич вчера приехал в город?

– Нет, я этого не знал, – сказал Алексей Григорьевич.

– Дмитрий Николаевич скоро пожалует к вам, – говорил Кундик–Разноходский. – Теперь же Дмитрий Николаевич занимается покупками. Между прочим куплено весьма большое количество очень тонких иглоков. А вторая покупка показывает нежную заботливость Дмитрия Николаевича о его любимом племяннике Грише, – коробка конфет, тех самых, которые Гриша так любит, – тертые каштаны.

Кундик–Разноходский замолчал. Смотрел на Алексея Григорьевича с очень значительным выражением лица.

– Что же из того? – спросил Алексей Григорьевич.

– Не изволите усматривать тесной связи между этими двумя покупками? – спросил Кундик–Разноходский.

– Вижу, что вы намекаете на что-то скверное, – отвечал Алексей Григорьевич, – но на что именно, не понимаю, и при чем тут тонкие иглолки, не вижу.

– Плагиат, – сказал Кундик–Разноходский, хихикая, – заимствование из рассказа знаменитого заграничного писателя. Я как раз на днях этот рассказ читал с большим удовольствием.

– И внушили кому-то повторить его в России? – досадливо спросил Алексей Григорьевич.

Кундик–Разноходский с достоинством возразил:

– Провокацией не занимаюсь.

Но видно было, что он не обиделся. А по его легкому замешательству Алексей Григорьевич заключил, что его случайная догадка близка к истине. В самом деле, было подозрительно, что этот человек так отчетливо знает, чем именно занимался сегодня Дмитрий Николаевич.

Кундик–Разноходский продолжал:

– Преступники, извините, не всегда бывают достаточно изобретательны. Люди благонамеренные не напрасно жалуются на современную беллетристику, которая снабжает преступные элементы адскими замыслами. В заключение расскажу вам еще два факта: сегодня, в одиннадцать часов утра, в кофейне под Пассажем, Дмитрий Николаевич имел свидание с Еленой Сергеевной. Второе, – как вы думаете, чем изволили заниматься Дмитрий Николаевич у себя в номере гостиницы?

– Какое же мне дело? – ответил Алексей Григорьевич.

– Ну, не скажите, – ухмыляясь, возразил Кундик–Разноходский. – Дмитрий Николаевич изволил отламывать кончики иглол. И уже совсем в заключение позволю себе обратить ваше внимание еще вот на что: если коробка с тертыми каштанами будет принесена при вас, то вы, осмотрев ее внимательно, может быть, и сами заметите, что она завернута и завязана не совсем так, как это делают искусные пальчики опытных магазинных барышень.

V

Алексей Григорьевич смотрел на Кундик–Разноходского и чувствовал в себе с каждой минутой возрастающий страх. Ему хотелось думать, что все эти рассказы – вздор, придуманный, чтобы оправдать получение ста рублей. Но преступление имеет свою неотразимую логику и свою мрачную убедительность. Алексей Григорьевич достаточно знал людей, чтобы никому из них не верить, – и потому теперь он готов был верить Кундик–Разноходскому.

Дмитрий Николаевич и его жена всегда были неприятны и даже немного противны Алексею Григорьевичу. Они принадлежали к числу тех жалких людей, вся жизнь которых – внешняя и сводится к почти механическому усвоению и повторению того, что делают другие люди их круга. Но так как среди этих других всегда бывает несколько человек очень богатых, сравнительно с другими, то вся жизнь людей, подобных Дмитрию Нерадову и его жене, наполняется мучительными стараниями делать то, что не по средствам, и томительными поисками средств, которых всегда недостает.

Когда Дмитрий Николаевич женился на дочери разорившегося, но титулованного предводителя дворянства, отец выделил для него значительную часть своего имущества, намереваясь остальное оставить дочери. Широкий образ жизни, неудачные аферы и проигрыши скоро заставили Дмитрия Николаевича запутаться в долгах. Он требовал у отца денег, отец не давал. Дело дошло до открытой ссоры.

Потом Дмитрий Николаевич постарался помириться с отцом и уже надеялся, что отец оставит ему что-нибудь. Эти надежды были обмануты. Дмитрий Николаевич не умел скрыть своего раздражения. А потом вдруг словно переменился. Стал необычайно ласков с Алексеем Григорьевичем и с Гришкой. И даже говорил:

– С богатым наследником нашему брату, разорившемуся помещику, ссориться не приходится.

Эта перемена теперь казалась Алексею Григорьевичу подозрительной.

VI

Кундик-Разноходский, помолчавши, заговорил опять:

– Вот и все, что я имел сообщить вам предварительно. Хотя мои сообщения и не подтверждаются документами, – за исключением имеющей быть полученной Гришей коробки, – но все-таки вы изволили убедиться, что стоимость их значительно превышает полученный мною, выражаясь литературно, аванс. Компенсацию надеюсь получить при передаче вам документов чрезвычайной важности.

– Какие документы? – тихо спросил Алексей Григорьевич упавшим голосом.

И сам, по неверному звуку своего голоса, он различил в себе это, столь частое у него, томительное состояние упадка духа, странного равнодушия, бездеятельного безволия. Он повторил погромче свой вопрос.

Кундик-Разноходский отвечал:

– Краткая, но весьма выразительная переписка, в которой, кроме уже упомянутых в нашем разговоре лиц, участвует лицо, о котором я сегодня не решился вам сказать. Когда прикажете принести эти документы?

– А сколько вы за них хотите получить? – спросил Алексей Григорьевич каким-то странно-равнодушным голосом.

Он сам знал, что спрашивает об этом так только, для формы, но что заплатит столько, сколько спросит этот противный и страшный человек.

– В цене сойдемся, – развязно отвечал Кундик-Разноходский.

– Однако, сколько же? – так же спокойно допрашивал Алексей Григорьевич.

Если бы Кундик-Разноходский был очень тонкий психолог, то он бы понял, что может получить очень много. Но это состояние холодного безволия, в которое слова его повергли Алексея Григорьевича, показалось ему признаком того, что Алексей Григорьевич не очень ему верит, мало взволнован его сообщением и склонен торговаться. И Кундик-Разноходский уже стал досадовать на себя, что за эти сто рублей так многое рассказал. Пожалуй, теперь Алексей Григорьевич подумает, что можно обойтись и без дальнейших сообщений.

Поэтому голос Кундик-Разноходского звучал не совсем уверенно, когда он, наклоняясь в своем кресле и внимательно вглядываясь в лицо Алексея Григорьевича, сказал:

– Тысяча рублей не покажется вам много?

– Да, это очень много, – спокойно сказал Алексей Григорьевич, – но если в ваших документах есть что-нибудь интересное, то я вам заплачу эти деньги.

И Кундик-Разноходский подумал, что опять ошибся и спросил мало. Но в это время Алексей Григорьевич решительно и быстро встал и спросил:

– Когда вы мне принесете ваши документы?

– Если позволите, – сказал Кундик-Разноходский, – завтра в это же время.

Разговор кончился.

Глава четвертая

I

Алексей Григорьевич остался один. Он чувствовал в себе какую-то странную растерянность, томительное замешательство. Прошелся несколько раз по темно-синему сукну, заглушавшему звук его легких лакированных, с невысокими каблуками, ботинок. Подошел к камину, поглядел на себя в зеркало.

Перед ним была высокая, стройная фигура очень молодого человека, которому на вид можно было дать лет тридцать пять, не более. В темных волосах, коротко подстриженных, ни одного седого волоска. На лице, теперь побледневшем от волнения, ни одной морщинки. Глаза ясны и свежи, точно и не было бессонных ночей, скучных веселостей и одиноких, но милых печалей.

Алексей Григорьевич опять сел на свое любимое место, в привычном углу удобного, обтянутого мягкой темно-синей кожей, дивана, машинально взял в руки ту же книгу, но не читал. Задумался о привычном.

Как всегда в значительные минуты жизни вспомнилась жена, милая Шурочка.

Потом его мысль пробежала длинный ряд этих лет после ее смерти, и совокупность их представлялась теперь Алексею Григорьевичу каким-то обширным, холодным, пустынным покоем, в котором, подобный ряду бледных призраков, проходит скучный ряд ненужных событий, и у четырех углов которого видны четыре лика, четыре великие духа, господствующие над его жизнью. Черты их сначала были неопределенны и туманны, а теперь все яснее с каждым днем понимал Алексей Григорьевич их взаимную связь и характер их власти над жизнью.

II

Первый лик – призрак отошедшей от этой жизни и потому оставшейся навеки живою, неизменно властительною, – лик его жены. Подобная первой жене первого человека, полупочной, лунной Лилиг, она всегда предстала душе его, никогда не докучая своим внешним присутствием в этом предметном мире. Переставшая быть предметом среди предметов, уже ничего для себя не желающая ни в чем, даже строгой совести не посылающая нежных укоров, – вот в этом самом своем отречении от жизни хранила она такую власть жизнью, уже ей самой не нужную, такую дивную власть, преодолеть которую не может никакая земная сила.

В первые годы Алексею Григорьевичу казалось, что это обаяние покойной Шурочки – нечто личное, только ему свойственное, принадлежащее исключительной силе его любви. Он думал, что, может быть, никто на земле, переживший любимого, не любит почившего так. Он знал, что есть люди, которые умирают, не перенося смерти любимого человека. И в первые годы как-то странно удивляло его, отчего после Шурочкиной смерти он не застрелился.

Но шли годы, и любовь его к покойной Шурочке не угасла, и если не возростала, то потому только, что она была любовью истинною и потому безмерною, такую любовь, которая не может знать

ни умалений, ни возрастаний. Это была любовь, неизменно господствующая над жизнью и над смертью.

Никаких внешних знаков не требовала эта любовь, – но Алексей Григорьевич хранил все, что осталось от Шурочки, и все порядки, ею в доме заведенные, оставались без всякой перемены. Даже то, что прежде не правилось Алексею Григорьевичу и против чего он спорил, теперь делалось так, как она хотела. Даже цвет обивки на мебели, портьер и обои никогда не менялся. Если же надо было переменить прислугу, то выбиралась такая, которая была как можно более похожа на бывшую при Шурочке.

В последние годы стал думать Алексей Григорьевич, что отошедшие от жизни владychествуют не только в его доме. Вся жизнь всего человечества строится так, как ее когда-то придумали строить те, кого уже нет. И что хорошо, и что худо, – и что прекрасно, и что безобразно, – все это придумали они, которых увенчала смерть и торжественный сонм которых царствует над живыми. Они придумали для нас, как нам жить, как нам думать, и самый мир мы видим только их глазами. С тех путей, которые они для нас начертали, нам не сойти вовеки, как бы ни были произвольны и случайны эти пути.

III

Во втором лике было что-то странно соблазнительное, нечистое и злое. Каким-то вечным соблазном дышало страстное лицо, чувственные улыбались губы, призывные глаза, казалось, звали к чему-то радостному и тайному.

Образ женщины, еще неопределенный и смутный, волновал и требовал чего-то. С этим ликом соединялись воспоминания о ночах, проведенных скучно и томно в тех местах, где люди веселятся, где женщины любезны и нарядны, где светит много огней и льется вино.

Случайных встреч было много в эти годы, – увлекала темная страстность. А ныне, над холодным равнодушием, стал подыматься определенный образ одной женщины, которую Алексей Григорьевич недавно встретил и которую, как ему казалось, он начинал любить.

IV

Несколько месяцев тому назад он встретился с нею на вечере в одном знакомом доме, где были танцы, ужин и картежная игра и где сидели до шести часов утра.

Хозяйка дома любила привлекать в свой салон художников, артистов и писателей. Следуя моде того года, одна из ее дочерей, худенькая, стройная девица, разучила несколько танцев в стиле Айседоры Дункан и теперь показывала эти танцы гостям.

Барышня танцевала не очень искусно, но вежливые гости, конечно, шумно рукоплескали ей. Дамы и барышни окружили ее, благодарили очень нежно и заставили несколько раз повторить, пока барышня не устала совсем.

Молодая дама, сидевшая рядом с Алексеем Григорьевичем, тихо сказала ему:

– Не правда ли, как она мила!

Алексей Григорьевич видел эту даму сегодня в первый раз. Что-то в ней привлекало его, почему, еще он и сам не знал. Может быть, это было выражение жадной радости жизни, спокойной веселости, разлитой во всем ее существо. Как противоположность тихим внушениям покойной Шурочки, она была для Алексея Григорьевича полна такого соблазна, какого еще он не испытывал, потому, может быть, что еще ни в ком доныне он не встречал такой полноты радостного жизнеощущения.

Может быть, она была немного более полна, чем бы следовало, но это скрадывалось изысканною неторопливостью ее движений и рассчитанною простотою ее туалета.

Напрягая память, чтобы вспомнить имя своей собеседницы, Алексей Григорьевич сказал ей с привычною своею откровенностью:

– Она очень мила, но танцы могли бы быть исполнены лучше. Впрочем, приятно и то, что эта проповедь свободной красоты находит отклик и здесь.

И, вспомнив, наконец, имя этой дамы, он сказал:

– Вам, Татьяна Павловна, не кажется ли, что многие из присутствующих здесь выиграли бы в таком костюме?

– Нет, – сказала Татьяна Павловна, – я этого не нахожу. Нет, совсем напротив: то, что мы обыкновенно носим, так хорошо скрывает все многочисленные погрешности нашего тела. Чтобы смело открыть свое тело, надобно, чтобы это тело было прекрасно, как у древних. А у людей нашего времени тела очень часто безобразные и слабые.

Алексею Григорьевичу было известно это рассуждение: он слышал его часто, и оно всегда его досадовало. И теперь ему особенно досадно было слышать его от этой женщины, тело которой было, по-видимому, так красиво.

Он сказал:

– Так думают многие, но, как почти всегда, большинство бывает неправо.

– А кто же прав? – улыбаясь, спросила Татьяна Павловна.

– Прав я, – с такою же улыбкою отвечал Алексей Григорьевич, – а я думаю, что и у наших современников тела прекраснее лиц, и даже менее поддаются влиянию старости, болезней и слабости.

Татьяна Павловна, улыбаясь, ответила:

– Все ж таки мне бы не хотелось созерцать тела этих почтенных особ.

Она легким движением головы показала тот уголок гостиной, где в креслах мирно дремали два толстяка.

– Правда, – продолжала она, – прекрасное тело прекраснее всего, но непрекрасное надо скрывать, чтобы не оскорблять хорошего вкуса.

– Прекрасных лиц гораздо меньше, чем стройных тел, – возразил Алексей Григорьевич, – и, если бы мы хотели быть последовательными и в самом деле руководились бы эстетическими соображениями, то нам пришлось бы носить маски.

Татьяна Павловна тихо смеялась, прикрывая рот полуразвернутым белым кружевным веером. Она сказала:

– Это было бы забавно. И интересно. Постоянный маскарад. Постоянно раздражаемое любопытство.

– Этот маскарад скоро утомил бы, – сказал Алексей Григорьевич, – как утомляет всякая неискренность. Так и нас уже утомила неискренность и условность нашей жизни. Поэтому тем из нас, кто более чуток, уже давно хочется жизнь изменить. Скучно жить

так, как мы живем.

– Маски могли бы носить не все, – возразила Татьяна Павловна. – И бедные дурнушки были бы в выигрыше.

– Пожалуй, – с улыбкою отвечал Алексей Григорьевич. – А так как вокруг нас много безобразных предметов, то уж тогда пришлось бы на них надевать покровы и маски, чехлы и футляры. Представьте вид такого города.

– Какой ужас! – со смехом воскликнула Татьяна Павловна. – Дома, затянутые серым холстом или кисеёю, мебель в коленкорových чехлах, столбы электрических фонарей в деревянных футлярах. Все закрыто, все обманчиво. Нет, это было бы невесело.

– Но зато последовательно, – возразил Алексей Григорьевич.

Татьяна Павловна слегка склонила голову, помолчала немного, и, медленно раскрывая и закрывая опущенную на колени нежною обнаженною рукою свой легкий, белый на бледно-розовом платье вер, сказала задумчиво:

– Это – внешность, форма. Что носить и во что одеваться, – это – только вопрос моды. Но мы и в самом деле ведем очень искусственный образ жизни. Мы делаем все, чтобы спорить с природою и со здравым смыслом. И потому мы стали слабыми и неискренними. Правды не говорим, и сами слушать ее не хотим. А если бы стали говорить правду, – вот странные бы произошли события!

Кто-то подошел, разговор прервался.

V

За ужином Алексею Григорьевичу пришлось сидеть между двумя мало знакомыми ему барышнями. Хозяйка думала, что его надо посадить с непристроенными девицами, потому что все в том обществе, где вращался Алексей Григорьевич, думали, что ему следует жениться. Матери смотрели на него, как на хорошего жениха, а девицам нравилась его спокойная и внушительная наружность, его любезные манеры, его экипажи и лошади.

Татьяна Павловна сидела далеко от Алексея Григорьевича, и ему стало скучно. Он с некоторым усилием скрывал это ощущение скуки, и без обычного оживления поддерживал совсем не интересный для него разговор. К счастью, обе барышни были достаточно болтливы.

В седьмом часу утра Алексей Григорьевич вышел на улицу. Была поздняя осень, моросил мелкий дождь, но все-таки Алексей Григорьевич захотел пройти пешком и отпустил всю ночь прождавший его экипаж.

VI

Алексей Григорьевич шел долго по пустым и тихим улицам. Уже начиналось раннее уличное движение, и кто-то шел на работу, и где-то далеко гудел гудок, и где-то близко слышался медленный звон раннего церковного колокола.

В мелких выбоинах мокрого тротуара застаивались маленькие осенние лужицы. Воздух был сер и сыр, и небо, которого так мало было видно над простором пасмурной улицы, было затянуто скучною, серою пеленою. За легкою мокрою чугуною решеткою и за влажными травами и кустиками цветника серою стройною громадою подымались колонны и купол собора.

Алексей Григорьевич свернул с тротуара, поднялся по широким ступеням лестницы, нашел скрытую среди колонн в деревянном барабане дверь, такую непропорционально маленькую сравнительно с громадой здания, — настоящий вход в храм держался всегда закрытым, кроме важных случаев, — и вошел в церковь, расстегивая свое отсыревшее под моросившим дождем пальто.

Громадное пространство собора казалось совсем пустым. Только кое-где у высоких темных колонн виднелось несколько старушек, пришедших к этой ранней службе. В правом приделе священник торопливо и негромко совершал литургию. На клиросе стоял, читая быстро и невнятно, один дьячок. Несколько восковых свечек и лампад слабо мерцали перед местными иконами и над средними дверями алтаря. Равнодушные, сонные сторожа мели пол, и иногда гулко слышался шум их озабоченного разговора.

Алексей Григорьевич давно уже не ходил в церковь и давно уже не молился дома и не испытывал никаких молитвенных волнений. И теперь он сам не знал, зачем он пришел сюда, в этот величественный храм древнего и прекрасного культа, в это здание, где все было ему чуждо и непонятно.

Правда, было что-то умирительное в тихом голосе священника и в смиренной молитве старух, — что-то будившее старые воспоминания, отголоски детских лет. Но было досадно, зачем шуршат сухие метлы в руках сторожей, зачем за прилавком против алтаря разложены книжки и сидит готовая что-то продать просвирия с лицом скупающей попадья.

Алексю Григорьевичу припомнилась благоговейная тишина парижских католических храмов, ряды соломенных низеньких стульев, робкий шепот исповедален. Он подумал, что там во время мессы пол мести не станут.

Он прошел в самый дальний от входа угол и там стоял в каком-то странном недоумении. Сначала мелочи развлекали его, — бормотание молящегося на коленях седого приказчика из соседнего рынка, — легкий топоток по плитам каблучков девочки-подростка, пришедшей вместе со своею бабушкой, — уютное и забавное ощущение испаряющейся быстро из его одежды уличной влаги. Потом внимание его углубилось в свое, тайное, заветное.

Алексю Григорьевичу казалось, что та неведомая сила, которая заставила его идти по влажной от дождя улице, которая привела его сюда, в это место молитвы, чего-то хочет от него или что-то хочет открыть ему. Он прислонился к стене, закрыл глаза и погрузился в задумчивость, которая вскоре перешла в легкую дремоту.

Лицо его Шурочки стояло перед ним. Ее грустная улыбка опять растрогала и взволновала его сердце. Губы ее легко двигались, слышались ее слова. Он не различал ясно слов, но знал, что это слова о любви.

Потом другое лицо встало перед ним, — лицо совсем иной красоты, неотразимо милое. Но тогда как первое лицо, — лицо его жены, было близким и единственно дорогим на свете, это новое лицо, веселый облик вновь явившейся ему женщины, казалось далеким и чужим и все-таки неодолимо влекущим к чему-то тревожному. Улыбка ее была веселая, и глаза искрились смехом, — это было лицо Татьяны Павловны.

VII

Обедня кончилась. Послышался легкий шум шагов. Алексей Григорьевич очнулся от своей дремы и вслед за другими вышел из собора.

Что же это было с ним там, в полусумраке тихого храма? Зачем эти два лица предстали ему одно после другого? И о чем говорила ему Шурочка? И чему смеялась та, другая? Или это только была дремотная греза, коварный обман лукавого духа?

Алексей Григорьевич вдруг почувствовал, что он устал, что ему хочется спать. Захотелось поскорее вернуться домой. Он взял первого попавшегося извозчика.

Дома, когда он лег в постель и уже засыпал, перед ним опять встало весело смеющееся лицо Татьяны Павловны. Это видение было ярко, почти телесно, — не столько воспоминание, сколько галлюцинация. Оно смеялось все веселее. Глаза его засверкали зеленым блеском, их зрачки сузились, — и вдруг все это лицо стало странно изменяться. Лицо прекрасного зверя, веселой и хищной кошки явилось на одно мгновение, раскрылся жадный зев, и вдруг нахлынула тьма, в которой ярко сверкнули узкие, зеленые зрачки и погасли.

Алексей Григорьевич заснул.

VIII

На другой день Алексей Григорьевич сделал визит Татьяне Павловне. Потом они стали часто встречаться, — на вечерах и на обедах у знакомых, в театрах, в концертах, в кабачках, у нее.

Они сближались. Алексею Григорьевичу казалось, что между ним и Татьяной Павловной есть много общего, — одинаковые вкусы, взгляды, требования от жизни. Если же в чем они не сходились, Татьяна Павловна довольно быстро усваивала его мнение. Иногда даже слишком быстро, и в первое время Алексей Григорьевич не очень доверял искренности этих поспешных обращений. Потом же, когда они сошлись ближе, эта недоверчивость исчезла.

И стало забываться понемногу беспокоившее в первое время странное явление в полусне, это превращение человеческого лица в лик зверя.

IX

Лик зверя, угнездившегося в городах, был третьим образом, господствующим в пустынной и просторной хранине его жизни. «Из-под таинственной, холодной полумаски», носимой светом, все чаще сквозил этот отвратительный лик. В разговорах, в поступках, в намерениях людей все чаще сказывалось его смрадное влияние.

Когда человек, похожий на ком жира, в дорогом ресторане, за дорогим ужином, за серебряною вазою со льдом, откуда виднелось горлышко бутылки дорогого вина, говорил о тех, кто уже безоружны, кто уже ввергнуты в темнину, кто уже осуждены на казнь:

— Так им и надо!

Алексею Григорьевичу казалось, что человека здесь нет, что человеческое сердце здесь умерло, и в оболочке человека диким ревом ревет дикий зверь.

Когда Алексей Григорьевич слышал слова: погром, национальная политика, черта оседлости, ставка на сильных, ему казалось, что он слышит все тот же, в человеческие формы облеченный, нечленораздельный, дикий вопль.

Ощущение близости зверя в последнее время никогда не покидало Алексея Григорьевича. Если у Татьяны Павловны он его не чувствовал, то это даже иногда удивляло его. Но ему иногда становилось страшно думать о том, каким обществом она окружена.

Когда она слушала с любезною улыбкою пошлую болтовню какого-нибудь посетителя ее гостиной, Алексею Григорьевичу казалось, что зрачки ее глаз суживаются и загораются зеленым блеском.

X

Светел и радостен был четвертый лик, — образ ребенка. В этом образе была непосредственная радость жизни, неложное оправдание всему, что было родник великих надежд и неистощенных возможностей.

Алексею Григорьевичу представлялось стремительное, облеченное солнцем, обнаженное тело его Гриши. И он радовался, что Гриша растет не так, как он сам рос и что в нем восстановлен тот природный человек, о котором мечтал ряд поколений, уставших от нашей европейской, точнее сказать, парижской цивилизации.

Дружба с вечными стихиями, постоянное единение детского тела с милою матерью, сырою землею, с вечно подвижными струями вод, с легким воздухом земной жизни, с неистощимым пылом яркого солнца, — это радостное единение, в которое он поставил Гришу, было источником такой бодрой и здоровой жизни, что душа Алексея Григорьевича каждый раз при созерцании этого образа наполнялась радостью, похожую на первоначальную детскую веселость.

Вначале, когда еще Гриша был мал, Алексей Григорьевич был очень неуверен в себе и в своих мыслях об его воспитании. Он читал много книг, много беседовал с людьми, занимающимися теорией или практикой воспитания, — и все эти чтения и разговоры только усиливали в нем чувство неуверенности и беспокойства. Чем более он узнавал, что такое человек, как предмет воспитания, тем более казалось ему, что в этом деле никто не знает наперед, что именно надо делать.

Иногда даже казалось Алексею Григорьевичу, что следует бросить все книги, пренебречь указаниями всех педагогов и поступать так, как поступали до него неисчислимые ряды поколений, воспитывавшие своих детей, или с мудрою осторожностью горожанина, удаляющего опасности от нежного детства, или с суровою, по не менее мудрою простотою деревенского жителя, бросающего нежное детство в широкий мир, благосклонный для сильных и счастливых и беспощадно истребляющий все слабое и неспособное радоваться жизни.

Но время шло. Гриша вырастал, и все увереннее и радостнее становился Алексей Григорьевич, потому что он видел, что избранный им путь прав, — путь, на котором сочетаются мудрая забота и суровая простота, путь, на котором постоянно воздвигаемые трудности рождают гордое чувство победы.

I

«Что же, однако, делать?» – подумал Алексей Григорьевич, припомнив вдруг весь сегодняшний разговор с Кундик–Разноходским.

Елена Сергеевна, Гришина гувернантка, жила у него недавно, месяца четыре. Она Алексею Григорьевичу нравилась, потому что аккуратно и старательно исполняла все то, что говорил ей Алексей Григорьевич. Ему было приятно, что она, по-видимому, совершенно искренне разделяет его взгляды на воспитание, любит детей и не скучает говорить и заниматься с Гришей. Может быть, Алексею Григорьевичу и потому особенно была приятна эта скромная и тихая девушка, что она была рекомендована ему Татьяной Павловной. Приятна она была и для Гриши.

Теперь Алексей Григорьевич припомнил, что за последний месяц он уже не так был доволен Еленой Сергеевной. Она стала очень рассеянной и беспокойной. Ее глаза иногда как-то странно избегали его взоров, и в звуке ее голоса порою звучало смущение. Алексей Григорьевич думал, что это происходит от того, что молодая девушка влюблена, и влюблена не очень счастливо.

Несколько недель тому назад Гришин дядя, Дмитрий Николаевич, приезжал в столицу из того города, где он был городским головою. Там уже стали осторожно поговаривать, что он запутался в делах, давно перестал различать свой карман от городской кассы и что затеянные им городские постройки и сами по себе для города убыточны, да и ведутся нечисто. Дмитрий Николаевич приезжал сюда с какими-то городскими ходатайствами. Он несколько раз заглядывал к Алексею Григорьевичу, был очень ласков с Гришей и чрезвычайно любезен с молодой гувернанткой.

Однажды, после ухода Дмитрия Николаевича, Алексей Григорьевич спросил Елену Сергеевну:

– Как вы находите этого моего родственника?

– Он такой любезный, – отвечала Елена Сергеевна, – и разговорчивый.

И глаза ее радостно блестели, и щеки нежно зарумянились.

– А вы с ним раньше не встречались? – почему-то спросил Алексей Григорьевич.

Его очень удивило, что Елена Сергеевна при этом вопросе смутилась и покраснела. Объяснил себе это тем, что она равнодушна к Дмитрию Николаевичу. Пожалел бедную девушку, влюбившуюся в женатого и легкомысленного человека.

– Да, – сказала Елена Сергеевна, – я раза два встречалась с Дмитрием Николаевичем у Татьяны Павловны.

И это опять удивило Алексея Григорьевича. Он не знал, что Татьяна Павловна знакома с его родственником. Правда, он сейчас же сообразил, что в этом нет ничего удивительного и что если Татьяна Павловна об этом не говорила, то это было только случайно: просто об этом не заходило разговора.

На другой день, возвращаясь домой с поздней вечерней прогулки, Алексей Григорьевич увидел, что окна гостиной в его квартире освещены. Значит, кто-то пришел и ждет его.

– Кто у меня? – спросил он швейцара.

– Дмитрий Николаевич приехали. Уже с полчаса, как изволили подняться, – почтительно отвечал швейцар.

Алексей Григорьевич вошел в тесную, блестящую зеркалами, клетку лифта. Он чувствовал в себе опять ту же досаду, которая всегда охватывала его перед встречами с Дмитрием Николаевичем. Он открыл дверь квартиры своим ключом и тихо вошел в переднюю. Ему хотелось сначала пройти к себе в кабинет, чтобы не сразу встретиться со своим родственником.

Из гостиной слышались веселые голоса и смех. Алексею Григорьевичу показалось даже, что он слышит звук поцелуя. Ему стало досадно. Он подумал, что надо будет поговорить с Еленой Сергеевной. Но в гостиную он все же не вошел.

Проходя по темному коридору, Алексей Григорьевич заглянул в Гришину спальню. Там было темно, слышалось ровное дыхание спящего мальчика, и на невысокой железной кровати из-под отброшенного легкого покрывала смутно белелось нагое Гришино тело.

Алексей Григорьевич постоял на пороге.

«Только тут свое, подумал он, – а там чужие. И даже любимая женщина здесь, на этом пороге, останется чужой и не войдет в радость и в тайну этой кровной близости.»

Было в душе его странное чувство отрешенности от всего мира. Казалось, что никто из людей не нужен, что лик женщины обманчив, что он близок лику зверя и что только здесь, где тихо дышит спящий чистый ребенок, в жилах которого струится Шурочкина кровь, кровь отшедшей от мира, но вечно живой, только здесь, в этом интимном святилище, таится неложное откровение и необманчивая почивает надежда.

Алексей Григорьевич подошел к Гришиной кровати и провел рукою по Гришину смуглому телу. Под слегка похолодавшей в прохладном воздухе спальни кожей ощущалась горячая плоть и знойная кровь. Алексей Григорьевич прикрыл Гришу покрывалом.

Гриша выгнулся, приоткрыл глаза, шепнул сонно:

– Папочка.

И заснул опять.

Алексей Григорьевич вошел в свой кабинет, не зажигая ламп. Свет электрического фонаря на улице бросал в окна с еще раздвинутыми синими занавесями полосы, похожие на блеск полной луны, и потому в комнате было почти светло, мечтательно и приятно.

Алексей Григорьевич сел в угол своего дивана. Не хотелось ему выходить, и, может быть, он так бы и просидел здесь долго. Но вдруг голоса, смех и шум в гостиной вывели его из того состояния приятной задумчивости и мечтательности, в которое он погрузился. Он вышел в гостиную.

Алексею Григорьевичу показалось, что его неожиданное появление смутило и Дмитрия Николаевича и Елену Сергеевну. Они как-то странно и поспешно отодвинулись один от другого в разные углы розовато-зеленого диванчика, на котором они сидели, весело и громко говоря о чем-то. Лицо Елены Сергеевны пылало, глаза ее слишком сильно блестели, и над ее заалевшимся ухом билась прядь светло-русых волос.

Дмитрий Николаевич с находчивостью светского человека скорее Елены Сергеевны вышел из своего минутного замешательства. Он встал с дивана и быстро пошел навстречу Алексею Григорьевичу, округляющимся животом вперед, широко раскрывая руки и радостно улыбаясь. Его длинные усы были начернены и закручены узкими стрелками, слегка припухлые щеки были румяны, в глазах был маслянистый блеск, и все его приемы были фатоваты и слишком провинциальны. На нем была серая визитка. В слишком пестром галстуке блестел бриллиант булавки. Пахло от него вином, шампунем и духами.

– А я тебя заждался, – весело заговорил Дмитрий Николаевич, – и уже хотел было уходить. Да вот, благодаря Елене Сергеевне, не покинул. Поболтали с нею, позлословили.

– Ну, как твои дела? – с чувством неловкости спрашивал Алексей Григорьевич. – Рассказывай, где был, что видел.

– Дела – табак, – с веселым хохотом отвечал Дмитрий Николаевич. – Кажется, все мои старания исполнить пожелания моих достопочтенных сограждан успехом не увенчаются, и придется мне возвращаться восвояси с носом. Да и сказать по правде, наши отцы города затеяли ужасную ерунду, и вполне понятно, что из этого ничего не выйдет.

Алексей Григорьевич с удивлением спросил:

– Да разве это не твоя инициатива?

Дмитрий Николаевич хохотал, и было в его смехе что-то наглое и циничное.

– Между нами говоря, – сказал он, – все они – ужасные моветоны и дурачье непроходимое. До пяти сосчитать не сумеют. Если бы не я и не мои постройки, город до сих пор тонул бы в грязи и во мраке. Жаль только, что на хорошие дела нужны хорошие деньги, а доставать хорошие деньги трудненько, даже и при моих финансовых способностях и при моей изворотливости.

– Да ведь ваш город богат, – сказал Алексей Григорьевич.

Дмитрий Николаевич опять захохотал.

– До меня был богат, – развязно сказал он, – ну, а что касается меня, так я праздно лежащих богатств не выношу и стараюсь употребить их более или менее с толком. Не терплю я этой азиатчины, этих бухарских халатов. Я – европеец. Мне нужен широкий размах, я люблю создавать, строить и тратить. В кубышку откладывать – не мое дело. Капиталов в свете много, французский рантьер даст денег, сколько хочешь, и процент возьмет умеренный, – так отчего же не должать!

Алексей Григорьевич спросил:

– А правду говорят, что ваше городское хозяйство очень запуталось в последнее время?

– Совершенную правду, – с тем же циничным хохотом отвечал Дмитрий Николаевич.

Этот постоянный смех нагло откровенного хищника все более раздражал Алексея Григорьевича. Он поспешил перевести разговор на другие темы.

Когда Дмитрий Николаевич уходил, показалось Алексею Григорьевичу, что он и Елена Сергеевна обменялись нежными взглядами.

С тех пор и стал замечать в ней Алексей Григорьевич эту неприятную перемену.

IV

Теперь, после разговора с Кундик-Разноходским, все это, казавшееся ему прежде вполне естественным, хотя и неприятным, теперь стало тревожить его.

А всего более неприятно было ему то, что в этом странном сплетении людей и отношений могла быть замешана каким-то непонятным образом и Татьяна Павловна.

Конечно, если верно все то, что говорил Кундик-Разноходский, то Татьяна Павловна окажется только слепым орудием темных замыслов Дмитрия Николаевича. Конечно, никакого участия в его планах она не могла принимать. Но все-таки тяжело думать, что людская злоба приблизилась и к этому светлому приюту, и что темное дыхание зверя проносится и над этой милой головой, что его гнойная пена может брызнуть и на эти очаровательно-нежные руки.

Глава шестая

I

Алексей Григорьевич позвонил и вошедшую на звонок Наташу спросил:

– Гриша дома?

– Дома, – отвечала Наташа, – сейчас Елена Сергеевна собираются идти с ним гулять.

– Попросите ко мне Елену Сергеевну, – сказал Алексей Григорьевич.

Наташа ушла.

Алексей Григорьевич не знал, что он может сказать Елене Сергеевне, о чем он может ее спросить. Но он чувствовал, что надо что-то сделать, – и смутная тревога в его душе все возрастала. Он думал, что ход разговора сам приведет его к каким-нибудь заключениям, что лицо и глаза молодой девушки скажут больше ее слов.

Слегка запыхавшаяся и покрасневшая, словно от возни, вошла Елена Сергеевна. Алексей Григорьевич смотрел на нее внимательно и пытливо. Ему показалось, что его пристальный взгляд смущает Елену Сергеевну. Она быстро сделала несколько шагов по кабинету и сказала:

– Вы хотели меня видеть, Алексей Григорьевич? А я только что собиралась идти с Гришей на прогулку.

– Извините, я вас долго не задержу, – отвечал Алексей Григорьевич. – Пожалуйста, присядьте, мне надо сказать вам, –

спросить вас кое о чем.

– Пожалуйста, я слушаю, – сказала Елена Сергеевна. – Я пока заняла Гришу. Он у себя.

Глядя на Алексея Григорьевича с неискренним выражением человека, который боится, что ему могут задать неприятный вопрос, Елена Сергеевна села в то же кресло, где перед этим сидел Кундик–Разноходский. И почему-то от этого сближения Алексей Григорьевич вдруг почувствовал какую-то жалость к этой девушке.

Может быть, она полюбила этого неискренного, неразборчивого в средствах человека. Может быть, для него готова она даже и на преступление. Может быть, она в его руках является только слепым орудием.

Или солгал все это Кундик–Разноходский? Но мало было надежды на то, что слова его – ложь.

II

Алексей Григорьевич заговорил тихо и осторожно:

– Извините меня, Елена Сергеевна, но я должен сделать вам щекотливый вопрос. И делаю я его только потому, что для меня, в интересах Гриши, совершенно необходимо разъяснить некоторые обстоятельства. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели Дмитрия Николаевича?

Елена Сергеевна, слегка краснея, и очевидно, волнуясь, сказала:

– Не помню. Право, не помню. Когда Дмитрий Николаевич приезжал к вам.

Алексей Григорьевич спросил:

– Вы знаете, что Дмитрий Николаевич со вчерашнего дня здесь, в городе?

Елена Сергеевна промолчала, пожала плечами, – может быть, волнение мешало ей говорить.

Алексей Григорьевич продолжал спрашивать:

– Сегодня утром вы его видели?

– Право, я не знаю, почему вы об этом спрашиваете, – нерешительно сказала Елена Сергеевна. – Мои встречи не касаются моей службы. Это – мое частное дело. И, наконец, я имею право иметь свои секреты. Мне даже удивительно, что вы меня об этом спрашиваете.

Все это было странно, и никогда раньше Елена Сергеевна не говорила так, этим неприятным и не идущим ей тоном уличаемой в плутнях камеристки. Но ему нравилось то, что ей трудно солгать и что потому она не отрицает прямо сегодняшней встречи.

– Я бы не спрашивал вас, – сказал Алексей Григорьевич, – если бы дело не касалось моего сына.

– Вы ставите мне в упрек мои поступки? – спросила Елена Сергеевна. – Но вы можете сказать, что я дурно влияю на Гришу.

– Нет, – сказал Алексей Григорьевич, – я не об этом хочу с вами говорить. Хотя мог бы и об этом. И даже, может быть, должен был бы поговорить с вами и об этом. Дмитрий Николаевич женат и имеет детей: но он увлекается женщинами и неспособен к длительным привязанностям. Мне давно следовало бы решительно предостеречь вас, как живущую в моем доме молодую девушку, от возможного сближения с этим человеком. Это было бы в ваших интересах, и в интересах того дела, которое вам здесь поручено.

Елена Сергеевна покраснела и молчала. Алексей Григорьевич

продолжал:

– Но сейчас меня интересует другое. Я говорю с вами теперь только о Грише. Я боюсь, что вы разговаривали сегодня с Дмитрием Николаевичем между прочим и о Грише.

– Что ж такое! – в замешательстве, с притворным недоумением отвечала Елена Сергеевна. – Разве нельзя разговаривать о Грише? Ведь ему от этого худо не станет!

– Может быть, и худо станет, – возразил Алексей Григорьевич. – Я бы очень хотел знать, что именно вы сегодня говорили с Дмитрием Николаевичем о Грише.

– Да ничего особенного, – отвечала Елена Сергеевна, – я даже не помню. Ну, о занятиях, о здоровье, – не помню подробно.

Алексей Григорьевич молча смотрел на Елену Сергеевну. По ее возрастающему замешательству он видел, что она скрывает правду. И он решил сделать рискованный вопрос.

III

Твердым и решительным голосом, глядя прямо в глаза растерявшейся девушки, Алексей Григорьевич сказал:

– Елена Сергеевна, что передал вам сегодня Дмитрий Николаевич? Отдайте мне это.

Елена Сергеевна спросила глухим шепотом.

– Откуда вы знаете?

Лицо ее странно и жалко побледнело, и глаза ее не могли оторваться от настойчивого взора черных глаз Алексея Григорьевича.

И уже не было в душе Алексея Григорьевича ни страха, ни жалости, ни сомнений. Даже мысли определенной никакой не было. Вся его жизнь, вся его воля сосредоточились в его глазах, – и они настойчиво требовали ответа.

Елена Сергеевна все более бледнела. Она встала, словно хотелось ей уйти дальше от этих настойчивых глаз, – схватилась рукою за спинку кресла, и рука ее вздрагивала.

– Отдайте мне то, что вы получили от Дмитрия Николаевича, – опять сказал Алексей Григорьевич. – Это у вас? Принесите.

Елена Сергеевна низко опустила голову и медленно вышла из кабинета.

IV

Когда она ушла, Алексей Григорьевич почувствовал странную усталость. Он бессильно опустился в кресло и сидел, ничего не думая, как будто бы забыв о том, что сейчас было, и о том, чего он ждет.

Лик зверя встал перед ним, и гнусная пасть звериная дымилась.

Потом вдруг Алексея Григорьевича поразила мысль, что Елена Сергеевна, опомнившись от первого потрясения и выйдя из-под власти его настойчивой воли, выбросит или сожжет то, что она с собой принесла. И тогда он не узнает, что это было, и ему придется еще долгие часы томиться страшною неизвестностью.

Он порывисто встал и быстро вышел из кабинета. Шаги его отчетливо и гулко раздавались на холодных желтых паркетах залы. Но через столовую он постарался пройти бесшумно.

Войдя в длинный полутемный коридор, Алексей Григорьевич

увидел в полуоткрытую дверь буфетной, что Елена Сергеевна стоит у мраморной раковины, вделанной под краном водопровода в окрашенную синюю масляную краскою стену. Елена Сергеевна услышала за своею спиною шаги, и поза ее выдавала растерянность и желание что-то скрыть.

Алексей Григорьевич быстро подошел к ней. Она повернулась боком к стене и держалась правою мокрою рукою за край раковины. Узкий кончик ее черного ботинка беспокойно двигался, — и Алексей Григорьевич увидел на полу близ нее раскрытую пустую коробку.

Увидев, что Алексей Григорьевич заметил эту коробку, бледная, готовая упасть без чувств девушка быстро нагнулась к раковине, левою рукою повернула кран, чтобы бежавшая из него вода текла сильнее, и правою рукою торопливо по дну раковины, словно стараясь протолкнуть что-то в отверстие нижней решетки.

Алексей Григорьевич взял ее за руки, отстранил от раковины, потом закрыл кран и нагнулся над раковиной. Вода быстро сбегала, унося с собою остатки какого-то белого порошка, который в воде, очевидно, не растворялся. Когда последние капли воды сбежали, Алексей Григорьевич увидел, что на решетке осталось несколько мелких белых крупинок. Он осторожно собрал их двумя пальцами, бережно положил их на ладонь левой руки и подошел к выходившему на тусклый колодец двора окну. Крупины были прозрачно-белые и наощупь твердые и колючие.

Алексей Григорьевич понял, что это было толченое мелко стекло.

V

Он повернулся к Елене Сергеевне. Она стояла близ него и с тупым испугом глядела на его руки.

— Зачем вам понадобилось это стекло? — спокойно спросил он Елену Сергеевну.

Она молчала.

— Оно было вот в этой коробке? — спросил ее Алексей Григорьевич, указывая глазами на валявшуюся на полу коробку.

— Да, — тихо сказала Елена Сергеевна.

Она нагнулась, подняла коробку, подала ее Алексею Григорьевичу. Все это она проделала как-то механически, почти бессознательно. Это была небольшая картонная коробочка овальной формы, вроде тех, в которых продаются маленькие конфетки для театра.

— Зачем вы это взяли? — спросил Алексей Григорьевич.

Елена Сергеевна заплакала. Она закрыла лицо руками и тихо говорила:

— Не знаю. Он говорил, а я слушала, и все готова была сделать. Он обошел меня ласковыми словами. Слушалась, как дура, как раба. Он сказал: «Возьми, подсыпай понемногу». Я и взяла. Даже не думала ничего. Точно во сне была. Только теперь поняла, что хотела сделать, на что пошла.

— Раньше он вам передавал что-нибудь для Гриши? — спросил Алексей Григорьевич.

— Нет, — сказала Елена Сергеевна, тихо плача, — это первый раз. Раньше только уговаривал. Говорил, два с половиною миллиона. Говорил, — золотой дождь. Говорил, — жена надоела, разведусь. Да этому-то я не верила. Хоть так, — большие деньги. У меня, вы знаете, братья маленькие, учить надо. Ужасно. Сама не понимаю, что

со мною было.

– Сколько же он вам обещал? – спросил Алексей Григорьевич.

– Пять тысяч сразу, – отвечала Елена Сергеевна, – и ежегодная пенсия по тысяче рублей.

– Выгодная сделка, – сказал Алексей Григорьевич.

Он вышел в коридор. Из буфетной комнаты были слышны истерические рыдания.

Глава седьмая

I

Алексей Григорьевич захотел увидеть Татьяну Павловну. Мучительное беспокойство, гнетущая мысль о том, что Татьяна Павловна знакома с Дмитрием Николаевичем, что она рекомендовала Елену Сергеевну, – все это заставляло его спешить к ней, взглянуть в ее ясные, милые глаза, вслушаться в золотые звоны ее девически чистого голоса, прильнуть к ее нежным, прекрасным рукам, от которых пахло сладкими духами, немощко напоминавшими любимый Шурочкин кизриз.

Теперь, пока еще не были приняты меры к ограждению Гриши от покушения на его жизнь, Алексей Григорьевич не решился оставить его одного дома.

Он пошел к Грише. Гриша сидел один за столом близ окна, скрестив стройные голые ноги, и с увлечением решал какую-то сложную задачу. Услышав шаги отца, Гриша обратил к нему весело улыбающееся, забавно-озабоченное лицо, – задача попалась трудная. Это выражение озабоченности теперь особенно ясно выдавало Гришину сходство с его покойною матерью. Алексей Григорьевич вспомнил Шурочкино исхудалое лицо и ее тонкие руки, когда она лежала в белом гробу, вся белая, в белом платье, под белыми цветами, – Гришину лицо в гробу на белой подушке, и Гришины сложенные руки под белыми цветами вдруг померещились ему почти с отчетливостью галлюцинации. Холодный ужас охватил его.

«Нет, не будет так, – подумал он, – на край света увезу, схорону за океанами, не дам жадному зверю».

– Елене Сергеевне нездоровится, – сказал он. – Я отвезу тебя, Гриша, в гимнастический городок, а сам проседу к Татьяне Павловне. Потом за тобою заеду.

Гриша радостно начал одеваться. Натягивая теплые серые чулки на полные икры сильных ног, он сказал:

– Папочка, – сегодня утром я читал необыкновенно интересную книгу. Можешь себе представить, о чем?

– О чем, Гриша? – спросил Алексей Григорьевич.

И не было в его голосе той бодрой веселости, которая всегда охватывала его, когда он разговаривал с сыном. Он сел на стул около окна, спиною к свету, чтобы Гриша не заметил его волнения.

Но уже Гриша заметил, что отец расстроен чем-то. Он опасливо поглядывал на отца. Припоминал, не сделал ли он чего-нибудь такого, на что Елена Сергеевна могла бы пожаловаться. И говорил тихо:

– Об Аргентине. Необыкновенно интересная страна. Знаешь что,

папочка, – съездим когда-нибудь туда. На большом пароходе через тропики, через экватор, – так интересно, что и сказать нельзя.

Алексей Григорьевич думал:

«Может быть, и в самом деле, уехать нам с Гришей куда-нибудь в Аргентину или на Сандвичевы острова, где жизнь людей близка к первоначальной дикости, где язык людей не так лжив, как наша коварная речь, где милые стихии родственнее человеку и ближе к нему, – туда, в далекий край, где нет нашей политики и нашей цивилизации, и наших вопросов, и нашей злой и лукавой слабости».

II

Санки бежали быстро по снежной мостовой. В лицо веял легкий морозный ветерок. На перекрестках улиц в железных круглых печках трещали дрова, рассыпая искры и распуская в воздухе теплый дым.

Гришины щеки были румяны, Гришины глаза весело блестели, – русская зима правилась Грише и веселила его северное сердце.

Теперь, поддаваясь ощущению зимней бодрости, Алексей Григорьевич думал, что нельзя расстаться с родною землею, нельзя бежать за океаны, что надо жить здесь, в этой суровой, но милой России. От зверя, угнездившегося в городах, надо уйти в широкие просторы русских долин, бедный быт русской деревни, – быт бедный и темный, но подлинный, верный быт трудящегося мира, надо окунуться в эту величайшую из всех стихий, в стихию простонародной жизни, в тот мир, где мать сырая земля неистощимо рождает все новые и новые силы.

Он вспомнил все то грубое и жестокое, что совершалось в деревне. Вспомнил разгром своей усадьбы крестьянами, теми самими, среди которых он провел свое детство. Вспомнил то чувство горестного недоумения, с каким он узнал, что его сверстники и товарищи его деревенских игр, Василий Менягов и Илья Цыганков, были вожаками громил, разрушивших и сжегших тот дом, в котором он родился. И ему вдруг стало странно.

«Куда же идти?» – с холодным отчаянием подумал он.

И ответил сам себе:

«Все-таки надо идти к ним, на родную землю, к родному народу и разделить его судьбу».

Гриша весело говорил что-то, – Алексей Григорьевич едва слушал его, едва ему отвечал. И наконец Гриша замолчал. Задумался о чем-то своем.

Когда на повороте улицы санки раскатились и Гриша схватился рукою за его рукав, схватился почти машинально, продолжая додумывать свои думы, Алексей Григорьевич взглянул на него сбоку. И опять задумчивость, легшая на раскрасневшееся Гришино лицо, сделала его так радостно и трогательно похожим на бледное Шурочкино лицо. И сердце Алексея Григорьевича дрогнуло. И опять в душе его поднялась тоска.

III

Уже было на улицах темно, когда Алексей Григорьевич позвонил в квартиру Татьяны Павловны. Горничная в белом переднике, веселая молоденькая девушка с блудливыми серыми глазами и с неярким городским цветом лица, скоро открыла ему дверь, и, не дожидаясь,

его вопроса, сказала:

– Барыня дома. Пожалуйста.

Показалось ли так Алексею Григорьевичу или сегодня он особенно отчетливо подмечал все, чем сказывается в людях и в предметах печаль, только его удивило, что в серых Катиных глазах блестят слезинки.

«Мать больна, денег просит или барыня недовольна», – подумал Алексей Григорьевич. И ему казалось, что Катя стаскивает с него пальто не так ловко, как всегда.

Он вошел в гостиную, где никого не было. Катя осветила комнату светом трех лампочек средней люстры и быстро ушла.

Алексей Григорьевич сел в кресло у стола. Повертел в руках альбом. Опять встал. Прошелся несколько раз по комнате. Томившее его беспокойство все возрастало.

Не зная сам, зачем он это делает, он взялся за ручку запертой двери, вошел в соседнюю темную комнату и тихо подвигался вперед. Он даже не думал о том, что идет по комнатам чужой квартиры. Шел из комнаты в комнату.

Вдруг он увидел свет. Услышал голоса. Остановился.

IV

Слышалось два голоса, – тихий Катин голос и сдержанно-сердитый голос Татьяны Павловны. Казалось, что Татьяна Павловна за что-то бранит Катю.

– Который раз я вам говорила, Катя, – слышался голос Татьяны Павловны. – Никакого терпения нет. Если вы не хотите служить, так убирайтесь вон сейчас же.

Что-то отвечала Катя, очень тихо, но, судя по звуку ее голоса, что-то дерзкое. И тогда Татьяна Павловна, вдруг забывши, что в квартире есть гость и что надо сдерживаться, звонко крикнула:

– Как ты смеешь, дерзкая девчонка! Вот тебе! Вот тебе!

И вместе с этими словами послышался резкий звук двух звонких пощечин и тихие вскрикивания Кати:

– Ах! Ах!

V

Алексей Григорьевич стоял, охваченный негодованием и страхом. Ему казалось, что этого не может быть, что это – какая-то ошибка. Может быть, кто-нибудь другой, экономка, что ли, стоит там и бьет по щекам девушку.

Он тихо сделал два шага вперед. Перед ним в зеркале, стоявшем над нарядным туалетом, отразилось в полуоборот сильно покрасневшее сердитое лицо Татьяны Павловны и испуганное лицо плачущей Кати. Лицо Татьяны Павловны покраснело пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубою и вульгарною.

Катины щеки ярко пылали. Она стояла прямо, опустив руки, не вытирая быстрых слез, и говорила тихо:

– Барыня, простите, я больше не буду.

И опять поднялась красивая белая рука Татьяны Павловны, и так спокойно и ловко, словно совершая привычное движение, звонко опустилась на покорно подставленную Катину щеку. И вместе с тем Татьяна Павловна кричала, уже не сдерживая голоса, грубым тоном

рассерженной женщины:

– Не смей дерзить, негодная девчонка! Вот тебе еще!

В благоуханном воздухе уборной, нежно розовея в мягком озарении лампочек, прикрытых розовыми колпачками, мелькнула другая рука Татьяны Павловны, и четвертая пощечина раздалась как будто бы еще звонче первых трех. Катя громко зарыдала, быстро опустилась на колени и жалобным, похожим на детский, голосом говорила:

– Барыня, миленькая, больше не буду. Никогда больше не буду.

Татьяна Павловна отвернулась от нее.

Алексей Григорьевич поспешно пошел прочь. В полутьме неосвещенных комнат он задел за что-то, – послышался грохот сдвинутого с места стула. Татьяна Павловна, выглянув из дверей своей уборной, дрогнувшим от волнения голосом спросила:

– Кто там?

Алексей Григорьевич, не отвечая, вернулся в гостиную.

VI

«Что же это?» – думал Алексей Григорьевич. Как может нежное сердце женщины распалиться такою злостью? Как может прекрасная рука очаровательной дамы с такою удивительною ловкостью и с такою силою опускаться на щеки перепуганной служанки? Что же это, – случайная вспышка, несчастный случай, один из тех, которые могут случиться с каждым? Или то, что делается не раз?

«А эта глупая девчонка, которую бьют, зачем же она терпит? Зачем она сама подставляет под удары своей госпожи свои бледные щеки? Зачем, как рабыня, бросается к ногам обидевшей ее женщины? По привычке с детства? Или от испуга, потому что натворила что-нибудь очень скверное? Или, может быть, уже знает, что вспыльчивая барыня потом вознаградит ее за эти пощечины какими-нибудь старыми платьями или ленточкою, или мало ли еще чем?»

Потом, вдумываясь в то, что он теперь чувствует, Алексей Григорьевич с удивлением заметил, что нет в его душе ни сильного гнева, ни яркого негодования. Скорее страх какой-то, какое-то холодное равнодушие.

Алексей Григорьевич закрыл глаза, стараясь вызвать прежний милый образ Татьяны Павловны, веселой и любезной женщины со смеющимися глазами. И это ему удалось, и он опять почувствовал в своем сердце нежную жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях зверя, но все-таки, конечно, милой и доброй женщине. Захотелось обойтись с нею, как с провинившимся ребенком, заставить ее застыдиться, покраснеть, раскаяться, – побранить, простить, увезти ее отсюда, перенести в иную жизнь, простую, здоровую, братскую.

Ведь все то, что говорила ему Татьяна Павловна, всегда казалось ему таким близким его душе. Разве не одинаково думают они оба? Разве не одинаково обоим им противен лютый зверь, жестокий властелин города?

I

Послышались за дверью легкие быстрые шаги. Дверь открылась, вошла Татьяна Павловна. Алексей Григорьевич пошел к ней навстречу.

Весело улыбаясь, она протянула ему руку, – и ни в лице ее, ни в звуке ее любезного приветия, ни в ее уверенных движениях ничто не напоминало той сварливой бабы, растрепанной и красной, которая била по щекам свою служанку. Алексей Григорьевич молча пожал ее руку. Не поднес ее к губам для поцелуя, как делал это всегда, следуя приятному светскому обычаю.

Татьяна Павловна всмотрелась в его лицо. Как будто бы смутилась слегка. Слегка приоткрыла веки. Спросила:

– Как поживаете, Алексей Григорьевич? Что у вас дома? Все благополучно? Гриша, надеюсь, здоров? Вы как будто бы чем-то озабочены?

Алексей Григорьевич, слегка сдвинув брови, строго посмотрел в ее глаза и сказал:

– Татьяна Павловна, извините меня. Ожидая вас, я увлекся здесь моими размышлениями, довольно невеселыми, и, по моей привычке ходить по комнатам, обдумывая что-нибудь, прошелся по вашей квартире. Этого мне не следовало делать, но я это сделал, и был жестоко наказан за свою неосторожность.

II

Татьяна Павловна стояла перед ним, опустив глаза. Краска стыда заливала ее нежные щеки, и красивые уши ее под завитками темных волос краснели. Алексей Григорьевич продолжал:

– Я увидел, как вы наказывали за что-то вашу Катю. Слишком патриархально.

Голос его дрогнул, и он сказал быстро, чувствуя в себе все возрастающий гнев:

– Вы били ее по щекам. Признаюсь, я не ожидал, что вы умеете делать это. Скажу откровенно, что хотя самое действие и казалось мне отвратительным, но я готов был аплодировать виртуозности исполнения.

– О, – в замешательстве сказала Татьяна Павловна, – какой вы злой! Если вы бы знали, какая это дерзкая девчонка. С нею иначе нельзя. Она очень склонна забываться.

– Зачем же вы ее держите? – спросил Алексей Григорьевич.

– Но я к ней привыкла, – отвечала Татьяна Павловна. – Хорошую горничную так трудно найти. И она все знает, где что у меня лежит и все адреса знает. Она расторопная, услужливая, очень честная, и я ею, в общем, очень довольна и дорожу ею. Только иногда на нее находит желание говорить мне дерзости.

– И тогда вы ее бьете? – спросил Алексей Григорьевич.

Татьяна Павловна в замешательстве посмотрела на него, смущенно развела руками и сказала:

– Ну, я ее словами унимаю. Конечно, иногда она уж очень рассердит. Вы, кажется, думаете, что я – ужасно злая и что я только и делаю, что ее бью. Поверьте, она сама знает, что

заслужила это. Она меня любит. Ведь кто же бы ее держал здесь насильно? Она у меня уже пятый год. Она дорожит этим местом.

III

Алексей Григорьевич молча слушал, и его молчание все более смущало Татьяну Павловну. И наконец Алексей Григорьевич увидел, как из уголка ее глаза медленная и маленькая выкатилась слезинка. Ему стало жалко ее, и он сказал:

– Никогда больше не делайте этого.

Татьяна Павловна наклонила голову и тихо сказала:

– Хорошо, я больше не буду.

– А теперь, – продолжал Алексей Григорьевич, – позовите Катю, приласкайте ее и извинитесь.

Татьяна Павловна быстро глянула на Алексея Григорьевича, – и ее взгляд исподлобья был похож на сердитый и пристыженный взгляд попавшегося в шалости ребенка. Потом она опять опустила глаза, легонько пожала плечами и тихо сказала:

– Алексей Григорьевич, это ее только поощрит на новые дерзости.

– Татьяна Павловна, – сказал Алексей Григорьевич настойчивым тоном, – не огорчайте меня слишком, не заставляйте меня думать о вас так дурно, как вы этого не заслуживаете. Не кажитесь хуже, чем вы есть. Вы – добрая и милая, и такие выходки вам не к лицу. Сделайте так, чтобы я мог с легким сердцем поцеловать вашу нежную руку.

Татьяна Павловна нахмурила брови. Опять пожала плечами, подумала минутку, потом вдруг ярко покраснела, и видно было, что краска румянца разлилась по ее шее и плечам. Она быстро, неловкою походкою пристыженной школьницы, подошла к столу и нажала белую пуговку электрического звонка.

IV

Через минуту вошла Катя. Алексей Григорьевич пристально посмотрел на нее.

Катя остановилась у дверей, и по лицу ее совсем не было заметно, что ее только что побили. Губы ее улыбались сдержанно, и глаза были веселы и блудливы, и только щеки все еще были очень красны. Но вся наружность говорила о том, что она довольна своим положением и охотно готова исполнить то, что ей сейчас прикажут и за чем ей позвонили. Катя стояла в скромной и почтительной позе, опустив руки, глядела прямо на барыню и ждала.

Алексей Григорьевич перевел глаза на Татьяну Павловну. Лицо ее все еще пылало, глаза были опущены, правая рука беспокойно раскрывала альбом на столе, у которого она стояла. Видно было, что ей очень стыдно и что она не знает, как начать.

Прошла минута неловкого молчания. Катя как будто догадалась о чем-то, – глаза ее перебежали с любопытством с Татьяны Павловны на Алексея Григорьевича и видно было, что ей хочется смеяться.

Наконец Татьяна Павловна заговорила:

– Катя, Алексей Григорьевич недоволен тем, что я вас поколотила. Правда, я слишком погорячилась. Вы меня уж очень рассердили. Извините меня.

– Что вы, барыня, – перебивая ее, быстро заговорила Катя. – Да разве я жалуюсь? Я вами очень довольна. А что вы погорячились, так я сама виновата. Разве можно говорить дерзости!

– Извините меня, Катя, – повторила Татьяна Павловна. – Я вас не буду бить, а вы вперед не должны говорить дерзостей. Постарайтесь, чтобы с вашей стороны это было в последний раз.

Катя с веселой улыбкой говорила:

– Да, право же, барыня, я не обижаюсь. Мало ли что бывает. Нашему брату на все обижаться не приходится.

– Подойдите ко мне, Катя, – сказала Татьяна Павловна.

Катя подошла и остановилась перед Татьяной Павловной. Татьяна Павловна неловко и нерешительно подняла руку. Катя вздрогнула и слегка отстранилась. Но потом вдруг сообразила, что рука подымается не для удара, весело засмеялась, потянулась лицом к Татьяне Павловне и подставила ей свою щеку.

Татьяна Павловна ласково погладила подставленную щеку. Потом взяла Катю за подбородок и нежно поцеловала ее в щеку, в губы, в другую щеку. Тогда Катя быстро опустилась на колени, схватила обе руки Татьяны Павловны и поцеловала сначала одну, потом другую. Сказала:

– Простите, барыня, много довольна вашей ласкою.

V

Когда Катя ушла, Татьяна Павловна села на диван и, поглаживая раскрасневшиеся щеки своими тонкими, стройными пальцами, сказала:

– Видите, какая трогательная сцена. Вот видите, она и не думала обижаться.

Алексей Григорьевич промолчал.

Татьяна Павловна опасливо посмотрела на него и заговорила о другом.

Алексей Григорьевич спросил:

– Вы давно знакомы с моим родственником, Нерадовым?

– Да, приходилось встречаться. – равнодушно ответила Татьяна Павловна.

Ее спокойный тон рассеял опасения Алексея Григорьевича.

VI

Но все-таки разговор их кончился как-то неприятно. Алексей Григорьевич заговорил о том, что он хочет уйти от города, уйти от этой жизни, слиться с народом.

– А вы, Татьяна Павловна, пойдете ли за мною? – спросил он.

– Я пойду за вами всюду, куда вы захотите меня повести, – сказала Татьяна Павловна, – но я буду отчаянно скучать без города. Да и вы тоже скоро захотите вернуться.

– Никогда, – живо и уверенно сказал Алексей Григорьевич.

Татьяна Павловна усмехнулась и сказала:

– Не ручайтесь за себя. Знаете, мы, городские жители, как привычные пьяницы, так втягиваемся в городскую жизнь, что уже иначе жить не можем. Как русалку нельзя вытащить на берег, задохнется, так и мы с вами там, в этой темной глуши, жить не можем.

Глава девятая

I

Когда Алексей Григорьевич вернулся домой вместе с Гришею, Елены Сергеевны уже не было. Наташа подала ему запечатанный конверт. Сказала:

– От Елены Сергеевны.

Алексей Григорьевич прочел:

«Многоуважаемый,

Алексей Григорьевич!

Я, конечно, не должна оставаться около Гриши. Я переехала к моим родным. Если я вам понадобится, я готова явиться, когда прикажете.

Готова к услугам

Елена Сергеевна.»

Внизу был адрес.

II

Вечером приехал Дмитрий Николаевич. Привез коробку тертых каштанов. Все сбывалось по предсказанному.

На другой день Кундик–Разноходский опять сидел у Алексея Григорьевича. Спросил:

– Могу узнать, оправдалось ли мое вчерашнее предсказание насчет коробки конфет?

Алексей Григорьевич сказал:

– К сожалению, оправдалось. Коробку конфет я отобрал от Гриши еще нераскрытую. Она у меня.

Кундик–Разноходский сказал:

– Итак, глубокоуважаемый Алексей Григорьевич, вы сами изволите видеть, что мои сведения основательны. Документики я принес, и нахожусь в приятном ожидании получения денег.

Алексей Григорьевич достал из письменного стола приготовленные деньги и отдал их Кундик–Разноходскому. Тот пересчитал их с большим удовольствием. Потом вынул из бокового кармана перевязанную красной ленточкой пачку писем. Алексей Григорьевич взял письма, развязал алую ленточку, взглянул на письма, – и сердце его упало. Знакомый почерк.

III

Почерк Татьяны Павловны. Слова нежные. Письма написаны какому–то Диме. И между ними одно письмо мужским почерком, – и этот почерк знаком, – почерк Дмитрия Николаевича.

Прочел в ее письме одну строчку:

«Дурак влюблен в меня без памяти».

Больше не стал читать.

Понял всю махинацию.

«Бежать, бежать за океаны или за горы!» – думал он.

АЛАЯ ЛЕНТА

Старый профессор, доктор международного права Эдуард Генрихович Роггенфельд, и его старая жена, Агнеса Рудольфовна, уже много лет подряд проживали с мая до сентября в одной и той же дачной местности, в Эстляндии, на южном берегу финского залива. Занимались они каждый год одну и ту же красивую, поместительную дачу в парке: с балкона этой дачи открывался восхитительный, широкий вид на воды финского залива, на прибрежные лужайки и на пляж.

Хотя эта дачная местность, населенная преимущественно семьями немцев, профессоров и врачей, и носила смешное, глупое название Трежолы, но все-таки здесь было очень хорошо, приятно, удобно жить. Все здешние дачники были твердо уверены, что Эстляндия – самая здоровая местность на свете, и что Трежолы – самое красивое место на северо-западе России. Постоянные местные жители, эстонцы, были мирны и честны; они вели себя привлекательно; о драках и грабежах совсем не было слышно. Почтово-телеграфное отделение находилось недалеко от Трежолы, всего верстах в четырех. Почтальон ходил дважды в день; он не только приносил почту, но и забирал письма.

Вблизи были две кофейни, одна – на морском берегу, другая – вглубь страны, близ баронского имения, в очень милом садоводстве. В одной из этих кофейен, на пляже, раз в неделю играла музыка. Не слишком далеко, тоже верстах в четырех, был кургауз, где раз в неделю танцевали, и где всегда можно было достать вино и пиво, позавтракать и пообедать. Но все это было и не слишком близко, так что жители Трежолы и наслаждались мирной тишиной, и не совсем лишены были удобств культурной жизни. Провизию же торговцы привозили и приносили к самым дачам, – удобство чрезвычайное, и вполне заменяющее городские рынки.

Дачи в Трежолы стояли на высоком берегу. От него к морю шли то отлогие склоны, то крутые обрывы, кое-где поросшие деревьями, кустами, дикими нарциссами, а кое-где совсем голые, слоистые; и в этих местах обнажались, радуя профессорские и студенческие сердца, отложения силлурийской системы, зеленые, бурые, желтые слои известняков и песчаников. А вдоль самого моря тянулась широкая полоса мелкого, сыпучего, палево-желтого песка, усеянного крупными и мелкими валунами. Эти суровые камни украшали вид, мелкие мешали при ходьбе, но песок был восхитителен, и купанье превосходное, и пляж против дач был уставлен рядом чистеньких кабинок.

Вода в заливе принимала самые разнообразные тоны и оттенки, от самого нежного и наивного голубого при солнце до самого мрачного багрово-черного в пасмурную погоду. Она была иногда совершенно спокойной. И широкая гладь залива лежала тогда, как стальная огромная доска, по которой струились полосы перебегающего света.

Иногда волны шумно плескались о песчаный берег. И долгий, надоедливый шум, подобный реву скучающего, голодного зверя, мешал спать нервным дачникам, расстраивал истерических дачниц, и нравился серьезным пятнадцатилетним гимназистам, которые приходили в такие дни на берег моря размышлять о проклятых вопросах бытия, точный перечень которых известен каждому развитому гимназисту этого возраста.

Закаты были превосходные, каждый вечер иные. Каждый вечер

по-своему наряжал безоблачное или покрытое облаками небо.

Когда облаков было много, или совсем их не было, тогда в убранстве заревающего неба соблюдалась изысканная, строгая простота. Тогда одинокое, усталое, багровое солнце, прикрытое дрожанием лиловых щитов, величественно опускалось к еле различимой роковой черте, медленно погружалось, умирая печально и прекрасно, и наконец, последней тонкой искрой проблестав мгновение в мглистом ложе опечаленной дали, угасало, как вздох засыпающей вселенной. И тогда наступала невозмутимая в небесах и на земле ясность, и очарование умирающих багрянцев разливалось на теплые пески и на холодные камни, на задумчивые деревья и на скромные кровли медленно холодеющую кровь.

Когда же небо к закату накопит побольше темных, плотных, как бычки, тучек и светлых, легких, как пена, облачков, и разбросает их прихотливыми пятнами узоров по голубой своей эмали, тогда великолепие огней, красок, сияний, колыханий тонкими лучами и золотых окаймлений возникало над заходящим светилом.

Уже не на солнце, в торжестве заходящее, смотрели тогда восхищенные взоры, ибо солнце становилось только одним из див небесных, и не самым прекрасным, – только монотонно блистающим, до алого каления однообразно раскаленным диском. Всю ширину и прелесть заката заполняли тогда эти медленные струи, колыхания и мерцания расплавленного, монотонного, сладостным, густым вином, пролитого золота, горящих всеми желтизнами янтарей и полупрозрачных топазов, пылающей сквозь невинную небесную голубизну всеми страстностями и аlostями крови, дрожащих и несторающих в пламени ясписов, ониксов, изумрудов и кармино-красных рубинов. Казалось тогда, что гигантская радуга, раскаленная жаром небесного горна, вдруг разорвала свою тонкую, полупрозрачную оболочку, пролилась и рассеяла по небу свой многоцветный, вспыхнувший несчетными огнями сок.

Иногда в тумане опалы рассыплются по небу, и бледный ангел угасания немигающими очами смотрит на землю, прямо в очи людям, которые не могут его увидеть...

Да, впрочем, всего не описать, потому что бесконечно разнообразны взоры, как бесконечно разнообразна и жизнь человеческая.

Приятнее всего для дачников в Трежоли было милое сочетание воды и леса, который начинался в иных местах почти у самых волн. Было поровну лиственных деревьев и хвойных, – угрюмо-стройные сосны и ели росли вперемежку с веселыми белоствольными березами, трепетными осинами, скучными ольхами, горькими рябинами и гордыми кленами. Богатый купец из Вышгорода насадил даже в своем имении каштаны и дубы.

Все было хорошо, и сердца дачников радовались.

А местные жители тщательно распахивали свои тощие, щедро усыпанные камнями поля, – по виду небес и по направлению ветров угадывали погоду, – ловили в море салаку, – сами в море не купались, – а в леса и на пляж выпускали коров. Известно, местные жители!

– Аборигены! – пренебрежительно называл их внук профессора Роггенфельда, гимназист Эдди, неутомимый охотник за отпечатками силлурийских гадий.

А госпожа Роггенфельд, седенькая старушка с милым и приветливым, когда-то очень красивым лицом, говорила:

– Эстонцы здешние – такие культурные. Они ставят в своем

народном доме пьесы Мольера, устроили хор и оркестр, и у многих есть пианино. Их девушки играют и поют очень мило, и по праздникам, нарядившись, похожи на барышень.

Зажиточны были аборигены, обитатели деревни Мустаконды, которым принадлежала и земля поселка Трежоли.

В этой идиллической местности в один прекрасный летний день госпожа Роггенфельд праздновала свое рождение. Было очень весело и хорошо. Семья ее сына и ее дочери собралась вся. Внуки и внучки поднесли цветы и очень мило поздравили. Вечером ожидалась музыка и пение. Приехали гости из города.

После завтрака, в третьем часу дня, на веселой зеленой лужайке между склонами Трежоли и прибрежной рощей начались танцы. Для этого был приглашен местный эстонский оркестр.

Не было только старого друга семьи, профессора Бернгарда Хорна, и профессор Роггенфельд недоумевал, почему его нет, и уже собирался послать к нему. Да некогда было, – все на людях, и прислуга очень занята.

А старая госпожа Роггенфельд с самого утра была в нервном, беспокойном настроении.

Когда молодежь плясала на зеленой лужайке, профессор Роггенфельд и его жена сидели в своем саду на скамейке над высоким склоном, и смотрели вниз на танцующих.

Солнце светило не слишком ярко, звуки музыки доносились до старых людей слегка затуманенные расстоянием, смех и голоса молодежи не казались отсюда резкими, и движения танцующих были медлительны и меланхоличны.

На трех скамеечках, поставленных одна за другой, спиной к морю, на краю ровной зеленой площадки сидели музыканты, местные крестьяне, в серых пиджаках и в серых фетровых шляпах. Их коричневые от загара лица выражали усердие, и больше ничего. Их коричневые от загара руки двигались точно и механично. Оттого издали музыканты казались заведенными куклами, частями очень сложной музыкально-игральной машины.

Перед музыкантами у пюпитра стоял коротенький пожилой человек и помахивал палочкой спокойно, уверенно и так же механично. И у него была, как у остальных музыкантов, коричневая от загара шея и коричневые руки. Когда он делал несколько шагов от пюпитра к музыкантам, или к господам, было видно, что он сильно хромот. И казалось, что его хромота входит в план неведомого, но искусного мастера, сделавшего эту хорошую игрушку, годную для танцевальных мелодий.

Звуки музыки казались чрезмерно отчетливыми и ровными. Хотелось порой какой-нибудь легкой неправильности, какого-нибудь капризного перебоя в ритме, – но потом вспоминалось опять, что иначе нельзя, что уж таков закон этой серьезно-веселой и в то же время меланхолической игры.

Молодые люди и барышни сидели на скамейках с двух других сторон лужайки. Четвертая сторона с легкой изгородью, за которой начинался подъем наверх, была свободна. Там, на траве расположились не танцующие зрители, пришедшие поглазеть и послушать музыку.

Все здесь, казалось, было зачаровано дьявольски-ровным, этим нечеловечески-отчетливым ритмом этой, на диво точно исполняемой, музыки. И молодые люди и барышни кружились и отплясывали с тем усердием и с той отчетливостью, к которым принуждала их сила механической выучки, движущая коричневую руку хромого дирижера. И зрители сидели чинно, и эстонские ребята не двигались, точно и они

были сделаны из того же негибкого материала, и окрашены прочно теми же суриком и умброй.

Профессор Роггенфельд сказал:

– Не правда ли, Агнеса, как хорошо играют эти музыканты?

Агнеса Рудольфовна вздохнула, словно отрываясь от сладких мечтаний о былом, и сказала:

– Да, очень хорошо. Особенно, если вспомнить, что ведь это – простые крестьяне.

– Здешние крестьяне очень культурны, – сказал профессор Роггенфельд, – и этим они очень выгодно отличаются от русских крестьян.

– О, да! – сказала Агнеса Рудольфовна.

– Но меня беспокоит, – продолжал профессор Роггенфельд, – отчего не идет к нам наш старый друг, доктор Бернгард Хорн. Я опасаюсь, не захворал ли он внезапно. Если он не придет вскоре, то немного погодя я думаю послать за ним.

Агнеса Рудольфовна ничего не ответила. Она смотрела на танцующих. Тонкие, все еще красивые пальцы ее дрожали, перебирая складки белого платья.

Было странно и жутко смотреть сверху на этот медлительный танец, и слушать меланхолические звуки отчетливо–исполняемого музыкантами с негибкими коричневыми руками вальса.

Жутко, но и сладко старой женщине вспоминалась далекая пора, когда еще Эдуард Роггенфельд и Агнеса были молоды, когда стан Эдуарда был строен и глаза блестели, и Агнеса была прекрасна, как может быть прекрасна только молодая любимая и любящая женщина. И сладко, и жутко оживало в ее душе воспоминание о далекой ночи в веселый месяц май и о старом сладком грехе давно минувшей юности.

Так много лет прошло, и тайна осталась тайной. Но сегодня, чувствовала Агнеса Рудольфовна, настал срок, и надо было сказать страшные слова позднего признания.

Старая женщина долго плакала этой ночью, а утром рано она поднялась, написала письмо, и послала его доктору Бернгарду Хорну.

Утром, вместе с букетом цветов она получила ответ от старого друга, – несколько слов, набросанных твердым, ровным почерком сильного душой человека, и кусочек алой ленты.

И вот теперь старая Агнеса сидела рядом со своим старым Эдуардом на скамейке над крутым склоном, смотрела на веселую зелень, на лазурь неба и воды, прислушивалась к трепетному замиранию своего сердца, и готовилась сказать. И все не решалась.

Какой-то высокий, худощавый, пожилой господин в потертом сером пальто, в серой выцветшей фетровой шляпе подошел, скрипя песчинками дорожки, и остановился недалеко от Роггенфельдов. Он глядел на музыкантов и на танцующих, прищуривая серые глаза. На его сухом, неровном, нервном лице изображалось изумление.

Наконец он сказал, приподнимая шляпу:

– Извините, – это что же такое? Это какой оркестр?

Профессор Роггенфельд поднял спокойные голубые глаза на неожиданного гостя, ответил на его поклон, и сказал:

– Это – здешние эстонские крестьяне. Они организовали свой собственный оркестр и играют, если их пригласят. Один раз в лето, на этой же вот лужайке, они устраивают свой собственный концерт, присутствующие на котором дают им по желанию. Эти деньги идут на покупку пот и на прочие расходы. По обыкновению приглашают их весьма редко, а на их собственном концерте дают им небольшие суммы денег. И тем не менее они из года в год поддерживают свой

удивительно хороший для деревни оркестр.

Госпожа Роггенфельд сказала:

– Здешние крестьяне культурны и музыкальны. Они даже имеют театр, где их молодые люди играют очень недурно преимущественно классические пьесы.

– Благодарю вас очень, – сказал незнакомый господин. – Но не находите ли вы, что эти люди играют очень странно?

Агнеса Рудольфовна слегка покраснела, легонько улыбнулась, и тихо сказала:

– Я этого не нахожу.

Эдуард Роггенфельд повторил за ней:

– Да, и я этого не нахожу.

Незнакомец настаивал:

– Неужели вы не находите, что эти люди, похожие на деревянных, ровно ничего не понимают в музыке, так же, как они, по всей вероятности, ровно ничего не понимают в красотах окружающего мира?

Агнеса Рудольфовна покачала головой, и сказала:

– Если бы они не понимали музыки, они не могли бы играть так хорошо.

– Да, – сказал старый профессор, – в их игре неизбежно отразилось бы их непонимание. А мне кажется, или, точнее сказать, я даже уверен, что они играют безошибочно. По крайней мере, мое ухо не улавливает никакой фальши, а я хотя и не могу назваться музыкантом, но понимаю кое-что, и сам играю недурно.

Агнеса Рудольфовна с нежностью посмотрела на мужа, и сказала:

– Эдуард играет превосходно. У него мягкое туше и безукоризненный слух.

Профессор Роггенфельд поцеловал руку своей жены, и сказал:

– Ну, ну, не будем увлекаться. Но, право, они играют очень верно.

– Верно! – воскликнул незнакомец: – лучше бы они хоть не раз сфальшивали, хоть не раз сбились с такта, только бы не играли так бездушно. Разве не находите вы, что лучше было бы, если бы эти люди совсем не умели играть? Взгляните, – разве не странно смотреть на их деревянные движения? Они и молодежь заморозили, и ребятишки от их музыки застыли, как в трансе! Посмотрите, – ведь это словно какой-то жестокий дьявол превратил людей в марионеток!

Профессор Роггенфельд с недоумением взглянул на расходившегося незнакомца, потом посмотрел на музыкантов, и сказал:

– Мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Конечно, это не первоклассный оркестр, и не Никиш ими дирижирует, но все-таки они не заслуживают таких ожесточенных нападок.

Незнакомец как будто бы слегка смутился.

– Да, правда, – сказал он. – Я увлекся. Извините, пожалуйста. Вы совершенно правы. Но все-таки мне странно смотреть на этих добрых чертей. Уйду от этого зрелища.

Он опять приподнял шляпу, и поспешно скрылся в той же стороне парка, откуда пришел.

Старые супруги переглянулись. Улыбнулись оба.

– Какой странный этот господин! – сказал профессор Роггенфельд.

– Да, очень странный, – согласилась Агнеса. – Он требует от простых эстопцев какой-то необыкновенной игры. Что же делать! Эти бедные люди делают, что могут, и дают, что они в состоянии дать.

– Не больше этого, – сказал Роггенфельд, – но зато и не меньше.

Старики замолчали. Опять смотрели на танцы. Наконец профессор Роггенфельд сказал:

– Правда, они играют без всякого оживления. И так же вяло танцует под их музыку молодежь. Помнишь, Агнеса, мы с тобой не так танцевали? Пожалуй, прав этот поэт, который говорит, что земля становится умнее, но зато холоднее.

Агнеса замолчала и улыбалась. Ее млаожавое, тонкое лицо опять слегка зарумянилось.

Когда в промежутке между двумя танцами хромой дирижер разговаривал с распорядителем танцев, и слышался чей-то звонкий голос:

– Мазурку! Пожалуйста, мазурку!

Тогда Агнеса повернулась к профессору Роггенфельду, и, странно волнуясь, сказала:

– Эдуард, и я думала когда-то, – или, вернее, чувствовала, – как этот странный господин. Да, так же, как он. И даже больше того. Мне тоже надоел размеренный темп жизни, и я, как он этого требует, взяла смелую, но неверную ноту.

Старый Эдуард покачал своей красивой, седой головой, и улыбнулся, и тихо сказал:

– Нет, Агнеса, ты хорошо играла свою партию. Твоим партнерам не приходилось сбиваться с такта из-за твоих ошибок.

И, еще более волнуясь и чуть не плача, говорила старая женщина:

– Нет, нет, Эдуард, ты не знаешь. Я долго молчала, но сегодня я решила рассказать тебе все. И вот почему доктора Бернгарда Хорна нет с нами сегодня.

И старая женщина, трепеща и с трудом сдерживая слезы, торопливо рассказывала своему старому мужу о том, как много лет тому назад, в одну благоуханную и светлую майскую ночь она изменила своему Эдуарду с его другом, молодым тогда приват-доцентом, Бернгардом Хорном.

– Это было на третьем году после нашей свадьбы, – говорила Агнеса. – Мы жили здесь первое лето, и тогда еще здесь было мало дачников, и покупать провизию приходилось иногда с большими затруднениями. Но так как наш юный друг Бернгард Хорн, – он еще не был тогда доктором, – часто ездил в город, то он привозил нам и себе что-нибудь из города. Ты же больше сидел дома, потому что в это время ты кончал свою докторскую диссертацию. По вечерам, если не шел дождик, мы гуляли, и к нам часто присоединялся наш друг Бернгард Хорн. Однажды в конце мая ты не захотел идти на обычную вечернюю прогулку. В новой книге Роленовского журнала, которую мы в тот день получили из Брюсселя, одна статья так заинтересовала тебя, что мы не могли оторвать тебя от книги, и ушли, весело смеясь и болтая.

– Да, да, – тихо сказал Эдуард Роггенфельд, – автор так сменил верные суждения с парадоксами, что я и до сих пор не могу забыть этой статьи. Я сидел над пей долго, рылся кое в каких книгах, и потом из-за этой статьи я внес три лишние страницы в мою докторскую диссертацию. Лишние сравнительно с первоначальным планом, но, смею думать, не совсем лишние по существу.

После краткого молчания он прибавил:

– Впрочем, через полчаса после вашего ухода я пошел за вами. Помню, был очень хороший вечер. Мне хотелось кое о чем подумать,

прогуливаясь над морем, которое едва слышно плескалось о песок. Но потом я вернулся, и опять засел за мои книги.

Агнеса продолжала:

– Мы с Бернгардом Хорном пошли на западный мыс. Закат солнца в тот вечер был очарователен. Мне кажется, что никогда раньше и никогда позже я не видела такого великолепного неба, такой воды и таких облаков. Все передо мной пламенело, и точно румянцем, таким счастливым, был залит весь берег, и воздух был так прозрачен, так тих и румян, что хотелось то плакать, то смеяться. Точно чистое золото света растворилось в слезах и в крови, и душа была полна восторгом и печалью. Ах, я не сумею сказать, что я чувствовала тогда. Я думаю, что тогда я даже и не понимала, что происходит со мной. Какая-то неведомая сила овладела мной, и я чувствовала, что не могу противиться ей. В то же время словно какая-то завеса поднялась над моей жизнью, словно торжественный свет этой небесной зари вдруг ярко осветил передо мной то на что я раньше не обращала внимания, – и я вдруг поняла, что Бернгард Хорн влюблен в меня.

Эдуард Роггенфельд нежно погладил руку своей Агнесы, и ласково сказал:

– Он влюбился в тебя с первого же раза, как тебя увидел.

Теперь Агнеса победила свое волнение, и голос ее звучал звучно и молодо. Она говорила:

– Я смотрела на него. Я знала, что я грешила, но я знала, что в эту минуту я была счастлива. Любовь к тебе, мой милый Эдуард, ни на одну минуту не покидала моего сердца. Но кто-то могущественный и коварный шептал мне, что душа человека широка и велика, что душа человека больше мира, и что любовь не знает меры и предела. Не помню, что мы говорили, не помню, где мы шли. Уже темно стало, потому что мы углубились в лес, и только слабо сквозь деревья горела полночная заря. Я слушала слова любви, я целовала Бернгарда Хорна, я покорная лежала в его объятиях, и на ласки его ответила пламенными ласками, и смеялась, и плакала. Смеялась, как уже давно не умею смеяться. Плакала, как плачу теперь.

Слезы тихо струились по щекам старой женщины. Эдуард Роггенфельд обнял ее нежно, и утешал ее, и говорил:

– Не плачь, не плачь, моя милая Агнеса. Ты была мне верной женой.

И плача горько, и уже не удерживая слез, говорила старая Агнеса:

– В эту страшную, в эту прекрасную ночь я изменила тебе, милый Эдуард. Я обезумела, и мне не было страшно, и мне не было стыдно того, что я сделала. И я шла с Бернгардом под руку из этого леса, и слушала его, и говорила с ним, и не стыдилась, и не боялась. Когда мы с ним прощались недалеко от нашего дома, я дала ему на память мою алую ленту. И он хранил ее все эти годы.

Агнеса замолчала на минуту. Расширенные глаза ее смотрели перед собой, и в них был восторг, и на лице ее было счастье. Потом она продолжала:

– На другой день я опомнилась. Стыд и ужас охватили меня. Я весь день ходила сама не своя. Бернгард пришел к нам, как всегда, под вечер. Он был задумчив и смущен. Он посмотрел мне прямо в глаза, понял, что у меня в душе, и опечалился. Я улучила минуту, когда мы с ним остались одни. Я сказала ему: – Милый Бернгард, я

и вы поступили очень дурно; я забыла свой долг, я нарушила верность моему супругу, которого я люблю преданно и верно. Я не знаю, что было со мной, – говорила я Бернгарду Хорну, – и когда мы гуляли вчера вместе, я почувствовала, что люблю вас.

Тихо, тихо сказал Эдуард Роггенфельд:

– Ты всегда любила его, Агнеса, с вашей первой встречи.

Агнеса слегка вздрогнула. Она хотела взглянуть на мужа, но не решилась, и торопливо продолжала:

– Я – очень порочная, – говорила я Бернгарду Хорну, – потому что люблю и моего милого Эдуарда, и вас, Бернгард. Это – большой грех перед Господом и перед людьми, – говорила я Бернгарду, – грех, потому что жена должна быть верна своему мужу, и муж своей жене. Милый Бернгард, – говорила я ему, – я навсегда сохраню сладкое воспоминание об этой ночи, но то, что было между нами никогда не повторится, и я вперед никогда не буду гулять одна с вами на этих прекрасных берегах. И вы, милый Бернгард, – говорила я ему, – вы дадите мне слово, что никогда не потребуете от меня того, на что я не должна соглашаться, и не будете ждать от меня поцелуев. – Я говорила и плакала, как девочка, и сердце мое разрывалось от печали и от странной радости. Грех мой был передо мной, и в груди моей трепетало сокрушенное сердце. Я раскаивалась, и в то же время знала, что вина моя уже прощена Тем, Кто дал мне сердце, чтобы любить и радоваться. Бернгард смотрел на меня ласково, и я видела, что он тронут до глубины души. Он поцеловал мою руку, и сказал: – А эту алую ленту не отнимайте у меня, милая Агнеса. – Я шепнула ему: – оставьте ее у себя, – и убежала в свою комнату. Я плакала там долго, и мне хотелось плакать без конца. Но я вспомнила, что должна позаботиться об ужине, и сошла вниз, тщательно освежив холодной водой мои заплаканные глаза.

Агнеса замолчала и подняла на Эдуарда робкий, молящий взор. Сияли глаза старого Эдуарда, как у молодого. Он нежно обнял свою Агнесу, и сказал ей:

– Я помню этот день, милая Агнеса. Я помню его, потому что я знал все. Я вас видал, и все понял.

– Ты знал! – тихо воскликнула Агнеса. – Ты знал, и ничего не сказал мне!

– Я знал, – говорил профессор Роггенфельд, – что ты молчишь об этом, чтобы не огорчить меня. Я верил тебе, я знал, что ты мне верна, и если был твой грех передо мной, то я простил тебе его раньше, чем ты сама успела подумать, что это – грех. Как этот странный господин, который сейчас был здесь, и я готов был простить отступление от ритма и даже ошибку в игре, – только бы игра не была бездушной. А мою жизнь ты всегда согревала и освещала. Ты не была похожа на бездарного музыканта, твердо выучившего свою партию, которая ничего не говорит его душе. С тобой был я счастлив, потому что ты дала мне восторг любви.

– Дорогой мой, милый Эдуард, – говорила растроганная старая женщина, – я знала, что ты – великодушный и прекрасный человек. Да, я не хотела огорчать тебя. Но теперь, когда прошло так много времени, и когда нам уже так мало осталось жить на этой очаровательной земле, я решилась наконец открыться тебе. Я написала сегодня доктору Хорну, и он по моей просьбе возвратил мне алую ленту. Сегодня после завтрака, перед тем, как нам выйти из дому, я положила алую ленту на твой письменный стол. Она – твоя.

Эдуард Роггенфельд с живостью возразил:

– Нет, нет, милая Агнеса. Эта лента должна остаться у нашего дорогого друга, доктора Бернгарда Хорна. Он оказал нам много услуг, и он был с тобой в эту роковую минуту, когда сердце твое было упоено безумием чрезмерной любви. К твоим жаждущим устам он поднес чашу сладостного напитка, и да благословит его за это Бог, как я его благословил. А теперь, Агнеса, вытри слезы, и пошли скорее за Бернгардом. Он должен прийти и сегодня со своей скрипкой, и мы опять будем музицировать.

В это время музыка внизу окончилась. Молодые люди и барышни со смехом, с шумными разговорами взбирались наверх по отлогим дорожкам, вьющимся по крутому склону.

Эдуард и Агнеса медленно шли к дому. Навстречу им нежно и сладостно благоухал шиповник, белые пионы гордились своей розоватой махровостью, и первые маки алели и пламенели на длинной куртине под окном. От опутанной темной зеленью дикого винограда террасы неслись томные благоухания левкоев, и безумные туберозы неистово мечтали безмерными ароматами о счастье непомерном и о любви, не знающей пределов.

У порога террасы Эдуард Ротгенфельд остановился и сказал:

– Да, он прав, – деревянные музыканты ужасны. Я рад, что уже не слышу их музыки. А мы с тобой, Агнеса, пьесу нашей жизни исполнили не без вдохновения.

МЕЧТА НА КАМНЯХ

Год за годом проходят века, и все не открыта человеку тайна о мире, и еще большая тайна о его душе. Спрашивает, испытует человек, и не находит ответа. Мудрые, как и дети, не знают. И даже не всякий сумеет спросить: «Кто же я?».

В конце мая в громадном городе уже было жарко. В узком переулке жарко и душно, еще душнее во дворе. Солнце, яркое с утра, накалило железные, буро-красные крыши четырех, обставших тесный двор, пятиэтажных каменных флигелей, их грязно-желтые стены и крупные булыжники сорной мостовой. Рядом с этим домом в переулке строили новый дом, такую же безобразную громаду с претензиями на новый стиль в нелепом фасаде. Оттуда тянуло на двор горьким и жестким запахом известки и сухой кирпичной пыли.

На дворе кричали, бегали и ссорились ребятишки, дети дворника, прислуг и жильцов попроче. Двенадцатилетний Гришка, сын кухарки Аннушки из семнадцатого номера, смотрел на них из своей кухни, из окна четвертого этажа, на животе лежа на подоконнике и вытянув прямо свои тоненькие, в коротких синих штанишках, босые ноги. Мать сегодня его на двор непустила, – так, каприз нашел... Припомнила, что Гришка вчера чашку разбил. Хоть и был он за это своевременно поколочен, но сегодня Аннушка опять припомнила ему это.

– Только балуешься, – сказала она. – Нечего по двору бегать. Сиди дома. Уроки бы учил.

– Я без экзамена, – с гордостью напомнил Гришка.

И, как всегда, при воспоминании о своем школьном торжестве, радостно засмеялся. Но мать посмотрела на него строго, и сказала:

– Без экзамена, так и сиди, пока не поколочен. Чего зубы скалишь? Я бы на твоём месте никогда не улыбнулась.

Эту загадочную для Гришки фразу Аннушка любила иногда повторять. С тех пор, как ее муж, портной, умер, и ей пришлось жить в прислугах, она считала себя и Гришку несчастными, и, думая о своем и о Гришкином будущем, всегда представляла его себе в черном свете. Гришка перестал улыбаться, и ему стало неловко.

Впрочем, идти на двор ему и не хотелось. Он и дома не скучал. У него была еще непрочтенная книжка с картинками, и он взялся за нее. Но он читал ее недолго. Взобрался на подоконник, засмотрелся на ребят. Потом, отгоняя ощущение легкой головной боли, принялся мечтать.

Мечтать – это было любимое Гришкино занятие. Мечтал он по-разному и о разном, но всегда старил себя в центр своих мечтаний, преображая мечтою и себя и мир. Ложась спать, Гришка всегда принимался мечтать о чем-нибудь нежном, радостном, немножко стыдном, жутком, иногда страшном, – и засыпал очень приятно, хотя бы днем и были неприятности. Днем часто выпадают неприятности на долю мальчика, который вырастает в кухне, у бедной, раздражительной, капризной и недовольной своею судьбою матери. Чем неприятнее были неприятности, тем слаще утешала мечта. И так жутко и весело было представить что-нибудь страшное, кутаясь с головою в одеяло.

Утром, проснувшись, Гришка вставать не торопился. В том коридоре, где он спал, идущем от кухни до барыниной спальни, было темно и душно: сундук, на котором расстиралась Гришкина постель, не так был мягок, как пружинный матрац на господских кроватях, куда он иногда забирался поваляться в отсутствии господ, если мать не доглядит. Но все-таки здесь было уютно и спокойно, пока не вспомнит, что пора идти в школу, или, не в учебный день, пока не прикрикнут, чтобы вставал. А бывало это только тогда, когда надобно было послать его в лавочку или заставить что-нибудь сделать. В другое время матери было не до него, и она даже рада была, что сын спит, не надоедает, не суется под ноги, не торчит в глазах.

– И без тебя тошно, – нередко говаривала она сыну.

И потому нередко довольно долго лежал по утрам Гришка в постели, нежась под рваным ватным одеялом, одним и тем же – летом и зимою, так что летом, или когда бывало сильно натоплено в кухне, становилось ему очень жарко. И опять он мечтал о чем-нибудь приятном, радостном, веселом, но уже вовсе не страшном.

Днем всякая, самая ничтожная причина, вызвала в Гришке разнообразные мечты. Понравившийся рассказ, или интересную сказку из хрестоматии, занятную повесть из какой-нибудь растрепанной книги, которую раз в неделю выдавал ему в школе заведывавший ученической библиотекою учитель, любопытный эпизод из прочитанного вслух для матери нового романа, всякий услышанный от кого-нибудь и поразивший его воображение случай, переиначивал Гришка в своих мечтах по-своему.

В городском училище, куда он ходил, учиться ему было нетрудно, но учился он посредственно, – некогда было. Так о многом надо было перемечтать! Притом же, когда Аннушка была свободна, она садилась что-нибудь шить или вязать, а Гришку заставляла читать какой-нибудь роман. До романов она была большая охотница, хотя грамоте и не была обучена, любила слушать романы с приключениями, увлекалась похождениями Шерлока Холмса и «Ключами Счастья» Вербицкой, но с охотою слушала и старые романы Диккенса, Теккерея и Эллиота. Романы для чтения доставала она то у своей барыни, то

у барышни—курсистки из четырнадцатого номера, увлекавшейся в то время книгами Вербицкой и Нагродской.

И вот частенько по вечерам, положив локти на белый деревянный кухонный стол, прижимаясь к столу худенькою грудью в ситцевой голубенькой рубашке, скрестив под столом недостающие до полу тоненькие, как точеные веретениа, ноги, Гришка читал быстро, громко и звонко, не все понимая, но часто взволнованный любовными сценами. Его очень занимали опасные и трудные положения, но еще более страницы любви, ревности или нежности, слова ласковые и страстные, муки и томления влюбленных, счастью которых мешают злые люди.

И в мечтаниях Гришке чаще всего представлялись прекрасные дамы, улыбчивые, нежные, и порою жестокие, и стройные, белокурые, голубоглазые пажы. У прекрасных дам были алые уста, так нежно улыбающиеся, так сладко целующие, и говорящие такие милые, а иногда беспощадные слова; и были у этих прекрасных дам белые, нежные руки с длинными, тонкими пальчиками, — руки нежные, но иногда такие сильные и жестокие, сулящие всю радость и всю боль, что может один человек дать другому. И у милых пажей вились длинные по плечам светлые кудри, и голубые глаза блестели, и ноги в белых шелковых чулках и в башмаках с острыми носками были полны и стройны. Слышался в мечтаниях беззаботный смех, и розы уст безмятежно цвели, и зори щек пылали ярко, — а если проливались иногда слезы, то лишь из голубых глаз милых пажей. Дамы же, прекрасные, но безжалостные, никогда не плакали; они умели только смеяться, ласкать и мучить.

Теперь уже несколько дней Гришку занимала мечта о какой-то далекой стране, волшебной, прекрасной и счастливой, и о мудрых людях, конечно, не похожих на тех людей, которых он видел здесь, в этом скучном доме, похожем на тюрьму, в этих томительных улицах и переулках, и во всей этой скучной северной столице. Да и кого здесь он видит? Прекрасных и ласковых дам, как в его мечтах, здесь не было, — были барыни и барышни, важные и грубые, и были простые женщины и девушки, крикливые, сварливые и злые. Рыцарей и пажей не было тоже. Никто не носил шарфа цветов своей дамы, и не слышно было, чтобы кто-нибудь сражался с великанами, защищая слабых. Господа здесь были неприятны и далеки, грубы или презрительно-ласковы, а простые люди тоже были грубы, и тоже были далеки, а простота их была так же страшна, как и хитрая, непонятная сложность господ.

Все, что видел здесь Гришка, не нравилось ему, оскорбляло его нежную душу. Даже самого имени своего он не любил. Даже когда мать, в порыве неожиданной нежности, вдруг начинала величать его Гришенькою, и тогда это ласковое имя все-таки не нравилось ему. А эта глупая кличка Гришка, как его называли всегда и мать, и барыня, и барышня, и все на дворе, казалась ему совсем чужою, никак не соединимую с тем, что он сам о себе думал; ему представлялось иногда, что она отваливается от него, как плохо наклеенный этикет от бутылки с вином.

Аннушке понадобилось поставить какую-то посуду на подоконник. Она захватила своею большою, жесткою рукою обе тонкие в щиколотках Гришины ноги и потянула его с подоконника. Сказала беспричинно грубо:

— Разлегся тут на все окно. И без тебя тесно, ничего поставить негде.

Гришка соскочил с окна. Испуганно глянул на суровое,

сухощавое лицо матери, раскрасневшееся от жара кухонной печи, и на ее красные, до локтей открытые руки. В кухне было чадно, на плите что-то шипело и дымилось, пахло чем-то горьким и пригорелым. Дверь на лестницу была открыта. Гришка постоял у двери, и, видя, что мать возится у печи и на него не смотрит, вышел на лестницу. Только там, почувствовав под ногами своими жесткие и сорные плиты площадки, он заметил, что голова его болит и кружится, сердце слегка замирает, и во всем теле разливается лихорадочная томность.

«Какого чаду напустила», – подумал он.

С каким-то недоумением оглядел он каменные серые ступеньки лестницы, выщербленные, сорные, бегущие вверх и вниз с неширокой площадки, на которой он остановился. Против их двери через площадку была другая дверь, закрытая глухо, и из-за нее доносились два звонких женских голоса, кто-то с кем-то бранился. Слова сыпались, как свинцовая дробь из неосторожно развинченной висючей лампы, и казалось Гришке, что они юрко разбегаются по сухому полу чужой кухни, и шуршат, ударяясь о чуток и о железо. Было много этих слов, и все они сливались в один визгливый гул, и только выделялись бранные слова. Гришка невесело усмехнулся. Он знал, что в этой квартире всегда бранятся и нередко бьют детей, злых и грязных.

Такое же окно, как в кухне, и из него виден тот же тесный, скучный мир, – красные крыши, желтые стены, пыльный двор. Все странное, чужое, ненужное, совсем не похожее на милые и близкие образы мечты.

Гришка взобрался на истертую доску подоконника, прислонился спиной к одной из распахнутых рам, но на двор не глядел. Перед ним открылись светло-крашенные палаты, и вот перед ним дверь в покой русокудрой принцессы Турандины, – и распахнулась дверь и Турандина, у высокого, узкого окна свивавшая тонкий лен, оглянулась на шум открывшейся двери, придержала стройною белою рукою гулко жужжащую прялку, и глядела на него, и улыбалась нежно. Она говорила ему:

– Подойди ко мне поближе, мой милый мальчик. Я давно тебя ждала. Не бойся, подойди.

Гришка подошел, склонил колени у ее ног, и она спросила:

– Ты знаешь, кто я?

– Знаю, – ответил ей очарованный золотыми звонами ее голоса Гришка, – ты – прекрасная принцесса Турандина, дочь могущественного короля этой страны, мудрого Турандоне.

Смеялась веселая принцесса Турандина и говорила:

– Ты это знаешь, но ты знаешь не все. От моего отца, мудрого короля Турандоне, я научилась чары деять, и что захочу, то с тобою и сделаю. Мне захотелось поиграть с тобою, я сказала над тобою чародейные слова, и ты ушел из гордого чертога, от своего отца, – и видишь, ты забыл свое настоящее имя, и сделался кухаркиным сыном, и зовут тебя Гришкой. И ты забыл, кто ты, и не вспомнишь, пока я этого не захочу.

– Кто же я? – спросил Гришка.

Смеялась Турандина. В ее васильково-синих глазах горели недобрые огоньки, как в глазах у молодой, еще не уставшей колдовать ведьмы. Тонкие пальчики Турандины сильно сжимали Гришкино тонкое плечо. Она говорила, дразня его, тоном маленькой уличной девчонки:

– А вот не скажу! Ни за что не скажу! Догадайся сам! Не

скажу! Не скажу! Не догадаешься сам, – так и останешься Гришкой. Слышишь, кухарка Аннушка кличет тебя. Поди, поцелуй ее ручку. Иди скорее, а не то, она тебя прибьет.

Гришка прислушался, – из кухни раздавался сильный голос матери:

– Гришка, Гришка, куда ты, пострел, запропастился?

Гришка поспешно вскочил с подоконника, и бросился в кухню. Он знал, что если мать зовет, нельзя мешкать, – достанется. Теперь, тем более, что мать всегда бывает сердита, когда готовит обед, и особенно, когда на кухне бывает чадно и угарно. Померкли светлые покои принцессы Турандины. Навстречу Гришке плыл кухонный синий дым. Гришкина голова опять сразу заболела и закружилась, и опять ему стало томно и тошно.

Мать говорила ему:

– Поворачивайся живо, беги скорее к Милыгану, купи лимонных сухарей полфунта и кекс в шесть гривен. Живо, сейчас подавать чай надо, у барыни гости, – кого-то черт принес не вовремя.

Гришка сунулся было в коридор, достать чулки и башмаки, но Аннушка сердито крикнула:

– Ну, чего еще там! Сапоги трепать! Да и некогда, беги так, – чтобы одна нога здесь, другая там.

Гришка взял деньги, серебряный рубль, зажал его в горячей руке, надел шапку, и побежал вниз по лестнице. Бежал и думал:

«Кто же я? И как же это забыл свое настоящее имя?»

Надобно было бежать довольно далеко, за несколько улиц, потому что сухари и кекс велено было покупать не в той булочной, которая была напротив, в том же переулке, а непременно в другой, далекой. Барыня думала, что в этой булочной, которая близко, все скверно и все засижено мухами, а вот в той, далекой, которую она сама выбрала, все очень хорошо, чисто и необыкновенно вкусно.

«Кто же я?» – настойчиво думал Гришка. Мечты о прекрасной Турандине перебивались этим досадным вопросом. Пробегая быстрыми, легкими ногами по жестким тротуарам шумных улиц, встречаясь с чужими и обгоняя чужих, среди этого множества неприятных и грубых людей, куда-то торопящихся, толкающихся, презрительно посматривающих на голубенькую ситцевую Гришкину рубашку и на его коротенькие синие штанишки, Гришка опять чувствовал странность и нелепость того, что он, мечтающий о прекрасных дамах, знающий много милых историй, живет вот именно здесь в этом жестком сером городе, растет вот именно так, в этой чадной кухне, и все здесь так странно и чуждо ему.

Гришка вспомнил, как несколько дней тому назад живущий в том же доме, в двадцать четвертом номере, капитанский сын Володя звал его посидеть, поболтать на лестнице у их квартиры во втором этаже противоположного флигеля. Володя был одних лет с Гришкой. Он был мальчик живой и ласковый, и весело разговаривали мальчики, сидя на подоконнике. Вдруг открылась дверь, и Володина мать, кислая капитанша, показалась на пороге. Шурясь, оглядела с головы до ног вдруг струсившего Гришку. Протянула презрительно:

– Это что такое, Володя? Что тебе за компания этот босоногий мальчишка? Отправляйся в комнаты, и вперед не смей с ним знаться.

Володя покраснел, заговорил было что-то, – но Гришка уже побежал к себе, в свою кухню.

Теперь, на улице, он думал:

«Не может быть, что все это так. Не может быть, что я и в самом деле просто Гришка, кухаркин сын, и что со мною нельзя

знать хорошим мальчикам, капитанским и генеральским сыновьям».

И в булочной, той, далекой, покупая то, что велели, и чего ему не дадут, и на обратном пути, Гришка то принимался мечтать о прекрасной Турандине, мудрой и жестокой, то опять возвращался к странной действительности, окружавшей его, и думал:

«Кто же я? И как же мое настоящее имя?»

Мечтал, что он – царский сын, что гордый чертог его предков стоит в стране прекрасной и далекой. Он заболел тяжким недугом давно, и лежит в своей тихой опочивальне, под золотым своим балдахином, на мягкой пуховой постели, покрытый легким атласным покрывалом, и бредит, воображая себя кухаркиным сыном Гришкою. Открыты настежь окна его опочивальни, доносится иногда к больному сладкий дух цветущих роз, и голос влюбленного соловья, и плеск жемчужного фонтана. А у изголовья постели сидит его мать, царица, и плачет, и ласкает своего сына. Глаза у царицы ласковы и печальны, и руки ее нежны, потому что она не стряпает, не шьет и не стирает. Если и делает что милая мама – царица, так только вышивает цветным шелком по золотой канве атласную подушку, и из-под ее нежных пальцев выходят алые розы, и белые лилии, и павлины с длинными, глазастыми хвостами. И плачет о том, что милый сын ее тяжело болен, что он, открывая порою мутные от болезни глаза, говорит непонятное что-то странными словами.

Но настанет день, и очнется сын царицы, и встанет со своего роскошного ложа, вспомнит кто он и как его зовут в родной стране, и засмеется.

Радостно стало Гришке, когда он домечтал до этого. Он побежал еще быстрее. Ничего не замечал вокруг себя. Вдруг неожиданный толчок заставил его опомниться. Он испугался прежде, чем успел понять, что с ним случилось.

Мешок с покупками из рук его выпал, тонкая бумага разорвалась, и желтые лимонные сухарики рассыпались по избитым и засоренным серым плитам тротуара.

– Скверный мальчишка, как ты смеешь толкаться! – визгливо кричала на Гришку высокая, полная дама, на которую он набежал.

От нее пахло противными духами, к ее сердитым маленьким глазам был приставлен противный черепаховый лорнет. Все лицо ее было противное, грубое и сердитое и наводило на Гришку страх и тоску. Гришка испуганно смотрел на барыню, и не знал, что делать. Ему казалось, что уж дворники и городовые, страшные фантастические существа, идут со всех сторон, и вот-вот схватят его и потащат куда-то.

Шедший рядом с барыней молодой человек, слишком щегольски одетый, в цилиндре и в перчатках противного желтого цвета, смотрел на Гришку разъяренными, выгаращенными, красными глазами, – весь он был красный и злой.

– Хулиганишка негодный! – процедил он сквозь зубы.

Небрежным движением сбил с Гришки шапку, больно подергал его за ухо, отвернулся и сказал барыне:

– Пойдемте, мамаша. С этой дрянью и не стоит связываться.

– Но какой дерзкий мальчишка! – шипела барыня, отворачиваясь. – Грязный оборвыш, туда же толкается! Это прямо возмутительно! По улицам спокойно идти нельзя! Чего полиция смотрит!

Барыня и молодой человек, сердито переговариваясь, пошли проч. Гришка поднял свою шапку, подобрал и запихал кое-как в лохмотья бумажного мешка рассыпавшиеся лимонно-желтые сухарики, и побежал домой. Ему было стыдно, и плакать хотелось, но он не заплакал.

Уже не мечтал о Турандине, и думал:

«Она такая же злая, как и все здешние люди. Она навела на меня страшный сон и никогда мне не проснуться от этого сна и не вспомнить мне вовеки моего настоящего имени. И не узнаю никогда взаправду кто же я».

«Кто же я, посланный в мир неведомой волей для неведомой цели? Если я – раб то откуда же у меня сила судить и осуждать и откуда мои надменные замыслы? Если же – более чем раб, то отчего мир вокруг меня лежит во зле, безобразный и лживый? Кто же я?»

Смеется над бедным Гришкой, и над его мечтами, и над его тщетными вопросами жестокая, но все же прекрасная Турандина.

СМУТНЫЙ ДЕНЬ

Людмила Григорьевна Польшева вдруг почувствовала, что она влюблена.

Это случилось после нескольких лет жизни рассеянной и равнодушной, когда уже Людмила Григорьевна забыла своего первого мужа, когда уже она устроилась с двумя своими детьми, мальчиком и девочкой, так удобно и приятно, что они были с ней, если она хотела быть с ними, но нисколько ей не мешали.

Чувство неожиданной влюбленности было ей странно, и не совсем даже приятно, потому что и радость может иногда не радовать подобных ей людей, – людей приблизительного понимания жизни, приблизительного образа мыслей и даже приблизительной паружности и приблизительного возраста.

Есть порода людей, очень распространенная, и даже, быть может, господствующая в нашей жизни, дающая ей общий неопределенный тон, – ни слишком темный, ни слишком светлый, ни горячий, ни холодный. Мир наш, лежащий во зле, не хочет яркой окраски, резких характеров, определенных личностей; он хочет быть тусклым, серым, не обращающим на себя внимания, не кидаящимся в глаза, одним словом, приличным. Делать то же и так же, что делают и как делают все порядочные люди; быть похожим на всех людей своего круга; забывать все то, что уже не надобно, и брать все то, что берут, как приличную новость, другие, – вот вся несложная мудрость этой толпы, этого облака людской пыли.

Людмила Григорьевна с детства была приучена жить по этому благоразумному кодексу. Воспитывалась она, как все девицы среднедворянских, среднебогатых семейств: имела в свой черед бонну, потом гувернантку–англичанку; носила платья, сообразно возрасту и моде, – сначала покороче, потом подлиннее; находила, что природа, – в их имении, или на даче в Павловске, или в Ницце, – прекрасна; любила музыку; рисовала весьма недурно. Сообразно общему духу своего времени, она была несколько свободна в обращении и в разговорах, и говорила иногда, всегда кстати, – то дерзости, то наивности. Вышла она замуж рано и, года через четыре внезапно овдовев, носила она траур очень красиво, и траур был ей к лицу. Да и всегда она одевалась к лицу, изящно, просто, красиво, модно и

дорого.

Когда дети стали подрастать, а траур подходил к концу, Людмила Григорьевна подумала, что ей следует заняться чем-нибудь общественным. Она начала благотворительным искусством, — устраивала в больших, нарядных залах большого, богатого города вечера с участием знаменитостей в пользу каких-то школ и приютов.

Потом ей показалось, что в новом искусстве есть какая-то особая, пряная сладость, пригодная и для нее самой. Ей сказали, что вот эти художники стоят в искусстве высоко, а эти еще выше, а вот те — на средних местах, а еще иные — малого стоят; ей объяснили и то, какая разница между искусством, слепо копирующим жизнь, и другим искусством, творящим из жизни очаровательные легенды для того, чтобы силой вложенных в них чар была преобразована и сама жизнь. Все это она точно запомнила, и ошибалась редко.

Но душа Людмилы Григорьевны еще спала, убаюканная серым единообразием дней и поступков, и она не могла понять, — хотя, конечно, и не признавалась в этом, — чем же Леонардо да Винчи сильнее, чем Гвидо Рени или Брюлов. Впрочем, танцы последовательниц Айседоры Дункан очаровали ее, и она сама стала усердно учиться этим танцам, свободному, радостному искусству.

Беседы с художниками и артистами привели ее к тому, что она стала интересоваться литературой. В этой области все было приблизительно легко, что касалось книг иностранных. Ибсен и Метерлинк, Кнут Гамсун и Габриэль д'Аннунцио, Оскар Уайльд и Анатолий Франс, и еще несколько других были, бесспорно, признаны всеми. А вот в русской литературе все было совершенно приблизительно. Впрочем, и здесь отчасти помогало то, что вот такие-то имена были теперь в моде, и вот такие-то пьесы шли на многих сценах с блистательным успехом.

От книг, написанных для легкого чтения, от всех этих романов и рассказов так естественно было сделать переход к тем книгам, о которых говорили много, и в которых говорилось не о приключениях сочиненных людей, Генриет и Аграфен, а о том, что знают и что думают их авторы о книгах, об искусстве, о религии, о философии. Притом же, нельзя было не бывать на тех собраниях, где известные, а иногда и неведомые, но умные и талантливые писатели и ученые спорили друг с другом о вопросах, тогда их занимавших.

Людмиле Григорьевне, как и прочим дамам и кавалерам приблизительного образа жизни, всем этим адвокатам, врачам, инженерам, артиллеристам, морякам, коммерсантам, фабрикантам, живущим и думающим, как все, было весьма интересно послушать, что говорят ученые и писатели о церкви, о свободе совести, об искании Бога, о новом искусстве. Ей казалось, что все эти обильные речи, которые она выслушивает, чрезвычайно расширяют ее умственный горизонт, приобщают ее к какой-то общественной, умной жизни, — вообще, придают какую-то значительность ее существованию.

Когда же Людмила Григорьевна влюбилась, ей вдруг показалось, что все это не то, что надо человеку, что все это, словесно-красивое и ораторски-пышное, есть только «пленной мысли раздражение». А что надобно человеку, — она еще не знала, да и не могла узнать, потому что людям приблизительного жизни, пока не горит в каком-нибудь великом пламени постылая их приблизительноность, дано иметь обо всем только приблизительноные познания. да и не о всем даже, а только кое о чем, неважном и второстепенном.

На одном из таких религиозно-философских собраний познако-

милась Людмила Григорьевна с тем человеком, который вскоре овладел ее сердцем. И с того же самого вечера стала она чувствовать смутное, но все возраставшее недовольство своей жизнью.

Тот, кого она полюбила, приват-доцент Иван Андреевич Ковровский, был тоже человек приблизительной жизни. В наследство от родителей он, когда еще был студентом, получил имение и капитал, процентов с которого пехватало на ту жизнь, которую он вел. Он писал статьи, обличавшие в нем большую эрудицию, но основные мысли этих статей всегда кем-нибудь немедленно же и с такой же эрудицией опровергались. Читал лекции, очень ученые, но по слишком специальным вопросам. Редактировал книги людей, давно истлевших в своих могилах, и за этот труд получал столько, сколько никогда не мечтали получать сами авторы. Одним словом, Иван Андреевич вел жизнь чрезвычайно деятельную и весьма полезную.

Сознание того, что он полезный общественный деятель и превосходный литератор, накладывало на его наружность и на его манеры отпечаток особой значительности. Хотя он уже приближался к сорока годам и был довольно красив, — приблизительно красив, — он был еще холост. Романов в его жизни было много, но все они кончались ничем. Привычка к приблизительности делала то, что ему ни разу не удавалось испытать настоящее, глубоко захватывающее душу чувство. Да и потребности в таком чувстве он не ощущал.

Любовь — как математика, такая же точная и такая же справедливая. Эти приблизительные люди, пока они остаются сами собой, такими, какими их сделала жизнь, по-настоящему полюбить не могут. Любовь хочет ни красивого лица, ни стройного стана, ни румяных щек, ни другой какой приметы, которую можно определить приблизительным словом. Любви нужно нечто, вносящее различие столь малое, столь слабо ощущаемое, что влюбленный никогда не может сказать, чем именно он очарован в предмете его любви. Он только чувствует неотразимо, всем существом своим что влечется вот именно к этому, что принимает вот именно это во всем его объеме, со всем тем, что есть в нем хорошего или дурного. И, если прибавить или убавить хоть одну йоту, хоть на одну незаметную черточку что-нибудь изменить, — уже исчезнет очарование, уже поблекнет милый образ.

Люди приблизительной жизни думают и чувствуют совершенно иначе. Потому так переменчивы бывают они в своих чувствах.

К числу таких людей принадлежал всю эту значительную по времени часть жизни своей и Иван Андреевич Ковровский, принадлежал к ним до встречи своей с Людмилой Григорьевной. Когда же он влюбился в Людмилу Григорьевну, что-то медленно, но верно стало изменяться в его сознании и в его чувствах. Может быть, это происходило потому, что подобное же изменение началось и в душе Людмилы Григорьевны, и заражало его.

Сначала совершенно такая же приблизительная, как он, она начала становиться иной. И началось это с того, что она начала делать то, что людям ее круга казалось странным. Завела знакомство с людьми, которые раньше у нее не бывали. Стали порой приходиться к ней люди, одетые так бедно, что швейцар ворчал. Она сама появлялась в бедных, тесных квартирах, где курили ожесточенно и спорили шумно и страстно.

Однажды, в пасмурный зимний день, Иван Андреевич приехал к Людмиле Григорьевне. Он привез ей цветы, которые она любила, страстные, белые туберозы.

Людмила Григорьевна сидела одна. Читала. Была рассеяна и задумчива. Иван Андреевич рассказывал, пытался вовлечь ее в разговор. Она старалась говорить весело и любезно, но это плохо ей удавалось, и чаще всего в оживленный говор Ивана Андреевича она вставляла только краткие, почти односложные реплики.

Наконец, пользуясь правами той близости, которая уже установилась между ними, Иван Андреевич спросил ее:

– Вы, Людмила Григорьевна, сегодня не в духе? Расстроены чем-нибудь? Что-нибудь случилось?

Людмила Григорьевна тихо покачала головой, и сказала, улыбаясь слабой улыбкой, и с таким видом, как будто ей хотелось заплакать:

– Нет, ничего не случилось. Но это – правда, я все еще как-то не могу опомниться от этого впечатления, прийти в себя. Я прочитала удивительную страницу, и она взволновала меня чрезвычайно.

Улыбаясь, как всегда, любезно и слегка насмешливо, Иван Андреевич сказал:

– О, вы счастливая! Я уже давно потерял способность волноваться, читая книги, и над вымыслом слезами обливаться.

Людмила Григорьевна опустила глаза, словно смущенная его словами. Даже слегка покраснела. В своем смущении она была очень мила Ивану Андреевичу, и он нежно пожал и поцеловал ее руку, белую, тонкую, с длинными гибкими пальцами, – изнеженную руку праздной женщины.

– Нет, – сказала Людмила Григорьевна, – это не роман. Не знаю, вымысел это или быль. Это – рассказ о жизни, такой далекой, простодушной, прекрасной. О жизни не нашей, но более желанной, чем наша.

Слова ее звучали элегической, красивой грустью, и Иван Андреевич любовался ей. Но сам в ее тон впасть не мог, да и не хотел, и, когда Людмила Григорьевна замолчала, он спросил обыкновенным будничным тоном:

– Можно взглянуть?

Людмила Григорьевна застенчиво и молча протянула ему раскрытую маленькую книгу в красивом переплете. Это была «Одиссея», и раскрыта она была на том месте, где рассказывается, как милая царица Навсикая мыла одежды и потом играла в мяч со своими подругами на морском берегу в тот день, когда волны выбросили на этот берег мудрого странника Одиссея.

Иван Андреевич сказал неопределенным свойственным ему приблизительным тоном:

– Рассказ о том, как Навсикая мыла на берегу одежды.

Во многих случаях очень удобно было так говорить, чтобы собеседник не догадался, шутит ли говорящий, говорит ли серьезно.

– И вот этот рассказ, – тихо говорила Людмила Григорьевна, – необычайно взволновал меня.

– Я сидела вот здесь, у этого окна, смотрела на этот мутный день, на эти безобразные дома-коробки, в которых живут пленные люди, на экипажи, на прохожих, на всех этих различных людей, и принималась иногда плакать. Потом мне становилось стыдно самой себя, я вытирала слезы и спрашивала себя: «Да о чем же я плачу?» Такая глупая! О чем плачу, и сама ясно не пойму. И опять читала и перечитывала много раз все эти две милые страницы. Вот люди, какими должны быть люди. Какие они счастливые! А я, – когда я

даже хочу приблизиться к ним, я только перенимаю их позы, нарисованные на каких-то вазах. Платья себе заказываю по образцу их туник, – поддельные, жалкие в своей роскоши одежды! Подражаю знаменитой плясунье, и в душной гостиной, перед привычно-скучающими людьми, под музыку равнодушного ко всему на свете музыканта, на мягком ковре пляшу нагими ногами, – ногами и руками лгу.

– Лгу, потому, что то самое, что для них было жизнью, для меня только поза, притворство, ломанье на забаву толпе праздных людей. Всенародное искусство божественной пляски, вакхический восторг первоначальной свободы, – для меня только салонная забава. И так во всем, во всем. И я вижу ложь моей жизни, и завидую им, счастливым!

Пока Людмила Григорьевна так говорила, Иван Андреевич чувствовал смутное беспокойство. Усвоенные им привычки мысли заставляли его находить слова Людмилы Григорьевны странными, почти неприличными, – странны в них были, по его понятиям, собственно не самые слова, а серьезный тон и серьезное отношение к предмету речи. Если бы Людмила Григорьевна улыбнулась над простодушной Навсикаей, и полушутя позавидовала бы ее наивному веселью, этой уже недоступной для нас близости с природой, то еще это было бы понятно и не выходило бы из пределов общепринятого. Но думать об этом серьезно было странно. Это было похоже на каприз скучающей дамы.

«Надо куда-нибудь с ней поехать, – подумал Иван Андреевич, – развлечь ее».

Но, несмотря на эти мысли, в душе его почему-то возникло еще неопределенное сознание, что в чувствах Людмилы Григорьевны и в этом ее волнении над рассказом о Навсикае есть какая-то глубокая правда. Хотя он продолжал улыбаться, но улыбка его была неуверенная, и голос звучал неверно, когда он говорил:

– Первобытное счастье, наивная веселость этой девушки, – что в этом привлекает вас? Простая, грубая жизнь, мало потребностей, потому что и мало средств к их удовлетворению. Тонкая, сложная душа современного человека не могла бы удовлетвориться этой первобытной веселостью. Хотел бы я посмотреть на современную барышню, поставленную в те же условия, как эта Навсикая, она бы не выдержала и дня. И в самом деле, какая скука: благонравные домашние заботы, игры с подругами, первобытная, полуживотная страсть, очень здоровая и очень однообразная, потом жизнь с мужем, дети, хозяйство, – все, в сущности, как у нас, только все грубое, слишком простое.

Людмила Григорьевна с упрямым выражением в глазах досадливо покачала головой. Сказала:

– Не знаю, как вам передать ясно, что я думаю и чувствую. Так смутно я это ощущаю. Но как-то странно, что до этого дня я ни разу не задумывалась о том, как много лжи в моей жизни.

– Какая же ложь? – опять спросил Иван Андреевич.

С его лица сбежала улыбка и он имел недоумевающий вид человека, которому внезапно приходится оправдываться в чем-то, в чем он не видит никакой вины, и оправдаться в чем потому еще труднее, так как нет готовых аргументов, и приходится их изобретать заново.

– В чем ложь нашей жизни? – повторил он другими словами свой вопрос.

Людмила Григорьевна молчала, как будто она не находила слов или как будто не решалась говорить все то, что думает. Иван

Андреевич пожал плечами, сел против нее у окна, и говорил, как человек, приготовившийся разговаривать заскучавшего ребенка:

– В нашей светской жизни есть, конечно, много условностей, есть порядочная доля неискренности, но что же делать? Мы живем, как можем, и стараемся сделать жизнь нашу приятной и для себя, и для других.

– И все-таки, как мы ни стараемся об этом, – сказала Людмила Григорьевна, – жизнь наша не столько приятна, сколько кажется приятной. Вот я сижу у окна, и вижу много людей. Из них так много бедных, голодных, злых и несчастных! А мне здесь хорошо, как может быть хорошо только тому, кто думает только о самом себе.

– Это правда, – сказал Иван Андреевич, – все это есть, но если в нас есть эти великодушные чувства, то у нас есть и возможность дать им выход. Достаточно только заняться филантропией.

Теперь Иван Андреевич опять почувствовал себя спокойнее, потому что можно было говорить так, чтобы нельзя было понять, говорит ли он серьезно, или иронизирует.

Людмила Григорьевна почувствовала оттенок иронии в его словах. Она покраснела, быстро встала, и, порывисто ходя взад и вперед по комнате, говорила страстно:

– Не то, не то, не то! Совсем не то! Не хочу я этого! И никому не нужна наша благотворительность, и над нашей помощью смеется тот, кому мы ее оказываем. Все – ложь, все – неправда в нашей жизни!

Иван Андреевич спросил с недоумением:

– Чего же вы хотите от жизни?

– Не знаю, не знаю, – говорила Людмила Григорьевна. – Ничего не хочу, ничего не знаю. Вдруг почувствовала, что живу, как в тумане, как во сне каком-то. Только знаю, что все во мне и вокруг меня нехорошо, нехорошо! Все лживо, все скверно.

– Вы сегодня в дурном настроении, – сказал Иван Андреевич.

И ему стало приятно и удобно опять, потому что он подумал, что нашел верное объяснение.

Людмила Григорьевна засмеялась.

– Может быть, – сказала она, – но прежде, когда я бывала в дурном настроении, я все-таки думала и чувствовала иначе. Всегда был кто-нибудь виноват, на что-нибудь было досадно. А теперь я вижу ясно, что в мире виноватых нет. Никто не виноват, а мне тяжело. Не на кого досадовать, – напротив, я чувствую какую-то большую радость, когда думаю о том, что возможен рай на земле, что кто-то где-то на этой милой земле осуществляет своей жизнью очаровательно-наивные идиллии и сказочно-прекрасные легенды. В то самое время, когда я проливаю кровь, кто-то живет безгрешно и счастливо.

Иван Андреевич воскликнул полушутливо:

– Людмила Григорьевна, что вы говорите! В каких ужасных грехах вы признаетесь! Чью кровь вы проливаете?

– Ах, вы не хотите меня понять, – с досадой говорила Людмила Григорьевна. – Потворствовать, участвовать, не возмущаться, молчать, – разве это не все то же самое, что самой делать все эти ужасные дела, которые вокруг нас совершаются?

Иван Андреевич слегка смутился. Какое-то обвинение почувствовалось ему в этих словах. Он холодно сказал:

– Мы делаем все, что можно, что в силах сделать. Мы не ответственны за то, что таково теперь реальное соотношение сил.

– А я вам говорю, – страстно и волнуясь говорила Людмила Григорьевна, – что не надо делать нам того, что мы можем делать, и что мы делаем. Другое, совсем другое надобно, – то, чего мы не можем, не умеем, не хотим делать, но должны делать. Что-то, превышающее наши силы. Вчера был у меня Пряженцев. Говорил о том, как он был командирован в голодающие деревни. Раздавал там что-то, – что и как, и сам толком не знает. Разные анекдоты мне рассказывал. По его словам выходит, что все это – дикари какие-то, грубые и грязные, ленивые, потому и голодные. Очень обижался, что его мужички прозвали «барин со стеклышком», и что они не чувствовали к нему ни благоговения, ни благодарности. А я представляю себе, как противен был этот господин там, среди этих людей! Сколько злобы и негодования он должен был возбуждать!

– Но почему же? – спросил Иван Андреевич. – Он делал, что мог. А, впрочем, если представить его изящную, выхоленную фигуру в этой обстановке, то и правда, как-то тоскливо становится.

Людмила Григорьевна радостно сказала:

– Вот, вы и сами чувствуете, как все это неладно. Я раньше мало думала об этом, да и теперь мало думала, – мы все очень мало думаем о главном, об основном об оправдании всей жизни нашей. Так, живем привычной жизнью, изо дня в день. И думаем по привычке, и чувствуем по привычке. Но вот наступает час, и точно бабочка из своего кокона выходит в нас новая душа, пробуждается то, чего мы в себе не ждали и не знали. И не то, чтобы ясно я поняла что-то, а так, больше образами представляю себе. И осуждаю все это, что здесь.

Иван Андреевич стоял у окна, смотрел на смутно-темнеющую улицу и уже не думал, что Людмила Григорьевна капризничает, что она в дурном настроении. Какие-то новые для него, непривычно-значительные мысли рождались в его уме. Он сказал:

– Мы ничего не можем изменить в том, что вы говорите. Строй нашей жизни так для нас привычен, что мы ничего не можем.

– Не можем, или можем, – печально говорила Людмила Григорьевна, – не в том дело. С тех пор, как я осудила всю мою жизнь, уже я не могу продолжать то, что было раньше. Я должна что-то сделать.

Возвращаясь на минуту к привычному способу выражения, Иван Андреевич улыбнулся и сказал:

– Ну, что ж, возьмем да и переменим с этой минуты всю нашу жизнь. Но тотчас же он почувствовал, что эта шутка совсем неуместна. А Людмила Григорьевна как будто и не слышала его слов. Она говорила:

– Когда я подумаю о том, как много людей занято тем, чтобы служить мне, одевать меня, кормить, согревать, забавлять, украшать, – как много трудов совершается для одной меня, молодой, сильной и праздной женщины, – мне становится странно и стыдно.

Иван Андреевич сказал:

– Видно, что вы читали прилежно Льва Толстого. Он прав во многом, может быть, прав в самом главном, в самом существенном. Но его ошибка в том, что мы, на нашем уровне развития, не можем отказаться ни от одного из благ культуры, не можем отказаться от высокого искусства, от красоты и даже просто от удобств жизни, не только не можем отказываться потому, что привыкли ко всему этому и без этого будем страдать, но и не должны отказываться, не имеем права отказываться, потому что мы должны сберечь нашим потомкам все то, что создано трудами неисчислимого ряда поколений. Мы не

сеем выйти из истории и разорвать преемственность культуры. Мы получили богатое наследство, и если пользуемся им и находим в этом наше счастье, то на нас лежит и обязанность все это сберечь.

– Так, – сказала Людмила Григорьевна, – сберечь. И что же мы делаем? Не слишком ли скупо мы бережем все это? Отчего какая-нибудь босоногая Маланья доит коров и жнет в поле, а я лежу на кушетке и читаю то, что мне рассказывает Поль Бурже или Коллет Вилли о любви Армана и Генриетты? Арман и Генриетта очаровательны, умеют говорить превосходным французским языком, а Маланья и по-русски объясняется туго. А я, ничего не делающая, совсем никому ни на что ненужная женщина, я всеми своими силами, то есть моими деньгами, поддерживаю пустое, праздное существование Армана и Генриетты, которые, при всей изысканности никаких культурных ценностей не создают, и своему потомству никаких культурных благ не оставят, кроме каких-нибудь красивых безделушек да изящно переплетенных альбомов, в которых их внук с непочтительной улыбкой прочтет написанные выцветшими чернилами старомодные мадригалы, чувствительные, и глупые, глупые!

Иван Андреевич молча слушал ее. Он знал, что надо что-то возразить. Если бы он говорил не с ней, а со студентом или с курсисткой, то у него бы нашлось много аргументов. Но теперь он все их забыл.

А Людмила Григорьевна говорила:

– Земной рай, жизнь простая и очаровательная, прекрасная и разумная, и почему-то недоступная мне! Как верно в Евангелии сказано, что легче вдеть канат в игольное ушко, чем провести богатого через тесные ворота райских обитателей! Или, может быть, привыкать понемножку? Вот, пойду на кухню и испеку сама себе оладьи? Вот, летом пойду на речку босая, и выстираю свои платочки? И все это будет только смешно. Или раздать все имение своим нищим, и поступить классной дамой в институт? И это будет только смешно. Ничего, ничего мы не можем сделать. Только одно – умереть.

Иван Андреевич с удивлением увидел, что при этих словах Людмила Григорьевна вдруг стала радостна и весела. Щеки ее покраснелись, глаза заблестели, она быстро подошла к Ивану Андреевичу, охватила руками его шею, прижалась к нему, и говорила:

– Милый, милый, я вас очень люблю, я чувствую, что очень счастлива теперь с вами. Но разве надо длить счастье до тех пор, пока оно не наскучит! Милый мой, я уже не могу жить так, как жила раньше, – может быть, если вы любите меня, и вы не захотите длить эту неправую жизнь. Но что же мы можем? Мы так слабы, мы только одно можем, – умереть вместе. Ведь мы не верим в возможность для нас иной жизни, мы не можем войти в простодушный земной рай. Что же нам остается делать? Одно счастье – умереть вместе.

Иван Андреевич почувствовал теперь, что все то, что говорила Людмила Григорьевна, – правда. И еще он чувствовал, что он любит ее больше своей жизни. И потому, что он это чувствовал, душа его вдруг стала спокойной и радостной, как будто заразилась она радостью и восторгом любимой.

Ему не было страшно умереть, и от того, что в нем умер в эту минуту страх смерти, в нем воскресла такая жажда жизни, какой еще никогда он в себе не ощущал. Как-то быстро, одним взором, как будто вдруг прояснившимся, окинул он весь круг своей жизни, и осудил его, и уже чувствовал, что к этой жизни он вернуться не

может. И не было в нем страха ни перед жизнью, ни перед смертью,—одна только радость того, что есть на земле великие возможности.

Он нежно обнял свою милую и целовал ее в белый, прекрасный лоб и в ее алые, милые губы, и говорил:

— Мы не умрем никогда. Смерть не страшна, но мы будем жить для того, чтобы из жизни нашей создать очаровательную сказку, которой захотела твоя душа. Мы сожжем все то, что опутывает нас. Из лживой жизни нашей мы найдем исход, истинный, разумный и верный. То, что мы сделаем, не будет ни смешно, ни страшно, ни стыдно, — потому что мы будем вместе. Вместе с тобой. Вместе со многими. Жизнь вся перед нами, — жизнь, творимая по воле нашей, прекрасная, добрая, разумная.

Людмила Григорьевна подняла глаза, прижимаясь щекой к его груди, и он видел, что лицо ее радостно, что в глазах ее сияет неложное обещание счастья, — и он чувствовал, что она поверила ему.

И смутный день для них померк, и начался вечер нового дня.

А увидят ли они новый день, этого мы не знаем.

СЕРГЕЙ ТУРГЕНЕВ И ШАРИК

1

На улице Передонов встретил гимназиста Виткевича в обществе двух приехавших сюда над ними из большого города писателей, Степанова и Скворцова. С этими господами Передонов вчера познакомился в клубе.

Степанов печатался под именем Сергей Тургенев. Он писал стихи разные, — в духе упадка для славы, и марксистские для печати. Писал он и рассказы, тоже двойного содержания. Одни были для славы и никто и нигде их не печатал; они лежали в столе писателя, сохраняясь для потомства.

Другие рассказы помещались в газетах и в журналах довольно охотно. Случалось время от времени, что сочинителя уличали в слишком близком сходстве их с давно забытыми произведениями неведомых миру покойных писателей. Тогда Степанов менял псевдоним. Литературное имя Сергея Тургенева было еще пока не запятнано. Еще никто не успел открыть источников его новых вдохновений, хотя уже многие прилежные книголюбцы в захолустьях производили усердные изыскания в своем и чужом книжном хламе, чуя новую добычу.

Рассказчик Скворцов подписывался Шариком. Он считал себя самым новым человеком в России, и очень любопытствовал знать, что будет после символизма, упадочничества и прочих новых тогда течений. Шарик называл себя нитшеанцем. Впрочем, он еще не читал Нитше в подлиннике, по незнанию немецкого языка. О переводах же он слышал, что они очень плохи, и потому их тоже не читал.

Рассказы Шарик писал в смешанном стиле Решетникова и романтизма тридцатых годов. Герои этих рассказов всегда имели несомненное сходство с самим Шариком. Все это были необыкновенные, сильные люди.

В наружности обоих писателей было нечто родственное, хотя по первому взгляду и не казались они похожими. Шарик был детина длинный, тощий, рыжий, с косматыми волосами. Называл он себя обыкновенно парнем. Сергей Тургенев был короткого роста, румяный, бритый, немного плешивый. Он носил пенсне в оправе из варшавского золота и щурил глаза. В движениях Сергей Тургенев был суетлив и ласков. О себе он говорил:

– Я – поэт.

И блаженно щурился при этом.

Шарик очков не носил, а повадки имел преувеличенно грубые.

Одеты они были не плохо, но неряшливо. Шарик был в светлой блузе. Сергей Тургенев – в сером летнем костюме. У Сергея Тургенева в руках была тросточка, у Шарика – дубина в два аршина. Сергей Тургенев говорил томно. Шарик рубил и грубил.

Шарик и Сергей завидовали друг другу. Оба они считали себя кандидатами в российские знаменитости. Но они притворялись большими друзьями, руководимые одним и тем же коварным расчетом, – каждый из них старался сподить другого, и тем погубить его талант.

Недавно Шарик даже втравил Сергея Тургенева в поединок с аптекарем. Перед поединком и на поединке все были зело пьяны, – и дуэлянты, и секунданты. Стрелялись через платок, но повернувшись друг к другу спинами, в расчете, что пули облетят вокруг земного шара, и попадут, куда надо.

Пьянствуя и изыскивая новые способы к более удобному осуществлению своих коварных замыслов, приехали и в наш город два друга, Шарик и Сергей Тургенев. Здесь уже каждый из них считал себя близким к цели. Поэтому они чувствовали себя благодушно, дали себе маленький роздых, и хотя напивались ежедень, но не до излиха.

Прежде всех посетил писателей гимназист Виткевич. Он, как передовой гимназист, конечно, счел своей обязанностью познакомиться с писателями, и для них писал даже реферат о влиянии Словацкого на Байрона.

Еще раньше, чем писатели познакомились с Передоновым, они внезапно зажглись великим к нему любопытством. По рассказам Виткевича и других, он показался им человеком новым. Что-то могуче-злое зачуяли они в нем. Каждый из них сразу наметил его себе в герои следующего своего гениального романа. И в то же время, какой-то странной причудой своевольных умозрений, они видели в нем и привычный тип, «светлую личность»: начальство, мол, – директор гимназии, – его преследует.

Теперь писатели искали с ним встреч и разговоров с ним и о нем.

II

Встретились, поздоровались. Шарик сказал Передонову, показывая большим пальцем на Виткевича:

– Вот этот парнишка вас шибко хвалит.

– Он от вас приходит в пафос, – ласково сказал Сергей Тургенев.

Передонов промолвил угрюмо:

– Он понимает. Все здесь болваны, а он – малый ничего себе.

– А мы гуляли, – сказал Шарик.

– Теперь не время гулять, – угрюмо отвечал Передонов, –

пойдемте ко мне водку пить, да заодно пообедаем.

Писатели охотно согласились. Все пошло к Передонову. Виткевич сказал:

– А мы с господами литераторами на интересную тему говорили, о лежачих.

Шарик воскликнул:

– Да, вот говорят, – лежачего не бить! Что за ерунда! Кого же и лупить, как не лежачего! Стоячий то еще и не дастся, а лежачему то ли дело! В зубы ему, в рыло ему, прохвосту!

Он любовно посмотрел на Тургенева, прямо в его обрюзглое от продолжительного пьянства лицо.

– Горяченьких ему, мерзавцу! – согласился и Сергей Тургенев.

Он ласкал друга взором, и поглаживал его рукой по спине, худой и хрупкой, – так казалось Сергею Тургеневу, что уж совсем плох Шарик: от всяких излишеств нажил себе спинную сухотку. Шарик, с лаской в неверном голосе, спросил Передонова:

– Согласны, Ардашон Борисыч? Падающего надо толкнуть?

– Да, – отвечал Передонов, – а мальчишек и девчонок пороть, да почаще, да побольнее, чтобы визжали по-пороссячи.

– Зачем? – с болезненной гримасой спросил Сергей Тургенев.

Передонов ответил угрюмо:

– Чтобы не смеялись. А то и во сне смеются.

– Слышите! – в восторге вскрикнул Шарик. – Какие горизонты! Чтобы не смеялись! Это – нечто демоническое! Изгнать из этого пошлого детства этот пошлый, животный смех! Просвет вперед, и просвет назад! Какие два горизонта! Это – нечто сверхдемоническое!

Сергей Тургенев, между тем, напряженно думал, что бы ему такое сказать изысканное, тонкое и глубокое, – и придумал. И, с уважением к Передонову и к себе, он сказал:

– Да, это до отвращения прекрасно.

– Да, – подхватил Шарик, – или до восхищения гнусно. А Тургенев – то как здорово ляпнул: до отвращения прекрасно! Мой друг Тургенев, – да остроумнее его нет в России.

– И заметьте, – сказал Сергей Тургенев, – этот превосходный афоризм: до восхищения гнусно! Великолленно сказано! О, мой друг Шарик умеет находить удивительные слова. Россия еще о нем услышит.

В уме Сергея Тургенева запрыгали давно заготовленные отрывки из речи, которую он скажет, – о, верно, скоро, скоро! – над гробом Шарика.

Писатели сделали несколько шагов молча, улыбаясь радостно, восхищенные каждый своим умом и гениальностью. Виткевич шел рядом с ними мелкими шагами, и восторженно заглядывал в их блаженные лица. Шарик вспомнил о замечательном человеке, Передонове, и сказал:

– Славно вышло, что мы приехали в эту трущобу.

Передоновым Шарик мог восхищаться без зависти, – не писатель.

– Я тоже не жалею, – поддакивал Сергей Тургенев.

Передонов угрюмо сказал:

– Ничего тут нет хорошего.

– А вы! – воскликнул Сергей Тургенев.

Он любовно посмотрел Передонову в тупые глаза.

– Один я только и есть! – сказал Передонов скрбно. – Да и я скоро уеду. Буду инспектором, буду ездить по школам, мальчишек и девчонок пороть, а учительниц по мордам лупить, пока не надоест.

Сергей Тургенев восторженно воскликнул:

– Какая тоска в этих обетованиях.

– И какая сила! – подхватил Шарик. – Это выше Фомы Гордеева.

– В миллион раз выше, – согласился Сергей Тургенев.

Эти писатели любили сравнивать, и всегда радовались, если можно было, возвеличивая одного, заодно лягнуть другого.

– Фомы Гордеева нет, – сказал Передонов, – а Николай Гордеев – мерзавец. Он клячку жует и чертей в потолок лепит.

Шарик, улыбаясь, спросил у Сергея Тургенева:

– Он, – безумец, Тургенев? Да?

– Да, – согласился Сергей Тургенев, – но это – проникновенное безумие.

Передонов сказал:

– И Сашка Пыльников – мерзавец, а она его выпороть не захотела, его хозяйка.

– Кто такие? – осведомился Шарик.

Передонов отвечал:

– Гимназист тут есть один, квартирующий у вдовы такой, такая вдова есть, Коковкина. Смазливая лупетка, – говорят, – переодетая девчонка, жениха ловит. Я приходил к ним, спрашивал, а Сашка не признается. Выдрать надо было хорошенечко, а та, старуха–то, и не захотела. Вот бы вы ее пропечатали, шельму старую.

– Да, – согласился Шарик, – буржуазно–либеральную пошлость надо опрокидывать всеми способами. Пошлого буржуа надо ошеломлять, чтобы он глаза выпучил, – его надо прямо кулаком в брюхо.

Шарик внезапно сделал выпад правой ногой, и ткнул кулаком Сергея Тургенева в бок.

– Легче! – воскликнул Сергей Тургенев. – Ты этак меня убьешь. Не забывай, пожалуйста, что я – Тургенев.

Шарик саркастически усмехнулся, и значительно произнес:

– Сергей, а не Иван.

Сергей Тургенев поморщился.

– Ну, это к делу не относится, – сказал он. – А только вот что я вам, господин Передонов, скажу: нельзя напечатать, что эта госпожа протестовала, а придется все изобразить символически, то есть, наоборот. Мы напечатаем, что она совершила экзекуцию над гимназистом по своей собственной инициативе, на почве своего необузданного азиатского деспотизма. Такая репродукция этого инцидента будет соответствовать гуманным принципам нашего органа печати.

III

Передонов громко зевнул. Ему было все равно, но разговоры ему уже надоели. Он сказал угрюмо:

– Улица торчком встала.

Писатели поглядели вперед. Улица поднималась на невысокий холм, и за ним опять был спуск, – и перегиб улицы между двумя лачужками рисовался на синем, вечерющем и печальном небе. Тихая область бедной жизни замкнулась в себе, и тяжело грустила, и томилась. И даже писателям стало грустно, как бывает иногда вдруг скучно слабым и усталым детям.

– Да, яма, – сказал Шарик, и свистнул.

Сергей Тургенев молчал, томно склонив голову. Он думал, что его печаль – печаль великой души, томящейся в бедных оковах

лживого бытия, и гордился этой своей печалью.

Деревья дремно свешивали ветки через заборы, и заглядывали в лица проходившим, и подслушивали, и мешали идти, и шепот их был насмешливый и угрожающий. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова.

Вдруг из-за угла послышался блеющий смех, выдвинулся Володин, и подошел здороваться.

Передонов смотрел на него мрачно, и думал о баране, который сейчас стоял здесь, и вдруг его нет.

«Это, – думал Передонов, – конечно, Володин оборачивается бараном. Не даром же он так похож на барана, и не разобрать, смеется ли он, или блеет».

Эти мысли так заняли Передонова, что он совсем не слышал, что говорили, здороваясь, Володин, писатели и Виткевич.

– Чего лягаешься, Павлушка! – тоскливо сказал Передонов.

Володин осклабился, заблеял и возразил:

– Я не лягаюсь, Ардальон Борисыч, – а изволю здороваться с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками лягаются, а у меня на родине ногами лягаются, да и то не люди, а с позволения сказать, лошадки.

Передонов проворчал:

– Еще боднешь, пожалуй.

Володин обиделся, и дребезжащим голосом сказал:

– У меня, Ардальон Борисыч, еще рога не выросли, чтобы бодаться, а это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня.

Писатели слушали его и посмеивались.

– Да он у вас – шустрый парень, – сказал Шарик с любезной улыбкой в сторону к Передонову.

Передонов сердито говорил:

– Язык у него длинный, – мелет, чего не надо.

Володин немедленно возразил:

– Если вы так, Ардальон Борисыч, то я могу и помолчать.

И лицо его сделалось совсем прискорбным, и губы его совсем выпятились. Однако, он шел рядом с Передоновым, – он еще не обедал, и рассчитывал сегодня пообедать у Передонова: утром, на радостях, звали.

IV

Дома ждала Передонова важная новость. Варвара выбежала в прихожую и закричала:

– Кота вернули!

Испуганная, она не замечала гостей. Наряд ее был, по обыкновению, перяплев; – засаленная блуза над серою, грязною юбкою, стоптанные туфли, пыльные чулки клюквенно-кисейного цвета. Волосы не чесанные, растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову:

– Ирешка-го! Со злобы еще новую штучку выкинула.

Опять мальчишка прибежал, принес кога и бросил, а ушка на хвосте гремушки. Кот забился под диван и не выходит.

Передонову стало странно.

– Что же теперь делать? – спросил он писателей. Сергей Тургенев отвечал:

– Прежде всего, будьте любезны отрекомендовать нас вашей супруге.

Так как Передонов стоял неподвижно, то Сергей Тургенев сам подошел к Варваре, галантно шаркнул, схватил себя за галстук и назвал:

– Литератор Сергей Тургенев, позвольте отрекомендоваться. Прошу великодушного извинения, что вторгаюсь в ваш семейный очаг, может быть, несвоевременно.

Варвара ухмыльнулась, подала литератору потную, пыльную от возни с котом руку и сказала:

– Приятно познакомиться. Уж только вы меня извините, что я в таком затрапезе. Вот, по хозяйству занималась.

Выступил и Шарик, откашлялся и громко сказал:

– Писатель Скворцов, Шарик. Просто Шарик. Вся Россия знает Шарика.

Варвара ухмыльнулась и ему и тоже пожала его руку.

– Павел Иванович, – попросила она, – вы помоложе, – турните его из-под дивана. Да уж и вы, Виткевич, помогите.

Володин сказал, хихикая:

– Турнем, турнем.

И пошел в зал.

– Турнем, тетенька, не беспокойтесь, – сказал Виткевич, подмигнул нахально Варваре и, проходя мимо нее, толкнул ее, словно невзначай, локтем.

Писатели переглянулись. Шарик легонько свистнул.

Кота кое-как вытащили и сняли у него с хвоста гремушки. Передонов отыскал репейниковые шишки и снова принялся лепить их в кота. Кот яростно зафыркал и убежал в кухню. Писатели смеялись. Кот казался им символическим, – вот именно этот Передоновский кот. Передонов, усталый от возни с котом, уселся в своем любимом положении, – локти на ручки кресла, руки сложены на животе, пальцы скрещены, нога на ногу, лицо неподвижное и угрюмое.

V

Сергей Тургенев мечтательно поднял серые глаза к потолку, оклеенному бумажкою и сказал:

– Зеленоокие коты, любящие на кровлях, выше человеческого жилья, вот прообраз сверхчеловека.

Шарик презрительно усмехнулся.

– Ну, а по вашему как же? – спросил Сергей Тургенев.

Шарик задумался, покрутил правую рукою, отбросил со лба прядь волос и сказал:

– Видите ли, я не отрицаю красоты вашего определения. Вообще, вы мастер лаять такие поэтические словечки, в которых больше поэзии, чем правды. Да и, в сущности, к черту правду! Правда – ужасная мещанка, сплетница и дура. Но на этот раз я с вами положительно не согласен. Мне кажется, тут есть другая заковыка.

Сергей Тургенев, красный и от похвал, и от несогласия с тем, что Шарик скажет, спросил:

– Какая же, однако, заковыка?

– Видите ли, пессимизм... – начал было Шарик.

Но Сергей Тургенев резко и презрительно перебил его:

– Ну, нет-с, извините, пессимизм – пес, собака.

Шарик был поражен.

– Да, вы, конечно, правы, – сказал он. – Но я хочу вот что сказать, – коты мудры или нет?

Сергей Тургенев решительно отвечал:

– Мудры.

– Заметьте, – продолжал Шарик, – я веду речь только о котях, а не о кошках. Когда коты любят, они мучительно кричат. Отчего? Стрдание притаилось у истоков жизни, – и на всех улицах и дворах души, на всех кровлях жизни мяукает горькое страдание. Тем ужаснее и горестнее мяукает оно, чем пламеннее стремится к идеалу. Между блуждающими по кровлям котами робко крадется окрыленная песня поэта.

Сергей Тургенев воскликнул в восторге:

– Превосходно сказано! Мяукать! – какое символическое слово!

Передонов внезапно зевнул, и при этом угрюмое лицо его на миг озарилось выражением удовольствия, – сладко зевнулось!

– Как он демонически зевает! – задумчиво сказал Сергей Тургенев, – как глубоко символична эта мрачно зияющая реакция на банальную скуку пошлой жизни.

Варвара вдруг разразилась дребезжащим смехом, и сказала:

– Ну, будет вам валять петрушку! Вот, ешьте лучше вишни.

Володин возразил:

– Вишни вишнями, только вы, Варвара Дмитриевна, не мешайте нам побеседовать. Мы к вам на кухню не ходим, когда вы нам покушать стряпаете, а вы нам не мешайте об ученых предметах послушать.

VI

Шарик и Сергей Тургенев заговорили с Варварой, и кривлялись при этом, сразу заразившись неуважением к ней. Они видели ее первый раз, но она напоминала им что-то знакомое и общедоступное. Шарик подмигнул Сергею Тургеневу на Варвару и спросил его:

– Похожа на Эмму, там, у Лисицы, не правда ли?

Сергей Тургенев без зазрения пристально оглядел Варвару, и сказал:

– Да, но еще больше на Женю в старой Японии.

– Ну, я там не был, – высокомерно отвечал Шарик.

Варвара ухмылялась.

– Какие такие Эмма да Женя? – спросила она. – Знакомые, что ли?

Шарик, ухмыляясь с особою многозначительностью, сказал:

– Да, около того, что знакомые.

– Девочки, – мечтательно сказал Сергей Тургенев, и нежно прибавил: – Бедные девочки!

– Что же у вас такие бедные знакомые? – ухмыляясь спросила Варвара.

Шарик развязно отвечал:

– Мы, тетенька, и сами, – вошь в кармане, блоха на аркане.

Варвара обиженным голосом сказала:

– Какая я вам тетенька! Разве вы меня за старуху считаете?

– Совсем даже напротив, почтенная матрона, – галантно отвечал

Сергей Тургенев, – а просто из почтения.

– Лопни моя утроба, только из почтения, маменька, – сказал и Шарик.

Варвара с хохотом отвечала:

– Нужно мне ваше почтение! Вот еще, невидаль какая!

Вмешался в разговор и Виткевич.

- Почтение, бабушка, всякому лестно. – сказал он нагло.
 Но Варвара сразу оборвала его:
 – Ну, вы, молокосос, туда же.

VII

Сергей Тургенев, улыбаясь и мечтательно закатывая под лоб тусклые глазенки, запел приятным тенорком:

Прелестная Эмилия,
 Друг выше всех похвал,
 С тобой мне жизнь идиллия
 Была, мой идеал.

Хитрые, серые глаза его выражали не то удовольствие, не то насмешку.

Шарик слушал с презрительной улыбкою и, наконец, преувеличенно громко и неестественно засмеялся. Сергей Тургенев сказал:

– Нет, право, это даже трогательно. Здесь есть что-то такое наивное, первоначальное, – одним словом, почти прерафаелитское.

Шарик призадумался.

– Да, пожалуй, – согласился он, – но все-таки ерундисто. Сергей Тургенев воскликнул:

– Конечно! В сущности, идиотски глупо, но это-то и хорошо. Это мы здесь на кладбище списали, – объяснил он Передонову. – И вообще тут у вас много есть забавных вывесок в городе. У меня записано кое-что. Вот я вам прочту.

Он достал из бокового кармана засаленную и растрепанную записную книжку и принялся читать свои выписки:

«Мочала и рогожи.»

«Харчевня на двадцать четыре лошади.»

«Лавка с мехом.»

«Школа для мальчиков и девочек обоего пола.»

«Полотер и монтер дешевого просвещения.»

«Шароварня для мужчин.»

«Чай, сахара, мыла и муки.»

«Музыкальные фортепьяны.»

Писатели смеялись, Варвара ухмылялась, Виткевич визжал от восторга, Передонов смотрел на всех туго и изредка отрывисто хохотал.

Сергей Тургенев, вдруг становясь серьезным, сказал Шарiku:

– А знаете, я эту эпитафию вставляю в мою поэму.

– Да, это идет, валяйте, – согласился Шарик. – Вы знаете, господа, Тургенев задумал накатать поэму. Это будет важнецкая вещь!

– Да, если мне удастся выразить то, что я хочу, – скромно сказал Сергей Тургенев.

Шарик сказал торопливо:

– Конечно, удастся!

Вообразите, это – велико-мистическая штука, а там будет не Демон, не Сатана, – что черти! вздор, чужь, распрочепушенция! – нет, великий, враждебный всему идеальному дух, которого Тургенев назвал Баналом. А, каково название!

Сергей Тургенев скромно улыбался, как улыбается гений, уверенный в величии своего замысла.

– Да, – сказал он застенчиво, – это будет очень интересное и глубокое по мысли творение. Я уже посвятил его вечности и потомству. Это будет истинный chef d'oeuvre.

Передонов вдруг захохотал. Сергей Тургенев вздрогнул и с ненавистью посмотрел на Передонова.

VIII

На вечеринке у Грушиной Шарик, увидев, что дамы смотрят на них, сказал:

– Какие пошлые сны шляются в этом затхлом городе! Тургенев, расскажите им ваш сон об аллее вещей птиц. В нем аховое настроение.

Сергей Тургенев мечтательно улыбнулся, поднял глаза к потолку и заговорил томным голосом:

– Я видел сон. Не все в нем было сном. Аллея, длинная, без конца. У всех деревьев отрублены вершины. Между каждою парюю деревьев цветет мистический огонь. На каждом дереве сидит таинственная, вещая птица, сидит и хлопает глазами. Благое настроение! Но нет, друг мой Шарик, – говорил он, изнемогая от истомы, – они не поймут. Они не могут этого понять!

Передонов шептал:

– Аминь, аминь, рассысья!

Уже завидовал Шарик сну Сергея Тургенева. Он выдумывал свой сон, чтобы затмить все раньше рассказанные, – сон явно неправдоподобный, с множеством подробностей. В этом сне были и ширококрылый орел, – сам Шарик, – и змея, и ворон, и кроваворотые тюльпаны, распустившиеся на лазорево – голубых куртинах. Но Рутитлов внезапно помешал его рассказу.

– А я так никогда снов не вижу, – сказал он, – а и увижу, так сейчас же забуду. Стоит помнить, право!

Рутитлову захотелось поддержать перед заезжими писателями достоинство образованного человека.

Сергей Тургенев спросил его, пожимая плечами:

– Отчего же?

– Да я в сны не верю, – сказал Рутитлов. – Мы ведь хоть в провинции живем, а все-таки не совсем одичали.

Сергей Тургенев отвечал ему высокомерно:

– Конечно, не всякой душе дано сонрикаяться с вечными проблемами бытия.

Рутитлов, чувствуя себя уязвленным словами писателя, сказал:

– Только мужичье в сны верит. Образованным людям не пристало такое суеверие.

Шарик язвительно улыбался.

– Помировенность! – злобно сказал он.

Сергей же Тургенев, довольный тем, что рассказал свой сон, был настроен теперь благодушно. Он провел рукою по волосам и сказал:

– Нет, я не смеюсь над народными суевериями. Народные предания близки мне: я – внук простонародья, я – племянник ворожащего горя, я – родич всероссийского скитальчества и ведовства. Вещными снами обнеяна моя колыбель. Мое сердце верит во все эти сказки. О, я безумен! Сегодня же мне еще снилось, – я был царевич, прекрасный, юный: мои очи сияли, как звезды, мои кудри рассыпались по плечам золотым каскадом, на моих устах цвели

розы, – прелестные девы целовали мои руки устами легкими, как сон.

В это время Передонов опять внезапно и громко зевнул и перекрестил рот, крадучись, чтобы не видели.

IX

Запахло съестным. Грушина позвала гостей в столовую. Все пошли, толпясь и жеманясь. Расселись кое-как.

Писатели сели рядышком. Грушина потчевала их.

– Кушайте, пожалуйста. Чего вы желаете?

Сергей Тургенев усмехнулся меланхолически, принял вдохновенный вид и сказал:

– Чего я желаю? Но мои желания ненасытны... Я бы желал вспорхнуть, как радужно-крылая птица, и лететь и лететь...

Шарик угрюмо заявил:

– А я желаю дать в морду какому-нибудь мерзавцу.

Сергей Тургенев возразил:

– Нет, я хочу иметь женщину, безумную, как я! С рыжими волосами, с глазами зелеными и дикими, длинную и гибкую, как змея и такую же злую.

X

Писателям одновременно пришла в голову одна и та же блистательная затея. Они перемигнулись, встали из-за ужина, отошли к сторонке и заговорили очень горячо. Они оба враз уговаривали друг друга жениться на Грушиной.

Сергей Тургенев говорил:

– В ней есть что-то вакхическое. Ей недостает только тирса и леонардовой шкуры.

Шарик отвечал:

– Я, право, не прочь бы. Но, по-моему, вам она больше подходит.

И оба наперерыв выхваляли Грушину. Каждый из них думал погубить своего приятеля этою женитьбою.

XI

В передней Рутитов говорил со смехом:

– Что ты так кутаешься. Ардальон Борисыч? Ведь тепло!

Передонов ответил:

– Здоровье всего дороже.

Сергей Тургенев возразил мечтательно:

– Нет, всего дороже слава.

Шарик поправил его:

– Честная слава!

– О, все равно! – сказал Сергей Тургенев, – ведь и убийство может быть красивым жестом.

В тот день, когда Передоновы собрались делать визиты, — что у Рутитовых было, конечно, заранее известно, как и всякие другие новости, — сестры отправились к Варваре Николаевне Хрипач, из любопытства, посмотреть, как-то Варвара поведет себя здесь.

У Хрипачей уже сидели в тот день писатели Шарик и Тургенев. Они изучали правы, а потому старались везде бывать. Заговорили о последней городской новости, о женитьбе Передонова и вообще об его странностях.

— Кстати, — сказала Людмила, — какой у вас красивый мальчик есть в гимназии, Саша Пыльников, — писанный красавец!

Варвара Николаевна удивилась, — ей показалось, что это не вовсе кстати, и переход от Передонова к смазливому мальчику был ей непонятен, а потому казался даже несколько неприличным.

— Я их, право, не знаю, никого, — сказала она. — Их так много, и я не имею к ним никакого отношения.

— Он у вас — новый, — сказала Людмила.

— Да? Но я и старых не знаю, подавно новых, — возразила Варвара Николаевна.

— И это тот самый мальчик, которого Передонов принял за девочку, — сказала Людмила.

— Ах, вот! Да, я что-то слышала, — неохотно протянула директорша.

Тургенев лукаво улыбался.

— Ваш Передонов, — сказал он, — несколько грубо выразил то, что есть. Гипотеза о том, что в гимназию поступила переодетая девочка, конечно, не выдерживает критики. Но все-таки вы не знаете, кто он.

Директорша благосклонно улыбалась. Она ожидала, что писатель скажет что-нибудь остроумное и веселое.

— Вот, просто мальчишка! — сказала Даря, — только смазливый.

— Не совсем так, — настаивал Тургенев.

— Ну, кто же он? спросила Людмила.

— Андрогин! — воскликнул Тургенев, и для чего-то поднял глаза к потолку.

Общее недоумение, — дамы не знали такого слова. Шарик перевел:

— Парень-девка.

— Но что же это значит? — спросила любопытная Людмила.

— Как вам сказать! — говорил Тургенев, — это, если хотите, высшее существо. В нем самоудовлетворение, гармоническое сочетание активного и пассивного элемента человеческого духа и естества. И даже не собственно сочетание, а синтез этих двух элементов. Каждый из нас представляет расщепленное существо. Совершенный же человек не есть муж, и не есть жена, и не есть муж и жена вместе, и не есть ни муж, ни жена. Эти два элемента в нем соединены, так сказать, химически, в некотором супернатуральном процессе, так что обычный физиологический путь упраздняется, как уже бесполезный, ни к чему не ведущий. Мы все — плодоносящие и добродеющие, а он уже и есть добросодеянный плод.

Он бы еще долго говорил, но Людмила вдруг захохотала. Директорша сдержанно улыбалась: она не могла понять, шутит писатель, или говорит серьезно, и потому на губах у нее была улыбка, а в глазах выражение не то задумчивой внимательности, не

то снисходительной сдержанности по отношению к чудачеству.

Хрипач внимательно прослушал и сказал:

– Это – остроумно, и в отвлечении, может быть, и возможно, как некоторая надежда, хотя еще смутно выраженная в иных современных веяниях. Но в применении к данному частному случаю это взято слишком высоко. Притом указываемый вами путь, супернатуральный или сверхчеловеческий есть в сущности путь антихристианский, а первоначальник этого пути, то есть антихрист, во всяком случае (Хрипач тонко усмехнулся), не может быть воспитанником правительственного учебного заведения.

Тургенев был обижен Людмилиным смехом, тем более, что вначале она слушала, по-видимому с сочувствием. Лукавая девчонка!

– Если моя гипотеза никому здесь не нравится, – сказал он, пожимая плечами, – то это только лишает вас некоторой ясной и возвышенной точки зрения на предмет.

XIII

Были на маскараде и писатели, Шарик и Сергей Тургенев. На обратном пути в столицу они опять приехали в наш город. Обрюзглые и пожелтевшие от пьянства, они, однако, казались еще молодцами. Крепкие были у них натуры, хоть и уверяли они своих доверчивых приятелей, что страдают болезнью "великого Надсона". Шарик был, как и всегда, в блузе.

– Это – интернациональный костюм, – объяснил он Володину. Все интеллигенты должны его носить.

Он сохранял на своем лице преувеличенно-насмешливое и угрюмое выражение. Он презирал эту веселящуюся толпу. Тургенев был любезнее. Он смотрел снисходительно.

– Есть нечто опьяняющее в банальных и глупых увеселениях толпы, – тихо говорил он Шарик, – впечатление такое, точно берешь грязевую ванну.

– Протобаналы! – сердито проворчал Шарик.

– Да, весь этот блеск скучен для меня, как чужая радость, – сказал Тургенев.

– Слушайте, Шарик, – как вам нравится это сравнение: скучный, как чужая радость? Я его вставлю в свою новую новеллу.

– Превосходно, – похвалил Шарик, – в самую точку потрафило. Действительно, чужая радость – зрелище изрядно-таки омерзительное.

Тургенев и Шарик пошли в буфет пить чай.

– Я набросал сегодня, – рассказывал Шарик, – критический этюд, содержание которого вас заинтересует.

– Понятно, – сказал Тургенев, – что вы написали, то не может быть неинтересно.

– Да, конечно, – согласился Шарик. – Так вот, моя тема – Некрасов и Минаев.

– Пфа! – презрительно сказал Тургенев.

– Подождите, – остановил Шарик, – я доказываю, что Некрасов, заметьте, фактически доказываю, – Некрасов завидовал Минаеву.

– Ого! – воскликнул Тургенев, и засмеялся, – невероятно, но мило, бесспорно мило.

– Да, да, завидовал, – убежденно говорил Шарик. – Да и нельзя, в сущности, не завидовать: зависть – необходимая принадлежность настоящего литераторского темперамента.

– Да, вы, может быть, правы, – задумчиво сказал Тургенев. –

XIV

Меж тем, в дверях буфетной собралась толпа. Смотрели на писателей, обменивались замечаниями. Это сердило Шарика. Он встал, нахмурился, почесал затылок, и произнес грубым голосом:

– Послушайте, эй, вы, субъекты, чего вам надо? Чего вы здесь не видали?

– Ш-ш, ш-ш, – раздалось в толпе, – говорит, говорит что-то.

Вдруг стало очень тихо, и Шариков голос раздавался беспощадно-ясно в этой предательской тишине:

– Я приехал сюда изучать ваши нравы, а вовсе не за тем, чтобы торчать перед вами чучелом гороховым. Я – литератор, а не водолаз, и не Венера голопузая. Глазеть на меня нечего, у меня такое же рыло, как и у всякого здешнего прохвоста, и пью чай я тоже ртом, а не носом и не другим каким отверстием.

– Ловко! – крикнул кто-то в толпе. Кто-то злобно зашипал, кто-то засмеялся. Шарик продолжал, все громче и сердитее:

– Мы с Сергеем Тургеневым сели чаю похлебать, а вы проваливайте, пляшите. Чем буркалы на нас пялить, вы лучше наши книжки внимательнее читайте, а то скоро корою зарастете, а не учухаете. Другие беллетристы только мои предтечи ... наши с Сергеем Тургеневым предтечи, – вот вы нас и читайте, учитесь уму-разуму, уж мы вас худому не научим.

Он отвернулся от толпы, сел, налил чаю на блюдечко, поставил блюдечко на распяленные пальцы, и нарочито-громко хлебнул. Пестрая толпа, рукоплещая оратору, со смехом расходилась. Слышались одобрительные возгласы:

– Ловко отделал!

– Ай да писатель!

– Этот за словом в карман не полезет.

– Ловкий малый!

– Так нам, дуракам, и надо!

– Чего, в самом деле, глазеть! Невидаль!

Чиновник с пенником махал своими прутьями, усиленно кривлялся, и приговаривал:

– Вот и баня. Знатно здесь парят нашего брата.

XV

Тургенев не сделал попытки остановить Шарика. Он сладко улыбался, и мечтал, что эта бестактная выходка попадет в газеты и осрамит Шарика. Когда зрители ушли, Тургенев сочувственно пожал Шарикам руки и сказал:

– Эта речь останется знаменательным фактом в вашей биографии. Запишите ее, пока не забыли, а то исказят.

– Да спасибо, навалаяю, – сказал Шарик, – я и сам чую, что это у меня здорово выперло.

– Знаете ли, – сказал Тургенев, – когда слышишь такие речи, то у души вырастают крылья, белые, острые, как у демонов.

– Это вы ловко придумали, – поощрил Шарик. – Мы с вами сегодня в ударе.

Тургенев сделал мечтательные глаза и сказал:

– Сегодня, пока вы писали, я бродил в лесу, за городом. Я беседовал с цветами, с птицами, с ветром. Я был счастлив.

– Если взять с собою водки или рому, – сказал Шарик, – то в лесу распрееотлично.

– Нет, я не был пьян, – возразил Тургенев. – Душа моя родственна облакам, изменчивым и прекрасным. Вы видите на глазах моих слезы? Эти слезы – от избытка нежности.

ДАМА В УЗАХ

В картинной галерее одного московского мецената, великолепной галерее, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока еще мало кому известна, висит превосходно написанная и странная по сюжету картина мало прославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге эта картина обозначена названием «Легенда белой ночи».

Картина изображает сидящую на садовой скамейке молодую даму в нарядном, черном платье и в широкополой черной шляпе, с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка молодой дамы радостна; иногда же эта улыбка кажется бледною гримасою страха и отчаяния. Рук не видно, – они заложены за спину, и по тому, как она их держит, можно подумать, что руки у нее связаны. Стопы ее ног обнажены, – и это сочетание нарядного черного платья и белых небурых ног красиво, но странно.

Эта картина написана несколько лет тому назад, после белой ночи, проведенной ее автором, живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга.

Это было в конце мая, в один из очаровательно-теплых и ясных дней. Крагаева утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, позвали к телефону. Знакомый голос милой дамы говорил ему:

– Это – я, Омежина. Андрей Павлович, нынче ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу, ровно в два часа ночи.

– Да, благодарю, – начал было Крагаев.

Но Омежина перебила его:

– Итак, я вас жду. Ровно в два часа.

И повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно ровен и холоден. Это, а также и краткость разговора, очень удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, особенно с дамою, бывает всегда продолжителен, и милая эта дама не составляла исключения. Сказать несколько слов и повесить трубку, – это было неожиданно, и ново. И возбуждало любопытство. Крагаев решил быть аккуратным и приехать ровно в два часа. Заказал сейчас же автомобиль, своего еще не завел по причине больших и дорогих работ.

Крагаев был довольно хорошо, хотя и не близко, знаком с Омежиной. Это была вдова довольно богатого помещика, умершего внезапно несколько лет тому назад. Омежина имела независимое от мужа состояние: дача, куда она приглашала Крагаева, была ее

собственная. О ее жизни с мужем ходили в свое время странные слухи. Говорили, что он ее часто и жестоко бьет; дивились тому, что она, женщина состоятельная, терпит это и не оставляет мужа. Детей у них не было.

Ровно в два часа ночи автомобиль остановился у ворот дачи Омежиной. Крагаев дорогой чувствовал странное волнение.

«Будет еще кто-нибудь, или я один?» – думал он.

Хотелось быть одному. Около забора не было экипажей, и окна дома не были освещены. По-видимому, никого другого не было. Калитка около замкнутых ворот была открыта. Крагаев вошел. Повинуясь какому-то неясному предчувствию, он затворил за собою калитку на ключ. Пошел по песочным дорожкам к дому.

Знакомый голос, опять, как утром, странно-ровный и холодный, окликнул его.

– Андрей Павлович, я здесь.

Крагаев повернул в сторону, откуда слышался голос. На скамейке перед куртиной сидела Омежина, одета точь-в-точь так, как потом он изобразил ее на своей картине: то же черное платье, никаких украшений, черная шляпа с белым пером, и спокойные на сыроватом песке желтой дорожки белые ноги, и так же руки заложены за спину. Она улыбалась странною, неверною улыбкою, и говорила:

– Простите, Андрей Павлович, я не могу подать вам руки. Мои руки связаны.

Заметив движение Крагаева, она засмеялась и сказала:

– Нет, не надо развязывать. Так надо. Так он хочет. Нынче его ночь.

– Кто он, Ирина Владимировна? – осторожно спросил Крагаев.

– Муж, – спокойно ответила Омежина. – Сегодня – годовщина его смерти. Он умер ровно в два часа ночи. И вот, каждый год в этот час я опять отдаю себя в его власть. На этот год он избрал вас, чтобы вы пришли ко мне, и мучили меня.

Крагаев хотел сказать что-то, но Омежина остановила его легким движением головы, и сказала:

– Я вижу, вы удивлены. Вы готовы думать, что с вами говорит сумасшедшая. Нет, это не то. Послушайте, я вам все расскажу, и вы меня поймете. Не может быть, чтобы вы, такой чуткий и отзывчивый человек, такой прекрасный и тонкий художник, не поняли меня.

Когда человеку говорят, что он должен понять, потому что он – тонкий и чуткий человек, то, конечно, он захочет во что бы то ни стало понять. Захотел понять и Крагаев. И ему даже казалось, что он понимает душевное состояние молодой женщины. Следовало бы поцеловать, в знак сочувствия, ее руку, и Крагаев с удовольствием поднес бы к своим губам тонкую, маленькую ручку Омежиной. Но так как сделать это было неудобно, то он ограничился тем, что пожал локоть ее руки. Омежина ответила ему благодарным наклоном головы. Она говорила:

– Он был такой слабый человек, и так любил мучить. Тогда я не понимала, что заставляет меня подчиняться ему. Да и теперь не совсем понимаю. Как бы то ни было, я была перед ним, слабым и злым, как покорная раба. Он мучил меня, и я терпела.

Она спокойно и подробно стала рассказывать Крагаеву, как муж мучил ее. Говорила, как о ком-то чужом, словно не она претерпела все эти мучительства и издевательства. Так тих и ровен был ее голос, и такая злая зараза дышала в нем, что вдруг Крагаев почувствовал в себе дикое желание повергнуть ее на землю и бить ее, как муж.

Он ужаснулся, но скоро почувствовал, как в душе его умирает этот мгновенно-острый ужас, как все повелительнее разгорается в душе похоть к мучительству, – злая и мелкая отравка. Как будто самая душа его переродилась, и вместо души чуткого художника, тонко и благородно чувствующего и по-рыцарски поступающего, вошла в его тело изуродованная душа злого и слабого мучителя.

Омежина окончила свой рассказ.

– Вот, – сказала она, – я все это терпела. Но был злой день, когда я была так же слаба, как и он. Вытерпела по привычке его неистовства, а сама пожелала, чтобы он умер. Так сильно пожелала, всеми силами внезапно злой души. Не знаю, откуда в меня вошло это желание – я никогда не была ни злою, ни слабою. Но несколько дней я томилась этим подлым желанием. Сидела ночью у окна, смотрела на белую ночь, сжимала в тоске и злости свои руки, и думала: «умри проклятый, умри!» и он вдруг умер. Но не думайте, что я его убила. Он умер сам. А, может быть, силою желания я его убила? не знаю. Совесть не особенно мучила меня. Но каждый год, когда наступают белые ночи, тоска начинает томить меня, а в ночь его смерти и он сам приходит ко мне, и мучит меня. Каждый год кто-нибудь приходит ко мне в этот час, и словно душа моего мужа вселяется в тело моего случайного мучителя. Потом, после ночи ужасных мучений, тоска моя оставляет меня, и я возвращаюсь в мир живых. Так было каждый год.

Она смотрела на Крагаева, и на лице ее было то сложное и неопределенное выражение, которое он потом с таким искусством перенес на свою картину.

Бледный и злой, он схватил ее за плечо, и сказал странно-хриплым, жестоким голосом:

– Так было каждый год, – и сегодня с тобою будет не иначе. Иди!

И повел ее в дом, крепко держа за плечо. Вздрагивая от холода и сырости песчинок под голыми ногами, она шла покорно, и плакала...

СДАВШИЕСЯ

*Гарнизон Сахалина
сдался из-за недостатка
перевязочных мате-
риалов.*

Война кончилась. Пленные возвращались домой. Ехали на пароходе через моря и океаны, целыми неделями не видели берега. Разговоров было много, – было о чем поговорить.

На палубе океанского парохода любопытный молодой офицер расспрашивал возвращающихся солдат:

– Как же это так, братцы, сдались – то вы?

Рябой солдатик с добродушным лицом отвечал:

– Так точно, ваше благородие, были сдамшись, свет увидели.

– Ну, какой там свет! – недовольно говорит офицер. – Что же хорошего в плену сидеть, когда твои товарищи за родину сражаются.

– Ты не мели, лешева мельница, – подслушиваясь офицеру, говорит другой солдат, рыжий, со стриженными усами и лукавыми глазками, – а что сдамшись мы были, на то, ваше благородие, причина была, – провиант вышел.

Угрюмый хохот ворчит презрительно:

– Провиант! Жрали бы друг друга, нечем сдаваться, – вот тебе и провиант.

Солдаты хохочут. Рыжий солдатик сконфужен.

– А вот же и не догадались, – говорит он, хлопает руками по бедрам и при общем смехе скрывается в толпе.

– Ну, а ваши отчего сдавались? – спрашивал офицер еще одного солдата.

Тот вытягивается в струнку и бойко отвечает:

– Пороху нехватило, ваше благородие.

Слышны голоса:

– Это точно, нехватило.

– Большая нехватка вышла.

Офицеру неловко. Он обращается к матросам:

– Ну, а вы, матросы?

Заговорил один матросик:

– Ваше благородие, милый человек, да такое уж оно дело–то вышло, ну! Пошли мы, значит, на войну, ну, что ж, значит, всем враз и помирать, ну? Нет, ты постой, милый человек, – пришли мы на войну, глядь–поглядь: спереди ен, сзади ен и с боков, ен же, ну, а мы в середине. Нас, может, на одном корабле тысяча душ было, а ен скрозь палит, хочет топить, ну, и ничего с ним не поделаешь. Да неужто нам всем враз тонуть, ну? Сам адмирал стоит, плачет. Да ну тебя к ляду, бери наш кораб, отпусти душу на покаяние, ну! Шабаш, сдаемся!

– Смоленый зад, поросычья душа, – комментирует хохот.

– Матрос – правильная душа, – заступается пожилой бородатый солдат из запасных. – Можешь ты это понимать: кто на море не бывал, тот Богу не маливался? А это взять, – сам адмирал ежели плачет, это тоже понимать надо. А ежели всем враз тонуть, ты это как понимаешь? И выходит, что ты – из Мазеп анафема, тьфу!

Слышны голоса:

– Это точно.

– Верно.

– Правильно, что и говорить.

– Море тебе не поле, на нем пеш не походишь.

– Ну, а ты что? – спрашивает офицер у другого, высокого бородача с тусклой серьюгой в левом ухе.

– Мы соколиньские, ваше благородие, – отвечает тот хриплым басом и смотрит прямо на офицера неестественно выпученными, глупыми глазами.

– Так! Ну, что же? – опять спрашивает офицер.

– Сдамшись мы из–за веревок, значит, – неторопливо говорит сахалинец.

Офицер удивлен. Смотрит на сахалинца и спрашивает:

– Как так из–за веревок?

– Так, значит, перевязываться нечем, ваше благородие, – говорит сахалинец.

Солдаты смеются. Офицер пожимает плечами. Говорит:

– Какие веревки? Зачем перевязываться? Ничего не понимаю. Что ты путаешь?

Сахалинец смотрит на офицера невозмутимо-ясными глазами, и уже не разобрать по его лицу, глуп он или хитер, проверяет ли слышанное, или сам сочиняет для потехи. И говорит:

– Так точно, ваше благородие. Народ у нас вор. Пришло дело к разделке, генерал говорит: «Перевязать их!» Ему докладывают: «Ваше присходительство, веревок нет, перевязывать нечем!» Что ты тут станешь делать? Спосылали за японцем, – бери, владай, косоглазый, твоя взяла!

ВЕНЧАННАЯ

В самой обыкновенной, небогатой убранной комнате небольшой петербургской квартиры, у окна, стояла молодая женщина Елена Николаевна и смотрела на улицу.

Ничего интересного не было там, на этой шумной и грязной разъезжей столичной улице, и смотрела в окно Елена Николаевна не потому, что хотела увидеть что-то интересное. Правда, из-за угла другой, перекрестной улицы покажется сейчас ее мальчик, которому пора возвращаться из гимназии, но разве Елена Николаевна подошла к окну за тем, чтобы ждать сына! Она так гордо уверена в нем и в себе! Придет в свой час, как всегда, – как и все в жизни совершается в свое время.

Елена Николаевна стояла, гордая, прямая, с таким выражением на прекрасном бледном лице, как будто голова ее увенчана короной.

Стояла, вспоминала то, что было десять лет тому назад, в год смерти ее мужа, с которым прожила совсем недолго.

Такая страшная была смерть! В ясный день ранней весны вышел он из дома здоровый, веселый, а к вечеру принесли его труп, – погиб под вагоном трамвая. Казалось тогда Елене Николаевне, что нет больше для нее в жизни счастья. Умерла бы от горя, да только маленький сын привязывал к жизни, еще привычные с детства мечты порой утешали. И так трудно стало жить, так мало стало денег!

Летом Елена Николаевна с сыном и с младшей сестрой жила на даче. И вот сегодня опять вспомнилось ей с удивительной отчетливостью то ясное летнее утро, когда случилось такое радостное, странное и такое, по-видимому, незначительное событие, и на душу ее снизошла эта удивительная ясность, озарившая всю ее жизнь. То удивительное утро, после которого всю жизнь Елена Николаевна чувствовала себя так гордо, так спокойно, словно она стала царицей великой и славной страны.

Утро это, столь памятное ей, началось темной печалью, как и каждое утро того лета, напоенного ее слезами.

Наскоро покончив с заботами бедного своего хозяйства, пошла Елена тогда в лес, от людей подальше.

Любила она забраться в глубину леса и там мечтать, иногда плакать, бывшее счастье вспоминать.

Была там прогалинка милая, – трава на ней мягкая, влажная, небо над ней высокое, ясное. Северная влажная, ласковая трава, северное неяркое, милое небо. Все согласное с ее печалью.

Пришла Елена, стала у серого камня посредине полянки, смотрит перед собой ясными, синими глазами, – далеко унеслись ее мечты. Подойди теперь кто-нибудь к ней, оклики:

– Елена, о чем ты мечтаешь?

Вздрыгнет Елена, забудет свой сладкий сон, вмиг разлетится пестрый рой мечтаний: ни за что не скажет Елена, о чем мечтала.

Да и что за дело людям до того, о чем она мечтает! Они, все равно, не поймут... Что им эти царевны мечтательного края, со светлыми лицами, с ясными глазами, в сияющих одеждах, – царевны, которые приходят к ней и утешают ее!

Стоит Елена на тихой поляне. В синих глазах Елениных печаль. Руки на груди скрещены. Солнце над ее головой высоко, греет сзади ее тонкие плечи, над русыми косами нимбом золотым играет. Мечтает Елена. И вдруг слышит голоса и смех.

Вот перед ней три светлые девы, – три лесные царевны. Одежды у них белы, как у Елены; глаза у них сини, как у Елены; косы у них русы, как у Елены. На головах у них венцы – венки цветочные, многоцветные. Тонкие руки их открыты, как у Елены, и тонкие плечи их целует милое солнце, как плечи у Елены. Тонкие, легко загорелые ноги в траве сырой купаются, как ноги у Елены.

Смеются три сестры лесные и подходят к Елене, и говорят:

– Какая красивая!

– Стоит, а солнце золотит ее волосы.

– Стоит, как царица.

Печаль и радость странно смешаны в Еленином сердце. Протягивает к ним легкие, стройные руки Елена и говорит радостно звонящим голосом:

– Здравствуйте, милые сестрицы, царевны лесные!

Звенит, звенит, как золотой колокольчик, Еленин голос звенит, звенит, заливадается золотыми колокольчиками легкий смех лесных царевен. И говорят Елене лесные царевны:

– Мы – царевны, а ты кто?

– Уж не здешняя ли ты царица?

Улыбается Елена печально и отвечает:

– Какая же я царица! Венца у меня нет золотого, и сердце мое печально, потому что умер милый мой. Никто меня не увенчает.

И уже не смеются сестры. И слышит Елена тихий голос старшей царевны лесной:

– Что же, печаль земная! Милый твой умер, но разве он не всегда с тобой? Сердце твое тоскует, но разве у него нет сил побеждать, ликуя? И разве воля твоя не возводит тебя высоко?

И спрашивают Елену:

– А ты хочешь быть здесь нашей царицей?

– Хочу, – говорит Елена.

И дрожит от радости, и блестят радостные слезинки на синих Елениных глазах.

И опять спрашивает та лесная царевна:

– А будешь ты своего венца достойна?

Трепещет Елена от дивного страха и говорит:

– Буду венца своего достойна.

И говорит Елене та царевна:

– Всегда стой перед судьбой, чистая, смелая, как стоишь теперь перед нами, и прямо смотри людям в глаза. Над печалью торжествуй, не бойся жизни, перед смертью не трепещи. Гони от себя рабские помыслы и низкие чувства, и если в нищете будешь и в работе подневольной, и в заточении, – будь гордой, свободной, милая сестра.

Дрожит Елена, и говорит:

- И в рабстве буду свободна.
- Мы тебя увенчаем, – говорит царица.
- Увенчаем, увенчаем, – повторяют другие.

Цветы рвут золотые, белые; белыми руками быстро плетется венец душистый, цветочная корона лесной царицы.

И вот увенчана Елена, и лесные царевны, взявшись руками, ведут вокруг нее тихий хоровод, – в круг радостного кружения замкнули Елену.

Скорее, скорее, – вьются легкие одежды, влажной травой перебиты легкие, пляшущие ноги. Замкнули, закружили, увлекли Елену в быстрое кружение восторга, – от печали, от жизни, робко и тускло тоскующей, увлекли они Елену.

И сгорало время, и таял день, и печаль, пламенея, претворялась в радость, и восторгом томилось Еленино сердце.

Целуют Елену милые царевны, убегают.

– Прощай, милая царица!

– Прощайте, милые сестры, – отвечает им Елена.

За деревьями скрылись; осталась Елена одна.

Идет домой, гордая, увенчанная.

Никому не сказала дома, что было с ней в лесу. Но такая стала гордая и светлая, что насмешливая сестрица Ирочка говорила:

– Елена сияет сегодня, как именинница.

Никому не сказала Елена дома, но сказать кому-нибудь надобно.

К вечеру пошла Елена к мальчику Павлику, который скоро умрет. Любила его Елена за то, что он всегда был ясным, и за то, что навсегда останется он ясным. По ночам иногда просыпалась Елена от острой жалости к Павлику, – просыпалась поплакать о мальчике, который скоро умрет. И странно сменивалась в ее сердце жалость к мужу покойному, к себе, осиротелой рано, и к мальчику, который скоро умрет.

Павлик сидел один в высокой беседке над обрывом, и смотрел на тихо пламенеющий закат. Увидел Елену, улыбнулся, – всегда радовался, когда приходила Елена. Любил ее за то, что она никогда не говорила ему неправды и не утешала его, как делали другие. Павлик знал, что он скоро умрет, и что будут его долго помнить только две, – мама родная и милая Елена Николаевна.

Рассказала Павлику Елена о том, что было с ней сегодня, утром, в лесу. Закрыв глаза Павлик, задумался. Потом улыбнулся радостно и сказал:

– Я рад, царица моя лесная. Я всегда знал, что вы – свободная и чистая. Ведь каждый, кто умеет сказать "я", должен быть господином на земле. Царь земли – человек.

Потом всмотрелся Павлик в трех барышень, проходивших внизу под обрывом, и сказал Елене:

– Смотрите, вот идут сюда ваши милые лесные царевны.

Посмотрела Елена, узнала, и сердце ее сжалось мгновенной тоской. Три барышни! Такие же белые на них платья, как утром, и очи сини, и косы русы, и руки стройны, но уже не венки, а белые шляпки на их головах. Барышни обыкновенные, дачные барышни!

Они скрылись на минуту за кустами, и вот опять показались, повернули наверх, по узкой тропинке идут мимо беседки, где сидят Павлик с Еленой. Ласково Павлику кивают головами, и Елену узнали:

– Здравствуй, милая царица!

– Сестры! – радостно кричит Елена.

И обрадована навсегда Елена. И в обычности явлена ей радость

увенчанной жизни. Через все испытания бедной, скудной жизни пронесет она свою царственную гордость, высокое достоинство свое.

И вот теперь, через много лет, стоя перед окном, одетая в бедное, поношенное платье, ждет она сына и шепчет, вспоминая день своего венчания:

«Человек – царь земли!»

ЖЕНА УМНОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Когда Николаю Ивановичу Складневу исполнилось тридцать лет, он нашел, что ему чего-то не достает. Обдумавши внимательно свое положение холостого человека, получающего достаточное и за двоих жалованье, он решил, что ему пора жениться. И с того часа, как решение им было принято, он в разговорах со своими знакомыми развивал эту мысль со свойственной ему убедительностью. Не даром же он был учитель, – он любил и умел поговорить, преимущественно на умные темы.

Складневу казалось, что он красив и умен. В этом убеждало его зеркало. Немножко кривое, но все же недурно отражало интеллигентное лицо и пряди темно-русых волос на чрезвычайно умном лбу.

Его приятель, чиновник контрольной палаты, Никодим Матвеевич Сетьюловский, говаривал ему басом:

– Ты, Колюхан, человек головной, мозговик, лоб-человек. Я лоб-человек, наш управляющий лоб-человек, а ты, брат, Колюхан, лоб-человек.

Складнев поправлял очки, смотрел самодовольно, и говорил:

– Ума в себе я не отрицаю. Ложной скромностью не заражен, и против очевидности спорить не стану, – не нахожу нужным. Но в определении основной черты моего характера, ты, дружище Никодимович, ошибаешься. Если бы я был таков, я бы не ходил с тобой в такие места.

Такие места – какой-нибудь трактирчик, чистая половина.

Складнев говорил:

– Я – человек увлекающийся. Теперь я учитель, а в будущем году, может быть, я в Адис-Абебе на розовых слонов охотиться стану. Ты меня, Никодимович, еще не знаешь.

Сетьюловский улыбался, облизывал толстым и красным, из-за красных и толстых губ, языком сероватую на черных густых усах пивную пену, и говорил упрямо:

– Нет, Колюханчик, ты рассудочно натаскиваешь на себя увлечения. Ты – дипломат, хитрюга, проныра, лобовчик. Тебе прямая дорога в министры заграничных финансов.

Сетьюловский не верит Складневу, а дамы иногда верили. Иные простодушные с восхищением смотрели на него, когда он говорил:

– Я, знаете, не люблю этой вашей пресной жизни. Мне бы охотником в прериях быть.

А у самого типично-интеллигентный вид, как бы еще обострился при этих словах.

Теперь к этим мечтам о прериях он вдруг прибавлял слова:

– Мне надо жениться.

– За чем же дело стало? – спрашивали его.

– Ну это, знаете ли, не так-то просто.

Поправит очки, и смотрит. На очках оправа стальная, но он смотрит так важно, что очки кажутся золотыми.

И принимался долго и подробно рассказывать, какая нужна ему невеста.

– Я сам – человек увлекающийся, стало быть, мне нужна невеста рассудительная и спокойная, которая могла бы удерживать меня от излишних увлечений.

II

Долго присматривал невесту Складнев. За несколькими начинал ухаживать, и отменял. Все чего-нибудь не доставало. Катя Сорванцова – смешлива, Лена Билькина – плаксива, Зоя Изывина – болтлива, Маня Башенная – молчалива.

Наконец на вечере у директора гимназии познакомился Складнев с новой учительницей, Валентиной Петровной. У нее было круглое лицо, серые добродушные глаза и очень мягкая улыбка. Складневу она понравилась, и он решил присмотреться к ней, какова-то из нее обещает быть жена.

И вот, присматриваясь, обнаружил он в ней многие симпатичные ему черты. Оказалось, что ей нравятся те же книги, как и ему. Что она не любит кинематографа. Что она очень хорошо катается на коньках. Что она весьма недурно играет на фортепьяно. Что у нее приятный голос. Что она любит петь малороссийские песни.

Количество симпатичных черт увеличивалось. Несимпатичных не замечалось. Сомнительная была только одна, – когда Складнев начинал говорить длинно и красноречиво, Валентина Петровна иногда взглядывала на него с недоумением, потом опускала глаза, и слегка усмехалась. Из-за этого Складнев однажды имел даже объяснение с Валентиной Петровной.

– Чем я навлек вашу насмешку? – иронически спросил он.

Валентина Петровна смутилась, покраснела, отвела глаза в сторону.

– Как вы могли это подумать, Николай Иванович? – сказала она. – Я и не думаю над вами смеяться.

Складнев говорил:

– Я уже не первый раз замечаю, что, когда я начинаю развивать какую-то мысль, более или менее меня интересующую, или пытаюсь возможно более убедительными доводами обосновать какое-нибудь положение, то вы начинаете улыбаться. Так как я считаю вас особенно в высшей степени дельной и симпатичной, то я не могу оставить без внимания такого вашего отношения ко мне, и потому счел нужным объяснить, и прямо поставить вам вопрос, что же именно усматриваете вы смешного в моих словах. Сам для себя ответить на этот вопрос я не сумею, потому что откинув в сторону ложную скромность, я не усматриваю в моих рассуждениях ничего глупого и смешного. Но человеку свойственно заблуждаться, и со стороны, вообще, лучше видно, а потому я и решаюсь предложить этот вопрос вам, в надежде, что вы разрешите мое недоумение.

Валентина Петровна несколько раз пыталась прервать речь Николая Ивановича, но он говорил безостановочно, как заведенный, и

уже наконец Валентине Петровне стало казаться, что он никогда не кончит. Ей опять захотелось смеяться, и она с трудом удерживалась от улыбки. К счастью, Складнев наконец замолчал, и тогда Валентина Петровна принялась доказывать, что она улыбается без всякого злого умысла и без желания над кем-нибудь смеяться, а только потому, что она чувствует себя весело и приятно. Складнев не совсем поверил ее словам, но решил, что обижаться не стоит, и что улыбка Валентины Петровны, хотя и неуместная, показывает только ее малую привычку к серьезным и умным разговорам.

Составив свое мнение о Валентине Петровне, – достаточно умна, достаточно красива, достаточно спокойна, годится, пожалуй, быть его женой, – Складнев стал проверять свое мнение, мнением других. Он систематически осведомлялся, как относятся к ней ее сослуживцы, начальство, ученицы, родители учениц, знакомые, общество вообще, прислуга. Ну, что же, все хорошо отзывались, – милая, веселая, простая, любезная, хорошая учительница, славный товарищ, превосходный человек. Все любят.

Закончив круг своих наблюдений и справок, Складнев почувствовал даже некоторую гордость. – вот как приятно обстоит дело с его невестой. И наконец признался в любви ей, впрочем, сначала не ей самой, а своему приятелю Сетьюловскому. Сидя в трактирчике за пивом, он обстоятельно рассказал ему историю своего знакомства с Валентиной Петровной, подробно изложил результаты своих собственных наблюдений, собранные о ней справки, и закончил решительным выводом:

– Мы с ней пара.

Сетьюловский недоверчиво покачал головой, и спросил:

– По чему?

– По контрасту, – объяснил Складнев. – Я – увлекающийся человек, она – рассудительная. Я склонен к расточительности, она бережлива.

Сетьюловский возражал:

– Нет, вы друг к другу не подходите. Ты ее заешь своей рефлексией, раздавишь своей рассудительностью, заговоришь своими речами. Она с тобой не будет счастлива.

– Ну, уж об этом я позабочусь, – самодовольно сказал Складнев. – А теперь пора уходить. Никовееич, сегодня, кажется, твоя очередь платить.

– Нет, увлекающийся человек, склонный к расточительности, – насмешливо говорил Сетьюловский, – я прошлый раз платил, теперь плати ты.

Складнев не спорил, потому что знал, что Сетьюловский говорит правду. Но ему было досадно, что не удалась его маленькая хитрость, и что ему не придется сберечь несколько гривенников, которые могли бы пригодиться в его бюджете, ввиду предстоящих свадебных расходов.

III

Складнев стал ухаживать за Валентиной Петровной. Он делал все, что полагается в этих случаях, все, что он знал об этом из книг и из собственных наблюдений. Валентина Петровна относилась к своему ухаживателю с робким недоумением. Ее друзья уже поздравляли ее с одержанной над сердцем Складнева победой. Они находили, что это для нее очень хорошая партия. А сама Валентина Петровна не знала,

что ей и думать. Она не могла понять, нравится ли ей Складнев или нет. Все его хвалили, отзывались о нем с уважением и с сочувствием, и она не могла сказать против него ничего, но ей как-то неловко думать, что он в нее влюблен. Но если не влюблен, так зачем же ухаживает?

Наконец, однажды Складнев пришел к ней с решительным намерением. При первых же его словах Валентина Петровна почувствовала такой испуг, что у нее задрожали ноги. Она заплакала и заговорила сбивчиво:

— Благодарю вас, я не ожидала, извините, это так внезапно, позвольте мне подумать до завтра. я теперь не могу.

Складнев пожал плечами, и сказал, стараясь скрыть свое неудовольствие:

— Я не понимаю, о чем тут думать. Мы так подходим друг к другу, что даже странно было бы сомневаться относительно нашей супружеской жизни. Но я понимаю ваше волнение, и готов идти навстречу вашим желаниям, отложить до завтра решение этого вопроса, а теперь удаляюсь.

Едва захлопнулась за Складневым выходная дверь, как Валентина Петровна бросилась к своему столу, и торопливо, дрожащими руками, разбрызгивая чернила по бумаге, написала Складневу письмо, решительный отказ. Ее ноги еще дрожали, и сердце усиленно билось, когда она позвала молоденькую Кушу, прислуживавшую ей дочь ее квартирной хозяйки, и отдала ей письмо со строгим наказом идти сейчас же, отдать письмо в собственные руки Складнева, сказать, что ответа не надо, и немедленно идти домой. В неизъяснимом волнении провела она полчаса, не находя себе места, и успокоилась только тогда, когда Куша вернулась и рассказала, что отдала письмо самому Николаю Ивановичу. Тогда Валентина Петровна припоминая все случившееся сейчас, удивилась и своим слезам, и своему испугу. Ничего же не было страшного, или обидного, — посватался, что же такое!

IV

Ни с чем нельзя сравнить то чрезвычайное удивление, с которым прочитал Складнев письмо Валентины Петровны. Он хотел было идти к Валентине Петровне немедленно, чтобы объясниться и уговорить ее не отказываться от своего счастья, но, обдумав положение, решил отложить это до завтра.

На другой день он опять пришел к Валентине Петровне. Она почему-то была готова к его посещению, и разговаривала с ним очень спокойно. Складнев убеждал ее долго и красноречиво, но Валентина Петровна стояла на своем. Складнев ушел ни с чем.

Несколько дней он чувствовал себя выбитым из колеи. Не знал, что делать. Искать другую невесту? Но ни одна из знакомых девушек не казалась ему в такой же мере подходящей для него невестой, как Валентина Петровна. Он пытался завязывать новые знакомства, но нигде не находил ничего подходящего. Очевидно было для него, что Валентина Петровна должна стать его женой. Он возложил надежду на время, и понемногу опять начал ухаживать за Валентиной Петровной.

Ровно через три месяца он повторил свое предложение. Первый раз это было зимой, теперь весна, другой сезон, другие должны быть настроения. Все должно быть по-другому, и потому Складнев сделал

свое предложение в уединенной аллее городского сада, в беседке, из которой открывался очаровательный вид на реку и на поля за рекой. Но и на этот раз Валентина Петровна ему отказала.

Для Складнева утешительно было то, что теперь Валентина Петровна не плакала и не пугалась, а говорила спокойно. Складнев решил не терять надежды.

Прошло еще три месяца, опять было шестнадцатое число, как и те два раза, но уже было знойное лето, и Складнев с Валентиной Петровной сидели на опушке леса, на большом стволе поваленной бурей старой березы. Другой сезон, другая обстановка, другие настроения, – и речи должны быть другие. В третий раз Складнев придумывал новую форму брачного предложения. Теперь бодрые, оптимистические ноты звучали в его голосе, – но и это не покорило Валентину Петровну. Она была весела, и уже даже не смущалась, и говорила спокойно:

– Николай Иванович, вы – очень милый человек, и я вас сердечно уважаю, но почему же вы думаете, что я должна быть вашей женой? В городе есть барышни, которые в вас влюблены.

– Кто же, например? – с любопытством спросил Складнев.

– Я вам скажу это, – отвечала Валентина Петровна, – но не теперь. Теперь вы только ведь из любопытства это спрашиваете. Но разве вы сами не замечаете, кто на вас засматривается?

Валентина Петровна взглянула на свои маленькие часички, и воскликнула:

– Однако, как мы с вами здесь загулялись! Пора домой.

Она поспешно вышла на дорогу, Складнев шел за ней, и ему было досадно, что разговор кончается так странно, прозаично, без всякого волнения.

Валентина Петровна, придя домой, призадумалась. Несколько дней она ходила задумчива, неопределенные мечтания разнеживали ее, а по ночам ей снились тревожные сны. Потом как-то случайно она вспомнила, что предложения Складнева повторялись ровно через три месяца, – в январе, в апреле, в июле. Вспомнила, что даже в одно и то же число каждого месяца. Перебрала три будущих месяца, – август, сентябрь, октябрь, – и засмеялась про себя, подумав, что, наверное, шестнадцатого октября Складнев придет в четвертый раз, осенью.

«Но я ни за что за него не выйду», – решила Валентина Петровна, и на этом успокоилась. Перестала думать о Складневе. И в эти три месяца Складнев мало утомлял ее своими ухаживаниями. Решил поразить ее воображение своей холодной сдержанностью.

V

Но вот и октябрь. Погода ненастная, дождливая. На улицах грязно и мокро, в домах уныло. Больше сплетен и злословия, чем во всякое другое время, и кажется, что никто никого не любит. Кажется, что некого и не за что любить.

Валентина Петровна чувствовала себя какой-то неприятной и брошенной. В городе знали, что Складнев уже несколько раз сватался к ней, – Складнев не делал из этого секрета, рассудив, что ему выгоднее представить дело в своем собственном освещении, чем ждать, как осветит этот случай Валентина Петровна, если вздумает рассказывать о нем. И все в городе сочувствовали Складневу, и не одобряли поведения Валентины Петровны. Ее друзья даже посмеива-

лись над ней, называли ее разборчивой невестой. И очень советовали не отвергать Складнева, – уж такой хороший человек! Особенно по нынешним временам, когда люди так неохотно женятся, и когда девицам так часто приходится так и не найти случая выйти замуж. Но Валентина Петровна на все убеждения отвечала:

– Не вижу никакой надобности выходить замуж. И особенно за Складнева.

– Да ведь хороший человек?

– Хороший, не спорю.

– Так в чем же дело?

– Да не хочу.

Ближайший друг Валентины Петровны, маленькая, веселая учительница, Катя Лакатина говорила:

– Ну, это, матушка, каприз. Он по тебе сохнет, можно сказать, а ты капризничаешь. Надо же быть милосердной и сжалиться над его страданиями.

Катя смеялась, – но она всегда и надо всем смеялась. Смеялась не от насмешливости, а от веселости и от большого запаса сочувствия к людям.

Вот настало и шестнадцатое октября, и Складнев четвертый раз пришел к Валентине Петровне все с тем же. И это был самый серый и дождливый день, каких еще ни одного не было в ту осень. И никогда в жизни еще не было Валентине Петровне так тоскливо, как в этот день. Вся ее жизнь представлялась ей в мрачных красках. Родные, казалось ей, забыли ее, друзья приходят к ней только для того, чтобы весело поболтать за чашкой чая, – а в трудные минуты жизни не поможет никто. Все любят ее, потому что любить так просто и легко, так выгодно и приятно, и так всеми похваляется, но ведь эта, выражаемая ласковыми словами, любовь, никого ни к чему не обязывает. Можно быть всеми любим и умереть с голоду на улицах милого, приятного города, где живут такие ласковые и приветливые люди. Все любят, и никто не подойдет близко, близко как свой.

Вернувшись из гимназии домой, Валентина Петровна не занялась тетрадками учениц, как всегда. Она села к окну, и принялась глядеть на улицу. Ни о чем не думала, и даже не знала, что ждет кого-то.

И он пришел. Когда она увидела на улице его зонтик, пальто и калоши, все новое и очень хорошее, ей стало не то смешно, не то стыдно чего-то.

Завершая круг сезонов, полилась плавная, убедительная речь, по-осеннему журчащая. Валентина Петровна даже и не слушала. Она думала о своей жизни, и мысли в ее голове складывались тоскливые. Наконец, прервавши Складнева на полуслове, она тихо сказала ему:

– Я согласна, Николай Иванович.

Складнев поморщился; он не любил, чтобы его перебивали. Но сейчас же решил, что сердиться не надо. Надо радоваться, – цель его достигнута. И он с самодовольствием подумал, что человек умный и с характером добьется того, что захочет.

Вечером Валентина Петровна долго думала о том, что ожидает ее в новой жизни. Поплакала не мало. Но как же ей быть? Страшила возможность одинокой жизни. И свадьба была, как выход в жизнь полную, спокойную, уверенную. Томило сознание недолжного в том, что она согласилась, – ведь она же не любит этого человека. Но что же, что же ей делать?

Ну, вот и повенчались. Стали жить вместе. Как-то странно переломилась жизнь Валентины Петровны. Сидя за обеденным столом против своего мужа, и слушая его нескончаемые разговоры, она не могла отделаться от странного ощущения, что все это – не настоящее, что это – только пока, и что жизнь начнется когда-то потом. Но никакой жизни настоящей так и не начиналось. Были бесконечные разговоры, чрезвычайно умные, необыкновенно интеллигентные, и тошнотные, ах, какие тошнотные!

Все чаще и чаще с боязливым недоумением смотрела Валентина Петровна на своего мужа. Все холоднее и печальнее становились ее глаза. И Складнев уже начинал быть недоволен странной молчаливостью жены.

Но вот она забеременела. Складнев решил, что ее странности объясняются этим, и успокоился.

Валентину Петровну совсем не радовало это пробуждение в ней новой жизни. Ей как-то холодно было думать о том, что у нее будет сын от этого умного, милого, разговорчивого человека. И она стала совсем тихая и очень спокойная, – так как будто ей было все равно. А муж по-прежнему изводил ее своими рассуждениями. Всякий случай из жизни рождал в нем неодолимую потребность к словонизвержению. Всякое вновь входящее в жизнь обстоятельство ему надо было подвергать продолжительным обсуждениям.

Незадолго перед родами возник вопрос о том, где рожать.

– А разве не дома? – с удивлением спросила Валентина Петровна.

– Дома не гигиенично, – отвечал Складнев.

И он долго и подробно объяснял жене, почему дома не гигиенично, и как хорошо рожать в специально приспособленных для этого заведениях. Это он связывал с общими вопросами об изменениях жизни, которые созданы успехами наук и техники, а также все возрастающей сложностью подробностей и средств к удовлетворению этих подробностей.

Валентина Петровна сначала спорила с ним. Потом скоро споры эти утомили ее. Ей стало все равно.

«Все равно, – думала она иногда, – хоть бы совсем не жить. Все равно!»

Когда таким образом вопрос был решен принципиально, как любил выражаться Складнев, приступили к обсуждению того, какое именно родовспомогательное заведение выбрать. Валентине Петровне было все равно, – если не дома, так хоть у самого черта. Но Складнев не мог отнестись легкомысленно к такому важному вопросу. Сидя перед слушавшей его с закрытыми глазами Валентиной Петровной, он подробно и обстоятельно разбирал достоинства и недостатки всех известных в том городе учреждений этого рода.

– Ах, да мне совершенно все равно! – сказала Валентина Петровна. – Куда ты хочешь, туда я и поеду.

– Как же можно так относиться! – возражал Складнев. – Для правильных и легких родов весьма существенное значение имеет, помимо объективных данных, а, весьма возможно, и не менее их, самочувствие роженицы. Стало быть, мы должны позаботиться не только о том, чтобы лечебница была хороша сама по себе, но и чтобы она тебе правилась. Поэтому ты не можешь относиться

безучастно к такому важному делу, как выбор лечебницы.

Валентина Петровна уж и не спорила, но все-таки относилась безучастно. Складнев пожимал плечами, и говорил жене со сдержанным упреком:

– Я не понимаю тебя. Конечно, если это тебя затрудняет, я мог бы и сам выбрать лечебницу, но как же нам быть, если она тебе не понравится! Правда, я приму в соображение твои вкусы и привычки, на сколько я их успел узнать в такое короткое время, – но я не могу ручаться, что что-нибудь покажется тебе неудобным. Если я тебе представляю подробные данные о всех порядочных лечебницах, то мне совершенно непонятно, почему ты не хочешь сделать между ними выбора, и слагаешь эту тяжелую ответственность всецело на одного меня.

– Мне все равно, – уныло повторяла Валентина Петровна, – вези меня, куда хочешь.

Складнев опять пожимал плечами, разводил руками, показывая все умеренные знаки удивления, но не повышал голоса, и не делал ничего некорректного. Валентина Петровна смотрела на него, и вспоминала, что он всегда сдержан и вежлив, никогда ни на кого не кричит, не стукнет рукой, не хлопнет дверью, – ни при каких обстоятельствах не позволит себе выйти из себя. Серая, шершавая, липкая скука обволакивала душу молодой женщины. Она смотрела в окно, и молчала.

Наконец, Складнев выбрал родильный приют доктора Асланбека. В городе этот приют очень хвалили. Это стоило не дешево, но Складнев решил, что в важных обстоятельствах жизни не стоит жалеть денег.

VII

Случилось то, что случается иногда и дома, и в специальных лечебницах. Валентина Петровна родила благополучно, новорожденный оказался крепким и здоровым мальчиком, и слабое подобие радости в первый раз за этот год отразилось на лице Валентины Петровны. Она чувствовала себя хорошо, но на третий день к вечеру температура внезапно поднялась, и через двое суток Валентина Петровна умерла.

Складнев был очень удивлен, – так неожиданно после таких благополучных родов! Он разговаривал с врачами, и все добивался узнать, отчего именно умерла его жена, были ли какие-нибудь недостатки и оплошности ухода за больной? Иная ли была причина? Никто ничего положительного сказать ему не мог. Говорили только, что это случается при наилучших условиях и при самом тщательном уходе, что есть какой-то процент, в который и попала Валентина Петровна.

Кончилась одна жизнь, началась другая. Жену надо было хоронить, ребенка воспитывать. Но как же его воспитывать?

– Я этого не знаю, – говорил Складнев, – я не привык к детям, ребенок будет мне мешать.

И решил отдать ребенка на воспитание, даже не взял его из лечебницы.

– Куда же мне с ним возиться! – говорил он доктору Асланбеку. – Вы доктор, знаете, как это делается, я на вас вполне полагаюсь. Ребенка надо отдать в надежные руки, в приличную и

порядочную семью, – надеюсь, что мне не придется платить за это слишком дорого.

Ребенка устроил, для жены купил хорошее место на кладбище при местном монастыре. Оказалось, что у Валентины Петровны было много друзей в городе. Многие шли за гробом, много людей было на кладбище. Над могилой Валентины Петровны говорили речи, – популярный в городе адвокат, как представитель родителей учениц Валентины Петровны, и учитель словесности, ее сослуживец. И тот, и другой в своих речах с большим сочувствием говорили о неутешном горе ее мужа. Сочувствие Складневу понравилось, но слова о неутешности показались ему неуместными. Какой-то укол самолюбию был в них. Он думал, что такие слова были бы уместны только в том случае, если бы умер он, а Валентина Петровна осталась. Неутешная вдова – понятно, неутешный вдовец – странно. Еще если бы они долго прожили вместе, и он был стар и слаб, то, в крайнем случае, можно было бы принять эти слова. Теперь же это казалось Складневу цветами красноречия.

Девочки принесли много цветов. Они тоже смотрели на Складневу с сочувствием и с сожалением. Да и все, кто был на кладбище, сочувствовали Складневу, и очень жалели его, – и эта атмосфера всеобщих сожалений все более и более раздражала Складнева.

Могилу засыпали, наскоро крест поставили, могильный холм исчез под многоцветной россыпью цветов. Стали расходиться. Друзья и знакомые окружили Складнева, и стали его утешать. Складнев сказал:

– Я вам очень благодарен, господа, но поверьте, что я не нуждаюсь в утешениях. Конечно, я считаю, что мой брак с Валентиной Петровной был очень удачен, и мы оба чувствовали себя очень хорошо, но отсюда до трагической неутешности – дистанция огромного размера.

Толпа вокруг Складнева начала редеть. Складнев, не замечая этого, продолжал разглагольствовать:

– Конечно, я очень жалею о той роковой случайности, которая унесла в могилу эту молодую жизнь и эту богато одаренную натуру. Не сомневаюсь, что если бы она осталась жива, то моя жизнь с ней в будущем была бы во всех отношениях приятна. Но в настоящий момент, считая своим долгом всегда быть искренним в выражении своих чувств, я должен сказать, что в применении к моему настоящему душевному состоянию выражение неутешное горе представляется мне чрезмерным преувеличением. Мы не так долго жили вместе с Валентиной Петровной, и потому я еще не успел настолько привыкнуть к ней, чтобы разрыв связанных с ней ассоциаций мог причинить мне значительные душевные страдания.

При этих его словах и те, кто еще оставался около него, отвернулись, заговорили громко, стали расходиться. Складнев досадливо пожимал плечами, – он не привык, чтобы его не дослушивали. Сетьюловский взял его под руку, и повел к выходу.

Жена адвоката Вереснева проводила его удивленными глазами, и сказала стоявшему рядом с ней доктору Асланбеку:

– Я не знала, что он такой.

– Какой такой? – жизнерадостно улыбаясь, спросил Асланбек.

– Такой тупой, – сказала Вереснева.

– Ну, зачем так резко! – возразил подошедший к ним адвокат Вереснев. – Не тупой, а просто уж слишком интеллигентный человек. Все разбираться во всем привык.

БАРЫШНЯ ЛИЗА

Глава первая

Барышня Лиза была девушка высокая, тоненькая, стройная. У нее были очень черные, пламенные, веселые глаза, – черные, как вороново крыло, слегка вьющиеся волосы, – и густые, черные брови, которые сходились вместе, когда она хмурилась.

– Все родню наша Лизанька свела – говорили тогда про ее забавно–нахмуренные бровки.

Нравом барышня Лиза была живая, веселая. Она была единственное дитя у своих родителей, отставного майора Николая Степановича Ворожбинина и его жены Надежды Сергеевны, урожденной Ремницыной. К Лизе должны были перейти их имения, – большое село Ворожбино, где они постоянно жили, и еще две деревни, Ремницы и Сухой Плес, в смежных уездах той же губернии. Богатая наследница, завидная невеста была поэтому барышня Лиза.

Так как Лиза была единственная дочка, то родители в ней души не чаяли. Потому они баловали ее, хотя и не слишком. И выросла Лиза своевольная девушка, шалунья.

– Характерная барышня, – говорили про нее в дворне, – никому не уважит.

Правда, Лизино своеволие не выходило за пределы приличного дворянской девице, и шалости ее были невинными детскими забавами и резвостями. Да и как могло быть иначе? И отец, и мать ее были добрые, почтенные люди, всеми в окружности уважаемые не только за их любезность и радушие, но и за семейственные их добродетели. Радуясь на свою дочку, они думали, что у Лизаньки золотое сердечко, и еще поэтому не строжили ее.

Барышне Лизе шел семнадцатый год, – самое счастливое время жизни. Была весна, и эта весна сулила Лизе счастье и любовь. Потому Лизины мысли были беспокойны, и сны тревожны.

Однажды, в начале мая барышня Лиза с вечера долго не могла заснуть, сладостно и невинно мечтая. Поэтому она проснулась утром не так рано, как всегда. В ушах ее еще звучал смех приснившихся ей черных арапов, и вся картина странного сна еще была ясна перед ней, а в саду за окном было по–утреннему свежо и светло. Лиза открыла глаза, очутилась в своей постели, и с удивлением припоминала наполненный пасмурно–фиолетовым светом чертог ее сна.

В Лизиной кровати за кисейным пологом было с вечера уютно, мило и радостно, и так приятно было повернуться на правый бок, закрыть глаза, и предаться мечтаньям, неприметно переходящим в сон, и вновь из краткого сна возникающим. А теперь, к утру, сбились и слишком потеплели белые простыни, и складки, хотя и очень тонкой ткани, были томны. За окном ранний, словно обмытый росой, свет еще невысокого солнца и птичья чириканья звали к холодной воде. И уже веселая, краснощекая Лушка стояла у порога с кувшином холодной ключевой воды, которой умывались господа для свежести и для здоровья.

– Что ты, Лушка? – спросила Лиза.

– Воду принесла, барышня, – сказала Лушка, – будто кликали?

– Никто тебя не кликал, – сказала Лиза. – Погода хороша ли сегодня? Да нет ли ветра?

Получив от Лушки ответ, что погода ясная и теплая, и что

ветриночки не веет, Лиза приказала Лушке раскрыть окно, а сама опять повернулась смуглым личиком к стене, и еще с минуту помечтала в постели. Отгоняя темное очарование тусклого сна, что-то невыразимо сладостное встало в ее еще смутной памяти, такое сладкое, что Лиза вся затрепетала, и, быстро откинув одеяло, вскочила с постели.

Лиза вспомнила, что сегодня опять придет молодой Алексей Львицын. Она обрадовалась, и почему-то застыдилась. От этого Лизино смуглое лицо стало очень милым, и черные Лизины глаза так радостно засияли, что и Лушка зарадовалась, – барышня встала веселенькая.

Почему-то вспомнились теперь Лизе слова ее милого:

– Рано или поздно взойдет день внезапный.

Непонятные слова! Лиза уже не первый раз над ними призадумывалась, не зная, в каком смысле следует их понимать. И теперь опять, глядя на ясный день, подумала Лиза:

«А разве теперь ночь?»

И, улыбаясь, подумала:

«А если ночь и впрямь, то где же над ними звезды? Ведь сами-то мы ничем не блещим. Живем себе смиренно.»

«Он был в чужих странах, – думала об Алексее Лиза, – а там живут не по-нашему.»

Из раскрытого Лушкой окна доносилось благоухание ранней весны. Забило Лизино сердце. Засмеялась Лиза. Выглянула в окно.

Высокое окно Лизиной спальни выходило в сад. Упругое качание веток, росинки на траве, гомон птичий, – все радовало Лизу. Окинув быстрым взглядом веселых черных глаз деревья, лужайки и цветники сада, Лиза принялась проворно умываться.

– Папенька с маменькой встали? – спросила она.

Лушка широко усмехнулась, – забавная, красная, круглолицая, как полный месяц, – и отвечала простодушно:

– Эвеси! Давно уже встали, чай кушают. Уж барышня хотели посылать будить вас, да барин заступился, – пусть, мол, понежится.

Лиза опять засмеялась, – от утренней радости, от домашнего уюта. Она сказала самой себе вслух:

– Что же это я так заспалась нынче?

Лушка ответила ей с тем же простодушием:

– Видно, хороши сны спились, барышня.

Лиза вспомнила свой странный сон, вспомнила, что Лушка ей приснилась. Лушкины слова показались ей странно соответствующими ее сну. Лиза свела свои брови, и сказала строго:

– Тебя видела. А вот ты, Лушка, болтаешь много. И в поварню бегаешь не за делом. Елевферий хоть и читает евангелие, а все же знать никак не может того, что кому на том свете будет.

Лушка замолчала. Вдруг вспомнила Лиза, что ее ждут. Она покраснела и заспешила одеваться. Обыкновенно она просыпалась рано, и теперь ей стало стыдно, что она после родителей придет в столовую. Лиза оделась торопливо, но все же внимательно оглядела себя в зеркало. Тонкий, стройный стан, весело смеющиеся глаза и мило вьющиеся вокруг смуглого лица локоны глянувшей на нее из-за зеркала красавицы понравились ей чрезвычайно. Послав тоненькими пальчиками воздушный поцелуй своему отражению, ответившему ей тем же, Лиза поспешила в столовую.

Быстро и легко постукивая каблучками своих маленьких башмачков, Лиза вошла в столовую, вся светлая и свежая. Мать улыбнулась ей, отец посмотрел одобрительно, и у обоих было такое чувство, как

будто вошло к ним некое неземное существо, вея счастьем, радостью, и светом. Поцеловав руки отцу и матери, Лиза села за стол, и, улыбаясь, смотрела в окно словно забыв, что на столе стоят столь любимые ей густые превкусные сливки и не менее любимый ей мед. Нежная улыбка на Лизином нежном лице переливалась многоцветным сиянием радости. Надежда Сергеевна обратилась к дочери с пескольскими вопросами. Лиза отвечала ей с приметной рассеянностью.

– Да что ты все во двор смотришь, Лизанька? – спросила Надежда Сергеевна. – Что ты там занятного нашла?

Лиза вздрогнула от неожиданного вопроса, смешалась и сказала:

– Так точно, маменька.

Надежда Сергеевна посмотрела на нее с удивлением и спросила:

– Что с тобой, Лизанька? Отвечаешь невпопад, как сонная.

Николай Степанович, нюхая табак из серебряной табакерки, глядел на Лизу посмеиваясь, от чего Лиза еще более смутилась. Краснея, она призналась:

– Я сегодня странный сон видела, маменька. А к чему он, не знаю.

И она засмеялась.

– Что за сон? – недовольным голосом, но с немалым любопытством спросила Надежда Сергеевна.

Ей весьма не нравилось, что Лиза в последнее время стала часто видеть странные сны. Странность этих снов казалась Надежде Сергеевне чрезмерной и даже неприличной для барышни. И даже трудно было по соннику разгадывать их значение, так что никак нельзя было понять, к чему они, и радоваться ли им, или печалиться. Снам Надежда Сергеевна верила, и потому неразгаданность их причиняла ей не мало огорчений. Николай Степанович с неудовольствием сказал:

– Пошли сны свои рассказывать да разгадывать. Сколько лет я тебе, мать моя, твержу одно и то же, все в толк взять не можешь, что никакого предвещательного значения сон не имеет. О чем днем думаешь, то ночью и снится, а разгадывать сны пристойно деревенским бабам.

– Что ты, Николай Степанович! – возражала Надежда Сергеевна, – иной раз то увидишь во сне, о чем и думать-то и давно позабыла, а то так никогда и в голову не приходило.

– Да вот, позабыла, не думала, – спокойно отвечал Николай Степанович, – а тут вот взяла да и подумала, засыпая.

– Ну, батюшка, – с досадой сказала Надежда Сергеевна, – понес свое. Знаю я тебя, – ведомый вольнодумец. Сказывай, Лизанька, какой же ты сон видела!

Лиза, краснея, сказала:

– Ах, маменька, право, глупости. И говорить не стоит.

– Изволь рассказывать, сударыня, – уже построже сказала Надежда Сергеевна.

Лиза слегка смутилась от этой строгой нотки в материнном голосе, и принялась рассказывать:

– Сначала снилось мне что-то совсем непонятное. Я уж даже и позабыла. Потом пришел арап, сам черный весь с головы до ног, как гуся кофейная, а губы красные, красные, на голове пунцовый тюрбан. И говорит мне громко: «Собирайся бесперечь, Лизавета Николаевна, к славному и великому королю Крысиному.»

– Такого короля нет, – с неудовольствием сказала Надежда Сергеевна.

– Ах, маменька, да ведь это во сне! – возразила Лиза.

Николай Степанович нюхал табак и неодобрительно покачивал

головой, ворча:

– Обоих бы вас послать к королю Крысиному на выучку.

Нянька, старушка, из девичьей, где выговаривала она девкам за леность, заслышав, что речь о снах идет, пришла в столовую и стала у дверей. Стояла, слушала, головой качала, бормотала что-то невнятное. Ничего, господа на нее не сердились, многое ей позволяли, – она и барыню выпяньчила, и барышню Лизу. Лиза продолжала:

– Ну вот, иду я будто бы в королевский чертог. Дорога гладкая, как скатерть, синелью вышита и бисером, и идти по ней страх как трудно. По сторонам дороги ученые медведи пляшут, а передо мной арап идет. Идет, а сам все оборачивается, страшный такой, за красными губами зубы белые сверкают. В чертоге богато и пышно, колонны высокие, много свеч горит, свечи желтые, как мед, а свет от них лиловый и дымный. У дверей арапы стоят и придворные кавалеры. Вот вошла я в тронный зал, смотрю, а на троне сидит Лушка. На ней корона, и порфира, и башмаки золотом шитые. А сама румяная, смеется во весь рот. На себя смотрю, я в сарафане, как простая девка. Да и сарафанишко-то совсем плохонький, рваный.

– Ну и сон! – сердито сказала Надежда Сергеевна.

– Лушка мне говорит, – продолжала Лиза: «Здесь первые станут последними, как в евангелии сказано, а ты, барышня, целуй мою руку, а потом воду носить будешь.»

– Ах, она подлянка! – воскликнула Надежда Сергеевна, и руками всплеснула.

– Да как же это она осмелилась? Да что ж ты ее не уняла, Лизанька? Николай Степанович сердито глянул на дверь, из-за которой выглядывали любопытные дворовые девушки, и сказал:

– Во сне унимать нечего. Что приснится, то и смотри. А вот на яву построже бы за ними глядели, чтобы не стояли в дверях, господские разговоры подслушивая.

Спугнутые этими словами, девушки скрылись, и только слышен был быстрый топот их ног, а нянька, ворча, пошла вслед за ними в девичью выговаривать им за непорядок. Меж тем Надежда Сергеевна говорила, покрасневшись от гнева:

– Подошла бы к подлянке, да по щекам бы ее, по щекам!

– Мне так стыдно стало, – сказала Лиза, – что я проснулась.

– Ну еще бы! – воскликнула Надежда Сергеевна, – Лушкину руку целовать!

Потом Надежда Сергеевна рассердилась и на Лизу. Она говорила строго:

– Ну уж, матушка, и сон! Хорош, нечего сказать! Постыдилась бы такие сны видеть!

– Да разве я виновата, маменька! – оправдывалась Лиза. – Ведь я не нарочно.

Николай Степанович внушительно постучал табакеркой по столу и сказал:

– А ты, сударыня, матери не отвечай. Не дело. Наставления родителей выслушивай с покорностью и со вниманием. О чем не надобно думаешь, такие и сны видишь.

Лиза посмотрела на отца опасливо. Постукивая по табакерке с изображением чужого короля, он ворчливо говорил:

– Вот вам нынешнее воспитание! В мое время девицы таких снов не смели видеть. У них благородные были мысли, и сны им снились благопристойные.

Лизе было стыдно, что ее обвиняют в нескромности. Она

потупилась и зарделась. Надежда Сергеевна сердито говорила:

– Ты на красных каблучках ходишь, а она голыми пятками пристукивает, так тебе с ней даже и во сне равняться не стать. Все это Елевферкин яд. Давно тебе говорю, Николай Степанович, унять его надобно. У наших хамов ни стыда, ни совести нет. Если бы им дать волю, так они бы себя показали. До сей поры Емельку Пугачева, поди, забыть не могут.

Николай Степанович молчал. С поваром Елевферием он собирался поговорить сегодня же утром, но не считал нужным сообщать жене свои намерения относительно этого предмета. А Лизе было так стыдно, что она собиралась уж было заплакать. Но Надежда Сергеевна решила:

– Надобно пойти с бабушкой посоветоваться, как тут быть. А то что-то повадилась ты, милая, неподобные сны видеть. Пойдем-ка, сударыня, к бабушке.

Надежда Сергеевна и Лиза пошли в бабушкины покои. Лизе страшно стало, и немного стыдно, и у нее было такое чувство, словно ее повели наказывать. Николай Степанович сердито ворчал, нюхая табак:

– Пошли к оракулу своему! Ох, уж эти мне бабы!

Глава вторая

Бабушка, Елизавета Павловна, сидела в покойном кресле у окна, раскладывала на ломберном столе пасьянс, и слушала горбатую шутиху. Та рассказывала бабушке все здешние новости, пересылая рассказ нелепыми ужимками и глупыми прибаутками. При входе Надежды Сергеевны и Лизы шутиха с подобострастными поклонами выкатилась из комнаты.

Бабушка была уже очень старая, но еще совсем бодрая. Глаза у нее были голубые, и весьма приятные. Лицо у бабушки было свежее и почти без морщинок. Из-под кружевного белого чепца с синими бантами видны были седые букли. Одежда была бабушка, как всегда, парадно, – хоть сейчас к гостям выходи. На ней был лиловый, – цвета Лизина сна, – шелковый капот. Через правое плечо ее была перекинута старая, желтоватая, цвета апельсиновой завялой корки, турецкая шаль. У бабушкина кресла стоял костыль. Он помогал ей в прогулках, а также и в исправлении строптивых или ленивых девок.

Бабушка имела свое собственное имение в той же губернии. Знали, что она хочет оставить его Лизе, хотя у нее были и другие внуки и внучки. Николай Степанович говаривал:

– Не велик кусок, а все же Лизаньке пригодится.

Поэтому за бабушкой здесь ухаживали, и очень слушались ее.

Лиза, войдя к бабушке, присела очень низко, придерживая юбочку тоненькими пальчиками опущенных и разведенных рук. Бабушка ласково потренила ее по щеке. Надежда Сергеевна рассказала бабушке, в чем дело. Лизе пришлось повторить свой рассказ. Лиза чинно стояла перед бабушкой, и говорила о своем сне, точно урок строгому учителю отвечала. Бабушка выслушала рассказ очень внимательно, не выразила никакого удивления, и сказала тоном женщины, привыкшей к тому, что к ее словам прислушиваются:

– Знаю, от чего эти сны, – от Елевферкиных сказов. Елевферку давно пора пробрать хорошенько. Лушке строго сказать, чтобы не смела барышние сниться. Не уймется, – наказать построже. А тебя, сударыня...

Бабушка внимательно, с неопределенным выражением, не то усмешки, не то угрозы, посмотрела на Лизу, и помолчала. Лизино сердце забилося. Бабушка пожевала сухими, малинового цвета, губами, и сказала Лизе:

– Ты, ветреница, книжки читаешь, я слышала. Отец научил, старый вольнодумец. Вышивала бы лучше бисером или синелью. От книжек сны глупые. Вышивай, – слышишь?

– Слушаю, бабушка, – робко сказала Лиза, – я и то вышиваю в пияльцах.

– Вышиваешь, да не кончаешь, – сказала бабушка. – Кажется, уж скоро полгода будет, как начала подушку вышивать, а всего еще полвечерка роз вышито. Ты не думай, – ведь я все знаю, что у вас там делается. Ну, идите себе, с Богом, устала я с вами.

Ушли и мать, и дочь, обе немного смущенные, как всегда после визита к бабушке.

...

Меж тем, как Надежда Сергеевна и Лиза ходили к бабушке, Николай Степанович занялся делом, к управлению относящимся, или, точнее говоря, к отправлению правосудия. Лизин сон напомнил ему вчерашнее донесение бурмистра Титыча о происшествии соблазнительном и неожиданном. Старый повар Елевферий, трудами и способностями которого господу были отменно довольны, уже давно замечаем бывал в пристрастии к чтению. Хотя читал он книги церковные и душевспасительные, преимущественно Евангелие и Четьи-Минеи, но все-таки Николай Степанович глядел на это чтение неодобрительно. Не раз, призвав повара к себе, Николай Степанович выговаривал ему:

– Ей, Елевферий, смотри, не доведет тебя до добра твое пристрастие к чтению. Я и больше тебя разума имею, как господин прирожденный, да и то книг не читаю, кроме иногда книг Вольтеровых, – на что всякие книги надобны? А ты – отродье хамова, и разум у тебя худой, хоть руки у тебя и золотые. Читаемое тобой ты можешь понять превратно, отчего и сделается в тебе повреждение. Тогда куда же тыгодишься, сам подумай! Господам поврежденный повар опасен. А на другую работу ни на какую ты уж и не способен.

Выждав минуту, когда барин остановится понюхать табаку, Елевферий говорил:

– Позвольте доложить, барин, что я пустых книг не читаю, а читаю токмо то, что к спасению души относится, ища, как угодили Богу паче человек.

Николай Степанович покачивал головой, и говорил:

– А ты знаешь, кто Библию прочтет всю насквозь, от доски до доски, тот с ума сойдет? Слышал ли ты это?

Елевферий понятливо усмехался и говорил:

– Я тоже с пониманием читаю, барин. Апокалипс я и не читаю, не нашей мудрости требует эта книга. А Евангелия чтение пресладостно и преполезно, и простецам понятно, потому что и сам Господь наш Иисус Христос проповедывал простому люду, неученым рыбакам, и ловцам человек поставил их.

– Смотри, Елевферий, – говорил барин, – говорю с тобой сегодня добром, жалеючи тебя за то, что дело свое гораздо разумеешь, – ей, говорю, не предавайся сим высокоумным упражнением. На то есть ученые люди: попы в церкви тебе все прочтут и пропоют, что надобно, да еще и ладаном надымят. А тебе это ни к

чему.

Понюхав табак и помолчав, Николай Степанович говорил внушительно:

– Иди себе. Елевферий, да помни, – не послушаешь словца, так отведаешь дубца. Я – хозяин ласковый, угостить сумею так, что прибавки не попросишь.

Елевферий шел к себе, книги прятал, а сам свирепо напивался. Николай Степанович, узнав об этом, спокойно говорил:

– Пусть лучше иногда выпьет человек, чем книги читать. Водка – слабость, простому русскому человеку весьма свойственная. Да и я до крайности не допущу и присеку во благовремени. Пристрастие же к чтению – от высокоумия и гордости, а гордость – грех смертный. Сей бес, однажды в человека вошедший, изгоняется не легко.

Некоторое время после бариновых увещаний не слышно бывало, чтобы Елевферий читал. Потом опять принимался он за прежнее, и опять бывал увещаем. Но вот вчера вечером бурмистр Титыч доложил Николаю Степановичу, что к Елевферию ходят дворовые люди и девки, а он им читает евангелие и объясняет, будто бы на том свете первые будут последними.

– Ну, это еще на том свете будет, – сказал Николай Степанович. – Однако, скажи, чтобы к нему ходить не смели, да и ему строго прикажи не читать другим и не учить никого. Не его ума дело. Впрочем, я сам завтра утром все это разберу.

Зная хорошо верность и преданность своих холопов и будучи вполне уверен в действительности тех средств, коими располагает помещик для обуздания своеволия своих подданных, Николай Степанович не был обеспокоен Титычевым донесением, а к утру чуть было и не позабыл о нем. Быть может, так бы и прошло на этот раз, – Николай Степанович встал сегодня в хорошем расположении, и не склонен был судить и наказывать. Но утренний Лизин рассказ о ее сне заставил его думать, что Елевфериевы речи мутят дворню. И он велел позвать к себе Елевферия. Думал:

«Видно, Лизаньке девки шепнули, чего ей не надобно было слушать, она, ложась спать, думала об этом, вот ей и приснилась эта белиберда, от которой пришла она не в малое расстройство.»

Скоро перед Николаем Степановичем стоял повар Елевферий, высокий, красивый, благообразный старик. Только красный нос портил его лицо, – повар Елевферий любил выпить, разделяя страсть, обуевающую в России многих «умственных» людей. Борода его была старательно пробрита, а бакенбарды были холеные, седые, пушистые. Представ перед барином, Елевферий степенно поклонился ему в пояс, коснувшись рукой пола. Николай Степанович строго спросил его:

– Ты что же это, Елевферий, моих людей мутить вздумал? Чему это ты их учишь, скажи, сделай милость!

Елевферий поклонился барину в ноги движением степенным, словно свершая значительной важности обряд, и, поднявшись, чинно сказал:

– От священного писания изъясняю.

– А кто тебя поставил изъяснять? – строго спросил Николай Степанович.

– Ты – повар, так и пеки пироги. Не учась в попы не ставят, так-то вот, любезный. А тебя всяческим риторикам да философиям кто учил?

Елевферий степенно отвечал:

– Как есть у меня свое понимание...

– А ты помолчи, – прервал его Николай Степанович. –

Понимание у тебя дурное, и изъяснять ты никому ничего не можешь. Слепой слепого поведет, оба в яму ввалятся, только и всего прибытку. Ну вот, скажи мне к примеру, что есть писано строфокомил?

Задавши этот вопрос, Николай Степанович с торжествующим видом посмотрел на Елевферия, будучи почему-то уверен, что Елевферий этого слова объяснить не сумеет. Но к изумлению и досаде Николая Степановича, Елевферий принялся обнаруживать свое понимание.

– Строфокомил сиречь строфус, – объяснял Елевферий, – кур пустыни, ростом ужасен, нравом кроток, пером курчав, телом тяжел, и посеми летать не может, а бежит по пескам втрикраты быстрее ветра, вопия гласом велиим. Дает перо для украшения рыцарских шлемов, но без великой хитрости иман быть не может, ибо, скрыв голову под крыло, становится незрим.

– То-то вот, – наставительно сказал Николай Степанович, – без великой хитрости не токма что строфокомила, сиречь строуса, не поймашь, но и прочих дел никак не сообразишь. А ты в какие рассуждения втяпался? Кто мы, благородные, и кто вы, холопы наши? Ты это понимаешь ли, кур кухонный? Ростом и ты ужасен, и волосом пушист, а есть ты сунций хам и остолоп, телепень ты этакий несосветимый! Ты что там толкуешь? Мы, господа, на том свете будем позади, а вы, рабье племя, вперед пойдете? Так, что ли, по-твоему?

Елевферий опустил глаза, вздохнул, и степенно молвил:

– Есть на земле ваша господская над нами воля, а только что действительно обещано в писании, что в царствии Божиим несть слуга, ни господин.

Николай Степанович покраснел от гнева. Нервически постукивая табакеркой по круглому столику красного дерева, у окна стоящему, он сказал:

– Ты, что ж, рыцарь слоеный, на коня сядешь, а я тебе стремя держать буду? Ты в шлафроке на диване развалишься, а я тебе трубку подавать буду?

Елевферий, не поднимая глаз, смиренно, но упрямо сказал:

– Здесь, на этом свете, есть ваша господская воля, а там, по грехам нашим и по великой милости Божией, воздастся коемуждо по делам его.

Николай Степанович встал, пылая гневом.

– Я тебе покажу коемуждо! Я тебе воздам! Позвать Тигыча! – крикнул он голосом, слышным во всей усадьбе.

И уже барское правосудие готово было совершиться. Уже казачки и девки вихрем помчались во все стороны разыскивать Тигыча. Но в это самое время, как волна встречного вихря, вслед за вошедшими в столовую Надеждой Сергеевной и Лизой, вбежала запыхавшаяся, расторопная девка Степанида, крича:

– Барыня, едут! Гости едут, гости от Заозерья!

– Что кричишь, оглашенная! – прикрикнула на нее Надежда Сергеевна. – Не можешь доложить спокойно? Может быть, еще и не к нам едут.

А сама засуетилась. Пошла в гостиную к зеркалу, и тревожно оглядывала себя с головы до ног, нет ли какой неисправности в туалете. И уже слышен стал звон бубенчиков, все приближающийся.

Глава третья

Николай Степанович быстро прошелся по всему дому, покрикивая на слуг:

– Ну, вы, засопи! Везде непорядки!

Но так как на самом-то деле везде все было в отменном порядке, и к принятию гостей весьма готово, то Николаю Степановичу делать было нечего. Он, опять забывши об Елевфери, пришел в гостиную. Здесь уже Надежда Сергеевна сидела на диване с каким-то рукодельем в руках, опираясь локтем на вышитую подушку, меж тем как у окна Лиза, тонкими пальчиками отодвинув край кисейного занавеса, а левой рукой трепетно держась за один из стволов бронзового канделябра, стоявшего на маленьком овальном столике, выглядывала на дорогу, торопясь узнать верно, кто едет. Николай Степанович взглянул на Лизу, и сказал посмеиваясь:

– Видать сразу, что Львицын молодой едет.

Лиза покраснела, и бросила на отца стыдливый, умоляющий взгляд. Отец погрозил ей пальцем, засмеялся и сказал:

– Все вижу, плутовка быстроглазая. От меня и под землей не скроешься.

Лиза засмеялась и убежала. Николай Степанович подмигнул жене, и сказал:

– Пошла наша Лизанька прихорашиваться.

– Дело девичье, – улыбаясь отвечала Надежда Сергеевна.

– Львицын и есть, – сказал Николай Степанович, всмотревшись в подъезжавший к воротам усадьбы экипаж. – Почтенных родителей сынок, – дай Бог им царство небесное, – и ведет себя скромненько, а все что-то странное в нем есть. Служить нигде не служит, и не хочет служить, хозяйством своим не занимается, ездит с места на место, смотрит где лучше. Чужие края хвалит, а наши порядки ему не нравятся.

– Вот женится, – сказала Надежда Сергеевна, – привяжется к месту, остепенится.

А кто же привяжет молодого человека к месту? Никто, как наша Лизанька, – думала Надежда Сергеевна.

Пока Лиза, принаряжаясь, старалась успокоить свое волнение, прошло не мало времени. В гостиной ее родители беседовали со своим гостем, молодым Алексеем Павловичем Львицыным, соседом их по имению. Алексей, вынув из бокового кармана своего серого фрака письмо, сказал:

– С вашего позволения я прочту вам несколько строк из сего письма. Из них вы изволите усмотреть, почему чужие края меня привлекают, и почему в глазах европейца самое имя России есть синоним варварства.

– Однако, – возразил Николай Степанович, эти самые варвары освободили сих пресловутых европейцев от несносного деспотизма Наполеонова.

– Чем других спасать, – сказал Алексей, – не лучше ли на себя оборотиться? Вот пишет мне из Петербурга мой дядюшка...

– Его превосходительство Григорий Алексеевич? – спросил почтительно Николай Степанович, и, получив утвердительный ответ, осведомился о здоровье его превосходительства, его супруги и его

детей.

Отвечая поспешно и невнимательно на эти вопросы, Алексей вертел в руках дядино письмо, горя нетерпением скорее прочесть занимавшее его место из этого письма. Наконец, получив к тому возможность, он начал:

– Так вот что пишет мне дядюшка:

«Расскажу тебе прекуриозное происшествие, приключившееся здесь недавно. Некая молодая и красивая собой девица Амалия К.»

– Фамилию позвольте умолчать, – сказал при этом Алексей, и продолжал чтение:

«Проживала у старшей своей сестры, которая имела любезного и нередко ревновала его к сестре. Однажды сия чета, воспользовавшись хорошим днем, отлучилась из квартиры погулять; в отсутствии их и Амалия ушла к своей тетке. Добрая женщина отлично знала, что житье молодой ее племянницы у старшей сестры не блистательное, что она исполняет часто обязанности служанки и живет с ней потому лишь, что некуда деваться. При прощании она дала ей сорок копеек, которые Амалия завернула в один из углов платка. Возвратясь домой, старшая К. не нашла ночного капота и придралась к сестре; та ударилась в слезы. Понадобилось ей вытереть глаза; доставая из кармана платок, она выронила подаренные теткой монеты. Эти несчастные деньги были причиной, что старшая К. обвинила младшую в краже капота, который она будто бы продала за сорок копеек. Напрасно последняя ссылалась на тетку; это ей на суде не послужило в пользу, так как тетки в столице не оказалось: она отправилась на богомолье во внутренние губернии. Заподозренная в краже, Амалия не зная того, откуда она родом, ни к какому состоянию принадлежит по рождению, почему уголовная палата и присудила ее к наказанию розгами. После исполнения над Амалией наказания, в управу благочиния присланы были документы, удостоверявшие дворянское происхождение Амалии; к тому же времени вернулась с богомолья тетка, которая подтвердила ее показание. Несчастливая Амалия покори-лась своей участи, и не искала за бесчестье, но чиновники палаты, движимые состраданием к молодой и красивой особе, пострадавшей из-за ревности сестры, сложились и вручили ей сто пятьдесят рублей.»

Слушая чтение, Надежда Сергеевна с соболезнованием покачивала головой, и восклицала:

– Ах, бедная Амалия! Ах, несчастная!

Николай Степанович внушительно сказал:

– Поторопились судьи напрасно. Жаль бедную девушку, – такого стыда деньгами не искупишь. Впрочем, нет худа без добра, – девица получила хорошее приданое. Я чаю, что и женишок ей скоро найдется, если она точно столь хороша собой, – из тех же чиновников, пожалуй, кто-нибудь.

В это время в гостиную вошла наконец Лиза. Алексей встал со своего места, учтиво кланяясь ей. Лиза, взглянув на его длинные, до плеч, волнистые русые волосы, на его небрежно, но красиво повязанный глестук, вспыхнула, и сердце ее забилося. Пролетев невнятно слова приветия, она скромно села рядом с матерью на стуле под портретом одного из ее предков, воинственного полковника с величавой осанкой. Томный взор Алексея, слегка презрительный и насмешливый, оживился, когда в комнату вошла Лиза. Продолжая начатый разговор, но уже не в силах будучи отвести взора от белого кисейного Лизина платья, он сказал:

– Чувствующему и размышляющему человеку ненавистны эти

проклятые потемки, в которых держат нас.

Его разговоры всегда несколько удивляли соседей, и те выводы, которые он делал из частных явлений, казались им преувеличенными.

Николай Степанович спросил:

– Но кто же нас держит? Да и какие у нас потемки? Россия имеет людей весьма просвещенных.

Алексей возразил:

– Просвещенный человек, истинный гражданин и сын отечества питает ненависть к деспотизму. А мы, скитающиеся по всей обширной и безвыходной пустыне, к сему деспотизму так привыкли, что уже и не возмущаемся им.

Бросив при этом нежный и томный взгляд на Лизу, Алексей сказал:

– Намерен я вскорости поехать в Германию.

– Батюшка, Алексей Павлович, да зачем так далеко вам ездить? – спросила Надежда Сергеевна. – Разве же у нас хуже? Я бы с этими немцами и дня не прожила, – говорят не по-нашему, – легко ли к чужим порядкам привыкать?

Лиза покраснела и досадливо нахмурилась. Алексей отвечал:

– Там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, и при которых истинный друг человечества содрогается. Там Добродетель освещается не вечерним светом Правды, и народы прислушиваются к голосу философов и поэтов. Там хочу я упражняться в добродетели и в науках.

– Дело семинаристов, – возразил Николай Степанович. – Дворянские занятия – военная служба, охота, имением управлять. Об этом в Лизанькином песеннике я вычитал очень хороший стишок.

Николай Степанович понюхал табуку, и с чувством прочитал наизусть:

– Деревенское житье –
Счастье непорочно.
Упражнение мое
Мне с друзьями прочно.
Время с пользой провожу,
Дальних бед не видя,
Все забавы нахожу,
Ближних не обидя.

Алексей возразил:

– Вы, Николай Степанович, как почитатель великого Вольтера, и как человек глубокого ума, не можете не видеть, что в сей стране слепых господствуют кривые.

Улыбаясь тонко, польщенный словами Алексея, Николай Степанович сказал:

– Кривые–то, государь мой, все же лучше видят, чем вовсе слепые.

Обед подан был рано, по-деревенски. Ровно в два часа запахнулась дверь из гостиной в столовую, и молодой курносый лакей в кафтане горохового цвета с бронзовыми пуговицами выкрикнул:

– Кушать подано.

– Милости просим, – сказал Николай Степанович, вставая со своего кресла, – чем Бог послал.

Пошли обедать. Обед прошел в обычных незначительных разговорах, в которых иногда принимали участие и несколько обедавших за тем же столом небогатых дворян и дворянок, живших в барском доме

и во флигелях в Ворожбинине. Из этих гостей некоторые приезжали на несколько недель, и потом уезжали к другим своим знакомым, чтобы по истечении времени появиться здесь снова; другие же оставались здесь на целые годы. Обращаясь к одному из таких приживальщиков, седенькому, плешивому старичку во фраке, с длинным носом и с резной табакеркой, Николай Степанович спросил, усмехаясь, с таким видом, как бы обещая гостю забавный ответ:

– Скажите, Петр Евсеевич, как супруга ваша поживает? Все ли в добром здорьвьи?

– Что ей делается! – отвечал Петр Евсеевич, махнув рукой и сморщившись, как бы при воспоминании о неприятном. – Живет у матери своей. Меня ведь насильно с ней обвенчали.

За столом кое-кто засмеялся, другие слушали, как давно известное. Алексей смотрел на говорящего с изумлением, и ждал объяснения его странных слов.

– Да как же так? – возразил Николай Степанович. – ведь священник спрашивал же вас: «Имали ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собой видиши?»

– Да, – говорил Петр Евсеевич, – теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали: да тогда я не схватился отвечать, а нынче уже поздно, не воротись. Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с ней совсем!

Над старичком смеялись, но видно было, что рассказ этот здесь уже привычен. Алексей не стал спрашивать о причинах этого венчания, боясь, чтобы при Лизе не зашел разговор о предметах, которые могли бы оскорбить ее скромность. Меж тем обед приблизился к концу. Николай Степанович встал, поклонился гостям, и сказал:

– Сыто, не сыто, а за обед почтите. Чем Бог послал.

Глава четвертая

Николай Степанович и Надежда Сергеевна, извинившись перед гостем, пошли после обеда отдыхать. Лиза и Алексей гуляли в саду. Вешний день был тих и ясен. Таяли тучки в вешней синеве. Лиза повела Алексея во фруктовый сад, а потом через просторный двор, почти весь заросший травой, в блюденую, еще не старую еловую рощу. Там Лиза показала Алексею находящийся посреди рощи четырехугольный, продолговатый, неглубокий пруд.

– Смотрите, Алексис, – сказала при этом Лиза, – какая здесь прозрачная вода.

И точно, песчаное дно пруда и плавающие в нем рыбы были ясно видны.

– Вода здесь так же прозрачна и ясна, – сказал Алексей, – как ясна и прозрачна ваша, Лиза, невинная душа, в которой я вижу, мне кажется, все ваши непорочные чувства.

Лиза слегка зарделась, потупилась и принялась рассказывать Алексею, как зимой здесь катаются с горки и как она летом удит здесь рыбу. Она сказала с простодушной гордостью:

– Кроме меня папенька никому не позволяет здесь ловить рыбу.

Вернувшись в сад, Лиза обратилась к Алексею с невинным выражением, и спросила:

– Скажите, Алексис, за что я так люблю березку? Кажется, нет в ней ничего особенного, а ее вид всегда меня радует, и запах ее листочков по весне.

– Береза мила нашему сердцу, – отвечал Алексей, – потому,

что это – наше национальное северное растение, к которому привыкли мы с детства. Как жителя пышного юга веселят его гордые пальмы, так нас веселит наша скромная родная березка.

– А вы знаете, я и дождик люблю, – сказала Лиза, – летний дождик очень веселый.

Алексей, волнуясь необычайно, заговорил:

– Лиза, я вижу, что вы всегда говорите со мной доверчиво и чистосердечно. Я вижу, что мои посещения не противны вам.

– Да, Алексис, – сказала Лиза, – я бываю очень рада, когда вы к нам приезжаете.

– Откройте мне ваше сердце, – говорил Алексей, – будьте совершенно доверчивы со мной. Ваши милые глаза сияют, когда вы встречаете меня, и улыбки на ваших очаровательных устах выдают тогда радость и волнение. По этим признакам могу ли я заключить, что я любим? Новая заря моей жизни пылает ярко, но не обманчиво ли? Взгляни, Лиза, на эти растущие рядом два цветка, – они сильнее благоухают от того, что они вместе. Я люблю тебя, Лиза, ты это знаешь, ты не можешь этого не знать.

Раскрасневшаяся Лиза потупилась и молчала. Алексей продолжал страстно и нежно:

– Елизавета Николаевна, вы с первого взгляда завладели моим сердцем, и если бы я осмелился предложить вам мое преданное и верное сердце, а также и руку, то что бы вы мне ответили на это?

Лиза, едва сдерживая волнение, сказала:

– Очень благодарю вас, Алексей Павлович, за ваши чувства и за честь, мне вами оказываемую, но я не завишу от себя, у меня есть папенька и маменька, и я должна прежде просить их разрешения.

Алексей, радостно улыбаясь, сказал:

– О, я только хотел прежде знать ваше согласие, Лиза, а тогда, конечно, и у них просить вашей руки. Но вы–то сами что скажете мне на мое предложение, от чистого и верного сердца исходящее?

Лиза тихо шепнула задрожавшими вдруг губами, нежными, как уста весенней зари утренней:

– Я согласна.

При этих словах вся она вспыхнула, и слезы показались на ее глазах. И от этого она стала вдвое очаровательнее. Алексей нежно целовал Лизину руку и шептал голосом, полным волнения и любви:

– В этот сладостный час земля и небо исчезли перед нами. Благодарю, небесное создание, тысячу раз благодарю.

Об руку с Лизой Алексей вошел в дом.

– Мы должны немедленно открыться твоим родителям, – сказал он. – Как сожалею я, что мои возлюбленные родители не дожили до этого блаженного дня! Как бы радовались они моему блаженству!

Узнав от казачка, что Николай Степанович только что проснулся и требовал квасу, но из опочивальни еще не выходил, Алексей прошел в гостиную ждать его. Лиза же, смущенная и радостная, пошла было к себе, но, услышав шаги отца, вышедшего из спальни в шлафроке и мягких сафьянных бабушах, она поспешила к матери. Застав Надежду Сергеевну только что вставшей с постели, бросилась Лиза к ней на грудь, вскрикнула:

– Ах, маменька, он меня любит!

И залилась слезами. Мать радостно говорила, глядя ее по голове:

– Ну и слава Богу! Слава Богу!

Меж тем в гостиной Алексей просил у Николая Степановича Лизиной руки. Николай Степанович, выслушав слова, которые не были для него неожиданными, сказал:

– Я очень рад за Лизаньку, и лучшего мужа я ей не желаю. Но в этом предмете решение принадлежит ей самой, надобно ее спросить.

– Я уже спрашивал, – сказал Алексей, – Елизавета Николаевна согласна.

Николай Степанович, запахивая халат, встал и сказал:

– Если дочь моя избрала вас, то и я также избираю и вручаю ее вам, сделайте ее счастье.

Он хотел быть спокойным и важным, но прослезился. Дрожащим голосом сказал он:

– Надобно спросить и у матери.

Он крикнул:

– Эй, кто там! Пригласить сюда барыню.

А за дверями уже толпились, таясь и с жадным любопытством прислушиваясь, дворовые девушки. Надежда Сергеевна вышла с заплаканными глазами, но с веселым лицом. Вывела с собой упирающуюся, стыдящуюся Лизу, которая и смеялась, и плакала в одно и то же время. Помолились все вместе перед образом. Алексея и Лизу родители благословили.

•••

Вечером в своей спальне Лиза разговаривала со своими горничными девушками. Лушка раздевала барышню, а Степанида пришла рассказывать новости, что за день в усадьбе и на селе случилось, что по соседству слышно. Рассказала, как перепугались деревенские девки сегодня поутру, повстречав лешачиху.

– Что за лешачиха? – спросила Лиза. – И почему они так перепугались?

Степанида объяснила барышне, что лешачиха ходит голая и живет о край болота. Ростом она с самое высокое дерево, волосы у нее косматые, серые, а лица вовсе не видно. Лиза засмеялась, и сказала:

– Какие глупости! Это все – суеверие, никаких леших и лешачих нет, и бояться их нечего. Девкам старая береза за лешачиху показала.

– Не знаю, барышня, – сказала Степанида, – что мне сказали, то я и передаю. Сама не видела, врать не стану, а девки на селе болтают.

Потом Степанида рассказала Лизе и про случай с Елевферием, как барин с ним утром разговаривал.

– Барин хотел его наказать, – говорила словоохотливая Степанида, – да для сегодняшней радости помиловали. Мудрит выше головы наш Елевферий. На том свете что еще будет, про то нам неизвестно, а на этом свете надобно господам угождать. Будешь господам хорош, и тебе будет хорошо, а иначе не прогневайся, – сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.

Лиза благосклонно улыбнулась ей, а Лушка, всегда соперничавшая с ней из-за расположения юной своей госпожи, сказала ей с насмешливой ужимкой:

– А сама, небось, к Елевферию ходила, сказы его слушала. Почитай, Елевферушка, растолкуй, Елевферушка, сами-то мы, вишь, глупые.

Степанида покраснела, и, при всей своей речистости, не знала, что сказать. Наконец пробормотала смущенно:

– Экая ты язва, Лушка!

Лиза нахмурила брови, – всю родню свела, – и приказала им обоим замолчать. Потом, вспомнив, как ей приснилась нынче Лушка, Лиза засмеялась и сказала:

– Смотри, Лушка, ты мне опять сегодня не вздумай присниться, – маменьке пожалуюсь.

В Лушкиной памяти еще свежо было полученное ей сегодня от барыни наставление. Она отвечала:

– Да уж будьте спокойны, барышня, спите себе с Богом.

Степанида же злорадно усмехалась.

Едва только девки ушли, Лиза встала с постели, села к окну, и долго мечтала, глядя на ясные полуночные звезды. Из-за ближнего леса медленно взошел багровый полумесяц, и напомнил Лизе прочтенные ей недавно стихи, которые понравились ей чрезвычайно:

Луг сделан для овец,
Для луга чисты воды,
Луна для всей природы,
Любовь для всех сердец.

Эти слова вызвали слезы на Лизины глаза, и сердце ее было размягчено умилением и радостью. Вообразив, как счастлива будет она с Алексеем, она спокойно отошла ко сну. В эту ночь Лизины сны были чувствительны и благопристойны. Ей снились милые девушки-пастушки и любезные юноши пастушки, чрезвычайно чисто вымытые и необычайно толко чувствующие. Потом приснились ей палаты царя Афрона, про которого сказывала ей сказки старая нянька. Сама Лиза была Елена Прекрасная, а милый ее Алексис царевич сидел рядом с ней, и глядел на нее нежно, благополучно окончив все свои подвиги при помощи серого волка, который мирно щипал травку на лужайке. Проснувшись Лиза на заре, нежно веселая.

– Что, Лизанька, Лушку нынче во сне видела? – спросила ее утром Надежда Сергеевна.

– Нет, маменька, – весело отвечала Лиза.

Николай Степанович, ласково поглядев на нее, засмеялся и сказал:

– Знаю, знаю, черноглазая плутовка, кто тебе спился: Алексис-царевич прекрасный, всю ночь во сне грезился.

Лиза покраснела и воскликнула чисто сердечно:

– Ах, папенька, как же это вы сумели угадать мой сон! Чему ее родители не мало смеялись.

Алексей теперь уже бывал в доме, как признанный жених. Редкий день не приезжал он в Ворожбино. Расстояние меж их усадьбами было всего две версты, но пешком ходить нельзя, – кто же в гости пешком ходит! Это хорошо только для крестьян. Впрочем, Лиза иногда, тайком от родителей, бегала росистым утром через поля к мостику через ручеек на границе их владений. Она знала, что Алексей любил прогуливаться там рано утром, и, дойдя до этого ручейка, предавался мечтаниям меланхолическим. Краткие встречи с замиранием сердца, как они были сладостны Алексею и Лизе! И кому из двух сладостнее, никто не решил бы. Здесь они вместе ощутили

так много разнообразных чувствований! Иногда, не довольствуясь этими встречами и краткими, но не менее от того нежными беседами, они обменивались письмами, которые прятали они под большим камнем у этого мостика.

Глава пятая

Был вечер. В пахучей траве стрекотал кузнечик. Солнце склонялось к западу, и длинные тени деревьев в саду смешались вместе. Лиза в садовой беседке читала книжку. Это был чувствительный роман о горестях Адольфа и Амалии, родители которых противились их счастью. На Лизиних глазах были слезы. Сантиментальная поэзия, уже вышедшая из моды в столицах, еще волновала тогда сердца провинциальных барышень.

Алексей подошел тихо и стал перед Лизой. Она подняла на него глаза. Он спросил нежно:

– Милая Лиза, о чем эти слезы на ваших глазах?

Лиза воскликнула, протягивая ему раскрытую книгу:

– Ах, несчастная Амалия! Ах, злополучный Адольф!

И при этих словах Лиза вдруг залилась слезами. Алексей воскликнул с умилением:

– Ангел Лиза!

В чувствительной беседе влюбленные не замечали, как проходило время. Меж тем солнце скрылось за далекой чертой горизонта. Меланхолические звуки, донесшиеся от сельской колокольни, возвестили наступление позднего часа. В вечернем сумраке близко пролетела большая черная птица, шелестя крыльями. С полей повеяло прохладой. Невнятный крик донесся издали, из глубины леса, напомнив причудливые и устрашающие образы, созданные народным суеверием. Лиза, ощутив невольный страх, вздрогнула, и доверчиво прижалась к Алексею.

Развернутая ей книга лежала в стороне, на столике, сделанном из цельного куска старого дерева, поваленного в позапрошлом году сильной бурей, причинившей в округности не мало бед и потому памятной. Бабочка села на книжку, почная летунья, белая с черным. Крылышки бабочки слабо вздрагивали, и усики ее шевелились, и мнилось, что на ней почиет исходящее из книги очарование красных вымыслов. Алексей смотрел на бабочку, и казалось в эту минуту, что он забыл все на свете, и самую даже свою любовь. Немного обиженная его невниманием, Лиза тихонько тронула локоть его руки, и спросила голосом, в котором нежность преобладала над укором:

– О чем вы так глубоко задумались, милый Алексис?

Алексей вздохнул глубоко, как бы возвращаясь к действительности, пожал Лизину руку, и отвечал:

– Я воображал бессмертие!

Зашумели мягко ветки влажных от росы вечерней кустарников, послышались на песке дорожек звуки быстро бегущих ног, – усердная Степанида искала барышню. Представ внезапно перед Лизой, запыхавшаяся, она сказала:

– Барыня беспокоятся, что сыро, приказали идти в дом.

Лиза не без сожаления оставила это место чувствительных мечтаний. В столовой уже накрыт был ужин. Надежда Сергеевна беспокоилась, а Николай Степанович уговаривал ее, повторяя, что Лизанькино здоровье крепкое и от вечерней прогулки в саду вреда ей быть никак не может.

После отъезда Алексея Надежда Сергеевна выговаривала дочери:

– Хоть Алексей Павлович тебе и жених, а все-таки статочное ли дело до ночи с молодым человеком в саду прогуливаться! Добрые люди осудят, да и отец, сколь он к тебе ни милостив, может прогневаться.

Скворцы тучами налетали на вишни. Дребезжанье деревянной трещотки в руках дворового мальчишки разгоняло птиц, столь же робких, как и вороватых. Алексей застал Лизу в саду. Она носила на руках собачку, чего Алексей ранее не примечал. Лиза не очень любила собак, а сегодня на нее вдруг каприз нашел, она подхватила маменькину болонку, и побежала с ней, осыпая ее ласками и нежными словами. Увидев Алексея, Лиза заговорила:

– Смотрите, Алексис, какая милая собачка! Погладьте ее, ничего, она не укусит. Какая у нее мягкая шерстка!

Но Алексей не обнаруживал никакого желания приласкать лаявшую на него злую собачонку, которая к тому же показалась ему довольно противной. Когда Лиза поднесла к нему болонку, он отвернулся с приметным неудовольствием. Казалось ему, что, возясь с этой собачонкой, Лиза теряет то нежное очарование, которое влекло его к Лизе, и от этого душе его было нестерпимо больно. Лиза посмотрела на него с удивлением, и спросила:

– Что с вами, Алексис? Чем вы так расстроены?

Ее простодушие чуждалось мысли, что в ее поступках что-нибудь может не понравиться ее милому. И потому она удивилась еще более, когда услышала от Алексея эти слова:

– Я вас очень прошу, милая Лиза, не носить собачку на руках.

Лиза нахмурилась, так что черные брови ее сошлись.

– Почему же мне не носить ее, – спросила она, – ежели мне это нравится?

Алексей повторил свою просьбу:

– Сделайте мне приятное, милая Лиза, и отпустите собачку. Вам это не пристойно.

– Да зачем же мне ее отпускать! – возразила Лиза. – Ведь я же не делаю ей больно. Я ласкаю ее.

– Неприятно смотреть, – сказал Алексей, – когда девица вашего возраста возится с собаками. Это – неженственно, и более идет охотнику, чем благовоспитанной барышне.

– Папенька и маменька мне этого не запрещают, – с немалой досадой сказала Лиза.

– Но если я вас прошу, Лиза? – настаивал Алексей.

Лиза не отвечала, и опять занялась собачкой. Алексей повторил:

– Милая Лиза, оставьте ее. Я вас очень прошу об этом.

Лиза не слушалась. Упрямый чертенок завозился в ее сердце. Она сказала с упорством:

– Я люблю эту собачку, и вы, Алексис, должны полюбить ее, если меня любите.

– Не может быть, – сказал Алексей, – чтобы ваше расположение внезапное к этой собачке было столь сильно, чтобы вы не могли ее оставить, когда вас об этом просят. Поверьте, что этот вид весьма не идет к вам, и весьма меня огорчает.

Лизины щеки ярко пылали от гнева, досады и упрямства. Она спросила с насмешкой:

– Разве это – грех?

Алексей, еще не теряя надежды убедить упрямую, говорил ей:

– Кого любишь, того и слушаешь во всем с удовольствием, хотя не всегда бываешь одинаково расположен. Носить собаку на руках не грех. Но это – неженственно.

Долго еще Алексей уговаривал Лизу бросить собаку, но она уже не обращала никакого внимания на все его убеждения. Наконец он воскликнул с огорчением:

– Лиза, ты не уважаешь мою просьбу! Мои слова для тебя ничто!

Алексее было досадно, что Лиза не хочет уступить ему. Но в душе своей он пытался оправдать Лизу:

«Ее непослушание есть только ветренность без всякого намерения», думал он.

Он сказал ей наставительно:

– Ты относишься к моим словам небрежно и без всякого внимания. Но жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком.

– Я не нуждаюсь в уроках, – упрямо ответила Лиза.

– Я не ожидал найти в тебе такого своеправия! – печально сказал Алексей. – Не хотеть пожертвовать таким вздорным удовольствием!

Лиза с обидой в голосе сказала:

– Вот вы какой! Вы ни в чем не хотите дать мне воли! Что же будет, когда я стану вашей женой? Вы будете жестоким тираном.

– Нет, Лиза я не хочу быть вашим тираном, – с великим огорчением сказал Алексей. – Я полагаю мое высшее счастье в вашей благосклонности, Лиза, – могу ли я при этом быть вашим тираном?

Лиза гладила собачонку и шептала ей нежные слова. Алексей вертел в руках алый цветок шиповника и говорил:

– Всякий твой недостаток, Лиза, удивляет меня потому, что я ценю тебя отменно много.

– Вам ничто не нравится, – сказала Лиза, – вы только немцев хвалите.

– Не скрою, Лиза, – сказал Алексей, – ты сегодня произвела надо мной неприятное впечатление.

Лиза отвечала пылко:

– А вы хотели произвести надо мной неприятное тиранство. Ни папенька, ни маменька так со мной не обходятся. Я не привыкла к тому, чтобы меня обижали.

Стараясь казаться спокойным, но с трудом сдерживая проявления своей досады и огорчения своего, Алексей сказал:

– Я вижу, Лиза, что сегодня ты находишься в дурном расположении духа, и потому мне лучше удалиться. Надеюсь, что ты сама оценишь свой поступок, когда захочешь подумать о нем внимательно и спокойно.

Лиза на это ничего ему не ответила. Алексей холодно простился с ней, и уехал, думая, что ее надобно проучить холодностью, и что она тогда одумается и раскается. Лиза же, оставшись одна, скинула с колен собачонку, крикнула:

– Пошла прочь, противная!

И залилась слезами.

Меж тем погода внезапно испортилась. В стекла бил сильный дождь, стучали ветки березок. Лизе было скучно и грустно. Ее знобило. Она грустно думала о деспотизме мужчин и о грустной доле женщины, которая всю жизнь должна покоряться, сначала родителям, потом мужу.

Ночью однообразно кричал перепел, нагоняя на Лизу тоску и страх. Всю эту ночь Лизе снились неприятные, огорчительные сны. Один особенно досадливо вспоминался ей потом. Лизе опять приснилась Лушка, и на этот раз уже словно более прежнего утвердившаяся в своем непристойном озорстве. Она сидела на раззолоченном кресле, одетая в богатые уборы, важничала необычайно, и приказывала строго:

– Лизавета, красная краса, черная коса, возьми мою тявку–собачку, веди ее погулять, да смотри, гляди за ней в оба, чтобы с нее шерстиночки не упало, а не то я отдам тебя моим драбантам, они тебя невежливо поучат.

А тявка–собачка злая презлая, и глаз у нее не видно из белой пушистой шерстки, а зубки беленькие да острые. Так и поровит, как бы укусить Лизу.

Глава шестая

Тревожные сны заставляли неоднократно Лизу вскакивать с постели. Лушка и Степанида, спавшие близко, прибегали к ней не раз. Наконец, под утро, они разбудили няньку, и сказали ей, что барышня почивает беспокойно. Было уже светло. Лиза уже не могла заснуть. Но она чувствовала себя совсем нехорошо. Голова болела, не хотелось вставать, не манила в сад опять после дождя наставшая хорошая погода, не радовали птичьи щебеты и цветочные ароматы.

Ворчливо выговаривая девушкам, что они худо смотрят за барышней, пришла к Лизе старая нянька, и спросила ее ласково:

– Что с тобой, Лизанька? Да никак ты занедужилась, моя ласточка?

Лиза отвечала ей скучным голосом:

– Ничего, нянечка, это пройдет. Я полежу немного, и потом тотчас встану. Няня, ты ничего не говори маменьке, чтобы ее попусту не расстраивать.

Няня забеспокоилась. Она проворно вышла из Лизиной спальни, и через несколько минут вернулась, держа в морщинистых руках, от старости и от усердия дрожащих, чашу еще дымящегося напитка. Это был только что заваренный ей липовый цвет, средство, по общему мнению, отменно помогающее от простуды. Няня, заботливо наклоняясь над Лизой, говорила:

– Выкушай, Лизанька, пропотеешь, и все как рукой снимет. Верно, простудилась как–нибудь. Вчера вечером сыренько было.

Лиза отказывалась было, не желая ничего ни есть, ни пить, но нянька настояла на своем, и заставила–таки ее выпить горячее и довольно вкусное питье. Потом она укутала Лизу тщательно, и ушла, тихонько ступая на цыпочках, в девичью, где опять стала выговаривать Лушке и Степаниде за недосмотр. Лиза полежала в постели еще часа три, и почувствовала себя немного лучше. Она встала, и сошла к утреннему чаю грустная и бледная. За чаем Надежда Сергеевна спросила ее:

– Что, Лизанька, как почивала? Сказывали мне девки, что беспокойно почивала, вскидываться изволила. Правда ли?

– Опять мне Лушка приснилась, – сказала Лиза, хмуря брови.

Надежда Сергеевна гневно покраснела и сказала:

– Рассказывай, сударыня, твой сон. Я чаю, опять пустяки видела.

Лиза рассказала. Надежда Сергеевна приказала позвать Лушку. Когда Лушка пришла, Надежда Сергеевна гневно крикнула на нее:

– Лушка, ты что ж это повадилась каждую ночь барышне снится? Белены объелась, бесстыдная? Думаешь, что на тебя и управы не найдется?

Помня, что от поклона голова не отвалится, Лушка повалилась барыне в ноги. А вставши, она сказала, не обнаруживая никаких признаков страха и раскаяния, как вовсе невинная:

– Помилуйте, матушка барыня, но только я тому делу не причина. Хоть что хотите со мной делайте, а только я ни в чем не виновата.

– Ты дерзить! – в изумлении закричала Надежда Сергеевна.

– Дерзить я не согласна, – говорила Лушка, – а только и в уме у меня того не было, чтобы снится барышне. Да нешто я училась, чтобы кому снится? Да у нас и в роду никого не было, кто бы такие дела знал.

Степанида, стоя у дверей и радуясь тому, что соперница ее попала в беду, шипела тихо:

– Яд-девка! Как только господа терпят! Да я бы на месте господ такого ей жару задала, – небось, перестала бы барышне снится!

– А ты, подлиза, помолчи, – сказала Надежда Сергеевна. – Без тебя знают, что делать надобно. Уж не взыщи, Лушка, – раз простила, другой не прощу.

И обещанное было совершено, – Лушку наказали. Николай Степанович поспорил было с женой, говоря, что Лушку наказывать не за что, но Надежда Сергеевна решительно заявила ему, что в его дела она не вступается, а в девичьей – ее власть, что разбаловать девок никак нельзя, сладу с ними не будет, и что Лизанькино здоровье для нее всего дороже.

Лиза думала, что Лушке так и надобно, но все-таки было ей как-то неловко. Порой думала Лиза: «Из-за меня Лушку наказали, а может быть, она не виновата вовсе.» Чувствительной Лизиной душе мысль эта была тягостна. Весь день этот прошел невесело. Лиза несколько раз заходила в девичью, которая расположена была близко от господских покоев, рядом с залой, чтобы девки не баловались. Лиза ходила туда посмотреть, как искусные мастерицы, кружевницы и вышивальщицы, работают над ее приданным за пяльцами, за шитьем, за вязаньем. Но и это сегодня мало забавило ее. Она ждала Алексея, но тщетно. – Алексей в тот день не приехал. Лиза вечером пошла в сад к той скамейке над прудом, где вчера встретил ее Алексей, и заплакала не мало. После дождя цветы были особенно благоуханны, и все вокруг было свежо и прекрасно. Но красота природы не утешила грустную Лизу. Воспоминания о вчерашней ссоре с Алексеем разрывали ее сердце, и она горько думала:

«Ах, зачем я не послушалась Алексиса!»

Уже Лизе казалось, что счастье ее навеки погибло. Она дала себе твердое обещание, если только Алексей приедет, смирить перед ним свою гордость и уверить его, что вперед она собачку на руках никогда носить не станет.

Алексей приехал на другой день. О собачке он не поминал, да и Лиза не заводила об этом речи. Мир восстановился сам собой, и милые были больше обычного внимательны и нежны друг к другу. Лиза нашла случай показать Алексею, что она рада исполнять его желания. День кончился бы так же приятно, как и многие иные дни, в которые милые бывали вместе, если бы одна случайность не нарушила вдруг их согласия.

Прогуливались к вечеру в саду все вместе. На повороте одной

дорожки встретили бегущую из фруктового сада Лушку. Она несла корзину с только что собранной земляникой. С разбега она не успела вовремя свернуть с дороги, и едва не задела за локоть Алексея, слегка вздрогнувшего от неожиданности при виде внезапно появившейся перед ним дворовой девушки. Надежда Сергеевна посмотрела на Лушку строго, и сказала ей, не повышая голоса, но внушительно:

– Ты, валанда глупая, чего под ноги суешься? Или уже забыла вчерашнее наказание?

Лушка застыдилась и, закрыв глаза рукавами сорочки, шмыгнула в сторону. Приметив, что Лиза при этом сильно покраснела, Алексей наклонился к ней, и спросил ее тихо:

– Не знаете ли вы, Лиза, за что наказывали вчера эту усердную девушку?

Лиза отошла с Алексеем в сторону от родителей, и с чистосердечной откровенностью рассказала Алексею о вчерашнем сне своем, и о том, как за этот сон пострадала Лушка. Выслушав этот рассказ, Алексей опечалился. Он выпустил из своих рук Лизину руку, и воскликнул, обращаясь к голубеющему над ними простору павозмутимо-ясных небес:

– О бесчеловечное обращение! Доколе Ты, Господи, терпишь это унижение образа и подобия Твоего в рабском зраке? Увидим ли мы народ освобожденный и рабство падшее? Просвещенная свобода, взойдет ли над отечеством нашим твоя прекрасная заря?

Лиза не понимала причин его неудовольствия. Нежным голосом сказала она:

– Алексис, неужели ты думаешь, что я сама захотела увидеть ее во сне? Ей уже говорили, чтобы она мне не снилась. Непослушных детей наказывают, а для помещика крепостные, как дети. Ведь и меня бы папенька и маменька не похвалили, вздумай я их не слушаться. И притом я не жаловалась на нее. Маменька приказала мне рассказать мой сон, я повиновалась, в чем же я виновата перед вами, скажите, Алексис?

Едва выслушав ее оправдания и не стараясь вникнуть в смысл ее простосердечного лепета, Алексей обратил к ней огорченное лицо, и сказал с большой силой убеждения:

Знайте, Лиза, – бессмертная душа человека живет и в сих, подвластных родителям вашим, людях, несчастных не по причине своей вины, а по неравенству, самими людьми учрежденному.

Лиза возразила ему:

– Сам Бог создал мир так, что в нем одни – господа, а другие рабы. И в писании сказано: «Несть власть, аще не от Бога, всякая же душа властем предержащим да повинуется».

– Пошлюсь на самого батюшку твоего, Лиза, – сказал Алексей. – Как почитатель великого Вольтера, он скажет тебе, конечно, что из рук матери природы все люди выходят равными.

Алексей и Лиза подошли к Николаю Степановичу, и объяснили ему предмет своего спора. Он, выслушав их внимательно, сказал им:

– Точно, природа создала людей равными, и все мы, господа и рабы, от одного и того же древнего Адама происходим. Но различие способностей и занятий повело к учреждению разных состояний. Всяк, в своей семье и в обществе себе равных имея обращение, приемлет нравы и понятия, его состоянию свойственные, и все люди от родителей своих с молоком матери всасывают свойства их. От самых младых ногтей каждый к своему состоянию приобывает. Как яблоки родятся на яблоне, а не на рябине и не на осине, так и в людях повелось, что от дворян рождаются благородные, а от хамов – подлые.

Понюхав табак, Николай Степанович прибавил, с видом наставительным обращаясь к Алексею:

– Что же касается книг Вольтеровых, почитателем коего быть не стыжуся, то сказать вам могу, любезнейший будущий зятек мой, что, хотя в них много содержится преострого и поистине курьезного, но все-ж-таки всего без рассуждения принять отнюдь не можно. И Вольтеров острый разум затмевался иногда тучами ложных и суетных предрассуждений. Поживете с мое, государь мой, тогда сами увидите, что с этим народом без грозы обойтись никак нельзя, для их же пользы, которой сами они не понимают. Сама государыня матушка, покойная императрица, премудрая Екатерина Великая, сия северная Семирамис, хотя и быть изволила в переписке с ним преславным отшельником фернейским, однако, когда супруга ее бывшего фаворита вздумала похваляться с дерзостью, что я, дескать, от самой государыни муженька отбила, то повелела, сказывают, с этой особой поступить так же, как вчера поступлено было с Лушкой, и повеленное, сказывают, исполнено было неленостно.

Алексей, сильно покраснев от негодования, воскликнул с пылом:

– Сей способ наказания унижает человека весьма, и употребляем над людьми быть не должен.

– А пусть человек не превозносится, – возразил Николай Степанович, с благосклонной улыбкой глядя на пылкость молодого человека, которая казалась ему следствием его незнания людей и обстоятельств.

И на этот раз опять милые расстались весьма холодно.

Глава седьмая

Однажды, приехав в Ворожбино перед обедом, Алексей застал Лизу идущей в девичью, куда и его повела она за собой. Это была комната, расположенная рядом с залой, просторная, но освещенная только двумя окнами, находящимися в более узкой ее стене. Десятка два крепостных девиц сидели там довольно тесно, склонясь над работой. Шилось и вышивалось Лизино приданое, – работа, начатая уже давно, и с которой теперь, по обстоятельствам, весьма спешили. Одна лишь из девушек ничего не делала и, стоя у окна, говорила что-то сидящей рядом своей подруге. Когда Алексей и Лиза вошли, она замолчала. Алексей подумал сначала, что она приставлена надзирать за работой других девушек, – но для этой важной обязанности она была, очевидно, слишком молода. Взор ее, обращенный на вошедших, показался Алексею странным. Глаза ее были очень красны. Лиза спросила ее:

– Что, Марфушка, зачем ты здесь?

– Пришла, барышня, с подружками побывать, – отвечала Марфушка.

– Ты им мешаешь работать своими разговорами, – сказала Лиза, – иди себе.

Марфушка вышла странно колеблющимися шагами, придерживаясь за стены. Лиза сказала, обратившись к Алексею:

– Такая досада, – Марфушка ослепла. В глаза ей сор попал, и она теперь едва видит, как сквозь тонкое ситечко. Ходит, на людей натывается, и вышивать не может. А самая искусная у нас была вышивальщица. И такая усердная, – ночей не досыпала. Другие девки давно уж носом клюют, а она знай себе шьет.

Алексей всмотрелся, и ему показалось, что у всех здешних

вышивальщиц и кружевниц глаза покраснели и слезятся. Он прошел между их станками. Работа была мелкая и трудная, свету падало не много, а точность рисунка и тонов доказывала что сидящие здесь девки не даром ели хлеб свой, видно, смоченный в обилии их слезами. Вышедши из девичьей вместе с Лизой, Алексей сказал ей:

– Я вижу, что эти девушки работают всякий день слишком долго, что вредит их зрению. Можно бы и не так торопить с этой работой. Разве необходимо, чтобы непременно все было готово к дню нашей свадьбы?

Лиза отвечала с неудовольствием:

– Я не хочу войти в твой дом, как какая-нибудь бесприданница.

– Из-за пустого тщеславия, Лиза, – сказал Алексей, – ты допускаешь, что служанки твои слепнут над чрезмерной работой. Ты не хочешь быть для них госпожой милостивой.

Лиза возразила с живостью:

– Марфушка не от работы ослепла, а от ветру, который нанес сору ей в глаза. У нас на селе есть девка слепая, Аннушка, дочь Мирона кузнеца, – что ж, ведь она и не вышивала да ослепла.

– Посмотри на твоих кружевниц, Лиза, – сказал Алексей, – у них у всех глаза красные.

– Вот кончат мое приданое, – возражала Лиза, – тогда не будет спешной работы, а теперь пусть немного потрудятся для меня. Разве я уж и не стою того, чтобы для меня поработали? Зато у меня будут вещи, которым всякая хозяйка позавидует. Лучше наших вышивальщиц и кружевниц во всей губернии не найти.

– Нет, Лиза, – сказал Алексей, – я не хочу, чтобы в мой дом вошли вещи, над которыми теряли зрение эти несчастные. Человеколюбие запрещает мне участвовать в этом.

Лиза чувствовала, что Алексей огорчен сильно, и знала, что работу крепостных искусниц можно облегчить. Но самолюбие мешало ей признаться в том, что Алексей прав, и она продолжала спорить:

– Она не от того ослепла, что много работала, а от того что ей сор в глаза попал. Она это сама говорит. При этом же ведь наши хамы для нас и созданы. Ведь ее будут кормить, всю жизнь, хоть бы она ничего не работала. Какой нам прибыльок от слепой?

– Человек создан Богом для иных возвышенных целей, – сказал Алексей, – а не для наших пустых удовольствий.

– По-вашему, я – пустая и жестокая, – сказала Лиза с огорчением. – Для вас Марфушка дороже меня.

Так мало-помалу наговорили они друг другу много неприятных и укоризненных слов. Наконец Лиза оставила Алексея, и ушла в другую комнату. Расстались они в открытой ссоре, даже не простившись друг с другом. Когда Алексей стал прощаться со стариками, Надежда Сергеевна, не видя Лизы в гостиной, кликнула:

– Лизанька, где ты?

– Я здесь, маменька, – отозвалась Лиза из смежной комнаты.

– Лизанька, да что ж ты к жениху не выйдешь? – говорила Надежда Сергеевна. – Простилась бы, – Алексей Павлович собрался ехать.

Лиза ответила, не показываясь:

– Ему Марфушка меня дороже, пусть он с ней прощается.

– Елизавета Николаевна не уважает моими просьбами, – сказал Алексей. – Я не заслужил ее доверия.

Николай Степанович, посмеиваясь, говорил:

– Милые бранятся, только тешатся. То-то молодо-зелено.

Алексей сухо раскланялся, и уехал домой. Родители стали было выговаривать Лизе, но, узнавши, в чем дело, приняли ее сторону. Алексей же, едуци домой, думал о Лизе:

«Как я обманулся в этой девушке! Она казалась мне ангелом небесным, а на самом деле она – пустая девушка с холодным сердцем.»

Долго думал он дома, что ему делать. В его сердце боролись любовь к Лизе, не способная погаснуть, и пламенная ненависть к деспотизму. Наконец он решился подавить свою любовь и расстаться с Лизой. Дорого стоило ему это решение. Целую ночь он не мог заснуть и ходил по кабинету, обуреваемый борьбой разнообразных чувств и помышлений. Наконец, уже утром, в состоянии, близком к отчаянию, он сел к столу и написал Лизе письмо, в котором изъяснил ей, что, вследствие разности их понятий, он не осмеливается принять на себя имя ее супруга, и потому с душевным прискорбием возвращает ей обручальное кольцо, желая ей совершенного счастья с другим.

Отправив это письмо, Алексей почувствовал, что его сердце разбито, и что никого никогда уже он не полюбит. В глубине души еще лелеял он слабую надежду, что все как-нибудь обойдется, что Лиза сознает свою неправоту, и кольца не примет. Но вскоре полученный им от Лизы холодный ответ с приложением ее кольца погрузил его в глубокое отчаяние. Алексей в тот же день быстро собрался и выехал в Петербург, чтобы там хлопотать о заграничном паспорте. Скоро дошли вести, что он уехал в Германию.

Лизины родители не знали меры своему гневу на Алексея. Спихватившись, что напрасно дали они согласие человеку со свободными мыслями, понадеявшись на его позднее исправление, они говорили:

– Вот и упражнялся в науках! Вот и ездил по чужим краям! Науки–то эти да поездки чуждадельные до добра не доведут.

Лиза была неутешна. Долго плакала она по ночам. Но днем крепилась, не показывала своей скорби, – из гордости. Даже притворялась веселой. На утешения матери она отвечала:

– Маменька, я о нем так же мало думаю, как о прошлогоднем снеге.

Николай Степанович говаривал дочери:

– Лизанька, не беспокойся об этом ни мало, держись Панглосовой системы, – все, что ни делается, все к лучшему. Женишка мы тебе найдем на славу.

И отец, и мать сильно гневались на девок, невольных виновниц разрыва. Хотели было даже наказать Марфушку, зачем совалась, куда ее не звали, да Лиза на этот раз упросила не наказывать.

– Ее сам Бог наказал, маменька, – говорила она.

В памяти ее повторялись Алексеевы слова, и в сердце, хотя и гонимое непобедимым упрямством, таилось еще неясное сознание виновности. Надежда Сергеевна при этих словах дочери прослезилась и сказала:

– У нашей Лизаньки золотое сердечко.

Долю вышивальщиц и кружевниц Лиза решила облегчить, сколько можно. Она часто приходила в девичью, и думала:

«Чем же им здесь худо? Сидят в тепле и в покое, работа не тяжелая, не то, что жать в поле рожь. Что же еще надобно сделать для них, чтобы стать милостивой госпожой?»

Но не знала этого Лиза.

Один за другим являлись в Ворожбинино женихи, по-прежнему, потому что уж очень завидной невестой была Лиза. Но Лиза отвергала

всех женихов. И не то, чтобы сразу, — не хотелось ей показать, что она все еще тужит об Алексее, и она думала, что, если найдется человек, которого она полюбит, то она за него и выйдет. При каждом новом предложении Лиза попросит дать ей время на размышление до завтрашнего дня, ночью поплачет, вспоминая Алексея, а утром скажет:

— Папенька и маменька, я не хочу идти за него замуж.

Родители примутся ее уговаривать, сначала с лаской, потом построжее: женихи все сватались совершенно хорошие и подходящие по всему, — мелкопоместные или пожилые и соваться пока не смели. Лиза ударится в слезы, и тогда отец и мать отходят от нее, говоря:

— Полно, Лизанька, не плачь. Мы с тебя воли не снимаем. Только смотри, невеста разборчивая, засидишься в девках, придется тогда идти за первого, кто посватается, за какого-нибудь колченогого капитан-исправника.

Часто Лизины мысли обращались к Алексею. Она сравнивала его со всеми другими молодыми людьми в окружности, и он представлялся ей всех умнее, добрее, благороднее, красивее. Родители два раза возили ее по зимам в Москву, где у них были родственники, питая надежду там выдать Лизу замуж. Но и московские блестящие женихи не снискали расположения Лизы неутешной в своей тайной печали.

Так прошли два года. Любовь к Алексею не умирала в Лизинем сердце, и Лиза все это время жила, как во сне. В начале третьего года, осенью, умер Николай Степанович, простудившись на охоте. Вскоре затем, потужив и поболев немного, умерла и Надежда Сергеевна. Бабушка Елизавета Павловна скончалась еще раньше, вскоре, после ссоры Лизы с Алексеем. Лиза осталась одна, окруженная преданной дворней и, привыкшими к ней и к дому, приживальщиками и приживалками.

Глава восьмая

Лизе шел уже двадцатый год, и она сама стала бодро, хотя пока и неумело править всем хозяйством. Заботы ее направлены были к тому, чтобы стать госпожой благожелательной и милостивой, поддерживая, однако, порядок и благосостояние имения своего на пристойном уровне.

Приехал было, назначенный дворянской опекой, к Лизе попечителем ее дядя по матери, отставной капитан Калаганов, и расположился управлять имением. Он тотчас взял начальственный тон, и заговорил с Лизой, как с субалтерном своей роты. Но не удалось бравому капитану здесь водвориться, и пробыл он здесь, воистину, калифом на час.

Капитан Калаганов был пьяница, кутила, картежник и мот. Его маленькая деревушка, очень запущенная, лежала в соседнем уезде. Крестьян своих Калаганов утеснял и разорял обременительными и вздорными распоряжениями своими. Отношения его с Лизиними родителями никогда не были близкими, по причине непорядочного образа жизни, которому предавался бравый капитан по выходе в отставку. Согнав угрозой власти и увещаниями изрядное количество пригожих девок в дворню, предавался он с ними пьянству и непотребству. Не однажды видели его катающимся по реке на лодке в обществе голых девушек, из которых многие сидели, из стыда опустив головы и отвращая лица от идущих по берегу. Ослушаться же Калаганова, однако, не смели, страшась жестокого наказания.

Приехав в Ворожбино и увидев много пригожих дворовых и сенных девушек, капитан исполнился радостью, и уже предвкушал блаженство. Вечером, за обильным ужином, уже он заговорил с Лизой о том, что для рассеяния скорби надлежит ей поехать временно в какую-нибудь из двух других ее деревень, и жить там. Он говорил:

– Здесь все напоминает тебе, Лизета, о твоих покойных родителях, а девушке в твоём возрасте не следует предаваться меланхолии. Я провожу тебя, друг мой, в Ремницы, и устрою там, а сам опять буду сюда, твоё добро стеречь и прибытки тебе делать.

Лиза отвечала ему почтительно, но с твердостью:

– Простите меня, дяденька, но этого дома, где скончались мои дорогие родители, и того места, где почивают их священные для меня останки, я не оставляю.

Калаганов стукнул по столу стаканом, и сказал грозным голосом, сердито глядя на перепуганную Лизу:

– Ты ещё молода, сударыня, чтобы со старшими спорить. Я – твой дядя и попечитель, а ты будешь делать все то, что я тебе прикажу, без всяких разговоров.

Лиза, быстро оправясь от внезапного испуга, усмехнулась и сказала:

– Я, дяденька, буду оказывать вам должное повиновение, но только я при покойнике папеньке делала то, что мне самой хотелось. Прикажите мне услужить вам в чем-нибудь, я это сделаю охотно, а из этого моего дому выехать ни за что не хочу.

Капитан побагровел от гнева, и сказал ещё более грозно:

– Больно ты бойка, Лизавета Николаевна, да мы и не таких поровистых объезжали. Иди-ка, сударыня, спать, да свечу не жечь понапрасну. У вас тут, сказывали мне, Вольтерами пахнет, а я Вольтерова духа не долюблю.

Лиза послушно встала из-за стола, и, пожелав дяде спокойной ночи, удалилась. Раздевшись, она тотчас погасила свечу, и попыталась заснуть, дабы показать своё послушание в пределах должного. Но сон бежал от её глаз, разнообразные мысли и чувства волновали её ум, и она долго ворочалась с боку на бок, пока необычайное смятение и крики в доме не заставили её в испуге вскочить с постели. Кое-как накинув на себя утренний капот и поправившись под руку мантилью, выбежала трепещущая Лиза в прихожую, чтобы узнать, что случилось, и не горит ли, Боже упаси, где-нибудь в обширном её доме. Случилось же вот что:

По уходе Лизы капитан ещё долго сидел в столовой, сначала в обществе двух старичков, потом один, и осушил не одну бутылку вина, совещаясь и размышляя о том, какими мерами принудить Лизу к повиновению. Решив завтра же, добром или неволей, увезти Лизу, да и не в её Ремницы, а в свою деревню, где за ней лучше присмотрят, он взял свечу и направился в кабинет Николая Степановича, где была приготовлена ему постелья. По дороге заблагорассудил он взять с собой какую-нибудь девушку, чтобы осчастливить её своим вниманием. Войдя в каморку под лестницей, где спала одна из девушек, он разбудил её, и, не столько словами, сколько знаками, изъяснив ей свои намерения, стал понуждать её оставить свою постелью и следовать за ним. Но так как покойный Николай Степанович смотрел на своих подвластных только, как на людей, дарованных ему судьбой для работы и службы, и непотребству с ними никогда, даже и в молодые свои годы, не предавался, то и не привыкли здешние девушки к такому вниманию со стороны господ. Потому и разбуженная капитаном девушка оказала решительное

противодействие всем настояниям его. Когда же капитан перешел в настойчивое наступление, девушка отчаянно завизжала, укусила капитанову руку, выбежала с громкими криками в прихожую, и, таким образом, всполошила весь дом. Капитан же, ослепленный вином и страстью, не догадывался оставить ее, и, уцепясь за ее сорочку, пытался зажать ей рот или унять ее грозными окриками.

Лиза, прибежав на этот шум, увидела прихожую, наполненную полуодетыми людьми, державшими свечи и фонари и в недоумении жавшимися к стенам, и по середине нападавшего капитана и отбивавшуюся от него с громкими криками девушку. Увидя вошедшую барышню, девушка бросилась к ее ногам, и, обливая их слезами и осыпая поцелуями, молила о защите, причем Лиза имела случай вспомнить, что, выбежавши опрометью сюда, она даже туфель надеть не успела. Лиза обратилась к капитану Калаганову с вопросом:

– Что это значит, дяденька? От какого насилия ищет Палаша защиты у моих ног? Разве одно пребывание мое в этом доме уже не служит для всех достаточной защитой?

Капитан, приосанясь и покручивая длинные усы, хотя и с немалым трудом держась на ногах, сказал запинаясь:

– Эта тварь, того, покушалась, да, покушалась на мою жизнь, а я ее, того, за косы.

Палаша завопила с отчаянием:

– Напраслина, матушка барышня, звездочка наша ясная, напраслина. Я спала себе смирнехонько, ничего не знала, а барин пришли ко мне в каморку и стали охальничать.

Но и без этих уверений ложь капитановых слов была столь очевидна, что некоторые смешливые девки едва удерживали веселость, зажимая рты и унимая друг дружку.

– Этого не могло быть, – сказала Лиза, – Палашка у меня девка смиренная, и покушаться на вас ей не за что. Идите–ка лучше спать, а утром увидим. Утро вечера мудренее. Лушка, дай барину свечку, видишь, его–то погасла.

Капитан, ворча сердито и пожимая плечами, удалился, не имея уже того воинственного вида, который отличал сегодня все его слова и поступки.

На утро Лиза, пригласив капитана в гостиную, объявила ему, что такого поведения в своем доме она не потерпит, что в попечителе она ни мало не нуждается и управит своим имением сама, и заключила свою речь просьбой, чтобы капитан уехал в тот же день восвояси. Капитан принял грозный вид и стал ссылаться на свои права. Но Лиза сказала ему твердо:

– Жалуйтесь на меня, кому хотите, а я своего решения переменить не могу, да и не хочу. Я и сама имею основание к жалобам. Вечером вы приказывали мне ехать прочь из моего дома, ночью хотели обидеть мою крепостную, – обижайте меня, если хотите, а моих подданных я никому в обиду на дам.

Тогда капитан переменял обхождение, и пытался извинить происшедшее ошибкой и тем, что, выпив вчера на новосельи много вина, ошибся дверью и, думая, что попал к себе, хотел удалить со своей постели дерзкую девку. Но Лиза не вняла его уверениям, повторила настойчиво свое решение, и, давши сроку на сборы до послеобеда, ушла к себе, оставив бравого капитана растерянным и недоумевающим. Приказав людям строго, чтобы капитану непременно готовы были тотчас после обеда лошади, Лиза заперлась в своей спальне, и, под предлогом нездоровья, к обеду в столовую не выходила. Капитан так и принужден был уехать, не повидавшись со

своей племянницей. Жаловаться на Лизу он не осмелился, чтобы не подвергать себя пущему конфузу.

И вот Лиза принялась сама управлять своим имением. Бодрая и деятельная, она была с раннего утра на ногах. Лиза скоро увидела, что имение изрядно запущено. В последние годы отец думал мало о хозяйстве, мать тоже не все могла доглядеть. Лизе пришлось не мало употребить забот и трудов, пока имение не было приведено в должное устройство. Тогда, дав точные наставления бурмистру и вотчинной конторе, Лиза занялась преимущественно домашним и дворовым хозяйством и девичьей. Непрестанно думая о том, что надлежит делать и знать помещице, чтобы стать госпожой милостивой, она придумала сама работать с девками, в свободное же от работы время пела с ними песни, водила хороводы. Лиза хотела узнать, как живут, что чувствуют все эти хамы и хамки. Девки радовались ее ласковому обхождению, старые же мужики, покачивая головами, говорили:

– Непорядок.

Бурмистр Степан Титыч так осмелел, что в глаза Лизе говорил:

– Непорядок, барышня.

– Чем же непорядок, Титыч? – спрашивала Лиза, не думая сердиться на смелые слова.

– А тем и непорядок, – говорил Титыч, – что девка должна знать свое место, а господа – свое.

Лиза только посмеялась его словам, и продолжала свои чудачества, – так называли это соседние помещики, которым Лизино поведение сильно не нравилось. Ни на кого не обращала внимания Лиза, показала все свое своеволие. Мало-помалу Лиза и одеваться стала, как ее крепостные девушки. Казалось ей, что, перенявши их одежду, она лучше поймет их душу. Сидя с ними в девичьей, Лиза принялась вышивать большое покрывало, – цветы по белому шелку цветными шелками, очень сложный и красивый узор. Какая-то не вполне еще ясная ей самой мысль заставила ее начать эту работу.

Так прошло еще три года. Каждый день работа, в праздник молитва. Зимой за вышиваньем, а летом иногда и в поле с серпом в руках. Лиза говорила:

– Пусть мои дворовые девки жнут барское поле, – барщинным бабам будет легче.

Толку от работы непривычных дворовых девушек было мало, и девушкам это не очень-то нравилось, да с барышней не заспоришь, – характерная барышня. Она же и сама пример подавала. Загорела Лиза, и лицом на крестьянку стала похожа.

Опять сватались к ней многие, и опять всем отказывала Лиза. Как и прежде, отказывала не сразу. Всмотрится, подумает, всю ночь промечтает, сравнивая нового искателя ее руки с Алексеем, – и на утро откажет. А многим хотелось прибрать к рукам Лизино имение, теперь благоустроенное и дающее хороший доход.

Глава девятая

В околотке твердили, что Лиза дуриг, что поведением своим внушает она вольные мысли крепостным, и является таким образом противницей своей братии, дворян. Поговаривали о необходимости учредить над ней опеку. Капитан Калаганов приободрился, полагая, что опекуном назначат его. Сам предводитель дворянства приезжал к Лизе. Это был почтенный старик, служивший когда-то в войсках под

командой Суворова и Кутузова. Лиза встретила его приветливо. После учтивой светской беседы предводитель заговорил о Лизиних поступках:

– Смущение производите, сударыня, – говорил он строго. – Крестьяне поощряются к самовольству, а дворяне ропщут.

Лиза отвечала спокойно:

– Я управляю моим имением, как умею, с Божией помощью и по силе принадлежащей мне, как наследственной помещице, власти.

– Не хорошо, сударыня, – говорил предводитель, – то, что вы с хамами обращаетесь за панибрата, как говорится.

– Эти хамы даны мне Богом, – отвечала Лиза. – Я за них перед Богом в ответе. Потому я хочу быть милостивой госпожой, тем более, что крестьяне разоренные и дворовые, непосильным трудом угнетенные, помещику прибýtка не дают.

Предводитель строго нахмурил брови и спросил:

– Да в низость–то зачем же вам, благородной госпоже, опускаться, милостивая государыня моя?

Хитрила Лиза, говорила смиренно:

– Помещику надобно в точности знать свое хозяйство. Я не хочу, чтобы меня бурмистр да приказчик обманывали, – хочу все в хозяйстве знать, во все сама вникаю. Какой же кому от этого вред? Разве обязана я разоряться, доверившись людям и ни во что не вникая?

Так и уехал ни с чем почтенный старичок. Он не знал, что делать ему с Лизой, доводы которой он никак не мог опровергнуть. Рассказывая друзьям своим об этом свидании, он говорил:

– Вот оно, нынешнее–то воспитание. Возил папенька ее в Москву, – то–то много хорошего набралась там девица. И не сговоришь с ней, – я ей слово, она мне десять.

Лизу оставили пока в покое. А Лиза томилась, ждала, искала чего–то. Она ходила по полям и по рощицам, вспоминая незабвенные встречи и беседы. Ждала чего–то, – уж не новой ли радостной встречи? Думала Лиза:

«Ведь я теперь совсем не такая, как тогда, не та пустая и капризная девушка, какой знал меня Алексис.»

Иногда Лиза думала с боязливой надеждой:

«Неужели Алексис не вернется?»

И опять думала:

«Я его недостойна.»

Однажды, в начале мая месяца, посетил Лизу один из ее соседей по имени, полковник Андрей Петрович Приклонский, человек еще молодой, красивый и ловкий, приехавший в свое имение в отпуск из Петербурга, где он служил в одном из гвардейских полков. Лиза взволновалась этим посещением чрезвычайно, и от того показалась Приклопскому весьма провинциальной, по премилой барышней.

«Он мог видеть Алексиса! Он мог разговаривать с Алексисом!» – думала Лиза, и от этой мысли кровь быстрее обращалась в ее сердце, и с тяжким биением восходила до лилейного чела.

Не ренаясь завести речь с полковником об Алексее, чтобы внезапным изменением голоса не выдать невзначай своей сердечной тайны, с нетерпением ожидала Лиза, когда Приклонский сам заговорит об Алексее. Полковник, недавно овдовевший, – жена его умерла от неудачных родов, – не прочь был жениться вторично. Лиза, которую он помнил еще резвым ребенком, приглянулась ему, отменный порядок и убранство в доме показывали, что имение дает изрядный доход, и все это располагало его к мыслям приятным. Он бы решил даже,

извиняя себя крайним недостатком времени, которое он может провести в отпуску, теперь же сделать Лизе предложение. Но молва о том, что Лиза всем искателям ее руки отказывает, удерживала его от излишней поспешности. Самолюбие столичного жителя слишком сильно пострадало бы от такого афронта, нанесенного ему деревенской барышней. И потому полковник искусными подходами старался расположить к себе молодую хозяйку, тщательно примечая, какое впечатление производит он над ней. Он долго и с большим чувством говорил о покойных Лизиных родителях, которых знал он, когда еще Лиза ходила в обшитых кружевами длинных панталончиках. Потом распространился он об удовольствиях и приятностях светской жизни в столице. Лиза неоднократно наводила его на разговор об том или ином урожденце их губернии, уехавшем в столицу искать счастья и чинов. Полковник же от картин жизни светской готов уже был уклониться к описанию разных случаев из недавно оконченной кампании. И тогда уже, наконец, Лиза прямо спросила его, не встречал ли он где-нибудь Алексея Львицына.

– Как же! – отвечал полковник, и мужественное лицо его озарилось выражением приятных воспоминаний, – приводилось встречать прошлую зиму не однажды, и вести беседы о всяких материях с немалой пользой для ума и для сердца.

Лиза, тщетно стараясь скрывать свое волнение, спросила, женат ли он, и на ком. Полковник, зорко, хотя и неприметно для Лизы, всматриваясь в нее и оценивая опытным взором вдруг вспыхнувший на щеках ее румянец и влажное мерцание черных глаз, думал, что вопросы эти, может быть, и не проста. Усмехаясь внутренне над простосердечием бедной девушки, он отвечал ей учтиво:

– Нет, Елизавета Николаевна, еще Алексей Павлович не женат, да, кажется, вряд ли и собирается жениться. Барышни на него засматриваются: многие девицы и дамы нашего круга восторгаются его умом и всей его особой, и говорят, что ему равного не встречали во всю свою жизнь. Но он всегда погружен в меланхолию, как бы тая в душе нежную страсть к неведомой никому деве, или мечтая о сказочной Царь-Девиге.

При этих словах Лиза смутилась, покраснела, опустила глаза. Ей казалось, что тайна сердца ее известна всем. Собравшись, наконец, с духом и кое-как преодолев волнение свое, она спросила полковника:

– А вы, Андрей Петрович, скоро ли едете в Петербург?

Мелодичный голос ее при этом заметно дрожал, и от этого казался еще более чувствительным.

– Уже на будущей неделе, – сказал полковник с неопределенным выражением не то удовольствия, не то сожаления.

Хотя и привыкший к своему полку, к своим товарищам, к светским отношениям и к утехам военного честолюбия, он находил большую приятность и в деревне, на родине своей. Сожаление его могло относиться и к тому, что приглянувшаяся ему девица, казалось, думает о другом более нежно, чем думают о знакомом, о деревенском соседе или даже о друге детства. Лиза спросила:

– Отчего же так скоро вы от нас уезжаете?

– Призывает служба царская, – отвечал полковник. – А по мне, я бы с превеликим удовольствием остался долго в этих местах, где протекало мое мирное детство, где безмятежно играл я с братьями и сверстниками моими.

Взор закаленного в боях вояки блеснул слезой, и уже готовился полковник предаваться умиленным воспоминаниям, – но нежный голос Лизин прервал идиллическое течение его мыслей. Лиза

говорила:

– Можете ли вы, Андрей Петрович, исполнить то, о чем я буду вас просить?

– Все, что в моих силах, исполню с превеликим удовольствием.
– отвечал полковник.

Лиза помолчала немного, и с сильно бьющимся сердцем сказала:

– Передайте, пожалуйста, как-нибудь при встрече господину Львицыну, что я вышиваю покрывало разноцветными шелками, и что я надеюсь невдольге окончить его.

Полковник молча и внимательно слушал ее. Лиза продолжала:

– Пожалуйста, не забудьте передать это ему от меня, – мне чрезвычайно надобно, чтобы он знал об этом. Очень красивый и трудный узор, – я сама его выбирала, и сама вышиваю.

Лиза обратила к полковнику взор свой с нежно-молящим выражением. Полковник был немало удивлен настоятельностью просьбы о таком, казалось ему, незначительном предмете. Однако, тронутый умоляющим взором Лизы, и при том имея большую привычку не только к опасностям бранным, но и к неожиданным прихотям красавиц, он, не показывая своего удивления ничуть, сказал учтиво:

– Будьте уверены Елизавета Николаевна, что я передам это непременно, точно, и с отменным моим удовольствием.

Не спрашивая Лизу ни о чем, он тотчас встал и откланялся. Хотя и досадно было ему думать, что эта прелестная девица не будет его невестой, но он не показал нисколько своего неудовольствия и огорчения. Распространяться о предмете ее просьбы, – казалось ему, – было бы с его стороны нескромностью по отношению к молодой хозяйке, уже и без того смущенной.

Когда Приклонский уехал, Лиза вышла на дорогу, в блюденую рощу, поднялась в беседку-миловиду, из которой открывался далекий вид, и долго смотрела вслед за уносящейся быстро коляской, пока облака пыли не сокрыли ее совершенно. Неопределенные думы и мечтания теснились в ее душе. Тонкий крик жаворонка в лазури ясной точно звал ее куда-то ввысь, но ах! где же вы, крылья, на которых мчатся бы высоко над землей!

Вечером в тот день Лиза с восковой свечкой, поставленной в жестяном коробке, пошла на речку в сопровождении девок, несших за ней огонь. На берегу реки Лиза своими руками затеплила свечку, и, став на колени на мелкий песок берега, спустила коробок на воду. Поплыл огонек вниз по речке, мелькая и колыхаясь. Девки с неменьшим волнением следили за ним, как и их госпожа. Когда огонек, не погаснув, скрылся за поворотом реки, девки зародовались и закричали все вместе. А Лиза пошатнулась, и в глазах у нее потемнело. Радостная возвращалась она домой, и даже то не тревожило ее, что перед глазами ее, – следствие усердной работы над вышиванием, – плывут фиолетовые и желтые пятна, заслоняя предметы.

Глава десятая

Еще усерднее с того дня стала Лиза вышивать свое покрывало, очень сложный и трудный рисунок которого доставлял ей много забот и требовал напряженного внимания, ни на минуту не ослабевающего. Чтобы соблюсти точность в частях и гармонию в целом, надобно было тщательно подбирать тончайшие оттенки шелков. Вот когда поняла Лиза, чего стоит подневольная работа вышивальщиц, как ноет спина,

как бывают натружены глаза. Уж много, много недель прошло, с того утра, когда Лиза начала эту работу, а еще весьма изрядный кусок оставался.

Однажды, в июне месяце, сказали ей девушки, что в Заозерье ждут барина. Они говорили:

- Сказывают, недолго пробудет.
- Говорят, опять в чужие края, на теплые воды собирается.

И не знали угодливые девки, как надобно говорить о соседнем барине, заозерском помещике с почтением ли или так, как о господском враге.

Никто не мог бы описать того волнения, с которым выслушала Лиза эту весть. Одна мысль господствовала в ней над смятением чувств и дум разнообразных:

«Он приедет, а моя работа еще не кончена. И уедет опять нивесть куда, и уже, может быть, навсегда, так и не увидав плодов моего великого усердия.»

Лиза торопилась кончать свою работу. Она сидела ночи напролет, спала совсем мало. И вот теперь сама она узнала, как тает мир в натруженных глазах.

Кончила она вышивание однажды под утро. Никого не было при ней, все домашние спали, и только свечи, тускло мерцающие в мутно-палевых лучах рассвета, были свидетельницами тихой радости ее, когда она закрепила последнюю шелковинку. И эта шелковинка была вишнево-алого цвета, совсем такого же, как и маленькая капля крови, выступившая на нежном Лизинем пальчике, уколотом на последнем стежке заторопившеюся иглой. Спина у Лизы болела, в глазах было багряно и туманно, голова кружилась. Спала Лиза тревожно и недолго, и встала, когда еще солнце было не высоко. День казался темным, и все предметы плавали ей в лилово-багряном тумане. Она чувствовала большую слабость, и ей казалось, что она скоро умрет, но не жаль было жизни, потому что труд ее был кончен.

В этот день Лиза, первая из соседей, узнала о том, что Алексей приехал. Прибыл он в свою вотчину после полудня, и еще не успело солнце опуститься низко, как уже Лиза узнала об его приезде. Лушка, сердце которой в то время было покорено молодым заозерским садовником, прибежала к Лизе запыхавшись, и сказала:

– Барышня, молодой барин Львицын, сказывают, сейчас приехал. Да как постарел! Да как подурнел!

Больно забилося Лизино сердце. Она села на стул, и, растерянно глядя на изумленную Лушку, повторяла:

- Молчи, глупая, молчи!

Немного оправившись от первого приступа волнения, рожденного неожиданностью, поспешила Лиза к только что оконченному ей вышитому покрывалу. Она приказала развернуть его во всю длину, чтобы еще раз обозреть его перед отправлением к Алексею. Столпившиеся вокруг нее девушки ахали и восхищались вышивкой, приговаривали:

- Да и хорошо же вышивание-то!
- Ну уж и искусница барышня-то наша!
- Вот-то уж золотые ручки у барышни нашей!

Сама же Лиза смотрела на работу, плохо различая отменно красивый узор. Очаровательные оттенки красок смешивались в ее глазах в одно пестрое, переливно-мелькающее пятно. Сложив при помощи девок покрывало по длине вдвое, Лиза бережно свернула его в несколько оборотов, завернула его в чистое, тонкое полотно, и осторожно завязала шелковым шнуром, чтобы в сохранном виде отправить его к Алексею. К этому подарку присоединила она мед из

своих улыбок и своими руками срезанные ей цветы из сада и из теплиц. Кончив эти заботы, она села за маменькин стол красного дерева с бронзовыми полосками писать Алексею письмо.

Руки ее дрожали, когда она начерчивала эти строки, колеблясь между желанием излить свои чувства и страхом показаться смешной или навязчивой. К душевному волнению и нерешительности присоединилось еще и то, что слезы текли из ее натруженных глаз, засты свет заходящего солнца, буквы прыгали, и строки мешались. При этом не одно из перьев, мастерски очиненных для барышни в конторе молодым грамотеем Тихоном, сломала она, и не один лист английской почтовой бумаги, испачканный чернилами, разорвала, прежде чем письмо было готово. При том и на тонких пальчиках Лизиных осталось несколько чернильных пятен, от чего, впрочем, не стали они менее красивыми. Лиза писала:

«Милый Алексис!

«Я услышала, что Вы приехали в Заозерье, и минувшие дни предстали вдруг предо мной, как смутный, но сладостный сон. Не сердитесь на то, что я пишу к Вам.

«В память былой дружбы нашей примите от меня этот непышный дар, покрывало, над которым блуждали мои бедные руки, мои усталые глаза, мои печальные мечты. Примите и вспомните ту, которая Вас никогда не могла забыть. Также взгляните благосклонно на цветы, срезанные мной, и да будет Вам сладок мед, произведение скромного хозяйства моего.

«Я буду очень рада, если Вы приедете пообедать со мной и взглянуть на то, как живу я, горестно осиротевшая, так внезапно потерявшая любимых родителей. О том, как мне это больно, нечего и говорить.

«Впрочем, если неприятны Вам воспоминания о днях, для меня незабвенных, то прошу я Вас не стеснять себя просьбой моей. Я же воспоминания о Вас навсегда замкну в сердце моем, не имеющем иных радостей кроме воспоминаний.

«От всего сердца желаю Вам счастья

«Лиза Ворожбицина.»

С одним из наиболее расторопных и толковых слуг своих послала Лиза это письмо и дары свой соседу, как привет новоприезжему. Сама вышла на заднее крыльцо смотреть, как запрягали в тележку серую гладкую лошадку. Сама смотрела внимательно, хорошо ли уложены ее дары, не мнут ли, не сохнут ли цветы, не льется ли мед, не трется ли, не гнет ли покрывало. И так как глаза ее были как бы в тумане, то все дары свои тщательно перетрогала она руками, пальцы которых были исколоты ее прилежной иглой. Когда, наконец, тележка, гремя окованными железом колесами и подпрыгивая на камешках дороги, покатила со двора, Лиза побежала за ворота, как резвое дитя, и закричала вдогонку:

– Смотри, Дмитрий, доведи все в сохранности, да письма не потеряй.

На что черноусый Дмитрий, кумир всех деревенских девок, только покрутил головой и помахал кнутом, от чего лошадка побежала еще бойчее. В одну минуту в надвигающихся сумерках убегающие очертания тележки, седока и лошади слились в отуманенных Лизиних глазах в один серый мреющий ком. Лиза почувствовала, что глазам ее больно. Внезапно уставшая и плачущая, возвратилась она домой, и стала ходить из комнаты в комнату, нигде не находя себе места и

нетерпеливо поджидая возвращения Дмитрия. Нетерпение ее возрастало с каждой минутой, и при наступлении темноты ночной была уже она как сама не своя. Старая нянька пыталась утешить ее. Говорила:

– О чем слезы ронишь, Лизанька? Холост, неженат вернулся, – видно, тебя не забыл.

– Ах, забыл! Ах, забыл! – ломая руки, повторяла Лиза. – Вон из глаз, вон из памяти.

•••

Что же делал меж тем Алексей?

Прожив два года в Германии, он вернулся в Россию, и поселился в Петербурге. Состояние позволяло ему не поступать на государственную службу, где пришлось бы ему, несомненно, действовать не всегда согласно с его убеждениями и склонностями. Он жил свободно, то предаваясь светскому рассеянию, то вдруг затворяясь от самых близких друзей и погружаясь в свои книги и бумаги. Знакомые считали его отчасти чудачком, но извиняли это за его отменную со всеми любезность, и также и по причине тех небольших одолжений и услуг, которые человек со средствами всегда может оказывать своим приятелям, и которые Алексей оказывал им весьма охотно.

Во все эти годы образ Лизы всегда владычествовал над душой Алексея. Порой доходили до него кое-какие вести о Лизе, – так, знал он, что она отказывает всем искателям ее руки. Много раз порывался Алексей поехать в свою деревню, чтобы иметь возможность еще раз взглянуть на милое лицо. Но что-то удерживало его. Недавно Алексей, на обеде у одних своих знакомых, проводящих лето на Каменном Острове, встретил полковника Приклонского. Здесь от полковника Алексей услышал, переданные ему со светской легкостью, слова Лизы о будто бы вышиваемом ей покрывале. В словах этих почудилась Алексею злая насмешка над ним. Казалось ему, что Лиза не без дурного намерения просила передать ему известие относительно предмета, подобного тому, из-за которого они рассорились: конечно, думал он, Лиза хочет показать ему, что словам его не придает значения, и что по-прежнему ее крепостные девушки тратят зрение над вышивками.

Потом, уже дома, размышляя об этом, он вспомнил, что полковник говорил ему, будто Лиза вышивает покрывало собственными руками. Но сообразив, что и сам он иногда заставлял Лизу за пяльцами, причем вышиваемый ей узор мало подвигался к окончанию, он объяснил себе эти слова тем, что Лиза, для рассеяния скуки, приходит иногда в девичью и делает несколько небрежных стежков, едва ли украшению общего способствующих, несравнимо же большую часть работы делают девушки. Таким образом укрепился он в дурном мнении о Лизе. Но, – странная непоследовательность влюбленных: – именно это решило намерение ехать в Заозерье. Впрочем, надобно сказать, что Алексей не думал определенно о свидании с Лизой. Не только в разговорах с друзьями, но и перед самим собой, поездку свою Алексей объяснял тем, что надобно же ему посмотреть свое имение и проверить, управляется ли оно хорошо, и не чинятся ли крестьянам и дворовым обиды и утеснения.

Дороги были то хороши, то плохи. Ямщики, поощряемые щедрыми подачками на чай, везли быстро. Станционные смотрители были по большей части внимательны к проезжему, изысканная одежда которого и тонкость манер заставляли предполагать в нем особу высшего общества.

Дорожные встречи и беседы на местах ночлегов бывали нередко занятыми. Словом, Алексей довольно быстро и не без приятности доехал до своего имения. Вид с детства знакомых мест оживил в Алексее все его прежние чувствования, мечтания, ожидания и надежды и сердце его забило, когда он с вершины ближнего холма увидел крест над сельским храмом в Ворожбинине, куда он ходил еще ребенком.

Все в доме застал Алексей в полном порядке, и потому не видел себя вынужденным немедленно вникать в дела хозяйства. А потому пришедших к нему с докладами отправил он, сказав:

– Позову на днях, когда отдохну с дороги.

Глава одиннадцатая

Лето стояло такое же очаровательное, как и в тот памятный год. Когда стемнело и над изумрудной зеленью лугов поднялся белый туман, в котором разливался неясный, млечный свет только что взшедшей луны, Алексей вышел из дому, и долго ходил один над ручейком, отделяющим его владения от полей Ворожбининских. Взоры его обращены были в ту сторону, где пережил он столько разнообразных чувствований, радостных и печальных.

Во время этой его прогулки приехал в господскую усадьбу в Заозерье Дмитрий с дарами своей барышни. В приятельской беседе с дворовыми Заозерскими, не отходя, однако, от тележки с дарами, провел он более часа. Наконец, когда барин вернулся с прогулки, Дмитрий был допущен в барский дом, передал в собственные руки Алексея дары и письмо, и, стоя почтительно, ждал, будет ли ответ. Приняв дары и подаривши Дмитрию серебряный рубль на водку, Алексей приказал ему ждать ответа и удалился в свой кабинет прочесть Лизино письмо и написать ответ.

Долго сидел Алексей, предаваясь грустным размышлениям. Наконец, решив, что полученное им письмо продиктовано притворством и тщеславным намерением увидеть у своих ног отвергнувшего ее некогда поклонника, он почувствовал в душе своей ожесточение и написал:

«Милостивая Государыня,
Елизавета Николаевна!

«Я глубоко признателен Вам за подарок Ваш, верное свидетельство отменного умения Вашего управлять вещами и людьми. Располагая уехать отсюда вскоре, не знаю, буду ли иметь возможность воспользоваться любезным приглашением Вашим, за которое приношу Вам мою нижайшую благодарность.»

«Впрочем, имею честь быть с истинным почтением покорнейший слуга Ваш

«Алексей Львицын.»

•••

С трудом, при свечах, прочитавши холодный ответ Алексея, Лиза долго плакала навзрыд. Сон не приходил к ней, и она бы так и не ложилась в постель, если бы Лушка и Степанида, по приказу старой няньки, не отвели ее в спальню, где, почти бесчувственную от жестокой печали, раздели и уложили ее. Но весь ночной отдых ее состоял лишь в том, что она в тягостном полузабытьи то одной, то другой стороной вверх переворачивала подушку, беспрестанно увлаж-

няемую слезами.

Утром встала она рано, и пошла к ручью, разделявшему ее владения от Заорезья. Теплилась в сердце ее слабая надежда на то, что, быть может, встретит она Алексея и скажет ему, хотя бы и в последний раз, про свою любовь. Утро возило прохладное, росистое и многоцветное, но Лиза мало что различала, словно очертания и цвета предметов скрадывались от ее взора падением великого дождя. Лизе казалось, что мир зыблется в ее глазах. Лизины глаза краснели, — от верта, веющего ей навстречу? от пролитых в изобилии слез? от усталости? Образ ослепшей Марфушка стал в ее воображении. Сердце ее сжалось. Лиза думала печально:

«Ослепну и я. Ну, что ж! Разве мы не видим лучше глазами души, чем глазами тела?»

Вот и мостик, перекинутый через пограничный ручеек. Здесь столько раз встречались Лиза и Алексей! Не однажды, опираясь на тонкие перила моста, из молодых березок срубленные, прислушивались они к мелодичному журчанию водных струй, перебегающих с камешка на камешек по ровному, извилистому руслу, окруженному живописными холмами и осененному раскидистыми деревьями. Лиза быстро пробежала по мостику, и ступила на землю, принадлежащую ее милому. Она стояла там, объятая неизъяснимым волнением, не смея идти вперед не решаясь вернуться. Вдруг ее испугал, раздавшийся где-то, незнакомый мужской голос, выкрикавший слова, разобрать которые, за отдалением было невозможно. Лиза поспешно побежала обратно. На другой стороне она остановилась, чувствуя здесь себя спокойнее.

«Здесь я у себя, — подумала она, — но и там, глупая, чего же мне бояться?»

Лиза села на большой обомшальный камень, издавна лежавший недалеко от входа на мост. Она думала:

«Неужели Алексис не придет сюда в этот ранний час, в который некогда мы с ним на этом месте встречались?»

Долго сидела она в ожидании, наконец решила, что уже, видно, Алексей не придет. Она, вздохнув печально, уже собиралась уходить. Туманным взором окинула она окрестность, и уже оперлась о камень рукой, чтобы встать, как вдруг услышала она невнятный шорох в кустах и вслед затем шаги на спускающейся к ручью дорожке. Не смея ни на что надеяться, Лиза подняла глаза.

Через мост тихо шел, погруженный в глубокую задумчивость, Алексей. Он вспоминал минувшее, и не думал в ту минуту, что переходит через границу владений своих и готовится ступить на землю, которой нога его не касалась уже пять лет. Взор его невнимательно скользнул по простому одеянию Лизы. Алексей принял ее почему-то за одну из поповен ближнего села. Поклонясь ей приветливо, он уже готовился пройти мимо, когда знакомый голос, проникший до глубины его души, внезапно остановил его, и заставил всмотреться в сидевшую на камне девушку. Лиза узнала его, — ах! глазами души более, чем глазами тела. Разве не различила бы она и в глубокой ночи его походки!

Лиза встала, и поспешно пошла навстречу Алексею. Сердце ее сильно билось. Перед ней плыл багряный туман, сквозь который только лицо Алексея различала она, только на одно это лицо хотела она смотреть. Алексей глядел на нее с изумлением и с невольной нежностью. Вместо легкомысленной, веселой шалуньи и своевольницы, какой помнил он Лизу и какой он еще вчера воображал ее, рассматривая ее подарки, стояла теперь перед ним, с глазами, полными слез, стройная, печальная девушка, лицо которой было

неизъяснимо трогательно и прекрасно. Они стояли друг против друга, и обменивались первыми словами принужденного разговора. Поблагодарив Лизу за вчерашние подарки, Алексей сказал печально:

– Вышивание превосходно, и весьма лестно, но неутешен мне сей ваш, Елизавета Николаевна, насмешливый подарок.

– Но неужели думаете вы, Алексис, – спросила Лиза, – что я в насмешку послала вам эту работу?

Она с трудом удерживала, готовые уже пролиться, слезы. Алексей говорил:

– Вышивали его, бесспорно, отменно искусные мастерицы, лучшие из тех, коими вотчина ваша на всю округу издавна славится.

Лиза, улыгнувшись сквозь слезы, от чего стала вдвое милее, отвечала:

– Вышивала одна, изрядно усердная, да уж не знаю, сколь искусная.

– И все также несчастные девушки слепнут над работой? – внезапно вспыхнув, спросил Алексей.

Лиза воскликнула горестно:

– Я сама вышивала! Все покрывало своими руками вышила. И она заплакала наконец. С удивлением воскликнул Алексей:

– Не может быть! Сколько же лет надобно было над ним сидеть! Лиза, что вы говорите!

Лиза плакала и говорила:

– Взгляните, Алексис, на мои пальцы, они исколоты иглой.

Прямо в глаза Алексею посмотрела Лиза, и голосом ангельской кротости сказала:

– Взгляните на мои глаза, они красны от работы, и еще более от многих слез, от бессонных ночей, в труде и в печали проведенных мной.

Алексей всмотрелся. Слезы подступили к его глазам. Он осыпал Лизины руки поцелуями. Нежность, любовь, сожаление, раскаяние, радость, – все эти разнородные чувства одновременно возникали и сплетались в его душе. Обняв Лизу нежно, говорил:

– Ангел Лиза! Ты страдаешь! Ты, мое бесценное сокровище!

Лиза, прижимаясь головой к его груди, отвечала ему.

– Меня тревожила только мысль быть вами окончательно позабытой. Я все слова, все речи ваши сложила в своем сердце, и жила единственно только для того, чтобы стать достойной вас. Ныне уже я не та, что была прежде: тогда я глядела на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Ныне свет меркнет в моих глазах, и я умереть готова, но глаза души моей открыты для вечернего света Правды, и душа моя радостна, потому что я знаю, – вы простите мне мою детскую злость и все мое бедное неразумие.

Сердце ее трепетало от радости и от печали. Она так плакала, что вся душа ее растворялась в слезах. И с ее слезами чувствительный Алексей смешал свои, столь же горестные, сколь и сладостные ему, слезы. Примирение было равно радостно для обоих.

Через две недели, в храме села Ворожбицина, перед тем самым алтарем, пред которым еще детские возносились их молитвы к престолу Всевышнего, перед которым молились, причащались, венчались и были отпеваемы родители их и предки, повенчались Алексей и Лиза, дав друг другу обет верности, неизменной до гроба. Так, претерпев испытания, как некогда Гризельда, достигла Лиза счастья, которым наслаждалась безмятежно до конца своих дней, имев утешение на склоне жизни рассказывать эту историю в назидание своим внукам и правнукам.

В первое время боялись, что Лиза ослепнет. Но не ложно говорится, что счастье есть наилучший врачеватель всех недугов телесных и душевных. Глаза Лизиной скоро отдохнули, довольно ясное зрение вернулось к ним, хотя уже дальние предметы она различала не столь хорошо, как раньше.

ПРАВДА СЕРДЦА

I

Лето 1914 года в Орго, маленькой эстонской деревушке на южном берегу Финского залива, проходило приятно и спокойно. В начале лета никто здесь и не думал о близости большой европейской войны. Все время стояла прекрасная погода, ясная, теплая, с редкими дождями. Дачники, — немцы из Юрьева и из Ревеля, да русские интеллигенты из столиц, — развлекались как умели. Те, которые жили здесь уже несколько лет, хвалили очень это место, широкий вид на море, великолепный парк, закаты, — все, что можно хвалить. Попавшие сюда первый раз, — потому что знакомые зимой часто хвалили Орго, — жаловались на скуку.

В самом деле, Орго — глухое захолустье, нет ни кургауза, ни музыки. Общество благоустройства дачной местности Орго только что было основано, и успело только вывесить две надписи о запрещении велосипедистам ездить по пешеходной дорожке в деревне, да еще устроило плохонький теннис-гроунд. Даже станция железной дороги в семи верстах, — не погуляешь по платформе, встречая и провожая поезда. Только и было утешение, что купание в море, — пляж очень хороший, почти такой же, как в Усть-Наровской купальной местности, — да лаун-теннис, устроенный на поляне над морем.

Из-за лаун-тенниса молодежь ссорилась с аптекарем: не хотели платить денег за право игры на теннисе, а аптекарь, казначей общества благоустройства дачной местности Орго, грозил, что снимет сетку. Он старался быть очень аккуратным, чтобы оправдать свою немецкую фамилию, и чтобы его не сочли за эстонца.

Молодые люди говорили:

— Мы не обязаны платить вам за игру в теннис. У вас сетка висит старая.

Аптекарь упрямо твердил:

— Нет, обязаны. Общество не имеет сумм на то, чтобы покупать сетку.

— С нашей дачи, — говорил веселый студент Бубенчиков, — вы уже взыскали три рубля.

— А с нашей, — говорил мрачный Козовалов, — даже пять.

Аптекарь объяснял:

— Ну так это же за доставку корреспонденции, — вы же сами знаете, что в нашей местности нет почтового отделения. А мы хлопочем, и в будущем году мы будем иметь почтово-телеграфное отделение. Чего же вы хотите?

— Это нам все равно, — говорили молодые люди, — нельзя же платить без конца.

Долго пререкались. Наконец аптекарь сетку снял, и около теннис-гроунда вывесил на столбе записку с надписью: «Игра без

разрешения правления общества благоустройства запрещается».

В отместку за это легкомысленные молодые люди в следующую же ночь прибили на дверях аптеки записку: «Ходить в аптеку без рецепта врача строго воспрещается».

Многие дачники, запасшись старыми сигнатурками, нарочно заходили в аптеку справиться, почему вход без рецепта воспрещен. В аптеку дачники ходили, как водится, не столько за лекарствами, сколько за открытками с видами местности, за фонариками для иллюминаций, за мылом и одеколоном, и за прочими разнообразными вещами.

Аптекарь возмущался, уверял, что можно ходить и без рецепта, и, отпуская свои товары, жаловался всем на молодых людей.

Раза два-три в лето устраивались любительские спектакли и балы в помещении местного пожарного общества, — вот и все веселье. Приходилось в остальное время довольствоваться домашними развлечениями, а днем гулять и любоваться видами, — занятие, молодости мало свойственное.

II

Лиза Старкина, юная дочь морского офицера, плавающего где-то в далеком море, была в нерешительности, на ком из двух молодых людей остановить ей свое внимание. Бубенчиков и Козовалов, два студента, юрист и математик, оба были очаровательны, каждый в своем роде.

Лизина мать, Анна Сергеевна, предпочитала любезного и веселого Бубенчикова. Лиза тоже оценивала его превосходные качества, но и в мрачном Козовалове были свои очарования. Он не лишен был остроумия и находчивости, и хотя говорил ей иногда дерзости, но всегда готов был услужить, тогда как любезный и веселый Бубенчиков был эгоист, и от оказания услуг часто увиливал.

Впрочем, порой оба юноши казались Лизе скучноватыми. И казалось даже ей, что и живут они не по-настоящему, а так, между прочим, до окончания курса, — а настоящая жизнь их начнется потом, когда они выдержат свои государственные экзамены и пристроятся более или менее хорошо.

Но Лизе уже хотелось кого-то любить. Такой уж возраст. И потому на пляже она почти каждый день, сбросив юбочку и сандали, танцевала Дунканские танцы то для одного, то для другого, то для обоих вместе. Лиза, как водится, училась на каких-то драматических курсах. Она была очаровательна в милых своих танцах, стройная, тонкая, весело загорелая, легкая над гладью мелкого, серовато-золотистого песка.

Был еще и третий, склонный ухаживать за Лизой усерднее и самоотверженнее первых двух. Это был местный, Пауль Сенп, но для Лизы он был пока только комическим элементом.

Паулю Сенпу было двадцать восемь лет. Он был красивый, высокий, сильный, широкоплечий, очень сдержанный человек, добродушный и немного мешковатый. У него были ясные голубые глаза и светлые волосы. Он не пил водки, не курил. Не знал никакого разврата. Кончил какое-то сельскохозяйственное училище. Много читал, по-русски и по-немецки. Очень любил литературу и философию. Играл на рояле. Пел баритоном. Две его сестры, молоденькие девушки, недавно кончили учиться в гимназии.

С весны он был влюблен в Лизу Старкину, — с первого же

раза, как увидел ее на обрыве над морем, в тунике, веселую, белую, еще не успевшую загореть. Но он был простой, крестьянин, эстонец, и сам работал на своем поле, вместе со своими двумя сестрами. У него было тридцать десятин земли, и летом жило несколько работников и работниц.

Он был еще холост и непорочен, как мальчик. Зимой он мечтал о далеких красавицах. Каждое лето он влюблялся в русскую барышню, – теперь влюбился в Лизу. В немок он почему-то не влюблялся ни разу.

И вот было трое влюбленных в одну Лизу. Лиза никогда еще в жизни не чувствовала себя такой гордой и счастливой. Лиза и Пауля Сеппа не совсем отвергала на страх двум другим. Поддразнивая их, она говорила:

– Захочу и выйду за эстонца.

И всех трех выслушивала весело и мило, как все, что она делала.

Анна Сергеевна очень сердилась, когда Лиза говорила с ней об эстонце. Она восклицала:

– Лиза! Твой отец, – капитан первого ранга, а ты говоришь о простом эстонце.

Лиза хохотала. Говорила:

– Мы с Паулем будем косить траву, сеять хлеб, пасти свои стада и разговаривать о Шиллере и о Канте.

– Ужас, ужас! – восклицала Анна Сергеевна.

Лиза продолжала дразнить мать:

– Я буду доить коров и каждое утро носить для тебя парное молоко. Ты увидишь, какое оно будет вкусное, густое и чистое.

Анна Сергеевна затыкала уши пальцами, и уходила.

III

Лиза с мамой, Бубенчиков и Козовалов гуляли в парке. Парк принадлежал остзейскому барону, и на вход туда надобно было брать билеты. За билетами приходилось ходить к управляющему, чистенькому немцу из Риги.

Любовались на великолепный, белый, вознесенный над силлурийским обрывом, дом барона. Один только Козовалов упрямо говорил, что дом ему не нравится, что он годится разве только для устройства в нем музея дурного вкуса. С ним спорили. Но он был, конечно, прав. У него был хороший вкус, и эта дурно-слаженная постройка, совсем не гармонизировавшая с местностью, не могла его удовлетворить.

Когда уже видно было синее море, Козовалов сказал, указывая на отдельно стоящее громадное дерево:

– Вот то самое дерево.

– Какое? – спросила Лиза.

Козовалов мрачно улыбнулся, и промолчал. У него был в эту минуту таинственный и значительный вид. Лиза вдруг зажглась любопытством. Бубенчиков рассказал:

– На этом дереве весной повесился баронский конюх. Он выстегнул кнутом глаз одной лошади. Управляющий ему сказал, что взыщет триста рублей и посадит в тюрьму. Ну, он пошел сюда ночью, и повесился. Утром нашли. Молоденький был совсем, очень скромный, и у него была невеста, здешняя эстонка Эльза, – она живет в горничных у Левенштейна.

Анна Сергеевна захала:

– Ах, какой ужас! Зачем вы нас здесь повели! Мне этот эстонец ночью будет сниться. И зачем вы это рассказали!

Лиза сказала досадливо:

– Мама, как же ему не рассказать, когда его об этом просят!

Лизу всегда утомляла деланная экспансивность и кокетливость ее матери.

Бубенчиков говорил оживленно, как что-то радостное:

– Многие теперь боятся ходить в парке вечером.

– Да и днем жутко, – сказала Анна Сергеевна. – Знала бы, так не стала бы и билета брать.

– Ну, я бы и сама взяла, – отвечала Лиза.

Козовалов сказал злорадно:

– И молодая баронесса не приехала нынче летом.

– Почему? – спросила Лиза.

– Боятся, что эстонцы разозлятся и станут мстить, – объяснил Козовалов. – Потому и билеты надо брать, – боятся пускать всех.

– Вовсе не потому, – заспорила Лиза, – прежде всех пускали, так подходили к самому замку, и все цветы обрывали.

– Ну, уж ты, спорщица! – сказала Анна Сергеевна, – всегда все лучше всех знаешь.

Вечером, встретившись с Паулем Сенном, Лиза спросила его:

– Почему повесился этот конюх? Неужели из-за какой-то баронской лошади?

– Да, из-за лошади, – отвечал Пауль Сепп.

– Но неужели же это правда? – спрашивала Лиза. – Что же с ним могли сделать? Ведь мы же не во времена крепостного права живем!

Пауль Сепп спокойно отвечал:

– Управляющий – немец.

– Ну так что же? – с удивлением спросила Лиза.

– Немцы народ аккуратный, не простит, – сказал Пауль Сепп.

И ясные глаза его зажглись мгновенной злостью.

IV

Как-то совсем неожиданно стали говорить, что скоро будет война. С жадностью читали газеты. Злое нападение Австрии на Сербию и явное потворство ей со стороны Германии раздражали многих. Возрастало негодование против Германии. Припоминали, что Германия держала уже много лет всю Европу в состоянии неуверенности в завтрашнем дне и заставляла всех делать чрезмерные усилия для вооружений. Вскрылась нарастающая в течение долгих лет вражда к надменным и заносчивым пруссакам. Уже и местные нотабли, аптекарь и булочник (он же содержатель пансиона) объявили, что они – не немцы, а эстонцы; до сих пор они это тщательно скрывали.

Появились указы о мобилизации, сначала частичной, а потом и общей. Дачники читали расклеенные объявления, и толковали их, кто как умел.

Вот и война объявлена. В газетах, которые пришли вечером, было напечатано о германском наглom ультиматуме России. А к ночи Бубенчиков, съездив на велосипеде на станцию, привез важные новости. Он вошел торопливо на закрытую стеклянную террасу дачи Старкиных, где сидели за чайным столом Лиза, Анна Сергеевна и Козовалов со своей матерью. Здороваясь, он объявил испуганно и радостно:

– Германия объявила нам войну. Франц-Иосиф умер.

Анна Сергеевна всплеснула руками, и воскликнула:

– Ну, вот, дождались, досидели! Ужас, ужас!

– Немцы, может быть, здесь высадутся, – говорил Бубенчиков, – здесь крепости нет, и флота у нас нет, они сюда и пойдут, и отсюда на Петербург.

Говорил это, как что-то радостное.

– Ужас, ужас! – повторяла Анна Сергеевна. – Что же с нами будет?

Козовалов говорил:

– Нет, немцы придут с юга, и разрушат железную дорогу. А что с нами будет, это покрыто мраком неизвестности. Впрочем, кто уцелеет от неприятельских снарядов, тому, надо полагать, немцы ничего особенно плохого не сделают: народ культурный.

Лиза не верила ни в десант, ни в разрушение железной дороги. У нее было спокойное и смелое сердце чисто-русской девушки. Она любила Россию, и потому верила, что Россия победит. Она говорила:

– Немцам здесь не дадут высадиться. И до нашей железной дороги им не дойти.

Мать спросила:

– Как же не дойдут, Лизочка, если из Восточной Пруссии на нас три армии двигаются! Ведь это во всех газетах написано!

Лиза спокойно возражала:

– Да ведь и наши армии есть!

– Ну, где же наши! – говорила мать, – немцы сильнее, у них все мужчины на войну пошли.

Бубенчиков говорил:

– Немцы быстротой возьмут. Наши не успеют опомниться, как уже немцы подойдут к Петербургу. Не даром же вокруг Петербурга окопы роют, и все деревья рубят.

– Так-таки все? – насмешливо спросила Лиза. – Зачем же это?

– Ну, это по военным соображениям, – сказал Бубенчиков. – Ну, я пойду. Надо нашим сказать и Лихутиным.

Бубенчиков наскоро попрощался со всеми, и побежал по дорожке темного сада.

– Газета! – досадливо сказала Лиза.

Бубенчиков обошел всех своих знакомых. Дачники заволновались. До утра ходили по деревне, и сообщали друг другу новость откуда пришедшие слухи, один другого невероятнее.

На другой день с утра Анна Сергеевна говорила о том, что надобно поскорее уехать в Петербург. Лизе не хотелось. Она говорила:

– Такая хорошая погода! Что мы будем делать в Петербурге?

– Нет, нет, укладываться и уезжать – с выражением растерянности и ужаса на лице говорила Анна Сергеевна. – Пока еще впускают в Петербург, а потом уж ни впускать, ни выпускать не станут. А если сейчас поедем, так успеем еще, даст Бог, и из Петербурга уехать.

Лиза досадливо спрашивала:

– Куда же еще ехать, мама?

Анна Сергеевна отвечала:

– В Вологду, в Нижний, подальше куда-нибудь.

Лиза засмеялась. Спросила:

– Что же, ты думаешь, они и в Москву придут?

Анна Сергеевна сказала упавшим голосом:

– Ах, Лизанька, это – только вопрос времени.

Лиза с удивлением всмотрелась в испуганное лицо матери. Сказала укоризненно:

– Ну, мама, и трусиха же ты!

Анна Сергеевна заплакала и сказала:

– Лиза, я не хочу, чтобы прусский солдат меня прикладом пришиб.

Лиза пожала плечами, и подошла к окну.

Ясное небо, простодушные цветы на клумбах, невозмутимый мир высоко-зеленеющих деревьев, – ясная, милая жизнь, и влитая в нее мудрая близость успокоительной, глубокой смерти, – а рядом здесь, эта ненужная жалкая трусость! Как странно!

Лиза увидела из окна проходившего мимо сада по узкой меже за рожью их хозяина. Он смиренный и добродушный. Любит пиво, но никогда не буйнит. Бойтся он войны или нет?

Лиза быстро вышла к нему. Спросила:

– Андрей Иванович, вы на войну идете?

Хозяин снял шляпу, поклонился и сказал:

– Нет, я – ратник, до меня еще не дошла очередь. Без меня много народу.

– Андрей Иванович, а что, если немцы придут? – спросила Лиза.

Толстый рослый эстонец засмеялся, и сказал:

– Мы их сюда не пустим. Я возьму ружье, и один сто немцев убью.

Лиза закричала матери в окно:

– Мама, мама, послушай, что он говорит!

Анна Сергеевна только махнула рукой.

Когда Лиза вернулась, Анна Сергеевна ходила по комнате, и повторяла:

– Ужас, ужас! Все равно, здесь жить нельзя. Наши или чужие, все равно, придут солдаты, поселятся в нашей даче, а нам велят уходить.

V

Пошли гулять перед вечером, – Лиза с матерью, молодые люди. Зашли в эстонскую лавочку, под предлогом купить Жорж-Бормановского шоколада. На самом же деле Анне Сергеевне хотелось доказать Лизе, что оставаться здесь нельзя, потому что всех лошадей возьмут, и у лавочника тоже, и не на чем будет товары возить, да и до станции не на чем добраться: опоздаешь уехать теперь, – сиди и умирай с голода.

Хитрый эстонец лавочник, как всегда, посмеивался. Он уверял, что за лошадей дают меньше, чем они ему самому стоили. Лиза не верила.

– Зато, – говорила она, – вам их зимой кормить не надо, а весной новых купите.

Эстонец говорил, хитро посмеиваясь:

– У кого плохие лошади, тому выгодно, а я потерял.

– А товар-то есть? – спросила Анна Сергеевна.

– Теперь есть. Скоро не будет, – отвечал эстонец.

Анна Сергеевна с торжеством поглядела на дочь. Бубенчиков предлагал купить побольше шоколаду:

– Будем варить шоколадный суп.

– Нет, не надо, – сказал Козовалов, – у нас ворон много, я стрелять буду.

Анна Сергеевна обиделась.

– Сами и кушайте, я воронину есть не привыкла.

Выйдя из лавочки, читали расклеенные тут же объявления о мобилизации, и комментировали их. Анна Сергеевна говорила:

– Даже аммуниции нет. Попросят, чтобы с собой солдатика сапоги приносили. Несчастные люди! Опять будет, как в японскую войну.

Лиза сердилась и спорила. Она говорила с досадой:

– Мама, ты – жена военного, а рассуждаешь совсем, как ничего не понимающая.

– Ты много понимаешь! – отвечала Анна Сергеевна обычной стариковской отповедью детям. – Ты бы посмотрела на запасных, – у них совсем сумасшедшие глаза.

– Ну, этого я ни у кого не видела, – отвечала Лиза.

VI

Вечером опять сошлись у Старкиных. Говорили только о войне. Кто-то пустил слух, что призыв новобранцев в этом году будет раньше обыкновенного, к восемнадцатому августу; и что отсрочки студентам будут отменены. Поэтому Бубенчиков и Козовалов были угнетены. – если это верно, то им придется отбывать воинскую повинность не через два года, а нынче.

Воевать молодым людям не хотелось, – Бубенчиков слишком любил молодую и, казалось ему, ценную и прекрасную жизнь, а Козовалов не любил, чтобы что бы то ни было вокруг него становилось слишком серьезным.

Козовалов говорил уныло:

– Я уеду в Африку. Там не будет войны.

– А я во Францию, – говорил Бубенчиков, – и перейду во французское подданство.

Лиза досадливо вспыхнула. Закричала:

– И вам не стыдно! Вы должны защищать нас, а думаете сами, где спрятаться. И вы думаете, что во Франции вас не заставят воевать?

– Да, и правда! – весело сказал Бубенчиков.

Мать Козовалова, полная, веселая дама, сказала добродушно:

– Это они нарочно так говорят. А если их позовут, так и они покажут себя героями. Не хуже других будут сражаться.

Гримасничая и ломаясь, по обыкновению, Бубенчиков спрашивал Лизу:

– Так вы не советуете мне ехать во Францию?

Лиза отвечала сердито:

– Да, не советую. Вас по дороге могут взять в плен, и расстрелять.

– За что же? – дурашливо спрашивал Бубенчиков.

Анна Сергеевна сказала сердито:

– Им еще надо учиться, поддерживать своих матерей. На войне им нечего делать.

Бубенчиков обрадовавшись поддержке, нахмурился и сказал важно:

– Я о войне и говорить больше не хочу. Я хочу заниматься своими делами, и этого с меня достаточно.

– Да мы в герои и не просимся, – сказал Козовалов.

– И отчего это женщин на войну не берут! – воскликнула Лиза. – Ведь были же в древности амазонки!

– Была и у нас девица-кавалерист Дурова, – сказала Козовалова.

Анна Сергеевна с кислой усмешечкой посмотрела на Лизу, и

сказала:

– Она у меня патриоткой оказалась!

Слова ее были, как порицание. Козовалова засмеялась и сказала:

– Сегодня утром в теплых ваннах я говорю банщице: Смотрите, Марта, когда придут немцы, так вы с ними не очень любезничайте. Она как рассердится, бросила шайку, говорит: «Да что вы, барыня! Да я их кипятком ошпарю!»

– Ужас, ужас! – повторяла Анна Сергеевна.

VII

Из Орго призвали шестнадцать запасных. Был призван и ухаживающий за Лизой эстонец, Пауль Сепп. Когда Лиза узнала об этом, ей вдруг стало как-то неловко, почти стыдно того, что она посмеивалась над ним. Ей вспомнились его ясные, детски-чистые глаза. Она вдруг ясно представила себе далекое поле битвы, – и он, большой, сильный, упадет, сраженный вражеской пулей. Бережная, жалостливая нежность к этому, уходящему, поднялась в ее душе. С боязливым удивлением она думала:

«Он меня любит. А я, – что ж я? Прыгала, как обезьянка, и смеялась. Он пойдет сражаться. Может быть, умрет. И, когда будет ему тяжело, кого он вспомнит, кому шепнет: "прощай, милая"? Вспомнит русскую барышню, чужую, далекую».

И так грустно стало Лизе, – плакать хотелось.

В тот день, когда запасным надобно было идти, утром Пауль Сепп пришел к Лизе прощаться. Лиза смотрела на него с жалостливым любопытством. Но глаза его были ясны и смелы. Она спросила:

– Пауль, страшно идти на войну?

Пауль улыбнулся и сказал:

– Все великое страшно. Но умереть – не страшно. Было бы страшно, если бы я знал, что буду бояться в решительную минуту. Но этого не будет, я знаю.

– Как вы можете это знать? – спросила Лиза.

– Я себя знаю, – сказал Пауль.

Лиза спросила:

– Но ведь вы, эстонцы, не хотите войны?

Пауль Сепп спокойно отвечал:

– Кто же ее хочет? Но если нас вызвали, мы будем воевать.

И мы победим. Россия не может не победить.

Лиза хотела сказать:

– Ведь вы – не русские.

Но не решилась или не успела. Пауль, как бы угадывая ее мысль, сказал:

– Мы, эстонцы, очень не любим немцев. Это – наследственное.

Много они здесь делали жестокостей.

Лиза говорила:

– Да ведь это были здешние немцы, а не германские. А германские что же вам сделали? И ведь вы же любите Бетховена и Гете?

– Они все одинаковые, – жестокие, хитрые, коварные, – сказал Пауль. – С тех пор, как они победили французов и отняли Эльзас и Лотарингию, они точно отравой какой-то опились. И уж как будто это не тот народ, из которого вышли Бетховен и Гете. Возьмите хоть то, что нигде на всем свете, кроме Германии, нет закона о двойном подданстве.

Лиза не знала, что такое двойное подданство. Пауль Сепп растолковал. Лиза слушала с удивлением.

– Но ведь это – подлый обман! – воскликнула она.

Пауль Сепп пожал плечами.

– Это – германский закон, – сказал он. – Конечно, они считают себя правыми, но нам трудно стать на их точку зрения. Нам непонятна их правда, и кажется нам она ложью. Будем надеяться, что среди них найдутся люди, писатели, рабочие, которые возвысят свой голос против германского безумия.

VIII

Призванных провожали торжественно. Собралась вся деревня. Говорили речи. Играл местный любительский оркестр. И дачники почти все пришли. Дачницы принарядились.

Пауль шел впереди, и пел. Глаза его блистали, лицо казалось солнечно-светлым, – он держал шляпу в руке, – и легкий ветерок развеивал его светлые кудри. Его обычная мешковатость исчезла, и он казался очень красивым. Так выходили некогда в поход викинги и ушкуйники. Он пел. Эстонцы с одушевлением повторяли слова народного гимна.

Анна Сергеевна шла тут же, и повторяла тихонько:

– Ужас, ужас! Вы посмотрите, у них у всех безумные глаза. Они знают, что их всех убьют.

– Ну, что ты мама! – возражала Лиза. – Где ты это видишь? Все они идут с одушевлением. Такой подъем духа, – разве ты не видишь?

Дошли до леска за деревней. Дачники стали возвращаться. Призываемые рассаживались на экипажи. Набегали тучки. Стало небо хмуриться. Серенькие вихри завивались и бежали по дороге, маня и дразня кого-то. Анна Сергеевна сказала:

– Пойдем, Лиза, домой. Уж дождь накрапывает.

Лиза тихо ответила:

– Подожди, мама.

– Ну, чего там ждать! – досадливо сказала Анна Сергеевна. – Проводили, утешили, сколько могли, и довольно. Пусть останутся одни, поплачут, может быть, все-таки легче будет.

Лиза засмеялась и сказала весело:

– Нет, мама, они не заплачут. Они не думают о смерти. А если и думают, – так на миру и смерть красна.

Лиза остановила Сеппа:

– Послушайте, Пауль, подойдите ко мне на минутку.

Пауль отошел на боковую тропинку. Он шел рядом с Лизой. Походка его была решительная и твердая, и глаза смело глядели вперед. Казалось, что в душе его ритмично бились торжественные звуки воинственной музыки. Лиза смотрела на него влюбленными глазами. Он сказал:

– Ничего не бойтесь, Лиза. Пока мы живы, мы немцев далеко не пустим. А кто войдет в Россию, тот не обрадуется нашему приему. Чем больше их войдет, тем меньше их вернется в Германию.

Вдруг Лиза очень покраснела и сказала:

– Пауль, в эти дни я вас полюбила. Я поеду за вами. Меня возьмут в сестры милосердия. При первой возможности мы повенчаемся.

Пауль вспыхнул. Он наклонился, поцеловал Лизину руку, и

повторял:

– Милая, милая!

И когда он опять посмотрел в ее лицо, его ясные глаза были влажны.

Анна Сергеевна шла на несколько шагов сзади, и роптала:

– Какие нежности с эстонцем! Он Бог знает что о себе вообразит. Можете представить, – целует руку, точно рыцарь своей даме!

Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась. Козовалов сардонически улыбался.

Лиза обернулась к матери, и крикнула:

– Мама, поди сюда!

Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. У обоих были счастливые, сияющие лица.

Вместе с Анной Сергеевной подошли Козовалов и Бубенчиков. Козовалов сказал на ухо Анне Сергеевне:

– А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль.

Анна Сергеевна с досадой проворчала:

– Ну уж, красавец! Ну, что, Лизанька? – спросила она у дочери.

Лиза сказала, радостно улыбаясь:

– Вот мой жених, мамочка.

Анна Сергеевна в ужасе перекрестилась. Воскликнула:

– Лиза, побойся Бога! Что ты говоришь!

Лиза говорила с гордостью:

– Он – защитник отечества.

Анна Сергеевна растерянно смотрела то на Пауля, то на Лизу. Не знала, что сказать. Придумала наконец:

– Такое ли теперь время? Об этом ли ему надо думать?

Бубенчиков и Козовалов насмешливо улыбались. Пауль горделиво выпрямился и сказал:

– Анна Сергеевна, я не хочу пользоваться минутным порывом нашей дочери. Она свободна, но я никогда в моей жизни не забуду этой минуты.

– Нет, нет, – закричала Лиза, – милый Пауль, я люблю тебя, я хочу быть твоей!

Она бросилась к нему на шею, обняла его крепко, и зарыдала. Анна Сергеевна восклицала:

– Ужас, ужас! Но ведь это же – чистая психопатия!

ОБРУЧАЛЬНОЕ

Мама и Сережа долго спорили.

– Все наши знакомые дамы так сделали, – говорила мама. – И я так сделаю.

– Нет, мама, – возражал Сережа, – ты так не должна делать.

– Почему я не должна, если другие делают? – спрашивала мама.

– Они не хорошо делают, – спорил Сережа, – и я не хочу.

чтобы это ты сделала.

– Да это – не твое дело, Сережа! – говорила мама, досадливо краснея.

Тогда Сережа принимался плакать. Мама стыдила:

– Четырнадцатилетний мальчик, а плачешь, как совсем маленький.

И так продолжалось несколько дней, – все из-за кольца обручального. Мама хотела его пожертвовать в пользу раненых. Говорила Сереже:

– Так все делают. Из этого большие деньги можно собрать.

Сережа настойчиво требовал, чтобы его мама так не делала.

– Папа сражается, а ты его кольцо отдашь! – кричал он.

– Пойми, для раненых, – уговаривала мать.

– Отдай что-нибудь другое, а не кольцо обручальное, – говорил Сережа. – Деньгами дай.

Мать пожимала плечами.

– Сережа, ты знаешь, у нас не так много денег. Штабс-капитанское жалованье, – на него не раскутишься.

– Не покупай яблоков, накопишь побольше, чем за колечко дадут; да и мало ли на чем можно сберечь!

Спорили, спорили. Мама почему-то не решалась сделать по-своему, отдать кольцо, – уж очень горящими глазами смотрел на нее Сережа, когда об этом заходила речь.

Каждый раз, когда мама уходила, Сережа решительно говорил ей:

– Мама, без кольца не смей приходить.

Наконец, решили написать отцу, – как он скажет так и сделать. Мама написала, а Сережа в своем письме отцу ничего о кольце не писал: что-то скажет сам папа?

Перестали спорить. Но Сережа все посматривал на мамины руки. Из гимназии придет, – к маме: блестит колечко? блестит, – и успокоится Сережа. Мама откуда-нибудь вернется, Сережа бежит к ней навстречу, нетерпеливо смотрит, как мама снимает перчатку: блестит колечко? блестит, – и успокоится Сережа.

Прошло несколько дней, пришли ответы из армии от Сережина отца, и Сереже, и маме. Почтальон принес письма вечером, когда сидела мама с Сережей за чаем. Сережа свое письмо распечатал, а читать не может: сердце бьется от нетерпения узнать, что в том письме написано, которое мама читает. Мама письмо прочла, обрадовалась, улыбнулась.

– Папа согласен.

Покраснел Сережа, стоит перед мамой потупясь.

– Вот, читай сам, – говорит мама.

Сережа читает:

«Насчет кольца делай, как хочешь. Дело, конечно, не в кольце, я знаю, что ты меня любишь, ты обо мне тоже знаешь, а все остальное – ерунда, не суть важно».

И дальше о другом.

Сережа прочел, улыбнулся. Спросил:

– Тебе, мама, этого достаточно?

Мама слегка повела плечом, сказала:

– Ну вот видишь, папа согласен.

– А ты, мама, умеешь между строчек читать? – спросил Сережа. – Невесело было папе тебе так писать о колечке. Он свое носит, не снимает.

Посмотрел Сережа на маму внимательно. Мама покраснела, но все-таки спорила:

– Да ведь согласился же папа!

– Мама, пойми, – убеждающим голосом говорил Сережа, – ведь если и кольцо, и всякая памятная вещь, – ерунда, не суть важно, то подумай, что же в душе – то у человека должно быть! Милая была вещичка, памятная, – ерунда! Хороший был собор в Реймсе, – не суть важно!

– Сережа, – строго сказала мама, – нельзя сравнивать: там всенародная святыня, много поколений...

– Мама! – воскликнул Сережа, перебивая ее, – то для всех свято, а это свято только для нас, но свято, свято! Если в каждом доме нет святого, заветного, так как же оно для всего народа вырастет, из чего? Все – ерунда, не суть важно, – из чего же большое, великое накопится! Ты думаешь, когда папа это писал, что он чувствовал?

– Что чувствовал! – нерешительно сказала мама. – Чувствовал, что я для раненых...

– Нет, мама, – горячо говорил Сережа, – очень ему горько было. Шутливые слова писал нарочно, чтобы не показать тебе, и другим не показать. Пойдет в сражение, подумает: ну, что ж, у вдовы моего колечка не будет, кто-нибудь наденет ей на пальчик другое.

Мама вскрикнула:

– Сережка, противный, не смей так говорить!

И заплакала горько. Сережа стоял перед ней на коленях, целовал ее руку, – где еще блестело обручальное, – и говорил:

– Мама, милая, мы сэкономим для раненых на другом. Можно вместо белого хлеба есть черный, не покупай мне новых башмаков, я дома босиком ходить буду; можно мало ли какой расход сократить, но колечка не смей отдавать.

– Хорошо, не отдам, – тихо сказала мама. – Только о раненых надо же подумать?

– Подумаем, мама, – весело сказал Сережа.

Сберегли колечко для себя, сберегли для раненых на другом. Мама и Сережа сильно сократили все свои расходы, и каждый месяц удавалось им не мало отдавать на раненых. Маленькая, домашняя святыня теплилась на маминой руке, радовала Сережу, и утешала его за маленькие лишения. В уюте милых комнат босые Сережины ноги светились, как восковые свечи, и радовали маму.

А отцу мама и Сережа написали в тот же вечер, что с колечком передумали и не отдадут его ни за что.

ТАНИН РИЧАРД

Было раннее утро в начале августа. Таня Горная, молоденькая дочь полковника, проснулась радостная и счастливая. Ей было стыдно, что она так радостна, – ее отец и оба брата ушли на войну, и мама каждый день плакала, а обе старшие сестры ходили с грустными и озабоченными лицами. Но Таня знала почему – то, что отец и братья вернутся благополучно и что ее самое ждет большое счастье. Знала она это по тому особенному чутью к будущему, которое жило в ней с детства и никогда не обманывало ее. Сестры смеялись иногда над

ее предвещательными снами, и она избегала рассказывать о них.

Сегодня уже под утро Тане приснился светлый, лучистый сон. В озарении необычайного света предстал перед ней воин в блистающих латах, с огненным мечом в руке. У воина этого было лицо ее молодого друга, англичанина Ричарда Тайта. Воин приблизился к ней и сказал:

– Ничего не бойся, Таня.

– Я ничего не боюсь, – ответила ему во сне Таня.

Она привыкла к постоянным спорам с Ричардом, и потому и теперь не могла удержаться от того, чтобы не возразить на слова неведомого воина, похожего на Ричарда. Но, сразу же вспомнив, что это, – воин, а не инженер Ричард, и что он только похож на Ричарда, и, догадавшись, что он послан возвестить ей нечто, она застыдилась того, что спорит, и стала на колени перед светлым воином. Тогда воин, ласково улыбаясь ей, сказал:

– Мы победим, а я принесу тебе великую радость.

И на этом Таня проснулась и увидела в незанавешенном окне своей спальни еще совсем низкое солнце.

Тане стало радостно. Она проворно оделась, заплела свои косы, и вышла босая в сад. Щеки ее горели, и ей весело было чувствовать, что она сильная и здоровая. Весело вспомнились вчерашние нянины слова:

– Как ни молись, Танечка, а в монастырь тебя не возьмут. Ты что больше молишься, то толще делаешься.

Таня весело подумала:

«Бог меня любит, посылает мне здоровье».

И вдруг опять ей стало стыдно этой хвастливой мысли. Она закрыла ярко-покрасневшее лицо полными загорелыми руками, стала на песок дорожки голыми коленями, и молилась.

Уже она хотела подняться с колен, как вдруг подумала, что мысли ее о только что увиденном сне были грешные. Грешными в них было то, что лицо светлого воина показалось ей похожим на лицо Ричарда. Она опять закрыла лицо руками, и молилась долго.

Когда она встала и пошла по серым еще пескам дорожек к садовой решетке, чтобы посмотреть на широкую там, далеко внизу, реку, ей все же было весело и радостно, и лицо Ричарда припомнилось ей. И уже она не упрекала себя за это.

«Что же такое! – думала она. – Ведь я же его не люблю. А если он любит быть со мной, то это, может быть, потому, что он любит спорить и дразнить меня, а я должна это терпеть. Может быть, потому у дивного воина было Ричардово лицо, чтобы дать мне понять, что я не должна так много с ним спорить и так отстаивать правоту моей веры. Кротостью и смирением я скорее достигну того, что он меня поймет, – ведь он очень добрый и милый человек».

Никого не было в саду, и по дороге за решеткой никто еще не шел. Таня стояла долго, и уже легкая дрема упала на ее глаза. И вдруг за решеткой сада послышались быстрые, уверенные шаги, скрипнула калитка, – и, похожий на видение утреннего сна в светлой легкой одежде, перед Таней встал, весело улыбаясь, Ричард.

– О, как вы рано сегодня встали! – сказала Таня, протягивая ему руку.

– Как всегда, милая Таня, раньше вас, – отвечал Ричард.

– Ну, – начала было Таня спорить, но вспомнила свои недавние мысли, стала еще румянее и засмеялась.

– Что вам сегодня снилось? – спросил Ричард.

«Хочет надо мной посмеяться? – подумала Таня. – Ну и пусть»

смеется.»

Но, всмотревшись в его лицо, Таня увидела на нем необыкновенное выражение серьезности и значительности. Сердце ее предвещательно забилося, и она почувствовала, что ее голос звенит трепетно, когда она говорила:

– Представьте себе, Ричард, я видела во сне вас, в светлой одежде, в одежде воина.

Ричард и не думал засмеяться. Он смотрел на Таню очень удивленными глазами.

– Таня, – сказал он, – вы видите удивительные сны. – Я ведь за тем и пришел к вам, чтобы рассказать вам новость, – я поступил добровольцем в русскую армию.

Таня задрожала.

– Вам холодно? – участливо спросил он.

Она молча покачала головой. Сердце ее билось больно и тревожно. Она рассказала Ричарду, что сказал ей светлый воин ее сна.

– Таня, – спросил Ричард, нежно заглядывая в ее глаза, – а больше ничего он вам не сказал?

– Нет, ничего, – тихо отвечала Таня.

Страшно, стыдно и сладко стало. Знала, что он сейчас скажет ей.

– Не сказал, что я вас люблю? – опять спросил Ричард.

Тане стало вдруг весело. Еще стыдящимися глазами она посмотрела на него, как смотрят на солнце, со страхом и с радостью, и сказала:

– Ричард, мне этого не надо говорить, – я это сама знаю.

Ричард покраснел. Взволнованным голосом, – первый раз такой голос слышала Таня у своего обычно флегматичного друга, – он спросил:

– А вы, Таня?

Она опустила глаза. Тихо, тихо сказала:

– А разве это надобно говорить?

И сказала громко и смело:

– Ричард, мое сердце меня еще никогда не обманывало. Я верю в Бога, и молюсь Ему, и Бог ко мне милостив – я знаю, что ты вернешься ко мне, что тебя не убьют.

И вдруг застыдилась, закрыла лицо локтем милой руки, подражая стыдливому движению деревенской девушки.

«Что же это я говорю?» – подумала она.

И только теперь поняла, как взволнована и обрадована ее душа тем, что ее милый спорщик Ричард захотел сражаться за Россию, которую она так богомольно любит. Обрадована ее душа, и словно развязана, и теперь она смеет и хочет его любить.

Смеясь и плача, – не от горя, от высокой радости, – она почувствовала на своем жарком локте его сильную руку. Сопротивлялась было, да недолго, – как она ни сильна, а он все-таки сильнее, отвел ее локоть, прямо в радостные ее глаза смотрит.

Таня засмеялась, протянула ему руку.

– Желаю тебе счастливого пути и успехов, – сказала она, и сильно пожала его руку.

– Таня, а разве ты меня не поцелуешь? – спросил он, привлекая ее к себе.

Она обвила его шею руками, заплакала разнеженно и счастливо, и целовала долго, долго. Без конца целовала бы, да послышались на ближних дорожках голоса и шаги сестер.

ТРИ ЛАМПАДЫ

С тех пор, как полковник Косоуров уехал на войну, в квартире Косоуровых теплились каждый день три лампы. Теплились они с утра, а к вечеру опять подливалось масло, так чтобы всю ночь лампы не гасли.

Первая лампа теплилась в спальне вдовы генеральши Анны Павловны Косоуровой, перед темным ликом Николая Угодника. У генеральши на войне был сын; он был еще молод, но делал хорошую карьеру, довольно рано получил полк, а теперь на войне нередко бывал в опасных сражениях, и скоро должен был получить генеральский чин и бригаду.

Генеральша вставала рано, долго и старательно выполняла все домашние обряды, а после завтрака, выезжала сначала в лазарет, потом в попечительство, потом к кому-нибудь из знакомых, чтобы не порывать давно налаженных хороших связей и отношений. Что бы она ни делала, она всегда думала о сыне, о том, что он в опасности, что его могут убить. И потому на ее красивом и умном лице еще не старой женщины лежала печать особой значительности, которая заставляла всех ее знакомых обращаться с ней еще почтительнее, чем всегда.

Двойное чувство горело в ней: скорбный страх за нежно любимого сына и великая гордость матери, сын которой совершает подвиги. Если бы ей пришлось надеть траур, ее горе было бы неутешно, но оно достойно и прекрасно наполнило бы остаток ее дней. У нее в жизни было достаточно счастья и в меру горя. Вся ее жизнь, в меру трудная и в меру радостная, научила ее мудрому, величавому спокойствию.

В первый же день, проводив на вокзал сына, она призвала горничную Дашу, и дала ей обстоятельные наставления, когда и как теплить лампаду, как следить за тем, чтобы огонь светился ни слишком ярко, ни слишком слабо, и чтобы он никогда не погасал.

— Понимаешь, Даша, — негасимая лампада.

Горничная Даша, пожилая степенная девица, сильная, как деревенская баба, и вышколенная долголетней службой в генеральском доме, выслушала и запомнила твердо все, что генеральша ей говорила. Она знала, что генеральшу нельзя не слушаться, и что она не любит повторять одно и то же дважды. Даша заботилась о генеральшиной лампаде добросовестно, и каждый раз, подливая в нее масло, клала перед темным ликом строгого Угодника три земные поклона, — каждый раз с чувством своего недостойнства вспоминая свое бурное прошлое.

Генеральша молилась перед своей лампадой с тихой и смиренной надеждой, — Милостивый Бог, быть может до конца будет милостив к ней, и вернет ей сына.

Жена полковника Косоурова, Евгения Алексеевна, теплила вторую лампаду, перед образом Спасителя, серебряная риза которого блистала над двумя кроватями, ее и мужа, на стене посередине. День Евгения Алексеевна проводила внешне так же, как и ее свекровь, но вся душа ее была возмущена страхом и тоской. По ночам она долго не могла заснуть, плакала и молилась. Днем она старалась прилечь к кому-нибудь, чаще всего к старой генеральше, чтобы хоть немного заглушить свою тоску, отогнать свой страх. Но стоило ей остаться одной, чтобы слезы неудержимо лились из ее глаз. Только беседы с дочерью Валентиной утешали ее, и после них было на время легко и

сладостно.

За ее лампадой ходила тоже Даша. Но Евгения Алексеевна не доверяла ей, постоянно ходила смотреть, не убывает ли масло, и часто звала Дашу поправлять огонь.

– Даша, – говорила она, – никак ты забыла сегодня о моей лампадке? Мамочкину хорошо заправляешь, а мою как-нибудь.

– Простите, барышня, – степенно говорила Даша, – я вашу лампадку никогда не забывала, и она в полной исправности. А если вы беспокоитесь, то я сейчас прибавлю масла, – мне не в труд.

Шла за маслом, и сердито ворчала про себя:

– Нагрешил только с вами.

Валентинина лампада ясно и ровно горела перед иконой Божией Матери Скоропослушницы. Валентина зажигала ее сама, и даже сама на свои деньги покупала для нее масло. Даше не нравилась такая самостоятельность барышни. Даша каждый день поглядывала на Валентинину лампадку с тайной надеждой увидеть, что барышня забыла подумать о масле или о фитиле. Но ясно и ровно горел огонь перед кротким ликом Скоропослушницы, и Даша думала завистливо, что ей так не заправить лампадок, как заправляет барышня. А если Даша заметит, что масла в бутылке остается уж очень мало, она говорила Вале:

– Забыла про масло, молитвенница. Дала бы мне покупать масло, исправнее было бы. Валя краснела и говорила:

– Спасибо, Даша, что напомнила.

И вынимала из кошелечка монеты на масло.

У Валентины в армии было двое, отец и жених, но Валентина не боялась ни за одного, ни за другого.

Валентина была веселая и здоровая девушка. Ей мила была дружба стихий, она любила обжигающие поцелуи небесного Змия-Солнца, и буйное веяние морского ветра, и объятия ледяной холодной воды, и суровые ощущения земных глин и песков под ногами. Она любила свое тело в движении, в работе, в милых ощущениях дружеских стихий, и любила свою мысль, вечно деятельную и что-нибудь придумывающую. И очень любила молиться. Скоропослушница, юная и прекрасная, увенчанная жемчужной короной, смотрела на нее благостно, и Младенец на ее руках сидел прямой и спокойный, Господь бодрый и неунывающих.

Валентина знала, что все будет к лучшему, надобно только предаться воле Господней. В ней была уверенность, что и отец и жених вернутся к ней, – но она не смела предаваться этой уверенности, потому что будущее в руках Господних, и Бог не хочет, чтобы люди думали о будущем и знали. Эту уверенность в благополучном возвращении милых Валентина таила от самой себя в глубине души, но от этой уверенности ей было всегда спокойно и радостно. И еще она знала, что надобно иметь непрерывное молитвенное общение с Богом, – надобно, чтобы душа всегда открыта была перед Господом, и тогда молитва ее будет хранить ее милых, так что если Господь и пошлет ангела брани по их души, то все же смерть их будет легка и непостыдна, и легка-легка будет ее скорбь. И она плакала, молясь, но в слезах ее была радость.

Она одна из трех была всегда ясна, терпелива, и всегда спокойно поддерживала домашний порядок, и заботилась о матери и о бабушке. Ее ясное спокойствие всегда успокаивало и утешало ту и другую, и когда матери или бабушке было очень грустно, они звали к себе Валу, или чаще сами приходили посидеть с ней, посмотреть на ясный и ровный, молитвенный огонь лампы перед благостными

взорами Скоропослушницы.

Вечером, помолившись со слезами перед своими лампадами, мать и бабушка ложились спать. Бабушка засыпала скоро, мать долго плакала, Валя приходила утешать ее. Иногда мать и в самом деле утешалась и засыпала, иногда притворялась, что засыпает, и отсылала Валентину спать. Валентина шла к себе, раздевалась и становилась на колени перед Скоропослушницей, – молиться.

Наступал лучший, блаженный час ее жизни. Не отрывая тихо-мерцающего взора от нежного лика вечно-юной Скоропослушницы, она шептала слова с детства знакомых и всегда волнующих молитв. Ее белая сорочка казалась торжественным одеянием, эмблемой горной чистоты. Ее обнаженные ноги смиренно лежали на светло-синем коврике, как ноги молящегося на небесах светлого существа. Она поднимала руки к благостному лику, и всем телом тянулась к нему, и улыбалась, и плакала.

Вдруг вспоминала она:

«Мама спит ли? Пожалуй, опять плачет».

Она вставала с колен, и тихо шла к матери. Почти всегда Валентина заставляла мать плачущей горько. Валентина садилась к ней на постель, и говорила ей утешные слова. И унимались слезы, и утихала скорбь. Говорила мать:

– Валечка, иди, спи. Что ты босиком ходишь по холодному полу! еще простудишься.

– Приучена, мамочка, – отвечала Валя.

Мать улыбалась.

– Ты у меня сильная и крепкая, Валечка, – говорила она. – Без тебя мы с мамой совсем бы от слез истаяли. Ты и молишься за нас, ты и утешаешь нас.

– Спи, мама, спи, – говорила Валентина.

Дожидалась Валя, что мама заснет, крестила ее неторопливым движением стройной руки, и шла опять к себе. И опять молилась, и поднимала руки, всем телом тянулась к пресветлому лику, предаваясь на волю Господню. Иногда и засыпала тут же, свернувшись светлым комочком под образом.

Горничная Даша спала чутко. Комната Валина была рядом с людской. Всегда около двух часов ночи Даша просыпалась и шла взглянуть, спит ли барышня. Если Валя стояла еще на коленях, Даша подходила к ней, молча брала ее за руку, и вела к постели. Валентина не спорила, знала, что Даша непременно уложит ее. Иногда думала:

«Уйдет Даша, уснет, я еще помолюсь».

Но едва голова ее касалась подушки, как Валентина засыпала безмятежно-спокойным сном.

Если Валя лежала белым комочком под образом, Даша пыталась поднять ее. Иногда Валя просыпалась, и шла спать. Иногда же, усталая за день, Валя продолжала спать. Тогда Даша, сердито ворча, трясла Валу за плечо, а иногда, если это не помогало, то она сильно рабочей рукой шлепала Валентину по крепкому телу. Тогда Валентина, не открывая глаз, поднималась и шла к постели.

Ясно и ровно горел над ее постелью огонь лампады, и Скоропослушница благостно улыбалась и ясно-засыпающей девушке, и ее усердной служанке. Даша крестилась на образ, клала перед ним земной поклон, и уходила к себе.

Три лампады теплились перед тремя иконами, и три ангела-хранителя бодрствовали над тремя изголовьями, навевая на спящих утешающие сны.

СЕРДЦЕ СЕРДЦУ

I

Вера Липинская весь день чувствовала какую-нибудь неопределенную тревогу, тягостную тоску, и эти ощущения тоски и тревоги все усиливались и не давали ей ничем заняться. Весь день она была на людях, как и всю эту неделю. Так случилось, что уж больше недели каждый вечер она куда-нибудь выезжала, и потому этот вечер она хотела провести дома, почитать. Но беспокойство и тоска так томили ее, что она и сегодня решилась куда-нибудь уйти. Вера вспомнила, что старшая сестра ее, Надежда, звала ее сегодня на вечер к Незнаевым. Вера отказалась ехать, но после обеда передумала.

Она вошла к сестре, когда та уже оделась на вечер и внимательно смотрела в зеркало, соображая прибавить ли губной помады или пудры. Ей приятно было смотреться в зеркало, — она была румяная, веселая, и знала, что сегодня за ней будет ухаживать адвокат Кадымов, будет наливать ей за ужином вино и говорить забавные комплименты. Полные, приоткрытые Надеждины плечи почему-то были досадны Вере, и она уже опять хотела передумать и остаться. Но сейчас же тоска больно схватила ее за сердце.

— И я поеду с тобой, — сказала Вера.

Надежда весело улыбнулась. Вдвоем приятнее ехать, чем одной, туда. А обратно ей не захотелось, чтобы Кадымов провожал ее. Все-таки не надо, чтобы он слишком много воображал о себе.

— И отлично, развлечешься, — сказала Надежда.

Бросила на Веру быстрый взгляд. Сказала:

— Ты сегодня что-то очень бледна. Будешь переодеваться?

— Нет, — сказала Вера.

— Как хочешь, — сказала Надежда, — только в этом черном ты кажешься очень бледной.

— Ну и пусть, — упрямо говорила Вера.

— Как хочешь, — повторила Надежда. — Что-то ты сегодня беспокойна. Ну, ничего, даст Бог, все обойдется хорошо и твой Сергей Николаевич вернется благополучно.

— Я ничего не думаю, — тихо сказала Вера. — Я только молюсь. А если убьют, — надо же кому-нибудь.

Губы ее дрогнули. Она с трудом удерживалась от слез. Надежда весело говорила:

— Бери пример с меня, — мой Володя тоже на войне, а я носа не вешаю.

Вера засмеялась невесело.

— Твой муж в штабе, мой жених в строю. Разница!

— Ну, не такая уж большая, — беззаботно сказала Надежда.

II

Вечером было весело и шумно. Много разговаривали, передавали разные неожиданные слухи, спорили, больше о войне, о наших интеллигентских отношениях к ней. Потом дочь Незнаевых пропела несколько романсов. Потом молодой человек с длинными и прямыми волосами сыграл несколько пьес Скрябина. Потом опять спорили.

Многие уже ушли, а Вера и Надежда оставались до самого позднего часа. Спорили, спорили. О войне, о культуре, о достоинствах германцев и о недостатках русских. Одни говорили, что надобно победить внешнего врага, другие говорили, что еще более необходимо изменить то, что в наших порядках осталось нехорошего. Как всегда, люди неискренние и слабые восклицали, восторгались и негодовали, а люди искренние и сильные старались разобраться в том, чего нам не достает. Как всегда, холодные эгоисты казались пламенными патриотами, и произносили красивые слова.

Вера принимала горячее участие в спорах.

– Четыре месяца прошло, – говорила она, – пора и разобраться во многом.

Был уже пятый час утра, почти все гости ушли. Вера вдруг почувствовала страшный приступ тоски и слабости. Синий цвет обоев и мебели покинулся в ее глазах фиолетовым дымом, и лица гостей мерцали зеленовато-палевыми пятнами.

Точно кто-то сказал Вере:

“Тебе-то что до всего этого, до этих споров и разговоров? Русские, германцы, – что тебе? Разве ты забыла о милом своем?”

И вдруг темный глубинный голос сказал ей, что милый ее ранен. Вера не поверила, но страшно побледнела и стала собираться домой.

Хозяйка, молодая, полная дама, наклоня к Вере слишком крупные на белом лице синие глаза, откуда полились на Веру фиалковые блески, участливо спрашивала:

– Что с вами? Вы так вдруг побледнели.

Вера говорила что-то побледневшими губами, – а что именно, и сама не помнила. Собрала всю себя, кое-как прогнала фиолетовые дымы. Надежда говорила:

– У тебя голова кружится. Поедем домой.

III

Верин жених, поручик Сергей Николаевич Блатов, был ее женихом не потому, что был влюблен в нее: он почти никогда не говорил Вере о своей любви, ни в чем не уверял ее, и не давал ей никаких обещаний. И она не казалась безмерно влюбленной в него. Они сошлись только потому, что на земле не было для него более близкого по душевному строю человека, чем Вера, и потому, что на земле не было для нее более по душевному строю близкого человека, чем Сергей.

Оставаясь наедине, они не торопились поговорить. Они улыбались друг другу, и смотрели друг на друга, и держали друг друга за руки, и словно невидимый ток переливался от нее к нему и от него к ней.

Они молчали иногда подолгу, но им казалось, что они думают об одном и том же. Когда кто-нибудь из них начинал говорить, это всегда было как бы ответом на мысли другого. Их даже не удивляло, что они могли читать мысли друг у друга, – такое слияние душ казалось им совершенно естественным.

Случалось, что он, приходя утром в дом Липинских, рассказывал Вере, что с ней вчера случилось. И Веру не удивляло, что он говорит о ее делах, мыслях, надеждах и мечтаниях, словно читает в ее душе, как в открытой книге. Ведь и она так же свободно читала в его душе.

IV

Вера ехала на извозчике, и краем уха слушала оживленную болтовню Надежды, которая перебирала все впечатления и сенсации вечера. Надежда из детства, как все мы, была очарована Европой, и была рада тому, что многие из говоривших заступались за германцев.

Кто-то тихий и темный приник к Вере, и ей казалось, что она явственно слышит тихие слова:

"Тебе-то что до всех этих разговоров? Милый твой тяжело ранен. Он умирает, а ты болтаешь и не хочешь удержать его на этой милой земле".

Вера вздрогнула, осмотрелась. Никого. Только оживленный Надеждин говор слышится.

- Да что с тобой? - спросила Надежда. - Ты дрожишь? Тебе холодно? Ты простудилась?

- Нет, - сказала Вера, - спать хочется, только.

Но, как всегда, не слушая ответа, Надежда быстро говорила:

- Как только приедем домой, примешь химику. Если так плохо себя чувствовала, не надо было выезжать. Хотя тебе, конечно, полезно иногда развлечься, - ты уж очень впечатлительна. И надо признаться, сегодня были довольно интересные разговоры. Мне, например, очень понравилось, что говорил Погорельский.

И опять полилась живая, веселая Надеждина речь. А в Верином сердце была своя тоска, и в уме ее свой вопрос:

"Воля наша к жизни так ли сильна, чтобы можно было удержать уходящего?"

V

Вера спала тревожно. Тяжелые сны мучили ее. Ей снился идущий где-то на далекой галицийской железной дороге слабоосвещенный вагон с ранеными. Кто-то стонал, кто-то бредил. Какой-то солдат, блестя яркими, лихорадочными глазами, худой и желтый, оживленно рассказывал стоявшему перед ним чернобородому еврею-санитару о том, как его ранили.

- Спи, голубчик, спи, - уговаривал его санитар.

Выбегал на площадку, хватался за голову, дышал тяжело и поспешно, словно запасаясь воздухом, и опять возвращался в вагон.

И вот знакомое, милое лицо. Вера видит Сергея. Он лежит, прикрытый шинелью. Под его голову заботливая рука еврея-санитара положила подушку, но подушка измятая и томная. Сергеевы глаза открыты, но сознание в них только иногда вспыхивает. И тогда он чувствует духоту вагона, истому лихорадочной ночи, скрежет колес и толчки на стыках. Потом в его сознание тупо и медленно вползает боль плохо перевязанной раны. Эта боль возрастает, разгорается, становится остро-жгучей. Он стискивает зубы, и невольно, сам того не замечая, стонет. Измученное, бледное лицо санитаря наклоняется над ним. Чужой голос участливо спрашивает его:

- Что с вами, голубчик? Воды не хотите ли выпить?

Сергей смотрит на него мутными глазами, и вдруг вагон, ночь, санитар, - все это тонет в каком-то море мрака, и боль забыта, и томления душной вагонной ночи отошли. Ему снится далекий, холод-

ный, милый город на севере, снится Вера. Он видит, как она мечется в тоске на своей постели. Вот она встает, подходит к образу, становится на колени, молится и плачет.

Сергею отрадно смотреть на белую ризу образа, на слабый огонек голубой лампы. Из серебряного оклада виден благостный лик Богоматери, – благостный и утешающий, такой далекий от жизни, и так утешающий все печали. Младенец на ее руках, и в глубоких очах его обещания небесных наград. Жажда жизни отходит, – жить, умереть, не все ли равно?

Говорит кто-то тихий и светлый:

– Ты душу свою отдал за других, и разве есть на земле большая любовь?

Но под образом, на холодном полу, мечется и стонет бедная девушка. И плачет, и молится:

– Я люблю его, люблю. Приснодева Мария, спаси его, сохрани его, верни его мне.

И молится, и плачет, и вся тянется к светлому лику. И уже мутный зимний день глядит в окно. Приходит старая няня, берет Веру за руку, и ведет ее на постель, приговаривая ласково:

– Спи, голубушка моя, спи.

Снится Вере далекий вагон. Смутный свет зимнего утра льется в узкие вагонные окна. Сергей открывает утомленные болью мутные глаза, и смотрит на нее.

VI

За завтраком Надежда спрашивает:

– Что с тобой, Вера? На тебе лица нет?

Вера смотрит на нее испуганными глазами, и говорит:

– Ах, Надя, я знаю, с Сергеем что-то случилось.

– Полно, Вера, откуда ты это можешь знать? Мы только что получили от него письмо, – он здоров и весел.

– Я знаю, что его вчера тяжело ранили.

– Вера, если его ранили вчера, то об этом сегодня здесь еще нельзя ничего знать. Так скоро известия о раненых не приходят. Все это твоё воображение. Прими бром, и успокойся.

Надежда дает Вере бром, – много бром, – и Вера весь день ходит, как свинцом налитая. Равнодушие и тоска. Тоска спокойная, тяжелая, домашняя, словно навеки угнездившаяся в сердце. Такая тоска, от которой лицо бледнеет и губы улыбаются.

И вот опять ночь. Вера одна, долго не спит. То она молится, то вдруг встает перед ней сон не сон, греза не греза, явь не явь.

Сергея привезли на место. Он лежит на лазаретной койке. В палате белые стены, большие окна, завешенные гладкими, белыми шторами. Ровно и невесело горит одна электрическая лампочка, и свет ее отражен фарфоровым щитком на потолок, и уже от потолка рассеян ровно на палату, где шесть кроватей. Пять заняты, одна пустая.

Вера смотрит, не видит, кто эти другие четверо в одной палате с Сергеем. Она видит только Сергея. Он лежит прямо и неподвижно. Боль достигла такого напряжения, так истомила, что уже перестала чувствоваться отдельно от остальных впечатлений бытия, – и все предстоящее стало только великой болью.

Но вот качнулись и растаяли стены палаты. Тихо, ясно. Опять

милый Верин покой, и ясный лик Приснодевы Марии, и слабый огонек в голубой лампаде.

Вера встает молиться. Молится долго. Мутный свет льется в окно. Льются Верины слезы.

Вера стоит на коленях, и опять видит далекую палату и Сергея.

Сон со сном, греза с грезой сплетаются, здесь и там.

VII

Утро. Врач обходит палату. Останавливается у кровати, где лежит Сергей. Тихо говорит с сестрой милосердия. Сергей открывает глаза.

– Ну–с, поручик, – бодрым голосом говорит врач, – как мы себя чувствуем?

Сергей молчит. Не знает, что сказать. Наконец, слабо шепчет:

– Голова болит.

– Ничего, пройдет. Все пройдет. Через неделю опять молодым будете.

Сергей знает, что доктор говорит одно, а думает другое. По унылому, привычно–равнодушному лицу сестры милосердия он угадывает, что врач только что шепнул ей:

– Вряд ли выживет. Во всяком случае до вечера дотянет.

Он отчетливо повторяет:

– До вечера дотяну.

Но врач не слышит его слов. Переходит к другому.

VIII

И вот опять вечер. И уже поздно. Вера опять одна. Думает:

"Мы с ним сердце в сердце и душа в душу. Или воля наша – ничто? И не удержу его на этой милой земле?"

И усилием воли зовет к себе Сергея. И снится Сергею, что Вера зовет его. Ему тяжело и покойно, он обжился в ощущениях своей великой воли, поглотившей в себя весь его мир, – и как ему выйти из этого мира? Как встать? Как пойти? Лежать бы, лежать успокоенно навсегда.

Но зовет Вера, и великая власть в ее зове. И в душе его сквозь багровый туман боли встает предчувствие великой радости. Снится ему, что он встал. Снится ему, что он входит в Верин милый покой. Рана горит, но он идет прямо и твердо, и на груди его, на мундире, новый, только что полученный, крест. Он горд этим крестом, и рад, что увидит Веру. И вот видит Веру.

Лик Богоматери, ясный огонь голубой лампы, Вера на коленях перед образом.

Долго молилась, легким забылась сном, – и снится ей: открылась дверь, знакомые шаги слышны, подходит Сергей. Он веселый, а ей страшно.

Сон в сон, греза в грезу, – слились два сна, словно оба они стали образами чьего–то сна, и кто–то иной видит их обоих в своем благостном сне.

Вера встала, идет к нему. На лице ее улыбка, но сердце у нее тяжелое. Радость или печаль? Не знает.

Вера, Вера, обрадуйся, – ведь он с тобой!

Он идет к ней, но между ними – преграда. Ей страшно.
Она идет к нему, но между ними – преграда. И под сердцем его горит кровавая рана.

Вера, Вера, обрадуйся, – он будет с тобой!

Стоят друг перед другом, не смея верить, не смея хотеть, – бедные дети земли, отвычные от святых чудес. Стоят, колеблясь перед роковой чертой.

Но сжалилась Приснодева Мария, и умолила Сына, и дала Вере силу и радость. Вера воскликнула:

– Смерть твоя да будет моей. Мы вместе, милый, милый, мой навсегда.

И бросилась к нему, и обняла его, и вопила громким голосом:

– Не отдам тебя, с тобой буду.

Услышали громкий крик, прибежали Надежда, няня. Вера лежала на полу, и плакала.

– Что с тобой, Верочка?

Молчала Вера.

IX

Сергей застонал, повернулся на бок. Ему было легко и весело. Сестра подошла. Он улыбнулся ей, и сказал весело:

– А я, сестрица, умирать раздумал. Поживем, повоюем.

Сестра улыбнулась.

– Ну, и хорошо, голубчик.

Утром врач подошел к Сергею, осмотрел его, пожал плечами.

– Ну что ж, все идет хорошо. Здоровый у вас организм, батенька, – благодарите родителей. Сказать по правде, не чаял сегодня с вами разговаривать, ну, а теперь все будет хорошо.

– И я не чаял, – сказал Сергей улыбаясь, – да Вера не пустила.

Доктор поглядел на сестру.

– Ну, еще побредит немного, – сказал он.

И отошел к другим.

С НИМИ ТРАУР

I

Первую весть о кончине молодого литератора, Сергея Аполлоновича Ленинского, пошедшего на войну добровольцем рядовым и убитого шрапнелью, получил его близкий давний друг, Борис Михайлович Тимаев. Они были дружны с детства, вместе учились в гимназии, вместе отбыли годы университетской науки, оба на юридическом факультете. Потом Ленинский и Тимаев вместе зачислились помощниками присяжных поверенных, но оба занялись не столько юридической практикой, сколько журнальной и газетной работой. Для довершения близости они даже и женаты были на родных сестрах.

Ленинский был человек большой душевной чистоты, и, как всякий хороший русский интеллигентный человек, чувствовал себя ответственным свыше меры своих сил за несовершенство русской

общественной жизни. Это бросало тень грусти на его одушевленное, нервное лицо, с пламенно-горящими глазами, и заставляло его строить личную жизнь строго аскетически. Он изобрел свою систему возрождения России, и страстно проповедывал ее. К женщинам он относился целомудренно-нежно. Женился он очень рано, еще когда был в университете, двенадцать лет тому назад, на старшей из двух дочерей покойного профессора Деяновского, Евгении Валентиновне. Эта девушка пленила его своей тихостью и улыбчивой мечтательностью. Через год после свадьбы у них родился сын Леонид. Других детей не было.

Тимаев был самый обыкновенный молодой литератор питерский, с издерганными нервами и с зеленым лицом. Его жена, Валентина, младшая дочь Деяновского, занималась живописью, была тонка, бледна и раздражительна.

В редакции газеты, где работал Тимаев, он узнал о смерти Лепинского. Он помчался домой, яростно погоняя извозчика.

– Дорога плохая, – оправдывался бородатый и, по питерскому обыкновению, очень грязный извозчик, подергивая свою дымящуюся лошаденку мышиного цвета с раздутым животом, что делало ее похожей на безрогую корову.

Сани то скользили по неглубокому сероватому снегу, то визжали на обледенелых камнях крупно-булыжной мостовой. Извозчик вытаскивал кнут, и замахивался над лошадью. Тимаев кричал:

– Извозчик, не бейте лошади! Вы ее вожжами правьте. Вы вожжи опустили, кнутом хотите. Нельзя бить лошади!

– Без кнута она не побежит, – уныло отвечал извозчик. – Она – хитрая.

Кое-как добрались до дому. Тимаев взлетел на лифте в седьмой этаж громадного дома, где была его квартира.

Валентина сидела перед натянутым полотном, освещенным сверху ярким светом стосвечевой электрической лампочки, и судорожно бросала на холст мазки самых неожиданных колеров. Первые слова, которые услышал Тимаев, были гневным окриком:

– Не можешь стоять, не надо было братья! Сам напросился, потерпи немножко.

Тонкий голосок робко пипал:

– Да я, тетечка, ничего. Я только немножко ворохнулся, а то по ногам мурашки побежали.

Тимаев досадливо подумал:

– «Совершенно неожиданное осложнение. Нельзя же при мальчике бухнуть о смерти его отца».

А ждать было нельзя. Тимаев потому и торопился домой, что хотел, чтобы Валентина осторожно подготовила сестру Евгению к ужасной вести.

Тимаев вошел в комнату. Маленький Леонид радостно улыбнулся ему навстречу, но не двигался. Мускулы его худенького тела слегка вздрагивали от усталости, но это тело казалось радостным и еще хранящим следы глубокого легкого загара.

Тимаев молча пожал руку Валентины, и глянул на холст.

«Хорошо!» – подумал он.

Из бесформенного хаоса мазков уже возникал образ яркий, сильный, стремительный, радостный, – буйный и сильный отрок с пламенно-горящими, как у покойного Сергея, глазами.

– Непохоже, но хорошо! – сказал он тихо.

– Ты не можешь без критики! – двинув плечами, сказала Валентина.

Тимаев отошел к диванчику. Чтобы сесть за спиной мальчика, он подвинул к одному краю торопливо брошенную на диванчик одежду Леонида. Сел и, видя, что мальчику он не виден, сделал выразительный жест жене от мальчика к дверям. Валентина поняла, но рассердилась.

– Еще бы только полчаса.

– Ленька устал, – сказал Тимаев.

Леонид, не оборачиваясь к нему, сказал все тем же нежным и хрупким голоском:

– Дядечка, я еще могу постоять полчаса.

Тимаев нахмурился, и настойчиво повторил свой жест. По отчаянному выражению его лица Валентина поняла, что случилось что-то важное. Она шумно отодвинула стул, бросила на табурет кисти и палитру, и досадливо крикнула:

– Ленька, одевайся!

Леонид подбежал к полотну поглядеть.

– Не смей смотреть, – крикнула Валентина. – Совсем еще ничего не сделано.

Леонид засмеялся, обхватив тонкими руками ее шею, и крикнул:

– Спасибо, тетечка!

Поцеловал ее, и побежал одеваться.

Когда Леонид ушел, Валентина тревожно спросила:

– Ну, что, Борис?

– Сергей убит, – сказал Тимаев.

Валентина побледнела, задрожала, заплакала.

– Боже мой! Боже мой! Евгения не вынесет этого.

– У нее сын, – угрюмо сказал Тимаев.

Схватился за голову, и бросился к себе в кабинет, чувствуя на щеках своих слезы, стыдясь их и странно им рядясь. Он упал на свой диван, лицом к спинке, и только теперь ясно понял и почувствовал, какое в этой вести для него горе. И для него, и для родных, и для друзей, которые все так любили светлую душу покойного Сергея Лепинского.

Через несколько минут в кабинет вошла Валентина уже одетая, в шубке и шляпе.

– Я пойду к Жене, – сказала она.

Тимаев, поспешно вытерев платком слезы, быстро встал с дивана.

– Да, да, походи. Только ты не сразу.

– Ах, конечно, не сразу! – отвечала Валентина. – Я подготавливаю постепенно.

Как это часто бывает когда душа потрясена высоким чувством, проказливая память подсказала Тимаеву глупый анекдот, и он сказал:

– Карапет немножко простудился, завтра похороны.

Валентина сердито посмотрела на него, хотела сказать что-то резкое, но увидела его расстроенное лицо и покрасневшие глаза, опять заплакала, поцеловала мужа, и вышла.

II

Ленинские жили недалеко, минут пять ходьбы. Такой же громадный дом с такими же архитектурными вычурями, такой же узкий лифт, двум едва повернуться, такая же светлая и уютная квартирка на седьмом, полумансардном этаже.

Евгения встретила Валентину в передней. Улыбаясь нежно, поцеловала ее. Сказала:

– Ленька счастливый пришел, говорит, – портрет очень красивый будет, гораздо лучше меня самого.

Потом, взглядевшись, обеспокоилась.

– Ты плакала о чем-то?

Валентина принужденно улыбнулась.

– О чем мне плакать? Очень резкий свет был у меня в мастерской, и я немножко долго работала, глаза покраснели, да и Ленька устал.

Леонид выбежал, опять поцеловал Валентину.

– Нет, тетечка, ничего, я только немножко устал.

Вошли в комнаты. Было светло, тепло и грустно.

– Выпьешь с нами чаю? – спросила Евгения.

– Да, пожалуйста.

«Надо удалить Леонида», – подумала Валентина.

– Саша, чаю, – сказала Евгения вошедшей на звонок горничной.

Валентина тихо сказала сестре:

– У меня капризы, точно я в положении.

И погромче, чтобы слышал вертевшийся тут же, все еще радостный, Леонид:

– Вдруг захотелось калача. И непременно от Филиппова.

– Я сбегая, – вызвался Леонид.

– Вот я и хотела просить, Женя, чтобы ты Леньку послала.

Если Сашу послать, она возьмет где попало, а Ленька уж верно добежит до Филиппова. Да, Ленечка, ничего что далеко?

– Ничуть не далеко, тетечка, – весело отвечал Леонид, – живым духом слетаю.

Евгения внимательно смотрела на Валентину. Она слегка побледнела, и пальцы ее дрожали, когда она доставала из кошелька серебряную монетку для Леонида.

– Оденься потеплее, Ленька, – говорила она сыну, – да не беги очень скоро, еще упадешь, поскользнешься. Саша только что самовар поставила, успеешь вернуться и не торопись. На сдачу можешь купить себе шоколадинку.

Сама затворила за Леонидом дверь на лестницу, и вернулась к сестре.

«Леонид еще не так скоро вернется, – думала Валентина боязливо, – успею понемногу, как-нибудь, в разговоре».

Евгения села против сестры, и смотрела на нее молча и тревожно. Валентина заговорила о вестях из армии.

– От Сергея давно писем нет, – тихо сказала Евгения.

Ее бледное, вдруг словно похудевшее лицо передернулось жалкой гримасой страдания и горя. Она заплакала.

– Я знаю, зачем ты пришла, – тихо сказала она, – Сергея убили, я это чувствую. Потому ты и Леньку отослала.

Валентина хотела что-то сказать – и не смогла. Слезы мешали ей говорить.

III

На другой день в обычный час Леонид пришел к Валентине. Уже он был в траурной курточке, и лицо его было бледное, огорченное и заплаканное. Он молча разделся и стал на то же место, как и вчера. Валентина неторопливо взялась за кисти. Леонид сказал:

– Послезавтра мамин именины. Тетечка, подари этот портрет маме в ее именины. Он такой светлый! Мама обрадуется, тогда я ей

скажу: «Мама, сними траур, не плачь, – отец умер, но я с тобой, его сын, и я буду сильный, смелый, и буду тебя радовать».

Ему хотелось плакать, но он стойко удерживал слезы. Он знал, что под кистью Валентины возникает яркий, радостный, сильный образ могучего отрока, такого, каким Леонид хочет быть, каким он будет.

Валентина быстро работала. Целый вечер продержала Леонида, давая ему по несколько минут отдыха.

Евгения пришла за сыном, в траурном платье, бледная, еще более похудевшая. Заслышав ее голос в прихожей, Леонид быстро подбежал к Валентине, и зашептал:

– Тетечка, не пускай сюда маму. Я хочу, чтобы она сразу увидела портрет и обрадовалась.

Валентина кивнула головой, Леонид быстро отбежал на свое место. Открылась дверь, вошла Евгения. Валентина поспешно отодвинула подставку.

– Не смотри, Женя, – крикнула она, – портрет еще не кончен. Я и Ленке его пока не показываю.

– Хорошо, – отвечала Евгения, – я посижу с Борисом.

IV

На другой день к вечеру портрет был готов. Леонид стоял перед ним, смотрел долго, счастливо улыбался и плакал. Огненные глаза, похожие на отцовы, глядели на него с портрета.

– Ну, глупый, о чем же ты плачешь? – лаская его, спрашивала Валентина.

– Тетечка, – говорил Леонид, – я на портрете такой яркий и радостный, точно не я, и в то же время я. Ничего не боюсь, и все могу, что захочу.

– Да, – сказала Валентина, – все сможешь, что захочешь. Вырастай умеющим хотеть и делать. А завтра пораньше утром приходи за портретом, – покажешь его маме сам.

V

В день маминых именин Леонид утром сбегал к тете Валентине. Принес портрет, – большой, тяжелый, едва догащил. Непременно захотел сам нести.

– Что делает мама? – спросил он у Саши.

Саша хмуро отвечала:

– Известно что, – смотрит на вашего папаши портрет, да плачет.

Леонид вошел к матери.

– Мамочка, тетя Валя прислала тебе подарок.

– Ну, покажи, разверни, – слабо улыбувшись, сказала Евгения.

Леонид торопливо сорвал бумагу, и поставил портрет на стул.

– Смотри, мама.

И сам пытливо смотрел на мамино лицо. Лицо Евгении слегка зарумянилось. Она глядела на изображение отрока, ярко-пламенеющее перед ней.

– Хорошо! Очень хорошо!

– Мама, это еще не я, – говорил Леонид, – но я таким буду.

– Это – мечта моя о тебе, – сказала Евгения, – о моем

сыне, о сыне моего Сергея.

И опять заплакала. Леонид говорил настойчиво:

– Я таким буду. А ты, мама, радуйся, – отец умер доблестно, и я буду его помнить, и буду достоин его светлой памяти. Мама, мама, когда люди умирают так доблестно, не надо носить по ним траур. И когда они оставляют после себя сыновей, сильных и смелых, не надо носить по ним траур. Мама, сними траур, не печалься, – отец будет рад, что его смерть не сломила тебя.

Евгения плача обняла Леонида.

– Слабенький ты у меня, – сказала она тихо.

Леонид быстрым движением вырвался из ее рук.

– Мама! – крикнул он, – и я не хочу носить траура. Я хочу быть сильным, радостным и смелым.

И он проворно сбросил с себя всю одежду, и стоял обнаженный рядом со своим изображением, бледная тень созданного чарами искусства яркого образа. Но глаза его пламенели так же, как огненные глаза изображенного отрока. Он дрожал весь, и настойчиво повторял:

– Мама, надень то платье, которое ты сшила к именинам, а это ужасное платье сними, сожги! Сними траур, мама, и радуйся!

Евгения покачала головой.

– Как я могу радоваться, когда милый мой убит!

Леонид заплакал и закричал:

– Я пойду на лестницу, на двор, и буду там стоять на морозе голый, пока ты не скажешь мне, что сегодня же снимешь траур и наденешь праздничное платье.

И он стремительно выбежал из комнаты, толкнул в дверях входившую зачем-то Сашу, и побежал в переднюю.

– Ленечка, Ленечка, куда вы? – закричала испуганная Саша.

Но уже Леонид выскочил на лестницу, и побежал вниз. Успел добежать до пятого этажа, когда сверху послышался голос Евгении:

– Леня, вернись, я сниму траур, и не надену его, пока ты со мной.

Леонид побежал вверх, навстречу бегущей к нему по лестнице Евгении. Она обняла его, смеясь и плача, и повела его домой, повторяя:

– Радость моя, сыночек светлый, мы не будем носить траур. Светлой душе отца твоего не нужны наши слезы, наши вздыхания. А я помогу тебе стать таким светозарным, каким написала тебя тетя Валя.

ВИЗИТ

– Принимают? – спросил, уверенный услышать да, Латанский у открывшей дверь на его звонок румяно-спокойной горничной, эстонки Эльзы.

И вошел в переднюю, где после его звонка рукой быстро прибежавшей Эльзы был повернут бронзовый выключатель и вспыхнула электрическая лампочка в голубоватого стекла тюльпане.

– Генеральша дома, – отвечала Эльза, стаскивая с молодого

человека меховое пальто. – Примут. Только они в слезах. И в сборах.

Латанский приглаживал перед зеркалом жидковатые волосы на начинающей лысеть голове. Кстати любовался своим холодным, холерным лицом, на котором нос был тонок и прям, губы алы, брови черны, глаза холодны и остры. Это лицо казалось ему красивым. Дамы холодного города в этом были с ним согласны.

Он улыбнулся на слова Эльзы, и спросил негромко:

– О чем слезы? И куда сборы?

– Насчет генерала огорчаются, – отвечала Эльза. – Собираются вечером нынче ехать в армию.

– В чем дело? – тревожно спросил Латанский.

У него были расчеты провести этот вечер вместе с молодой генеральшей, Евгенией Петровной. Потому он и зашел днем в этот праздничный день, хоть был здесь только вчера, в первый день Рождества.

– Генерал ранен, – сказала Эльза. – Сегодня пришло письмо.

Открыла дверь в гостиную. Латанский взглянул на нее, хотел потрогать ее за подбородок, чтобы полюбоваться тем, как вспыхнет непорочная Эльза, но раздумал, увидел в Эльзиных глазах слезинки. Спросил:

– Кого же тебе жалко, генерала или генеральшу?

– Все утро барыня плачет, глядеть жалко, – сказала Эльза, и пошла докладывать.

Латанский пожал плечами.

«Чудит Евгения Петровна, – думал он досадливо. – Мужа не любит, в меня влюблена, о чем плакать, не понимаю».

Нетерпеливо ходил по гостиной, где стены, ковры и мебель были в серовато-жемчужных и блекло-розовых тонах, и невнимательно поглядывал на картины и портреты. Досадливо думал, что придется долго ждать, пока Евгения будет уничтожать следы пролитых ей слез. Но ждать пришлось не долго. В соседней комнате послышались легкие, быстрые шаги. Латанский едва успел согнать с лица гримасу скуки и нетерпения и сделать из своих прямо-разрезанных губ улыбающееся подобие готового натянуться тугого лука, алеющего на этой тетиве.

Молодая, красивая и заплаканная, вышла Евгения. Протянула Латанскому руку, и заговорила:

– Можно ли было этого ожидать? Ранен! И тяжело! Начальник дивизии, – и ранен, как прапорщик! Какая отчаянная храбрость!

– Милая Женечка, – говорил Латанский, целуя ее руки, – успокойтесь, не плачьте. Ваш муж – доблестный воин, он не жалеет своей жизни, но ведь ваши слезы ему не помогут, и не упадут на его раны целебным бальзамом.

– Я все утро плачу, – сказала она жалующимся голосом.

И опять заплакала. Латанский говорил ласково, но уже слегка нетерпеливо:

– Женя, милая, но ведь я с вами. Я вас люблю, я вас не оставляю.

Евгения глянула на него, на секунду отняв от глаз платок. Ее заплаканные глаза блеснули остро и зло. Латанскому стало досадно, что она плачет при нем, не заботясь о том, что от слез краснеют веки и некрасивым делается лицо.

Евгения сказала:

– Да, вижу, вы не на войне. Вас еще не призвали.

Латанскому стало весело, как всегда при мысли, что ему-то не придется лежать в холодных окопах, что жизни его не угрожает

никакая опасность.

– И не призовут, – весело сказал он. – К счастью, я занимаю такое место, которое меня освобождает.

Приятная теплота разлилась по всему его, облеченному в элегантный костюм, телу. Так приятно знать, что ничто не нарушит милых привычек удобной жизни.

Евгения, шурша белым шелком платья, подошла к окну. Смотрела рассеянно на людную улицу. Сказала тихо:

– Какой он отважный! Я сегодня к нему еду. Он в госпитале в ... Завтра я его увижу. Как я взгляну ему в глаза!

– Женя, что вы говорите? – с удивлением воскликнул Латанский. В его серых глазах мелькнуло что-то, похожее на испуг.

Евгения посмотрела на него внимательно, и заговорила тихо, и голос ее слегка дрожал, точно от страха:

– Послушайте, Николай Сергеевич, а что, если он знал? Если он знал, что я делаю? Если он нарочно? Если он искал смерти?

Латанский улыбнулся. На его холодном лице появилось выражение самодовольства, противное теперь для Евгении. Его лицо точно лаком покрылось. Он говорил:

– Что вы придумали, Женечка? Спокойный, рассудительный генерал, и вдруг... Нет, он слишком предан своей службе, чтобы придавать такое значение делам любви. Слишком служака, чтобы рисковать собой без надобности. Если он ранен, значит, это так случилось, без всякой вашей вины. Несчастливая случайность, которая на войне может постигнуть всякого военного.

Евгения смотрела на Латанского холодными, чужими глазами. Внимательно разглядывала такие знакомые черты холодного, красивого лица. Вдруг сама себе удивилась. Где же очарование этого лица? Этого человека она любит? Для него она уже готова была изменить своему отважному, доблестному мужу? Неужели это так?

Она тихо говорила:

– Мой доблестный муж! Он – герой!

И слова ее словно заражали ее душу очарованием доблестью мужа и любовью к нему.

Латанский сказал холодно и насмешливо:

– Женечка, не влюбитесь в него опять.

– Он достоин, чтобы его любила женщина лучше меня, – тихо и задумчиво говорила Евгения, – чище меня, благороднее. Да, я сегодня же поеду к нему.

Латанский пожал плечами. Но, вспомнив свои сегодняшние надежды, сделал себя нежным, насколько мог, и сказал:

– Я понимаю ваше побуждение ехать к нему, – это трогательно и очень прилично. Поезжайте, но помните, что вы оставляете здесь человека, который преданно и неизменно любит вас. И, по-моему, лучше вам ехать завтра. Сегодняшний вечер подарите мне. Об этом просить вас я и приехал.

Евгения молчала. Стояла перед Латанским, опустив глаза. Уже не плакала. Ее тонкие пальчики мяли маленький кружевной платок. Потом она вздохнула и сказала:

– Что же мы стоим! Сядемте.

Села на диван. Заговорила о постороннем. Латанский ходил по комнате. Смутные желания томили его.

«Нет, – думал он, – сегодня я не пущу ее уехать. Необходимо ее удержать. Иначе весь мой день будет испорчен».

– Женечка, – сказал он, – сегодня вы очень милы. Слезы идут к вам так же, как и смех. Я даже и не подозревал, как вы можете

быть очаровательны, когда плачете.

Он говорил не то, что думал, но ему хотелось лестью вызвать улыбку на милых Жениных губах.

Евгения слабо улыбнулась. И сейчас же погасла улыбка.

– Не говорите мне этого, – тихо сказала она.

Латанский сел рядом с ней. Она боязливо глянула на него. Глаза его, холодные глаза благополучного чиновника, зажглись. Он быстро обнял Евгению, и поцеловал ее в щеку.

Евгения вздрогнула, порывисто вскочила, закричала:

– Я ненавижу вас! Если он умрет, я вас убью.

И выбежала из комнаты.

Так быстро все это произошло, что Латанский не успел даже встать. Он сидел на диване, и растерянно глядел на дверь, за которой скрылась Евгения.

Ни одна фраза не складывалась в его мозгу, словно вдруг обескровленном.

Вошла Эльза. Глянула на Латанского сердитыми глазами преданной господам служанки, потупилась и сказала:

– Барыня извиняются, у них очень голова разболелась. Легли отдохнуть.

Латанский нахмурился и вышел. Он чувствовал, что эта недавняя связь порвалась навсегда. Поэтому он старался внушить самому себе, что Евгения уже начала надоедать ему.

Плохое утешение! «Плохой конец благих минут!»

А Евгения, у себя запершись, плакала и целовала последний портрет своего мужа. И плакала, и раскаивалась, и давала себе клятвы никогда, никогда не изменять мужу. И потом молилась долго, чтобы муж остался жив.

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ МАЛЬЧИК

Какие бы трагические и значительные события в стране ни совершались, жизнь тех, кто в этих событиях непосредственно не участвует, должна идти своим порядком. Духом уныния да не заразимся: это – дух липкий, и, раз угнездившись, раскидывается широко. Своим чередом пусть празднуют радостные дни, пусть зажигается в каждом доме традиционная елка, обрусевшая не за нашу память. Газеты и журналы пусть печатают святочные рассказы. Как бы ни смеялись юмористы над шаблонностью тем этих рассказов, пусть будет в них даже обычный рождественский мальчик, которому очень холодно. Правда, нравы наши смягчились, – замораживать до смерти нищих простых мальчиков не следует, – но можно взять здорового мальчика из зажиточной и образованной семьи, и подвергнуть его легкому действию холода, по его доброй воле. Это будет эстетическое преобразование старого образа, – жалкие лохмотья нищего да преобразятся в красивое одеяние, пригодное для закаливания юного организма. Нам же в России так надобно, чтобы новое поколение возрастало бодрым и здоровым. Известно, что «полезен русскому здоровью наш укрепляющий мороз».

Каждый год тридцать первого декабря у Мажаровых устраивалась

елка, соединяемая со встречей Нового года. Грише Мажарову исполнилось тринадцать лет в марте, других детей у Мажаровых не было, и Гриша, конечно, мог бы и без елки обойтись. Но эта традиционная елка радовала и взрослых, отца и мать, а потому и Гриша, мальчик в меру серьезный и в меру веселый, ждал ее с таким же приятным чувством, с каким ждал он всегда и других семейных праздников. Притом же елка была только предлогом для того, чтобы весело провести день и ночь.

Днем, с трех часов, приходили мальчики и девочки коротко знакомых в этой семье. В четыре часа дети обедали, потом веселились около елки. В семь часов обедали взрослые. В девятом часу обед кончался. Пили кофе с ликерами в гостиной, а в кабинете Мажарова курили. В одиннадцать часов начинали съезжаться приглашенные встречать Новый год. Елка опять зажигалась. В половине двенадцатого садились ужинать. Грише в последние годы позволялось сидеть с большими до половины первого. Большие же начинали по-настоящему веселиться только во втором часу ночи, – танцевали, кто-нибудь играл на рояли, кто-нибудь пел.

В остальные дни святок бывали на елке у знакомых.

Но в этом году перед праздниками о елке старались не вспоминать. Вообще в этом году все было не так, как всегда. Присяжный поверенный Алексей Дмитриевич Мажаров поехал воевать, надев мундир защитного цвета и погоны с одной полоской и одной звездочкой. Принимая последний раз клиентов, он говорил весело:

– Я уже не адвокат, я – прапорщик.

Его жена, Елена Юрьевна, шила кисеты, три раза в неделю ходила в лазарет, устроенный адвокатами, и заботилась о сборах и сбережениях. Гриша в свободное от своих уроков время читал о войне, и помогал матери в ее заботах о вещах, посылаемых на позиции. Было Грише скучно, что нет отца, что пуст его большой и уютный кабинет. Алексей Дмитриевич Мажаров был человек решительный и веселый. При нем Грише нельзя было распускаться и шалопайничать, жизнь текла в строго-очерченных берегах и выходить из границы установленного порядка было опасно. Зато бывало иногда очень весело, в часы досуга и отдыха: отец был неистощим в придумывании самых разнообразных занятий и развлечений, и все его выдумки всегда бывали остроумны и полезны.

Привычка к домашней дисциплине была сильна в Грише, и без отца он вел себя очень хорошо. Но, так как мать была мягче отца, то иногда налаженный домашний порядок все-таки расхлябывался, и от этого Грише делалось скучно и кисло, – возможность своевольничать его не радовала. Он вырос в привычках спартанских, и всякая расслабленность тревожила его.

Иногда Гриша даже ворчал на мать:

– Надо решительно говорить, можно или нельзя. Я не могу всего знать. Я – не отец семейства, чтобы за все отвечать.

Если Елена Юрьевна за что-нибудь упрекала Гришу, он, случалось, говорил ей:

– Мама, в тебе нет никакой последовательности: сегодня так, завтра иначе. А вот у отца всегда одно и то же, что вчера, то и сегодня.

Елена Юрьевна то хмурилась, то улыбалась и говорила:

– Ты, Гриша, кажется, чувствуешь недостаток родительской строгости? Так вот погоди, отец вернется, за все сразу высечет. Будешь доволен!

Гриша досадливо краснел:

– Мама, – говорил он, – отец вернется, так его что ж огорчать? Я веду себя в общем не плохо, и тебя слушаюсь. Тебе на меня жаловаться не придется.

– Ты много рассуждаешь, – отвечала мама, – и мне с тобой некогда.

Да, Гриша и сам знал, что мама очень занята.

Уже в начале декабря Гриша услышал разговор о елке, – очень неприятный разговор. Услышал отрывок разговора, случайно. Что-то понадобилось спросить у матери, и он пошел искать ее.

В гостиной у Елены Юрьевны сидела одна из ее подруг Анна Александровна Латанская, молодая, белоликая дама с ленивыми и нерешительными движениями. Она тоже была жена присяжного поверенного, но ее мужа не взяли, – он был для этого стар и тяжел. Говорили о разном. Елена Юрьевна услышала из соседней большой комнаты приближающийся знакомый скрип на гладко-натертом паркете голых Гришиных ног: дома Гриша ходил босой, иногда так выбегал и на снег ненадолго, гордясь тем, что он – спартанец, сильный и закаленный. Подумав о Грише, Елена Юрьевна вспомнила о приближающихся праздниках, и спросила:

– Ну, как в этом году елка? У вас будет? Как всегда?

Латанская нерешительно пожала круглыми плечами, и сказала:

– Да уж не знаю, право. Говорят, что елка – немецкий обычай. Я слышала, что и не позволят рубить елки. Пожалуй, не будем делать.

– Да, – сказала Елена Юрьевна, – и я думаю, лучше эти деньги на елку в окопы послать. Не позволять едва ли станут, но не такое настроение.

В это время в комнату вошел Гриша. Он услышал эти слова. Удивился немного, но сейчас же подумал:

«Отца нет, так уж какая была бы елка!»

Латанская, улыбаясь, посмотрела на его коротко-остриженную голову, на его серенькую мягкую курточку с белым длинным галстуком, на его стройные, сильные ноги, и спросила:

– А что на это Гриша скажет?

Елена Юрьевна вздохнула, улыбалась.

– Он у нас – спартанец. Думаю, сам откажется. Но если он захочет, конечно, елка будет, как всегда, под Новый год.

Гриша поцеловал у гостыи сладко-пахнущую руку, и сказал:

– Конечно, лучше эти деньги послать на елку в окопы. У нас все есть, а бедным солдатам холодно.

– Конечно, – сказала Латанская, – это – верно, Гриша.

И, обратясь к Елене Юрьевне:

– Молодежь так отзывчива ко всему этому, так работает и помогает, – сердце радуется, глядя на них.

Больше об этом не говорили. Только через несколько дней сам Гриша напомнил, что пора посылать елочные деньги. Тогда, не откладывая дела, Елена Юрьевна с Гришей сосчитали, сколько могла бы стоить нынче елка, и отнесли эти деньги знакомому литератору, сбиравшему пожертвования на рождественский подарок солдатам.

Когда Елена Юрьевна и Гриша возвращались домой, швейцариха, жена запасного, заменявшая своего ушедшего на войну мужа, сказала Елене Юрьевне:

– И чего это все господа придумывают? Уж так рассчитывала для Петяйки на теплую курточку, да не туда повернулось. Ничего ему понче не будет, – ведь вот незадача!

– А что такое? – спросила Елена Юрьевна, остановившись около

швейцарской.

Гриша слушал внимательно, – Петяйка, десятилетний заморыш, был ему мил.

– Да что, – говорила швейцариха, – пришел сегодня Петяйка в школу, а им учительница говорит: «Милые дети, говорит, дума городская велит вас благодарить, что вы такие выказались очень добрые, от елки в пользу солдатиков отказались». Мальчишки глазами хлопают, а она посмотрела, ухмыльнулась, говорит: «Елки у вас до будущего года не будет, а деньги ваши елочные дума в окопы посылает». Вот и остался мой Петяйка без теплой курточки. Так одно к одному, – и отца нет, и елки Петяйке не будет.

– Пусть он к нам на елку придет, – с размаху сказал Гриша.

И вдруг вспомнил:

– Ах, да и у нас не будет елки!

Елена Юрьевна погладила его по плечу:

– Ничего, теплую куртку Петяйке мы сделаем.

Гриша призадумался над швейцарихиным рассказом. За обедом он сказал:

– Ну, хорошо, мы нашему Петяйке дадим теплую куртку, а ведь есть такие, которым, пожалуй, никто теплой куртки не даст.

– Что ж делать! – отвечала Елена Юрьевна.

– Бедным детям надо устраивать елку, – им теплые вещи дают, – говорил Гриша.

– Теплые вещи солдатам еще нужнее, – сказала мать.

– Правда, – согласился Гриша.

Шли дни. Настали праздники. Лампады теплились, а елки не у всех знакомых были. Ну, что ж! все ж таки кое у кого была елка. Приглашали Елену Юрьевну с Гришей. Говорили:

– Вы сами нынче елки не устраиваете, так у нас побывайте.

Отказываться было неудобно. Если сказать:

– Немецкий обычай.

Отвечали:

– Да уж он обрусел.

Если сказать:

– Война, а мы веселимся.

Отвечали:

– Солдатам легче не станет, если мы нос на квинту повесим.

Да были Грише и другие развлечения.

На третий день праздника от отца пришло письмо, жене и сыну вместе. Как всегда, получение письма было праздником, волнуящим обоих. Письмо было длинное, на четырех страницах, писано карандашом. Мажаров писал, между прочим:

«Жалею, что меня не будет на нашей елке. Но душой буду опять с вами. Глазами души буду видеть, как у вас горят огоньки свечек, как блестит и искрится на елке сусальный снег. Снег и у нас будет настоящий, и елки, пожалуй, будут, а свечек зажечь не придется».

Грише стало как-то неловко. Он сказал:

– Отец и не знает, что мы эти деньги, елочные, пожертвовали, и что елки у нас не будет.

– Мы ему об этом напишем, – сказала Елена Юрьевна.

На том и успокоились. Отцу написали, – как всегда, шесть страничек Елена Юрьевна, вечером, и рано утром последние две странички Гриша. Он же написал конверт, и заклеил его.

Отправляясь утром кататься на коньках, Гриша положил письмо в карман своего пальто, чтобы опустить в почтовый ящик. Почтовый

ящик был совсем близко, только перейти через переулок и пройти сажень пятнадцать до угла ближней улицы. Но Грише надо было идти в другую сторону, он торопился застать товарищей, – и так немного опоздал, занявшись письмом, – и потому он решил опустить письмо в другой ящик, где-нибудь по дороге.

О домашней елке не говорили все эти дни.

Днем тридцатого декабря Грише стало почему-то скучно. Мать была в лазарете, Гриша был один. Читал книгу, сидя в своей комнате, скрестив под столом ноги. Читал невнимательно. Думал об отце.

На улице уже темнело. В комнате топилась печка. Гриша оставил надоевшую книгу, и подошел к печке. Он любил смотреть на огонь. Дров уже не было, только что сгорели, рассыпались на ровную россыпь углей; цвет их был – расплавленный янтарь, а тени были фиолетовы, и казались пятнами жаркой крови. В глубине печки жаркий воздух казался гуще, и казалось, что видны восходящие токи безвидного пламени. Иногда взлетали и опять опускались черные, плоские пепелинки, мелькая, как птицы. И все пространство беспламенно горящих углей казалось раскаленным пожарищем погибшего мира.

Гриша сел на пол перед печкой, обхватив руками скрещенные голые ноги. Засмотрелся на огонь. Вдруг скрипнула, открываясь, дверь. Гриша обернулся. Вошла горничная Таня, молодая, пополневшая на городских легких хлебах и неутомительной работе девица, грамотная, любезная и хитрая. У нее в руках было письмо.

Гриша радостно вскочил и вскрикнул:

– Из армии! От папочки!

Таня засмеялась.

– Да нет, Гришенька, не из армии, а в армию. Забыли, видно, опустить, в кармане проносили.

Гриша растерянно вертел письмо в руках. Таня лукаво говорила:

– Сходить, опустить? или до барыни подождать? Барыня, пожалуй, рассердится. А то я схожу, опущу, барыня и не узнает.

Гриша покраснел и сказал досадливо:

– Я и не думаю от мамы скрывать. Оставьте письмо у меня. Я сам спрошу у мамочки.

Таня хихикнула, и вышла.

Гриша положил письмо на стол, и опять опустился на пол перед печкой, и стал раздумывать, что теперь делать. Яркое пылание углей раздражало и волновало его.

«Что ж тут сидеть? – подумал он. – Может быть, сейчас письма из ящика вынимать будут. Надо послать скорее».

Гриша вдруг решился, схватил письмо, и побежал в переднюю, на лестницу, на улицу. Ни шапки, ни обуви не надел, очень торопился.

Сбежал с третьего этажа, к выходной двери. Швейцариха, жена запасного, поглядела на него, и сказала:

– Морозно, Гришенька. Простудитесь.

Гриша весело сказал:

– Ничего, я только до почтового ящика.

– Письмо, что ль, опустить? – спросила швейцариха. – Так Петяйка сбегает, он дома.

Но Грише хотелось самому кончить начатое. Самому всегда веселее все делать. Он крикнул:

– Нет, я сам. Петяйка сунет в благотворительный ящик, письмо завалется, а оно спешное.

И выбежал на улицу. Только белый галстук взметнулся от

сквозняка в дверях. Швейцариха покачала головой. Подошедшая к телефону барышня из двадцать второго номера, зеленолицая и худенькая, всплеснула руками, и вскрикнула:

– Ах, Боже мой! Зачем вы его выпустили на мороз раздетого? Он себе ноги отморозит.

Швейцариха махнула рукой, и засмеялась.

– Ништо ему сделается. Он, барышня, не такой, как мой Петяйка, хлипкий. Здоровый мальчишка, крепкий. Ему и мороз нипочем.

Гриша перебежал неширокий переулок наискосок к почтовому ящику. Как всегда, крепкие объятия мороза веселили и забавляли Гришу. Хотелось громко кричать от восторга, вбирая глубоко в грудь бодрый морозный воздух.

Снег был неглубокий, хрупкий, остро-радостный. В слабо-освещенном фонарями переулке никто не шел и не ехал. Уже Гриша стоял перед желтым ящиком, и уже толкнул письмом жестяную завесу узкого прореза. Но вдруг ярко блеснули в Гришиной голове тревожные мысли:

«Папа душой будет на нашей елке, будет видеть ее глазами своей души, а елка не зажжется. Нет, тут что-то неладно вышло. Я никогда ничего не забываю, а это письмо забыл, – может быть, это – указание, что его и не надо посылать. Надо еще с мамой поговорить».

По улице мчались санки, завернули в переулок. Знакомый голос окрикнул Гришу, Гриша оглянулся, – это возвращалась домой мама.

«Вот и еще указание! – подумал Гриша. – Только что я о маме подумал, а она тут, как тут».

И бросился бежать домой. Подбежал к подъезду в то время, когда мама уже выходила из санок.

– Ты к почтовому ящику бегал, Гриша? – спросила мать, входя за ним с улицы в дверь.

– Да, мамочка, – сказал Гриша, – письмо носил, да раздумал бросать, назад принес, с тобой поговорить о нем надо.

– Кому письмо? – спрашивала Елена Юрьевна.

– Папочке, – отвечал Гриша.

– Опять? – с удивлением спросила она.

Гриша засмеялся.

– Да нет, мамочка, то же самое письмо.

– Тебе холодно, Гриша? – спросила мать, глядя на тающие снежинки на Гришиных покрасневших и радостно проворных ногах. – Мороз на улице.

– Нет, мамочка. На улице было холодно, здесь сразу стало тепло. Точно в горячую воду вошел.

– Ну, скорее домой, – торопила мать. – Все же надо согреться. Так что же с письмом? Забыл тогда опустить?

Гриша стыдливо пожал плечами.

– Догадалась, мамочка? Да, такая досада!

Поднимаясь по лестнице, Гриша торопливо рассказывал матери, что случилось с письмом, и что он об этом думает.

Вошли домой. Таня встретила, усмехаясь. Гриша сказал:

– Таня думала, что я хочу от тебя скрыть.

– Мне что ж! – сказала Таня, весело усмехаясь. – Я пальто Гришенькино чистила, письмо нашла, отдала, – мне какое дело!

– Она хотела меня покрыть, – весело говорил Гриша. – Она сегодня добрая, письмо от своего жениха получила, из армии.

Таня зарделась, засмеялась.

– Да что вы, Гришенька! Какой он мне жених!

– Так как же, Гриша? – спросила Елена Юрьевна. Отец там, в

армии, завтра вечером будет думать о нашей елке, будет воображать, как на ней свечки горят, как нам весело?

– Да, мамочка.

– А елки у нас не будет?

– Да, мамочка. Потом отец получит наше письмо, узнает, что елки у нас не было, – и выйдет, что напрасно он представлял нашу елку, то, чего не было.

– Выйдет, Гриша, что мы его обманули?

– Да, мамочка.

Отвечал Гриша на мамины вопросы, и уже чувствовал, что вот еще немного, и он заплачет. Мать засмеялась, погладила его по стриженной голове, и сказала:

– Ну, Гриша, одевайся. Магазины еще открыты, пообедаем позже. Я пока на завтра кое-кого приглашу. Остальных вечером.

Гриша радостно улыбался. Елена Юрьевна говорила:

– А вы, Таня, во что бы то ни стало достаньте на завтра елку. Лучше сегодня же купите.

– Да уж достата, – сказала Таня. – Катя еще вчера купила.

– Как купила?

– Да так. В кухне стоит. Я ей говорю, – не будет нонче у наших господ елки. А она мне, – не может того быть, – каждый год бывала елка, как так нонче не будет! Взяла, да и купила. Уж она такая самовольная!

– У нее было предчувствие, что папа непременно захочет елки! – весело закричал Гриша.

Елена Юрьевна улыбнулась.

– Что на папу сваливать? Не Гриша ли захотел?

Гриша засмеялся и побежал к себе. Натягивая серые чулки на быстро потеплевшие ноги, он думал:

«Вот как хорошо выходит! Папа не даром завтра будет думать о нашей елке, – елка будет, мы его не обманем».

И зажглась под Новый год елка, и собрались вокруг нее веселой толпой.

А ночью Грише снились веселые сны. Снилось, что отец вернулся живой и не раненый, и рассказывает без конца интересные истории.

ДЕД И ВНУК

Над белой скатертью обеденного стола горела шестнадцатисвечная лампа Осрам. Сидели за столом, как всегда, двое, дед и внук, инженер Заревой в серой тужурке и гимназист Дима в домашней красивой и легкой синей курточке, в коротких панталонах, с босыми ногами: он воспитывался по-спартански. Разговаривали. Пожилая горничная Христина ухмылялась, слушая.

– Если бы мне тебя, дедушка, не было жалко, я бы давно ушел на войну, – сказал Дима.

– Четырнадцатилетних не берут, – спокойно возразил дедушка. – Мне шестьдесят лет, и меня в солдаты не возьмут. Так-то, друг, старый да малый, сиди дома. Без нас воинов в России много, сильных, молодых, здоровых.

– Нет, дедушка, – спорил Дима, – мне уж скоро пятнадцать. На войне такие есть. Иные мои сверстники отличиться успели. Я еще подумаю, подожду, да и поеду.

– А тебя вернут с дороги, – говорил дед.

– А я опять уеду, – отвечал Дима.

Заспорили, стали горячиться.

– Я тебя не пущу.

– Да я сам убегу.

– И думать не смей. Чуть что замечу, высеку.

Дима улыбнулся и заговорил спокойно, убеждающим голосом:

– Дедушка, я смерти не боюсь, и ран не боюсь, так разве мне от тебя будет что-нибудь страшно?

– А вот высеку, так забоишься, – ворчливо сказал дед.

– Дедушка, я – спартанец, – говорил Дима. – Бояться мне нечего. Если бы я чего-нибудь боялся, я бы сам себя презирал. Ты на меня не сердись, милый дедушка, но я тебе прямо скажу, что меня дома не страх держит.

– А что же? – спросил дед.

– Да так, – все думаю, – отвечал Дима. – Буду ли полезен? Не буду ли только помехой? Посмотрю на себя в зеркало, – ростом мал, с лица мальчишка. Патроны подавать? Нет, лучше разведчиком быть, бойскаутом. Если бы я в тех местах вырос, давно бы я в деле был. А в незнакомой местности... да нет, дедушка, уж ты не сердись, если я в одно прекрасное утро исчезну.

Дед нахмурился, и сердито сказал:

– Да и ты, друг, не сердись, когда тебе от меня за эти разговоры достанется.

Так часто перекорялись дед со внуком. Редкий день не было такого спора. Иногда кончались эти споры мирно, иногда большими неприятностями.

Дима остался круглым сиротой по пятому году, и вырос у деда. Был он мальчик рассудительный, спокойный, сильный, здоровый. Жажда приключений не томила его, может быть потому, что дед мало стеснял его, и летом Дима жил вольной птицей.

Когда Дима оставался дома один, он доставал припрятанный им с осени отцовский мундир пехотного штабс-капитана, и надевал его на себя. Великоват! Стоя перед зеркалом, Дима сам себе казался слишком

малым и забавным в этом большом для него одеянии. Ему казалось тогда, что в солдатском мундире он будет похож на оловянного солдатика, и над ним будут смеяться. Да и не дадут ему солдатского мундира, – такого роста разве бывают солдаты? Если бы хоть на полвершка быть повыше!

Иногда Дима плакал от досады, иногда утешал себя соображениями, что отец был высокий, и что он сам, Дима, скоро подрастет.

А дед, уйдя к себе в кабинет и притворивши поплотнее двери, пробовал заняться гимнастикой, – делал приседания, сгибание и вытягивание рук, нагибание туловища вперед, назад и в стороны. Брал стул, и с ним сгибал и вытягивал руки. Та же мечта была у него, как и у внука, – пойти на войну, – и надежда: вот от гимнастики прибавится сил, помолодеет, потеплеет кровь. Но скоро убеждался, что сила уж не та, как в молодости, и не прибавляется, скорее убывает, – скоро уставал, руки и ноги дрожали, сердце билось, хотелось полежать. Он думал с досадой:

«Да, и я не гожусь в войны».

Кончался год, дни стали понемногу прибывать. Дима перестал спорить с дедом. Он окончательно решил, что седьмого января уйдет из дому, как будто в гимназию, а сам проберется в воинский поезд, и отправится на войну.

Когда люди долго живут вместе, и очень дружны, у них иногда совпадают биения волевых темпов. И у деда явилась мысль после праздников проситься, чтобы его хоть ратником зачислили. В войсках он никогда не служил, но был рьяным охотником, и стрелял хорошо. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, и день наметил он тот же, что и внук наметил: седьмое января. А пока стал приискивать, кого бы пригласить в дом для Димы. Иногда думал, что лучше Диму отдать куда-нибудь.

Встретили Новый год дед и внук вдвоем, как всегда. Пожелали другу другу исполнения желаний, и оба почему-то смутились при этом. А ночью оба видели почти одинаковый сон.

Снилось Диме великое полчище охотников-отроков в синих одеждах, таких же, как домашняя Димина. У каждого за спиной на перевязи висело охотничье ружье. Они шли из города, утонувшего в садах, по широкой дороге, обсаженной липами и березами, веселыми деревьями. Мальчики были веселые, шли быстро и бодро. Они пели песню, мелодия которой радовала и волновала. Из этой песни запомнился Диме припев:

«Убивайте только зверя!»

Дима стоял один на краю дороги, и дивился на проходивших мальчиков.

– Иди с нами! – сказал один из мальчиков Диме, когда замолк припев песни.

– А куда вы идете? – спросил Дима.

– Мы идем в леса убивать вредных зверей, – отвечал мальчик.

– Нет, – сказал Дима, – мне с вами не по дороге. Я иду на войну.

Засмеялись мальчики.

– О чем вы смеетесь? – дивясь, спросил Дима.

Мальчик, разговаривавший с ним, сказал:

– Разве ты не знаешь, что окончилась последняя война? Берлина нет, войны больше не будет, и наши ружья только для дикого зверя.

– Да, да! – закричали другие мальчики, – войны больше не будет.

- Берлина нет!
- Это была последняя война.
- Последнее кровавое Рождество.
- Наши отцы и братья умирали не даром.
- Они победили войну!
- Войны больше не будет!

Громко и радостно звучали их голоса, как перезвон колоколов большого праздника.

Дима проснулся. Вскочил с постели, и бросился бежать к деду, крича:

- Дедушка, это – последняя война.

Деду снился белый приемный зал. Окна открыты, с улицы доносится гул многих голосов. Высокий седой генерал идет навстречу деду. Дед говорит:

- Возьмите меня хоть в ратники, хоть провиантские магазины сторожить. Ведь взяли же во Франции Анатоля Франса, а я на десять лет моложе.

Генерал улыбается и отвечает:

- Я знаю, вы – отличный охотник и стрелок. И внук ваш отличился на пробной стрельбе. Он в нашем городе по меткости оказался первым.

Дед и рад и горд. Но ему страшно за внука, и он говорит:

- Диме еще рано, меня возьмите.

Генерал говорит:

- Да, вы будете начальником юных охотников нашего города. Надо истребить последних волков и медведей.

- Я хочу на войну, – говорит дед.

Генерал смеется и говорит:

- Разве вы не знаете, что это была последняя война? Берлина нет, войны не будет, наши ружья только для дикого зверя.

В открытые окна с улицы слышны громкие крики:

- Убивайте только дикого зверя!

- Войны больше не будет, – кричит Дима, тормоша деда. – Убивать будем только зверя.

Дед просыпается. Дима садится на его постели, и рассказывает свой сон. Деду весело. Он говорит:

- Так-то, друг, кровь проливается не даром. Великое слово, – последняя война! Война против войны!

- Великое слово, – повторяет Дима.

- Что же, милый друг, ты должен делать? – спрашивает дед.

Дима думает, краснеет и говорит:

- Жить для будущего.

- А что надо для будущего? – спрашивает дед.

Дима отвечает:

- Много учиться. Быть сильным и добрым.

- А зачем нужна сила и доброта? – спрашивает дед.

Дима отвечает:

- Убивать только дикого зверя. Уничтожать всякое зло.

Дед говорит:

- Зло уничтожать не мы с тобой начали. И о прошлом помнить надо.

- Знаю, деда, – говорит Дима. – Я знаю, что должен чтить подвиги доблестных воинов, побеждающих войну. И быть поскромнее, – не соваться с моими слабыми силенками на великий подвиг. А если эта война будет длиться долго, придет и моя очередь. Позовут, пойду. А тайком от тебя не сбегу.

– Спасибо, друг, утешил, – говорит дед.

Хочет поцеловать Диму, но Дима быстро соскакивает с его кровати, и становится на колени.

– Постой, дедушка, – говорит он, – хвалить меня погоди, а наказать есть за что: ведь я уже совсем надумал седьмого января бежать на войну.

Дед смеется. Говорит:

– Старый да малый, друг на друга похожи. Ведь и у меня, друг, такие же мысли были. Думал: Димку в пансион, а сам в ратники.

– А теперь раздумал? – спрашивает Дима.

– Раздумал. – говорит дед.

– Ну, и я раздумал.

И оба рады. Хорошим сном встретил их Новый год, – тот год, который обещал смертью смерть поправить.

ТИХИЙ ЗНОЙ

I

Хотя Яков Леонидович Бреднев уже два года тому назад получил звание лекаря, но еще он был так молод, что ему все нравилось в жизни. Как мальчик в правоучительной сказочке Круммахера, он находил очаровательными каждое время года, и каждую хвалимую местность на земле, не думая о других временах и местах и не сравнивая. Поэтому ему очень нравилась и дачная деревушка Мягараги в Эстляндии, на берегу Финского залива, и дачники, и местные эстонцы, и милая природа этого края.

Бреднев совсем не был озабочен толками о том, что скоро начнется война. Но когда стали говорить, что из-за войны придется уехать с побережья в город раньше обычного, он опечалился и решил действовать энергично: ведь же был влюблен в Ольгу Шеину, влюблен уже два месяца, но роман его все еще оставался открытым на первой странице.

Бреднев встал рано утром, и пошел на морской берег. Он знал, что в этот час на берегу, если пройти за деревню версты полторы на запад, не встретишь никого, кроме Ольги и ее двух племянников, мальчиков семи и шести лет. Малыши не помешают, а с Ольгой надо поговорить наконец решительно и прямо.

Из-за рожицы на песчаном прибрежном бугре слышались голоса и смех Ольги и детей. Радостное ощущение силы, здоровья и веселости охватило Бреднева, — то самое ощущение, которое он испытывал всегда, когда приближался к Ольге. И это ощущение было тем сильнее и милее, что и Ольгина сестра Катя и ее муж Николай Борисович Ложбинин были самые подлинные столичные нервные и неврастеники.

У самой воды на камне сидела Ольга, девушка лет двадцати четырех. Ее глаза были устремлены на даль морскую с выражением детского любопытства и веселого удивления, — широкие, голубые, глубокие глаза. Широко-разрезанный алогубый рот улыбался нежно, лукаво и доверчиво, и от этой улыбки все ее милое лицо, бронзово-загорелое, казалось озаренно-хорошеющим с каждой минутой. Пригретая на мелком песке вода обнимала загорелые так же темно, как лицо, почти до колен приоткрытые стройные ноги. Ее простая белая одежда казалась такой нарядной, сквозной зеленовато-синий шарф на ее черных волосах был завязан так мило, — и от всего этого Бреднев почувствовал умиление и нежность, и ему казалось, что он не посмел бы поцеловать ни ее алых губ, ни ее смуглых рук.

Два мальчика в купальных костюмчиках, с голыми руками и ногами, в соломенных шляпах, весело загорелые, плескались и бегали по воде у берега, радостно занятые водой и камешками. Ольга почти не смотрела на них, но чувствовалось, что они водятся ее волей. Услышав шаги, Ольга обернулась, встала, улыбнулась радостно и ласково. Бреднев поздоровался с ней и с детьми, — и мальчики опять занялись своей игрой.

— Да, так правда, что будет война? — спросила Ольга. — И германцы могут сюда прийти?

Бредневу мило и забавно было видеть на Ольгином лице это выражение вопроса и удивления. Он улыбался и уже хотел сказать что-нибудь пугающее, но вовремя вспомнил, что Ольга вовсе не робкая, что она ничего не боится. Желание подразнить Ольгу быстро

погасло в его душе. Он сказал:

– Германцев сюда не пустят, и опасности нет никакой.

– А мы собираемся уезжать, – сказала Ольга.

И на лицо ее легла тень печали. И вдруг оно стало таким, словно никогда и не знало улыбки, и от этого еще более очаровательным.

– Сестра Катя очень беспокоится и боится, – говорила Ольга, – и все порывается поскорее ехать в город.

– А Николай Борисович? – спросил Бреднев.

Ольга опять засияла улыбками, и на этот раз в ее улыбке было милое слияние радости и печали. Неясное предчувствие тихо ужалило влюбленное сердце молодого человека. Предчувствие чего? Он ждал, что скажет Ольга.

Она говорила:

– Николай Борисович – прапорщик запаса. Его возьмут, а сестра Катя уже воображает, что мальчики останутся сиротами.

Слезинки блеснули в Ольгиных глазах.

– А вы? – спросил Бреднев.

Лицо его стало мрачно. Ольга подняла на него удивленные глаза.

– Что я? – спросила она.

– Послушайте, Ольга Григорьевна, – тихо говорил Бреднев, – мне надо сказать вам кое-что. Пройдемте немного подалее от детей.

– Дети нас не слушают, – отвечала Ольга.

Но Бреднев смотрел на нее такими умоляющими глазами, что Ольга улыбнулась, посмотрела на детей внимательно, с внезапным выражением строгой воли, и пошла вдоль берега. Мальчики, занятые игрой, не заметили, что она отошла. Казалось, что они и не позовут ее, пока она сама о них не вспомнит.

Бреднев шел за Ольгой, смотрел на то, как ее загорелые голые стопы легко и спокойно ступали на сыроватый, теплый песок, оставляя на нем легкие, красивые следы, – и сердце его замирало от любви к этой тихой девушке с любопытными глазами на смуглом лице.

Ольга остановилась, улыбнулась, поглядела на Бреднева вопросительно.

– Так вы о чем? – спросила она.

Спросила так спокойно, точно ждала, что он заговорит о завтрашней прогулке. Но ее голубые глаза потемнели. Бреднев понял, что она уже знает, о чем он с ней будет говорить, и сердце его замерло от страха. Точно проваливаясь в бездну, он сказал поспешно:

– Я вас люблю, Ольга.

Ольгины глаза потемнели еще более, и стали испуганными. Но за мгновенным выражением испуга в ее глубоких глазах явственно было на широком разрезе алогубого рта выражение воли, уже решившей все свои пути. Под тонкой тканью белой одежды Ольгина грудь поднималась высоко и торопливо. Ольга смотрела прямо на Бреднева, и говорила:

– Друг мой, я боялась что вы мне скажете это. Боялась. Но ведь вы знаете, что только с детьми. Я их не оставляю, пока они не подрастут. И я совсем не стремлюсь к семейной жизни.

Бреднев смотрел на нее с удивлением. Слишком спокойно звучал ее голос. Как будто уже готов был ее ответ на все подобные случаи. Самолюбивая досада отразилась на чертах его слишком добродушного лица.

– Я так и думал, – досадливо сказал он. – Дело не в детях, а в их отце.

Ольгины глаза гневно зажглись.

– Как это глупо! – сказала она, и быстро побежала к мальчикам.

Бреднев не решился идти за ней. Стоял на берегу.

II

– Пора завтракать, дети! – сказала Ольга.

Мальчики побежали по песку и мшистой подстилке прибрежного леска к своей даче на окраине эстонской деревни. Ольга тихо шла вдоль берега, думая о своем и мечтая. Она знала, что дети найдут дорогу и что с ними здесь ничего не случится. Скоро их звонкие голоса перестали доноситься до нее. Тогда она вдруг всплеснула руками, повернулась лицом к морю, и по милому лицу ее потекли быстрые слезы. Не вытирая слез, она постояла с минуту, потом вздохнула, улыбнулась и пошла своей дорогой.

Она думала о том, кого она любила давно и безнадежно, о муже своей сестры. Знал ли он, что она его любит? Кажется, в последнее время он стал догадываться об этом. Иногда его усталые, рассеянные глаза останавливались на ней с внезапным и пристальным вниманием.

Ольга думала, что женитьба Николая Борисовича на ее сестре Кате была ошибкой, и что он был бы счастливым с ней. Уж очень была раздражительна и взбаломотна сестра Катя. Да не так уж сильно любила она мужа. Так, только держалась за него с чувством собственности. Дорожила им больше, как отцом своих детей и как не скупым мужем. Но так же охотно вышла бы и за другого, если бы не подвернулся в свое время этот. А Ольга могла любить только одного. И что ей ее молодость и красота? Пройти, отцвести, склонить ее затоптанным цветом придорожным.

Каждый раз, когда кто-нибудь из молодых людей подходил к ней с вниманием и лаской, она замирала от страха. Что она скажет на слова чужой любви?

Лучше было ей уехать далеко, жить одной. Но не слышать милого медленного голоса, не видеть этого нервного лица с мерцанием тихих глаз, – это было бы ей уж очень тяжело. И она жила с сестрой. Зимой давала уроки в школе. Присматривала за племянниками. Настаивала на том, чтобы их воспитывали в суровой близости к природе, в дружбе с чистыми стихиями.

Сначала сестра Катя боялась, что Ольга простудит, заморозит ее детей. Потом поверила, оставила детей на попечение Ольги, и занялась своими делами и развлечениями, суетной жизнью женщины, у которой не так уж мало денег, чтобы стоило тратить время и заботы на их добывание.

Ольга говорила ей и Николаю Борисовичу:

– Посмотрите на себя в зеркало, – ведь вы не живые люди, а просто комки слабых нервов. Подумайте, как вы живете: вам противно встать утром рано, и вы оживаете только тогда, когда зажигается электричество.

Катя отвечала:

– Зимой утром вставать рано! Да это же невозможно, – темно, холодно, тоскливо. Нет, я только к вечеру чувствую себя хорошо.

– Слабое, нервное поколение! – говорила Ольга. – Одна только надежда, что дети будут иными. Я хочу, чтобы ваши дети были сильными, смелыми.

И часто спорили о детях. Катя сердито кричала:

– У тебя нет своих детей, ты не можешь понять чувств матери.

Ольга смотрела на нее спокойно, и думала:

«Твои дети – дети холодной, вялой любви, – полулюбви. Без меня они были бы полулюдьми. Только моя любовь, любовь моя без меры, сделает этих детей детьми радости и счастья».

Настойчиво и терпеливо добилась она того, чтобы дети воспитывались, как она хотела.

III

Дома – шум, крик. Еще издали услышала Ольга Катин крик и детский плач, и побежала к дому.

– Что такое? Что случилось? – спрашивала она, вбегая на террасу.

Эмилия, эстонка за немку, по титулу бонна, а на деле нечто среднее между экономкой и горничной, милостивая молоденькая девушка в белой блузке и синей юбке с кожаным поясом, босая и загорелая, как Ольга, пугливо отвечала:

– Екатерина Григорьевна сердится, зачем дети долго гуляли. А я не могла за детьми сходить, мясник приезжал, белье гладить, варенье варить надо, так много дела по дому.

Видимо радуясь, что можно уйти от детей плачущих и от хозяйки рассерженной, Эмилия быстро побежала через сад в кухню, поправляя на бегу воткнутые в прическу желтые целлулоидные гребенки. Прическа у нее была такая же, как у Ольги, и во всем она старалась подражать Ольге.

Ольга подумала:

«Отчего я, так легко накладывающая на других печать моей воли, все-таки волей моей не могла взять его любви, не заразила его моей любовью? Или только тот и силен, кто силен не о себе, чья любовь не разделена и чиста?»

Ольга не спеша вошла в комнату. Мальчики бросились к ней, и прижались, к ее юбке, боязливо поглядывая на рассерженную мать. Катя ходила по комнате, дымила папироской, постукивала высокими каблуками, и кричала:

– Разбалованные, скверные мальчишки!

Кое-как причесанная, кое-как одетая, слабо зарумянившаяся на летнем солнце, – Катя, по всему было видно, только недавно встала с постели.

– Что случилось? – спросила Ольга.

– Что случилось? – закричала Катя, останавливаясь перед Ольгой. – Скажи, пожалуйста, Ольга, что это значит, что дети целое утро пропадали Бог весть где, и наконец пришли одни?

– Мы были вместе, – отвечала Ольга, – потом дети побежали домой, я осталась.

– Воплощенная кротость! – язвительно сказала Катя. – Но я знаю, где ты была и с кем любезничала.

– Эмилия Карловна! – крикнула Ольга, подходя к двери из столовой в сени, за которыми была кухня, – возьмите детей, побудьте с ними часок. Дайте им есть.

Эмилия торопливо вышла из кухни, оправляя рукава на покрасневших от кухонного жара руках, и увела детей в сад, в беседку, где завтракали и обедали в хорошую погоду.

– Николая Борисовича нет дома? – спросила Ольга.

– А ты не знаешь, где он? – сердито говорила Катя. – Я завтракала одна в то время, как вы изволили прогуливаться.

– Я с утра не видела Николая Борисовича, – спокойно возразила Ольга. – Уверю тебя, ты ошибаешься. Если я с кем разговаривала, так только с Бредневым.

Катя язвительно захохотала.

– Сказки рассказываешь, милая.

Ольга улыбнулась.

– Бреднев сказал мне, что любит меня.

Катя зажглась нетерпеливым любопытством. Даже папиросу оставила, положила в пепельницу.

– Ну и что же? Что же ты? Сказала да?

– Сказала нет, – ответила Ольга, и заплакала.

Катя ярко покраснела.

– Вот как! Сказала нет! – с тихой яростью говорила она. – Скажите, пожалуйста! Мы любим другого! Но только другой – чужой муж. Да тебя это не останавливает? Ну, что ж, нарушай чужое счастье, отнимай у сестры мужа.

– Катя, Катя, зачем ты это говоришь? – плача сказала Ольга.

– Я никогда ему ни слова не сказала о моей любви, и он никогда не узнает, что я его люблю.

– Зачем же ты живешь с нами?

– Только для детей.

– Чтобы сделать их грязными, зацарапанными дикарями?

– Чтобы сделать их господами и повелителями жизни, кующими свою судьбу по своей воле. Но если ты не хочешь, ты можешь сказать мне, чтобы я ушла, – твои дети, делай с ними, что хочешь. Расти их такими же неврастениками, как ты и Николай.

Катя засмеялась. Села на диван. Задумалась, успокоилась.

– Ты – хитрая, – сказала она. – Уйдешь, и его за собой потянешь. Нет, пока ты с нами, я все-таки спокойна. Я знаю, что ты – честная, что ты меня не обманешь.

Сестры обнялись и плакали.

IV

Вечером газеты принесли известие о мобилизации. События пошли быстро. Через несколько дней Катин муж был призван на войну, быстро собрался и уехал. Сестры остались на даче. Катя хотела уезжать в город, а Ольга уговаривала ее остаться хоть до половины августа.

– Пойми, – говорила она, – раз, что Англия объявила войну, так германский флот ничего не может сделать. Здесь совершенно безопасно, высадка невозможна.

Катя ей бы, пожалуй, и не поверила, и настояла бы на немедленном отъезде в город. Но разговор с Бредневым дал ее мыслям другое направление.

Проводив мужа до станции, Катя возвращалась домой на извозчике вместе с Бредневым.

– А Ольга Григорьевна не провожала? – спросил Бреднев.

– Она осталась с детьми, – отвечала Катя.

– Собирается в город?

– Ей не хочется в город, она настаивает, чтобы мы остались здесь до конца лета.

Бреднев засмеялся. Его добродушные серые глаза вдруг стали злыми. Он говорил:

– Не может быть! Ольга Григорьевна поступит на курсы сестер милосердия, и постарается попасть поближе к Николаю Борисовичу.

Катя побледнела.

«О, хитрая, хитрая! – думала она про сестру. – Нет, ты не поедешь в город».

И они уехали самыми последними из дачников, когда уже почти стали совсем темны, и когда уже велено было не зажигать вечером огня в комнатах, окна которых видны с моря.

Переехали в город, и Катя стала тревожиться ожиданием, когда же Ольга поступит на курсы. Но Ольга занималась с детьми. Катя стала бояться, что Ольга и так найдет возможность уехать в армию, увидит Николая Борисовича и увлечет его. Прочтя в газете рассказ о женщине, надевшей мужской костюм и попавшей в ряды армии, Катя очень испугалась.

«Вот так и Ольга поступит, – думала она. – Встретится с Николаем, и он влюбится в нее».

Не стерпев страха, Катя решила объясниться с сестрой. Детей отправила с Эмилией на улицу, а Ольге сказала:

– Мне надо с тобой поговорить.

Когда сестры остались одни, Катя прямо приступила к делу. Она сказала:

– Ольга, не скрывай. Я догадалась. Я знаю, что ты хочешь сделать.

И заплакала. Ольга смотрела на нее, широко открывая глубину голубых, удивленных глаз.

– Катя, милая, что ты? О чем ты догадалась! Что ты обо мне думаешь? О чем плачешь? – спрашивала она, обнимая сестру.

Катя говорила:

– Ты обрежешь волосы, оденешься мальчишкой, достанешь паспорт, и поступишь в солдаты.

Ольга засмеялась. Потом нахмурилась. Спросила:

– Зачем мне все это сделать?

– Ты сама знаешь, зачем.

– Зачем же? Воевать с германцами? Быть с твоим мужем? – спрашивала Ольга.

– Да, да, вот именно все это, – сухим от злых слез голосом отвечала Катя.

Ольга обняла ее, поцеловала крепко, и сказала:

– Катя, милая, поверь мне, я никогда не говорю неправды. И то, и другое я уже сделала. Мне не надо резать волосы и поступать в солдаты, – я и так воюю с врагами. Мне не надо ехать туда, где Николай, – я и здесь с ним. Ты меня понимаешь?

– Нет, – тихо сказала Катя.

– Пойми, Катя, – говорила Ольга, – я воспитываю в твоих детях волю к господству над жизнью, научаю их хотеть и достигать, и если они и другие дети, теперь растущие, станут такими, как я хочу, тогда никакой враг не будет страшен нашей родине.

– В этом, Ольга, я тебе давно поверила, – отвечала Катя. – Помнишь, как я испугалась, когда первый раз увидела детей голыми на снегу, на морозе? Теперь я за них не боюсь, я тебе верю. Но я того боюсь, что ты тянешься к моему Николаю, и наконец отнимешь его от меня.

– Это могло бы быть, Катя, – отвечала Ольга, – если бы не было детей. Но ведь я, когда с его детьми, живу с ним и для

него. Разве ты не понимаешь, какое это высокое счастье – быть с любимым в том, что живо и молодо, в его детях, и на этом мосту между ним и мной целовать его целование, чистым и без горечи?

Катя подняла голову, положила руки на Ольгины плечи и долго смотрела в ее дивные, навеки удивленные высокой тайной жизни и любви глаза. Долго смотрела и плакала. Потом стала перед Ольгой на колени, и приникла губами к ее рукам, и целовала их, целовала их упоенно и самозабвенно. И в эту минуту сердце ее открылось для любви, которой раньше она не знала.

СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

I

Морозом дышали ночные просторы. На темно-синем небе горели звезды, и такими близкими казались они земле. Вниз опрокинутый высокий серп луны был тих, чист и ясен.

Тот, кто шел в лучах луны, поднимая порой глаза в лунную непорочность, так больно и трепетно чувствовал, что он все еще только человек. Человек, которому горестно и трудно, – может быть, потому, что в этом ясном и непреклонном сиянии только ему мглистым является его путь.

Иван Петрович Травин возвращался домой по одной из окраинных улиц маленького западного городка, где мороз был редким явлением. Чтобы не думать ни о чем, Иван Петрович смотрел на снег. Из-за длинных заборов пустынной улицы пушистые и белые от снега ветки деревьев бросали на снег сквозные тени. Странно было думать, что этот снег белого цвета, – так он синел, темнел в тенях, таинственно мерцал в лунном свете, и неожиданно ясел в колеях и выбоинах.

Грустные думы, обычные спутницы Ивана Петровича, и теперь не покидали его, томили и странно утешали. Он думал о жене, которая его оставила, и о подростке сыне, который остался с ним.

Жена его оставила потому, что перестала верить в его святую, в его надежды, и поверила в механически-правильные мысли тех, кто ждет преобразования мира от фабричного города. Не потому, что разлюбила его, что полюбила другого.

Он чувствовал, что она разлюбила не его, а эту всю почвенную жизнь, милую для него.

Сын остался. Его надо воспитывать в той же любви, чтобы сердце его было пламенеющим и ревнивым, иногда ненавидящим любимое, но не выносящим хулы на родное. Но как трудна эта любовь!

Вот, за этими заборами таятся дома бедняков, евреев, поляков, русских, выходцев из-за рубежа. Таятся жизнь, то безумно-дерзкая, то безумно-робкая. Таятся много вражды и злобы. И злоба от нищеты и непонимания.

Родина, жена, сын – дом малый, свой, и дом большой, отечество. И переход от одного к другому, гимназии, где Иван Петрович давал уроки, и городок, взбаламученный войной, недалеко от этих мест, но все же уверенный, что враг сюда не доберется. В этом кругу вращались мысли Ивана Петровича, когда он услышал за

собой чью-то робкую и торопливую побегу. Иван Петрович остановился и, досадливо поеживаясь, ждал, чтобы прохожий обогнал его. Как это бывает иногда у очень нервных людей, Иван Петрович не терпел чьих-нибудь шагов за спиной.

Всмотрелся в прохожего, узнал его по тощей фигуре, приподнятым плечам, рыжей острой бородке, по беспокойному, внятному и в полумраке, блеску вспыхивающих и потухающих, усталых глаз, по утомленной улыбке тонких, опущенных в углах книзу губ, – узнал и удивился: это был еврей-портной Тейтельбаум, о котором много в городе говорили в последние два дня, и говорили так, что Иван Петрович никак не мог ожидать встречи с ним на улице.

– Это вы, господин Тейтельбаум? – воскликнул Иван Петрович.

Тейтельбаум, суетливо кланяясь, приподнял фуражку.

– Ну, это-таки я, – говорил он, – и иду к вам, несу заказ. Вы себе думали, Иван Петрович, что вашего Сережи панталоны уже пропали, и что Тейтельбаум болгается на веревке, а Тейтельбаум таки жив, и ничего такого с Тейтельбаумом не случилось.

– Пойдемте вместе, господин Тейтельбаум, – сказал Иван Петрович, – я иду домой. Да скажите, что такое в самом деле было?

Тейтельбаум рассказывал:

– Вы тоже подумали, что Тейтельбаум – шпион, что Тейтельбаума поймали? И это же мне все говорят, куда я ни приду: господин Тейтельбаум, разве вас еще не повесили? Но скажите, пожалуйста, за что меня вешать? Какой-то шарлатан донес, что ко мне пришел подозрительный человек, и ко мне пришли брать этого подозрительного человека, ну и что же, вы думаете, оказалось? Это наш таки еврейчик, раненый солдат. Он ко мне пришел, вот и все.

Иван Петрович сказал:

– Говорили, что этот подозрительный человек был одет как-то странно, не то солдат, не то цивильный.

– Ну, так он же только что вышел из лазарета, – отвечал Тейтельбаум, – я же не знаю, что он себе думал, зачем отстал от своей команды. Его взяли и отправили, куда следует. Скажите, пожалуйста, из-за чего такой скандал делать? Сам господин комендант сказал мне: «Ну, идите себе, господин Тейтельбаум, я знаю, что вы – честный еврей, и занимаетесь своим делом.»

Ивану Петровичу не хотелось расспрашивать Тейтельбаума о подробностях этой истории с легкомысленным солдатом. Он сказал:

– Вот и хорошо, господин Тейтельбаум, – значит, вас ни в чем не подозревают.

– И что вы тут видите хорошего? – жалующимся голосом говорил Тейтельбаум. – Начальство знает, в чем дело, а в городе все говорят, – шпиона поймали, и на базаре повесили, зачем шпион. Это очень нехорошо, Иван Петрович.

– Да, это скверно, – согласился Травин.

Тейтельбаум продолжал:

– Ну, я-таки ваш заказ исполнил, Сережи вашего панталоны починил. Правда, очень короткие вышли, потому что я низочки взял отрезал и положил заплатки, где надобно, но при длинных чулках дома очень хорошо будет.

II

Дошли до того дома, где жил Травин. В одном из трех окошек деревянного домика светился огонь. Иван Петрович стукнул палкой в

это окно, и поднялся на крыльцо. Скоро дверь открылась: на пороге стоял двенадцатилетний гимназист в серой мягонькой одежде и в рыженьких мягких валенках. Он радостно и ласково улыбался отцу, но, увидев Тейтельбаума, воскликнул от удивления:

– Господин Тейтельбаум, это вы!

– Ну и кто же, как не я! – с кислой улыбкой отозвался Тейтельбаум. – Я принес вам вашу вещь, чтобы вы ее примерили. И носите себе дома на здоровье, а Тейтельбаум еще долго будет на вас работать.

– А у нас, в гимназии, говорили, – начал было Сережа.

Иван Петрович строго посмотрел на него.

Мальчик покраснел и замолчал.

III

Иван Петрович и Сережа сидели в столовой, и пили чай. Был седьмой час вечера. Раздался звонок, потом второй.

– Пелагеюшка наша опять спит, не слышит, – сказал Сережа, и побежал открывать дверь.

Через минуту он вернулся, и вслед за ним в столовую вошла пятнадцатилетняя красивая девочка, ученица Ивана Петровича по женской гимназии, Сарра Канцель. По ее покрасневшему лицу было видно, что она сильно взволнована чем-то, и даже напугана. И потому в томном взоре черных, больших глаз и в дрожащей улыбке устало-алых губ особенно ярко выявлялся еврейский скорбный облик. Она заговорила поспешно и тревожно:

– Простите, Иван Петрович, что я так поздно, но мне очень, очень надо с вами поговорить.

Сережа придвинул стул. Сарра села, и вдруг заплакала, закрываясь руками.

– Саррочка, что с вами? – растерянно спрашивал Иван Петрович.

– Ах, Боже мой, да о чем вы плачете?

Он неловко суетился около девочки, не зная, что сказать.

– Мне уйти? – тихо спросил Сережа.

Но Сарра услышала. Вдруг перестала плакать и сказала громко и точно со злостью:

– Нет, пусть и Сережа послушает, что я буду рассказывать. Пусть он скажет мне, за что, за что?

И опять заплакала горько.

– Саррочка, – говорил Иван Петрович, – успокойтесь, выпейте воды. Расскажите, что случилось.

Он ласково и неловко гладил по голове плачущую девочку. Она взяла его руку, порывисто поцеловала ее, и сказала:

– Вы такой умный и добрый, и все понимаете, а я не знаю сейчас, что я сделала, поцеловала или укусила. Я не знаю, что со мной, и за что, за что? Слушайте, я вам расскажу, и вы объясните мне это. Мы пошли на станцию встречать раненых, я, и Лиза Беляева, и Катя Нахтман, и еще несколько наших подружек, и гимназисты были, и Сергей Павлович, и еще были люди, уж я не помню сейчас, кто еще был. Но это все равно. Ну, вот слушайте, – мы знали, что в наш город сегодня должны привезти раненых в новый барак, и мы приготовили им кофе и угощение. Но вот раненые приехали, и сначала все было хорошо, мы разливали кофе, и сами разносили его, и все были довольны и благодарили. Ну вот я подошла к одному солдату, и подала ему стакан кофе, говорю ему:

«Кушайте себе на здоровье!» А он посмотрел на меня так сердито, спрашивает: «Ты – жидовка?» Я ему говорю: «Да, я – еврейка, но я – русская». А он замахнулся, вышиб у меня из рук стакан, и крикнул: «Жидовка проклятая!» За что, за что?

Сарра упала головой на стол, и плакала, плакала мучительно и долго. Сережа стоял и слушал. Щеки его ярко покраснелись.

– Саррочка, – говорил Иван Петрович, – не судите его строго: он ранен, болен, устал, может быть, бредит; кто-то насаждал ему злых слов, и он поверил. Он – бедный и темный человек, и сам не знает, что делает.

– Но за что, за что нам это? – плача, говорила Сарра. – Отчего никто за нас не заступится? Ведь мы же русские! У нас нет другой родины, кроме России! Мы родились здесь и выросли, мы любим Россию и все русское, мы учимся в русской школе, читаем русских писателей, мы во всем, во всем хотим быть с вами. Полмиллиона евреев в русской армии, – за что же нам это?

Иван Петрович слушал Сарру, говорил ей какие-то бледные, неумелые слова утешения. Голова его кружилась и болела. Вдруг припомнился вчерашний кошмар.

Вчера он пришел из гимназии очень усталый и расстроенный. После обеда сел было просматривать тетрадки. Но такая была усталость, что, посидев с полчаса, пошел в спальню, и лег на кровать, как был в пиджаке. Даже крахмального воротничка не снял. Покрылся халатом. Лежал на правом боку, лицом к стене, подложив руки на подушку под голову. Заснул. Через час проснулся от какого-то шума в доме. Но встать не мог. Лежал в тяжелой дремоте, чувствуя, как обескровлен усталый мозг. Вдруг чья-то рука просунулась из-за изголовья к его лицу, мягкая, серая, с длинными пальцами. Чей-то издевающийся голос тихо говорил:

– Здравствуй, здравствуй.

Иван Петрович знал, что это кошмар, но не мог пошевелиться. Ему было страшно, и казалось, что он грызет эту вражью руку. Но враг смеялся и не уходил. К счастью, вошел Сережа, тихо сказал что-то, – и вражьи чары рассыпались. Он встал с постели, и чувствовал, как холод входит в его кости.

«Скоро я умру!» – подумал он. Но эта мысль не была ему страшна. Он смотрел на светлую Сережину улыбку, на его сильные, стройные ноги, и думал:

«Когда мы все отойдем, наши дети спасут Россию».

IV

И вдруг опять звонок. Сережа побежал отворять. Из передней послышался его крик, радостный, пронизанный радостными слезами:

– Мама, мамочка!

Иван Петрович побледнел. Сарра сказала:

– Я не вовремя пришла. Я уйду.

Иван Петрович улыбнулся печально и насмешливо:

– Останься, Саррочка, Надежда Николаевна сумеет тебя утешить.

И пошел в переднюю, встречать жену. Сам не понимал, рад ли ей.

Сарра перед зеркалом, висевшим на стене, вытерла слезы, поправила прическу, и отошла к стороне. Пред ее глазами словно плыл туман, и, как далекие, звучали радостные голоса.

Молодая, смуглая, черноглазая, быстрая женщина оживленно

говорила:

– Я тебе не успею надоесть, завтра же еду дальше. Ну да, можешь представить, я выдержала все экзамены, какие полагается, и еду на войну сестрой милосердия. Ты мне позволь только переночевать у тебя. Ты спрашиваешь о Виталии Андреевиче? Но разве ты не знаешь, – ведь мы же с ним разошлись! Он оказался таким черствым и сухим человеком. Вот-то уж полная противоположность тебе, – совершенно машинная психология, твердо верит в свои теории, ходит в шорах, и всегда счастлив, туп и глуп. Ну, пои меня чаем. Сережка, наливай! Мороз отчаянный, пока с вокзала ехала, чуть не замерзла, – ведь там в Питере все больше шлеп-морозы, а у вас южнее, да похолоднее. Я вообразила, что у вас здесь чуть ли не розы цветут, поехала налегке, в осеннем. Или это только сегодня так холодно? Да ты не думай, что я после войны тебе на шею сяду, – слава Богу, прокормлюсь. А это что за тип там на диване? Учащаяся девица? Пришла побеседовать о Лермонтове? Поди-ка сюда. Ах, Боже мой, да это – Сарра!

Иван Петрович и Сережа улыбаясь смотрели на говорливую гостью. Даже Сарра улыбнулась, подходя к Надежде Николаевне.

– Что, плакала? – всмотревшись в девочку, спросила Надежда Николаевна. – Иван Петрович тебе двойку влепил, хочешь выплакать отметку получше?

– Видишь, Надя, – осторожно заговорил Иван Петрович, – это очень тяжелая история. Видишь в чем дело.

И он передал рассказ Сарры. Надежда Николаевна выслушала внимательно, тряхнула головой, и сказала решительно:

– Стоит обращать внимание! Очевидно, больной, расстроенный человек. Верьте, Саррочка, все это пройдет, русский народ разберется во всем этом. Я сама, когда уезжала отсюда, была в кислых и злых чувствах. Потому и уехала. А как пожила с этими машинно-думающими людьми, так вдруг почему-то опять поверила в русского человека. Верь и ты, Сарра. Садись, поговорим по душам.

V

Часа через два Иван Петрович и Сережа вышли проводить Сарру до ее дому. Сарра была уже спокойна и весела. Да и Иван Петрович и Сережа шагали бодро и говорили весело. Неожиданная гостья сумела всех утешить и заразить своей вдруг опять загоревшейся верой.

КРАСАВИЦА И ОСПА

В середине марта Кира Лабазина, девушка необычайно-красивая, пришла наниматься в гувернантки к двум девочкам, тринадцати и одиннадцати лет. Не по объявлению, – послали знакомые. В руках было рекомендательное письмо, – очень хвалили, – а в душе – дрожь волнения и смутное воспоминание о многих местах, которые она уже успела переменить к двадцати четырем годам своей жизни. Нервы были уж взбудоражены, пока дожидалась минут пять в гостиной. Внешне

солнце слишком ярко играло на позолоченных стульях, и отраженный от паркета свет тускло блестел на позолоченных рамах картин. Дом богатый, праздный, – и Кира думала, что ей опять придется уходить скоро.

Вышла дама, стройная, миловидная. Очень молодым было сделано у нее лицо, и так искусно, что простодушные мужчины даже и не подозревали присутствия косметик.

Кира робко поднялась со своего стула. Дама, Нина Андреевна, невнимательно взяла письмо. Пробегая его глазами, рассказывала что у нее трое детей: воспитываются дома, – девочки, и четырнадцатилетний мальчик, Костя. У него студент–репетитор. Муж на войне, полковник.

В нарядных комнатах странно и празднично смешивались запахи освященной вербы и по–парижскому милых духов. Нина Андреевна посмотрела на Киру, и сказала:

– О, да вы – красавица!

Кира вдруг покраснела очень, ярко, и вдруг заплакала. Нина Андреевна удивилась. Спросила досадливо:

– Что такое? Что вы плачете?

И насторожилась. Так трудно найти хорошую гувернантку для девочек! Эту отлично рекомендуют, – но она так красива, – хорошо ли это? И притом ни с того, ни с сего плачет, – что за странность?

Нина Андреевна вопросительно смотрела на Киру и ждала ответа. Кира горько плакала и говорила:

– Беда моя – красота моя! Горе мне от нее!

– Беда? Горе? – спрашивала Нина Андреевна. – Объясните, пожалуйста, толком. Я ничего не понимаю.

Кира принялась объяснять:

– Ухаживают за мной, пристают. Молодые люди не дают прохода.

Нина Андреевна села на диван, посадила Киру в кресло рядом, и спросила:

– Отчего ж вы не выходите замуж?

И смотрела на Киру, все дивясь ее слезам и ее красоте. Думала:

«Точно у нее там две пипетки выпускают слезку за слезкой».

Слезка за слезкой – а глаза ясные, синие, а лицо прекрасное, одно из тех, которые даже странно встречать в жизни.

Кира говорила:

– О, они, эти молодые люди, разве хотят жениться на бедной гувернантке? Один был лучше других, я его не любила, впрочем, но он был очень тих и мил. Может быть, я бы и вышла за него, – так, чтобы спастись. Но он пошел на войну, – офицер, и его убили на войне. А другие ухаживали грубо и дерзко. Не знаю, уж как меня Бог уберет. Но сколько мест пришлось переменить! К вам я с радостью пошла потому, что у вас нет взрослых сыновей.

Нина Андреевна засмеялась. Ее скучающей лени почудилось забавное развлечение. Она сказала весело:

– О, да ты, моя милая, недотрога. Это мне нравится. Ты у меня останешься. Ну–с, госпожа мимоза, поговоримте.

Поговорили и стоворились. На все есть такса, – есть такса и на труд гувернантки, стовориться не трудно.

В тот же вечер Киру переехала в квартиру Нины Андреевны, и заняла отведенную ей каморку рядом с комнатой студента репетитора. Кира сейчас же разложила свое несложное имущество, и приступила к исполнению своих обязанностей.

На другой день утром горничная Маша позвала Киру к Нине Андреевне в спальню, – Нина Андреевна поздно вставала. В спальне

было розово, полутемно и душно; в легком еле слышном шуме вентилятора запах тех же духов, что и вчера, казался выдыхающимся.

Нина Андреевна лежала на спине, до горла закрывшись розовым одеялом. Лицо ее было в тени, — только на нижний край постели и немного дальше падала узкая полоса света от слегка раздвинутой оконной занавеси.

— Здравствуйте, мимоза, — привычно ласковым голосом сказала Нина Андреевна. — Не прячьтесь в тени, станьте так, чтобы я вас видела. Я вот что хочу спросить: надеюсь, у вас привита оспа?

— Привита, — отвечала Кира.

— Нынче привита? — спрашивала Нина Андреевна.

Кира как будто слегка смутилась. Тихо сказала:

— Нет, в детстве.

— О, этого недостаточно, — недовольным голосом сказала Нина Андреевна. — Все прививают, можно опасаться заноса эпидемии, если этого не сделать. Вы знаете, война, всякие болезни разносятся. Я и себе привила, и детям, и всем, кто у меня живет. Надо сегодня же и вам привить.

Кира заплакала. Нина Андреевна опять удивилась.

— В чем дело? У вас, милая, неисчерпаемые источники слез. Положим, к вашей очаровательной физиономии это идет, но все же это мне положительно не нравится.

Кира говорила:

— Нина Андреевна, я нарочно не прививала оспы. Если заражусь, так у меня не будет этой ужасной красивой физиономии, которая составляет мучение всей моей жизни.

Нина Андреевна засмеялась.

— Как это наивно! Но ведь вы всех нас заразите?

— Я сейчас же уйду, как только почувствую себя больной, — поспешно ответила Кира, словно оправдываясь.

— Ну, это — вздор! А на что же вы будете жить!

— У меня есть на книжке четыреста рублей.

— Вы их должны беречь, — наставительно сказала Нина Андреевна, — а не тратить на ненужное лечение, когда можно предупредить болезнь. Ну, мы с вами еще вернемся к этой теме, а теперь ведите девочек гулять.

Кира пошла гулять с детьми в Летний сад, а Нина Андреевна надела розовые бархатные туфли и фланелевый капот, и пошла в столовую к телефону позвать знакомую фельдшерицу. Самым озабоченным голосом, какой только был в ее распоряжении, она говорила:

— Анна Ивановна, голубушка, к вам просьба усердная. У нашей новой гувернантки оспа еще не привита. Я так боюсь за детей.

— Да, конечно, конечно, — шипело в телефоне что-то, отчасти похожее на голос человеческий.

— Так уж вы, Анна Ивановна, пожалуйста, придите к нам как можно скорее.

Оказалось, что как раз через два часа фельдшерица может прийти, что у нее есть тубочка с дегритом и все прочее, что может понадобиться. Нина Андреевна отошла от телефона успокоенная, и принялась одеваться.

Кира с детьми вернулась. Через полчаса ее опять пригласили в спальню к Нине Андреевне, и почти насильно привили оспу. Как она ни отговаривалась, ничто не помогло. Нина Андреевна даже наконец сказала:

— Если вы будете упрямитесь, я позову Машу и Зину, они вас поддержат.

Только этого не доставало! Пришлось покориться.

Кира вышла из спальни с красным и злым лицом. Но и это не делало ее менее красивой.

Костин студент-репетитор, Петр Иванович встретился с ней в гостиной. Посмотрел, усмехнулся.

– Что? обидели? – участливо спросил он. – У нас барынька взбалмошная, но, в сущности, добрая, не хуже прочих из дамского сословия, – так что вы ее слов особенно близко к сердцу не принимайте.

Кира молчала. Но не уходила. Искреннее, доброе участие слышалось ей в словах студента, и это трогало ее теперь особенно. Студент продолжал спрашивать:

– Что, придралась к чему-нибудь!

Он не был очень любопытен, но теперь его почему-то тянуло говорить с Кирой, хотелось услышать ее милый, ясный голос, смотреть в ее синие, ясные глаза.

Кира потупилась, и тихо сказала:

– Оспу привили. Я вовсе не хотела. Почти насильно.

Он засмеялся, и сказал весело:

– Да, и меня заставили. Да что ж вы сердитесь?

– Это – дело не вредное.

Кира и ему рассказала, почему ей хочется потерять свою красоту. Вдруг как-то доверчиво и просто рассказала. Точно знала, что он не посмеется, что он пожалеет.

Петр Иванович посмотрел на нее. Пожалел. Как-то вдруг до сердца дошла острая жалость. И вдруг почувствовал, что любит Киру.

«История!» – досадливо подумал он. Быстро повернулся и ушел, точно сердясь на что-то.

Всю Страстную он ходил, как в чад. Старался почаще быть около Кире, помочь ей, поговорить с ней. И так был взволнован жалостью к ней и нежной любовью, что и она заражалась от него этими смутными и влекущими волнениями.

В субботу после завтрака Нина Андреевна взяла девочек с собой к одной из своих старых родственниц. Студент постучался в дверь Кириной комнаты. Кира встретила его на пороге смущенная и взволнованная почему-то. Сказала:

– Пойдемте лучше в гостиную.

– Ладно, – согласился Петр Иванович, – в гостиную, так в гостиную.

И уже по дороге в гостиную заговорил:

– Послушайте, Кира Сергеевна, на кой черт сдался вам этот город?

– А как же? – с улыбкой спросила Кира.

– Поезжайте в деревню, работайте для народа, – горячо и убежденно говорил Петр Иванович. – Там жизнь здоровая, нет этого чадного блуда.

– Да я – горожанка, – сказала Кира.

– Все это – ерунда! – воскликнул студент. – Вот я кончу, сдам государственные, и в деревню, – жить, работать. Полной жизнью жить.

– Что же вы там будете делать? – спросила Кира.

– Ну, там дела сколько хочешь. Займусь устройством коопераций, – в них будущее молодой трудовой России. Вот бы и вам со мной.

Глаза его блестели. Кира уже и раньше догадывалась, что он влюблен. Для нее это была обычная история. И привычный страх охватил ее.

«Опять уходит?» – подумала она.

Привитая оспа томила ее зноем и ознобом. Руку странно и неприятно тянуло, – оспа принялась очень хорошо.

Петр Иванович заглянул ей в глаза. Говорил, волнуясь мило и молодо:

– А? подумайте, да и махните со мной. Право, хорошо будет. Я вас устрою учительницей. Или, быть может, надоело с детворой возиться? Так ведь там не такие ребята, как здесь. А то и при другом деле устроить можно. Работы много, работников мало.

Что-то простое и хорошее протянулось от его глаз к ее душе. Она тихо сказала:

– Сама-то я ничего не знаю, никуда не пожусь! Даже в сестры милосердия не догадалась пристроиться.

И поспешно ушла к себе. Поплакала немножко. Много плакать нельзя было, – девочки вернулись, и уже почти все время были с ней.

Ночью в церкви было ясно, празднично и радостно. Кира вдруг забыла все, что томило, – и оспа мучила меньше, и о красоте своей не думалось в этом благолепии праздничной службы.

Христосуясь после заутрени, студент тихо спросил:

– Любишь меня, Кира?

Сама не знала Кира, как ответила:

– Люблю.

– В деревню со мной поедешь?

– Поеду.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Наши Перемышль взяли! – радостно сказала Ирина Григорьевна, входя в столовую, где уже сидел и дожидался обеда, хмуро читая вечернюю газету, Виктор Александрович Стогоров.

Он глянул на Ирину сердито, кисло усмехнулся, и пробормотал:

– Читал уже сию радостную весть.

У Ирины заняло сердце, и задрожали руки. Она села на свое место разливать суп. Знала, что неизбежен неприятный разговор, и что опять он кончится резкой вспышкой.

Для этого-то вот человека она оставила мужа и детей! Правда, Стогоров умеет быть мил, любезен, остроумен даже, когда захочет. Но эта его странная неприязнь ко всему русскому, это его презрение к русскому грязному мужику, к низкой русской культуре, – это его необычайное преклонение перед всем, на чем стоит ярлык: «сделано в Германии!»

Прежде Ирина не замечала всего этого. Казалось естественным, что человеку нравится хорошее чужое и не нравится худое свое. Ни к чему было, что в своем Стогоров никогда ничего хорошего не видел. Но война вскрыла все эти странные противоречия.

Ирина старалась не слушать нудных рассуждений Стогорова, и думала о своем. Об оставленном муже. Было сладко думать и том, что он прислал ей с войны два письма. Теперь он уже командует полком. Был в боях, ни разу не ранен. Письма такие милые, дружеские, точно ничего и не было, точно к сестре пишет. Правда, Ирина сама начала переписку.

Так задумалась, что совсем забыла о Стогорове. Только его сердитый вскрик разбудил ее.

– Вам, кажется, не угодно отвечать на мои вопросы? Чем я заслужил такую немилость?

– Извини, я задумалась, – краснея, как молоденькая девушка, отвечала Ирина.

Вздохнула. Да, опять рассуждения о войне, придирачivéе о русских, хвалебные о немцах. Надобно отвечать, участвовать в разговоре. Еле досидела до конца обеда.

После обеда сказала:

– Мне надо сегодня поехать к Кирилловым.

Стогоров промолчал.

На улице пахло весной. Небо было синее и сладостно-ясное, вечеряющее небо ранней весны. Последнюю вербу купила Ирина у веселого, краснощекого от холода мальчика в синей маминной кацавейке. И потянуло ее идти к детям.

Их двое, – мальчику Сереже пятнадцать, девочке Лизе тринадцать лет. Она у них бывает почти каждую неделю. Всегда по секрету от Стогорова. Чувствует, что они ее жалеют и осуждают. С ними живет сестра их отца: у нее тоже девочка, на год помоложе Лизы.

Когда уже Ирина подошла по шумной улице к углу того переулкa, где, во втором доме от угла, жили ее дети, странное волнение охватило ее, и она быстро повернула назад. Прошла немного, и стыдно ей стало.

«Что со мной?»

Она пошла опять, и опять у того же угла точно что-то отбросило ее назад. И так несколько раз подходила она к переулку, и уходила. Наконец ушла.

И всю неделю почему-то не решалась идти к детям. Наконец, уж в понедельник на Страстной, опять после обеда с неприятным разговором о германской культуре, и о русской дикости, отправилась туда.

С сильно бьющимся сердцем Ирина позвонила у дверей той квартиры, которую она еще так недавно называла своей. Никогда еще она так не волновалась перед этой дверью, как теперь. И сама не понимала, почему. Точно зрело в душе какое-то решение.

Как всегда, выбежали в переднюю встречать ее веселые, прыткие дети, и за ними вышла Наталья Сергеевна, как всегда озабоченная, с чуть-чуть растрепавшейся прической.

– Милая Наташа! – сказала Ирина, обняла ее, и вдруг заплакала.

Дети притихли. Лиза взялась за мамин рукав, и уж сама собиралась плакать.

– Что с тобой, Ириночка? что такое? – растерянно говорила Наталья Сергеевна. – Да пойдем ко мне, – успокойся. А вы, дети, идите себе, идите.

Входя в комнату Натальи Сергеевны, Ирина говорила:

– Боже мой, Боже мой, как я устала! У тебя так хорошо, Наташа, какое благообразие во всей вашей жизни, – и лампы, и цветы, и смех детский, и говор веселый. А у меня...

– Опять поссорились? – спросила Наталья Сергеевна.

– Он меня измучил! – воскликнула Ирина. – Может быть, тебе это смешно покажется, но он заставил меня почувствовать в себе русскую душу, любовь к России, любовь ко всему, о чем мы так легко забываем. Заставил тем, что он все это ненавидит, все это проклинает. Его злоба вызвала отпор в моей душе.

– Зачем же ты с ним? – спросила Наталья Сергеевна.

– Сама не знаю, зачем. Сначала любила, теперь ненавижу. Если бы Володя был здесь, я бы пришла к нему просить, чтобы он опять пустил меня к себе и к детям.

– Какой вздор! – сказала Наталья Сергеевна. – Тебе не надо просить об этом, он будет рад, ты сделаешь ему радостный праздник.

– Мне стыдно, я не смею, – говорила Ирина.

Наталья Сергеевна замахала на нее руками.

– Молчи, молчи! – сказала она.

Раскрасневшаяся и взволнованная, она быстро пошла к двери, и закричала громко:

– Дети, дети!

Слышен был веселый топот трех пар детских ног. Ирина сидела, уткнувшись лицом в платок, и плакала, плакала. Как сквозь туманную завесу доносился до нее голос Натальи Сергеевны из коридора:

– Сережа, Лиза, мама останется с вами.

Дети завизжали от радости, и шумно вбежали в комнату. Смущенно остановились на пороге.

– Мама плачет, – сказал Сережа.

Ирина опустила платок, и засмеялась. Мокрые от слез щеки ее были румяны.

– Мама ваша глупая, – сказала она. – Мама боится вашего отца, и не знает, что он скажет, когда узнает, что я вернулась.

Сережа, мальчик с такими же быстрыми и веселыми глазами, как у отца, подошел к матери, обнял ее, и сказал:

– Мы пошлем папе письмо, и я знаю, что он ответит.

– Что, милый? – спросила Ирина.

И со страхом смотрела на сына, и с надеждой. А он смеялся и молчал.

– Ну, что, что ответит? – кричала любопытная Лиза.

– Догадайся сама, – говорил Сережа.

Но всмотрелся в испуганные мамины глаза, и ему стало стыдно мучить и дразнить маму. Он поцеловал ее прямо в губы, и сказал:

– Папа ответит: Христос воскрес.

И всем стало радостно, большим и малым.

НАДЕЖДА ВОСКРЕСЕНИЯ

Сестры ушли к заутрени, веселые и нарядные, а Ирина осталась дома.

– Мне будет лучше остаться одной, – говорила она, – помолюсь, подумаю о Коле, отдохну и встречу вас, а вы мне скажете: Христос воскрес.

– Хорошо, только ты не очень плачь, – сказала старшая, веселая Екатерина.

Она была замужем за врачом, отбывавшим свой военный долг в одном из здешних лазаретов; у нее было двое детей, и жизнь казалась ей очень, в общем, хорошею.

Когда уходили, младшая сестра, Евлалия, улучила минутку остаться наедине с Ириной, и, быстро поцеловав ее в дверях гостиной, где не горело ни одной лампочки, шепнула ей:

– Поплачь, Иринushка.

У Евлалии жених, как и у Ирины, тоже ушел на войну. Иринин жених убит на реке Бзуре, а Евлалиин жених ранен и взят в плен в восточной Пруссии. Евлалия понимала, что слезы – хорошо. И, когда она сама плакала, ей легко становилось.

Ирина прошла в квартиру. С улицы доносились веселые голоса. В столовой уже накрыт был праздничный стол. Пахло мирно и домашне. Гиацинты смешивали свой тонкий яд с темными дыханиями ванили, миндаля, шафрана и кардамона. И этот смешанный яд благоуханий был для Ирины зовом смертной тоски.

Прошла в кухню, – и там пусто. Все ушли, – Ирина одна, совсем одна.

Вернулась к себе. Надо надеть белое праздничное платье, снять на один этот день свой черный траур.

Вот оно лежит, все белое, перекинутое на спинке голубого кресла. И перед ним на полу пара белых туфель и на кровати белые шелковые чулки.

«Помолюсь немного».

Опустилась на колени перед образом, ясно сияющим отсветами лампы на белой серебряной ризе Богородицы Милующей. Донесся издали гул выстрела, – половина двенадцатого ночи. Уличный шум здесь был неслышен, – Иринина комната во двор.

Ирина склонилась перед образом, забылась молитвой, как легким сном. Сгорело время, и весь мир свился, и перед ней стоял он, ее милый, ее Николай, убитый. Лицо его печально и строго, и он спрашивает:

– Ирина, любишь ли ты меня?

– Люблю, – говорит Ирина.

– Ты меня никогда не забудешь, – говорил он.

Очнулась Ирина. Никого. Мерцание лампы, голубой занавес окна, синие стены. Одна. И слезы льются, льются. И знает Ирина, что ее Николай всегда с ней, на всю жизнь, и в этом горе, и в этой радости.

И опять, как легким сном, забылась молитвой. И опять Николай стоял перед ней. И казалось Ирине, что множество с ним предстоит ей воинов.

И опять спросил Николай:

– Ирина, любишь ли ты меня?

И опять ответила Ирина:

– Люблю.

Николай говорил ей:

– Если ты хочешь, чтобы любовь наша была бессмертна, люби тех, кто со мной. Слушай меня, Ирина, – люби народ мой и твой, и всегда будь с народом во всех судьбах его и на всех путях его.

Вскинулась Ирина, точно окрыленная великим порывом. Разбилась молитва, рассеялся сон, – опять никого, опять одна в синих стенах перед ясным лампадным мерцанием.

Слезы льются, льются, и дрожат ноги, на полу холодея, и сердце бьется тяжело и тоскливо.

Народ мой, народ мой возлюбленный, темна судьба твоя, и заграждены пути твои, и затуманен взор твой, – но буду, буду с тобой на всех путях твоих, народ мой, тяжело страдающий.

И третий раз склонилась, и третий раз погрузилась в молитву, как в утешающий сон. Перед глазами ее свет ширился, и слышала она ликующие звуки. И опять стал перед ней милый ее, ее Николай. Лицо его было светло и радостно, глаза его сияли, как неугасимые

лампады, и голос его звучал торжеством воскресения, когда он в третий раз спросил Ирину:

– Ирина, любишь ли ты меня?

– Люблю, – радостно ответила Ирина.

Говорил Николай:

– Люби меня, люби народ мой, верь и не бойся, и надейся на воскресение наше. Кровью нашей, пролитой в изобилии и пылающей ярко, озарили мы судьбы народа нашего, и пути его станут правы, и тьма советов исчезая перед взором его. Слушай меня, слушай, Ирина, – в надежде воскресения будь с народом моим и воскреснет, и воскреснем.

И нет никого, и опять одна Ирина, и радость безмерная с ней.

Белые, праздничные одежды взяла бережно, любясь ими, слушая дальний звон благовеста. Белые одежды надела на себя радостно и благоговейно, и такое торжество было в душе, точно радостные ангелы помогали ей облачаться одеждой, знаменующими надежду воскресения.

Радостная вышла из своей комнаты, везде зажгла огни, ждала сестер. Вот и они.

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес.

Обнимает, целует, смеется.

– Не плакала? – спрашивает Екатерина.

– Поплакала, милая? – шепчет Евлалия.

– Он приходил ко мне трижды, – говорит Ирина, – милый мой говорил со мной трижды, и принес мне надежду воскресения. Знаю, воскреснем все мы, и восстанет народ мой. Сестры, не смотрите на меня, как на безумную, – я рада, я счастлива.

– Счастливая Ирина! – шепчет Евлалия, обнимая ее.

Екатерина пожимает плечами, и говорит насмешливо и ласково:

– Если плакать, так, ради Бога, не долго. И пойдемте поскорее в столовую, – я немножко проголодалась.

НЕУТОМИМОСТЬ

Был в конце нежаркого лета день праздничный, теплый, слегка туманный. Туман, пронизанный горьковатым запахом гари, стоял уже пятый день. Сегодня он рассеивался, небо вверху светло голубело, и призрачные очертания высоких туч уже выделялись на нем. Под пеленой редкого тумана поля, еще не пожелтевшие деревья и словно недвижимая река, радостно голубая, казались легкими и блаженными. Если задуматься, замечтаться, забыть, то можно было вообразить себя перенесенным в обиталище блаженных душ. К тому же и людей не было видно. Над рекой недавно пронесли свистки двух трех пароходов, а теперь широкая грудь ее звучно дышала легкими отголосками прибрежной тишины.

Прислонясь спиной к березе на высоком берегу, на мшистой земле сидел мальчик смуглый, загорелый, босоногий, в короткой светлой одежде. По лицу ему можно было дать пятнадцать лет, да столько ему и на самом деле было. Он жадно читал книгу, быстро

перелистывая страницы, нередко возвращаясь к прочитанному. Тогда он призадумывался на минуту, и складка умственного напряжения стягивала его черные, двумя тугими луками изогнутые брови.

Послышался шорох приближающихся шагов. Мальчик обернулся досадливо. Увидел подходящую девочку с кистью крупной рябины в руке, и улыбнулся радостно. Как всегда, с любованием смотрел он на свою подругу, и ему было приятно, что она веселая, красивая и стройная. В красном сарафанчике, босиком. Только годом моложе его, и очень дружна с ним.

Поздоровались. Мальчик увидел на ее загорелой ноге обхватывающую подъем стопы неширокую белую повязку. Он спросил:

– Что, Катышок, «порезала ноженьку голую»?

Катя засмеялась. Села рядом с мальчиком, и говорила:

– Вчера в поле. Серпом неловко махнула. Хочешь рябины? Она уже вкусная. Нарочно для тебя сорвала.

– Спасибо, Катышок. Косолапые мы с тобой, Катышок, неловкие пока. А туда же, помогать пошли. Ну да ничего, в будущем году, пожалуй, у нас дело лучше пойдет.

Катя прислонилась плечом к его плечу, и сказала:

– Я, Лаврик, и этим летом очень довольна.

– Оно лучше прошлого? – спросил Лаврентий.

– О, да! – с убеждением отвечала Катя. – Я и представить не могла, что это – так трудно, тяжело до изнеможения и в то же время так радостно.

Лаврентий улыбаясь смотрел на нее, и говорил:

– Пятьсот лет тому назад сюда к реке выходил паренек вроде меня, и горланил звонко:

– А тысячу лет назад только волки здесь рыскали, да лес дремучий шумел. От лета к лету на земле все становится лучше, от века к веку. Сама природа учится у нас, и теперь она тоньше, духовнее, больше знает и благосклоннее к нам, чем тогда, когда на земле жил наш человекоподобный предок.

Катя улыбнулась. Покачала головой. Сказала:

– Расхвастался ты что-то уж очень, Лаврик. Разве мы лучше наших отцов?

– Не лучше, а счастливее, – уверенно сказал Лаврентий, – удачливее.

– Послушать маму, – говорила Катя, – мы гораздо поплотнее. Очень по земле ходим, вверх не полетим.

Лаврик вспыхнул. Заговорил горячо:

– Ну, да, знаю. Это наши старшие братья и сестры много лишнего наболтали. Насчет своей практичности, своей близости к жизни, своего отворачивания к всему неясному. Но это не то, совсем не то. Между нами есть всякие, по-разному смотрящие на жизнь. Но главное у нас то, что мы просто удачливее вышли.

Дети часто беседовали на такие темы. Они сходились часто и зимой, и летом. Жили рядом и в городе, и здесь на даче. Родители были дружны. А мальчик и девочка почему-то были уверены, что они так и родились друг для друга, и любили один другого чистой и тихой любовью. Настроения у них были добрые и спокойные, хотя грозовой год коснулся их семей опалаяющим дыханием: Катин отец артиллерийский прапорщик запаса, был ранен и взят в плен; отец Лаврентия, пехотный капитан, долго лежал в лазарете, где ему отрезали правую ногу до колена. Искусственная нога была сделана очень хорошо: Алексея Николаевича отпустили домой, в отставку. Здесь он учился все лето владеть ногой, хотя до последних дней не

решался расстаться с костылем и не столько потому, что нога служила плохо, сколько потому, что еще чувствовал себя нервно не окрепшим после чудовищных потрясений войны.

– Вот хоть бы то взять, – сказал Лаврентий, еще более краснея и волнуясь, – как наши отцы были не тверды и не уверены в своей любви.

Катя опустила глаза. Она знала, что у ее отца есть дети от другой женщины. Знала и то, что Людмила Павловна, мать Лаврентия, вышла за Алексея Николаевича после того, как развелась с своим прежним мужем. Да, она знала, что родители их изменчивы и в чувствах, и в мнениях своих.

– А мы? – тихо спросила она.

– А мы не разлюбим, не изменим, и ты сама это знаешь, – уверенно сказал Лаврентий.

Катя подняла глаза, – и глаза их встретились. С минуту они смотрели друг на друга, точно в роковом поединке скрестив испытующие взоры. И потом они разом вдруг улыбнулись уверенно и нежно. Острая сладость пронизала сердца их, и они поняли еще раз, что их две жизни сплетены навеки. Так радостно было им опутить в себе верное биение мужественных сердец, готовых ответить на всякий зов быстропроносющейся жизни.

Легкие тени прозрачно легли на высокий берег, на влажную траву, и заблестали радостные росинки, точно по заре утром. На небе, сквозь мгlistый туман пламенея, неярко, но еще высокое стояло солнце, благостно глядя на смеющиеся глаза детей, не ослепляя поднятых к нему детских взоров. Было все вокруг благостно, тихо и чисто, как в обители блаженных. И с простодушным восторгом смотрела Катя на своего друга.

Послышались невдали звуки домашнего колокола. Лаврик хмуро улыбнулся, и в голосе его слышался оттенок досады, когда он говорил:

– Зовут обедать. Сядем за стол, Даша и Надя будут нам служить, и будут господа и рабы, и никому это не странно.

– Не господа и рабы, а богатые и бедные, – сказала Катя.

– В совершенном обществе так не будет, – сказал Лаврентий. – Только коллектив может быть богат, а люди все до одного должны жить в радостной, беспечной нищете. В народных домах пусть будет блеск, великолепие и веселье, а в наших домах, – уют, покой, простота.

– Теперь не так, – сказала Катя.

– Мы, Катя, все это переменим, когда будем хозяевами в нашем дому.

Катя улыбалась, и молча смотрела на него. Лаврик подумал вдруг, что еще не скоро им быть хозяевами в их дому. Ну, что же! – подумал он, – подождем, ведь не мы дом строили.

– Научимся, построим новый, – сказал он вслух.

Катя понимала. Не первый раз о доме своем говорили они – о недостроенной храмине русского бытия.

– К нам вечером придете? – спросила она.

– Да. Сегодня весь день дома, завтра опять в поле.

– И отчего это такой туман? – досадливо спросила Катя.

Лаврентий засмеялся.

– Я читал в здешней газетке, – это оттого, что в Сибири тайга горит.

– Ну? так далеко приполз? – с удивлением спросила Катя.

– Может быть, и правда, – говорил Лаврентий. – На земле все

связано одно с другим. Здешние мужики говорят, что там, где-то за Волгой, торфяные болота горят. А мне, знаешь, Катюшок, нравится этот туман. Так сквозь него все красиво, как во сне праздничном. Словно что-то лучше жизни.

– Лучше жизни нет ничего, – с убеждением сказала Катя.

Лаврентий посмотрел на нее строго. Она повела тонким плечиком, и сказала:

– Если понадобится, я отдам жизнь за других. Скупиться не стану, но все-таки это самое лучшее, что у нас есть.

По узкой тропке поднялись они на дорогу, и разошлись, каждый к себе.

Лаврик поднялся на террасу, где обедали. Отец в серо-зеленом кителе стоял в дверях из гостиной, прислонясь к косяку двери и улыбался. От улыбки его суровое, исхудалое лицо совсем переменилось и казалось добрым, простым и таким красивым, что становилось понятно, как в этого человека должны были влюбляться женщины.

– Где же твой костыль? – опасливо спросил Лаврик.

– Да что, брат, костыль, – дома остался. Учусь пользоваться искусственной ногой. Ничего, хожу понемногу. Отдохнул, нервы стали покренче, и уж не тянет каждую минуту, как прежде, за костыль хвататься, чтобы не упасть.

Говоря это, Алексей Николаевич почти совсем ровно подошел к столу, и сел рядом с женой. Людмила Павловна была, очевидно, озабочена чем-то, и лицо ее под легким северным загаром показалось Лаврентию побледневшим и осунувшимся. Она смотрела на мужа с неопределенным выражением. Лаврик удивился, хотел что-то спросить, но удержался. Мать слегка вздохнула, окинула Лаврентия привычно-внимательными, привычно-заботливыми глазами, и, заметив в его руке, вместе с книгой, полуоципанную ветку рябины, спросила:

– С Катей был?

– Да, мамочка.

Отец был оживлен, беспокоен. Ему хотелось говорить, спорить. Он сказал жене, указывая на Лаврентия:

– Ты знаешь? Он тебе развивал свои теории? Как же, у него уже есть своя собственная теория насчет нового поколения. Он уже на нас немного свысока смотрит.

Лаврентий слегка покраснел.

– Избави Бог, папочка. Вы – герои.

– Да, да, герои, но... Где твое но? – с легкой насмешливостью говорил отец. – Вот в этом твоем но и заключается вся соль. Ну, говори, стесняться нечего.

Лаврентий легонько пожал плечами, и говорил:

– Вы – герои, но не воины. Вы способны на такие подвиги, которых устрашили бы славнейшие герои древности, но все же вы слишком герои. Вы годитесь для подвигов, для самопожертвования, ваша цель – слава, и вы если победите, то случайно. А вот мы будем воинами. Не героями, а машинами для побед. И нас никто не победит. Нами Россия будет сильна и непобедима. И нам никто не изменит – мы доглядим.

Алексей Николаевич засмеялся.

– Какая великолепная самоуверенность! Ну, а что ты сделаешь, если тебе твоя Катя изменит?

Лаврик самоуверенно улыбнулся.

– Я знаю, что этого не будет, – спокойно сказал он. – Ведь мы не потому будем друг другу верны, что я очарован ей, а она мной.

Людмила Павловна спросила досадливо:

– Любовь без очарования? Это что же такое?

– Чистая любовь, – опять легко вспыхивая сказал Лаврентий. – У нас все будет без печалей: нравственность без угрозы, долг без принуждения, любовь без безумства.

– Вино без алкоголя? – спросил отец.

– Опьяняться не будем, – отвечал Лаврентий. – Просто и верно проживем. Катюшок для меня, я для нее, – иного нам не нужно. Влюбляться в красавиц и в красавцев не станем. Красоты нам не надобно.

Отец вздохнул. Сказал:

– Что будет, этого никто не знает. Нам достаточно знать, чего мы сами хотим. Вот мне отняли ногу, поставили искусственную, но я хочу ходить, и хожу. Хочу воевать, и буду. Если хочу, значит, и могу. Долг без принуждения, – это, Лаврик, не ваше изобретение: этому вы у нас научились.

Мать с укором посмотрела на Лаврика. Он покраснел и опустил глаза в тарелку.

Туман над рекой становился гуще. По реке бежал пароход, большой пассажирский, тяжело и равномерно дыша стальными легкими своей машины, сверкая веселыми огнями. Когда он прошел, тени в саду точно еще более сгустились, и вдруг на белые стволы берез упали мелькающие багровые отсветы. Горничная Даша воскликнула:

– Батюшки, да никак это горит где-то!

И в эту же минуту загудели тревожные звуки набата в ближней церкви.

Лаврик выскочил из-за стола, и с легкостью лесного проворного зверька бросился в свою комнату одеваться. Через минуту он уже выбежал опять на террасу, на ходу поправляя завернувшийся неловко под правым коленом серый чулок.

– Уже готов? – спросил Алексей Николаевич.

– Всегда готов, – крикнул Лаврик.

Он бежал по боковым дорожкам к дороге в село.

– Всегда готов, – тихо повторил отец.

Он подвинулся к жене, взял ее руку, пожал крепко. Людмила Павловна молча, сдержанно улыбаясь, глядела на него. Плечи ее слегка дрожали.

– Тебе холодно, Людмила? – спросил он тихо.

– Нет, – так же тихо ответила она.

Помолчали. И опять тихо заговорил офицер с суровым, загорелым лицом:

– Что ж, Людмила, нога служит очень хорошо. Я думаю, меня возьмут. Куда-нибудь пригужусь. А, Людмила, что скажешь? Отпустишь меня?

Она нагнулась, заплакала. Потом посмотрела на мужа. Страдание было на лице ее, но лицо ее было светлое. Алексей Николаевич обнял ее за плечи, привлек к себе, и глядел на нее сурово и нежно.

– Когда же это кончится, Алексей? – сказала она. – Но ты не думай, я не рошщу. Боже мой, если так надо, – что же я? Ведь я такая же, как и все эти миллионы солдатских и офицерских жен. От Бога, от людей, от родины мы взяли долю счастья, нам надо взять и долю печали и трудов.

– Надо, Людмила, надо, – с суровой нежностью говорил Алексей Николаевич, тихонько поглаживая жену по спине. – Потерпим до конца, Людмила, чтобы нашим детям было легче.

– Алексей, – спросила она, глядя на мужа усталыми, печальными

глазами, – может быть, нашим детям будет еще труднее?

Может быть, Людмила, – спокойно ответил он. – Потому-то мы и должны воспитывать их так, чтобы им всякая тягота жизни была в подъем.

ДЕНЬ ВСТРЕЧ

I

В жизни мирных обитателей России, Германии, Франции и Англии в начале лета 1914 года ничто не предвещало близости и неизбежности войны. Все, как всегда, занимались своими делами и делишками, а если иногда и заходили разговоры о войне, то она все же казалась еще очень далекой. Европейцы привыкли к своему домашнему миру, и он казался им незыблемым. Жили спокойно, как у подножия давно дремавшего вулкана накануне внезапного извержения. И не знали, что скоро все они будут захвачены могучим потоком мировых событий. Но уже еле-зримая тень этих событий зловецно ложилась на дела и на помыслы людские...

Розовые и белые пивели каштаны. В воздухе тихой, чистенькой деревни Розенау мило звучали птичьи щебеты и звонкие голоса только что отпущенных из школы детей. Бледно-красная черепица кровель на темно-красных кирпичных домиках казалась только что вымытой прилежными хозяйками, но вымыта была она прошедшим вчера веселым теплым дождиком, хозяйки же в этот час мыли плитяные ступеньки своих домов.

В саду и в огороде около школы песочные дорожки были гладки, и грядки были ровны, и яблони, обещая хороший урожай, радовали глаз. И все было чисто и прибрано в комнате молодой учительницы Гульды Кюнер.

Гульда стояла у окна и рассматривала свои башмаки, наклонившись слегка и приподнимая немного свое платье. Внешние очарования в этот милый день не радовали Гульду. Не потому, чтобы она очень устала, – она была сильная, здоровая девушка с красными щеками, с высокой грудью, с большими руками и ногами, и школьные занятия не утомляли ее. Выросшая в трудовой крестьянской семье и в бедности, она считала свою работу легкой и свое положение очень хорошим.

Весь этот день Гульда испытывала жестокое беспокойство и страх. От этого ее красивое, крестьянское, грубоватое лицо с правильными и крупными очертаниями, смягченными милой полумаской веснушек, иногда багряно вспыхивало, словно наливаясь кровью, уши были очень красны, и красивые руки, только что чисто вымытые, более обыкновенного, – от холодной воды, – красные, крупные, унаследованные от многих поколений немецких мужиков, дрожали заметно.

Гульда волновалась потому, что сегодня утром получила неприятное письмо. Школьный инспектор ее округа, господин Адольф Веллер, приглашал ее для неотложного, весьма важного разговора сегодня от трех до четырех часов дня. Весь день для Гульды был этим письмом испорчен. На уроках Гульда была очень рассеяна и

невнимательна, и вела себя с детьми очень неровно, — то не замечала шалостей, то с удвоенным усердием принималась шлепать мальчишек и девчонок линейкой по спинам и по пальцам.

Едва отпустив детей, Гульда стала собираться в город Кельберг, где жил господин школьный инспектор. До города считалось четыре с половиной километра.

Гульда, пытаясь обмануть себя и отвлечь внимание от беспокойных предположений, думала о своих поношенных башмаках. Новых у нее не было, — новые она купит из того жалованья, которое получит на днях. Гульда получала достаточно для нее самой, но она уделяла кое-что на воспитание и обучение младшего брата, помогая в этом старой матери. Поэтому ей приходилось быть очень бережливой, и весь ее годовой бюджет был расчислен вперед по месяцам, — когда что можно купить.

Наконец Гульда решила, что башмаки еще достаточно крепки. Было без пяти минут два. Пора идти, а то ведь, пожалуй, и опоздаешь. Сердце Гульды сильно забилося, когда она, стоя перед маленьким зеркальцем, стала надевать свое праздничное светло-розовое платье и соломенную желтую шляпу с голубой лентой.

Что же так волновало и страшило сегодня бедную Гульду?

II

Дней пять тому назад случилась с Гульдой в школе неприятная история. Один из ее учеников, непоседливый краснощекий мальчишка Антон Шмидт рассердил Гульду какой-то глупой, надоедливой шалостью. Гульда нашла его по спине линейкой, а так как ей показалось, что эти шлепки недостаточно вразумили шалуна, то она вдобавок дала ему пощечину, да так неосторожно, что у него из носу пошла кровь. Гульда смутилась, — она не ожидала таких последствий. Мальчишка, утирая нос грязным кулаком, сердито пробормотал что-то. Гульда не расслышала. Она спросила притворно-спокойным голосом:

— Что ты там бормочешь?

Антон опасливо покосился на нее, и промолчал. Мальчишки смеялись, радуясь внезапному развлечению. Девочки сидели скромно, с таким видом, как будто это их не касается. Кто-то услужливый из мальчишек поторопился сказать Гульде:

— Он говорил, что пожалуется.

Смущенная Гульда ярко покраснела. Она стояла посреди класса в неловкой позе, и не знала, что сказать.

Антон искоса кинул на нее быстрый, хитрый взгляд, и принялся отпираться:

— Я этого не говорил. Очень мне нужно жаловаться! Я и не думаю жаловаться. Я — не девчонка. Мне в прошлом году Эрих Реннер тоже нос расквасил, однако, я никому не жаловался.

Гульда спросила:

— А что же ты говорил сейчас?

Антон отвечал:

— Я говорил: простите, больше не буду.

По сменливому тону его голоса и по хитрому взгляду его зеленовато-серых глаз было видно, что он говорит неправду. Мальчишки смеялись. Заулыбались и девочки.

Гульда наконец сообразила, что надобно сделать. Она отправила Антона умыться холодной водой, чтобы остановить капающую из носу

кровь.

Весь остаток того дня Гульда провела очень беспокойно. Она все ждала, что вот-вот постучатся в дверь и войдет мать Антона, почтенная вдова Марта Шмидт. Войдет, и начнет говорить неприятные, укоряющие и угрожающие слова. С грубостью и с мелочностью, свойственными богатым мужикам во всех странах земного шара, скажет она много такого, что совсем к этому случаю не относится, но чем можно уколоть и унижить. Скажет, например:

– Такая бедная девушка, как вы, должна была бы дорожить таким местом.

Или:

– То-то приятно будет вашей матери, когда вас выгонят с этого места.

Но госпожа Марта Шмидт не пришла. Мало-помалу Гульда стала забывать об этой истории, – и уже думала она, что все это прошло и позабыто. И вдруг сегодня письмо от школьного инспектора.

Зачем зовет ее Веллер? Неужели из-за этой глупой истории? Как не перебирала Гульда в уме все свои школьные и служебные обстоятельства, она никак не могла найти другое правдоподобное объяснение этого вызова. Ведь если бы это было что-нибудь обыкновенное, Веллер мог бы сказать третьего дня на кладбище, во время похорон одной из городских учительниц, Анны Крафт. Единственное, что оставалось предположить, – Антон пожаловался своей матери, а та, со скрытностью старой крестьянки, никому не сказав ни слова, сходила в город, и пожаловалась школьному инспектору, – и вот последствия этой жалобы.

Гульда боялась верить этому, и старалась найти другое объяснение. Если это так, то страшно и подумать о том, что могут сделать с Гульдой. Еще хорошо, если дело кончится строгим выговором. А то могут перевести в другую школу, – Гульде было бы это очень неприятно, – или и вовсе уволить от службы. Что же тогда скажет гофлиферант Гейнрих Шлейф, дядя ее милото? Он и без того уж сколько времени упрямится дать согласие на их брак. А без согласия господина гофлиферанта обойтись невозможно, – жалованье Карла Шлейфа слишком невелико.

Испуганное воображение Гульды рисовало ей будущее в самых мрачных очертаниях. Если госпожа Шмидт нажаловалась школьному инспектору, то, конечно, ее уволят. Даже не дадут другой школы. Правда, Гульда почти никогда не навлекала на себя никаких замечаний, и была вообще на хорошем счету. Но сегодня она думала, что школьный инспектор Веллер воспользуется этим случаем, чтобы свести кое-какие личные счеги с ней.

Одна только и была надежда на то, что Антон ничего не сказал матери, и что ее вызывают по какому-то другому делу.

III

Гульда взяла дождевой зонтик, – на всякий случай, – и отправилась в дорогу. Дорога предстояла приятная и легкая, – полями и перелесками. Нанимать экипаж и лошадь на такое небольшое расстояние в такой прекрасный, теплый день Гульда не хотела. Зачем делать лишний расход, если можно идти пешком? Притом же поездка в экипаже привлекла бы общее внимание, и вызвала бы разные толки, тогда как пешком можно пройти гораздо незаметнее.

Встречалось больше людей, чем бы хотелось Гульде. Пока она

шла по улице деревни, все еще было ничего и имело вид обычной прогулки. Выдавал только дождевой зонтик, вызывая любопытные взгляды.

Встречные кланялись Гульде, как всегда, приветливо, с тем особенным оттенком покровительственной ласки, который свойственен всякому собственнику по отношению к тому, кто, стоя в каком-нибудь отношении выше его, имеет мало денег. Но Гульде иногда казалось, что на нее так смотрят потому, что уже все в деревне знают о ее деле и смеются над ней. Ласково-приветливые лица взрослых и детей казались ей насмешливыми.

Антон Шмидт попался ей навстречу. Здесь, вне школьных стен, на внешнем солнце, у изгороди, за которой весело и буйно зеленели кустарники, Антон казался еще более румяным, веселым и хитрым, чем всегда. Кланяясь Гульде, он так махнул шапкой, словно в его руке был неистощимый запас сил, делающий каждое его движение чрезмерным.

Гульда подозвала его. Ей захотелось поскорее проверить, жаловался ли он. Знать бы наверное, зачем зовет ее Веллер. Но как спросить мальчика? Чуть было не спросила прямо, но удержал какой-то самолюбивый расчет. Она подумала, покраснела, и слегка запинаясь, сказала:

— Ну что, Антон, твоя мать довольна твоим поведением?

Антон весело засмеялся, и со всем благообразием, к какому только был способен, отвечал:

— Да, госпожа Кюнер, мама уже давно не бранила меня.

Он держал шапку в руке. Его круглая голова ежилась во все стороны остриженными рыжеватыми вихрами, и крутой лоб блестел от капелек пота и от усердных усилий говорить, как по книжке.

Гульда спросила:

— Разве твоя мать не знает, как ты шалил в школе?

Антон отвечал:

— Уже несколько дней, госпожа Кюнер, я не получал от вас ни одного замечания.

Гульда сказала:

— А разве ты забыл, как я наказала тебя в прошлую пятницу? Разве ты скрыл это от своей матери?

Антон живо спросил:

— А разве вы, госпожа Кюнер, хотите пожаловаться?

Напускное благообразие соскочило с него, и на его лице отразились страх и злость. Он думал:

«Нос расквасила, да еще жаловаться хочет!»

И это он считал большой несправедливостью. Дело казалось ему поконченным, и вновь поднимать его было не к чему.

Гульда увидела по его лицу, что он боится ее жалобы. Значит, — подумала она, — он не сказал. На короткое время ей стало весело. Но вдруг пришло ей в голову, что ведь об этом случае могли рассказать его матери другие. Опять ей стало тоскливо, и она быстро пошла вперед.

Антон шел за ней, и упранивал, чтобы она ничего не говорила его матери. Чем ближе подходили они к дому вдовы Шмидт, тем плаксивее становился его голос. Гульда думала, что хитрый мальчишка только притворяется испуганным, а в душе смеется над ней. Она строго поглядела на него, и сказала:

— Антон, не иди за мной. Я твоей матери не видела с тех пор, и пока еще не собиралась с ней говорить. Не воображай, что у меня только и заботы, что о твоих шалостях.

Антон остановился. Гульда почувствовала на своей спине его внимательный взгляд.

IV

Марта Шмидт стояла на высоком крыльце своего дома. Как у всех крестьян в той местности, это был кирпичный дом под черепицей, и стоял он, как у всех, между садом, выходящим на дорогу, и огородом сзади дома. Марта Шмидт вязала чулок, и смотрела на дорогу.

Остановившись у калитки сада, Гульда первая сказала:

– Добрый день, госпожа Шмидт.

И ей самой стало стыдно, что в голосе ее звучали заискивающие нотки. Марта, улыбаясь, как любезная хозяйка, сказала:

– Добрый день, госпожа Кюнер. Погода хорошая, а у вас зонтик в руках. Не собрались ли вы в далекую прогулку? Но отчего вы не взяли с собой кого-нибудь из детей?

Гульда отвечала:

– Я иду в Кельберг.

Марта удивилась.

– За покупками? Но отчего же вы так нарядились? И вы без мешка.

– Нет, госпожа Шмидт, не за покупками, и не на прогулку. Меня приглашает господин инспектор Веллер.

Говоря это, Гульда внимательно и тревожно смотрела на Марту. Марта сказала приветливо:

– Зайдите же, госпожа Кюнер, посидите немного.

Любопытство засветилось в узких глазах старой женщины. Гульда сказала:

– Благодарю вас, госпожа Шмидт. Я посижу минутку с вами на крыльце, но я должна не опоздать. Господин инспектор будет ждать меня только до четырех часов, и позже прийти было бы невежливо, да господин инспектор, может быть, не будет дома, или будет занят.

Марта, усмехаясь с видом человека, прожившего на свете и видевшего людей, сказала:

– Не беспокойтесь, госпожа Кюнер, вы имеете достаточно времени, и придете в назначенное время. Вы можете посидеть у меня четверть часа. Скажите, зачем же вызывает вас господин школьный инспектор?

Гульда отвечала:

– Не знаю. Может быть, какая-нибудь жалоба?

Голос ее слегка дрогнул при этих словах. Марта махнула рукой:

– Что вы, госпожа Кюнер! Кто может жаловаться! Все в Розенау довольны вами.

Гульда нерешительно сказала:

– Да уж я не знаю.

Она взошла на ступени крыльца, и села на скамейку у двери. Марта села рядом с ней, и говорила:

– Уж не хочет ли господин школьный инспектор предложить вам должность учительницы в Кельберге на место покойной госпожи Крафт?

– Этого не может быть, – сказала Гульда. – Госпожа Крафт только пять дней назад скончалась, и господин школьный инспектор не успел еще об этом подумать. При том же, я думаю, что есть и другие желающие, старше меня.

Поговорив с Мартой минут пять о разных деревенских новостях, Гульда пошла дальше. Так она и не узнала, жаловалась ли на нее Марта или нет.

V

Гульда торопился. Плотнo-убитая пешеходная дорожка вдоль шоссе казалась ей нескончаемо-длинной. И уже когда, пройдя липовую рощу над рекой, у проезда к усадьбе богатого землевладельца, барона фон Танненберга, она увидела издали белые домики города, она с отчаянием подумала, что еще остается два километра.

За рекой дорога круто поворачивала, и снова шла рощей. Здесь совсем неожиданно Гульда встретила молодого человека, высокого и сильного. Она зарумянилась радостно. В глазах ее засветился тихий восторг. Это был ее жених, Карл Шлейф, племянник гофлиферанта Гейнриха Шлейфа. У него были голубые, ясные глаза, румяное лицо, мягкие, русые усы, широкие плечи, и он казался Гульде олицетворением мужской красоты и силы. Он говорил:

– Какая приятная встреча! Мой патрон поручил мне уладить одно очень важное дело с бароном фон Танненберг, но я могу проводить тебя немного. Ты гуляешь или по делу? Ты такая сегодня нарядная, и такая красивая.

Гульда, дрожа и краснея от волнения, могла только слабо обрадоваться похвале ее милого. Она сказала:

– Мне надо в Кельберг.

Карл вынул часы, подумал немного, и сказал:

– Я могу пройти с тобой десять минут по направлению к Кельбергу, но затем я принужден буду продолжать свой путь. А зачем тебе надо в Кельберг?

Гульда рассказала Карлу о случае с Антоном Шмидтом и о своих опасениях. Карл нахмурился. Он сказал:

– Гульда, ты поступила очень неосторожно. Конечно, мальчишек нельзя не бить, но не надо бить их по носу.

Гульда жалобным голосом сказала:

– Я боюсь, Карл, что меня уволят.

Лицо Карла приняло неприятное, жесткое выражение. Казалось, что его усы жестко топорщились, забыв свою мягкую холеность, и глаза вдруг посерели, когда он говорил:

– Мой дядя, гофлиферант, и так не хочет согласиться на наш брак. Я надеялся его уговорить. Но его самолюбие не позволит ему помириться с тем, чтобы я женился на девушке, которую выгнали со службы за то, что она дурно исполняла свои обязанности.

Гульда воскликнула:

– Я хорошо исполняла свои обязанности. Он сам виноват, – он вертелся, когда я его наказывала, тогда как он должен был стоять смиренно.

Разговор кончился взаимными упреками. Расстались, холодно простившись. Гульда плакала. Но некогда было долго заниматься этим, – близок был уже и город.

VI

И вот новая встреча. Товарищ Карла, Отто Шарф. Он тоже ухаживал за ней. Но ей не нравилось, что он небольшого роста.

черноволосый, и что он похож на еврея. Он казался ей насмешливым и черствым, и она даже побаивалась его. И теперь, когда он вежливо поклонился Гульде, ей казалось, что он с насмешливым вниманием смотрел в ее глаза и догадывался, что она только что плакала.

Отто Шарф спросил ее, почти теми же словами, как и Карл:

– Какая приятная встреча! Госпожа Кюнер, куда вы идете?

Робея, как школьница перед учителем, Гульда сказала:

– К господину школьному инспектору.

Улыбаясь, говорил Отто Шарф:

– Я это знаю.

Гульда досадливо покраснела и сказала:

– Если вы бываете у господина Веллера, то неудивительно, что вы это знаете.

Отто Шарф спросил:

– А знаете, зачем приглашает вас господин Веллер?

– Нет, – сказала Гульда. – А зачем?

Забыв свою досаду, она с любопытством смотрела на него, – уж очень хотелось поскорее узнать. Продолжая улыбаться насмешливо, как казалось Гульде, а на самом деле робея и волнуясь почти так же, как она, он сказал:

– Я бы вам сказал, госпожа Кюнер. Но вы так неприветливы со мной.

Гульда упрасивала:

– Скажите, прошу вас!

– Улыбнитесь мне ласково, – настаивал Отто Шарф.

Гульда улыбнулась ласково, сложила руки ладонями вместе, и молящим голосом говорила:

– Прошу вас, скажите, милый господин Шарф.

Любуясь ее смущением и ее любопытством, Отто Шарф радостно улыбнулся и сказал:

– Хорошо, только не говорите господину Веллеру, что я вам сказал это: господин Веллер хочет предложить вам лучшее место.

Гульда сердито воскликнула:

– Вы надо мной смеетесь!

Покраснела, и быстро пошла дальше. Отто Шарф в недоумении смотрел за ней. Он не мог понять, почему Гульда не верит ему.

VII

Подходя к дому Веллера, Гульда встретила двух его дочерей, девочек лет семнадцати, шестнадцати. Их простенькие белые платья и светлые шляпы показались Гульде очень нарядными, и ущемили ее внятным томлением зависти.

Девушки смеялись чему-то своему, – Гульде показалось, что над ней. Старшая из девочек сказала:

– Отец вас ждет.

Гульда со страхом вошла в дом. Молодая служанка провела ее в кабинет господина Веллера.

Толстый Веллер сидел в кресле у письменного стола, сосал толстую сигару, и крепко держал толстыми пальцами карандаш, которым он водил по строкам какой-то лежавшей перед ним на столе бумаги, вникая в ее смысл с таким усердием, что весь лоб его собрался в глянцевиные морщины и толстая шея покраснела больше обычного. Дочитав бумагу, он поднял сонные глаза на Гульду, и

молча показал ей пальцем на стенные часы. Было без двух минут четыре. Гульда замерла от страха. Веллер кивком головы показал ей на стул у стола, и сказал:

– Садитесь, госпожа Кюнер.

Гульда робко подошла и села. Веллер молча смотрел на нее. Наконец сказал:

– Вы – красивая молодая девушка, госпожа Кюнер, и этот легкомысленный молодой человек не достоин вас. Впрочем, я пригласил вас по делу.

И опять замолчал.

Сказать или не сказать? – думала Гульда. – Он сам знает. Или не знает? Честно поступая, надобно самой сознаться. Но мало ли бывает маленьких событий в школе, – не обо всем же надобно говорить.

Гульда сидела и не знала, что сказать. Веллер смотрел на нее неподвижно. В голове Гульды быстро пронеслись воспоминания о том, как Веллер, вскоре после смерти своей жены, сделал ей предложение. Тогда, – это было год назад, – Гульда уже любила Карла Шлейфа, и потому отказала Веллеру. Веллер до сих пор еще не был женат, и Гульда думала, что он затаил злобу против нее.

Веллер вынул сигару изо рта, и внимательно глянул на Гульду.

«Знает, конечно, все знает!» – вдруг подумала Гульда. И, не стерпев страха ожидания, неожиданно для самой себя, рассказала про случай с Антоном.

К ее радости и удивлению, этот рассказ не произвел на Веллера никакого впечатления. Веллер молча выслушал и сказал:

– За то, что мальчишка на вас ворчал, вам надо было дать ему несколько хороших ударов линейкой по спине. Но я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Вы обязаны поддерживать дисциплину на ваших уроках.

Веллер побарабанил пальцами по столу, и сказал:

– Госпожа Кюнер, я пригласил вас вот по какому делу.

Гульда чувствовала, что сердце ее мучительно замирает. Ее руки дрожали. Голос Веллера доходил до нее словно издалека. Веллер говорил:

– Вам известно, что госпожа Крафт скончалась. Школьный совет наметил вас на ее место. Я должен спросить вас, согласны ли вы перейти на это место.

От радости и от волнения у Гульды закружилась голова. Она воскликнула, всплеснув руками:

– Ах, господин инспектор!

И уж не могла ничего сказать. Очевидно, никто на нее не жаловался, иначе ей не предложили бы этого места, где жалованье больше и квартира лучше.

Веллер слегка усмехнулся и сказал:

– Я вижу, госпожа Кюнер, что вы согласны. Надеюсь, вы будете достойны. А теперь, покончив с этим делом, поговоримте о другом.

Веллер запыхтел, усиленно засосал сигару, окружил себя скверно-пахнувшим дымом, и заговорил торжественно и волнуясь:

– Госпожа Кюнер, вы знаете мои чувства по отношению к вам. Но вы предпочли мне легкомысленного молодого человека. Однако, он не торопится жениться на вас.

Гульда сказала:

– Мы надеемся, что господин гофлиферант согласится...

Веллер прервал ее:

– Госпожа Кюнер, обращаюсь к вашему благоразумию. Скоро

будет война, молодой человек пойдет, потому что числится в запасе, и на войне он может быть убит. Я же не пойду, так как мне сорок шесть лет. Я уже стар для войны, но еще достаточно молод для семейной жизни.

– Господин Веллер, – сказала Гульда, – о войне ничего не слышно.

Веллер побарабанил пальцами по столу, и сказал уверенно, как знающий:

– О, не слышно! Читаете ли вы внимательно вашу газету? Знаете ли вы что-нибудь о русской большой военной программе и о русском флоте, который будет готов в будущем году? Если мы теперь не будем воевать, то и никогда.

Гульда спросила:

– Но зачем нам воевать?

Веллер отвечал:

– Если мы есть великая нация, то нам нужны рынки. Нам нужно сокрушить Францию и отобрать ее колонии. У нас есть культурная миссия на Балканском полуострове и в Малой Азии. И для нашего народа мало земли, а в России земли много, и мы можем ее завоевать. И должны завоевать, потому что грубый дикий русский народ есть только подстилка для нашего великого германского народа. Германия должна быть сильнее всех и диктовать всему миру свою волю, и тогда настанет эпоха вечного мира, и наши товары будут иметь сбыт на всем земном шаре, чего они и заслуживают по своей прочности, дешевизне и красоте.

Веллер помолчал, глядя прямо на Гульду. Гульда не знала, что сказать. Она боялась сказать, что любит Карла и будет ему верна, боялась, что тогда Веллер рассердится и оставит ее на прежнем месте в Розенау.

Веллер встал, протянул руку Гульде, и сказал:

– Итак, госпожа Кюнер, подумайте внимательно над тем, что я вам сказал. Ответом я вас не тороплю.

VIII

Гульда вышла от Веллера, точно ее на крыльях вынесло. Шла сияя. И опять встретила Карла, недалеко от реки, почти на том же месте, где и первый раз.

Он нежно утешал ее. Говорил ей ласково:

– Я был глуп и груб. Я не брошу тебя. Пусть гофлиферанг откажет мне в наследстве и в деньгах, я проживу и без него. Ну, что сказал тебе господин школьный инспектор?

Сияющая от радости и от гордости Гульда рассказала о том, что Веллер предложил ей место в Кельберге. Карл уверенно сказал:

– Ну, теперь я не сомневаюсь, что гофлиферанг даст свое согласие на наш брак.

IX

Гульда не волновалась бы все эти дни, если бы слышала один разговор мальчишек. Гульда не сияла бы сегодня, если бы слышала один разговор взрослых.

В тот день, когда она побила Антона Шмидта, после уроков, к Антону подошел на улице Альберт Керн, рослый рыжеватый мальчуган

с длинными руками, одетый в узкую одежду, которая казалась уже тесной и короткой для его быстрого роста. У него было сердитое лицо и угрожающий вид. Антон посмотрел на него опасливо, соображая, за что Альберт может его поколотить. Альберт сердито спросил:

– Антон, ты нажалуешься твоей матери на учительницу?

Антон отвечал:

– Вот еще, нашел дурака! Чтобы мне еще и дома влетело!

– Зачем же ты сказал, что пожалуешься? – сердито спрашивал

Альберт.

Антон захохотал и сказал:

– А так, чтобы ее попугать. Видел, как она покраснела?

Альберт говорил все так же сердито:

– Слушай, Антон, если ты хоть полслова скажешь дома о том, что она тебе расквасила нос, то я тебя изобью, как собаку. Пусть потом делают со мной, что хотят, но ты меня будешь помнить.

Антон опасливо покосился на сжатые кулаки Альберта, и сказал:

– Я не скажу ни матери, ни кому другому, можешь быть спокоен.

Другой разговор был сегодня, за несколько минут до второй встречи Гульды с Карлом. Карл и Отто Шарф встретились у ворот в парк фон Танненберга. Шарф рассказал Карлу о том, что Гульда переходит в город и получает там очень хорошее место. Оттого так и нежен был с ней Карл.

Ничего этого Гульда не знала, и потому была весела. И еще потому она была весела, что знала то, чего не знал Карл. Она смотрела на него нежно, и думала:

«Если Карл не успеет обвенчаться со мной, и пойдет на войну, то надо будет серьезно подумать о предложении господина Веллера. Карла, может быть, и не убьют на войне, но ему могут оторвать руку или ногу. Быть женой однорукого или одноногого очень неприятно, и уж лучше носить имя госпожи Веллер».

Эти мысли очень растрогали и разнежили Гульду, и, прощаясь с милым при выходе из лесочка, она нежно поцеловала его. Так нежно, что Карл весь этот день чувствовал в своей душе райскую музыку.

ОШИБКА ГОФЛИФЕРАНТА

I

Гофлиферант Гейнрих Шлейф сидел вечером на своем обычном месте в лучшем из Кельбергских кафе, в кафе Баумвальда на Карлплаце, и пил свою обычную кружку пива. Казалось, что он весь налит пивом, и не только коротко-подстриженные бачки, но и глаза его были пивного цвета. Перед гофлиферантом сидел его племянник Карл Шлейф, и уговаривал его дать согласие на его брак с Гульдой Кюнер, расхваливая Гульду в сотый раз в одних и тех же выражениях.

Гульда – славная, честная девушка. Она – бедная девушка, но она имеет свой, честно заработанный, кусок хлеба. Она будет верной женой и хорошей, экономной хозяйкой.

Гофлиферант был непреклонен и повторял в сотый раз одно и то же:

– Я не хочу, чтоб мой племянник женился на простой деревенской девушке, у которой нет ни одного пфеннига, и нет почтенных и уважаемых в городе родственников.

Как всегда, ровно в десять гофлиферант кончил свою кружку. Крикнул:

– Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал кельнеру:

– Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

– Я выпил мою кружку, и мне пора домой.

Карл сказал:

– Дядя, за ту кружку я буду платить.

Гофлиферант остался. Сидя над второй кружкой, он говорил:

– Я не могу допустить этого брака. Я – гофлиферант! Мои изделия употребляются при дворе моего кайзера. Мои изделия известны всей Германии. Мои изделия вывозятся за границу, и даже некультурная Россия потребляет их, и через их посредство знакомится с благами нашей германской культуры.

Карл воскликнул:

– О, да! гофлиферант Гейнрих Шлейф высоко держит знамя германской культуры, и я горжусь честью быть его племянником.

Гофлиферант пожал его руку, и сказал:

– Карл, ты – умный и славный молодой человек, и ты можешь понимать. Да, я сорок лет приношу пользу моему возлюбленному отечеству. Меня уважают все в городе.

– И во всей Германии, – вставил Карл.

Гофлиферант кивнул головой, и продолжал:

– Если приезжий на банхофе спросит любого трегера или, выйдя на улицу, спросит любого мальчишку: «Не знаешь ли ты, где живет гофлиферант Гейнрих Шлейф?» – то всякий мальчишка скажет: «О, как же не знать, где живет господин гофлиферант Шлейф! Он живет в своем собственном доме номер семь по Альбрехтштрассе, а его контора находится на Кайзерплаце на углу Вильгельмштрассе». О, гофлиферант Гейнрих Шлейф не последний человек в своем родном городе, и в нашем дорогом отечестве нет города, где бы не употреблялись изделия гофлиферанта Гейнриха Шлейфа!

Гофлиферант поставил опорожненную кружку на стеклянное блюдо, и сказал громко:

– Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал:

– Кельнер, за эту кружку я плачу. Подайте еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

– Я выпил мою кружку, и мне пора домой, где меня ждет госпожа гофлиферантна Гейнрих Шлейф.

Карл сказал:

– Дядя, за эту кружку я заплачу.

Гофлиферант не возражал. Новая кружка была принесена и поставлена перед ним. Гофлиферант тыкал себя толстым, светло-пивного цвета, пальцем в широкую грудь, и говорил:

– Гофлиферант Гейнрих Шлейф не гордится своими заслугами перед своим дорогим отечеством. Он только честно и добросовестно исполнял свой долг. Выше всего он ставил интересы своих клиентов, чтобы никто не мог сказать, что изделия гофлиферанта Шлейфа не есть товар высокого качества, отпускаемый по дешевой цене с гарантией за прочность.

Карл сказал:

– Нет, дядя, этого никто не может сказать. Товар гофлиферанта Шлейфа есть товар самого высокого качества.

Гофлиферант продолжал:

– Да, высокие качества моего товара известны всем. Я употребляю самый хороший материал и самые усовершенствованные машины, у меня работают самые хорошие мастера, я плачу им аккуратно в срок, и они имеют у меня хороший заработок. Когда к ним приходят агитаторы от социалистов, они смеются и говорят: «Нам не нужно никакого социализма, мы – национал-либералы, и мы работаем на господина гофлиферанта Шлейфа».

Карл сказал:

– Мой товарищ, Отто Шарф, социал-демократ, говорит, что есть не мало социалистов и на фабриках гофлиферанта Шлейфа.

Гофлиферант покраснел, стукнул кулаком по столу, и сказал сердито:

– Отто Шарф – мальчишка и бездельник, и его мать – паршивая русская свинья, и я не хочу говорить о каком-то Отто Шарф, когда я говорю о моем племяннике. Гофлиферант Шлейф не заносчив, но он знает себе цену. Каждый вечер гофлиферант Шлейф идет в это кафе, где рядом с ним может сесть каждый; он выпивает свою кружку в двадцать пфеннигов, и дает кельнеру десять пфеннигов, – не больше и не меньше. И никто не смеет сесть за тот столик, где я привык пить свое пиво. Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал:

– Кельнер, я плачу за эту кружку. Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

– Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет госпожа Амалия Шлейф, супруга гофлиферанта.

Карл сказал:

– Дядя, за эту кружку я заплачу.

Гофлиферант не спорил. Он сидел перед новой кружкой пива, и продолжал распространяться о своих достоинствах.

Гофлиферант говорил:

– Я не гордый человек, нет. Я пожму руку всякому человеку, который честно занимается своим трудом. Я уважаю госпожу учительницу Гульду Кюпер, потому что она – честная и достойная девушка. Если она придет в мой магазин, я велю сделать ей уступку, как самому почтенному из моих клиентов, и скажу, чтобы ей отпустили товар хорошего качества, хотя бы она покупала на самую малую сумму. Но всякий человек должен знать свое место. У меня и у моей Амалии нет детей, но мой племянник, сын моего единственного брата, должен помнить, что у меня есть зато много двоюродных братьев и сестер. Если мой племянник хочет наследовать мое дело и мою фирму, то он женится на дочери одного из почтенных коммерсантов. Я не мечу высоко, я не хочу, чтобы мой племянник женился на одной из юных девиц фон Танненберг, или фон Клостербург, или фон Либенштейн. Я хочу только того, чтобы жена моего племянника была из равной нам семьи. Я сказал, а слово гофлиферанта Гейнриха Шлейфа твердо. Кельнер, прошу сосчитать!

Карл не унывал. Он решил идти до конца, и сказал храбро:

– Кельнер, за эту кружку я плачу. Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возражал:

– Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет

моя жена, моя дорогая Амалия.

Карл сказал:

– Дядя, за эту кружку я заплачу.

Гофлиферант отвечал:

– Хорошо. Молодые люди расточительны, но я сам был молод, и я понимаю, когда молодой человек хочет позволить себе немного покутить. Лучше покутить честно и благоразумно со старым дядей, чем с легкомысленными и необузданными молодыми людьми, вроде какого-нибудь повесы Отто Шарфа.

Карл сказал:

– Дядя, если я женюсь на Гульде Кюнер, то я не буду проводить свое время с легкомысленными молодыми людьми, потому что Гульда Кюнер – скромная девушка. Она будет заботливой и экономной хозяйкой, и мне приятно будет сидеть дома.

Гофлиферант отвечал:

– Гофлиферант Гейнрих Шлейф не хочет, чтобы дочь простого мужика вошла в его дом и села впоследствии на то кресло, на котором ныне сидит госпожа гофлиферантша Гейнрих Шлейф, урожденная Амалия Липперт, дочь гофлиферанта и индустриера Фридриха Липперта. Нет, я хочу, чтобы все шло, как прилично, без заносчивости и без унижения.

Гофлиферант, опорожнив эту кружку, сказал громче, чем обыкновенно:

– Кельнер, прошу сосчитать!

Карл мужественно сказал:

– Кельнер, за эту кружку я плачу. Еще одну господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

– Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет моя милая Амальхен.

При воспоминании о милой Амальхен голос гофлиферанта дрогнул, и в его глазах блеснули светло-желтые слезинки. Карл сказал:

– Дядя, за эту кружку я заплачу.

Гофлиферант остался. И еще. И еще. И еще.

Наконец в двенадцать часов ночи, когда кафе закрывалось, и когда все добрые граждане богоспасаемого города Кельберга уже мирно спали в своих кроватях, под своими теплыми пуховыми одеялами, вместе со своими добродетельными женами, гофлиферант вышел на площадь, поддерживаемый Карлом. Карл хотел было проводить его до дому, но гофлиферант решительно этому воспротивился. Он говорил:

– Гейнрих Шлейф всю жизнь твердо стоял на своих собственных ногах, и не нуждается ни в чьей помощи. Я дойду один, а ты иди домой. Нехорошо молодому человеку возвращаться домой очень поздно. Твоя почтенная хозяйка, госпожа Клара Фрейман, может подумать о тебе дурно, а если это повторится, то она перестанет держать тебя у себя на квартире.

И на углу Карлплаца и Карлштрассе простился с гофлиферантом, и отправился домой, в свою скромную коморку на окраине города, на Нахтигальштрассе. По дороге предавался он грустным размышлениям о дядиной непреклонности и сладостным мечтаниям об очарованиях прелестной и невинной Гульды.

Гофлиферант шел привычной дорогой по Карлштрассе. Шаги его были очень нетверды.

Скоро пришел он на Кайзерплац, обширную площадь со статуей императора. Пять улиц выводили на эту площадь: справа от Карлштрассе – Вильгельмштрассе, где была контора и магазин гофлиферанта; слева – Фридрихштрассе; через площадь – Альбрехтштрассе и Альбертштрассе.

Перейдя через площадь и обогнув памятник, гофлиферант направился по одной из этих улиц, и скоро добрался до дома под номером седьмым. С трудом взобрался он по внешней лестнице к дверям своей квартиры, при чем его удивило, что лестница стала как будто повыше на одну ступеньку. Но скоро он сообразил в чем дело. Он подумал:

«Я выпил сегодня больше одной кружки пива, и это подействовало на мои ноги, но не на мою голову. Всегда я вхожу правой ногой на первую ступеньку, левой на вторую, правой на третью, и так далее все шесть ступеней. Но сегодня одна из моих ног ступила на ступеньку, где уже стояла другая нога, и вот почему я насчитал семь ступенек. Нет, – думал гофлиферант, – в моем доме шесть ступенек, а семь ступенек – это в доме господина ратмана Вильгельма Шпицера, тоже номер семь, но на другой улице, на Альбертштрассе».

Гофлиферант достал из жилетного кармана ключ от входной двери. Долго возился он, ключ долго не хотел входить в скважину. Наконец что-то щелькнуло в пружине замка, дверь заскрипела и отворилась.

Гофлиферант с досадой подумал, что служанка Гертруда не исполняет своих обязанностей и уже давно не смазывала петель двери. Он пошарил по стене, повернул выключатель, и глянул на себя в зеркало.

– О! – сказал он, укоризненно покачивая головой, – старый Гейнрих, ты очень красен. Не годится тебе пить больше одной кружки, хотя бы ты за лишнее пиво и не платил ни пфеннига. Это вредно для твоего здоровья.

В соседней комнате послышалось шлепанье туфель. Гофлиферант умилился. Он воскликнул:

– Моя Амалия не спит и ждет своего старого Гейнриха! И его широко-улыбающееся лицо обратилось к двери.

Чей-то грубый голос за дверью спрашивал:

– Кто там разговаривает так поздно ночью?

Гофлиферант испугался и подумал:

«Амалия сердится и говорит поэтому низким голосом. Она спросит: что ты смотришься в зеркало, как молодая девушка? Зачем ты для этого тратишь электричество, которое стоит так дорого?»

Гофлиферант погасил свет, и поспешил в комнаты. Но к его ужасу и негодованию на пороге встретил его господин ратман Вильгельм Шпицер, в домашней куртке и в туфлях, такой же толстый и такой же красный, как и гофлиферант.

Гофлиферант воскликнул:

– Господин ратман!

Ратман воскликнул:

– Господин гофлиферант!

И оба воскликнули одновременно:

– Как вы сюда попали?

И оба они ответили одновременно:

– Я у себя дома!

И опять оба в одно время воскликнули:

– Это – мой дом!

И в это время в души их обоих закрались мрачные подозрения.

Гофлиферант воскликнул:

– Моя Амалия!

Ратман воскликнул в тот же миг:

– Моя Берта!

– Вы идете от моей Амалии! – говорил гофлиферант.

– Вы идете к моей Берте! – говорил ратман.

И оба они воскликнули одновременно:

– Не употребляйте имени вашей несчастной почтенной супруги, которую вы обманываете с чужой женой.

– Прошу вас удалиться из моего дома! – воскликнули оба они одновременно.

И наконец свет истины озарил голову гофлиферанта, – над головой ратмана он увидел люстру. Такая же точно люстра, как и у гофлиферанта, но лампочки заключены не в шарообразные футляры льдистого стекла, как у гофлиферанта, а в футляры многогранные, хотя стекло такое же точно.

Гофлиферант в ужасе воскликнул:

– Как я сюда попал!

Ратман отвечал:

– Я не знаю, как вы сюда попали, господин гофлиферант. Но я бы желал знать, как вы сюда попали, и что вы здесь ищете в такое позднее ночное время.

Гофлиферант говорил, весь красный от пива и от смущения:

– Я отворил дверь моим собственным ключом! Я думал, что я на Альбрехтштрассе номер семь.

Ратман отвечал:

– Вы на Альбертштрассе номер семь, господин гофлиферант, и вы отворили мою дверь своим ключом. Я не буду удивляться, если окажется, что мой замок сломан.

Гофлиферант спросил:

– Но почему же вы это думаете?

Ратман отвечал:

– Мой замок имеет свой ключ, и чужим ключом он не может быть без повреждения отворяем.

Гофлиферант подумал, что ратман слишком мрачно смотрит на положение вещей. Необходимо проверить это немедленно, чтобы потом Ратман не вздумал говорить о том, чего не было. Гофлиферант сказал:

– Мы должны это посмотреть, господин ратман.

Ратман запальчиво ответил:

– Мы его посмотрим сейчас же, господин гофлиферант.

Оба отправились в переднюю, и там без труда убедились в том, что замок сломан. Ратман сердито поглядел на гофлиферанта, и воскликнул:

– Господин гофлиферант!

Гофлиферант пожал плечами, развел руками, и сказал:

– Я очень извиняюсь, господин ратман, за повреждение вашего замка, произведенное мной без умысла, и я уплачу, что следует, за починку замка.

– Хорошо, – сказал ратман. – Но мы должны это обсудить. Пожалуйста в мою гостиную, господин гофлиферант.

Вошли опять в гостиную. Послышался за дверью тревожный голос Берты Шпицер:

– Вильгельм, с кем ты разговариваешь так поздно?

Ратман отвечал.

– Не беспокойся, Берта, это господин гофлиферант Шлейф. У нас с ним деловое совещание.

– В такой необыкновенный час? – с удивлением спросила Берта.

– Дела всегда дела, – сказал ратман. – Иди, Берта, через десять минут я вернусь к тебе.

За дверью послышались удаляющиеся шаги Берты. Ратман повернулся к гофлиферанту, и, указывая ему на кресло, сказал:

– Итак, господин гофлиферант?

Гофлиферант сел на указанное кресло, и, утирая платком выступивший от волнения пот, говорил:

– Я пришлю завтра к вам слесаря...

Ратман перебил его.

– Извините, господин гофлиферант, но это очень неудобно, чтобы вы чинили замки в моем доме. Это подаст повод к разным неприятным слухам. Да и к чему вам беспокоиться? Я сделаю это сам, а вы уплатите мне сейчас в возмещение моих убытков некоторую сумму денег.

Гофлиферант отвечал:

– В вечернее время я не ношу с собой лишних денег. В моем кошельке находится сорок пфеннигов, но этого, я думаю, мало за починку такого хорошего замка.

Ратман сказал спокойно:

– Вы дадите мне вексель.

Гофлиферант воскликнул с удивлением:

– Вексель! На такую сумму! Я завтра же пришлю вам, что следует.

– Я желаю иметь пятьсот марок, – невозмутимо сказал ратман.

Он сел против гофлиферанта, сложил руки на животе, и спокойно смотрел на своего незванного гостя.

– Господин ратман! – воскликнул гофлиферант.

Ратман говорил:

– Я сказал Берте: дело. Что же я скажу, если она спросит: что же тебе дало это дело, за которым ты лишил себя ночного отдыха?

Гофлиферант растерянно говорил:

– Это невозможно, господин ратман!

Ратман сказал решительно:

– Господин гофлиферант, я мог бы сделать большой скандал. Но я его не делаю из уважения к вам.

Гофлиферант понял, что спор бесполезен. Он бросил на ратмана негодующий взгляд, и сказал с тихой злобой:

– Давайте бумагу, я пишу вексель на триста марок:

– Пятьсот, господин гофлиферант.

Пришлось гофлиферанту писать вексель на пятьсот марок.

III

На другой день, когда Карл сидел в своей конторе, ему сказал конторский мальчик в курточке с бронзовыми пуговками и с узкими галунчиками:

– Господин Шлейф, к вам пришел мальчик от господина

гофлиферанта Шлейфа.

Карл взял с ясеневое пенька над конторкой котелок, и вышел на улицу, где его ожидал другой мальчик с такими же галунчиками и пуговками. Карл надел котелок, мальчик снял фуражку с галунами, поклонился и сказал:

– Добрый день, – господин Шлейф.

Карл сказал:

– Добрый день, Фрицхен. Что скажешь?

Фрицхен отвечал:

– Господин гофлиферант просит вас пожаловать вечером в девять часов в кафе господина Баумвальда.

Карл подумал, поглядел для чего-то на часы, кинул взгляд вдоль улицы, и наконец сказал:

– Скажи господину гофлиферанту, что я приду.

Мальчик опять поклонился, надел фуражку, и пошел к Карл-плацу спорой походкой хорошего посланного мальчика, не тихо и не скоро, не останавливаясь перед витринами хороших магазинов с хорошими и дешевыми товарами. Карл же вернулся в контору, к своей конторке. Он думал:

«Гофлиферанту понравилось пить мое пиво. Хорошо, пусть пьет, мне не жалко, я могу сделать экономию на другом. Но я бы хотел, чтобы мои деньги и мое время не пропали даром, и чтобы гофлиферант согласился на мой брак с Гульдой. Он должен понять, что я имею свой расчет в жизни и что хорошая жена полезнее для хозяйства, чем хорошее приданое, которое можно все растратить на прихоти избалованной в богатстве жены».

IV

Вечером в кафе Карл усердно хвалил Гульду. Гофлиферант молчал. Когда третья кружка подходила к концу, гофлиферант сказал:

– Госпожа Гульда Кюнер – хорошая девушка, и она получила хорошее место в городе.

И замолчал. Карл еще ревностнее продолжал хвалить свою возлюбленную.

Допивая четвертую кружку, гофлиферант сказал:

– Вчера я долго шел домой, и по дороге успел подумать о многом. Я, гофлиферант Гейнрих Шлейф, заблудился и пошел не по настоящей дороге. Я долго думал и понял, что всякий человек может один раз в жизни сделать ошибку, только надо, чтобы ему было чем заплатить за эту ошибку.

Карл сказал:

– Дядя, я еще не сделал ошибки.

Гофлиферант возразил:

– Нет, Карл, ты сделал ошибку уже тогда, когда влюбился в бедную девушку. И вторую ошибку ты сделал, когда ты дал ей надежду на брак с тобой. Но у тебя, Карл, будет чем заплатить за твои ошибки, – я решил дать свое согласие на твой брак с Гульдой.

Карл засиял. Он думал:

«О, мои расходы не пропали даром!»

И воскликнул:

– Кельнер, еще одну кружку господину гофлиферанту, и одну также мне!

Гофлиферант говорил:

– У Гульды Кюнер нет денег, но я на свой счет сошью ей все, что надо для молодой девушки, выходящей замуж. Скажи ей, Карл, пусть она завтра же идет к госпоже Пельцер, – я уже сказал, чтобы госпожа Пельцер сняла с нее мерки для белья. И оттуда пусть она идет к госпоже Шварц, которая сошьет ей платья, и к господину Крюгеру, который сделает ей башмаки. И потом пусть она идет в мою контору, где ей дадут еще триста марок на прочие мелкие расходы.

Карл прослезился и воскликнул:

– Благодарю вас очень, дядя, очень благодарю. Господь Бог вознаградит вас за ваше великодушие и за вашу щедрость!

– О! – воскликнул гофлиферант, – я платил за мою ошибку, я буду платить за твою ошибку; мои клиенты в некультурной России заплатят за наши ошибки.

ОТРАВА

I

Волнуясь сдержанно и прилично, Скрынин ходил взад и вперед по застекленной и уже утром жаркой веранде. Его волнение выражалось только в пожимании узких плеч, в иронических усмешках бледноватых губ, в преувеличенной томности негромкого голоса.

Елена сердитыми глазами смотрела на мужа и прижималась к спинке углового плетеного диванчика, словно ей было холодно. Ее темно-синие глаза казались почти черными, и брови были так нахмурены, что казались, и без того густые, вдвое гуще.

Они ссорились, как часто это бывало в последние два года. Повод к ссоре был ничтожен, и через пять минут неприятного разговора уже оба позабыли, из-за чего это началось. Муж был, как всегда, безукоризненно и отвратительно прав. Елена, по обыкновению, капризничала, и все слова ее были жалкими и неумными.

Скрынин спросил, уже не первый сегодня раз:

– Я не понимаю, чего же ты, Елена, наконец, хочешь!

Иронический взгляд, пожимание плеч вкривь, так, что левое плечо становилось гораздо выше, презрительно-томный голос, – все, что уже давно почти до бешенства раздражало молодую женщину. Она судорожно уцепилась пальцами за локотники диванчика, так что они протяжно заскрипели.

С тихой злобой, едва удерживаясь от крика, Елена говорила:

– Что я хочу? О, вопрос очень умный, как все, что вы говорите.

– Не вижу никакой прелести в том, чтобы говорить глупости, – возразил Скрынин.

– По вашему, я в этом вижу прелесть, – говорила Елена. – Ну да, я – глупая, глупая. Чего я хочу? От вас, от себя, от жизни, – чего хочу? Как же я могу это знать!

– Кто же другой за тебя это может знать? – иронически спросил Скрынин.

– Тот, кто спрашивает, – решительно отвечала Елена.

И глаза ее гневно засверкали, когда она говорила:

– Тот, кому я отдала зачем-то мою жизнь, какие-то права на

меня. Даром отдала, чтобы он ничего не знал обо мне. А я что ж! мечусь, как слепая бабочка. И что будет со мной, не знаю. Обколачиваюсь об тебя, как о каменный столб.

– Благодарю за лестное сравнение! – иронически кривя губы, сказал Скрынин. – Чрезвычайно образный способ выражения! Похожа на бабочку, нечего сказать!

Он окинул жену презрительным взором: едва одетая, растрепанная. Как вскочила с постели, кое-как набросила что-то на себя, кое-как подколола шпильками волосы, так и вышла сидеть сюда, где всякий, вошедший в сад, может увидеть ее. Очень опустилась за последнее время, – думал Скрынин. – Совсем за собой не следит.

Скрынин прежде говорил об этом Елене. Теперь же он старался и не замечать всего этого беспорядка, чтобы не возникло лишних неприятностей. Доволен был уже и тем, что при гостях и в людях Елена подтягивалась.

Елена знала, что в эту минуту думает о ней муж. Презрительно и злобно смотрела на него. Он весь был в белой фланели, точь-в-точь одет, как на рисунке летнего выпуска английского журнала мужских мод.

Елена говорила:

– Не могу понять, где у меня были глаза, когда я выходила за вас замуж. Вы не живой человек, вы – ходящая и рассуждающая машина, вы – какой-то отвлеченный, надуманный кем-то интеллигент. Душно мне с вами, воздуху для моей души не хватает.

Елена засмеялась хрупким, слишком звонким смехом. Сделала над собой усилие, чтобы не смеяться, и продолжала:

– Все почему-то на память стихи приходят:

«Душно в Киеве, как в скрыне.
Только киснет кровь»...

И вдруг вскочила и закричала истерически:

– Вы, Николай Константинович, дождетесь того, что я вас убью, отравлю, зарежу!

И бросилась бежать в сад, порывистым толчком распахнув стеклянную дверь. Скрынин, пожимая плечами, смотрел вслед за ней. На его желтое лицо, легло кислое выражение, и от крыльев горбатого носа к углам тонко-губого рта, протянулись вялые складки. Но, не давая себе времени распускаться в ненужных размышлениях, он деловито взглянул на карманные часы, позвонил, распорядился, чтобы приготовили экипаж, и пошел в свой кабинет собирать бумаги для поездки в город.

II

Елена добежала по хрупко-песочным дорожкам до ограды сада. С разбегу оперлась руками и грудью о невысокую изгородь. Испуганными, зоркими глазами смотрела на редкие, убывающие под солнцем радужки росинки на скошенном лугу и на деревья недалекого леса, мглисто-синеватого. Сердце билось быстро, в голове настойчиво повторялись все одни и те же самоукорные мысли:

«Зачем я это ему сказала? Надобно было молчать, в себе таить, носить мысль, как ребенка. Теперь он, пожалуй, вздумает беречься, и я ничего не смогу сделать. Да, еще и Пасхедин может проболтаться. Ах, зачем, зачем я ему это сказала!»

Наконец Елена решилась поправить дело, – пошла мириться с мужем. Шла тихонько, улыбаясь солнцу, радовалась левкоям благоуханным и бездыханно-ярким макам и думала:

«Достаточно сказать ему несколько ласковых слов, и он мне поверит. Себе поверит, не мне. До сих пор воображает, что он неотразим, – и пусть воображает.»

III

Скрынин уже готов был ехать в город, – в этом году у него и летом были в городе какие-то очень интересные дела, – когда в его кабинет вошла Елена, Скрынин посмотрел на нее с удивлением, – он уже приготовился к тому, что придется уехать, не повидавшись с женой.

У Елены было нежное и виноватое выражение лица, и потому она казалась теперь невинной и молодой, как до свадьбы. Скрынин обрадовался, – он не любил ссор, – и лицо его озарилось улыбкой, почти не кислой.

Елена подошла к нему близко, положила на его узкое, костлявое плечо тонкую загорелую руку, глянула прямо в его темные большие глаза с фиолетовыми подглазниками своими невинно-синими глазами, и голосом рассудительного ребенка заговорила:

– Николай, не дуйся, пожалуйста.

– Но я и не дуюсь, – возразил было Скрынин.

Но Елена тотчас же перебила его:

– Пожалуйста, не спорь. Нельзя постоянно спорить. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ты сам всегда начинаешь первый...

– Елена это ты начинаешь.

– Пожалуйста, не спорь. Ты доводишь меня до того, что я сама не помню, что говорю. Пожалуйста, ты не вздумай, что я серьезно хочу тебя убивать.

– Да я и не думаю.

– Нет, ты скажи, неужели ты считаешь меня способной на это?

Скрынин отвечал смущенно:

– Ну, что ты, Елена! Конечно, я этого не думаю. И не имею никаких оснований для этого.

– Как никаких! – возразила Елена, хмурясь. – А мои собственные слова?

– Елена, – сказал Скрынин, – ты в последнее время раздражаешься по пустякам.

– О, пустяки!

– У тебя нервы в самом ужасном, и невозможном состоянии. Тебе необходимо серьезно лечиться, положительно необходимо.

Как все люди без темперамента, Скрынин наибольшую убедительность речи полагал в механическом повторении слов.

Елена опустила глаза. Лицо ее приняло упрямое выражение. Она безнадежно сказала:

– Ну, что же мне лечиться! Это бесполезно. Хоть бы один ребенок у меня был. Тогда бы у меня и нервы были в порядке. Ты сам это знаешь.

Скрынин пожал плечами и заторопился уезжать. Елена опять стала нежной и ласковой, и сказала:

– Не будем ссориться. Нет и нет, и не надо. Меньше забот.

Когда Скрынин сел в коляску, и лошади пошли с места легкой, спорой рысью, Елена стояла у калитки в саду и темными от

ненависти глазами смотрела на уносящуюся в плавном дымно-синеватом облаке пыли коляску.

IV

Так Елена ненавидела мужа, того самого человека, в которого молодой девушкой страстно влюбилась, которого любила нежно и преданно, и с которым благополучно прожила несколько лет. Причин для ненависти не было, — так думали все близкие, вся многочисленная родня его и ее. Брак был счастлив, — так думали все знакомые.

Одно разве, что детей не было. В первые годы замужества Елена и не хотела иметь детей, — это мешает выездам и светским утомительным удовольствиям. Потом ей захотелось детей, — хоть одного ребенка. Уже ей показалось, что это очень забавно и занятно, и дает в свете какую-то особенную значительность. Но дети не рождались.

Наконец, уже Елена начала думать, что Скрынин на то и рожден, чтобы стать последним в своем роде. Черты сухой душевной бесплодности все яснее для Елены обнаруживались в нем. Он казался ей похожим на смоковницу, не давшую плода вовремя и за то иссохшую.

Ревновать его Елене не приходилось. Он был одинаков со всеми знакомыми дамами и девушками. Никаких других причин к неудовольствию она тоже не могла бы назвать.

Скрынин дома был мил, нежен и корректен, в людях был со всеми вежлив, внимателен и корректен, в службе и в деловых отношениях был отлично поставлен, удачлив и корректен. Не за эту же всегдашнюю и неизменную корректность ненавидеть человека!

А между тем именно эта корректность, эта сдержанность превосходно воспитанного человека и была тем свойством на котором сосредоточились Еленины ненавидящие чувства. Стоило ей закрыть глаза и представить себе Скрынина во всей его блистательной безукоризненности, — в его всегда безукоризненном костюме, с его безупречными манерами, с его бесспорной всегда и во всем правотой, — и тотчас ненависть начинала больно и жутко сжимать ее сердце, болью чисто телесной отзываясь в нем.

Как отчетливо научилась она представлять себе Скрынина! Белизна фланели на его летнем костюме, матовость светло-серой обуви, ровный лоск двух одинаковых полушарий гладкой прически по обе стороны диаметрального пробора, бриллиантин подкрученных кверху усов, аккуратная лопаточка черной бородки, непомерно-точная гармония галстука всему прочему, лоснящийся крюк элегантной тросточки на прямоугольном стиге локтя, — о, постылое, постылое!

Глаза бы не видели этой томности движения, этой матовости горбоносого лица, этой усталой ласковости взгляда! Уши бы не слышали этих томных, упдающих интонаций, этой легкой, вкрадчивой походки! Чтобы не быть на него похожей, хотелось делать резкие движения, румянить щеки, смотреть жестоко, говорить громко, ходить стуча каблуками, шаркая подошвами, одеваться кое-как, назло ему! Чтобы ничто в ней ему не правилось, чтобы все раздражало, чтобы и он чувствовал эти бешеные укусы злобы. Пусть ненавидит, пусть теряет голову от ненависти, пусть уьет!

Лучше не жить! Ей или ему, — лучше не жить. И пусть другой всю жизнь радуется, что освободился, — если только после такой

ненависти можно радоваться.

Такая ненависть! Убила бы, убила бы! Увидеть бы труп, сделанный ей из этого человека, – о, как забилось бы тогда ее сердце!

Мечта о смерти мужа целый год томила Елену, как мечта об избавлении от тягостного кошмара. Все сильнее день ото дня злоба давит грудь, – сбросить бы, сбросить бы эту тяжелую ношу! Так облегченно вздохнет грудь, истомленная тесными сжатиями голодной злобы!

V

С настойчивостью маньяка Елена целый год придумывала средства достать сильно-действующий яд. Револьвер у нее был издавна, – подарок в девические годы от одного мрачно настроенного родственника. Он всегда хранился Еленой в полной боевой готовности. Но к этому способу убийства Елена не хотела прибегать. Ей было тошно думать о том, что ее посадят на жесткую скамью подсудимых, что кто-нибудь из бывавших в их доме товарищей прокурора станет говорить о ней дерзкие слова, и что мужики-присяжные, вздыхая и сопя в душной, неприятно-пахнущей зале, будут смотреть на нее, как на злую бабу, которая убила мужа из шалой ярости. Разве все эти люди могут понять то, что творится в Елениной душе!

Достать яд, – вот что стало Елениной мечтой. Она долго уговаривала знакомого милого врача, доктора Заражайского.

– Револьвер у меня уже есть, – говорила она, – а вы, доктор, дайте мне яд.

Заражайский удивлялся и спрашивал:

– Зачем это вам понадобилось, милая Елена Алексеевна? Ваш Николай Константинович ни за кем, как будто не ухаживает, стало быть, разлучницы у вас нет. Кого же вы травить собираетесь?

– Это мне надо для себя, доктор, – говорила Елена, – ведь я же вам говорю, для себя.

Заражайский посмеивался, поглаживал густую черную бороду и говорил:

– Не смею этому верить, дражайшая Елена Алексеевна, – хоть убейте, не смею верить. Жизнь вам очаровательно улыбается, дом у вас – полная чаша, как говорится, муж вас на руках носит... От такой жизни, как показывает статистика, обыкновенно не травятся.

– Счастье может пройти, – говорила Елена, – я его не переживу, моего счастья. Как же мне тогда быть? Прикажете мне под трамвай броситься? Но ведь это ужасно больно!

– У вас есть револьвер, – ответил доктор, – чик! И готово!

– Но я боюсь стрелять, – возражала Елена. – Если неудачно выстрелить, это тоже будет довольно безрадостная история. Только яд верно действует.

– Ну, это зависит от дозы.

– Вы мне укажете дозу, дорогой доктор. Я вас умоляю, милый, добрый доктор – дайте мне яду на черный день. Я спрячу его, и буду хранить, и у меня будет та радость, что всегда, в любой момент, если жизнь станет для меня нестерпимой, я смогу легко и спокойно уйти из нее.

Как Бога, молила усмехавшегося Заражайского, плакала горько, на коленях перед ним стояла. Наконец, Заражайский согласился. В самом начале этого лета, накануне отъезда на дачу, Заражайский

принес в маленьком стеклянном флакончике белый порошок.

Елена усиливаясь казаться совершенно спокойной, рассматривала странный подарок. Пробка притерта, тонким пузырем затянута, толстой ниткой по пузырю перевязана, на этикете череп изображен и надпись я д крупными буквами. Флакончик вставлен в картонный футлярчик, и на футлярчике надпись: «Хранить в сухом месте». Все очень серьезно.

Хотя они были одни, Скрышина не было дома, но все-таки Заражайский говорил тихо, озираясь боязливо по сторонам:

– Ну вот, Елена Алексеевна, принес вам опасную игрушку, взял грех на душу. Целую семью отравить можно. Смотрите, милая барынька, не подведите вы меня. Вот принес, старый дурак, а у самого душа не на месте. Вот уж истинно говорится, что женщина сильнее черта. Нет, вы не смейтесь, это так. Где черт не может соблазнить человека, туда он шлет очаровательную даму, – и дело в шляпе.

Елена слушала, и становилась все тревожнее. В суетливых движениях Заражайского и в его торопливом полупшепоте Елена чувствовала какое-то лукавство. Она решила в самом скором времени проверить Заражайского, – отравить его ядом дачную дворовую собаку.

Проснувшись рано утром от необыкновенного ощущения тишины и свежести за уже открытым горничной окном, Елена принялась за флакончик. Долго билась с притертой пробкой. Кое-как открыла. Взяла большую щепотку белого порошка, закатала его в хлебный шарик, и, проходя мимо Полкановой будки, дала Полкану шарик. Почувствовав на своей руке влажное и горячее прикосновение Полканова языка, Елена поспешно пошла из ворот усадьбы. Долго гуляла она в парке, почти одна, – настоящий дачник, гуляющий и ухаживающий, в этот час еще спит.

Вернулась домой, заглянула к Полкану, – Полкан хоть бы что. И завтра, и послезавтра Елена ходила к нему наведываться, – здоровехонек.

Елена долго плакала от бессильной злости и от досады.

VI

Наконец уже в середине лета Елене удалось добыть то, что ей так долго мечталось.

На одной из соседних дач одиноко жил молодой, но уже унылый пессимист. Он был литератор, считал себя гениальным и терзался тем, что люди не замечали его гениальности. Неудовлетворенное самолюбие диктовало ему не очень складные, но очень сердитые критические статьи. Разговаривая со знакомыми дамами, унылый литератор намекал недвусмысленно, что на днях лишит себя жизни.

– Я всегда имею наготове яд, – говорил он.

Милые, доверчивые дамы ахали и умоляли его остаться в живых. Эти нежные дамские уговоры были главной прелестью жизни унылого литератора.

Фамилия его была Пасходин, а в мыслях Елениных, он носил длинный титул «Тоска и скука». Долго Елена не обращала на него никакого внимания. Но как-то раз, встретясь в парке, они разговорились.

Пасходин заговорил о самоубийстве. По жестким интонациям его голоса и по змеиному блеску тяжело уставленных глаз Елена догадалась, что у Пасходина есть настоящий яд. Сладострастие

опасности почувяла она в словах Пасходина. Тогда она преодолела свое отвращение к унылому литератору и принялась спасать его.

Каждый день с утра начиналась та же скучная канитель уговоров.

– Вы – такой молодой, такой талантливый. Жизнь ваша так нужна для общества и для искусства. Вы так красивы, так достойны любви. Наконец, я не хочу, – слышите ли? – не хочу, чтобы вы умирали. Умирать теперь, когда вся жизнь перед вами, – что за безумие! Отдайте мне ваш яд, я его выброшу.

Утром, днем, вечером. Чтобы выслушивать все эти очаровательные уговоры, Пасходин каждый день приходил к Скрыниным завтракать или обедать, играть в теннис или читать новый роман.

Сохранить свою жизнь он кое-как согласился. Но отдать яд! Долго отнекивался Пасходин. Наконец, Елена осторожно сказала:

– Если вы потеряли ваш яд, то я очень рада.

Пасходин вспыхнул. Она ему не верит! И на следующий же день он принес яд. Видно было, что его захватило желание показать яд и позабавиться более сильной степенью страха и сочувствия. Может быть, он и не хотел отдавать яд. Да Елена почти вырвала флакончик у него из рук и унесла к себе в спальню. Пасходин устремился за ней, но она перед самым его носом захлопнула дверь и задвинула задвижку. Когда через несколько минут она вышла к Пасходину, у нее было веселое, оживленное лицо.

VII

Вот, у Елены в руках яд. Опять такой же красивый флакончик и такой же сахарно-белый порошок. Может быть, опять обман? Ну, что же, испытать не трудно.

На этот раз быстрая судьба Полкана доказала действительность яда. Прислуга дивилась, кому понадобилось отравить Полкана. Несколько ночей провели тревожных, ожидая нашествия грабителей. Поторопились завести нового сторожевого пса. О Полкане потужили, да и позабыли. Дольше всех память о Полкане горька была Елене.

Бедный, невинный Полкан, раб и друг преданный и верный, всю свою собачью душу влагавший в служение властям кормящим! О, противные люди! Вам нельзя верить на слово, вас надобно постоянно проверять.

VIII

На другой же день Пасходин пришел к Елене и принялся клянчить. Уставя в Елену тяжелый взгляд («Точно Грушницкий», подумала Елена). Пасходин заговорил патетическим тоном:

– Елена Алексеевна, отдайте мне мой яд! Я не хотел отдавать вам мой яд. Вы воспользовались минутой моей слабости, и вырвали у меня из рук мой яд. Это недостойно интеллигентной женщины. Если бы вы были мужчиной, я бы сказал вам, что вы поступили нечестно. Отдайте мне мой яд! Я не могу жить без моего яда.

Елена сначала слушала молча, потом засмеялась, посмотрела на Пасходина прищуренными глазами, и сказала:

– Неужели вы будете глотать эту мерзость?

Пасходин пожал широкими, тупыми плечами, точно от холода поежился, и молвил томным голосом, противно похожим в эту минуту

на голос Скрынина.

– Отдайте мне мой яд!

– Что это вы все одни и те же слова повторяете! – сказала Елена. – И что вам яд? Ведь это же уже ужасно неэстетично – глотать какой-то порошок, точно соль или сахар. Я думала, что это делается как-нибудь красивее. Порошок прилипнет к губам, к языку, – противно.

– Я не буду глотать мой яд, – отвечал Пасходин, – у него противный вкус. Я растворю его в каком-нибудь вине, в мадере или в токайском, – лечебное токайское, шесть рублей за бутылку, – и выпью чашу яда. Отдайте мне мой яд!

– Я не могу этого сделать, – сухо сказала Елена – я выбросила ваш яд.

Пасходин побледнел.

– Куда? куда вы его бросили? – с боязливой тоской спрашивал он.

– В реку, – сказала Елена, – ходила гулять, и выбросила.

И она засмеялась громко и неудержимо, забавляясь испугом Пасходина.

– Что вы сделали! – воскликнул он. – Вы отравили всю воду. Теперь мы все умрем.

С того дня целую неделю Пасходин пил только минеральную воду и ничего не ел, кроме привезенной из города разной сухомятки.

Зато Елена теперь узнала, как следует употреблять яд. Надобно растворить его в вине. И надобно сделать это так, чтобы ей самой не пришлось пить этого вина, и чтобы никто другой, кроме Скрынина, его не выпил. И вот оказалось, что это не так-то легко устроить.

Дома Скрынин пил мало вина: пил то же вино, что и Елена. Пил иногда перед обедом немного водки, но не каждый день, а по настроению, и больше при гостях, так что водка могла попасть кому-нибудь другому. Притом же, если отравить целый графин, зная наперед, что чужих в тот день не будет, то потом трудно вылить быстро оставшееся в графине, когда в яде уже не будет надобности и когда придется уничтожать улики. Если растворить яд в небольшом количестве водки, на дне графина, то водка, пожалуй, помутнеет и даст осадок.

Елена ждала случая. Сегодняшняя ссора с мужем и внезапно вырвавшаяся у нее угроза, казалось ей, заставляют ее быть особенно осторожной.

IX

В тот самый день, когда Елена утром ссорилась с мужем, потом она, в яростно-злойный час послеполуденный сидела в лесу на высоком, кустарниками поросшем, берегу быстрой речки. Елена уже с самого начала лета облюбовала это место, верстах в трех от дачи. Сюда никто из дачников не ходил. Сюда и быстроногие мальчишки, деревенские и дачные, почти никогда не забредали, – место было далекое и ни для кого не приманное, даже для маленьких босоногих шалунов, которые, впрочем, только кажутся быстрыми и подвижными, а на самом деле точно росли в родную землю невидимыми корешками.

Скоро стало милым для Елены это место, эта очарованно-дикая чаща. Так милым стало, что иногда Елена думала:

«Должно быть, это не спроста. Наверное, здесь случится со мной что-нибудь значительное. Счастливое? доброе? – не знаю. Вернее, не доброе и не злое, – что-нибудь стихийное и настоящее, более подлинное, чем вся моя всегдашняя жизнь».

Часто уйдет сюда Елена, и сидит часа два, три, мечтая невинно и страстно по-девически и опять ощущая в себе непорочную, таинственно-жесткую душу девочки.

Река мчит пенистые волны, плеща их о прибрежные камни. Прохлада поднимается от реки, болтливая, но все же тихой. А в лесу сладкий дух и легкий, и вечная дремота жизни без сознания. Над рекой воздух прозрачен и струист, в лесу мглисто и нежно-зелено. И все во всем так очаровательно невинно.

Успокоение легкое и забвенное, разымчивый хмель покоя, – вот чем сладостно было это место для Елены. Но сегодня Елена и здесь не почувствовала обычного лесного успокоения. Чары лесные сегодня стали необычайно тревожны. Внятная злость щемила Еленино сердце, – та странная степень злобы, которая похожа на голод.

Охватив колени руками, Елена сидела на мшистом берегу, покачиваясь взад и вперед. Глаза ее были темны. Она смотрела на деревья за рекой и, не видя ни одного из них, шептала злым голосом:

– Отравлю! Отравлю!

Странное дело, – злоба обыкновенно искажает человеческие лица, и даже красивое лицо делает безобразным отвратительным. Елена же, и злая, была очень красива в этот день, хотя особенно красотой никогда не отличалась. Все, и дикий блеск ее темно-синих, почти черных глаз, и яркий румянец смугло-загорелых щек, и ее резко-заломленные, стройные, голые руки, и красивый покррой одежды немного небрежной, все в Елене восхитило бы всякого, кто бы ее здесь увидел. Восхитило бы даже самого закоснелого хулигана.

В этот несчастный день как раз нашелся хулиган полюбоваться одичалой красотой Елены.

х

Какой-то чуждый природе звук вывел Елену из ее задумчивости. В то же время она почувствовала на себе чей-то противноклейкий взгляд. Елена вздрогнула и обернулась.

Недалеко от нее, выдвинувшись из-за куста, стоял молодой человек в грязной и изорванной одежде, сам очень грязный, до черноты загорелый и почему-то очень веселый. Елена не успела испугаться, и с любопытством всматривалась в молодого оборванца. Даже с некоторым удивлением отметила для себя, что ничего страшного нет. Очень красивый парень, гораздо красивее всех тех городских молодых людей, с которыми была знакома Елена: у тех ее знакомых были или вялые мускулы, или тупые лица. А с этого хоть статую лепить, – дневного, ликующего бога. На губах его зажглась улыбка, солнечно-радостная, и, казалось, что от нее должно пахнуть розами. За улыбкой сверкали зверино-белые зубы.

Елена подумала:

«Вот бы его одеть как следует, и с ним поиграть в теннис».

Елене стало весело.

Парень подошел к ней медленно, улыбаясь так же все широко, – совсем близко подошел, и остановился так у ее ног, топча редкий мох громадными, темными, как перевозданная земля, ступнями. И не

розами от него запахло, – потом и луком. Но и это не было Елене противно.

Елена, улыбаясь, спросила оборванца:

– Что тебе надо? Что ты тут стоишь?

Парень захохотал, искал слова.

– Шельма! Сахарная! – сказал он, наконец.

Елена нахмурилась, строго посмотрела на него, сказала:

– Да не для тебя.

– Захочу, и для меня будешь, тварь бело-сахарная, – отвечал оборванец.

Он задыхался часто и порывисто. Елена вскочила на ноги, и в ту же минуту оборванец накинулся на нее, левой рукой обхватил спину, а правой толкал в плечо, стараясь повалить ее. Елена отбивалась и кричала что-то. Оборванец, хрипя и дыша тяжело, говорил ей:

– Кричи, кричи, стерва, никто не услышит.

И вдруг закричал жалобно и тонко:

– Да не кочевряжься, размилашечка! Разве я тебе не человек?

Ай ты не баба?

Сквозь страх и остервенение борьбы, смех протиснулся в Еленину душу, и с ним дикая, звериная радость торжествующего тела. Елена вдруг почувствовала сладкое, томительное безволие. Она опустила руки, упала на мох, отдалась на волю безумного случая, точно в реку головой вперед бросилась.

Красивое, зверино-знойное лицо склонилось над Еленой. Глаза ее отразились в черной бездонности чужих, близких глаз. Резкий запах дурманящим облаком обвил ее. В сладостной, жуткой истоме Елена схватила голыми руками грязную, жесткую шею молодого босяка.

– Милый, милый! – шептала она.

XI

Когда страсть погасла в нем и в ней, они сидели рядом на земле, и разговаривали. Как будто были близки друг другу. Елена жаловалась на постылого мужа, босяк на то, что от деревни отбился, а в городе работы найти не может. Елена говорила нежно-звенящим голосом, называла босяка множеством, нежных имен и ласково гладила его по жестким взъерошенным волосам, – а он говорил хриплым сильным голосом, пересыпал свои слова непристойной бранью и называл Елену странными кличками, то размилашка, то стерва; только эти две клички и употреблял. Так как слово стерва, он выговаривал с мягким знаком после р, то оно, очевидно, казалось ему очень любезным и совершенно пригодным для выражения нежных чувств.

Елена сказала:

– Мне пора идти домой. Но я не хочу так с тобой расстаться. Я для тебя что-нибудь сделаю, помогу тебе пристроиться. Ты приходи сюда завтра в это же время. Я принесу тебе денег, и вообще подумаю, что можно для тебя устроить.

Парень усмехнулся широко. Спросил:

– А ты не врешь? Не обманываешь?

– Зачем же мне тебя обманывать! – возразила Елена.

– Зубы заговариваешь, чтобы я тебя отпустил, – объяснил парень. – Боишься, что придушу. Одежонку оберу, продам пропью.

Елена засмеялась.

– Не пугай, – сказала она, – я тебя не боюсь, ничуть. Ты

– не зверь, и душить меня тебе не за что. Одежонки на мне не много, сам видел, и продать ее тебе негде, сразу попадешься.

– Чего не продать! – сказал парень. Продать всегда можно.

– А водки я тебе сама завтра принесу, – продолжала Елена. – Ты мне нравишься. Ты – молодой, красивый. Я непременно хочу вывести тебя в люди. Непременно приходи сюда завтра.

Парень развалился на траве.

– Ладно, уж приду, – важно сказал он. – Только ты смотри, стерва, не вздумай сюда людей привести. Меня не сцапаешь, я хитер, а сама получишь ножом в брюхо.

Елена опять засмеялась.

– Уж больно ты грозен! – сказала она.

– Вот и грозен! – куражась, говорил парень. – Нашему брату с бабой валандаться нечего, придушил, да и дело с концом. Ну что, отпустить, аль душить?

– Отпусти, миленький, – сказала Елена, целуя парня.

– Проси милости, стерва! – закричал босяк. – В ноги кланяйся!

Елена покорно и неторопливо поклонилась в ноги босяку, и повторила:

– Отпусти, миленький. И на одежонку не зарься, грош тебе за нее дадут, я завтра принесу гораздо больше.

Босяк заставил Елену еще несколько раз кланяться ему в ноги, дал ей целовать свою грубую грязную руку, – Елена все это делала покорно, и это ощущение рабской покорности правилось ей.

Наконец, босяк сказал:

– Ну ладно, так и быть, помилую. Иди, а завтра водки принеси побольше. Не придешь, на дне моря найду.

Елена еще раз, уже по своей воле, поклонилась в ноги босяку и сказала:

– Спасибо, миленький, что отпустил, на одежонку мою не позарился. Так завтра не забудь прийти.

Потом поцеловала его в губы, и пошла от него прочь. Отойдя несколько шагов, остановилась, обернулась и крикнула:

– Миленький хороший бы из тебя старец вышел.

Засмеялась и побежала. Парень хохотал и выкрикивал грубые слова.

XII

Вечером, сквозь тюлевые занавески Елениной спальни процеживался желтовато-розовый свет. В озарении этого успокоенного света, напоминающего о том, что в этот час уже «ангелы-хранители беседуют с детьми», Елена всыпала Пасходинский яд в бутылку с принесенной ей водкой. Елена смотрела, как медленно таяли в синевато-прозрачной жидкости тонкие кристаллики яда. Легкий загар ее лица казался нежным в лучах успокоенного света. На лице ее лежала такая задумчивая, кроткая заботливость, точно это была нежная мать, приготовляющая вкусный напиток для любимого ребенка.

Елена вспоминала, как босяк в лесу называл ее стервой. Она улыбалась, точно вспомнила изысканно-светский комплимент молодого дипломата. И думала она:

«Ну, разве же я и в самом деле не стерва? На каторгу бы меня! Или на эшафот, под нож гильотины, – отрубили бы мне голову, чтобы вся моя кровь хлынула на землю! Да не узнают люди, ничего

не узнают».

Когда истаял последний кристаллик яда, Елену вдруг потянуло выпить этот отравленный напиток. Она поднесла горлышко бутылки к губам, и стала медленно приподнимать ее дно. Но едва только слащавая, жгучая жидкость смочила Еленины губы, Елене стало противно и страшно. Она поставила бутылку на стол, и стала прислушиваться к своим ощущениям.

Горло ее сжималось, поздри трепетали от противного запаха, ноги дрожали. Если бы не стул близко, Елена упала бы на пол.

Она сидела, прижимаясь к спинке стула, смотрела прямо перед собой напуганными глазами и думала, что уже отравилась, и что сейчас умрет.

Но это неприятное ощущение судороги в горле скоро прошло. Только еще сердце долго продолжало биться быстро и неровно.

XIII

На другой день после завтрака Елена собралась на свою обычную уединенную прогулку. Она повязала голову красным шелковым платочком и, поглядевшись в зеркало, нашла, что это к ней очень идет. И точно, в платочке она была чрезвычайно мила. В руки Елена взяла плетеную корзинку с дужкой и с прикрепленной веревочками крышечкой. В этой корзине еще с вечера были припрятаны Еленой жареная курица в бумажке, сверток с пятком маленьких свежепросоленных огурцов и бутылка отравленной водки. Еще раз кинув на себя взгляд в зеркало, Елена улыбнулась своему отражению и отправилась в лес.

Скрынина в тот день с утра не было дома, — все дела, и все неотложные! А Пасходин в последнее время не приходил ни к завтраку, ни к обеду: Елена перестала уговаривать его не убивать себя, и уже он стал думать, что у нее дурной характер и холодная душа. Никто не мешал сегодня Елене. И по дороге не встретился ей никто надоедливый и привязчивый, кто бы мог вздумать провожать ее. Впрочем, по той дороге, которой ходила в лес Елена, дачники не прогуливались.

Такой же был опять ясный день, как и вчера. И душа Елены была спокойна. Ни о муже, ни о босяке Елена почти совсем не вспоминала. Почему-то вставали в ее памяти картины из милого детства.

Когда Елена подходила к своему любимому месту в лесу, какое-то невнятное движение в кустах заставило ее чутко насторожиться. Чувствовалось, что кто-то там таится, ждет, подстерегает. Но страх, охвативший Елену, был только мгновенным. Она догадалась, что это — ее вчерашний друг, что он сам боится ее предательства, и что никого другого здесь нет.

Елена крикнула громко и весело:

— Ау, миленький, где ты? Выходи, я одна.

Несколько минут продолжалось осторожное молчание. Наконец, убедившись, что Елена никого с собой не привела, босяк вышел из-за кустов, такой же веселый, как вчера. Он хохотал и хрипло говорил, беспрестанно ввертывая скверные словечки:

— Притрепалась, стерьва. Не надула, размилашечка. Ишь ты! Ай меня полюбила, стерьва? Ну и баба!

— Как не полюбить, миленький — весело говорила Елена. — Вот, и сама притрепалась, и водочки тебе принесла, и курицу.

Босяк захохотал от удовольствия, выкрикнул несколько чрезвы-

чайно крепких слов, и так сильно шлепнул со всего размаху ладонью Елену по спине, что она ахнула и упала.

– Эх, ты, размилашка, от пинка валишься, – крикнул босяк, нагибаясь к Елене.

Она не ушиблась, – оперлась локтями в мягкую землю. Корзина выпала из ее рук, но ничто из корзинки не вывалилось, – крышка ходила туго.

Оборванец повернул Елену за плечи лицом вверх, и облапил ее. И опять, счастливая насилием, Елена затрепетала в объятиях молодого оборванца.

XIV

Оборванец отошел, и стоял в стороне, искоса поглядывая на Елену. Она села, и дрожащими пальцами поправляла прическу.

– Ну, где же водка? – сипло спросил босяк. – Принесла, так подавай.

– Сейчас дам, – сказала Елена. – Вот, возьми.

Открыла корзинку, достала бутылку, протянула ее босяку. Тот радостно пошел было к Елене, но вдруг остановился, нахмурился, решил покуражиться. Лицо его приняло надменное выражение, и он закричал визгливо и сипло:

– Стерьва, порядка не понимаешь! В ноги кланяйся, проси умильно: государь мой, удал добрый молодец, прими виццо казенное от рабы твоей, изволь, сударь, выкушать на доброе здоровьице.

Елена встала, улыбаясь, и сказала:

– Миленький, как же я кланяться стану, коли у меня бутылка в руках? Ты бы бутылку сперва взял.

– Давай, – с деловитым видом сказал босяк. – Ну, кланяйся.

Елена поклонилась ему в ноги, проговорила, стоя на коленях, подсказанные ей слова, еще раз поклонилась и, не поднимаясь, с колен, смотрела на босяка. Он проворно и ловко вытащил грязными пальцами пробку из бутылки. Нюхнул, и опять блаженная улыбка засияла на его губах, и лицо его стало детски ласковым. Он говорил:

– Эх, хорошо! Догадалась, что принести, стерьва полоротая! Уважила. Ну, что на коленях стоишь? Покланялась, и будет. На, выпей.

Он поднес бутылку к Елениным губам. Елена упала на землю, и захохотала. Она лежала на спине, покрасневшая, и смотрела не отрываясь на босяка.

– Ну, чего ржешь? – спросил он. – Что-то ты уж больно весела. Не колочена живешь, набалована, размилашка.

– Я не пью водки, глупый, – говорила Елена, вытирая на глазах слезинки, выступившие от смеха. – На что мне водка? Я и так живу веселая.

– Не пьешь? – недоверчиво сказал босяк. – Ну и дура. Да ты хоть пригубь.

Елена вспомнила вчерашние ощущения. Сказала:

– Да я бы пригубила, коли велишь, только боюсь, голова болеть будет.

Босяк подумал, и решил:

– Ну, не хочется, и не надо. Кума пеша, куму легче. Не пьешь, мне больше останется. Чем закусить-то? Огурчика свеженросольного не захватила?

Елена села, поправила волосы. Потом достала со дна корзины сверток с огурцами. Посмотрела на босяка. Его солнечная улыбка ужалила ее жалостью, мгновенной и острой. Она сказала негромко:

– И ты бы, милый, лучше не пил водки.

– Для чего не пить? – спросил босяк. – На то она и водка, чтоб ее пить. Водки не пить, так это что ж и будет! Не жизнь, а купорос.

– Водка – яд, – усмехаясь, тихо говорила Елена.

Босяк захохотал.

– Ну, от такого яда не окачуришься, – весело сказал он. – Только все внутренности проспиртуешь, так что и смерть не возьмет.

– А все-таки лучше не пей, – повторила Елена. – Сначала съешь чего-нибудь.

Елена вынула из корзины курицу, и принялась разворачивать ее.

– Вот дура баба! – крикнул босяк. – Сама принесла, да сама, – не пей. Стерва!

– Вот съешь курицы, – говорила Елена.

Парень поднес бутылку к губам, запрокинул голову, и жадными глотками отпил сразу почти половину бутылки.

– Ух, славно обожгло! – пробормотал он. – Крепкая водка, правильная!

Елена глянула снизу на его лицо. Оно быстро наливалось кровью. Глаза расширились очень. Выражение блаженного удивления на его лице быстро переходило в гримасу недоумения и злобы. И уже не солнечная улыбка, – страшная судорога перекашивала губы.

Елена опустила глаза. Достала из корзины салфетку, ножи, вилки. Удивилась, заметив, что пальцы ее дрожат.

Босяк резко вскрикнул:

– Что? Дьявол!

Елена взглянула на него. Багрово-красное лицо, перекошенное болью и страхом, было свирепо и жалко, и нельзя было долго смотреть на него. Хватаясь за живот и охая, парень сел на траву. Бормотал невнятно:

– Ты, стерва, что за водку мне дала? Где ты такую водку брала?

Елена отвечала напряженно-спокойным голосом:

– Говорила тебе, не пей, сначала съешь чего-нибудь. На пустой желудок, да сразу полбутылки выпил. Конечно, и почувствовал себя нехорошо.

Парень покачивался в лад ее словам. Вдруг новая спазма боли резко схватила его. Он закричал хрипло-ревущим голосом:

– Подсыпала, стерва! – Говори чего ты мне подсыпала.

Лицо оборванца покрывалось синеватой, мертвенной бледностью, резко и под слоями грязи и загара. Капли пота, такие крупные, каких Елена еще никогда не видала, липко выступали на его низком под взмокшими плоскими черными прядями волос лбу, и медленно ползли на взъерошенные брови.

Быстро слабей, парень повалился животом на землю. Он весь судорожно сотрясался, то визгливо скулил, то невнятно бормотал нелепую ругань

XV

Елена прислонилась к стволу березы, и замерла в напряженном молчании. Пальцы отведенных немного назад рук судорожно постуки-

вали по коре дерева, у самой земли.

Вдруг, подхваченный пароксизмом злобы и отчаяния, парень как подброшенный быстрым толчком снизу, взметнулся на ноги, и бросился на Елену, визгливо крича:

– Стерва, отравила!.. Задушу!..

Голос его звучал мертво и пусто, как бы не из груди выходя, а рождаясь на губах. Елена вскочила, схватила вилку, коротко и резко вскрикнула:

– Не подходи!

И бросилась бежать, делая быстрые, неожиданные повороты между деревьями. Она думала:

«Если догонит, – всажу вилку в горло или в живот. Не догонит. А и догонит, не хватит у него сил задушить».

Страх в ее душе не было, – только почти спортивное желание уйти от преследующего, выиграть и в этой игре. Ее сердце ускоряло свои биения несколько не сильнее, чем на теннис-грунте в короткой, но энергичной погоне за трудно и коварно брошенным мячом, летящим стремительно и низко.

Но этот живой, грузный мяч не долетел до подставленной для него острой стальной ракетки. Парень запутался в широких ветвях шершавой ели, ослабел, и тяжело свалился на землю. Он повернулся страшным, зелено-черным лицом кверху, и лежал, то судорожно вскидываясь, то падая. Казалось, что его руки и ноги двигаются отдельно от туловища, несогласованно с ним.

XVI

Елена подошла к нему, остановилась у ног, и с диким любопытством смотрела на его корчи. Лицо его принимало все более грязно-зеленый цвет. Глаза стеклянели. Резкие судороги сотрясали все тело, и движения его были похожи на движения картонного паяца, которого подергивает за веревочку каждый мимо-идущий на веселом маскараде.

– Стерва! Мерси, размилашка! Собаке собачья... Потрафила, стерва! Один конец. Шабаш. Поцелуй, стерва. Значит, я прощаю. Доволен. Поцелуй, простишь.

Елена стала на колени, нагнулась, но вдруг странная мысль заставила ее опять выпрямиться.

– Я стану целовать его, а он откусит мне нос.

Елена всмотрелась, – в тусклых, едва живых глазах парня слабо мерцал отблеск какой-то злой мысли.

Парень хрипел:

– Целуй, стерва. Травить умела, умеи проститься.

Елена склонилась к нему, пружинно сгибая в локтях упертые в землю руки и готовая каждую секунду отпрянуть. Она быстро поцеловала парня в губы, и в тот же миг зубы его судорожно лязгнули. Укусить он не успел, – лицо Елены было уже далеко. Он забился руками, ногами, задергался всем телом. Только хриплый, прерывающий рев вылетал из его горла. Глаза смотрели, мертвые, уже не видя.

Елена пугливо проводила руками по лицу, – нет ли крови. Думала, что, может быть, он успел укунить ее, и только в первый момент она не чувствует боли. Но крови не было, и боль не приходила. Елена успокоилась. Подумала:

– Сейчас это кончится.

Она села поодаль, боком к умирающему, охватила колена руками, смотрела на деревья за рекой, прислушивалась, ждала. Изредка бросала короткий взгляд в ту сторону, где лежал он.

XVII

Минуты шли за минутами, но это не кончалось. Парень корчился в судорогах, хрипел, вращал мертвыми глазами, и уже лицо его приняло цвет истлевших почти до черноты, но все еще зеленых листьев, — но все еще был жив.

Елена тоскливо огляделась кругом. Лес был тих, как всегда. Только слышался веселый, гулко-звучный плеск воды на камнях в быстрой речке. Даже ветер не разводил широкого гула в далеких лесных вершинах от опушки.

На версту кругом нигде не было живой души, — но как пришел этот, чтобы погибнуть, так мог прийти и другой, чтобы погибла Елена. Елена подумала, что пора кончать? Но как? Она быстро взвесила несколько возможностей и остановилась на одной. И тотчас же начала действовать.

Елена подошла к лежащей на земле корзине. Рядом с корзиной на земле валялась еще не развернутая салфетка. Елена подняла салфетку, расправила ее, подошла к парню. Рассчитала точно все свои движения. Потом Елена быстро опустилась коленями на грудь умирающего, накинула салфетку на его лицо, надавила ее пальцами обеих рук на его рот и ноздри, и налегла всей тяжестью тела на свои умертвляющие руки.

Когда Елена почувствовала, что под руками ее только труп, голова ее закружилась. Елена тяжело свалилась на землю рядом с трупом. В полузабытьи пролежала она с полчаса, и ее нежная, слегка загорелая рука, лежала на грязных лохмотьях, и кончик ее легкой, красивой ноги прикасался к черной, громадной ступне умерщвленного.

Сквозь полуопущенные ресницы увидела она, как из-за деревьев на берегу вышел Пасходин. Сердце ее замерло от ужаса. Бежать! Но руки и ноги не двигались, тело не повиновалось бешеным усилиям ее воли. Таиться, — может быть, не увидит.

Но в эту минуту глаза Пасходина устремились на Елену, и с обычным тупым упорством приковались к ней. Не спуская с нее тяжелого взора, он подошел к ней, и сказал своим обычным, деревянным и в то же время слащавым голосом:

— Еще раз обращаюсь к вам, Елена Алексеевна, как к интеллигентной женщине.

Елена с ужасом подумала, что сейчас Пасходин увидит труп, и что он уже видит ее слишком высоко открытые ноги. Она попыталась повернуться в сторону от трупа, чтобы встать и увести его подальше. Но как она ни напрягала все свои силы, она не могла сделать ни малейшего движения, — словно кто-то злой и проказливый перерезал провод от ее воли к ее нервам.

А Пасходин упрямо повторял:

— Отдайте мне мой яд!

«Кошмар!» — подумала Елена.

И от мысли ей вдруг стало радостно. Но все же проснуться, проснуться!

Бессильна была скованная воля, бессильно лежало оцепенелое тело.

И вот Пасходин отвел свои глаза от нее и увидел труп. Он

заговорил плачущим голосом:

– Этому мальчику вы отдали мой яд! Зачем вы отдали этому мальчику мой яд?

Странно хныкая, он повернулся и стал уходить. Елена подумала: «Скажет людям».

И страх снова охватил ее. Внезапно выйдя из своего тягостного оцепенения, она вскочила, огляделась вокруг, – где же Пасходин? Но никого нигде вблизи не было, не слышно было ничьих шагов. Елена с облегчением вздохнула, – кошмар, только кошмар! И кто же, как не Пасходин с его тяжелым, тупым взглядом, способен быть явлением кошмара?

XVIII

Однако, надобно прибраться. Елена схватила бело-мерцавшую на темных мхах бутылку, – водка почти вся вытекла, впиталась в землю. Елена швырнула бутылку в реку. Легкий всплеск донесся. Все остальное быстро посовала в корзинку, – салфетку дома сжечь, курицу, огурцы где-нибудь в лесу забросить в дикие заплетения кустарников.

Потом забота самая тяжелая, – убрать труп. Елена потащила его к реке, волоком по земле. Очень тяжело было, труп словно прилипал к земле, и даже на склоне берега цеплялся за кусты, за корни. И противно было смотреть близко в лицо трупа, волоча его под мышки. А за ноги тащить было еще труднее.

Несколько раз Елена садилась на землю отдохнуть и плакала от усталости и от страха. Ей казалось, что больше часа прошло, пока ее ноги не ступили на мокрый песок береговой, смешанный с вязкой глиной.

Еще одно отчаянное усилие, – и голова трупа окунулась затылком в воду. Тогда Елена проворно разделась, вошла в воду, и потащила за собой труп. Ногам было жестко от прибрежных камней, остро и больно вдавливавшихся в кожу, – но зато труп все легчал. Вот уже он покатился по камням, поворачиваясь, с боку на бок, – ног повлекся быстрым течением по речному дну, – вот скрылся из глаз. Елена оделась, поднялась наверх, захватила корзинку и пошла домой.

XIX

Вечером за ужином Елена смотрела на Скрынина влюбленными глазами. Все в нем казалось ей чрезвычайно изысканным, элегантным. Самая томность и вялость его имели для нее теперь очаровательную прелесть.

Ночью Елена пришла к мужу, как уже давно не приходила. Она была с ним так нежна и обнимала его с такой страстностью, как это бывало только в первые дни их увенчанной любви.

И потому Скрынин несколько не удивился, когда узнал в свое время, что Елена беременна. В свое время с гордостью отца он взял на руки новорожденного, который потом рос красивым, сильным и веселым мальчиком.

Дитя, которое никогда не узнает о своем безымянном отце.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

Все с раздражением и ненавистью говорили о только что вернувшемся домой из деловой поездки в Америку Алексее Павловиче Ронине. Это был молодой, красивый человек, владелец большого торгово-промышленного предприятия. В этом богатом приморском городе он вращался в лучшем обществе, и маменьки взрослых барышень мечтали о нем, как о завидном женихе. А теперь, когда Ронин, спасшийся с тонувшего в океане парохода, вернулся жив и невредим, все в городе вдруг стали презирать его за его возмутительный поступок.

Маленькое общество, собравшееся в ясный день ранней осени в красивой гостиной Елены Моисеевны Климентович, все еще молодой жены популярного местного адвоката, было настроено так же враждебно к Ронину.

Доктор Полонный, черноокий кумир здешних дам и усердный в последнее время поклонник Елены Моисеевны, говорил, делая плавные жесты:

– Мне всегда он был как-то подозрителен. И вот, оказывается, предчувствие меня не обманывало. Вот именно в трагических случаях, перед лицом смерти, познается истинная природа человека.

– Но что он, собственно, сделал ужасного? – спросил седоусый инженер Макаренко. – Спасал свою жизнь? Что ж тут подлого? Может быть, многие из нас на его месте поступили бы не лучше.

Но все напали на старого Макаренко.

– Как что сделал? – кипятилась Мери Дугинская, очаровательная дама, младшая сестра хозяйки. – Пользуясь своей силой, он отталкивал женщин и детей, и один из первых бросился в спасательную лодку! И вы хотите его оправдывать! Дети и женщины многие погибли, а он спасся. Это ужасно!

И все, кроме Макаренко и одной девушки, почтенные господа и милые дамы, согласным, хотя и нестройным хором дюжины голосов, восклицали:

– Возмутительно!

– Низко!

– Омерзительно!

Доктор Полонный авторитетно сказал:

– Никто после этого не подаст ему руки!

И все согласились с ним, – все, кроме Макаренко.

Хитро улыбаясь, Макаренко крутил седые длинные усы, и насмешливо поглядывал на разгорячившихся собеседников. И еще молчала красавица Катя, молодая девушка, хозяйкина дочь. Она стояла у широкого окна, не принимала участия в разговоре, и смотрела на пламенно-цветущие розовые кусты в саду и на мерно вскипающие за садом и за пляжем широкие морские волны.

Макаренко спросил ее:

– А вы, что скажете, Катерина Львовна?

И, подмигнув хозяйке, сказал вполголоса:

– Как время-то идет! Выросла девочка, уж и неловко называть ее Катей.

Хозяйка, не отвечая, стала смотреть на дочь, и на лице ее было так много любезности, – к гостю, – и ласки, – к дочери, – словно она усиленно старалась скрыть, что слова Макаренко ей не

понравились.

Катя медленно отвернулась от окна, и сказала неторопливо, глубоким и звучным голосом:

– Я думаю, Ронин и сам понимает свое положение, и вряд ли станет показываться в нашем обществе. Ему лучше уехать отсюда.

– Не будет показываться, вы думаете? – спросил Макаренко. – Ну, а если кто-нибудь его пригласит?

Катя молча пожала плечами и опять отвернулась к окну. Ее молчаливость никого не удивила: она пользовалась репутацией девицы спокойной и неболтливой. Но зато многие подумали, что обращение Макаренко к Кате очень бестактно: всем было известно, что Ронин ухаживал за Катей, и что в этом доме он был хорошо принят. И потому поспешно заговорили о другом.

Прошло несколько минут, и уже забыли о Ронине. И вдруг впечатление разорвавшейся бомбы произвели тихие слова появившегося в дверях лакея:

– Алексей Павлович Ронин.

Катя вздрогнула, и совсем близко приникла к окну. Доктор Полонный проворчал:

– Ну и наглец!

Дамы и мужчины переглядывались и пожимали плечами. Елена Моисеевна побледнела, и не знала, что сказать. Ее муж, великолепно выхоленный и вскормленный человек, беспокойно задвигался в своем кресле. Прошло полминуты неловкого молчания, и вдруг Климентович, как будто сообразив что-то, торопливо и смущенно сказал лакею:

– Просить.

Все посмотрели на него с удивлением. Даже Катя на миг показала гостям раскрасневшееся лицо, быстро глянула на отца, и усмехнулась не то насмешливо, не то смущенно.

Когда лакей скрылся за синей портьерой, Елена Моисеевна воскликнула:

– Лев Маркович, зачем ты велел его принять! Никто здесь не хочет быть с ним вместе.

– Ну, и мы это ему покажем, – все так же смущенно говорил Климентович.

Его великолепная, рослая фигура словно уменьшалась и сжималась, и он смотрел куда-то мимо людей, словно произнося речь во враждебно-настроенном собрании.

Макаренко говорил, хитро посмеиваясь:

– Нельзя не принять, уж раз, что сами приглашали.

Елена Моисеевна воскликнула с деланным ужасом:

– Лев Маркович, что я слышу? Неужели это правда?

– Душа моя, – оправдывался Климентович, – я встретился с ним в парке, совершенно неожиданно. Он сам, ко мне подошел, и я так растерялся от неожиданности...

– Ну довольно, он идет, – сказала Елена Моисеевна.

Все настороженно замолчали. Было жуткое ожидание скандала, и под притворно равнодушными лицами гостей закипало злорадство.

Катя еще раз глянула на гостей, и тихонько рассмеялась, заглушая смех приложенным к губам платком.

В гостиную вошел Алексей Ронин, молодой, красивый человек, с той свободой и легкостью движений, которыми отличаются преданные спорту люди. Быстро глянув решительными, упоенно-наглыми глазами на всех собравшихся здесь, он неторопливо подошел к Елене Моисеевне, поцеловал ее руку, и заговорил спокойно и уверенно, как будто ничего особенного в его жизни не произошло, – заговорил те

легкие и простые фразы, которые не сочиняются заранее, приходят в голову сами собой, и так же легко потом забываются, оставляя за собой впечатление приятной беседы.

С тем же спокойствием, с той же уверенностью обратился он потом и к другим. Как бы следуя примеру хозяйки, все отвечали на его привет с обычной светской любезностью.

Ронин подошел к Кате. Она холодно поклонилась ему, едва на миг оторвавшись от созерцания широкого морского простора.

– Любуется морем? – тихо спросил Ронин.

Гости, разговаривая между собой, исподтишка наблюдали за ними.

Катя молчала. Ронин говорил:

– Я понимаю, почему вам нравится смотреть на эти волны. Волны лучше людей.

Катя вопросительно глянула на него.

– Они равнодушны, – продолжал Ронин, – им все равно, но они никогда не изменяют своему закону, своей воле, и не могут изменить. Их непреклонность так прекраснее людской неискренности.

Катя засмеялась. Смех ее звучал хрупко и нервно. И вдруг стало заметно, что она очень взволнована.

Преодолевая волнение, задерживая дыхание в поднявшейся груди, Катя сказала:

– Что ж, скажите вот этим людям, что вы думаете о них и о волнах. Это им будет интересно.

– Слушаю, – сказал Ронин, наклоняя голову.

Он обернулся к Елене Моисеевне. Заметив, что он хочет говорить, все замолчали, и у всех в глазах было жадное и нетерпеливое любопытство.

Ронин сказал громко:

– Екатерина Львовна выразила желание, чтобы я рассказал о том, как мне удалось спастись при этом ужасном кораблекрушении. Когда-нибудь я это исполню подробно и точно. А теперь ужасы этой ночи так еще живы в моей душе, что я не могу рассказывать связно.

Доктор Полонный угрюмо проворчал что-то. Ронин повернулся к нему, и казалось, что его нагло-спокойный взор закупорил во рту очаровательного доктора все те слова, которые он собирался сказать. Ронин продолжал, гипнотизируя доктора прозрачно-ясными, словно пустыми глазами:

– Я хорошо знаю, что многие меня осуждают. Но скажу одно, – я увидел в эти страшные часы такие картины людского озверения...

Катя перебила его:

– Героизма, хотите вы сказать! – пылко воскликнула она.

Ронин на мгновение потупил глаза. Было жуткое молчание, и почти слышно стало, как расклеиваются уста освобожденного от тяжести упорного взгляда доктора. Но не успели расклеиться. Ронин тихо заговорил:

– Героизма! Да, если хотите, были и трогательные примеры героизма. Герои погибали, спасая слабых и робких. Да, что было, если вы хотите это знать. И вот потому, что были погибающие герои и спасающаяся дрянь, никому ни на что на свете не нужная, вот потому я почувствовал такое презрение к этим спасающимся, что решил...

– Не быть героем? – прервала его вопросом Катя.

Ее щеки багряно пылали. Ронин усмехнулся, быстро глянул на нее упоенно-наглыми глазами, и решительно сказал:

– Да, не быть героем.

И у него был такой вид, словно он принял вызов на бой и уверен в победе.

Катя обвела глазами всех бывших в комнате. Сквозь застилавший ее глаза багровый туман она видела знакомые лица, – и все они теперь смотрели на Ронина с внезапным сочувствием. Смотрели почти угодливо. В поднявшемся смутном гуле голосов, звучащих льстиво, не послышалось ни одного негодующего крика.

Катя различала отдельные фразы:

– Помилуйте, перед ним вся жизнь...

– Молодой, богатый...

– Погибать из-за чего?..

Сам доктор Полонный потерял свою самоуверенность, забыл свою угрюмость, и его, наконец, расклеившиеся губы сложились в липкую, благожелательную улыбку.

Тихо, тихо, вся дрожа от злости, сказала Катя, – так тихо, что только Ронин мог ее слышать:

– Вы знаете, что сделали выбор между героизмом и подлостью.

И в эту минуту она любила себя, потому что голос ее не дрожал, глаза были гневны и темны, и она знала, что она прекрасна, как лицо воплощенной в красоту совести.

Но не смутился Ронин. Так же тихо, как она, отвечал он ей:

– Я – смелый человек. Я сделал выбор, который даст мне долгую и счастливую жизнь. И никто не посмеет повторить мне то, что вы сказали.

Катя быстро отвернулась от него, вышла на террасу, сошла в сад. За ней звучали оживленные голоса.

Катя знала, – Ронин сумеет победить общество, которое вздумало было его презирать. Покорить не теми глупыми и подлыми словами, которые сумеет придумать и сумеет сказать, а просто тем, что он богат, молод и самоуверен до наглости.

Но чего же стоят эти люди, и как с ними жить?

Катя, томимая горькими мыслями, долго ходила по песочным аллеям. Уже она не чувствовала себя победительницей. Упоенно-дерзкий взгляд Ронина словно еще тяготел на ее ресницах, засты от нее шарлаховые, пунцовые и карминные очарования роз.

Прошло с полчаса. Заслышав за решеткой сада скрип колес по песку тихой Липовой улицы, Катя поднялась по четырем ступенькам в беседку у решетки. Из этой беседки видна была улица. Вывернувшись из-за угла от подъезда, пара великодушных вороных плавно несла коляску. В коляске сидел Ронин.

Вдруг мысль о том, что он может уехать, и никогда не вернуться, пронизала Катину сердце. Не думая, что делает, Катя крикнула:

– Остановитесь!

Ронин улыбнулся почти нежно, приподнял шляпу, и что-то сказал кучеру. Коляска остановилась. Ронин вышел из нее, и подошел к забору. Катя сказала:

– Войдите в сад. Вот здесь, направо, калитка.

Ронин крикнул кучеру:

– Поезжай домой, – я пройдусь.

И вошел в сад. Катя ждала его, стоя у калитки. Брови ее хмурились, но на лице ее не было прежнего решительного и враждебного выражения.

– Ну, что, как там обошлось? – спросила она деловитым тоном.

– Очень мило, – отвечал Ронин, улыбаясь слегка насмешливо, – меня так ласкали и утешали, как будто бы я спас целую сотню

утопавших.

– А вы спасли только одного, – неопределенным тоном сказала Катя.

– Да, но зато этот спасенный был я сам, – сказал Ронин.

– И вы это очень цените? – спросила Катя.

– Да, – сказал Ронин, – как же мне не ценить этого! Ведь жизнь выше всего, не правда ли, Катя? Мы должны любить жизнь, не правда ли, Катя? Любить жизнь, ценить ее блага, стремиться к счастью, не правда ли, Катя?

– Достойную жизнь, – сказала Катя, – только достойную жизнь надо любить.

– О, Катя! – воскликнул Ронин, – простите, что я вас так называю, но вы знаете, что я вас люблю.

Катя приложила руки к своим пылающим щекам.

– Называйте меня, как хотите, – сказала она, – я достаточно молода для того, чтобы и чужие люди иногда забывали, что я уже не девочка.

Чуть-чуть усмехнувшись на слово «чужие», Ронин продолжал:

– Вы говорите, Катя, – достойная жизнь! С детским идеализмом вы мечтаете о жизни, полной подвигов.

– А разве нет такой жизни? – спросила Катя. – Разве мы не слышим о подвигах?

Ронин пожал плечами.

– Конечно, – сказал он, – но что же делать, если не каждый способен быть героем! Да и никто не обязан быть героем. Мы живем, как умеем, берем жизнь, как она есть, а не как она должна быть. Если нет нам достойной жизни, разве и эта жизнь, такая, как есть, не хороша? Солнце греет всех одинаково, и прекраснейшие розы благоухают не для того, кто их достоин, а для того, кто может их купить.

– Не надо, не надо так говорить! – воскликнула Катя.

– Почему не надо? – спросил Ронин.

– Разве эти слова не обжигают вам губы? – ответила Катя вопросом, и пристально посмотрела на Ронина.

– Послушайте, Катя, – тоном ласкового убеждения заговорил Ронин, – вот, я спас свою жизнь, сумел спасти, – Катя, как вы думаете, если бы вы были со мной, сумел ли бы я спасти и вас?

Катя засмеялась, и промолчала.

Ронин говорил нежно и страстно, и глаза его потемнели, и приняли повелительное выражение:

– Катя, любите меня, любите. Катя, хотите разделить мою судьбу, мою жизнь, все, что я имею?

Катя постояла с минуту молча, с опущенными глазами. Потом сказала:

– Я люблю вас, вы это знаете, и потому мне было так больно в эти дни. Я думала, что никогда больше вас не увижу. Может быть, так было бы лучше. Но вот, мы встретились. Люди не отвернулись от вас.

– Как же бы они посмели отвернуться! – воскликнул Ронин. – Разве они сами – герои? Где же их самоотверженные поступки? Это все – сытые люди, Катя. Они любят жизнь, они «к ее минутным благам прикованы привычкой и средой».

– Да, – сказала Катя, – вы – самый сильный из тех, кого я знаю. Я люблю вас опять. Если вы не боитесь, что к моей любви будет пришиваться и другое чувство, хорошо, я буду вашей женой.

– Я знаю, о каком чувстве вы говорите, – сказал Ронин, –

но, милая Катя, мы все более или менее презираем себя и других, презираем потому, что вся наша жизнь слагается из ряда поступков ничтожных и порой нехороших. И по улице не пройдешь без того, чтобы одежда не запыхалась, а уж душа наша, что о ней и говорить!

Он смотрел на Катю нагло-веселыми глазами, любясь тем, как нежно румянятся ее щеки. Потом вдруг он привлек ее к себе, и поцеловал прямо в губы.

Катя не сопротивлялась. Она знала, что это не опасно для ее платья и для ее прически. И точно, Ронин тотчас же отпустил Катю, распрощался с ней корректно, и ушел.

Катя опять поднялась в беседку, и долго смотрела, как он неторопливо шел по улице, спокойный и элегантный. Потом она вернулась в гостиную. Там было теперь только трое, – отец, мать и Мери Дугинская.

Катя, отодвинув синюю портьеру, остановилась в дверях, и спокойно сказала:

– Папа, мама, тетя Мери, Ронин сделал мне предложение, я дала согласие.

Все радостно засмеялись. Мери Дугинская воскликнула:

– Но послушайте, как она спокойно говорит это! Точно ее пригласили на тур вальса!

– Она у нас невозмутимая, – сказал отец, опять по-прежнему великодушный и веселый.

Все были рады. Папа, мама, тетя Мери целовали и поздравляли Катю. Катя казалась невозмутимо-счастливой.

А вечером, оставшись одна, Катя долго плакала. Она думала, что любит Ронина, но и презирает его. Как же ей всю жизнь прожить с этим человеком?

Не лучше ли убить себя?

У Каги был маленький, очень красивый револьвер, всегда заряженный, – ее самый большой секрет от родителей. В эту ночь Катя не раз вынимала хорошенькую стальную игрушку. Она даже прикладывала холодное дуло то к виску, то к тому неширокому месту на груди, под которым тогда усиленно начинало колотиться испуганное сердце.

Прикосновение холодной стали к горячему телу каждый раз было тупое и жесткое. Каждый раз Кате было страшно сделать то маленькое движение пальцами, которое вызовет смертельный выстрел.

Когда под утро, подойдя к окну, Катя увидела розоватый налет зари на вскипающей пене волн, она почувствовала всем своим ослабевшим от бессонницы телом, что не умрет, и не откажется от счастья с Рониным. Но слабое презрение к самой себе, которое почувствовала Катя, потонуло в остром и радостном чувстве любви к своей жизни и к ее благополучию и довольству.

«Расталкивая тех, кто послабее, там, в ужасную ночь, он выбился к жизни. Ну, что же, – думала Катя, – вот, люди перестанут его осуждать. Люди думают, что их жизнь – борьба за существование. Сильные побеждают, будет и он всегда победителем».

Засыпая, Катя упрямо думала:

«Ну и пусть, пусть буду презирать и его, и себя, – и все-таки буду счастлива».

Катя осталась жить, – не для того, чтобы жить достойной и прекрасной жизнью, сливая свою волю и свою жизнь с волей и с жизнью множеств, а только для того, чтобы выйти замуж за богатого, молодого, красивого, любимого ей человека, и вместе с ним

наслаждаться радостями себялюбивого существования, наслаждаться всем, что можно купить за деньги.

Грубая, жестокая жизнь еще раз торжествовала свою победу над очаровательной мечтой о высоком подвиге.

КРУТИЛЬДА И СЕМЬ ДРУГИХ

В это ясное апрельское утро Стакан Иванович проснулся, как всегда, под гудящее пение жены своей Крутильды. Занавески уже были отдернуты, в спальне было светло, и из открытой форточки веяло холодом, и слышен был шум голосов на дворе.

Низким контральто, не то, чтобы приятным, но привычным Стакану, Крутильда пела за его спиной, — он лежал у стены на правом боку, спиной к Крутильде. Давно знакомые слова на привычный мотив слушал Стакан не без удовольствия. Крутильда пела:

Любви неодолима сила.
Противиться кто смеет ей?
Она Стакана превратила
В прекраснейшего из мужей.

Улыбка озаряла помятое сном и пятью десятками жизни, но все же счастливое лицо Стакана. Не поворачиваясь к Крутильде и даже пока еще не открывая глаз, Стакан Иванович запел ответный куплет. Голос у него был резкий тенорок, Стакан часто фальшивил, высокие ноты брал тончайшим фальцетом, — но едва он запел все те же, сотни раз повторенные слова, на смуглом Крутильдином лице показалась улыбка. Крутильда легла удобнее, подложила под голову полные, крепкие руки, смотрела в розетку потолка почти немигающими, темно-серыми, крупными глазами, и слушала. Стакан пел:

Любви непобедима сила.
Противиться не думай ей.
Она меня преобразила
В счастливейшего из мужей.

И повернулся на спину, чтобы вместе с Крутильдой пропеть, — она:

Стакан прекраснейший из всех мужей.

А он:

Да, — я счастливейший из всех мужей.

После краткой паузы запела опять Крутильда:

Любви непобедима сила,
Она капризнее всего,
Она служанку превратила
В царяцу дома твоего.

И опять, отвечая ей, запел восторженно и громко теперь уже совсем проснувшийся Стакан:

Любви неодолима сила,
И прихотливее всего,
Она Крутильду превратила
В царицу сердца моего.

И потом опять запели вместе, – она:

Да, я – царица дома твоего.

А он:

Да, ты – царица сердца моего.

Это пение было как бы призывным сигналом. Едва замолкли, замерев на высоких нотах, последние звуки любовного дуэта, как тотчас же в дверь постучались.

– Войдите, – крикнула Крутильда голосом громким и веселым.

Явилась горничная, молодая, веселая девушка с необыкновенно правильно круглым лицом, румяная, чуть-чуть курносенькая, чуть-чуть веснушчатая, по прозвищу Сыр-Дарья.

Она сказала, остановясь у дверей:

– Стакан Иваныч, Крутильда Малофеевна, с добрым утром. Сегодня третий день праздника.

– Знаю, знаю, – отвечала Крутильда.

Стакан, как всегда забывая значение этого дня, проворчал:

– Ну, так что ж?

Сыр-Дарья пояснила:

– Званы нонче к обеду семь других. Как всегда, на третий день.

Крутильда весело улыбалась. Стакан нахмурился. Крутильдина затея – раз в год собирать семь других – никогда ему не нравилась, хоть он и подчинялся этому без спора. Иногда он думал сердито:

«Хоть бы их ветром каким сдунуло, хоть бы к черту в пекло».

Но ни одна из семи других не умирала, не уезжала в другой город. Какое-то странное чувство заставляло их каждый год принимать приглашение счастливой соперницы и приезжать на ее пир.

Стакан Иванович сказал сурово:

– Сыр-Дарья, удались, сейчас я восстану от сна.

Сыр-Дарья удалилась. Крутильда же, все еще лежа на спине и глядя на розетку потолка, спросила, как всегда:

– А вот еще есть слово имманентный, – что значит?

Каждое утро Крутильда узнавала от Стакана значение еще одного ученого слова.

В пять часов вечера семь других собрались, но Стакан еще их не видел. Он сидел один в своем кабинете, строгом и чинном, как и подобает быть кабинету солидного адвоката в квартире, за которую платится три тысячи в год.

Стакан уже был во фраке, но ему не хотелось выходить к этим милым гостьям, притворно-веселым, но в душе опечаленным. Когда-то, в прежние годы, каждой из них по очереди Крутильда открывала двери этой квартиры и потом никого не впускала, оберегая тайну нежного свидания. И была тогда Крутильда молодой, стройной девушкой в белом переднике и в белом чепчике. А вот теперь она – хозяйка в

этом доме, и уже не она помогает гостям снимать их верхнюю одежду, а другая, нехитрая Сыр-Дарья, которая никогда не мечтала о том, чтобы сделаться дамой, ездить на Ривьеру, и разговаривать с американскими банкирами на английском языке.

Лихорадочно-веселые голоса милых гостей проникали за тяжелые портьеры на дверях Стаканова кабинета, — и эти голоса смущали и тревожили его. Гостиная была рядом с кабинетом, и семь других сидели там.

Приоткрылась дверь, Стакан глянул, среди складок колыхающей портьеры стояла бледная, очень красивая дама в белом платье. В ее руке был букет белых роз.

— Мария! — радостно сказал Стакан.

Он пошел к ней навстречу, и долго целовал ее руки.

— Я принесла вам цветы, — сказала она, — я знаю, вы любите белые розы.

— Я их любил, когда вы меня любили, — отвечал Стакан.

— Я и теперь вас люблю, милый, — сказала она, — хотя вы изменили мне. Конечно, Крутильда очень красива.

— Вы гораздо красивее Крутильды! — воскликнул Стакан. — Вы — прекрасны, и я опять люблю вас.

Мария засмеялась невесело.

— Однако, — сказала она, — вы не скажете Крутильде, чтобы она ушла, не позовете меня.

Стакан задумался. Он вспомнил сладкие минуты — проведенные им с Марией. Ласковая и прекрасная, — но теперь ее красота казалась ему почему-то слишком успокоенной, слишком законченной. Когда он первый раз пожелал близости с Крутильдой? Она мыла пол в буфетной комнате, где не было паркета, а он стоял и смотрел на ее слишком высоко открытые ноги, смотрел на игру сильных мускулов под эластичной, порозовевшей от холода кожей. Она выпрямилась, поглядела на него улыбаясь, спросила:

— Вам вина? Сейчас подам.

Стакан уже забыл, зачем пришел в буфетную, и обрадовался Крутильдиной находчивости. Она подала ему вино, и грудь ее тяжело дышала, и улыбающееся лицо раскраснелось. Красива ли она была? Не очень, так себе, миловидная, но во всей Крутильде не было тогда ни одного успокоенного местечка, и вся она была живая и сильная, и нельзя было не захотеть быть с ней. Но он тогда ничего не сказал ей, взял вино, и ушел. А Крутильда через минуту принесла ему стакан, хлеб и сыр, — все так же растрепанная, розовая, улыбчивая. Пришла, поставила на стол перед диваном поднос, и ушла, оставив за собой незабываемое впечатление силы и воли.

Стакан задумался так глубоко, что и не заметил, как Мария ушла. Когда он поднял глаза, перед ним стояла уже другая, Елена, веселая, милая дама. И она принесла цветы, и говорила весело и ласково, напоминая минувшие встречи, когда было так весело, молодо и нежно.

И она была красивее и веселее Крутильды. Но опять вспомнил Стакан, как он стоял в коридоре и слушал заразительно-веселый Крутильдин смех.

«С кем она?» — подумал он тогда.

Оказалось, что Крутильда одна, и хохочет заливаясь, чигая маленькие рассказы Чехова, — те, в которых еще так много молодости и веселости.

И опять не заметил Стакан, как ушла Елена. И одна за другой приходили в его кабинет его прежние возлюбленные, все семь

перебывали, и каждая принесла ему подарочек: веселая Елена – алые розы, умная Лариса – свою новую книгу о народных домах, заботливая Наталья – электрическую грелку для красного вина, добрая Татьяна – десять тысяч папирос для того лазарета, где Стакан был попечителем, насмешливая Вера – попугая, который кричал:

– Стак-кан, поцелуй Крут-тильду!

Элегантная Раиса принесла полсотни галстуков, один необыкновеннее другого, и некоторые из них столь экстравагантные, что на них и смотреть нельзя было без восторга.

Каждая что-нибудь подарила, сказала какое-нибудь ласковое слово, напомнила о милом, невозвратном прошлом, каждая дала понять, что она лучше Крутильды, – и все они были и на самом деле очень хороши, вполне превосходны. Но каждое посещение милых прелестниц погружало Стакана опять в воспоминания о первых Крутильдиных очарованиях. Не такая умная, как Лариса, но зато какая гибкость и восприимчивость, какая жажда узнавать! Не такая заботливая как Наталья, и даже как будто совсем легкомысленная, – но, однако, все во время и в меру. Не такая добрая, как Татьяна, – но уж, если поможет кому, то основательно. Не такая насмешливая, как Вера, но уж, если скажет про кого словечко, то удачнее и смешнее никто не придумает. Далеко не такая элегантная как Лариса, – где уж ей, дочери пьяного сапожника! – но что ни наденет и как ни повернется, все к лицу, и к месту, и ко времени.

И когда все перебывали, еще несколько минут сидел Стакан, вспоминал и улыбался. Вошла принарядившаяся для гостей и праздника горничная Сыр-Дарья сказать, что обед подан. Был забавен Стакану белый чепчик над ее слишком крупным лицом. И вслед за ней, не успев еще Стакан подняться с кресла, вошла Крутильда и он услышал ее низкий, как будто бы слегка хриплый голос:

– Хорош хозяин! Дамы два часа сидят в гостиной, а он один в кабинете. Да что я! Не один, – то одна, то другая к тебе шмыгали. Все побывали? Цветы-то Сыр-Дарья в вазы поставила? Да уж вижу, хороши, хороши подарки. Потом покажешь, теперь идти пора.

И уже потому, что она так непрерывно говорила, и потому, как гудел напряженно ее голос, и потому, как напрягались мускулы на ее обнаженных руках, заметно было, что она вся дрожит и взволнована, – и тем взволнована, что вот он видел своих возлюбленных, всех, кого она сама знала, – о других она и не спрашивала, – поговорил с каждой наедине, и сравнивал ее с каждой, – и тем взволнована, что в ней нет и никогда не будет уверенности и успокоенности, а всегда чуткая настороженность хотящей и ожидающей женщины. Останется ли он с ней, или увлечется опять одной из семи, или, взволнованный этим смотром прелестей, потянется к иной любви и найдет другую, а ее бросит, – она не знала, и не хотела знать, и вся она была тревога и желание.

И потому, ощущая всю силу этой взволнованности и тревоги, Стакан почувствовал, что он любит только Крутильду, и никакую другую женщину никогда не любил и не полюбит. От сознания неразрывности этой связи ему стало вдруг и весело, и страшно.

За обедом, окруженный восемью нарядными, красивыми и веселыми женщинами, Стакан чувствовал себя очень хорошо.

«Крутильда – хитрая, – думал он, – сумела всех собрать, и все к ней пришли, и уже как будто совсем забыли про те полтинники и рубли, которые когда-то совали в ее руку, когда она открывала перед ними дверь на лестницу».

А как чувствовала себя Крутильда? Раскрасневшаяся очень, такая

взволнованная, что казалась иногда подурневшей и поглупевшей, она все время словно шла по самому краю бездны. Ей надо было опять и опять победить всех этих красавиц, и порой ей становилось страшно, – ведь каждая из них чем-нибудь лучше ее. Но великое напряжение воли и силы держало ее все время на высоте, и приступы страха все время сменялись радостной уверенностью в том, что в сердце человека побеждает ее верная сила.

Под конец обеда и Стакан почувствовал возрастающее волнение. Предчувствие хоровода, которым каждый год кончался этот вечер, было опять неприятно ему, и опять он думал:

«Напрасно Крутильда затеяла это».

И опять, как всегда, ему казалось, что семь других не встанут, не закружатся, только засмеются.

После обеда перешли в гостиную. Разговоры затихали, всем стало как-то неловко и жутко. Упала минута молчания, и вдруг Крутильда запела:

Любви непобедима сила,
 Любовь господствует над всем.
 В любви служанка победила
 Всех дам прекраснейших, всех семь.

Дамы молчали, и сидели слегка побледневшие. Крутильда обвела их круг блестящими, настойчивыми глазами, встала и взяла за руки двух ближайших справа и слева. Встали и они. И одна по одной поднялись все восемь, сцепясь руками, – и Стакан оказался в середине. И они все закружились и запели:

Любви неодолима сила.
 Любви сопротивляться грех.
 Мы все прекрасны, – победила,
 Однако же, Крутильда всех.

Они кружились все быстрее и быстрее, на Стакана веяло ароматами их духов, складки их одежды иногда задевали его, все ближе и ближе к нему приносились они, голова его томно кружилась, сердце билось больно и сладко, и наконец он потерял сознание.

Как сквозь сон слышал он испуганные голоса дам.

– Ничего, ничего, сейчас это пройдет, – говорила Крутильда.

С трудом он приподнялся со своего кресла, – и уже все было, как в тумане. Полусознательно говорил что-то, целовал чьи-то руки. Гости прощались и уходили, потом Крутильда куда-то его повела, чем-то его поила, послала за чем-то в аптеку Сыр-Дарью. Потом опять стало тихо и темно.

Когда Стакан совсем очнулся, он лежал на диване в кабинете. Перед ним стояла на коленях Крутильда, раздетая, в одной рубашке. Лицо ее было опять мило и румяно, и голые руки ее тянулись к нему, и грудь поднималась так напряженно, так страстно.

– Милая, милая! – шептал Стакан. – Желанная моя, родная, единственная, навсегда моя!

И привлек ее к себе, и обнял порывисто и торопливо, словно еще не веря своему безмерному счастью, своей радости непомерной. Воистину родная, та, которой всегда жаждала душа!

МЫШЕЛОВКА

I

Это – рассказ о старом поэте, который поставил в своей комнате мышеловку.

Старый, конечно, относительно. В России люди рано переходят в разряд старых. Восемьдесят лет, возраст, когда нормальный человек, кушающий болгарскую простоквашу и отрезавший себе половину кишок, чувствует себя едва только вступившим в полное обладание душевными и телесными силами, – этот возраст у нас уже кажется глубокой старостью, и мы говорим:

– Пора, пора старым косточкам на покой.

Моему поэту, Сергею Григорьевичу Ланину, далеко еще было до этого возраста, но уже в волосах его виднелось не мало серебристых нитей, и в углах глаз притаились мелкие морщинки.

Денег у Сергея Григорьевича всегда водилось мало, потому что мало кому нравились его скромные, томные, нежные стихи. В них не было ни экзотических мотивов, ни слишком повседневных, ни технических терминов, вообще, ничего резкого, задевающего внимания. Это была поэзия интимная. Кому же она нужна! И мало кто покупал книжки стихов Сергея Ланина. Потому он был беден.

Но из тех небольших денег, которые у него были, значительную часть он тратил на покупку книг. И вот, книг у него накопилось много. Так много, что его небольшая о трех крохотных комнатах квартира в седьмом этаже, на дворе громадного дома на одной из столичных невидных улиц, была загромождена этими грузными конденсаторами ныли. Книжки стояли и лежали в шкапах, на открытых полках, на диванах, на стульях и просто на полу. Многие были еще даже неразрезаны: купить книгу легче, чем прочесть ее.

В часы вечернего досуга Сергей Григорьевич брал из кучи одну постарше, садился с ней, читал и дремал. Иногда и засыпал над книгой, тут же, в кресле. Надоедливый шорох осторожной мышки не беспокоил его, – крепок был золотой сон, навеянный светлыми грезами искусства.

Но вот однажды, разбирая на полу груду книг, увидел Сергей Григорьевич, что переплет одной из книг попорчен, – подгрызен чьими-то острыми зубами. Сергей Григорьевич понюхал книгу, – и с очаровательным для книголюбца запахом старого переплета, клея, слежавшихся листов смешался противный, стремительно-хитрый, тепло-ватый, подпольный запах грызуна.

Старый поэт опечалился.

С тех пор он стал внимательно прислушиваться к шорохам и мягкой топот мышных ног. Заслышав приход непрошенных гостей, он принимался стучать о пол палкой, – нарочно для этого купил толстую, суковатую трость.

Сначала мыши пугались внезапного сердитого стука, и разбегались. Потом привыкли. Неутомимая грызня их день и ночь томила поэта. И уже стал думать поэт о том, что надобно бы ему переменить квартиру.

Но думать об этом неприятно и скучно было поэту. Он так привык подходить вот именно к этому окну и смотреть на закате вот именно на эти серовато-розовые в мгlistом тумане кровли.

II

Вечером, когда поэт только что зажжет лампу, иногда приходила к нему Анночка Алеева, – его поклонница, барышня, служившая в какой-то технической конторе. Поэт любил ее за то, что она любила его стихи, и многие знала на память. Поэтому ему радостно было смотреть на ее не очень красивое лицо, на ее слабо-розовеющие щеки, худенькие, с милыми ямочками, и на скромную прическу темнорусых волос. Ему радостны были ее нечастые посещения, и для нее он покупал барзак и шафрановый ранет.

С каждым днем он любил ее все нежнее. О своей любви сказать ей он не решался, – он стар, она молода и, может быть, любит другого или полюбит. Но ему было тоскливо думать, что когда-нибудь она перестанет ходить к нему, потому что полюбит молодого. Досадливо думал, что это будет какой-нибудь пошляк, чиновник или конторщик.

Однажды вечером Анночка спросила поэта:

– Что вас беспокоит нынче, Сергей Григорьевич?

Поэт не удивился. Он уже знал, что Анночка – чуткий и внимательный человек. Он сказал:

– Анночка, ты угадала.

– Отчего же вы мне не скажете? – с нежным упреком сказала Аня. – Может быть, я могла бы что-нибудь сделать.

Поэт улыбнулся.

– Милая Анночка, – сказал он, – если бы ты была чародейной царицей, которой подвластны те, кто живут с нами! Если бы ты знала слова заклинаний!

Анночка уже давно привыкла к способу выражений Сергея Григорьевича. Этот наивный способ говорить даже восхищал ее. Впрочем, и все, что было связано с поэтом, приводило ее в восторг. Анночка, сама того не замечая, мало-помалу влюбилась в поэта.

Она легко поняла его и теперь. Прислушавшись к легкому шороху в углу за грудой книг, она сказала:

– Ну, вот, я знаю, что вас беспокоит. Эти мыши, которые там скребутся? Да, правда?

– Правда, Анночка, – сказал поэт. – Ты – умная, и всегда угадываешь все сразу.

– Я принесу вам мышеловку, – сказала Анночка. – А теперь позвольте хоть немножко похозяйничать в ваших книгах, привести их в порядок.

– Ну, это лишнее!

Сергей Григорьевич боялся, что Анночка куда-нибудь засунет нужные ему теперь книги. Но он не умел спорить, Анночка принялась за уборку комнаты.

III

На другой день мышеловка была принесена и поставлена в углу за книгами. Поэт простодушно радовался и благодарил Аню. Он говорил:

– Одну за одной, мы их всех переловим.

В этот вечер сидели долго поэт и Анночка. Он выпил весь барзак, она рассказала, – в который раз? – всю свою жизнь, и как

ей скучно служить в конторе, где каждый день одно и то же. И поплакала, а он утешал ее. Его глаза сияли такой участливой лаской, что для Анночки он вовсе не казался старым.

Прощаясь, Сергей Григорьевич нежно обнял Анночку, и поцеловал в щеку и в губы, и Анночка задрожала, прижимаясь к нему. Он погладил ее по мягким, густым волосам, и в тесной передней помог ей надеть ее старенькое осеннее пальто. Заспанная Маша, заслышав голоса, вышла из кухни, и заперла дверь за Анночкой.

Поэт еще посидел, помечтал. Прислушиваясь к падению осеннего дождя, он думал, что Анночка милая, и что было бы радостно, если бы она его полюбила. Он не знал, что Анночка уже давно любила его.

IV

На другое утро Сергей Григорьевич проснулся поздно. Когда он пил чай, Маша радостно сказала ему:

– Ну уж и попалась крысища, – громадная! Как только в мышеловку влезла.

– Что же вы с ней сделали, Маша? – спросил поэт.

– Известно что, – кипятком обварила, и на помойку выбросила.

Поэт вздрогнул. Какая жестокость! Он сказал досадливо:

– Что вы, Маша! Как это можно! Зачем же так мучить!

– Вот, – сказала Маша смеясь, – чего их жалеть!

Веселая улыбка разлилась на ее веснушчатом лице, и она с восторгом рассказывала:

– Визжала, как ребенок! Ей Богу! Вот-то смеху было! Я ее поливаю из крана, а она лапками умывается и визжит, визжит. Вся кожа пузырями пошла.

– Перестаньте, Маша! – сердито сказал Сергей Григорьевич. – Как вам не стыдно говорить такие гадости! И делать!

Он встал из-за стола, не допив чаю, и быстро ушел в кабинет. Он ходил по тесной комнате быстрыми шагами из угла к углу, и ему было тошно и страшно. Он старался не думать об ошпаренной крысе, но воображение настойчиво ставило перед ним все тот же образ, создавая недосказанные Машей подробности.

...В тусклом полусвете осеннего пасмурного утра в кухне Маша поставила самовар на плиту, краном к себе, на пол ведро подставила под краном, чтобы в него кипяток стекал, и поливает кипятком мышеловку, наклоняя ее так, чтобы мордочка пойманного зверька была кверху, и чтобы кипяток лился прямо в эти маленькие, блестящие глаза...

Невольное содрогание пробегало по всему телу старого поэта, точно его самого обливали кипятком, и в ушах настойчиво дребезжал призрачный крик крысего предсмертного визга.

Сергей Григорьевич метался по комнате, натываясь на углы стола и шкапа, ушибаясь почти не чувствуя ушибов. Эта тесная комната с одним окном, за которым серело тоскливое, бесконечным дождем плачущее небо, казалась ему большой мышеловкой, в которую попался он, бедный поэт. Вот придет сейчас дебелая, грубая баба, ошпарит его кипящими струями, и измученный, изуродованный труп его выбросит в смрадную яму.

И чья же вина? Не он ли сам – злой, беспощадный? Не он ли сам захотел, чтобы умирало то, что жило не им и не от него? Не он ли сам поставил эту мышеловку?

V

Целый день томился поэт злыми, мучительными противными представлениями. Когда настал вечер, он нетерпеливо ждал прихода Анночки.

«Но ведь она была вчера и третьего дня, – наконец припомнил он, – сегодня, пожалуй, и не придет».

И от этой мысли ему стало страшно. Сходить за ней? Но еще разойдешься с ней, она не станет ждать, уйдет. Послать Машу? Но с Машей ему не хотелось говорить, – он сегодня ненавидел ее, и за весь день не сказал ей ни одного слова.

Наконец, когда уже стало поздно, и не в мочь было ждать, Сергей Григорьевич вдруг решил. Торопливо написал записку, и уже вложил ее в конверт, как вдруг в передней звякнул звонок. Он бросился в переднюю. Маша уже отворяла. Он нетерпеливо спросил:

– Кто это?

– Это – я, Анночка.

У нее был веселый голос, и глаза вспыхнули радостью. Она опять у своего поэта! И, словно оправдываясь, заговорила:

– Вот как я зачастила. Это я пришла узнать, как мышеловка работает.

Маша захохотала и принялась рассказывать. Сергей Григорьевич торопливо увел Анночку к себе, и на лице его было мучение.

VI

Опять сидели долго, и тосковали оба, и жаловались друг другу, каждый на свою темную, одинокую долю. И говорил поэт:

– Милая Анночка, я весь день сегодня метался по этой комнате, и думал, думал. Не то страшно, Анночка, что есть смерть, есть страдания, – но ужасно то, что мы погибаем, как в мышеловке, одиноко. О, безумие одиночества! О, Сахара мансард!

Заплакала Анночка, стала на колени перед своим поэтом, положила голову на его колени, и, плача горько, сказала:

– Милый, любимый, поэт, в Сахаре есть оазисы, в жизни есть любовь. Вы не знаете, вы не смотрите на меня, я для вас – ничто, жалкая девчонка. Но я люблю, люблю вас. Позвольте мне быть с вами, утешать вас.

VII

Маша подслушивала, улыбалась и думала:

«То плакали в три ручья, то целоваться стали. И все из-за крысы поганой! Чудные!»

VIII

Обрадованный поэт вдруг вспомнил, что он не приготовил сегодня ничего для Анночки.

– Анночка, чем же я тебя угощу? Барзак мы выпили вчера, а сегодня я на улицу не выходил, с Машей не разговаривал...

– Из-за крысы? – спросила Анночка, блестя веселыми слезинками на заплаканных и уже смеющихся глазах.

– Ну, да. Да и забыл.

– Ничего, ранеты еще остались, – деловым тоном сказала Анночка.

СКАЗКА ГРОБОВЩИКОВОЙ ДОЧЕРИ

Ничего нет странного в том, что молодой чиновник Леонтий Васильевич Ельницкий влюбился в молодую мещанскую девушку Зою Ильину. Она же была девица образованная и благовоспитанная, кончила гимназию, знала английский язык, читала книги, и давала уроки. И, кроме того, была очаровательна. По крайней мере, для Ельницкого.

Он охотно посещал ее, и скоро привык к тому, что вначале тягостно действовало на его нервы. Скоро он даже утешился соображением, что как никак, а все же Гавриил Кириллович Ильин, Зоин отец, был первым в этом городе мастером своего дела.

Гавриил Кириллович говорил:

– Дело мое не какое-нибудь эфемерное. Это вам не поэзия с географией. Без моего товара ни один человек не обойдется. И притом же дело мое совершенно – чистое. Гроб не пахнет, и воздух от него в квартире крепкий и здоровый.

Зоя часто сидела в складочной комнате, где хранились заготовленные на всякий случай гробы. Одетая пестро и нарядно, – у отца много оставалось атласа, парчи и газета, – и даже со вкусом, Зоя часто звала туда и своего друга.

– Пойдемте в складочную, Леонтий Васильевич, – говорила она, – там тепло и сухо, и там хочется говорить сказки. Там каждая доска пахнет вымыслом.

Они шли в складочную. Там Зоя рассказывала Леонтию Васильевичу вычитанные из книг истории и сказки, очень сильно изменяя и дополняя их своими мыслями. Ельницкий сначала неловко поеживался, и хмуро посматривал кругом, а потом принимался развивать перед Зоей свои взгляды.

Порой Зоин отец приходил сюда, за делом или просто так, послушать их разговоры. Если за делом, Зоя и Ельницкий уходили в другие комнаты. Если просто так, они продолжали разговаривать, а он слушал, поглаживая седые длинные усы и весело сверкая синими, как у дочери, все еще молодыми глазами. Кто всмотрится внимательно в эти глаза, тому понятно станет, что они многое видели, и многое привыкли замечать.

Старик и сам сказал однажды Ельницкому, когда они сидели все трое в складочной:

– Я все вижу, я все знаю. Конечно, мелкотой мне, по моей популярности, заниматься не приходится, но что касается почтенных жителей нашего города, я знаю срок каждому и размер. Как только умер, у меня все готово. Конечно, для видимости прикинешь мерочку, но только, скажу с интимной откровенностью, мог бы и не беспокоить покойника. Только поставить прибор по желанию родственников.

Леонтий Васильевич недоверчиво усмехался, а старик продолжал:

– Видите, здесь сложены гробы разных размеров: длина, ширина,

все к кому-нибудь пригнано. Глаз у меня наметанный, а мерка у меня живая.

Зоя слегка покраснела и улыбалась, а Леонтий Васильевич спросил:

– Какая мерка?

Старик объяснил охотно:

– Зою мою вожу, в церковь, на гулянье, в театр. Станет рядом с кем надо, а уж мне и видно, какая разница в росте, в ширине. На один сантиметр не ошибусь. Конечно, людей в городе много, есть и совпадения в размерах, и на иную домовину у меня по несколько кандидатов. Списочки веду.

Леонтий Васильевич вспомнил, как на днях Зоя подошла и стала рядом с ним, и старик смотрел на них внимательно. Холодок пробежал по его спине. Он укоризненно посмотрел на Зою. Она отвернулась, и легким движением гибкой руки показала на один из гробов.

– Вот мой размер, – сказала она равнодушно.

– А вам не жутко? – спросил Ельницкий.

– Я ведь здесь выросла, – спокойно ответила она.

Когда Ельницкий уходил в тот вечер домой, ему казалось, что он никогда не перешагнет порога складочной. Но на другой же день Зоя опять повела его туда, и он послушно пошел за ней. Невеселыми глазами он окинул ряд гробов, и спросил, стараясь говорить шутливо:

– Который же тут по моему размеру?

И с досадой услышал, как дрогнул его голос. Зоя спокойно улыбнулась, и сказала:

– Срок настанет еще не скоро.

Сказала так уверенно, как будто бы знала. И звук ее слов внес удивительное успокоение в душу молодого человека. А Зоя ласково погладила края своего гроба, и сказала:

– И в этот ляжет кто-нибудь другой, не я. Мне почти жаль, – я к нему привыкла, и запомнила узор его досок.

Все отчетливее с каждым днем понимал Ельницкий, что любит Зою. Он был уверен, что и она любит его. Их встречи были часты и радостны, их разговоры – доверчивы и ясны. Они иногда говорили друг другу ты, почти не замечая этого. Но о любви своей еще молчали. Что-то удерживало Ельницкого. А Зоя спокойно ждала, терпеливая и уверенная, точно и в самом деле знающая все сроки.

Однажды Ельницкий спросил ее:

– Зоя, ты – мечтательница. Но в этой мрачной обстановке можно ли мечтать о любви?

Зоя посмотрела на него внимательно и нежно, и голос ее был сладок и звонок, когда она говорила:

– На могилах цветут розы, над гробами возникает любовь. Мать земля сырая любит нас и тогда, когда мы цветом, и тогда, когда мы отцветаем. Она радуется и славит Бога каждый раз, когда рождается человек.

В середине декабря однажды Ельницкий пришел к Зое вечером. Горели лампы, было тихо. Он прошел в складочную. Зои было не видно. Он проходил мимо гробов, чтобы сесть у печки, погреться, подождать, – в передней ему сказали, что Зоя дома. Взор его доколе невнимательный, вдруг остановился на одном гробу, стоявшем на скамейке: там он увидел Зою, вздрогнул и остановился.

Девушка спала, лежа прямо на досках; ее голова покоилась на сложенных руках; губы нежно улыбались, и дыхание было безмятежно-ровное.

Ельницкий тихо позвал:

– Зоя!

Девушка открыла глаза.

– А, это – ты, – сказала она, приподнимаясь. – Сегодня я очень устала. А если очень устанешь, то всего слаще отдыхать на голых досках.

– Выходи, – сказал он хмуро.

Взял ее за плечи, и потянул к себе. Она легко и ловко спрыгнула на пол.

– Я чуть не упала, – сказала она. – Ты так сильно меня потянул. Или вы все такие жестокие?

– Жестокие? Почему? – с удивлением спросил Ельницкий.

– У людей все так, – говорила Зоя, – во всем проявляется жестокость, только по-разному, сильнее, послабее. Удар кинжалом в сердце или в глаз, укусы, поцелуи, – разные звенья одной цепи. Ты читал сегодня о том, что они сделали с сестрой милосердия?

– Что? Нет, я не читал, – сказал Ельницкий.

Зоя взяла развернутый лист газеты «Речь». Показала ему.

– Читай, вот здесь.

Он прочел. Крикнул, внезапно охваченный гневом:

– Какие мерзавцы!

Зоя говорила:

– Ты только представь себе весь ужас ее муки! В холодную ночь стоит нагая, привязанная к дереву. На нее светят фонарями, десяток молодых, сильных парней, хохочут и бросают в нее ножи. Потеха длится долго, кровь течет по телу, нож торчит в ее глазу, – подумай, представь себе это! Теперь скажи мне, – может быть, это – неправда, или непроверенный, преувеличенный слух? Тогда как смеет газета печатать об этом? Или это – правда? Тогда отчего весь мир не содрогнется, не восстанет, не уничтожит злое племя?

– Так нельзя рассуждать, Зоя, – возразил Ельницкий, – это – злодеи, преступники, которые могут быть в каждой стране.

Зоя покачала головой.

– Если это может быть в каждой стране, если так надругаться над сестрой может француз и англичанин, так ведь это – такой ужас, от которого можно с ума сойти или проклясть все человечество. Я знаю, люди прочтут это так же, как они читают о всяком преступлении. Кое-кто немножко поволнуется. Но всем все равно. Пока нас не тронули, нам все равно. Мы все – жестокие звери.

Ельницкий почувствовал, что мысли его разбегаются, так много можно было бы спорить против этих нелепых и несправедливых слов, но ему не хотелось почему-то говорить.

Зоя посмотрела на него, и засмеялась невесело.

– Вижу, ты несогласен со мной. Вот, слушай, я расскажу тебе сказку из этой книги. Читал эту книжку?

Ельницкий взял с некрашеного березового столика у печки книгу в белой обложке с зелено-золотым рисунком, и прочел ее титул: «Тути – Намэ. Сказки попугая. Москва. Кн-ство К. Ф. Некрасова».

– Не читал.

Зоя, переиначивая, как всегда, прочитанную сказку, говорила неторопливым и ровным голосом:

– Один добрый и богатый купец в Багдаде, по имени Халис, роздал все свое имущество дервишам, бедным и сиротам. У него не было детей, куда беречь деньги! Но, видишь ли, когда делаешь что-нибудь, то легко увлечься чрезмерно. Он все роздал, понимаешь, буквально все, так что у него остался только дом с голыми

стенами, и нечего есть, и не на что купить пищи. И он подумал: Ну что ж, дом продам, деньги раздам, сам как-нибудь проживу, — одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И уже он условился с другим купцом, что тот завтра принесет деньги, а Халис передаст ему дом. Тот купец был жадный, он видел, что Халис торопится кончить это дело, он и воспользовался случаем неправо обогатиться, и предложил Халису гораздо меньше денег, чем сколько стоил дом. Ну, Халис торговаться не стал. Но вот он ночью увидел во сне человека, одетого в блистающие одежды. Очень испугался, думает, — пришел за моей душой. А потом успокоился, подумал опять, — ну, что ж, на земле я ничего не оставляю. Но светозарный муж узнал его мысли и сказал ему: «Не хочет Бог твоей смерти и твоей нищеты. Ты останешься в этом доме, и у тебя будет жена, и она родит тебе сыновей и дочерей. Слушай, — завтра я приду к тебе, принявши облик брамина. Ты ударь меня палкой по голове, и я рассыплюсь золотом». Так он говорил, и Халис запомнил все его слова. Но ты подумай, друг мой, — надо нанести удар, чтобы обрести свое сокровище. Какой верный образ нашей злобы и жестокости!

Зоя замолчала. Потом сказала тихо:

— Не стоит, пожалуй, досказывать сказку. Ты сам догадаешься, что все так и случилось. Добрый был награжден, жадный наказан.

Но увлекаясь рассказом, продолжала:

— Спросишь, как был наказан жадный? А вот как. На утро пришел купец с деньгами, — поторопился прийти пораньше, чтобы кто-нибудь другой не дал больше. А следом за ним вошел в дом Халиса брамин. Он был одет в желтый шелк, лицо у него было сморщенное и желтое, из-под желтой парчевой шапки видны были редкие пряди золотистых волос, и руки его были желты, и весь он был словно сбит из золота. И сказал он Халису: «Халис, прогони этого купца, он дает тебе мало денег». Халис сказал: «Мы условились с этим человеком, и я должен принять его деньги и отдать ему дом». Но брамин стал между Халисом и жадным купцом, и мешал им приступить к расчету. Тогда Халис вспомнил свой сон, схватил палку, и закричал: «Уйди отсюда, или я тебя поколочу». Ведь он был человек добрый, и рука его не поднималась ударить человека без предупреждения. Но брамин не уходил, и настаивал на своем. Тогда Халис ударил брамина по голове. Брамин заблестел, голова его зазвенела, он осел, и вдруг рассыпался громадной кучей золотых монет. Халис отсчитал девяносто девять монет, отдал их жадному купцу, и сказал: «Теперь ты и сам видишь, что я должен поступить так, как мне приказывало это золото, пришедшее ко мне в образе брамина. Возьми эти деньги, и никому не говори о том, что ты здесь видел». Купец сказал: «Хорошо, я откажусь от нашей сделки за эти девяносто девять монет, но в придачу дай мне твою палку». Халис согласился. Он знал, что не в палке сила. А жадный купец вздумал, что в этой палке заключена чудесная сила, и что стоит ударить ей любого брамина, и тот рассыплется золотом. Пошел жадный купец домой, и послал своих слуг ко всем браминам того города, которых он знал, звать их на пир в тот же вечер. Брамины пришли, и купец дал им много вина. Когда они упились, он затеял с ними ссору, схватил Халисову палку, и принялся бить их по головам. Крови пролилось не мало, а золота не было ни одной монеты. Брамины подняли страшный крик, сбегалось много народу, купца взяли под стражу, и утром привели к судье. Судья спросил: «За что ты бил браминов?» Купец отвечал: «Халис научил меня этому». И

рассказал, что видел у Халиса. Послали за Халисом, и судья сказал: «Слушай, что показывает на тебя этот человек». Халис выслушал рассказ купца, и сказал судье: «Господин, спроси у соседей моих, кто видел брамина, вошедшего в мой дом, и спроси у браминов, не исчез ли кто-нибудь из них, кого ищут и не находят». И никто не видел брамина, вошедшего в дом Халиса, и не было среди браминов никого пропавшего, кого искали и не находили. И велел судья бить купца палками, все золото его взяли и роздали обиженным браминам.

Зоя замолчала. Ельницкий сказал:

– Каждый день, Зоя, ты рассказываешь мне сказки. А самая лучшая сказка, знаешь, какая?

– Знаю, – сказала Зоя, – та, которую мы делаем из своей жизни.

– Зоя, – спросил он, – ты любишь меня?

– Не знаю, – сказала Зоя, – ведь ты еще не ударил меня ни разу ни по голове, ни по сердцу, чтобы я стала твоим сокровищем, золотом твоей жизни.

Она смеялась, и смотрела на него дерзким, вызывающим взглядом.

– Как же я могу тебя ударить? – спросил он смущенно.

– Никакого клада не возьмешь просто, – отвечала Зоя.

Она стояла перед Ельницким, дразня его все той же дерзкой усмешкой и настойчивым взглядом потемневших, злых глаз.

– Как же можно бить тебя? – спросил Ельницкий. – Ты слабее меня.

Он чувствовал, что голова его кружится и сердце замирает. Злое навождение овладевало им. Зоя засмеялась. Неприятно-резок был ее смех.

– О! – воскликнула она, – я вовсе не такая беззащитная. Видишь, нож на столе лежит. Он острый, и конец его тонок. Он легко войдет в твое сердце, если ты оплошаешь.

Она побледнела, губы ее задрожали, и рука потянулась к ножу.

– Злая ведьма! – закричал Ельницкий.

Точно движимый чужой волей, он ударил Зою по щеке. Удар был неожиданно силен и звонок, и под своей рукой почувствовал Ельницкий зной вдруг вспыхнувшей нежной девичьей щеки. Зоя покачнулась, метнулась в сторону. Ельницкий ужаснулся тому, что случилось.

«Что я сделал? Я ударил любимую девушку! Какой позор!» – коротко подумал он.

Зоя вдруг пронзительно закричала, схватила нож, и бросилась на Ельницкого. Лицо ее было искажено бешеной злобой, синие глаза казались слитыми в малые круги нестерпимо острыми молниями. С ужасом и восторгом глянул на нее Ельницкий, – никогда не была так прекрасна Зоя, как в эту гневную минуту. Он схватил одной рукой кисть ее правой руки, в которой сверкал нож, – едва успел схватить и отвести вниз. – конец ножа уже разрезал его одежду, и остро царапнул кожу на груди, – другая его рука тяжело легла на ее плечо и шею. Она бешено рвалась в его руках, налегая всем телом на его грудь. Вдруг он почувствовал боль в левой ноге, вскрикнул и упал, увлекая за собой Зою. Он ушибся головой о край скамьи, и, теряя сознание, услышал над собой отчаянный Зояин вопль.

Когда он очнулся, он лежал в гостиной на диване. Зоя стояла перед ним на коленях, плакала и целовала его руки. Старик смотрел насмешливо, и говорил:

– Пустяки, две легонькие царапины. До свадьбы заживет.

Ельницкий вспомнил, что именно этими словами в детстве уте-

шала его старая няня. Он засмеялся.

– Зоя, – сказал он, – ты – мое сокровище. Когда же ты доскажешь мне твою сказку?

– Зоя – сказочница, – отвечал за нее старик, – своим детям она наскочит сказок.

– Своему сыну Зоя расскажет, – тихо говорил Ельницкий, – как его отец пошел на войну. Видишь, Зоя, я догадался, – жаль, немного поздно, – как тебя надо ударить, – по сердцу, – уйти от тебя, уйти, чтобы наносить удары и побеждать.

– Ты ко мне вернешься, – со странной уверенностью сказала Зоя.

– Не знаю, Зоя, – отвечал он, – да и не все ли равно! Старый гробовщик покачивал головой, и говорил:

– Еще не скоро, дети, настанет ваш срок уйти в тесной дома.

ГОЛОС КРОВИ

I

Алексей торопился поскорее уехать из Косоура в Юрьев Лог. Косоур не понравился Алексею, хотя это был его родной город. А может быть, именно потому и не понравился, по несходству с детскими воспоминаниями. Эти воспоминания казали Косоур очаровательным, – но ведь то были воспоминания первых шести лет его жизни. Ровно двадцать лет Алексей не был в этих местах.

Нелепым показался Косоур. На вокзале ошалелые, бестолковые носильщики. – вокзал темный и грязный, – от вокзала до города надобно ехать несколько верст на извозчике. Река Косоурка плескала на заболоченный берег грязную малярную воду. Обыватели имели сонный и тупой вид, и казалось, что все их духовные интересы сводились к игре в преферанс. Город с населением около ста тысяч имел только одну газетку, да и ту местные жители презирали.

Встречаясь с косоурцами, Алексей спрашивал их:

– Отчего вы такие? Почему у вас так сонно?

Обыватели угрюмо отвечали:

– Губернатор у нас нехорош, ничего не разрешает.

Алексей думал, что беда не в одном губернаторе. Он говорил:

– Сами вы очень равнодушны.

Ему отвечали:

– Мы очень даже неравнодушны, а только что ходу нам нет.

Алексей был рад, когда, покончив с делами и с более необходимыми визитами, выехал в свое имение, Юрьев Лог, верстах в сорока от этого гиблого города, где тоже с детства не был.

Подъезжая к имению, вспоминал. Было привычное в странном, такое привычное, что надолго умертвило охоту спрашивать: «почему?» – охоту, теперь опять зажигающуюся. А странно было то, почему после смерти отца целых двадцать лет мать и сама не хотела ехать ни в Косоур, ни в Юрьев Лог, ни Алексея туда не пускала.

Алексей вспоминал отца, – живое воспоминание шестилетнего мальчика амальгамировалось с долгим любующимся наглядением на его портрете, несколько фотографий и один живописный. Это был очень

красивый человек с обворожительными манерами, с обаятельной улыбкой и с такой необычайной силой ласковых глаз, что не послушаться его казалось невозможным.

Умер он неожиданно и случайно. Он был превосходный наездник, и в тот несчастливый день лошадь сбросила его, и он разбил голову о придорожный камень.

«Один из таких камней», – с волнением думал Алексей, глядя на острорезный выбеленный известью кубик с красной цифрой, что-то кому-то понятное знаменующий.

Сначала Алексей думал, что мама потому не хочет ехать в Юрьев Лог, что эти кубики у края дороги напомнят ей ужасное. Потом, по каким-то намекам и умолчаниям, он стал догадываться, что главная причина не в этом. Сначала он спрашивал у матери, в чем дело, почему не едут в Юрьев Лог, но скоро понял, что спрашивать не надобно и бесполезно.

В прошлом году мать умерла. За неделю до смерти она сказала Алексею:

– Ты соберись как-нибудь в Юрьев Лог. Что ж тебе! Там все хорошо. Анна Дмитриевна – очень хозяйственная женщина. Настоящая экономка, хоть из простых крестьянок. Танюшка пока учится на курсах, ты ей стипендии не прекращай, да и потом об ней позаботься, – она ведь на нашем попечении выросла.

Анна Дмитриевна, хозяйничавшая в Юрьевом Логге, и дочь Танюшка были для Алексея мифические существа. Танюшка училась в Москве, Алексей кончил петербургский университет. Он видел Танюшку раза два мельком в гостинице Метрополь в Москве, – она приходила благодарить его мать за стипендию в гимназии и на курсах; да у матери видел ее фотографические снимки. Впечатление осталось такое: ничего себе, недурненькая девушка, только смешно, не к лицу причесанная и очень застенчивая.

II

Когда коляска подъезжая к старому каменному двухэтажному дому, медленно катилась по березовой аллее, Алексей увидел выходящую с боковой дорожки к цветочной круглой куртине перед домом стройную девушку в белой блузке и в перетянутой широким поясом короткой синей юбке. Лицо загорелое и веселое, черные волосы заплетены в косу, голова не покрыта.

Девушка остановилась и смотрела на подъезжавшую коляску. На ее лице двигалась, от веток дерева, под которым она стояла, рябая тень с дрожащими солнышками, из которых два трепетали на самой улыбке румяных губ, а одно играло с веком правого глаза, порой сбегало чуть пониже и золотило край чуть шурящегося тогда зрачка. Сильный свет милого на живом теле солнца лежал на ее облитых золотистым загаром ногах.

Алексей глянул на ее лицо. Оно показалось ему незнакомым, но похожим на чье-то другое лицо. Алексей подумал почему-то, что это и есть курсистка Танюшка, та самая дочь вдовы-экономки, которой он продолжал выдавать стипендию. Алексей приподнял шляпу. По тому легкому и веселому спокойствию, с которым девушка ответила на его поклон, он уверился, что это и в самом деле Танюшка.

Девушка звонко кричала, сзывая кого-то, да и сама проворно побежала к крыльцу за коляской. Она остановилась на нижней ступеньке крыльца и, улыбаясь, смотрела, как ахающие и восклицаю-

щие работницы вынимали из коляски и стаскивали с козел Алексеевы чемоданы.

– Татьяна Петровна? – спросил Алексей, выходя из коляски.

Девушка засмеялась и сказала Алексею:

– Танюшка.

И ударение сделала на ю.

Алексею стало весело и просто. Он сказал, пожимая теплую Танюшкину руку, приятную на ощупь, как всегда бывает приятно для осязания загорелая кожа не искаженных грубой работой рук, не загорбелая, но все же не вялая, как у малокровных дам:

– Здравствуйте, Танюшка.

– С приездом, – говорила Танюшка. – Мама на хуторе. Я уж сказала, за ней побежали. А пока пойдемте, я вас провожу, для вас приготовлены комнаты.

Алексей всматривался в Танюшку. Нет смешной не к лицу прически, нет неприятной фотографической нарочности выражения.

– Какая глупая фотография! – сказал Алексей.

И, что редко бывает, сказал то самое, что и думал. Танюшка, слегка задержавшись на пороге дома, спросила:

– Почему глупая?

– Да как же не глупая! – оживленно говорил Алексей, – я видел недавно вашу фотографическую карточку, а сейчас едва узнал, скорее догадался, что это – вы. Сходства очень внешние, совсем не передают впечатления.

И теперь уже Алексею совсем не хотелось словами фотографировать свою мысль, – слова так же огрубят ее, как фотография огрубляет черты милого лица. Словами приблизительными по необходимости он сказал бы ей, если бы захотел говорить:

– Судя по этому снимку, я думал, что ты – смазливенькая, смешная простушка, а вот увидел тебя лицом к лицу и вижу, что ты очаровательна.

И сказал бы так, потому, что уже был влюблен в Танюшку. И даже почти уже знал это.

Танюшка сказала:

– Ну, конечно, что же фотография может!

Пошла впереди Алексея по комнатам нижнего этажа, где была гулкая прохлада, и, призадумавшись, спросила:

– А как вам больше нравится?

Посмотрела искоса на Алексея, пощипывая перед своей блузы, и казалось, что ждет ответа с волнующим ее вниманием.

Алексей, не задумываясь, сказал:

– Теперь лучше.

– Да? почему?

Алексею нравилась та свобода, с которой Танюшка говорила это темное для него слово «почему». Он сказал:

– Там какая-то неверность, нет жизни. Там вы не та, совсем не та, другая какая-то.

– Может быть, это потому, – сказала Танюшка, – что тогда я была одета, как барышня-курсистка, и притворялась городской барышней, а здесь я босая и простая, крестьяночка, как и по паспорту значусь дочь крестьянина Косоурской губернии.

Алексей думал:

«Милая, настоящая крестьяночка с душой приветливой царицы, истинная госпожа и повелительница».

– А вот и ваши покои, – сказала Танюшка.

Она показала Алексею гостиную, кабинет, спальню. Говорила:

- Все сама прибирала, за всем присмотрела, вам будет удобно.
- Спасибо, милая Танечка.
- У вас в гостиной и в кабинете вчера сама и полы помыла,
- весело говорила Танюшка.
- Милая Танечка, зачем же! – воскликнул смущенный Алексей.
- Не поверила нашим бабам, – сказала Танюшка, – неловкие они у нас. Еще разроняли бы, побили бы вещицы хорошенькие. Одно слово – косоурские.
- Но мне, право, совестно, – говорил Алексей, поглядывая на Танюшкины руки, которые совсем не казались руками работницы.
- Ну, что там! – бойко возразила Танюшка. Я ведь летом отдыхаю от зимней учебы, ничего не делаю, живу себе бездельницей.

III

Вечером, разговаривая о делах хозяйственных, которые его, впрочем, мало занимали, с Анной Дмитриевной, Алексей вдруг прервал ее на полуслове и сказал:

- Танюшка – то у вас красавица выросла.

Анна Дмитриевна слегка покраснела и сказала:

- И я молода была не урод.

Гордость слышна была в ее голосе. Анна Дмитриевна, еще и теперь была красива, как может быть красива мать двадцатилетней девушки. Но все-таки Танюшка была не совсем на нее похожа. Танюшкина очаровательная, солнечная улыбка напоминала Алексею кого-то, а кого, он не мог припомнить, почему и был так рассеян и невнимателен.

«На кого же она похожа?» – настойчиво думал он, перебирая в памяти красивых дам и образы, созданные живописцами и ваятелями. – Не пахнет ли из ангелов Бернардино Луини, – очаровательно светлый ангел?»

И все яснее чувствовал Алексей, что любит Танюшку.

«Да ведь я же ее совсем не знаю!» – порой упрекал он себя.

Но знал, что она ему бесконечно мила и дорога, и что ее улыбка его не обманет.

IV

У кого-то из русских писателей Алексей читал однажды, что сближение влюбленных шло гигантскими шагами. Это выражение пришло ему на память, когда он с Танюшкой бегал в саду на гигантских шагах.

Оставив лямку, Алексей стоял на песчаной дорожке, смеялся и смотрел на Таню. Она подошла к нему, и спросила:

- Вы опять надо мной смеетесь?

- Что вы, Танечка! – воскликнул Алексей, – когда же я над вами смеялся?

А Танюшка стояла перед ним и смеялась. Алексей вдруг притянул ее к себе и поцеловал в губы. Она покраснела очень, стыдливо засмеялась и убежала.

И потом целый день она ходила, как в бреду, улыбалась и напевала, а вечером, ложась спать, вдруг поплакала немножко. Но слезы ее были счастливые, и заснула она с радостной улыбкой.

Сладкие слова любви были сказаны опять, уж в который раз от сотворения мира, и все-таки опять новые, нетленные слова!

А ночью, оставшись один, Алексей вдруг вспомнил что-то очень значительное. Сначала неясно вспомнилось, но уже страшно стало. Что это такое? Ведь милый вспомнился образ, – лицо покойного отца, – отчего же страх? И с ним рядом стал другой образ, еще более милый, – очаровательное Танюшкино лицо, – и обаятельная улыбка юных девичьих уст на одно мгновение слилась с обаянием улыбка губ увядающих, но все еще прельстительных.

«Танюшка похожа на отца, – думал Алексей, – что же это значит?»

И вот страх его осмыслился в определенной мысли:

«Неужели она – моя сестра?»

Но он упрямо думал:

«Все-таки люблю, люблю, люблю! Моей любви не уступлю темному призраку».

И не мог уснуть. В сад вышел. Подошел к флигельку, где жила Танюшка с матерью. В Танюшкино окно стукнул веткой сирени, – легохонько стукнул, но она услышала, встала с постели, на плечи гарусный платок накинула, окно открыла. Тихо шепнула:

– Что ты стучишься, безумный! Мама услышит.

– Пусть услышит, – трагическим шепотом отвечал Алексей. – Секрета от нее нет.

Танюшка поежилась плечами под платком, глянула на темное небо, где мерцали узоры звезд, и спросила:

– Ну что, гулять в саду хочешь?

Алексей молчал. Не знал, что сказать. Танюшка отошла в глубину команты, надела юбку, и легко выпрыгнула в окно.

Пошли к реке. Соловья слушали. Говорили что-то. Танюшка смотрела на Алексея влюбленными глазами.

– Любишь? – спросил Алексей.

– Люблю, – тихо отвечала Танюшка, и звук ее голоса словно растаял во влажной темноте ночной.

– Как брата? – опять спрашивал Алексей.

– И еще больше, – отвечала Танюшка.

И спрашивал:

– А не разлюбишь?

И отвечала:

– Не разлюблю никогда.

– Будем вместе навсегда?

– Навсегда вместе.

– А ты меня что не спросишь? – немного помолчав, спросил Алексей.

– Я и так знаю, – отвечала Танюшка.

– Что ты знаешь?

– Ты меня любишь. Любишь, не разлюбишь. Мы всегда будем вместе.

– А если ты?..

– Что? Что если я?

Алексей помолчал и притворно-шутливо сказал:

– Вот и спросила.

Засмеялись оба. Настаивала Танюшка:

– Ну, что такое «если я?» Бессовестный, начал и не кончаешь.

Дразнишь. Я заплачу.

– Любопытненькая, – говорил Алексей, нежно поглаживая ее по спине.

– Да вот и любопытненькая. А ты скажи, ненаглядненький.

Алексей, очень волнуясь, заговорил:

– Слушай, Танюшка, мне иногда кажется странное что-то. Ведь вот я тебя до этого лета почти совсем не знал. А теперь так вдруг люблю, так люблю, как что-то дорогое и близкое.

– И я тоже, – тихо сказала Танюшка.

Она смотрела на него, не отрываясь, и его волнение передавалось ей и ускоряло стук ее сердца. Алексей говорил:

– А почему так, Танюшка? Тебе это нестранно?

– Что ж странного?

– Вот то, что так вдруг. Не удивляет это тебя?

Танюшка прижалась к Алексею, сказала шутливо, побеждая жуткое непонятное волнение:

– Вот еще придумал. А разве меня не стоит любить?

Крестьяночка босоножка, так и уж полюбить меня странно! О, какой ты строгий стал!

И засмеялась весело, целуя Алексея.

– Нет, ты слушай, Танюшка, – говорил Алексей, – а вдруг вся эта внезапность оттого, что мы близки. Что если ты – моя сестра?

Танюшка призадумалась, потом звонко засмеялась.

– Все-то ты придумываешь! Если бы мы родные были, разве бы я могла в тебя влюбиться? Ах, люблю, люблю тебя, милый мой, ненаглядный!

В кустах над рекой просидели они до зари, тихо разговаривая, нежно и невинно целуясь. И уже не вспоминали об этой Алексеевой затее.

Когда уже легли на землю первые чуткие тени и встрепенулись влажные кустарники, заторопилась Танюшка домой.

VI

Она заснула крепко и счастливо. А утром вспомнила Алексею догадку ночную, и призадумалась над ней. И все утро ходила невеселая, смутная. С Алексеем старалась не встречаться.

Перед обедом Танюшка улучила минуту, осталась наедине с матерью, и прямо спросила:

– Мама, скажи мне, я – чья дочь?

Анна Дмитриевна слегка покраснела, чуть принахмурила крутые брови, и сказала:

– Нашла, что спросить! Моя дочка, рожденная, не подкидыш.

– Это я знаю, мама, – продолжала Танюшка, – а кто мой отец?

Анна Дмитриевна глянула на дочь, глянула в сторону, и сказала:

– Муж покойник, кто же еще?

Потом вспыхнула ярко, рассердилась, крикнула:

– Да что ты мать вздумала допрашивать! Учена больно много, думаешь о себе нивесть что. Поди-ка, как с матерью заговорила! Вот как возьму...

Начала, – и не кончила. Танюшка смотрела на нее пристально. Анна Дмитриевна смущенно подошла к окну. Слезы побежали из ее глаз. Танюшка, не двигаясь с места, голосом холодным и звучным говорила:

– Мама, голубушка ты прости меня, что я спрашиваю, но мне это надобно знать, очень надобно. Ты скажи мне, Алексей – брат мне или нет?

Анна Дмитриевна молчала. Танюшка увидела по ее неловким движениям, что она плачет. Танюшкино сердце упало.

Не стала больше спрашивать, вышла Танюшка в сад, прошла к речке, в кусты, где они с Алексеем нынче ночью сидели, где ей было так хорошо. Села на камешек, смотрела на воду, шептала беззвучно похолодевшими губами:

– Радость, радость моя, что же ты, где же ты?

И плакала долго. Любви несбыточной было жалко.

VII

А в это время Алексей пригласил к себе Анну Дмитриевну, и принялся допрашивать ее о том же. Анна Дмитриевна, улыбаясь сквозь слезы, раскрасневшаяся, говорила:

– Только что Танюшка меня пытала, а тут и вы с тем же вопросом. Что уж скрывать, сами видите: Танюшка вся в покойника папеньку вашего.

Стал мрачен Алексей. Поспешно ушел в лес, ходил там долго. Буйное кипение страсти томило и мучило его.

К вечеру, возвращаясь домой, вдруг встретил он у калитки сада Танюшку. Подумал с болью в душе:

«Чем я ее утешу? Ах, и зачем она знает!»

Ему стало тяжело. Он подошел к Танюшке, заглянул в ее потупленное, раскрасневшееся лицо, и удивился, – где же Танюшкины слезы? где же ее печаль?

Подняла на него глаза Танюшка, улыбнулась светло, сказала:

– Братик миленький.

Охватила его шею руками, поцеловала, – сладкий, невинный поцелуй, как сестра целует милого брата. Клонящееся к закату солнце облило ее щеку таким теплым, таким нежным потоком весело алых и золотых лучей, и так легко легла на Алексеевы плечи стройность Танюшкиных голых рук, и такое сладкое благоухание вдруг обвеяло его, набежав с резвым ветерком от речки, что радостным и светлым показался Алексею весь мир. И где же страстность, только что бушевавшая в нем? Ее нет.

– Милая сестра моя, – спросил Алексей, – я рад, что ты не опечалена, но скажи, – тебе не жаль той, другой любви нашей?

– Я плакала об ней, – отвечала Танюшка, – глупая! И вдруг, точно тихая молния с неба, на меня упала радость. Ведь я нашла в тебе брата!

– А я? – спросил Алексей, не то Танюшку, не то самого себя.

Танюшка засмеялась. Сказала:

– Все-то ты спрашиваешь!

– Других мало спрашивал, – говорил Алексей, – только тебя. Но знаю, знаю сам, – вот увидел тебя здесь, на этих дорожках, и душа моя узнала тебя. Что-то родное влекло меня к тебе, и если бы мы не узнали тайны нашей, то мы всю жизнь были бы влюблены друг в друга, как бывают иногда влюбленные друг в друга и такие схожие между собой муж и жена. И я хотел обладать тобой, и ты хотела быть моей!

Танюшка засмеялась.

– Хотела ли? Спросил бы у меня прежде, чем говорить.

Алексей продолжал:

– Мы тянулись друг к другу, сладко влюбленные, очарованные своей влюбленностью. Но тайна открыта, и влюбленность наша преобразилась в братскую любовь. Как будто бы знание гасит страсть.

Танюшка смотрела на него, нежно улыбаясь.

– Ну, вот и объяснил, – сказала она.

И потом заговорила очень тихо:

– А все-таки мне очень горько было сегодня, когда я сидела одна там, в кустах над рекой. Даже плакала. Еще не сразу поняла, какая радость – найти себя, найти брата.

Вслушался Алексей в голоса своей души, и понял, что в нем ликует ответная радость, – такое счастье найти сестру! Страстная, плотская любовь его, стораая, таяла в отрадном пламени глубокого и тихого чувства.

ПРАЧКА С ДЛИННОЙ КОСОЙ

I

Сусанна была самая молодая из прачек, работавших в прачечной Мирзоева, у самого берега бухты, где такая фосфорически-зеленая, словно крашенная размытой ярью, вода. И самая красивая. Ни у кого из ее товарок не было такой длинной косы. И никто из них не умел так сладко петь и так звонко смеяться.

Пять прачек стирали белье в лоханках, поставленных на дворе у берега. От улицы двор был отделен невысокой сквозной изгородью, и всякий идущий по улице мог увидеть, как хороша Сусанна, какие у нее стройные и сильные руки, и как румяны ее смуглые щеки, и как в открытых деревянных сандалиях об одном ремешке красивы ее быстрые ноги.

Молодой Георгий шел мимо. К вечеру он каждый раз проходил здесь, останавливался у изгородки и заговаривал с Сусанной и ее подругами.

– Сусанна! – окликнул он молоденькую прачку, – Скоро кончишь?

– А тебе что? – ответила Сусанна.

Засмеялась, резвая, и вдруг почему-то вздрогнула, словно кто-то провел холодной рукой по ее спине от плеча к плечу, засунув костлявые пальцы за широкий ворот белой рубашки. Глянула на Георгия, и нахмурилась.

Красив был молодой Георгий и люб Сусанне. А сейчас почему-то ей стало томно и тяжело смотреть на него. Слишком ярко показались ей его губы, и зубы сверкнули, чрезмерно белы и остры, и непомерно жгуч был огонь его черных глаз.

Смотрела на него Сусанна, и казалось ей, что огненные невидимые струи льются на нее от этих чародейных глаз, – струи огня, перемежаемые струями обжигающего холода.

– Не гляди, окаянный! – крикнула она, – что ты на меня холод и жар наводишь!

Прачки засмеялись. А одна из них постарше, и уже с

пробивающейся кое-где сединой в черных волосах, сказала:

– Да уж не лихорадка ли к тебе пристала, Сусанна? Что-то ты бледная такая вдруг стала.

Сусанна ярко покраснела, и сказала сердито:

– Пристанет, когда тут останются да смотрят. Иди, иди себе, Георгий, мимо, – сегодня вечером мне надо идти к бабушке.

Георгий засмеялся.

– О, сердитая какая ты сегодня, Сусанна! – сказал он. – Как царица.

Прачки засмеялись:

– И правда, как царица.

– Красивая, зато уж и гордая.

– Думает, нет ей равных.

Георгий подмигнул им, и сказал Сусанне:

– Сусанна, слушай, – хочешь быть царицей?

Обидно стало Сусанне, потемнело у нее в глазах, голова закружилась, в ушах зашумело. Стиснув зубы, наклонилась она над лоханкой, напрягая мускулы стройных ногих рук, и словно издалека откуда-то доносились до нее голоса и смех.

II

Вечерело, и темнее становилось. Зной и холод бичевали дрожащее тело прачки с длинной косой. Все перед глазами ее было, как бред. Толстый хозяин ходил по двору, зеленолицый и злой, и голос его звучал, противный, визгливый. Голоса подруг были резки, и лица их казались грустными и враждебными. Кто-то прозрачный и ледяно-холодный давил порозовевшие подъемы ее ног.

А по улице мимо гремели бубны и литавры, проносились тускло-красные языки факелов, и шли пестро-наряженные люди, – во всю ширину тихой улицы шли, смеялись и пели что-то.

Но что же это? Никого на улице нет. Пригрезилось это Сусанне?

Нет, опять идут, шумят, несут пестрые знамена.

Георгий идет впереди всех. И уже вот он во дворе, и стоит перед Сусанной. Где же его рваная куртка? На нем яркий, красный наряд, и на голове его золотая шляпа с красными перьями. Из глаз его льются два пламени, и он говорит:

– Прачка с длинной косой, хочешь быть царицей мира?

– Хочу, – шепчет Сусанна.

Но где же Георгий? И где же остальные? Холодеет вода в лохани, и опять напряжение в спешной работе ногих руки, и покрикивает хозяин:

– Живо, живо. Время не ждет.

Сусанна бледнеет и падает на землю и подруги с резкими криками окружают ее, опираясь в бока мокрыми руками со сморщенными от стирки пальцами.

III

Опять блеск, шум, величание, – и так шумно, и так ярко, что Сусанна едва различает предметы, и голова ее томно кружится.

Она сидит высоко-высоко, – перед ней возвышаются белые, столпообразные колонны, как в храме, – над ней, высоко-высоко, из

темнеющего купола спускаясь, горят огни в громадной люстре, как в городском кафедральном соборе. Пахнет сладко и томно, как в храме. Слышно медленное торжественное пение.

«Что же мне делать?» – думает Сусанна.

И странная тоска объемлет ее, и сменяется равнодушной скукой. Кажется ей, что она уже нескончаемо долго сидит на своем превысоком троне. Она оглядывает себя, – на ней белое, тяжелое платье из шумящего газета, и на плечах ее тяжелая багряная порфира, – красный бархат и белый мех. На ее ногах – лиловые башмаки. Голову давит что-то тяжелое, – Сусанна догадывается, что на ней корона.

– Дайте мне зеркало, – говорит она тихо.

Но как бы тихо ни говорила царица, слова ее услышат. Две прекрасные девушки в вишнево-алых одеждах, с маками в черных волосах, держат перед ней зеркало, и блестит золотая рама. А из-за стекла смотрит на Сусанну бледное, гордое лицо с гневно-горящими глазами. Низко на лоб надвинута соболья шапка, и на ней многоцветно сияющая корона, золотая с самоцветными камнями, похожая на митру старого епископа.

Какая тяжелая! И как блестит! Глазам больно.

И шепчет Сусанна:

– Не надо. Уберите.

Уносят зеркало. И опять ждет чего-то Сусанна.

Что же ей делать? Что делают державные царицы на своих превысоких тронах?

Вот подходят к ней вельможи в раззолоченных одеждах и говорят ей что-то. Слова их сливаются в смутный гул.

И говорит кто-то льстивый, низко перед ней склоняясь:

– Георгия сделать генералом.

Сусанна улыбается. Георгий, который ловит рыбу в море?

– Ну, что же, – говорит она, – пусть Георгий будет генералом.

А это что блестит на столе направо? Золотые монеты. Кто-то, похожий на хозяина прачечной, говорит:

– Эти деньги не отдать ли нищим, слепым, хромым, убогим?

– Отдай, – говорит Сусанна.

Слышен визг нищих где-то внизу. Летят вниз золотые монеты. Вельможа, похожий на хозяина прачечной, бросит горсть народу, а другую горсть сунет в свой карман.

Сусанна хочет сказать что-то, и не может. Она смотрит в другую сторону, и видит на столе длинный, широкий, острый нож.

– Это что?

– Это меч, – говорит ей грозный судья, – казнить злодея.

У грозного судьи страшное лицо, и в руке его бумага. Он подает Сусанне бумагу, и говорит низким басом, как дьякон, говорящий эктению:

– Смертный приговор злодею. Подпиши, царица.

И видит Сусанна злодея. Бледный мальчишка в лохмотьях, похожий на воришку, которого недавно поймали на рынке и били. Он смотрит на Сусанну, и глаза его молят и плачут.

Чьи-то ледяные руки под багряницей обшаривают Сусаннины плечи.

– Это – злодей? – спрашивает она.

– Злодей, – страшным голосом отвечает судья.

– И его казнят?

– Голову с плеч.

И уже палач в красной одежде подходит, а злодей падает на колени, дрожит и воет.

Чей опаляющий огонь льется на Сусанну, и откуда? Не золото ли ее короны растопилось? Не самоцветные ли камения текут по телу яркими пламенами?

Вскакивает Сусанна, вопит неистовым голосом:

– Не хочу быть царицей.

И бросается вниз. Как волна блеснула, – раздалась толпа. Как стекло разбилось, – зазвенели смех и плач.

«Где же я?»

Открыла глаза Сусанна, и увидела себя на больничной койке.

IV

Все вокруг бело, тихо, чисто. Сусанна лежит на спине, и смотрит на высокий, белый потолок. Потом опускает глаза, видит ряд кроватей, слышит тихий говор. От дверей идет кто-то высокий и смуглый, – Георгий!

Сусанна улыбается и говорит тихонько:

– Ну, что, пришел? Думаешь, генералом сделаю?

Звенит ложка о стекло, – девушка в белом балахоне приподнимает Сусанну, поддерживая под подушками голову ее, и вливает ей в рог сладковато-горькое лекарство.

Сусанна морщится и говорит:

– Спасибо, сестрица.

Георгий садится на табурет у ее ног, улыбается ей так, что Сусанне вдруг становится радостно, и говорит, подмигивая девушке в белом балахоне:

– Что ж, Сусанна, хочешь быть царицей?

Сестра милосердия наставительно говорит ему:

– А вы ее поменьше спрашивайте да и сами поменьше говорите.

Сусанна улыбается Георгию, и говорит девушке:

– Ничего, сестрица.

И потом милому:

– Ну, что пристал! Побыла я в царицах, будет с меня, больше не хочу.

– Что так?

– А то. Думаешь, легко быть царицей мира?

– А разве трудно? Пей, ешь, веселись.

– Глупый, ничего не знаешь.

Полмолчали. Георгий подвинул табурет поближе, пригнулся к Сусанне, спрашивает:

– А моей царицей хочешь быть?

Сусанне сладко-сладко, – и больно-больно. Она закрыла глаза. Слезинка на щеке блеснула, и тихо покатилась мимо края нежно улыбнувшихся губ.

Тихо-тихо сказала Сусанна:

– Царицей себе меня ставишь, а держать будешь рабой. Пожалуй, уж и плетку на меня припас.

Георгий вспоминает, как рыжий англичанин здоровался с женой консула. Смуглый красавец берет Сусаннину правую руку в застегнутом у ладони на две пуговики белом тонко-полотняном рукаве, и нежно целует эту большую, теперь бледную, но еще с красноватыми, не успевшими отойти от работы пальцами. Говорит:

– На руках носить буду.

Сусанна слушает и улыбается. На душе ее рай, и в сердце поет ярко-перая птичка.

Но Сусанна еще слаба. Она закрывает глаза. В ее ушах шум. Ей снится, что это шумит, по камням мутно-белой прядая пеной, горная речка. Там, где она разлилась пошире, от порожка до порожка, можно перейти на ту сторону. Георгий берет Сусанну на руки, и входит с ней в воду.

– А на том берегу что? – спрашивает Сусанна.

– Увидишь, – отвечает он.

Голос его звучит бодро, – голос сильного мужа. Вода мчится быстро, и бьется о его сильные нагие ноги. Сусанна знает что не одолеет его волна, что он выйдет с ней на берег. Но ей все-таки страшно, и тихо-тихо спрашивает она, к его уху наклоняясь:

– Что там, жизнь или смерть?

– Узнаешь, – отвечает он.

Нежный и суровый, милый друг.

Улыбается Сусанна, и засыпает крепко. Девушка в белом балахоне говорит Георгию:

– Пусть спит. Еще слаба. Завтра придете, большей поговорите.

СОЛНЫШКО

Молодая мать работала усердно и радостно, и улыбалась. Четким почерком покрывались листы бумаги. Поджидала сына. Вот сейчас придет из гимназии светлый отрок, солнечный ее сын, Богом ей данный, зачатый в минуту великого счастья, упоения и восторга.

Они только двое. Она ушла от мужа года два тому назад. Почему, он понять не мог. Расспрашивал обстоятельно, прежде чем отпустить, – точный, внимательный был чиновник.

– Разлюбила меня? – спрашивал он.

Она пожимала плечами, улыбалась.

– Не знаю, – говорила спокойным, чуть не скучающим голосом, – уж и любила ли когда-нибудь.

– Полюбила другого?

– Нет, никого у меня нет.

Он взволнованно ходил по комнате. Хотел сделать жене патетическую сцену, но сцены не выходило. И чувствовал в глубине души, что ему все равно, но что это ужасно неприлично.

– Ты подумала, что будут говорить?

– Подумала, – кротко отвечала она. – Да что думать, я твердо решила.

Ходил, пожимал плечами. Соображал что-то о деньгах.

– Если у тебя никого нет, то я не понимаю, чем ты будешь жить. Я не могу жить на два дома.

– Буду работать. Не беспокойся, ничего зазорного не сделаю, твоего имени срамить не стану. Займусь работой вполне приличной. Я для этого достаточно знаю.

И ушла от мужа, взяла и сына с собой. Сына, конечно, ни за что бы мужу не оставила. Ведь из-за сына и от мужа ушла.

Что больше выростал мальчик, то яснее становилось для нее, да и для посторонних, их разительное несходство. Матери даже больно было видеть своего сына, ясное свое солнышко, рядом с этим чужим, холодным, ровным человеком? Ее солнышко, – и этот начальник отделения!

И вот теперь они одни.

Мать посмотрела на свои маленькие часики, – скоро придет ее солнышко, – вложила лист рукописи в английский лексикон, и подошла к камину подбросить дров.

Пылали сухие поленья, тая и распадаясь на яркие уголья. Знойной теплотой веяло от широкого устья камина. Не зажигая лампы, она сидела в качалке, грея бледные руки, успокоенные на коленях. И размечталась, опять унеслась мечтой к далекому, к невозвратному, к тому единственному, благодному мигу. Единственная, сладостная встреча!

И не знала она, что это было, любовь или внезапное вдохновение, наитие силы, движущей мирами и сердцами. Был ясный день, и волны морские торжественно и звучно бились о пустынный берег. В прибрежной роще они были вдвоем, она и он, неведомый, первый раз увиденный, и сразу взявший ее душу и поднявший ее выше звезд. Забылся мир, померкло солнце, и голос волн казался непостижимо далеким, – и только его слова, его дивная речь о том, о чем ни от кого другого она не слышала. Глубокие, быть может, соблазнительные слова о человеке.

К вечеру, прощаясь с ней, сказал ей неведомый возлюбленный:

– Я уйду от тебя навсегда, и ты меня больше не увидишь.

– Кто же ты? – спросила она.

Лицо его было, как ясный лик восходящей зари, когда он говорил:

– Я тот, кто приходит только однажды.

– Каким же именем мне называть тебя, когда я буду о тебе молиться?

И он отвечал:

– Я с тобой всегда буду, и всякая твоя мысль будет молитва, и всякая твоя молитва будет обо мне.

– Что же со мной будет? – спросила она.

И он отвечал:

– Ты родишь сына, и в нем узнаешь меня, и он будет тебе солнцем и жизнью.

Где-то недалеко послышались людские голоса и людской смех за деревьями: слышно было, что кто-то идет лесом к берегу. Тогда неведомый возлюбленный поцеловал ее поцелуем долгим и пламенным, и быстро пошел от нее прочь. И скоро скрылся за деревьями, а она вернулась в свой скучный дом. И на будущую весну родила сына.

Вот он идет! Вот стал на пороге.

– Жизнь моя! Солнышко мое!

Словно еще ярче стало пылание в камине. Не успела подняться ему навстречу, – уже он обнимает и целует мать.

– Греешься, мамочка? Пусти и меня погреться. На дворе мороз ух какой!

Смотрит на маму пытливым взором, – и покраснела мама опять.

– Ты сегодня румяная, мамочка.

– Солнышко мое, от того, что ты со мной.

А в ушах ее все звенит его вчерашний вопрос. Неужели опять спросит?

Первый раз спросил ее вскоре после того, как она ушла с ним

от мужа. Долго рассматривал карточки в альбоме, потом неожиданно спросил:

– Мама, кто мой отец?

Так неожиданно было услышать от двенадцатилетнего мальчика этот вопрос, что ее в жар бросило. Засмеялась принужденно, обратила в шутку. Мальчик покраснел, замолчал. И вот почти два года не говорил об отце.

А вчера опять неожиданно:

– Мама, я думаю, что твой муж мне не отец.

Мать зарделась.

– Солнышко мое, что ты говоришь!

– Зачем же ты ушла от него?

– Солнышко, разве нам так не лучше?

– Лучше, мамочка, но ведь это же и показывает...

Но мать остановила его.

– Не будем сегодня говорить об этом.

Сын замолчал. А она вечером, ночью, утром все думала, сказать ли мальчику правду, или промолчать. И не знала, как быть.

Неужели сегодня он опять заговорит о том же?

И он начал:

– Мама, у тебя лицо прекрасное и чистое, как у святой, и никто не скажет о тебе худо. Ты – тихая и кроткая, как ангел воплощенный.

– Солнышко мое, не хвали меня. – остановила она сына.

Он упрямо сдвинул брови, и продолжал:

– А под этой ангельской личиной ты что таишь, мама? Я хочу знать.

– Солнышко, ты опять о том же.

– Да, мамочка, о том же.

– Но я же тебе сказала вчера, что не хочу говорить.

Он сидел у ее ног на скамеечке, и смотрел на рассыпающиеся угли, на веяние жаркого пламени над ними. Мальчик задумчиво сказал:

– Точно красные бесенята скачут. Злое дело гибели и разрушения творят, – а мы греемся. Я иногда думаю, и мне как-то странно становится, мамочка: если бы не было зла, этой раскаленности огненной, может быть, и счастья нашего не было бы.

Вспоминая слова, сказанные ей тогда неведомым ее возлюбленным, тихо сказала взволнованная мать:

– Зло добру служит, и демоны поклоняются Всевышнему.

Мальчик поднял на нее глаза, и лицо его пламенело, и глаза сверкали. И она почувствовала, как будто острые мечи пронзили ее сердце. А сын говорил:

– Молчат о святые, молчат и о позоре. А ты о чем молчишь?

– Кто дал тебе право спрашивать? – строго сказала мать.

– Я чувствую в душе моей силу очень большую. Откуда она, – добрая или злая? Отчего мне так радостно жить, и не страшно зла и гибели? Отчего я хочу сделать так много, много, хоть бы за это пришлось мне идти на мучения, на смерть. Откуда мне это?

Мать молчала. Он встал перед ней, взял ее руку движением быстрым, словно повелительным, и сказал с великой силой:

– Если не хочешь сказать, кто мой отец, скажи мне, кто ты сама, – мать или блудница?

Она порывисто вскочила со своего места, схватила сына за плечи, крикнула:

– Мальчишка, что ты говоришь! Ну хорошо, хорошо!

И повела было его к дверям. Но посередине комнаты

остановилась, всмотрелась в лицо сына, – оно было спокойно и почти радостно, и глаза его смотрели на нее зорко и пытливо, словно видели в глубине ее души ее сладостную и страшную тайну.

Она заплакала и засмеялась, обняла сына, и шепнула ему радостно:

– Солнышко мое, я тебе все расскажу, ты поймешь меня.

САМЫЙ ТЕМНЫЙ ДЕНЬ

Самый темный день северной зимы клонился к вечеру, и на улицах и в магазинах громадного города уже зажглись веселые огни, когда молодая девушка, Маргарита Полуянова, торопливо поднявшись по трем ступенькам с улицы, вошла в банкирскую контору Клошток, Ленц и К°. Худенькая высокая и бледная, она все так же, как на улице, торопливо шла мимо загороженных деревянной решеткой касс и конторок с разными над ними надписями, – шла в самый дальний угол конторы, где на белом картоне, прибитом сбоку к двойной, солидной, как все здесь, конторке, видна была громадная черная цифра 13, а на матовом стекле черная надпись говорила: Залог, выкуп и перезалог.

Здесь Маргарита остановилась. Она вытащила из кармана старенькой короткой жакетки коричневый кошелек с расхлябанной застежкой, и достала оттуда квитанцию. Молодые люди за конторкой были чем-то озабоченно заняты, и прошло минуты две или три, прежде чем один из них подошел к Маргарите. Она стояла боком к решетке, опираясь локтем на ее широкий верх, от нечего делать осматривала хорошо уже знакомую ей обстановку конторы, и думала о чем-то тревожно и смутно.

Все вещи, которые она видела, были не новы, но очень прочны и очень солидны, и потертость их как бы особенно указывала на солидность давно существующей фирмы, имеющей хорошее имя, обширный круг клиентов, и делающей превосходные операции, преимущественно по продаже и покупке процентных бумаг и по онкольным счетам. Характер всей обстановки выражал золотую середину между щеголеватой новизной недавно возникших предприятий, в долголетнем существовании которых еще никто не уверен, и убогой, поддельной роскошью предприятий, явно для посвященных клонящихся к упадку. Здесь дело говорило само за себя, и потому не надо было прельщать случайных и неопытных клиентов рыночным великолепием столярного и арматурного модернизма, или дешевым лаком парочной новинки.

Было очень светло, – много над кассами и над конторками висело ярко-горящих ламп. Но это не было мертвенно-щегольское электричество: старый, добрый газ, зажигаемый какими-то старыми, хитрыми приспособлениями, давал свет теплый, веселый, успокоенно-домашний.

Служащие, все больше немцы, одеты были запросто, в пиджачках. Но у всех был упитанный вид, и, глядя на них, каждый почему-то вспоминал хорошее мюнхенское или пильзенское пиво, добрые немец-

кие сосиски с жареной капустой, сосновые фуфайки доктора Егера, гимнастику по Мюллеру, раскатистый гул шаров на кегельбане, и прочее все такое же гигиеничное и благополучное.

Мальчики в серых курточках имели тоже домашний и довольный вид. Когда кто-нибудь из-за решетки возгласил громко:

– Мальчик!

Один из серых, белолицых и чистеньких мальчуганов шел на зов быстро и охотно, и потом отправлялся, куда посылали, хотя и без угорелой торопливости лавочного задерганного мальчишки, но очень скоро и опять с таким видом, точно это ему самому нравится. На лицах у них было выражение усердия, и еще выражение такое, что вот уж, после закрытия конторы, можно будет и пошалить, и это будет весело, а теперь пока не стоит.

Клиенты банкирского дома Клопшток, Ленц и К^о, тоже все были спокойные господа и дамы, хорошо, иногда богато одетые, и только одна Маргарита выделялась своим потертым, старым костюмом, и ее черная невысокая барашковая шапка раструбом кверху придавала ей какой-то странный и жалкий вид. Но так как все здесь было спокойно, просто и деловито, то и Маргарита чувствовала себя здесь удобно, и не стеснялась.

Ждала терпеливо. Прислушивалась к беспорядочной толчее своих мыслей надежд, мечтаний.

Молодой человек, сидевший за ближайшей к Маргарите конторкой, кончил наконец свои вычисления, и подошел к Маргарите. Она взглянула на его лицо, и он показался ей таким розовым и гладким, точно его сейчас только старательно и любовно облизала самая ласковая корова. Он спросил ее с безграничной, деловой любезностью.

– Вам еще не делают?

– Нет еще, – сказала Маргарита. – Пожалуйста, перезаложить.

Она протянула молодому гладкому человеку синюю квитанцию. Словно торопясь заодно и сразу сказать ему все о своем деле, она спросила его:

– А страховать когда надо?

Гладкий молодой человек внимательно осмотрел синюю квитанцию, – собственно только для аккуратности, так как и при беглом взгляде на запись синего листка он уже видел, что речь идет о заложенном в конторе выигрышном билете первого займа, тираж которого будет через несколько дней, – и потом сказал Маргарите:

– Страховать теперь же надо.

– Пожалуйста, – сказала опять Маргарита.

И по ее бледному лицу было видно, что ей жалко тех семи с полтиной, которые надо отдать за страховку, и досадно, что нельзя отложить этого расхода на несколько дней, когда, может быть, удастся получить где-нибудь еще сколько-нибудь денег.

– На сколько месяцев желаете перезаложить? – спросил гладкий молодой человек.

– На один месяц, – сказала Маргарита.

Да, конечно, только на один месяц. Ведь может случиться, что именно на этот билет выпадет один из главных выигрышей.

Гладкий молодой человек с озабоченной деловой торопливостью вернулся к своей конторке и занялся делом о перезалоге Маргаритина билета. А Маргарита села на плетеный стул близ приятно-раскаленной печи, и погрузилась в сладостные мечтания.

Странные, глупые мечты все о том же, – о выигрыше в двести тысяч. Стоит только этому счастью пасть на их билет, – и почему же нет! – все в их серой, тусклой жизни изменится, и озарится

тусклая, скудная жизнь блеском золотых радуг, и все, что было непереносимым томлением, скукой и стыдом, преобразится вдруг в праздничное ликование радости, счастья, веселости и смеха.

Ах, эта серая, тусклая жизнь! Как она истомила, измаяла! Как мало она дарила! Как скудно берегла свои надежды, как торопилась отнимать всякую мгновенную и случайную радость.

Как-то не то, чтобы вспомнилась, а вдруг почувствовалась остро и больно вся обстановка их жизни, такой непохожей на эту мирную любезно-деловую обстановку банкирской конторы, где считают деньги, выплачивают деньги, принимают деньги, большие и малые деньги одинаково, с обыкновенным, не жадным и не злым вниманием. Как-то вдруг вдвинулось в Маргаритино сознание все то, домашнее.

Громадный каменный дом, на который взглянешь и сразу становится скучно и томно, и дивишься, как могут люди жить в таком сером, грязном, скучном остроге. Преувеличенно-грубые дворники у ворот и на дворе. Ненужная неряшливость на этом дворе, уныние каких-то ржавых, безграмотных вывесок. Лестница, точно нарочно, чтобы дразнить и мучить, смрадная, темная и скользкая. И так долго поднимаешься в ее нескончаемом смраде до пятого этажа. Дергаешь медную ручку звонка, — и она погнутая и поломанная.

Звякнет звонок за дверью. Шаги за ней. Утомленно-ласковые глаза домашних.

— Ну, что?

Ах, что сказать!

— Ну, ничего, все благополучно. Была там-то, видела то-то.

Квартира с рыночной, дешевой мебелью, к которой привыкли, и которая потому мила. Ах, все такое привычное, — и это смрадное томление на лестнице, и это чадное томление из кухни, где ворчит на что-то глупая, грязная и злая кухарка, и это тихое томление дома, в защите стен, всегда унылых, в бледном уюте домашнего очага!

Ряд милых, утомленно-бледных лиц, и на каждом напряженное выражение бодрости, словно говорящее:

— Ничего, что ж, жить можно.

Или еще:

— Сыты, одеты, обуты, — чего же больше?

Чего же больше!

Магь, — у нее молодое лицо, седые волосы, бодрая улыбка, усталые глаза. Шутливая жалоба:

— Нынче и рождаются мало...

Мама — акушерка: практики почему-то меньше, чем в прежние годы. Шутит:

— Скоро совсем рожать перестанут.

Когда же позвонится, и войдет озабоченный чей-то муж, она оживится, соберется живо, захватит свой большой черный саквояж с набором акушерских инструментов, и исчезает со словами:

— Ну, детки, я в поход. Уж вы тут сами как знаете, без меня справляйтесь.

Мама уходит с преувеличенной бодростью, отчетливо постукивая по стертым ступенькам лестницы сбитыми на бок каблуками сильно-поношенных башмаков.

Старшая сестра, Евгения, замечает скептически:

— Судя по лицу и вообще по внешнему виду этого господина, больше двадцати пяти, много тридцати рублей не дадут. А заставят ходить все десять дней по два раза. А капризов сколько у таких женщин, какими бывают жены у этих людей!

Евгения служит в торгово-промышленной конторе братьев Лицкер. Занимает она там положение маленькое и подчиненное, так что ей дают много работы и мало денег, и заставляют высидывать много часов. Но так как она видит много людей разных положений и состояний, то она считает себя большим знатоком человеческой души, и потому очень любит делать заключения о людях по их внешнему виду и по их манерам. Она безошибочно определяет, что человек, приходивший сейчас за их матерью, служит приказчиком в галантейном магазине и получает не более восьмидесяти рублей в месяц жалованья.

Маргарита бледно улыбается и отвечает Евгении:

– Мама умеет с ними ладить. Может быть, и больше дадут.

– Жди! – с обычным своим скептицизмом отвечает Евгения, и опять погружается в чтение взятой из библиотеки по пятому разряду истрепанной книжки, – какого-то переводного романа.

Братья, – гимназисты, Константин и Иннокентий, проводивши маму до нижней площадки, весело топоча сапогами, вбегают с громким смехом, и после короткой возни вдруг стихают, точно смущенные чем-то, словно окунувшись в тяжелые волны унылости и томления, и садятся за уроки. Они прилежны, и учатся с остервенением, чтобы поскорее добраться до дипломов, работы и денег, которых здесь всегда не хватает не только на разные скучные необходимости, но даже на сладкое, веселое и смешное.

Константин вздыхает, и говорит, ни к кому не обращаясь:

– Из маминой полочки обязательно, чтобы халвы купили.

– Давно уж халвы не было, – с таким же вздохом говорит Иннокентий, и, подумав немного, продолжает:

– Вот аэроплан я видел на днях. Вот бы нам купить.

Евгения отрывается от чтения, и сурово говорит:

– Размечтались! Лучше у матери попросите на сапоги Константину, когда будут деньги, а то у него скоро сапоги каши запросят.

– Сапоги, сапогами, – уныло говорит Константин, и умолкает, не кончив.

Тяжелое облако уныния окутывает всех. Мальчики уныло наклонились над своими учебниками, и лица у них такие же бледные, тощие, постные, скучные, как у обеих сестер. Евгения читает, опираясь локтями на стол и уткнувшись лбом, в ладони скрещенных пальцами рук.

Маргарита подходит к стене, где висит портрет третьей сестры, Екатерины. Она весной умерла от чахотки. Маргарита думает, что скоро и у нее «разовьется», как говорит Евгения, чахотка. Припоминает ее же слова: «на почве переутомления и хронического недоедания». Маргаритины губы слабо улыбаются, и по ее плечам и спине пробегает холодок внезапного ужаса.

Нет, этого не может быть. Их билет выиграет.

И Маргарита быстрым усилием воображения и испуганной воли направляет свое внимание к привычным ее мечтанию картинам иной, светлой, радостной, счастливой жизни.

Южное море, которое она видела только на картинке, плещется у ее ног. Волны его теплые, и цвет их, – цвет лазури. И лазурное небо безоблачно смеется весело смеющимся волнам и нежно-хрупкому песку на морском берегу. Все насквозь светло и лазурно, – и где же вы, унылые тени бессилия и тоски? Все насквозь светло и лазурно, и море, и небо, и воздух, веющий сладкими ароматами цветов, которые так прекрасны, и у которых такие благоуханные

имена. Маргарита не знает их имен, но знает, верит, что обольстительный звук этих имен соответствует очарованию их легких венчиков и их опьяняющего, погружающего душу в сладостное самозабвение запаха.

Она идет домой по светлому, нежному под ногами песку аллеи, где растут дивные растения, которые она видела только на картинках. Так легко идти, точно незримая сила несет ее по воздуху. Так сладко дышать, — точно это эдемский воздух вливается в ее грудь, воздух радостного, навеки обрадованного края. Этот легкий, благоуханный воздух пропитан щебетаниями забавно-красивых птичек, таких милых, каких Маргарита видела только на картинках.

Перед ней мраморные колонны и мраморные ступени лестницы, ведущей в ее дом. Он дивно-прекрасен, как один из тех домов, которые она видела только на картинках. И мраморные статуи на широких площадках мраморной лестницы прекрасны, — гораздо красивее тех статуй, которые Маргарита видела в Русском музее. И как им не быть прекрасными! Не тяжелая атмосфера душного, музейного уныния, — их обвеял радостный воздух бестревожного, беспечального бытия.

К ней навстречу идут мама, и сестра, и братья. Одежды их изысканно-прекрасны, одежды, подобные которым Маргарита видела только на картинках. И как они, ее милые, преобразились в этом благоуханном раю исполненных надежд! Как светлы их лица, как розовы их щеки, как блестят их глаза, какие улыбки цветут на их заалевшихся устах, как широко и вольно дышат их груди. Где унылая бледность их лиц, где бессильная тоска их потупленных взоров, где скорбная усмешка безрадостных губ? Ах, все это уныло давно растаяло, давно забыто. Радостные звучат голоса милых, — и Маргарита улыбается им, и спрашивает вдруг:

— А где же Катя?

И темнеют вдруг лица ее милых, и говорит кто-то из них:

— Кати нет. Катя умерла. Разве ты забыла, что Катя умерла.

— Катя умерла, — шепчет Маргарита.

Ах, скучный день опять отяготел над ней, и опять веселый газ в ярких лампах дразнит ее своей ненужной ясностью, своей беспощадной веселостью.

Молодой гладкий человек сделал все, что надо. Он говорит Маргарите из-за решетки:

— Сударыня, вам готово.

Маргарита подходит к решетке, и берет из рук молодого гладкого человека синенький тонкий листочек, на котором написано, что надо заплатить в кассу одиннадцать рублей с копейками. Гладкий молодой человек говорит:

— В кассу и обратно.

Маргарита торопливо идет в кассу платить деньги. Мальчик зачем-то скользит мимо нее куда-то по серым матам конторы, — пожилой, полный немец с веселым лицом и солидной лысиной на голове разговаривает с дамой в дорогих мехах и в меховой громадной шляпе, — какой-то толстяк неспешно поднимается по лестнице вверх, в отделение аккредитивов и переводов за границу, — решетки, кассы, конторки, газ, — все это прочное, солидное, незыблемое говорит ей беззвучным, но внятным языком всемогущих, над человеком вечно господствующих вещей, что все неизменно, навсегда предопределено, — что нет на свете неожиданных радостей, — что на их долю никогда не выпадет крупного выигрыша, — что каждому из них навеки суждено томиться, изнывая за скучным и скудным трудом.

Маргаритино лицо вяло и бледно, и ее плоская грудь, кажется, совсем не дышит, когда она подходит к полукруглому в тяжелой частой решетке окошечку кассы и протягивает плотному, седому кассиру ордер об уплате. Опять роется в кошельке, и послушно исполняет главную обязанность клиента банкирской конторы Клопшток, Ленц и К°, – платит деньги, сосчитанные и проведенные по книгам конторы.

Заплатила. Стукнул штампом «уплачено». Маргарита идет обратно. Гладкий молодой человек возвращает ей квитанцию, и на оборотной стороне квитанции, в конце длинного ряда отметок о перезалоге, Маргарита видит новую, сегодняшнюю отметку. Маргарита думает, что это не последняя отметка, и ей опять становится холодно, томно и скучно.

Маргарита вышла на улицу. Уже везде были огни, и громадные шары на верхах чугунных некрасивых столбов светились ярко, мертво и нагло. И все на улице было смешением ярких пятен света и провалов в тьму, смешением шумной, наглой нарядности и убогой нищеты. И все было сковано мертвым, злым морозом.

Злой мороз пробирался сквозь плохую Маргаритину одежку, жался к ее худенькому, длинному и тощему телу, и заставлял ее идти все быстрее и быстрее. Было странное несоответствие между ее легкой, точно радующейся походкой и ее неподвижно унылым, безрадостным лицом.

Вдруг улыбка счастливой надежды мелькнула на Маргаритиных губах. Знакомое лицо из толпы стало перед ней, – молодой человек в меховом пальто с барашковым воротником.

– Михаил Александрович! – радостно воскликнула Маргарита.
– Вы нас совсем забыли.

Михаил Александрович Сургучев, казалось, был смущен неожиданной встречей. Его рука в серой мягкой перчатке потянулась к котелку, потом он стащил перчатку, пожал Маргаритину руку, и говорил сконфуженно:

– Вот все собираюсь к вам, да все некогда, не собраться. Как здоровье вашей маменьки? Как вы поживаете, Маргарита Константиновна?

Его рыжеватые усики топорщились над неровно-вздрагивающей верхней губой, и непонятно было, отчего это вздрагивает так его губа, от холода, или смущения. Его серо-стальные глаза бегали, и он весь как-то пригнулся, и даже уши его каким-то заячьим движением прижались к причесанным гладко-гладко волосам.

И смущение его передалось Маргарите. Лицо ее опять поблекло, и она тусклым голосом сказала:

– Ничего, благодарю вас. Вам не по дороге? Пройдемте немного.

Робкая, почти безнадежная мольба засветилась на минуту в ее синих, покорных глазах. Конечно, только затем, чтобы сейчас же потухнуть.

Михаил Александрович бормотал:

– Простите, сейчас не могу, тороплюсь. У меня тут дело есть очень спешное, так уж я побегу. До свидания, Маргарита Константиновна. Почтение вашей матушке. Поклон Евгении Константиновне.

Он торопливо совал Маргарите свою быстро покрасневшую на морозе без перчатки руку.

– Заходите, – кротко и робко сказала Маргарита.

Точно боялась почему-то сказать лишнее слово. Задержала его руку.

– Непременно, непременно, как же, сочту долгом, как только выдастся свободный часок.

И Михаил Александрович вырвал почти грубым движением свою руку из бледных, тонких Маргаритиных пальцев, и помчался трясущейся виноватой походкой, исчезая в толпе.

Маргарита постояла на углу улицы, глядя ему вслед, и пошла дальше. И опять лицо ее стало, как бледная маска безнадежного уныния.

Тусклые мысли пробегали в ее голове. Вспомнила, как был у них последний раз Михаил Александрович. Говорил ей любезности, и так смотрел на нее, как смотрят влюбленные, нежным, похожим на страстный поцелуй, взором.

Прощаясь, долго и нежно целовал ее руку. А когда он ушел, Константин сказал досадливо:

– Съел всю халву начисто.

Смеялись тогда, и ласково глядели на Маргариту.

О, скудная, жадная жизнь! Всякую мгновенно мелькнувшую надежду торопишься ты отнять и опозорить. Глупое сердце жаждет обманов и утешений, – глупое сердце, замолчи! Радости для тебя не будет, – и не придет влюбленный, не выпадет на билет главный выигрыш, – и все всегда будет так, как было, безнадежно, тускло, темно, словно зачарованное навеки очарованием уныния, бессилия и печали.

СОЧТЕННЫЕ ДНИ

Если на прочный помост станут взваливать груз за грузом, то кажется сначала, что бесконечна способность сопротивления тяжелых бревен помоста. Но вот вкатывается еще одна тачка с каким-нибудь пудом или двумя камней, и вдруг слышен слабый, но зловещий треск. Помост еще держится, но уходи от него подальше, – уже скоро бревна подломятся, все сооружение рухнет на землю, и столб пыли заволочет грузный грохот обвала.

Если человек долго сидел под замком, и вдруг в стене его затвора повалилось одно бревно, и придавило узнику ноги, и в щель стены повеяло свежим воздухом, узнику вдруг становится и страшно, и радостно. Страшно, – не сломаны ли ноги? Удастся ли сбросить бревно? Или так и погибнешь, словно крыса в мышеловке? И все же радостно, потому что грудь узника дышит ровно и свободно. Перед глазами плывут радужные пятна и кольца, и все кажется сном.

Такой перелом в настроениях наших и в нашем отношении к войне случился, когда немцы взяли обратно Перемышль. И таким узником с придавленными ногами, но с широко и свободно дышащей грудью оказалась вскоре Россия. Еще не было свободных путей никуда, но уже пустынный ветер свободы веял. Его гул был страшен для слабых, – многим чудилась близкая гибель России еще и в те томительные дни.

В то лето, в начале перелома, ощущалось только смятение тяжелого обвала, болезненная придавленность и безмерное, беспредметное раздражение. И это раздражение особенно тяжело чувствовалось не в средоточиях, – там люди заняты делом, им не до психологии, –

а на проселочных путях жизни. Люди, отдохавшие летом, ложе отдыха почувствовали жестким и колючим.

На берегах Волги, в верхних и средних ее частях, в то лето поселилось не мало людей, которые раньше жили на дачах где-нибудь близ Петрограда, или на Финском или Рижском побережье. В семи верстах от торгового верхневолжского города жил со своей семьей профессор Борис Павлович Кратный. Его семью составляли жена, дочь, двое мальчишек. Они жили в большом доме, среди парка, красивого и уютного, немного запущенного, и оттого еще более милого, грустного и задумчивого. Хозяин барской усадьбы, офицер, был на войне, на юго-западном фронте, в штабе одной из армий. Его жена захолустной жизни терпеть не могла, и жила на даче под Киевом у своих родственников, – ближе к мужу, и среди беспечно-богатых людей, жизнь которых текла так безоблачно, словно и не было войны. Дом поэтому сдавали дачникам. Маленькую дачу, на берегу Волги, сдавали и раньше, если не ожидалось приезда родственников. Там поселилась другая семья, местные интеллигенты Балиновы, – мать-вдова, дочь-вдова, сын – долговязый и улыбочиво-мрачный гимназист, только что перешедший в восьмой класс. Только в это лето Кратные и Балиновы познакомились, и сошлись очень, понравились друг другу, что редко бывает с русскими интеллигентными семьями.

Однажды утром, воспользовавшись очень хорошей погодой, собрались сделать небольшую прогулку на дачном пароходе, вниз по Волге до ближайшей пристани, и там, на другой стороне реки, провести день.

Хотя пристань маленьких дачных пароходов была тут же, под парком, только спуститься с крутого берега, а все-таки опоздали, и на большой даче, где жила семья Кратного, и на маленькой, где жили Балиновы. Может быть, надеялись, что по обыкновению опоздает пароход, но как назло пароход сегодня пришел вовремя.

Кратный охотнее сегодня остался бы дома. Его занятия, казалось ему, требовали большой усидчивости. Он дорожил летними месяцами, как временем, когда удавалось больше работать, чем в городе зимой. Поэтому он предпочитал селиться летом не в шумных дачных местностях с обычным набором музык и развлечений. Его жена, Далия Алексеевна, понемногу усвоила его вкусы и привычки, хотя вначале скучала и сердилась.

И потому еще сегодня Кратный охотно остался бы дома, что он читал недавно вышедшую необыкновенно-интересную книгу по его специальности, и в этой книге многое требовало основательных справок, соображений и возражений. В результате могло получиться несколько популярных газетных статей, полемическая статья для специального журнала и несколько страниц в той книге, которую кончал Кратный. И потому его тянуло поработать. Но его жена, Далия Алексеевна, настаивала, чтобы и он поехал. Со свойственными ей настойчивостью и запальчивостью она говорила:

– Нельзя же все сидеть за книгами. Ты совсем изведешься, если у тебя и летом не будет достаточно отдыха. Мальчишки тебя почти совсем не видят.

Это было не совсем так, – с мальчишками Кратный бывал достаточно, и сегодня он бы все-таки остался. Но у него было слишком живое воображение, и всегда, если к обеду запаздывала жена или кто-нибудь из детей, ему воображались всякие ужасы. Сегодня же,

конечно, непременно опоздают. Пожалуй, вздумают даже у кого-нибудь почевать. Дети же у Кратного были резвые и своевольные. Поедут на лодке, зашляют, сами утонут, и мать утопят.

В это лето все окружающее казалось Кратному особенно враждебным и зловещим. И потому его воображение работало особенно болезненно. Даля же в последнее время очень нервничала. Была беспокойна. Часто сердилась на своих детей. Точно завидовала их беспечной веселости и самоуверенности.

У Кратного было два сына, веселые мальчишки – Гука и Мика, четырнадцати и двенадцати лет, и дочь Верочка, семнадцати лет, тоже веселая и бойкая; все они были красивые, сильные, рослые. У них была своя особенная жизнь, которой Кратный не понимал и к которой не мог и не хотел примениться. По капризу сильного умом и душой и много-размышляющего человека он думал, что только его мысли и настроения верны. Чужую мысль он схватывал на лету, легко и свободно, но уважать ее не мог. Дети казались ему слишком сильными, слишком обыкновенными, и потому странными. Они были очень уверенные и самостоятельные, и в то же время не отличались никакими особыми талантами. Учились не плохо, но ни в чем не отличались. Были хорошими товарищами и тоже держались в какой-то средней плоскости, – не влияли на других, и не поддавались влиянию вожаков. Умели взорвать чью-нибудь попытку верховодить, но сами верховодить не хотели, да и не умели. Никогда нигде не были первыми, но не были и последними.

– Золотая середина, – досадливо говорил иногда о них Кратный.

Кратному неприятно было думать, что у него, так успешно работавшего в своей области, дети будут заурядными людьми. И ему была непонятна эта смелость и уверенность посредственности. Иногда он с досадой думал, что его семья являет как бы прообраз будущего человечества, – счастливая и бездарная, уверенная и тупая толпа, все действия которой элементарно-правильны и которой не надобно вождей и героев.

Даля тоже не понимала своих детей, но она этого не замечала, и потому ей с ними было легче, чем ему. Они мало с ней считались, и ей казалось, что они ей послушны. Никогда с ней не споря, они всё делали по-своему, и умели делать это так, что она никогда не замечала их своеволия.

Сегодня все трое детей Кратных уже с раннего утра были у берега на даче Балиновых. Верочка с Володей Балиновым и с братьями спустилась к реке. Здесь ее братья, Гука и Мика, шалили у воды, высоко подобрав синие штанишки, разбрызгивая загорелыми ногами холодноватую воду, а Верочка спорила до слез с Володей. Володя дразнил ее нарочным спором, улыбочивый, тощий и хмурый. Верочка краснела и хмурила брови.

Наверху, у взрослых, было свое. Наталья Степановна Балинова торопила кухарку печь в дорогу ватрушки. Ватрушками она очень гордилась, – старый семейный рецепт, переживший незапамятные годы. Ее дочь, Калерия Львовна, сидела на скамейке под окнами дачи, то смотрела на Волгу, то опускала невнимательные глаза на книгу, – она читала этот роман уже четвертый день, и он ей наконец надоел. Разговаривать с людьми она не любила. Ее жених был в плену, и она хотела в жизни пока только одного, – чтобы скорее кончилась война, и он вернулся бы. Сначала она тосковала о нем, и плакала. Когда он попал в плен, она успокоилась, – не убьют, вернется. И опять, как до войны, стала носить красные сарафаны.

Когда Кратный с женой подходили по берегу к саду маленькой

дачи, ватрушки все еще не были готовы, но Наталья Степановна сердилась на Кратных, ворчала и упрекала их. В то же время к пристани подошел пароход. Немногочисленные приезжие вышли по шаткой доске, брошенной с пристани на борт парохода, несколько человек ждали очереди войти.

Завидев Кратных, Наталья Степановна заворчала:

– Ползут наши улитки. Наконец-то, – сказала она громко. – а мы вас ждем, ждем.

Калерия подняла глаза от книги, встала, и вяло усмехнулась. От того, что ее сарафан был ярко красен, казалось, что ее лицо молодо, свежо и румяно, и незаметны были усталые складки около губ.

– Пароход! – кричали снизу мальчишки. – Сейчас отходит.

Балинова наскоро завязывала ватрушки. Говорила суетливо:

– Идите, я вас догоню. Скажите, чтобы минутку подождали. Если Иван Порфирьевич, он подождет.

Калерия побежала вперед, Кратный и Даля пошли за ней. Но уже пароход отходил как раз в то время, когда Кратный и Даля подходили к тому месту, где дорожка спускалась круто вниз, к пристани. Мужики с палубы парохода кричали им что-то грубое и насмешливое. Наталья Степановна, запыхавшись, подбежала к верхнему краю спуска, и остановилась, говоря сердито:

– Вы всегда опаздываете!

Даля оправдывалась... Так многословно говорила, и так ожесточенно, – и выходило, что все виноваты, и что она давно бы пришла, если бы ей не мешали.

– По хозяйству. Вы не знаете, какая она бестолковая, наша Паша. Воды не добьешься. И в самый последний момент, когда уже дано уходить, вдруг у нее какие-нибудь дела.

Калерия не спорила и не упрекала. Она спокойно села на скамейку близ дома путевого сторожа, и спрашивала:

– Что же теперь делать?

– Ну что ж! – решила Даля, – сядем на следующий пароход.

Она никогда не знала времени, и ей всегда казалось, что если подождать, то все же можно приехать вовремя. Поэтому всегда везде опаздывала, чем приводила мужа в отчаяние.

Наталья Степановна с раздражением говорила:

– Следующий пароход придет только через два часа. Когда же мы туда попадем? К вечеру.

Обыкновенно она была спокойная и любезная женщина, и ее раздраженный тон был непонятен ей самой. Тем более, что времени было еще много. Был одиннадцатый час в начале, и до Берлогина, куда они хотели ехать, пароход шел около получаса. Калерия подумала, что красный цвет ее сарафана раздражает мать. Она вяло усмехнулась. Подумала:

«Не надеть ли другое платье?»

Но ей стало скучно думать о том, что придется переодеваться.

«Нет, останусь так!»

Прибежали снизу мальчишки и Верочка, очень огорченные неудачей. Упрекали мать все наперебой:

– Мамочка, с тобой всегда опоздаешь.

Даля прикрикнула на них:

– Ну, пожалуйста, без наставлений. Вы одинаково весело можете провести время и здесь на берегу.

Гука сказал весело:

– Если бы мама была царицей, она вставала бы в семь часов

вечера.

– Ну, и глупо, – сердито крикнула Далия. – Я сегодня в семь утра проснулась.

– А встала?

– А если она мне чаю целый час не несла? И башмаки?

Стали рассуждать, что же теперь делать? Было три выхода: Ждать следующего парохода? Нанять лодку? Идти пешком?

Наталья Степановна советовала ждать парохода. Ей приятно было думать:

«Вот опоздали, так теперь подождите».

Калерия Львовна хотела нанять лодку. Медленное движение вниз по реке всего более соответствовало бы ее тоскливо–бездеятельному настроению.

Далия настаивала:

– Пойдемте пешком.

Сообразив, что ждать два часа скучно, уже она отказалась от мысли сесть на следующий пароход. А ехать в лодке так далеко она не хотела. Далия боялась воды с тех пор, как ее двоюродный брат утонул десять лет тому назад. Он погиб при загадочных обстоятельствах, и нельзя было решить, утонул ли он, купаясь, или его утопили. В деревне, где это случилось, ходили темные слухи, но дело осталось невыясненным. Далии казалось с тех пор, что вода притягивает. Когда она долго смотрела с высокого берега на реку, у нее кружилась голова, и она отходила подальше. Но все же она любила воду, реку и море, и даже купалась. Очень сложно было ее отношение к воде, – любовь, страх, неодолимое влечение и темная жуть.

Спорили недолго. Самая настойчивая была Далия. И она настояла–таки на своем. Ее быстроногие мальчишки были рады, и у них засияли счастливые улыбки. Солнце, небо и золотистая дорожная пыль всегда радостно возбуждали их. Они принялись возиться. Наталья Степановна посмотрела на них сурово, и сказала:

– Мальчишки! У вас отец – такой ученый, а вы возитесь, как крестьянские мальчишки.

Мальчишки остановились и смотрели на нее.

Гука нахмурился и серьезно сказал:

– Товарищ, вы ставите вопрос не в ту плоскость.

Все засмеялись. Вдруг перестали сердиться друг на друга. Пошли узкой дорожкой над берегом, между крутым срывом и полями зрелых колосьев.

Гимназист Володя Балинов по обыкновению ссорился с Верочкой. Оба они были еще слишком молоды, чтобы по–настоящему влюбиться друг в друга, но уже всемирная влюбленность волновала их обоих. Калерия Львовна, как всегда, была молчалива и думала о своем. Первого своего мужа она никогда не вспоминала. Думала о том, что ее жених в плену. Он попал в плен тяжело раненый. Теперь поправился, но шрам на щеке останется на всю жизнь. Он пишет, что шрам безобразит его. Но ей он еще более мил. Кратный шел рядом с Калерией. Не знал, о чем говорить с ней.

– Вы чем–то озабочены? – спросил он, заглядывая в ее скучающие глаза.

Она посмотрела на него с безразличной доверчивостью.

– Нет, ничего, – сказала она, поживаясь полными плечами, на которых вздрагивали узкие лямки красного сарафана, оставляя на загорелой коже узкие натертые полоски.

Потом, не замечая, что сама себе противоречит, стала говорить,

что ее заботит, и в голосе ее звучала тревога.

– Давно от Сергея писем нет. Это меня начинает беспокоить. Здоров ли? Говорят, что их там очень плохо содержат. Правда, он – прапорщик, офицерам все же лучше. Но все-таки очень беспокойно, – прежде он довольно часто писал.

Кратный уже знал, что Сергей – ее жених. Он сказал:

– Все же безопаснее, чем на фронте. Не убьют. После войны вернется.

Он увидел, как быстро покраснело ее плечо. Принагнувшись вперед, заглянул в ее лицо, – оно все ярко пылало. Кратному стало жаль Калерию, – она могла обидеться за жениха. Он хотел сказать несколько утешительных слов, но она уже говорила:

– Он взят в плен тяжело раненый. Нет, он не думал о безопасности.

Кратный пожал голый локоть ее руки. Она посмотрела на него, и улыбнулась застенчиво и благодарно.

Шли по полям. Уже видна была за оврагом с шумной речкой деревня Кобылки. Хрипло залаяли две собачонки. Гука сказал:

– Ну, вот сейчас узнаем все новости.

Мика побежал к оврагу. И тогда всем вдруг стала понятна причина общего раздражения. Далия принялась многословно объяснять, что без газет утром очень неприятно. Никто с ней не спорил. Кому из горожан не понятна эта утренняя тоска о почтальоне!

В деревне Кобылках жил Кирилл Потапчик, бывший пьяница и хулиган, а теперь местный вольный письмоносец. Почтовая станция была за три версты от Зеленой горки, где жили Кратные и Балиновы, казенного почтальона не полагалось, а потому письма с почты получал и дачникам разносил Потапчик. За это он получал по пяти рублей с дачи, кроме частных на чай. Переставши быть записанным пьяницей, Потапчик казался степенным и честным человеком. Но большей частью, особенно в будни, он исполнял свои обязанности добросовестно. По праздникам он пил денатурат или ханжу, падал на дороге, засыпал и рассыпал письма. Дачники собирали их сами, и доставляли друг другу с оказией.

Когда спускались с крутого берега к речке, где было больше камней, чем воды, Калерия сказала:

– Прошное лето приходили открытки, нынче я еще ни одной не получила.

Володя сказал:

– Рашка ворует, зимой на стену картинки повесит.

– Тише, Володя, – сказал Кратный, – она услышит, обидится.

Рашка, дочь Потапчика, долговязый подросток, вся черная от загара, стояла на крылечке своего дома, и сверкала зубами, невероятно белыми, – улыбалась. Ее ноги были черны от загара и от грязи, так что издали казалось, что она обута. И от ее загорелости ее светлая юбочка казалась особенно нарядной.

Рашка радостно закричала:

– Белые кости пришли в гости.

Она была веселая, и всему радовалась.

– Заходите, – говорила она, – папка принес газеты. Теперь отдыхает. Собирался сейчас разносить. Может быть, сами возьмете? А писем сегодня нет.

И улыбалась воровато.

– Сразу видно, – шепнула Верочка Калерии, – что она стянула наши открытки.

Кратный вошел в дом к Потапчику, остальные ждали у крыльца.

Скоро Кратный вышел с пачкой газет. Жадно расхватали газеты. Тут же сели на крыльцо, на скамейку, читали. Был слышен только шелест бумаги. Мальчишки толкались и засматривали из-за плеча взрослых. В окно высунулась взлохмаченная голова Потапчика.

– Пишут, наших шибко побили, – сказал он.

И улыбался так, словно рассказывал что-то необыкновенно приятное. Кратный поднял на него удивленные глаза. Потапчик нагло хмыкнул и скрылся.

В газетах пришлось прочесть печальные вести. Все стали злы и угрюмы. Калерия первая отбросила газетный лист, и порывисто встала.

– Пойдемте! – сказала она.

За ней поднялись и другие. Кратный засунул газеты в боковой карман пиджака. Молча пошли дальше. Ни слова не сказали, пока шли через фабричную слободу над Волгой. Длинный порядок новеньких домов, уютных и хозяйственных, – играющие на берегу ребятишки, – пахучие, смолистые бревна, – опрокинутые вверх черными доньями лодки, – все шло мимо сознания. И даже мальчишки не смеялись, не шумели, не шалили, – тихо переговаривались о чем-то друг с другом.

Вот две церкви, – старообрядческая с оградой, где нарядливы и чинны цветочные клумбы, и православная около которой поломанная ограда, сорный пустырь, крапива и лопух. А за ними дома старших фабричных служащих и спуск, – деревянная новенькая лестница, – к паровой пристани. Здесь останавливаются и Самолет, и Кавказ и Меркурий. Есть и наемные лодки.

Сели на скамеечке у лестницы вниз. Мальчишки Кратного швыряли камни в кур. Полевые скаты за рекой были зелено-ярки. Из ворот фабричной ограды вышли фельдшерница Ульяна Ивановна Козлова и ее муж, учитель Павел Степанович. Она – бойкая, скорая и большая. Он – маленький, щуплый, в очках. Поздоровались.

– На почту заходили, за газеткой, – объяснила Ульяна. – Прочитали там же, на крылечке.

– Ну, что скажете? – спросил Кратный.

– Да что сказать!

– Что же будет? – спросила Калерия.

– Не справиться нам с германцами, – уверенно сказал Козлов.

– Вы то возьмите, у них у солдата в ранце сочинения Гете лежат, а наши христолюбивые воины наполовину неграмотны. И пригом же порядку никакого. Нет, нам с германцами не справиться.

Кратный слушал его внимательно. Уверенность щуплого учителя с серенькой бородкой удивляла и сердила его. И вдруг ему стало страшно и неловко. Он смотрел на людей, и казалось, что они потому и молчат, что знают что-то, чего он не знает. Он заговорил злобно, точно споря:

– Мы должны верить. Насколько мы – русские, мы должны верить в Россию и в победу.

Кратный сам чувствовал, что это выходило слишком патетически. И веры у него не было. Калерия смотрела на него молча, ничего не отвечая. И все более настойчиво казалось Кратному, что она знает что-то, чего он не знает и не понимает. Он опять осмотрелся, – и у Ульяны, и у ее мужа было то же выражение. Потом все эти дни это ощущение не покидало его.

Меж тем Верочка и Володя занимали две лодки перевезти на тот берег. Крикнули снизу:

– Готово.

Все, тихо переговариваясь, пошли вниз.

Долго усаживали Далию. Она не хотела ехать с молодежью, боялась их шалостей, но и боялась отпустить их одних. Наконец усадила детей с собой, и строго велела им сидеть смиренно. И вместе с ней поехал Кратный.

Лодочник, чахлый пожилой мужик, заговорил:

– Сказывают, опять наших бьют. Видно, не берет наша сила. Мириться надо.

– Сегодня помиримся, через пять лет опять воевать, – отвечал Кратный.

Мужик глядел мимо его плеча, греб с усилием и говорил:

– Всех мужиков забрали, одни бабы остались. В Березках на всю деревню три мужика. Работать некому. Бабы воют, – она сына растила, кормила, а его на убой гонют. Скорее бы войну кончали.

Кратный взглянул на своих мальчишек. Мика сказал:

– Если бы мы постарше были, мы бы добровольцами пошли.

Мужик, не слушая их, продолжал свое, – унылым, ровным голосом тянул бесконечные жалобы на то, что все дорого, что всем дают прибавки, и что ему надо прибавку. Кратный слушал, и словно в сердце ныла заноза. И он обрадовался, когда наконец лодка стукнулась о доску маленького плота. И мальчишки попрыгали на песок из лодки так, словно вырвались из душного затвора.

Вошли в рощу. Остановились в тени старого дуба.

У берега изба-чайная, при ней лавка. Заспорили что брать, – чай, молоко.

Мальчишки возились на поляне.

Далия и Наталья Степановна отправились в чайную. Долго не возвращались. За ними пошел Кратный. Застал их в ожесточенном торге с хозяином. В чайной сидело несколько мужиков. Кратного поразило недоброежелательство и злорадство мужиков.

– Не стоит торговаться, – сказал он тихо.

И почти силой увел Далию.

Когда Кратный выходил из чайной, все вдруг казалось ему скучным, сорным, глупым и непонятным. Казалось, что и петух, и куры, и тощая, грязная свинья чем-то похожи на хозяев.

– Подавать, что ли? – насмешливо спрашивал хозяин, мужик дюжий, с перешибленным носом и ястребиным взором.

Наталья Степановна заказала чай и молоко.

Козлов и Балиновы яростно заспорили о войне.

Кратный повторял настойчиво:

– Все зависит от нас самих. Если мы будем верить в Россию, мы победим. Стоит только захотеть победы. Если во всех нас будет волевое напряжение к победе, оно скажется во всем ходе наших дел и мы победим.

Учитель Козлов уныло повторял:

– Да хотеть-то мы не умеем. Все точно неврастеники какие-то. Разве можно нас с германцами сравнивать?

Устроились за щелистым деревянным столом в тени веселых березок, – береза даже и в старости кажется юной да веселой. Долго ходили в чайную и обратно, за сахаром, за ложками. Сначала ложек не дали, угрюмая прислуживающая девица принесла стаканы и блюда, потом кипяток в чайнике побольше, и чайник поменьше для чаю. Все разное, с пообколоченными краешками, с неотмытой грязью в западинах и в сгибах. Володя пошел за ложками. Туполицая лавочница тупо говорила ему:

– Ложки только если с вареньем.

– Да мы не хотим вашего варенья, – сказал Володя.

Туполицая лавочница отвечала:

– Тогда, значит, в прикуску, зачем же вам ложки!

– Да уж мы знаем, зачем! – досадливо сказал Володя.

Хозяева долго и нудно ворчали:

– Варенья не берут, ложечки требуют.

Наконец достали и швырнули на прилавок две ложки. Володя сказал:

– Зачем же бросаете?

Что ж, вам на подносе подавать, что ли? – язвительно спросил хозяин.

– В ноги кланяться прикажете? – также язвительно кричала хозяйка.

И хозяин говорил уже свирепо:

– Довольно вы над нами побарствовали. Попили нашей кровушки.

Володя поторопился уйти. Два фабричных рабочих хохотали, сидя в углу за столом. Лавочник и его жена смотрели на Володю злобно и угрюмо, и говорили странные, ненужные слова:

– Господа туда же называются.

– Напялили шляпки, лодырничают целые дни.

– Нет, они бы попробовали по-нашему.

– Горбом деньги наживаем.

– У них деньги легкие, а между прочим на варенье жалко расскочиться.

– С собой принесли чего-то в картузиках, сидят, жрут.

Седой мужик в неимоверно-грязном зипуне, закутанный несмотря на зной, долго слушал, и сказал неожиданно злобно:

– А ты бы, Саватеич, вместо ложечки его палкой по башке огрел.

И эти странные слова нашли сочувственный отклик:

– Вот в самый раз палкой.

– По башке хорошенечко.

И каждый раз, когда приходили за чем-нибудь в чайную, опять поднимался спор с лавочником и с его женой. Это были глупые, тяжелые люди. Никак не хотели понять и согласиться. На все твердили одно:

– У нас такое правило.

Взяли кувшин молока. Приволокла его угрюмая девица, и на ее лице было напряженное и злое выражение, словно она тащила громадную тяжесть.

Пили молоко только мальчишки и Ульяна. Даля любила молоко, но теперь из чувства противоречия пила противный чай. Ульяна не любила молока, но теперь вдруг захотела его пить, чтобы показать, что все деревенское ей нравится. Она говорила:

– Я верю только в деревню. Городские жители ничего не могут устроить.

Кратный отвечал ей:

– Голубушка, я тоже думаю, что хозяйственный мужик прочно устроит жизнь, когда придет его очередь стать у власти. Только вот вопрос: Скоро ли придет для него эта очередь?

И опять закипел нудный интеллигентский спор. Козлов говорил о кооперативах.

Наконец кончили, стали расплачиваться. Пришла угрюмая девица, сказала шальные цены. Даля ожесточенно заспорила. Кратный сказал:

– Не стоит спорить, Даля. Знаешь, теперь все дорого.

Балиновы и Кратные заплатили поровну. Ульяна сказала:

– Возьмите и нашу долю.

– Вы сегодня у нас в гостях, – отвечал Кратный.

Калерия заглянула в кувшин. Молоко было недопито. Мальчишки не захотели больше пить, и мать смотрела на них злобно. Шипела:

– Напрасно брали. Скверное молоко, жидкое.

И вдруг вспомнила, что где-то на свете есть книги и высокие идеи, и что о копейках не стоит так много думать. Но, отвечая своим мыслям, сказала злобно, словно нарочно принижая строй своей мысли:

– Нам даром никто ни копейки не дает. Все на войне наживаются, только писателям никто не прибавит.

– Кто наживается, Далия? – спросил Кратный. – Не дай Бог на войне наживаться!

Гука сказал:

– Понесем молоко с собой.

Кувшина не дадут, – сказала Калерия, – а платить за него не стоит.

– Ну, так разольем его, – закричал Мика, – пусть никому не достается.

– Мальчишки, как вам не стыдно! – сказала Далия.

Но остальные все, в большой досаде, поддержали мальчишек. Да и Далия на стала спорить. И молоко пролили.

Гука потащил кувшин в сторону. Поставил на землю. Поглядел по сторонам опасливо. Подошла Калерия, и вылила молоко на землю деловито и упрямо.

Хозяева чайной стояли на пороге, и ругались. Слова их не были слышны, но фигуры и жесты были достаточно выразительны.

Калерия приподняла кувшин, и бросила его на землю.

Угрюмая девица, громко ругаясь, подбежала.

– Кувшин зачем бьете? Хозяева ругаются. Деньги плачены.

– Цел ваш кувшин, – флегматично отвечала Калерия.

– Молоко что разлили?

– Деньги заплачены.

– Чего ж озорничать!

Но уже ее не слушали, и шли по лесной дорожке.

– Ну, вот, чайку напились, над Волгой посидели, – говорил Козлов.

Возвращаясь, перессорились из-за того, садиться ли здесь в лодку, или идти к дому по этой стороне. Лодка осталась на этой стороне только одна, – другому лодочнику надоело ждать, и он переехал к паровой пристани.

Балиновы и Верочка сели в лодку. Ульяна и ее муж хотели было сесть вместе с ними, – им здесь было ближе к дому, – но Далия так решительно сказала:

– Пойдемте лучше с нами, все равно, всем не поместиться, а там мы своего перевозчика покличем, – что Козловы остались. Пошли пешком до того места, откуда можно будет крикнуть перевозчику около дачи Кратных. Шли через дачный парк, где было успокоенно и тихо, и только один раз пробежали мимо две девочки, нарядные и веселые, как серафимы из фаланстерии Фурье. Гука и Мика осторожно посторонились перед ними, как перед существами особенной, нежной породы, и побежали дальше, шая и смеясь. Далия шла рядом с Козловым, почему-то жаловалась ему на соседей:

– Как опускаются интеллигентные люди! – тоскливо говорила она. – Калерия только о своем женихе думает. Больше положительно ничем она не может интересоваться.

Козлов думал, что Калерия – очень хорошая и милая, но не

знал, как спорить с Далией. Ульяна рассказывала Кратному о своей родине, – далекий северный край. Кратный слушал, только изредка вставляя слово. Ему казалось, что Ульяна увлекается своими рассказами, и говорит так весело, словно все на свете благополучно, и не было этих ужасных поражений русского войска. Душа его была упоена тоской, небо казалось ему пустым, и солнце катилось, как раскаленный и бессмысленный медный шар.

Вечером дома Кратный думал о сегодняшних разговорах. Всеобщее безволие заражало его. Он уныло думал:

«Конечно, не справиться нам с германцами».

А в это самое время учитель Козлов говорил наставительно своей жене Ульяне:

– Профессор Кратный правду говорит насчет России. Он – ученый человек, и кроме того – умный человек. Если мы все возьмемся за ум, то германцу против нас не устоять.

На другой день сыновья Кратного отправились в город. Как всегда, встали очень рано, когда еще большие спали. Раннее утро было росистое и душистое. Мальчишки для города надели новенькие синие рубашки, длинные галстуки, нарядные шапочки; штаны у них были короткие, до колен, а обуви они не надели, побежали, как всегда, босиком.

Оба мальчика все семь верст прошли пешком. У села Зеленые Горки встретили отца Леонида с сыном студентом и дьячка, которые шли на церковную землю. Отец Леонид с сыном прошли вперед. Мальчишки разговорились с угрюмым дьячком. Дьячок жаловался на судьбу, на бедность, на большую семью, на священника.

– Вот возьму, да и повешусь. Назло ему повешусь.

Мальчишки с жутким любопытством расспрашивали его, и ничего не понимали. Третья копейка, четвертая копейка, обиды, – но не смели спросить.

– Ведь это грешно повеситься, – говорил Мика.

– А ему не грешно! Нарочно перед его окном повешусь.

И вдруг метнулся в сторону, увидев что-то в траве.

– Отец Леонид! – кричал он. – Ведь этакий человек! Рясу распахивает карманы дырявые, непременно что-нибудь потеряет. Извольте видеть, кошелек обронил.

Отец Леонид был уже далеко, не слышал. Дьячок затрусил за ним. Гука сказал:

– Я живее добегу.

Выхватил кошелек из дьячковых рук и побежал. За ним помчался и Мика.

По дороге купались в Волге. В городе зашли во все лавки. Купили, что надо, навьючились десятком пакетов, на пароход не успели, и опять пошли пешком.

На обратном пути отдыхали на погосте села Зеленые Горки. Погост был небольшой, светлый, уютный. Могилы – холмики с простыми деревянными крестами, – тесно жались одна к другой, а у самой церкви было несколько могил с каменными плитами.

– А ночью сюда не пойдешь? – спросил Гука.

– Есть охота. Да я не боюсь, – отвечал Мика.

– Ульяну сюда привести, – сказал Гука, и засмеялся.

– Думаешь, струсит?

– А кто ее знает.

К завтраку прибежали домой, к половине второго.

После завтрака пришла Рашка. Принесла газеты. Гука дразнил ее:

– Рашка, слышала? Набор девок будет.

Рашка поверила. Но не испугалась.

– Что ж, я пойду, – говорила она, широко ухмыляясь.

– А твои открытки? Коллекция? – спрашивал Мика.

Рашка покраснела.

– Какая такая коллекция? – задорно спросила она. – Никакой у меня нет коллекции.

– Правда, Рашка, ты все открытки наши себе берешь, которые с картинками? – спросила и Верочка.

Рашка смеялась.

– Нужны мне очень ваши картинки.

Но поторопилась уйти.

А Верочка принялась по обыкновению ссориться с Володей Балиновым. И не понять было, из-за чего.

Отец Леонид посмеивался и мирил их. Они говорили о религии, как бы под влиянием его присутствия. Но он сказал:

– Теперь надо заниматься не религией, а общественными вопросами.

И это поразило их.

– Батюшка, как же это вы так!

– Да уж я такой. Я всегда правду говорю. За то меня и архиерей не любит. Вечером пойдете к Козловским?

– Мы в ссоре.

– Пустяки! Помиритесь. Хорошие люди не должны ссориться друг с другом.

Кратный угощал отца Леонида тминной наливкой.

– Вы – хозяин хороший, – говорил священник.

Посмеивался, с видимым удовольствием пил рюмку за рюмкой и становился все милее и добродушнее.

– Уж такие гостеприимные хозяева, – говорил он.

Ни Кратный, ни Даляя никогда хорошими хозяевами не были, и эта тминная наливка, бутылка в руках Кратного, казалась ему ненужной и чужой. И в душе был горький осадок от всей этой ненужности роковой и противоречивой жизни.

Вечерело, становилось темно. За Волгой видны были взлетающие ракеты, – у Козловских были именины. За скатами полей всходил багровой месяц. Блеснула золотая зарница. Облака были похожи на синий дым.

– Что вам с ними ссориться! – говорил отец Леонид. – Иван Петрович в городе, Марья Павловна одна с Алексеем Ивановичем. Им скучно. Право, помирились бы! Что там старое помнить.

Кратные давно были знакомы с Козловскими. Мать очень молодая. Сын кончал университет. Занимался филологией. Отец в Петрограде, приезжал два раза в лето на несколько дней. Служил в каком-то министерстве.

Кратные были с Козловскими в ссоре. Началось зимой, поспорили из-за войны. Весной помирились, летом опять поссорились. На этот раз из-за каких-то пустяков. Козловская находила неприличным поведение одной их общей знакомой, Даляя заступилась за свою подругу, – и ссора вспыхнула. Теперь Даляя с возмущением рассказывала о том, какие злые и мелочные люди Козловские.

– Сидят в своем углу, на всех шипят.

И то, что она говорила о Козловских, совсем не соответствовало тому представлению о них, которое сложилось у Кратного. Кратный слабо дивился в душе, но не спорил. Отец Леонид говорил:

– Это – недоразумение. Они вас любят и уважают.

– Они никого не любят, обо всех дурно говорят, – спорила Далия.

– Вот уж это вы напрасно, – возражал отец Леонид, – они все о вас очень хорошо говорят. Неправды сказать не могу, иерейская совесть не позволит, уж вы мне поверьте.

– Это они от хитрости, – спорила Далия, – чтобы показать, что вот они какие добрые.

А сама радовалась тому, что Козловские говорят о ней хорошо.

К вечеру, кончив работу в больнице, пришла фельдшерница Ульяна Ивановна с мужем. И, как всегда, было странно, что она – бойкая, скорая и большая, а он – маленький, щуплый, в очках. И они заговорили о том же:

– А мы к Козловским. Они нас звали. Айда–те вместе. То–то они рады будут!

Видно было, что и она, и ее муж очень польщены приглашением Козловских. И сразу можно было догадаться, что им поручено непременно уговорить и привести с собой Кратных.

Верочка вдруг ярко покраснела. Ей вспомнилось многое милое. Вспомнилась сладкая весенняя тоска, белая ночь, Нева, прогулка с молодым Козловским. Так живо вспомнились его веселые глаза, которые умели становиться такими глубокими и задумчивыми. Захотелось опять увидеть его.

– Я пойду, – сказала она решительно.

Далия сказала с кислой улыбкой:

– Как ты хочешь. Пожалуй, и я с тобой.

Ульяна радовалась очень откровенно.

– Ну, вот уговорила.

Стали собираться. Верочка очень волновалась. Володя Балинов злился. Он знал, почему Верочка хочет возобновить встречи с Николаем Козловским.

Верочка, словно не замечая его досады, сказала:

– Вы, Володя, конечно, с нами?

Володя досадливо сказал:

– Вы с Николаем Козловским хотите устроить прогулку с ведрами? Так надо подождать хоть до завтра.

– Фу, как это глупо! – закричала Верочка. – Пятиэтажная глупость! Больше того, – небоскреб глупости!

– Что за прогулка с ведрами? – спросила Далия.

Ульяна засмеялась, и сказала:

– Это Володя намекает на то, как мы со Степаном венчались. Я вам разве не рассказывала?

– Нет, – сказала Далия, – расскажите.

– Мы не хотели, чтобы кто–нибудь знал, что мы хотим повенчаться. Кому какое дело, вот еще! Разве у нас много денег, чтобы свадьбы пировать? Ну вот, мы сговорились с отцом Леонидом, пошли в церковь просто, в чем были. Даже я взяла ведра, будто за водой. А Степан взял у меня одно ведро, будто хочет мне помочь. Ведра около церкви оставили, зашли туда, а отец Леонид уж нас ждал там. И повенчались. А потом домой вернулись с ведром, словно за водой ходили. Докторница спрашивает: вы, говорит, нынче вдвоем за водой ходили? А я ей: – мы всегда будем вдвоем ходить, потому что мы повенчались. – Когда повенчались? – говорит. – Да вот, говорю, только что из церкви. – Так она, как стояла на своем крылечке, так и села на ступеньки, – ну и штукари говорит, вот это, говорит, я понимаю.

Все смеялись, Ульяна раньше и громче всех.

– Ну что же, пора идти, – сказала она. – нас там ждут давно.

– Пошел бы и я с вами, – говорил отец Леонид, – потанцевал бы. Да ряса мешает. Не люблю я потому к светским на вечера ходить. Сидишь долгогривой чучелой, и все кажется, что ты всех стесняешь.

Торопливо собрались, и все ушли. Прислуга жила в отдельной кухне. Дом заперли на замок. Старик сторож обошел весь дом, притворяя деревянные ставни.

Когда уже совсем стали уходить, Далия заколебалась. Говорила:

– Шляются всякие, покрадут. Парк не огорожен. Сторож – глухой старик. Ставни – одна видимость.

Мальчишки успокаивали:

– Мама, чего ты боишься! Везде кругом соседи.

Им хотелось идти поскорее.

Шли, и всю дорогу говорили о кражах. У Филимоновых, у Анисимовых. Узкая тропинка то бежала в лесу, то выводила на полянки. Овраги попадались по пути. Ветер веял в лицо, теплый и грустный.

Верочке хотелось бы, чтобы у Козловских никого не было. Но, когда подходили к их даче, слышны стали голоса, музыка, смех. Кто-то запел.

– Да у них бал, – разочарованно сказала Верочка.

И вдруг ей стало весело.

У ворот толпились любопытные соседи из деревни. Смеялись, завидуя и злясь.

Гости и хозяева были в саду. Висели фонарики.

Николай обрадовался Верочке.

Его сестра, Магдалинка, почему-то была не весела.

Шумное веселье гостей казалось преувеличенным.

Козловская-мать играла на пианино. Молодежь танцевала.

И вдруг развеселая песня. Озорничая, парни шли мимо. Камни полетели через ограду. Снаружи послышался визг, смех, ругань. В саду барышни бросились бежать в дом. Молодые люди побежали за калитку. Козловская удерживала их.

– Не троньте, сами пройдут.

И в самом деле, парни прошли. Опять стало весело. Кратному было странно, что этот случай так быстро забылся, и никого особенно не взволновал.

– Мы – люди интеллигентные, – говорила Козловская, словно отвечая на его мысли.

Она торопливо курила тонкую папиросу. Ее глаза слегка щурились, и на лице было усталое выражение.

– Ах, – говорила она, – удивляться и сердиться на каждый пустяк не стоит. Люди еще не привыкли к жизни новой, и уже отошли от старой. Нам всем неловко и нелегко, и еще долго так будет.

Поднялись на верхний балкон. Там пили чай. Прозрачный полусумрак располагал к мечтам. А люди шумно спорили.

По Волге медленно двигались огни пароходов. В ночной темноте это было очень красиво. Так медленно подвигались. Кратный сказал:

– Пока еще русские пароходы ползут по этой пока еще русской реке.

– А потом? – спросила Козловская.

– Потом? Поселятся здесь немецкие мужики, честные и трудолюбивые, и будет звучать немецкая речь и в славном городе Москва, и в славном городе Нейград-ам-Волга.

– Как вы невесело шутите! – тихо сказала Козловская.

Возвращались поздно ночью в темноте слушая тревожное плесканье волн. Николай провожал до пароходной пристани.

Верочка и Николай шли рядом. Долго не видались. И теперь стало так сладко. Николай сказал:

– Верочка, мне надо вам сказать кое-что.

И он рассказал ей, что уходит в армию. Добровольцем. Верочка вспыхнула. Заспорили, поссорились, помирились, – ах, много ли надо времени!

– Верочка, поймите, я иначе не могу. Разве можно думать только о себе в такое время?

Кое-как помирились. И уже Верочка говорила отцу:

– Папа, я пойду в сестры милосердия.

Кратному стало грустно. К общей посредственности его детей присоединится еще и это стремление пойти туда, куда все идут, поступить по обще-одобренному образцу.

Он прислушивался к их разговору, и знал, что настроения их бодры. Во что бы то ни стало жить, – вот что они знают и умеют. И знают, для чего жить.

И даже притомившиеся и дремливо шагавшие мальчишки двигались, однако, с привычной, бессознательной уверенностью господ и повелителей жизни.

Уныние все сильнее охватывало Кратного.

Он тревожно прислушивался к их разговору. Их знание было ему недоступно. Но он чувствовал, что все его страхи им не страшны.

Верочка – бесхитростный ребенок с неомраченной душой. Откуда же это знание и эта уверенность?

Он вслушивался в их разговор, и ему очень хотелось подойти к ним. Ему показалось вдруг, что в его уме слагаются настоящие, верные слова. Он нагнал Верочку и Николая, пошел рядом с ней, сжал ее руку, и начал:

– Милые мои, дорогие!

И вдруг смутился. Но, заглянув в свою душу, он все-таки захотел сказать последнюю правду. И сказал:

– Все это уже не для нас, все это привычное и милое.

– А для кого же? – спросил Николай.

Верочка со страхом посмотрела на отца. Он говорил:

– Надо строить жизнь, новую, молодую, крепкую. А вы знаете, для строения надо расчистить место. Разрушить, и уже потом строить.

– Мы этого не боимся, – спокойно сказал Николай.

В тишине, влажной и чуткой, его голос звучал свежо и значительно. Кратный ласково улыбнулся.

– Знаю. Вы, вновь вступающие в жизнь, все это устроите.

– Да, устроим, – гордо сказал Николай.

Кратный говорил:

– Может быть, и России не будет, – но что же нам печалиться? Эти ясные звезды, и эта река, и весь русский пейзаж останется. И соловей весной. И сладкая девичья любовь. Все вечное, все заветное. И наш великий, славный, могучий, прямой, ясный, яркий язык. Может быть, на этих берегах будет звучать немецкая речь, – но наречие наше, на котором написаны такие прекрасные книги и будут написаны еще другие, не менее прекрасные, это наречие не забудется. Как изучают теперь языки латинский и греческий, так школьники будут изучать русский язык, и молодые ученые будут вникать в его гибкие красоты. И пока живет человечество, не забудется наш язык.

Николай слушал его с удивлением.

– Папочка! что ты говоришь! – горестно воскликнула Верочка.

Далия засмеялась.

– Очередной парадокс! – сказала она.

Ее голос прозвучал более резко, чем бы она хотела.

– Почему вы говорите, что России не будет? – спросил Николай.

– Нет у нас воли к власти, к государствованию, – говорил Кратный. – И нет воли к войне, к победе.

– С такими порядками и не может быть победы.

– Порядки – порядками, но люди... Вот рядом с Россией – Германия. Рядом с нами живет народ честный и трудолюбивый, живут люди, которые знают, чего хотят, и знают, как достигать своих целей. Что мы можем поставить против них? Миллионы слабых волей, зевот и потягот? И что порядки! Разве такое большое множество людей может быть угнетено малым числом притеснителей?

– Ну, механика сложная, – возразил Николай.

Переправились. Простились с Николаем. Он сел в лодку, и поехал по ту сторону. Тьма проглатывала блеск его весел.

Кратные шли домой.

Плотовщики встретились. Три полупьяные, озорные парня. Что-то несли в узле. Их наглый смех казалось, будил ночной трепет осинки.

– Пойдем скорее, – испуганно шептала Далия.

Когда подходили к дому, Гука и Мика побежали вперед. Скоро из темноты послышались их испуганные крики.

– Воры были, – кричал Гука.

– Ставня сорвана, – кричал Мика.

Возбуждение, почти радостное, было в их голосах. Приключение почти радовало мальчишек.

– Я говорила, я говорила, – сердито повторяла Далия, точно упрекая кого-то, и ее серые глаза потемнели.

И, как всегда, Кратный, сбитый с толку ее сердитым голосом, почувствовал себя в первую минуту неловко, словно он был виноват в чем-то.

Поспешно вошли в дом. Зажгли свечи. Обежали все комнаты.

Воры, видно, пробыли не долго. Унесли со стола ярко-желтую, кустарную скатерть и самовар, кое-что из одежды Кратного.

Мальчишки выскочили в сад.

– Куда вы? – окликнула Далия.

– Догнать их, – возбужденно и радостно кричали мальчишки. – Они далеко не успели уйти.

Но Далия удержала мальчишек.

– Нельзя, – говорила она. – Их здесь все боятся. Совсем дикие люди. Они во всех домах воруют, и никто не смеет их удерживать.

– А мы удержим, – сказал было Гука.

Но пришлось остаться, – уж очень настойчиво закричала Далия:

– И думать не смейте. Сейчас же идите в дом.

– Но где же Паша? – спросила Верочка. – Не убили ли ее?

Мальчишки побежали за Пашей. Скоро она пришла, заспанная и тупая, зевая и морщась. Она, конечно, ничего не слышала.

Долго продолжались взволнованные разговоры.

Всю ночь не спали. Мальчишки побежали за урядником. Было свежо и росисто, трава была мокрая и веселая. Мальчишки сняли башмаки и чулки, и оставили их на скамье под окнами маленькой дачи. Кратный, Далия и Верочка легли спать.

К уряднику трудно было достучаться, трудно было его разбудить. Наконец мальчишки растолковали ему, в чем дело.

– Сейчас приду, – сказал урядник.

Но по его сонному и равнодушному лицу было видно, что это сейчас растянется надолго. Мальчишки пробовали торопить его. Он угрюмо сказал:

– Я – не собака. Дайте чаю напиться.

Только что успели заснуть, пожар. Мальчишки, видя, что урядника не дожидаться, побежали домой. Из-за деревьев увидели они дым и бледное на безмятежно-синем утреннем небе пламя. Мальчишки побежали быстрее, и скоро было видно, что это горит кухня при их даче.

Верочка, Кратный и Далия вытаскивали что-то из дому. Паша стояла и выла. Изба горела, как костер, весело и прямо подымая над собой золото огня и тяжелые клочья черного и белого дыма.

Прибежали Балиновы. Соседи. Дача начала дымиться. Гука спросил у отца:

– Где твоя рукопись?

– Бог с ней, – сказал Кратный.

Мальчишки бросились спасать рукопись. Выбежали, когда уже крыша горела.

Дача сгорела. Мужики пришли поздно. Стояли почесываясь и пересмеиваясь. Когда уже дача догорала, приехала пожарная вольная дружина с фабрики.

Очевидно было, что кто-то поджог.

Приютились пока у Балиновых. Кратный говорил тихо:

– Между прочим, сгорела моя книга. Пора уезжать.

– Как же с книгой?

Кратный пожал плечами, и сказал почти спокойно:

– Придется писать заново. Но теперь все же меньше работы. Все уже обдумано. Года полтора понадобится.

Верочка смотрела на отца с удивлением.

– Папочка, – сказала она, – да ведь мальчишки всю твою рукопись вытащили. Она цела, – разве ты не помнишь?

Кратный провел рукой по лбу.

– Странно, что я это забыл, – сказал он. – У меня голова очень болит.

И вдруг ему как-то странно стало весело. Обыкновенность его детей явилась ему в совсем новом освещении. Он думал:

«Я забыл об этом, потому что мальчишки сделали это совсем просто, как дело очень обыкновенное. И Верочка напомнила мне это без всякого особенного подчеркивания. Простая фактическая поправка. Даже не сказала – спасли. Просто – вытащили. Что ж, пожалуй, эти совсем обыкновенные мальчишки, когда подрастут, смогут всякое дело сделать, как простое и обыкновенное. Умрет, может быть, романтизм громких подвигов, поблекнут торжественные лозунги, но зато будет строиться совсем иная, не наша, простая, прочная, по-своему счастливая жизнь. Если доживем, посмотрим.»

Но теперь все же было здесь жутко, неуютно, чуждо. Ульяна пришла днем, и говорила, что в Кобылках можно дешево нанять избу на остаток лета. Но Далия не хотела оставаться.

– Скорее, скорее в город.

Наскоро укладывали то, что осталось от пожара. И все эти дни были как во сне. Балиновы тоже заторопились уезжать. Наталья Степановна говорила:

– Я без вас здесь ни за что не останусь.

Уезжали в один день, рано утром. Ехали на дачном пароходике до города, чтобы там сесть в поезд.

Бледный фабричный, обсыпанный фарфоровой мукой, стоял зачем-то на пристани, и говорил сурово:

– Дачники налегке.

Прибежала Рашка. Она оживленно говорила с детьми, набравшимися на берег со всех окрестных изб, и злорадно смеялась:

– Скатертью дорога.

Но, когда дачники подходили ближе, она делала приветливое лицо, и говорила:

– Пожили бы еще немного. Погода больно хороша.

– Да и ты хороша, Рашка, – отвечал Гука.

Рашка смотрела на него исподлобья, не зная, смеется он, говорит ли правду. Немного сбита с толку, и от застенчивости наглая, она опять принималась смеяться.

Ей было радостно, что можно будет развесить дома по стенкам все открыточки с видами Волги и чуже-дальних городов, – никто чужой теперь не увидит, не станет отнимать. А гости будут ей завидовать. За это лето открыток у нее набралось так много, что она обещала поделиться ими с подругами.

– Пусть только они уедут, – шептала она, сверкая зверино-белыми зубами.

И подружки, трепанные, веселые девчонки, смотрели на нее жадными, заискивающими глазами, и льстили ей.

Когда уехали дачники, пришли фабричные и деревенские ребята-тишки, и принялись хозяйничать, как умели. Все здесь было для них чужое, им не жаль было обламывать яблони и кусты шиповника. Вокруг дач росли горы мусора.

А в городе у Кратных начались по-прошлогоднему городские разговоры и толки, суета и смятение. Мелькание бесед и дел, быть может, и нужных, – кто это оценит? И день за днем, и все сочтенные дни до предела, нам и теперь все еще не совсема ясного.

КОЛЕБАНИЕ СТЕН

– Наш дом – потрясучий, – говорил Никодим Борисович Сквородицин, – мимо телега едет, а он весь трясется.

Сквородицин сидел в гостях у полковника Лакиновича, и кутал в плед зябкие плечи. Он был человек маленький и хрупкий, и служил в одном тихом месте. Хотели взять его в солдаты, да в лазарете отлежался.

Все гости полковника Лакиновича, и сам Лакинович (математик), и его жена, и его шесть дочерей (три в очках, три в пенснэ), – все были очень милые, слушали Сквородицина с сочувствием, и очень любили и жалели его и его жену, Евгению Тарасовну, – она сидела здесь же, улыбалась снисходительно, и смотрела на мужа, как большая на маленького. А была она такая же маленькая и хрупкая, как муж. Только она была красивая, и брови у нее лежали крутыми дужками, а Сквородицин красотой не хвастался, и брови у него давно уже атрофировались.

Сквородицин рассказывал:

– Мы с Евгенией Тарасовной уж стали бояться, что разрушится наш дом, и задавит нас как есть начисто. Архитектор приходил, ничего, такой из себя солидный. Говорит, – непосредственной опасности нет, ничего, не сомневайтесь, некоторое время еще постоит. Я его спрашиваю: сколь долго это некоторое время продлиться может? Этого, говорит, знать, никак невозможно. С тем и ушел. Мне, говорит, некогда. А сам, видим, торопится. Так мы и живем: дом дрожит, и мы дрожим.

Шесть дочерей Лакиновича (три в очках, учительницы, а три в пенсне, курсистки) ахали и ужасались. Учитель словесности, недавно потерявший место в казенной гимназии за то, что его ученики знали больше, чем положено по программе, переводил слова Сковородищина на французский язык для своей жены, француженки. Француженка понимала русскую речь Сковородищина так же хорошо (она жила в России шесть лет, и сама делала покупки), как и французскую речь мужа (он прожил в Париже шесть недель, и никуда шага не ступил без Анриетты), но на всякий случай приветливо улыбалась.

Евгения Тарасовна сказала, ласково глядя на мужа:

– Вы, Никодим Борисович, преувеличиваете. Если бы опасность была, были бы трещины.

– Верно, Евгения Тарасовна. – соглашался Сковородищин, – только тем и утешаюсь, что пока еще нет трещин. Зато кошмары у меня каждую ночь.

– Да и наяву не лучше кошмара, – говорила Евгения Тарасовна, – у нас сегодня прислуга ушла.

– Это – ваша Ольга Дмитриевна? – спросила хозяйка. – Да она же такая солидная была.

– Получила подарки, на чай от наших гостей, деньжонки набрались, ну, ей и захотелось отдохнуть, – объясняла Евгения Тарасовна. – Очень хорошая была, такая честная. Новую не знаем где найти, из конторы брать не хочу, да и по объявлениям боюсь, – нападешь, не дай Бог, на воровку.

И все сочувствовали трудному положению Сковородищинных. Поэтому главной темой разговора в тот вечер были неудобства и затруднения современной жизни, дороговизна, прислуга, хвосты.

Приехали Сковородищины домой, с Выборгской стороны на Васильевский Остров, на последнем трамвае. Швейцар ворчал, Евгения Тарасовна на это обижалась, Сковородищин горбился, кутаясь в старенькую шубу. Все унимал шепотом Евгению Тарасовну:

– Вы ему ничего не говорите, Евгения Тарасовна. Он – хороший, только ему спать хочется, а мы его разбудили.

Поднялись в шестой этаж на лифте, и тут только хватились ключа. Ключ французский, дверь захлопнулась сама, когда уходили, а теперь как попасть? Прислуга ушла, дверь за ней закрыли на ключ и на крюк, ключ оставили в кухне на столе. В квартире никого.

Напрасно Сковородищин шарил по всем карманам, напрасно перебирал он бумажонки, напиханные во все отделения кошелька, – ключа не было. И вдруг на лестнице стало темно, – кабинка лифта опустилась вниз, и швейцар, сообразив, что успели войти, выключил ток. В это время где-то проехал, гудя, автомобиль, и дом испуганно задрожал.

Евгения Тарасовна жаловалась слезливым голоском:

– Вот вы так всегда, Никодим Борисович. Я-то и на лестнице могу проспать, а вот вы с вашим желудком, – что вы станете делать?

Но Сковородищин пришел в ужас при мысли, что Евгения

Тарасовна ляжет спать на лестничной площадке. Он в ужасе зашептал, горбясь и глядя в темноту бесполезно-расширенными глазами:

– Что вы, что вы, Евгения Тарасовна! Нет, уж мы как-нибудь попадем.

И он принялся отчаянно нажимать пуговку электрического звонка. Слышно стало, как заливается за дверь колокольчик. Евгения Тарасовна тронула его за рукав, и зашептала:

– Что вы делаете, Никодим Борисович? Ведь там же никого нет! Только электричество зря изводите.

Сковородищин перестал звонить, и сказал смиренно и робко:

– Голова кругом пошла! Евгения Тарасовна, вы здесь посидите на ступеньке, я пойду к дворнику, у него должен быть другой ключ с черного хода, я войду, и вам открою.

– Дворник не станет вам ночью ключ искать, – отвечала Евгения Тарасовна. – Только наговорит вам всяких неприятностей.

По тому, что голос ее звучал немного снизу, Сковородищин догадался, что Евгения Тарасовна уже села на ступеньку. Это несколько приободрило его. Он сказал:

– Ничего, Евгения Тарасовна, уж я как-нибудь попрошу. Может быть, и найдет.

Послышались мелкие шаги его, сбегавшие вниз. Евгения Тарасовна прислонилась к стене, и прислушивалась. Одна лестница, площадка, другая лестница, площадка, третья... Вдруг приостановился. Что это? никак назад возвращается?

И вот слышен его встревоженный шепот:

– Евгения Тарасовна, не остался ли ключ в вашей сумочке?

– Что вы, Никодим Борисович! – отвечает укоризненно Евгения Тарасовна, – я вам отдала, его, как только пришла. Вот вы всегда так, – сами куда-нибудь засунете, а потом с меня спрашиваете.

Сковородищин вздыхает, и идет вниз, а Евгения Тарасовна сидит, чувствует порой, как в плече отдается легонькое колебание стены, и прислушивается к нисходящим шагам. И слышит, – четыре лестницы прошел Никодим Борисович, на четвертой площадке постоял, вверх пошел. Ждет Евгения Тарасовна, – что еще?

– Евгения Тарасовна, – шепчет Сковородищин, – дверь в кухне мы с вами на крюк заложили. Не попасть туда снаружи, и дворника беспокоить нечего, – он рассердится, а мы все равно не попадем.

– Что же нам делать? – спрашивает Евгения Тарасовна.

В темноте ничего не видно, но Сковородищин представляет ясно, как Евгения Тарасовна сидит на ступеньке, маленькая, худенькая, жметя к вздрагивающей стенке, собирается плакать. Тоскливо Сковородищину, он не знает, что делать, и как ему попасть в свою квартиру.

– Евгения Тарасовна, – шепчет он, – я пойду, поищу слесаря, пусть замок взломает.

– Не пойдет ночью слесарь, – отвечает Евгения Тарасовна.

И сам Сковородищин знает, что ночью не найти слесаря. Что же делать? Отчаянные мысли шевелятся в его голове. Он думает, что стена может обрушиться, и тогда они как-нибудь пролезут в квартиру. А вдруг их задавит! Ну что же, один конец. Но ему жаль Евгению Тарасовну, и он ищет другого выхода.

– Евгения Тарасовна, – шепчет он, – поедemте к Лакиновичу.

– Зачем? – безнадежным голосом спрашивает Евгения Тарасовна.

– Вы там переночуете на диване в гостиной, а я похожу по улицам, – шепчет Сковородищин.

Слышно в темноте, как Евгения Тарасовна тихонько смеется

хрупким смехом, словно всхлипывает. И потом она говорит, – и в голосе ее не то смех, не то слезы, не то просто простуда:

– Что вы, Никодим Борисович, вам с вашим желудком беречься надобно. Да и как мы доедем? Трамвая нет, извозчика не достать, извозчик три рубля возьмет.

– Все равно, и три рубля дадим, – отчаянно говорит Сквородищин, махая рукой. – Спросит четыре, и четыре дадим, ничего не сделаешь. А я пойду к Рвищеву, у него переночую.

Живет Лакинович на Выборгской, а Рвищев у Калипкина моста. Далеко, не согласна так Евгения Тарасовна. Как же быть?

Думали, думали, надумали идти к генералу Дороганову. С генералом мало знакомы, но он человек добрый, пустит, а живет он близко, в этом же доме, только подъезд у генерала с улицы. Жаль, конечно, что уж не случилось так, чтобы генерал жил тут же, на этой же лестнице, – опять придется беспокоить и швейцара, и дворника. Да ведь что ж делать!

Евгения Тарасовна шепчет:

– Никодим Борисович, вы дайте им на чай по полтиннику, а генеральскому – рубль.

А уж у Сквородищина деньги тут, приготовлены. Всегда носит мелочь в скрытых кармашках шубы и пиджака, и знает, откуда что вынимать.

Ну, на ночь кое-как устроились. Генерал уж спал, – военная косточка, рано встает, рано ложится, и генеральша спала, да генералова дочка, Вера Аркадьевна, еще не спала, дневник дописывала: она и устроила Сквородищинных, – в родителей, добрая девица. И умная, и веселая.

Постлали Сквородищинным в столовой, ему на тахте, а ей на диване. На новом месте не спалось Сквородищину. Ночью не спалось от дум, а под утро стали мимо проноситься трамваи, грузовики, телеги, – гул на улице сквозь окна слышен, и колебание стен пугает.

Евгения Тарасовна, слыша, что Сквородищин лежит тихо, и дыхания не слышно, время от времени спрашивала тихонько:

– Никодим Борисович, вы не спите?

– Нет, Евгения Тарасовна, – отвечал он, – не сплю. Все думаю.

– Что же вы думаете, Никодим Борисович?

– Думаю, как нам попасть в квартиру. Придется дверь ломать, иначе ничего не поделаешь.

– Да вы не думайте, Никодим Борисович, – шептала Евгения Тарасовна. – Спите с Богом. Как-нибудь обойдется.

– Да как обойдется-то, Евгения Тарасовна?

– В крайнем случае, Никодим Борисович, поедemте к маменьке в Полтаву.

– Нельзя без паспорта, Евгения Тарасовна, а паспорт в квартире. Всегда с собой ношу, а сегодня топил печку, нагнулся, он у меня из кармана выпал, а я его положил в письменный стол, да и забыл.

Евгения Тарасовна вздыхала и говорила:

– Перебудим мы всех своими разговорами. Спите себе, Никодим Борисович.

Утром встали рано, раньше хозяев, хотели уйти потихоньку, не беспокоить. Да горничная Серафима, добрая душа, без чаю не отпустила. Пока чай пили, барышня встала, пришла. Молоденькая, смеется. Им горе, а ей смешно, веселая девица, быстроглазая,

рыженькая, на лисичку похожа. Смеется и говорит:

– А ключ–то не с вами ли?

А Сквородищин и сам так думал. Ночью, перебирая все обстоятельства, он вспомнил, что вчера ключ наверное остался у Евгении Тарасовны. Вчера был праздник, третий день Рождества. Сквородищин на службу не ходил, сидел дома, лечился да разбирал свои гравюры, – любитель был, ходил по старьевщикам, выбирал, покупал, собрал большую коллекцию. Евгения Тарасовна ходила к знакомым спросить насчет прислуги, пришла перед обедом, сама дверь открыла, ключа ему не отдавала, не мог вспомнить Сквородищин, чтобы она отдала ему ключ. А потом не до того было, – прислуга Олыга Дмитриевна, солидная женщина, хорошая, подавши обед, ушла, и посуды не прибрала, не помыла: на поезд торопилась, не опоздать бы, лучше раньше на вокзал приехать. Самим пришлось все это делать, – мыть, прибирать.

Стал хитрить Сквородищин, говорит:

– Евгения Тарасовна, что–то мне припоминается, перед тем, как идти к Лакиновичам, будто я ключ в ваш кошелек положил, в сумочку. Сам не знаю, с чего это мне вздумалось. Думаю, – у меня в карманах всякой ерунды да чепухи насовано, а у Евгении Тарасовны все в порядке, вернее будет.

– Что же вы раньше не сказали, Никодим Борисович! – упрекнула его Евгения Тарасовна. – Ну, посмотрим.

Так и вышло. – ключ в сумочке, в кошельке. Вера Аркадьевна, генералова дочка, смеется. И Сквородищин рад, что ключ нашелся, а больше рад, что Евгения Тарасовна не сердится. Правда, ворчит:

– Вот вы так всегда, Никодим Борисович, сами сунете куда–нибудь, а потом с меня спрашиваете.

Ну, да ведь без этого нельзя.

– Вот ведь ерунда какая вышла! – смущенно и радостно говорит Сквородищин. – Только вас побеспокоили напрасно.

– Ну вот, – отвечает Вера Аркадьевна, – какое же беспокойство! Я очень рада, что так все хорошо кончилось.

Поблагодарили, попрощались, ушли. А вот дома опять стало неуютно и жутко. Холодно, – печи не топлены. Дров на кухне нет. Часов в одиннадцать только притащил дворник дрова, свалил в кухне на пол. Так грохнул, – вся мебель в квартире заходила, и гравюры в рамках на стенах закачались. Просто беда, – сердится, что ли, на что младший? Дал ему Сквородищин на чай полтинник, – он сунул в карман, и не взглянул.

Стал Сквородищин таскать дрова в печи, печи топить, – много муки было с дровами, сырые. Напихает Сквородищин в печку для растопки бумаги, щепок, лучины, бересты, – запыляет, затрещит, – ну вот, затопил. А через пять минут подошел, – погасло, начинай сначала.

Евгения Тарасовна принялась стряпать, – утром, возвращаясь от генерала, принесли кое–что.

На службу Сквородищин не пошел, по телефону отпросился. Ничего, Лев Петрович не рассердился, даже посочувствовал. Говорил:

– Хотя я без вас как без рук, ну да уж сегодня кое–как обойдусь. Иван Гаврилович вас пока заменит.

Еще бы не заменить! Иван Гаврилович не прочь и совсем заменить Сквородищина, – тоже хороший работник. Нет, дома долго засиживаться нельзя.

Труден был этот день Сквородищину. Пиджачок испачкал, сам утомился. Евгения Тарасовна тоже устала. Позавтракали в три часа

чем Бог послал. Обед как варить, подумать страшно.

Сидели в кабинете Сквородищина, пригорюнившись. Вдруг раздался звонок с парадной.

– Кого Бог дает? – спросил Сквородищин.

– Кого-то черт принес, – в ту же минуту сказала Евгения Тарасовна. – Вот уж не в пору-то!

Пошел Сквородищин отворять, и через минуту услышала Евгения Тарасовна знакомый голос. Курсистка Фимочка Кочанова. Ну, на такую не рассердишься, милая девушка. Правда, очень бойкая, но добрая, и занятия свои любит, и поговорить с ней о чем хочешь можно, – не сплетница, не выдаст. А если и невпопад придет, можно ей прямо сказать:

– Некогда, Фимочка, уж вы лучше другой раз придите.

Не обидится.

Так и теперь хотела повернуть Евгения Тарасовна. Очень мило встретила гостью, расцеловала ее, и говорит:

– Ах, милая Фимочка, рада я вам, а только такое у нас дело, – даже чаем угостить не знаю как.

– Знаю, – сказала Фимочка, – у вас прислуга Ольга Дмитриевна ушла. Мне Вера Аркадьевна сказала. Это ничего, я вам помогу.

Развернула принесенный с собой сверточек, надела белый передничек, смеется. Сама румяная-румяная, не то с мороза, не то с молоду да с веселу. И так была милая, чернобровая, черноглазая, стройная, тонкая, а в белом передничке вдвое милее стала. Спрашивает:

– Что готовить к обеду, Евгения Тарасовна?

Как не отнекивались Сквородищины, Фимочка все сделала, что надо было. Комнаты убрала, пыль с мебели смахнула, полы подмела, на стол накрыла, суп сварила, – из круп, французский, – рыбу на второе, на третье компот, – обед подала, и кофе заварила.

И Евгения Тарасовна, и Никодим Борисович были умилены и растроганы. Ходили за Фимочкой, пытались что-то сделать, и только мешали. Уж она им не раз говорила, смеючись:

– Да сидите вы, ради Бога, без вас всё сделаю.

После обеда все втроем сидели и пили кофе, и уж так ободрились и развеселились, что даже рассмеялись, когда от промчавшегося по улице грузовика на подносе задрезжали чашки. Фимочка спросила:

– Все хорошо?

– Уж так вам благодарны, что и сказать нельзя, – отозвалась Евгения Тарасовна.

– Уж так хорошо, точно в рай попали, – поддержал и Никодим Борисович.

– Значит, вы мной довольны – опять спросила Фимочка.

– Да уж Господи, да уж так довольны! – восклицал Сквородищин.

А Евгения Тарасовна от полноты чувств встала и принялась целовать Фимочку. Фимочка звонко засмеялась.

– Ну, вот и хорошо, – сказала она. – Значит, паспорт я сейчас отнесу старшему, пусть завтра пропишет, а сама кстати и за вещами съезжу. Через час буду опять здесь.

Оба, муж и жена, смотрели на нее с удивлением. Фимочка расхохоталась.

– Ну, что ж, – сказала она, нахохотавшись, – была у вас прислуга Ольга Дмитриевна, теперь будет сотрудница Фимочка. Вы не сомневайтесь, я и все сделать успею, и на курсы найду время. Да,

Боже ты мой! да чему же тут удивляться! Почему нельзя курсистке за стол и комнату быть сотрудницей в приличном семействе?

– Сотрудницей! – раздумчиво сказал Сквородищин. – Вот это хорошее слово.

– Настоящее слово, – уверенно сказала Фимочка.

Оделась и ушла. Сквородищины посмотрели друг на друга.

– Пришла девице блажная фантазия, – сказал Сквородищин, осторожно поглядывая на Евгению Тарасовну. – Что мы теперь с ней будем делать?

– Никодим Борисович, она – милая, – возразила Евгения Тарасовна, – и она вошла в наше положение. Поживем, увидим. Может быть, скоро все наши Даши и Паши пойдут на фабрики да на заводы, а у нас будут сотрудницами учащиеся барышни. На фабриках хорошо платят, а барышне у плиты удобнее, чем на фабрике.

– Да, Фимочка – милая, – согласился Никодим Борисович.

Скоро Фимочка вернулась со своими вещами. Устроилась в той по коридорчику между столовой и кухней комнате, которая носила название ледника, потому что ее, за ненадобностью, не топили. Фимочка сама вытопила печку. Ночью было ей не тепло, – сразу не натопишь, настыла очень, – но это ее хорошего настроения не испортило.

Через несколько дней Сквородищины опять были в гостях у Лакиновичей. Поехали на трамвае вместе с Фимочкой. На трамвае, известное дело, их потолкали и поругали. Двадцать два дюжие мужика сидели на скамейках, посреди вагона стояли девушки, дамы, старики. Мужик, не попавший на скамейку, держался одной рукой за лямку, другой за плечо стоявшей впереди Фимочки, и при каждом толчке вагона топтал калоши Евгении Тарасовны. Она сказала:

– Вы мои ноги давите.

Он крикнул:

– А вы бы в автомобиль сели. Шляпку наденет, думает, ей все права дадены.

Другие мужики хохотали.

Сквородищин вступился было за жену, но она зашептала опасливо:

– Никодим Борисович, оставьте его. Еще он скандал поднимет.

Кое-как доехали. Лакинович (педагог, математик), его жена (с заботами о женах запасных) и его шесть дочерей (три в очках, учительницы русского языка и литературы, и три в пенсне, курсистки на историко-филологическом отделении) очень интересовались новым домашним устройством у Сквородищиных. Очень хвалили Фимочку, и очень удивлялись ей. Не совсем понимали, прилично это барышне, или нет. Фимочка весело смеялась.

В остальном все было совсем обыкновенно и были почти те же гости, что и тогда. Из новых был поэт в косоворотке и в поддевке. Он прочел несколько своих стихотворений. В них было много слов, совсем непонятных для русского городского жителя. Но филологички (все шесть) были в восторге.

Когда сели пить чай в уютной столовой, за столом теснились веселые гости и любезные гости, – господа. На столе шумел самовар, блестела красивая чайная посуда, очень аппетитно были разложены и расставлены печенья, булочки, сыр, варенье. Одна из филологичек разливала чай. Две горничные, – прислуга, – очень выдержанные, чинные, спокойные, одетые просто, чисто и прилично, блистающие белизной передников, разносили чай. У них был такой вид, точно они, – рабыни, преданные господам, и высшее счастье для них в том, чтобы разносить стаканы и чашки.

Господа, – хозяева, гости, гости, – разговаривали о своем, негодовали и радовались, хмурились и смеялись. Две горничные, – прислуга, – делали вид, что не слышат барских разговоров, и хранили на лицах выражение почтительного внимания.

Фимочка, которой было все равно, самой ли наливать себе чай или брать его из рук горничной, смеялась веселее всех.

САМОСОЖЖЕНИЕ ЗЛА

Этот правдивый, простодушный рассказ извлечен мной из одной старой, милой книжки, где много содержится правоучительных и забавных историй и повестей, приключений веселых, печальных, смешных и удивительных. Показалось мне почему-то, что то происшествие, которое я собираюсь пересказать, в отдаленных подобиюх преобразует душу века сего. Впрочем, длинные предисловия излишни.

Андалузский дворянин из знатной семьи, дон Родриг де Инестрос, человек заносчивый, грубый и жестокий, окончил военную службу тем, что поссорился со своим генералом, и поселился в приморском городе Санлукар де Баррамеда, лежащем близ того места, где очаровательный, хотя и мутный, Гвадалквивир, широко разливаясь, впадает в море. В этом городе дон Родриг женился на благородной девице отменно-доброто и приятного нрава. Огорчаемая часто невниманием, грубостью и кутежами дон Родрига, донна Марианна умерла в молодых еще годах, оставив мужу двоих детей, сына и дочь, столь же несходных нравом, сколь несходны были между собой их родители. Сын, дон Хоакин, был весь в отца, и отец весьма любил его. Дочь, донна Лаура, была в мать и красотой, и тихой прелестью души. Отец ее ненавидел, был с ней жесток, и наконец, чтобы все свое имение оставить любимому сыну, решил отдать юную Лауру в монастырь.

Лаура отличалась не только красотой, но и умом и скромностью. Она хорошо пела, знала много песен и романсов, и с большим искусством играла на клавинодах. За ум и скромность Лаура была почитаема в лучших городских семьях, и многие юноши и почтенные мужи почли бы за счастье назвать ее женой. Но дон Родриг упрямо отказывал всем, кто к ней сватался. Он говорил:

– Дочь моя имеет склонность к уединению. Светская жизнь ей не нравится, и Лаура уже давно просится в монастырь.

Но семнадцатилетняя Лаура о монастыре помышляла со страхом и с отвращением. Ее прирожденная скромность только увечивала естественную в девице этого возраста чувствительность, и мечты ее, не стремясь к светским вольным обхождениям, создавали ей идиллические картины любви и счастья.

Дон Габриель Ромеро, молодой дворянин из Гренады, еще с детских лет вместе с отцом своим переселившийся в Санлукар, при первой же встрече полюбил Лауру. Он знал жестокость ее отца, но любовь всегда живет светлыми надеждами. Габриель был красив и строен, в обращении любезен и приятен. В манерах его сказывалось, что он получил отменно-хорошее воспитание. При том же от недавно умершего отца он наследовал большое состояние, и был одним из

богачейших людей в той местности. Все это внушало Габриелю уверенность в том, что он будет счастливее других. Но он ошибся. Дон Родриг ответил ему таким же холодным и кратким отказом.

Лаурина дуэнья, старая Мерседес, видя слезы Лаурины, вздумала было, улучив добрый миг, замолвить перед доном Родригом слово за Габриеля. Но дон Родриг сказал ей резко:

– Твоих советов, старая, никому не надо. Твое дело – смотреть за Лаурой. Отец этого мальчишки вышел в люди из землепашцев, в его доме еще слишком пахнет маслинами, а мой род древний, и я с этими людьми породниться не желаю.

Узнав о том, что дон Родриг отказал Габриелю, много плакала бедная Лаура. Жалея свою питомицу, старая Мерседес нашла случай повидать Габриеля. Она ему сказала:

– Не думайте, дон Габриель, что Лаура хочет в монастырь. То – воля ее отца. Он хочет, чтобы дон Хоакин был богат, а потому и старается устроить так, чтобы дочери не пришлось выделять приданое.

– Если Лаура любит меня, – сказал Габриель, – я женюсь на ней и без согласия ее отца.

– Дон Родриг прогневается и лишит ее наследства, – сказала Мерседес.

– А и не надо мне его богатства, – отвечал Габриель, – своего довольно.

И, не долго думая, написал письмо, и умолил старую Мерседес передать его Лауре. Он писал:

«Лаура, дерзко и безрассудно мне говорить Вам о моей любви, потому что никто в Испании и за ее пределами не может быть достойным Вас. Но если самая живая страсть и самое нежное обожание могут заслужить Ваше внимание, то я надеюсь, что вы не пренебрежете моей к Вам страстью и моим обожанием, которые безмерны. Прежде, чем писать Вам, я спрашивал дон Родрига, и услышал от него, что Вы намерены идти в монастырь. Трудно мне было поверить, что таково действительно Ваше решение, и потому дерзаю спросить Вас. Если справедливо мое подозрение, что дома Вы угнетены, то позвольте мне избавить Вас от деспотической власти, тяготеющей над Вами. Не бойтесь, что отец Ваш будет гневаться. Он лишит Вас наследства, но это не должно страшить Вас. Поймите, что власть отца не беспредельна, и лучше однажды нарушить долг повиновения, чем быть несчастной на всю жизнь. Ваш ответ Вы можете передать в те же руки, которые отдадут Вам это мое письмо.»

Подписи не было. – Мерседес на словах сообщила, от кого письмо.

– Что же мне делать, милая Мерседес? – спрашивала Лаура, много раз прочитавши письмо. – Мне страшно и подумать о том, чтобы уйти из родительского дома самовольно.

– А в монастырь хочешь? – спросила Мерседес.

Лаура задрожала и воскликнула:

– И подумать страшно и противно! Все равно, что живой в гроб лечь.

Мерседес принялась расхваливать достоинства Габриеля, его красоту, мужество, великодушие, щедрость, богатство, пышное убранство его дома. Лаура слушала ее внимательно, глаза Лаурины сверкали, и смуглые щеки ярко рдели.

– Если пропустишь этот случай избавиться от неволи, – говорила Мерседес, – то уже не избегнешь монастыря.

– Как же мне быть? – спрашивала ее взволнованная Лаура.

Мерседес отвечала:

– Надобно тебе тайно повидаться с доном Габриелем, и стовориться с ним.

Долго не решалась ни на что Лаура. Наконец, понуждаемая старой Мерседес, трепеща и замирая от страха и от стыда, села она писать письмо. Ничего не говоря о своих чувствах, назначила она для свидания следующую ночь.

Надобно ли описывать, в каком восторге был Габриель, как с наступлением темноты нетерпеливо прислушивался он к бою часов на колокольне ближней церкви святого апостола Иакова? Наконец, сладостный срок настал.

В самую полночь пришел Габриель под окно Лауриной комнаты, выходящее на глухой переулок. Там уже ожидала его Лаурина девушка, стоя у перекрестка, закутанная в черный платок, с цветом ночи сливающимся. В темноте едва только видны были ее черные, широкие от страха глаза, да босые ноги из-под черной юбки смутно белели на крупных, плоских камнях, которыми вымощен был узкий переулок. Девушка подвела Габриеля к заветному окну, слегка стукнула в ставень, и стала на страже снаружи, меж тем, как Мерседес стерегла внутри дома у двери Лауриной горницы.

Трепещущая Лаура показалась в окне. Многое нашли влюбленные, что сказать друг другу. Быстро прошел час свидания, жуткий, но столь приятный для обоих, что они пожелали повторить его.

Неоднократно приходил Габриель в полночь к окну Лауриной горницы. Наконец Габриель и Лаура дали друг другу обещание соединиться браком, и с тех пор считали себя соединенными навеки. Но Лаура все никак не могла решиться на то, чтобы Габриель увез ее из родительского дома. Она еще не совсем верила тому, что отец захочет насильно отдать ее в монастырь, и надеялась упросить отца, чтобы он согласился повенчать ее с Габриелем.

Меж тем над головами беспечных влюбленных собиралась гроза.

Габриель прежде, чем познакомиться с Лаурой, имел связь с молодой девицей, Хименой Папельяс. Химена, не имея ни отца, ни матери, была свободна в своих поступках, и не стеснялась пользоваться этой свободой. Она часто принимала Габриеля. Любовь к Лауре заставила Габриеля позабыть свою прежнюю любовницу. Ревность и корысть одинаково озлобляли пренебреженную Химену: она не была богата, и Габриель давал ей много денег, когда ходил к ней. Теперь же прекратились посещения, прекратились и подарки. Химена велела своей служанке выследить Габриеля.

Узнав, что Габриель имеет свидания с Лаурой, Химена поняла, что Габриель хочет жениться на Лауре: добродетели и скромность Лауры были достаточно известны, чтобы можно было подозревать мимолетную связь. Химена решила расстроить этот брак, чего бы это ей ни стоило. Случай, счастье злых, ей, казалось, благоприятствовал.

Хоакин часто посещал некую донну Мигуеллу Ордонес, дочь которой, приятельница Химены, красавица Конча, была воспитана с большой вольностью.

– Милая Конча, – сказала однажды Химена своей приятельнице, – когда у тебя будет дон Хоакин, позови меня.

Конча согласилась. Она еще не знала, что Габриель оставил Химену, и потому не опасалась ее соперничества.

И вот в ближайший день Хоакин встретился у своих приятельниц с Хименой. Было весело, вино было очень хорошее, Конча и Химена соперничали в пении песенок вольных и чувствительных. Наконец, зашел разговор о том, что молодым девицам следует поскорее выходить

замуж, чтобы любовная страсть не заразила их сердец.

– А ваша сестра? – спросила Химена. – Отчего же она не выходит замуж?

– Лаура собирается в монастырь, – отвечал Хоакин.

Химена засмеялась и сказала:

– А вы не думаете, что ваша сестра имеет милого и видится с ним?

– Этого не может быть, – отвечал Хоакин.

– Химена, откуда ты можешь это знать? – спросила удивленная Конча.

Она ничего не знала о замыслах Химены, и дразнить Хоакина не входило в ее расчеты.

– Вы не можете поверить, что она уже выбрала себе мужа? – продолжала Химена.

– Не думаю, чтобы это могло быть, – отвечал Хоакин, – я уверен в ее добродетели и в ее послушании. Притом же она еще слишком молода, чтобы иметь такие мысли. Если бы она была немного постарше, ее отвезли бы в монастырь, – она давно хочет постричься, только о том и мечтает.

– Вы очень ошибаетесь, – сказала Химена. – Правду говорят, что свои узнают последними. Я хочу открыть вам глаза. Знайте, если вы не поспешите выдать замуж Лауру, то она выберет себе мужа, не спросив вас.

– Я этому не верю, – ответил Хоакин.

– Я не хочу думать дурно о вашей сестре, – продолжала Химена, – и придавать дурной смысл ее благосклонности к дону Габриелю. Если бы ваша благородная сестра не имела намерения выйти замуж за Габриеля, она не разговаривала бы с ним каждый вечер у своего окошка.

Тут только поняла Конча, что ревность заставляет Химену говорить это. И она быстро стала на сторону подруги, лукавым смехом разжигая гнев Хоакина. За ней стала улыбаться и ее мать.

– Я вижу, – возразил Хоакин, – вы говорите о том, что дон Габриель иногда приходит ко мне. Но мои окна очень далеки от покоев моей сестры. Кроме того, знайте, что Габриелю никак нельзя иметь бесед с моей сестрой, за ней смотрят очень строго, и воли ей не дают.

Все три женщины слушали его с насмешливым и недоверчивым видом. Химена сказала:

– Я тоже не сразу поверила. Но это происходит так явно, что уже и соседи все об этом говорят. Не верят, что ваш отец ничего не знает. Толкуют, что он притворяется незнающим, чтобы сбыть Лауру с рук без всяких издержек.

Хоакин был так разгневан, что уже не мог вымолвить слова. А дамы, забавляясь его яростью, еще более разжигали его злость. Он ушел от них в великом бешенстве.

Возвратясь домой, Хоакин, несмотря на поздний час, немедленно пошел к отцу, и рассказал ему все, что слышал. Дон Родриг пришел в великий гнев. Он уже собирался идти к Лауре, восклицая:

– Я выбью из нее дурь!

Но Хоакин остановил его:

– Подождем, последим. Теперь она может отпереться от всего. Лучше изблечить их на деле.

– Ты прав, – сказал дон Родриг. – Ты – умный малый.

Хоакин самодовольно усмехнулся. Отец и сын долго беседовали, понижая голос до шепота, – все совещались, как отомстить Габриелю.

Решили пока таить гнев и наблюдать за поступками влюбленных.

Вскоре дон Родриг услышал, что в Кадикс пришли корабли из Индии, на которых были погружены его товары. Дон Родриг обрадовался случаю уехать из города и предоставить другим распутывать эту неприятную историю. Ссориться с богатым Габриелем не входило в его расчеты. Как он ни любил сына, но все же предпочел в этом случае остаться в стороне. В его черствое сердце закралась даже досада на Хоакина, из-за которого ему грозили неприятности. Притом же он был уверен, что его любимец устроит все хорошо. Он думал:

«Пусть заслужит мое наследство».

Он выехал со своими слугами из Санлукара. В доме остались только Хоакин со своим пажом и Лаура с Мерседес и молодой служанкой.

Проводив отца, Хоакин почувствовал некоторое беспокойство. Дерзкая отвага Габриеля внушала ему страх, но этот страх все же не отклонял его от исполнения замышленного. Хоакин усердно следил за Лаурой. В одну ночь он увидел, как Габриель разговаривал с ней под ее окном. Тогда Хоакин решил приступить к исполнению злого замысла.

Лаура, заметив, что Хоакин с ней особенно холоден, решила воспользоваться отсутствием отца, чтобы уйти к Габриелю. С этой целью, увидев, что Хоакин уехал после обеда со двора, Лаура села писать своему милому. Она просила Габриеля прийти к ней в ближайшую ночь, чтобы посоветоваться, что им надлежит делать.

Лаура не знала, что отъезд ее брата был притворный. Он хотел застать ее врасплох. Отъехав недалеко, он вернулся, и тихо вошел в дом. Никто его не видел: старая Мерседес дремала в саду под пинией, убаюканная тихим журчанием фонтана, а Лаурина служанка и Хоакинов паж о чем-то шептались, укрывшись от зноя в густые кусты около забора, шептались так тихо, словно боялись, что ютящиеся там рогатые жуки подслушают и разжужжат соседям их секреты. Хоакин прокрался к дверям Лауриной комнаты. Слегка приоткрыв дверь, он увидел, что Лаура пишет. Усмехнувшись злорадно, он ждал. Едва только Лаура окончила письмо и собиралась его запечатать, Хоакин потесненно вошел в комнату. Лаура затрепетала, хотела спрятать письмо, но было уже поздно. Хоакин вырвал из ее рук письмо, и прочитал его. Он закричал с диким хохотом:

– Вот твоя девическая скромность! Вот твое послушание!

Лаура упала на колени, и молила о пощаде. Но Хоакин, не желая ничего слушать, вышел из комнаты, и запер ее на ключ. Затем он громким криком созвал слуг:

– Старая ведьма! – крикнул он на испуганную Мерседес, – хорошо ты смотришь за Лаурой! Иди в свою комнату, и молись Богу на досуге. И ты, скверная девчонка, иди туда же!

И он запер на ключ служанку и Мерседес.

– Кто носил письма дону Габриелю? – грозно спросил он пажа.

– Не знаю, – равнодушно отвечал мальчишка.

Ему было забавно, что его подруга попала под замок. Ни о чем другом он не думал. Хоакин велел ему идти за знакомым священником.

– Скажи отцу Бенедикту, что умирающий ждет исповеди.

Паж посмотрел на Хоакина с удивлением.

– Разве донне Лауре плохо? – спросил он. – Не позвать ли врача?

– Врача я сам приведу, – отвечал Хоакин, – а ты делай, что тебе велят, да беги живее, пока не бит.

Испуганный паж во всю прыть проворных голых ног помчался к отцу Бенедикту. Скоро отец Бенедикт пришел. Хоакин встретил его на пороге дома.

– Кто умирает? – спросил священник.

– Идите за мной, – угрюмо сказал Хоакин.

И повел его к Лауре. Старец, многое видевший в жизни, но особенно был удивлен тем, что дверь к умирающему была замкнута на ключ. Хоакин ввел священника к Лауре. Она стояла на коленях перед резным темным Распятием, и со слезами молилась. Услышав звук отмыкаемой двери, она обратила к вошедшим испуганные глаза, и схватилась рукой за тяжелое Распятие. Хоакин сказал отцу Бенедикту:

– Исповедайте и разрешите от грехов эту несчастную девицу. Она заслужила наказание смертью, и примет смерть из моих рук, как только вы окончите ваше дело.

Священник, испуганный словами и яростным лицом Хоакина и тронутый слезами и отчаянием юной девицы, сказал:

– Дон Хоакин, подумайте, какое жестокое беззаконие помышляете вы совершить!

Но все его увещания были тщетны. С нетерпением слушал его Хоакин, и наконец яростно закричал:

– Я призвал вас исповедовать мою сестру, а не подавать мне советы. Я сам знаю, что делаю. А если вы не согласны, то идите отсюда. Я и без вас пролью кровь этой порочной девицы, которая опозорила честь нашего рода.

Тогда, видя его неумолимость, священник сел на стул, стоящий близ Распятия, и тихим голосом подзвал Лауру. Она склонилась перед ним колени, и исповедала свои грехи с такой кротостью и с таким смирением, что священник проникся еще большей жалостью к ней. Он снова стал умолять Хоакина, чтобы он сжалился над Лаурой и пощадил ее жизнь. Он говорил:

– Донна Лаура имела законные намерения. Если она и хотела избрать себе мужа против воли своей семьи, то все же не заслуживает за это наказания смертью.

В великой ярости Хоакин разразился страшнейшими ругательствами и богохульствами. Он закричал:

– Довольно! Не хочу я слышать вашей болтовни. Вы кончили ваше дело, так можете идти домой. Только берегитесь рассказывать кому-нибудь о том, что здесь видели и слышали, если жизнь вам еще мила.

Отец Бенедикт, дрожа от ужаса, не посмел более сказать ни слова, и поспешно вышел. Меж тем Лаура стояла на коленях перед Распятием, плакала и молилась. Едва отец Бенедикт вышел из комнаты, Хоакин бросился на Лауру, ухватил ее за волосы, и нанес ей несколько ударов кинжалом. Лаура едва успела вскрикнуть от ужаса и от боли, и тяжело свалилась на пол. Хоакин, считая ее мертвой, вышел. Он замкнул за собой дверь, но в торопливости не вынул ключа, – спешил довершить свое злодеяние.

Паж забавлялся на дворе, бросая камешками в то окно, из которого выглядывали бледные, испуганные лица дуэньи и служанки. Хоакин позвал его и сказал грозно:

– Если ты побьешь стекла, я тебе оторву голову!

В подкрепление угрозы Хоакин хотел было поколотить мальчишку, но вспомнил, что он еще пригодится сегодня для важного дела, требующего верности и точности, а потому переменял намерение, вытащил из кошелька, хотя не без колебания, золотой дублон, и отдал его пажу. Вместе с тяжелой монетой Хоакин отдал пажу и то

письмо, которое отнял у Лауры.

– Отнеси это письмо к дону Габриелю Ромеро, и скажи ему, что письмо дала тебе сама донна Лаура. Понял? Обо мне не смей говорить ни слова. Да попроси ответа. Скажи: донна Лаура просит ответа. Если сделаешь все хорошо, получишь еще столько же.

Паж был очень обрадован, первый раз в жизни сделавшись обладателем столь крупной суммы. С видом большого усердия он ухватил письмо и монету, и побежал. За воротами он осмотрелся, и быстро кинул монету, чтобы узнать, не поддельная ли она. Потом, не доверяя крепости карманов, он сунул дублон за щеку, помчался, сверкая на заходящем солнце красной курткой и смуглыми ногами, и в душе его было сильное желание заслужить обещанную награду. Он исправно сделал все, что ему было велено.

Габриель очень удивился тому, что письмо не Мерседес ему принесла, и даже не Лаурина девушка. Не случилось ли чего со старухой? Но Габриель не решился спросить об этом у пажа, чтобы не выдать неосторожным словом верную дужню. Он только спросил:

– Тебя дон Хоакин послал?

– Нет, – отвечал мальчишка, – донна Лаура. Дон Хоакин куда-то уехал верхом.

Почерк письма убедил Габриеля, что письмо действительно от Лауры. Не показывая своего удивления, прочитал письмо, и сказал мальчишке:

– Передай, что я все исполню, что здесь сказано.

Мальчишка побежал к своему господину. Выслушавши его сообщение, Хоакин подарил ему второй дублон, и отправился к одному из своих собутыльников, Гильерму Валера.

– Друг мой Гильерм, – сказал ему Хоакин, – завелся соловей ночной, повадился ночью распевать под нашими окнами, и мешает мне спать.

– Если ты, Хоакин, – отвечал Гильерм, – хочешь убить ночного соловья, то я охотно помогу тебе.

– Этим ты окажешь мне большую услугу, – сказал Хоакин. – А если тебе придет нужда в верной шпаге, то рассчитывай на меня смело.

– Между друзьями что за счеты! – отвечал Гильерм. – Но не понадобится ли нам третий?

– А кого позвать? – спросил Хоакин.

– Позовем Мануеля Репеса, – посоветовал Гильерм.

Так и сделали. Ночью все трое пошли в переулок у дома донна Родрига, и там, таясь в нише ворот, ждали.

Едва только пробило одиннадцать часов, Габриель вышел из дома. На этот раз он был особенно осторожен. Весь вечер раздумывал он, почему письмо принес мальчишка, а не старая Мерседес. Полный томительных опасений и мрачных предчувствий, он тщательно зарядил пистолеты, взял остро-наточенную шпагу, закрыл лицо плащом и широкими полями шляпы, и шел осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху. Но везде было тихо и темно, и только мерцавшие на темно-синем небе великолепные сочетания звезд слабо освещали его путь по тяжелым плитам затихших улиц. Слабо и томно пахло доцветающим лимоном, и с моря доносился далекий гул прилива.

Габриель подошел к знакомому окну. Оно было закрыто. Он осторожно постучал в ставень. Никто не отзывался. Привыкшими к ночной темноте глазами он осмотрелся вокруг. Служанки Лауриной не было видно. Габриель взмогился на приступок дома, рванул ставень, – он заскрипел и распахнулся, и при слабом свете догорающей

лампады Габриель смутно различил лежащее на полу в белом платье чье-то тело.

«Лаура убита!» – с ужасом подумал Габриель.

В ту же минуту он услышал сзади себя звон оружия. Габриель поспешно соскочил на землю. Три человека напали на него. Он защищался отчаянно. Любовь и гнев увеличивали его ловкость, и умножили его силу; взятые не напрасно пистолеты дали ему перевес над противниками, и скоро он был победителем. Раненные выстрелами из его пистолетов, друзья Хоакина обратились в бегство. За ними бежал и сам Хоакин. На звуки пистолетной стрельбы прибежали коррехидор и стражники. Габриель рассказал, что на него напали, и что в этом доме, по-видимому, совершено убийство. В это время принесли сюда раненого Гильерма, – он упал недалеко, и стражники подняли его. Хотя рана Гильерма была не опасна, но он вообразил себя умирающим, совесть заговорила в нем, и он признался, что дон Хоакин подговорил его убить Габриеля за то, что тот склонял к бегству его сестру Лауру.

– А что с донной Лаурой? – тревожно спросил Габриель.

– Убита доном Хоакином, – сказал слабым голосом Гильерм, и потерял сознание.

Коррехдор в сопровождении Габриеля и стражников вошел в дом. Добрались до Лауриной комнаты. Лаура, приведенная в чувство ночной прохладой, стонала, лежа на полу. Один из стражников привел врача. В то же время освобожденные из-под замка Мерседес и девушка прибежали и осторожно перенесли Лауру на ее постель.

Раны Лауры, хотя и многочисленные, оказались неопасны. Прилежный уход скоро поставил ее на ноги. Тем временем власти принялись за расследование дела. Хоакин был уличен в покушении на убийство сестры, и приговорен к смертной казни.

Выгодные торговые дела долго задерживали дона Родрига в Кадиксе. Наконец кто-то из друзей написал ему о процессе его сына. Встревоженный дон Родриг поспешил в Санлукар. Корабль, на который он сел, потерпел крушение, нанесенный внезапным порывом ветра на одну из мелей, которыми изобилует устье Гвадалквивира. Дон Родриг едва спасся от смерти. К довершению беды береговые жители ночью ограбили его. Кое-как, с большим промедлением времени, дон Родриг добрался до Санлукар.

Сидя на ленивом и медленном осле, который останавливался каждый раз, когда находил случай полакомиться сочным плодом, дон Родриг въехал в Санлукар в тот самый час, когда Хоакина вели на площадь, где его ждали палач с топором и плаха. Дон Родриг увидел сына, но в каком виде? Со связанными за спиной руками, в рубашке из грубой шерсти, с непокрытой головой и голыми ногами шел по пыльным улицам города Хоакин де Инестрос. Конный солдат держал в руке конец веревки, которой были связаны руки Хоакина. Мальчишки бежали за Хоакином, свистали и кричали:

– Убийца! Проклятый!

Это зрелище так потрясло старого дона Родрига, что он поспешил домой, и отравился.

А Лаура, оправившись от болезни, вышла замуж за Габриеля. Она часто ходила плакать на могилах отца и брата, хотя они и были так жестоки к ней. Габриель сказал ей однажды:

– Если бы ты сразу согласилась бежать из отцова дома, все обошлось бы гораздо лучше.

Лаура, осушив слезы, отвечала:

– Я и так довольно счастлива, и о минувшем не жалею. Ведь и святые все прошли множество напастей и искушений, и преуспели. Огонь очищает железо, искушение очищает праведного.

И старая Мерседес сказала:

– Если бы Лаура самовольно ушла из родительского дома, то и отец, и брат искали бы причинить ей зло. Смирение же и покорность Лауры их зло обратили на них самих, – и так мы увидели, что злое само себя сгубило.

Габриель подивился этим словам. Но, обдумав их внимательно, он воздал хвалу Господу, устрояющему все к лучшему, и уже никогда впредь не упрекал Лауру.

...

КОММЕНТАРИЙ

Условные сокращения

АЛ(1917)	Алая лента. (Сборник) Петроград: «Петроградское издательство» 1917.
БВ	Биржевые ведомости (газета; СПб.)
Библиография (1909)	[Чеботаревская, Анастасия Н. <сост.>] Библиография сочинений Федора Сологуба. Часть первая. Хронологические перечни напечатанного с 28 января 1884 г. до 1 июля 1909 г. СПб.: «Типография Г. Шахт» 1909.
Гол.блеск (Киев 1991)	Голодный блеск. Избранная проза. Киев: «Дніпро» 1991.
КК(1992)	Капли крови. Избранная проза. М.: «Центурион - Интерпракс» 1992.
Л.	Ленинград
М.	Москва
ПЗ(1918)	Поминишь, не забудешь и другие рассказы. М.: «Творчество» 1918
СБ(1918)	Слепая бабочка. М.: «Московское книгоиздательство» 1918
Св.и тени (Минск 1988)	Свет и тени. Избранная проза. Минск: «Мастацкая літаратура» 1988.
СВ	Северный вестник (журнал; СПб.).
СД(1921)	Сочтенные дни. Ревель: «Библиофил» 1921.
СПб.	Санкт Петербург
СС Сирин	Собрание сочинений [в 20-и томах]. СПб.: «Сирин» 1913-1914.
СС Шиповник	Собрание сочинений [в 12-и томах]. СПб.: «Шиповник» [1909-1912].
Тяж.сны (Л. 1990)	Тяжелые сны. Роман. Рассказы. Л.: «Художественная литература» 1990.
ЯГ(1916)	Ярый год. М.: «Московское книгоиздательство» 1916
Hansson	Hansson, C.: Fedor Sologub as a Short-Story Writer. Stockholm: "Almqvist & Wiksell International" 1975.
Lauer	Lauer, B.: Das lyrische Frühwerk von Fedor Sologub. Gießen: "Schmitz" 1986.
Leitner	Leitner, A.: Die Erzählungen Fedor Sologubs. München: "Otto Sagner" 1976.

Из двух *Собраний сочинений* Сологуба (см. выше «СС Сириин» и «СС Шиповник») были употреблены при надобности добавочной проверки или корректуры следующие тома:

- том 3 СС Шиповник (1909)
- том 4 СС Шиповник (1910)
- том 7 СС Шиповник (1910)
- том 11 СС Шиповник (1911) / СС Сириин (1913)
- том 12 СС Шиповник (1912)
- том 14 СС Сириин (1913)

Библиографические данные, относящиеся к другим томам издания издательства «Сириина», следуют публикации Leitner, с.22-35.

Жирным шрифтом ниже отмечается заглавие текстов Сологуба, курсивом подзаголовков. Цифрой в острых скобках "<>" указано на очередность различных изданий одного и того же текста. Так как частотность опубликования любого текста может быть признаком его популярности, отмечены все издания, поскольку они стали известны (ср. выше Leitner, с. 22-35; Lauer, с.391-392). Установить содержание сборника: *Помнишь, не забудешь и другие рассказы*. Москва: «Творчество» 1918, возможно было только по примечаниям в публикации Hansson, с.132-136. Если имеются достоверные сведения о первоначальном издании, после цифры <1> поставлено слово «Впервые». Это касается прежде всего рассказов, опубликованных до 1916г.

Белая березка. <1> Впервые: «Русская мысль» 1909, № 1; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.9-17; <3> СС Сириин 12 (1914), с.9-19. Печ. по изд. <1>.

Сон утешающий. - Рассказ. <1> Впервые: «Речь» 1909 № 86 [29-IX]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.19-27; <3> СС Сириин 12 (1914), с.21-31. Печ. по изд. <1>.

Иван Иванович. - Рассказ. <1> Впервые: «Слово» 1909 № 751 [29-IX] <под заглавием *Иван Иванович воскрес*>; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.39-37; <3> СС Сириин 12 (1914), с.33-43. Печ. по изд. <2>.

Путь в Эммаус. - Рассказ. <1> Впервые: «Наша газета» 1909 № 7 [29-IX]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.39-46; <3> СС Сириин 12 (1914), с.45-54; <3> ПЗ(1918). Печ. по изд. <1>.

Старый дом. <1> Впервые: «Земля», Сборник трети. М. 1909; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.47-111; <3> СС Сириин 12 (1914), с.55-138. Печ. по изд. <2>.

Золотая лестница. <1> Впервые: «Речь» 1909 № 354 [25-XII]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.113-129; <3> СС Сириин 12 (1914), с.139-160. Печ. по изд. <1>.

Красногубая гостья. - Святочный рассказ. <1> Впервые: «Утро России» 1909 [25-XII]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.131-147; <3> СС Сириин 12 (1914), с.161-182; <4> АЛ(1917). Печ. по изд. <1>.

Наивные встречи. <1> Впервые: «Одесские новости» 1910 [18-IV]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.183-192; <3> СС Сириин 12 (1914), с.225-236; <4> ПЗ(1918); <5> КК(1992), с.336-343. Печ. по изд. <1>.

Благополучный Иуда. - Рассказ. <1> Впервые: «Утро России» 1910 № 126 [18-IV]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.167-182; <3> СС Сириин 12 (1914), с.205-224. Печ. по изд. <1>.

Одно слово. - Рассказ. <1> Впервые: «Утро России» 1910 № 355 [25-XII]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.193-207; <3> СС Сириин 12 (1914), с.237-255. Печ. по изд. <1>.

Путь в Дамаск. - Рассказ. <1> Впервые: «Шиповник» Сборник № 12 (1910), с.91-104; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.149-165; <3> СС Сириин 12 (1914), с.183-203; <4> КК(1992), с.422-434. Печ. по изд. <1>.

Земной рай. <1> Впервые: БВ 1911 № 12155 [3-11]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.209-217; <3> СС Сириин 12 (1914), с.257-267 <4> ПЗ(1918). Печ. по изд. <2>.

Помнишь и не забудешь. - Рассказ. <1> Впервые: «Утро России», 1911 № 82 [11-IV]; и потом: <2> СС Шиповник 12 (1912), с.269-293 «219-2387»; <3> СС Сириин 12 (1914), с.269-293; <4> ПЗ(1918); <5> Тяж.сны (Л. 1990), с.339-350. Печ. по изд. <1>.

Лоэнгрин. - Рассказ. <1> Впервые: «Речь» 1911 № 354 [25-XII]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.19-47; <3> Св.и тени (Минск 1988), с.322-335; <4> Гол.блеск (Киев 1991), с.419-435. Печ. по изд. <1>.

Поцелуй нерожденного. - Рассказ. <1> Впервые: «Утро России» 1911 № 297 [25-XII]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.1-17. Печ. по изд. <1>.

Турандина. - Рассказ. <1> Впервые: «Голос земли» 1912 № 6/8 [15/17-1]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.91-110; <3> КК(1992), с.324-336. Печ. по изд. <1>.

Звериный быт. <1> Впервые: «Земля» № 8 (1912), с.185-254; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.135-231; <3> Св.и тени (Минск 1988), с.335-380; <4> Гол.блеск (Киев 1991), с.436-493; <5> КК(1992), с.364-423. Печ. по изд. <2>.

Алая лента. - Рассказ. <1> Впервые: «Новое слово» № 1 (Январь 1912г.); и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.111-134; <3> АЛ(1917). Печ. по изд. <1>.

Мечта на камнях. - Рассказ. <1> Впервые: «Речь» 1912 № 1 [1-1]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.49-66; <3> Тяж.сны (Л. 1990), с.332-339. Печ. по изд. <1>.

Смутный день. - Рассказ. <1> Впервые: «Русское слово» 1912 № 6 [8-1]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.67-89. Печ. по изд. <1>.

Сергей Тургенев и Шарик. - *Ненапечатанные эпизоды из романа "Мелкий бес"*. <1> Впервые: «Речь» 1912 - № 102 [15-IV], с.2; № 109 [22-IV], с.3; № 116 [29-IV], с.2. Печ. по изд. <1>.

Дама в узах. - *Легенда белой ночи.* Рассказ. <1> Впервые: «Огонек» 1912 № 21 [19-V]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.233-244; <3> КК(1992), с.294-300. Печ. по изд. <1>.

Сдавшиеся. - *Историческая фантазия.* <1> Впервые: «Русское слово» [25-XII-1912]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.245-250. Печ. по изд. <1>.

Венчанная. <1> Впервые: «Русское слово» [14-IV-1913]; и потом: <2> СС Сириин 14 (1913), с.251-257. Печ. по изд. <1>.

Жена умного человека. <1> Впервые: «Заветы» № 2 (1914); и потом: <2> СБ(1918), с.5-20. Печ. по изд. <2>.

Барышня Лиза. <1> Сириин «сборник» III (1914); и потом: <2> - *Повесть.* М./Берлин: «Helikon» 1923. Печ. по изд. <2>.

Правда сердца. <1> ЯГ(1916), с.5-24. Печ. по изд. <1>.

Обручальное. <1> ЯГ(1916), с.27-30. Печ. по изд. <1>.

Танин Ричард. <1> ЯГ(1916), с.33-37. Печ. по изд. <1>.

Три лампы. <1> ЯГ(1916), с.41-47. Печ. по изд. <1>.

Сердце сердцу. <1> ЯГ(1916), с.51-62. Печ. по изд. <1>.

С ними траур. <1> ЯГ(1916), с.65-75. Печ. по изд. <1>.

Визит. <1> ЯГ(1916), с.79-84. Печ. по изд. <1>.

Незамерзающий мальчик. <1> ЯГ(1916), с.87-99. Печ. по изд. <1>.

Дед и внук. <1> ЯГ(1916), с.103-108. Печ. по изд. <1>.

Тихий зной. <1> ЯГ(1916), с.113-125. Печ. по изд. <1>.

Свет вечерний. <1> Впервые: «Шит. Литературный сборник», М.1915, с.162-168 «под заглавием *Вечерний свет*»; и потом: <2> ЯГ(1916), с.129-138. Печ. по изд. <2>.

Красавица и оспа. <1> ЯГ(1916), с.141-148. Печ. по изд. <1>.

- Возвращение.** <1> ЯГ(1916), с.151-155. Печ. по изд. <1>.
- Надежда воскресения.** <1> ЯГ(1916), с.159-162. Печ. по изд. <1>.
- Неутомимость.** <1> ЯГ(1916), с.165-174; и потом: <2> Федор Сологуб, «Мелкий бес - Заклинательница змей - Рассказы», М. «Советская Россия» 1991, с.515-522. Печ. по изд. <1>
- День встреч.** <1> ЯГ(1916), с.177-196. Печ. по изд. <1>.
- Ошибка Гофлиферанта.** <1> ЯГ(1916), с.199-214. Печ. по изд. <1>.
- Отравка.** <1> СБ(1918), с.21-50. Печ. по изд. <1>.
- Самый сильный.** <1> СБ(1918), с.51-61. Печ. по изд. <1>.
- Крутильда и семь других.** <1> СБ(1918), с.62-70. Печ. по изд. <1>.
- Мышеловка.** <1> СБ(1918), с.71-78. Печ. по изд. <1>.
- Сказка гробовщицовой дочери.** <1> СБ(1918), с.79-88. Печ. по изд. <1>.
- Голос крови.** <1> СБ(1918), с.89-101. Печ. по изд. <1>.
- Прачка с длинною косою.** <1> СБ(1918), с.102-109. Печ. по изд. <1>.
- Солнышко.** <1> СБ(1918), с.110-115. Печ. по изд. <1>.
- Самый темный день.** <1> СБ(1918), с.116-127. Печ. по изд. <1>.
- Сочтенные дни.** - Рассказ. <1> СД(1921), с.5-40. Печ. по изд. <1>.
- Колебание стен.** - Рассказ. <1> СД(1921), с.41-56. Печ. по изд. <1>.
- Самосожжение зла.** - Новелла. <1> СД(1921), с.57-74 <под датой "1917г.">. Печ. по изд. <1>.

Рассказы Федора Сологуба

Федор Сологуб (Ф.К.Тетерников, 1863-1927) опубликовал примерно 100 рассказов. Все доступные рассказы, а именно 104, представлены в обоих томах "Собрания сочинений"¹. Несмотря на очевидную однородность применяемых художественных приемов или, даже больше, однотонности всего корпуса рассказов, все же можно отметить некоторые различия, а именно как системно в композиции рассказов, а так и диахронно в их трансформации на протяжении творческого пути Сологуба. Остановлюсь кратко на некоторых поэтических трансформациях в творчестве более позднего Сологуба.

Особенно бросаются, на первый взгляд, в глаза изменения - по сравнению с ранним творчеством - в рассказах военных лет², которые ставят под сомнение символистскую поэтику позднего Сологуба. Поскольку на эти рассказы в исследованиях, как правило, не обращалось внимания, аргументация здесь ведется именно на их основе.³ Их содержание можно при известных предпосылках описать отрицательно: повседневные события составляют фабулу рассказов. Фабула имеет отчетливую связь с ситуацией. Ее монтирование в сюжет придает ему сентиментальность и одновременно клишеобразность. Смысл, который достигается при этом заставляет заподозрить автора в идеологической тенденциозности. То есть, рассказы "тенденциозны" и могут быть дефинированы как конкретный замысел поддержки боевой морали на русском "фронте Отечества".

Чтобы создать о военных рассказах более точное представление, перечислю некоторые соответствующие мотивы: русско-эстонская или русско-английская дружба ("Правда сердца", [II, 252]⁴ соответственно "Танин

¹ Ср. Федор Сологуб. Собрание сочинений. Том первый ("Рассказы 1894-1908"). München 1992 (Slavistische Beiträge. 291). Не представлены были следующие тексты: "Дневник одинокого. Тенденциозные рассказы. (Из журнала вице-короля островов Ки-Ка-Пу)". (Ср. Lauer, с.391), "Шаня и Женя" (БВ 1897, № 133, 17/V), идентично "Они были дети" (том I, с.385-421; данные в *Комментарии* т.1, с. 426 должны быть соответственно исправлены!); "Острие меча" (Сборник "Лукоморье. Военные рассказы." Петербург 1914, с.123-215; за указание источника приношу благодарность Бербель Шемятовой, Мюнстер.) Частично тексты оказались недоступными. Но речь идет о тех из них, которые являлись в сущности обработками или отрывками больших произведения. Публикуется напротив в связи с литературным значением текст "Ненапечатанные эпизоды из романа *Мелкий бес*" под заглавием "Сергей Тургенев и Шарик" (том II, с. 186-199).

² Ср. в данном томе рассказы из сборника "Ярый год" (1916), от "Правда сердца" (с. 252) до "Ошибка гофлиферанта" (с. 325).

³ Из исследований собственно "символистских" рассказов Сологуба следует указать на следующие публикации: Hansson, C., *Fedor Sologub as a Short-Story Writer. Stylistic Analyses.* Stockholm 1975; Клейман, Л., *Ранняя проза Федора Сологуба.* Ann-Arbor 1983.

⁴ Указание на цитатность дается в следующем порядке: номер тома римскими,

Ричард", [II, 263]) перед лицом общего немецкого врага⁵; отрицание всего немецкого ("Возвращение", [II, 307]; "День встреч" [II, 316]; "Ошибка гофлиферанта", [II, 325]); верность оставшейся в тылу жены ("Визит" [II, 279]; "Красавица и оспа" [II, 303]; "Возвращение" [II, 307]); самопожертвование ("Обручальное" [II, 311])⁶; нетерпеливость и жажда борьбы молодежи ("Дед и внук" [II, 288]; "Неутомимость" [II, 311])⁷ и многие другие.

Этот вид "реализма" может быть квалифицирован как признак тривиального. К этим признакам относятся прежде всего непосредственное отношение сферы предмета к внелитературной ситуации⁸ и жизнеутверждающая мораль в смысле внелитературных, относящихся к данному времени, ценностей. Их наиболее яркое формальное выражение является "happy-end - счастливый конец". Он выражен в прямом соответствии конечного состояния и начального положения, являющегося у Сологуба необычным. С другой стороны, определенная часть сологубовских рассказов предвоенного времени показывает также на их привязанность к внелитературной действительности, хотя подобная отсылка к обнаженному контексту ситуации оказывается более неопределенной, чем отношение к конкретному событию. К тому же данный контекст функционирует иначе, а именно, большей частью в качестве исходной точки процесса, проводимого в рамках символистского дуализма и утверждаемого существования двух миров в действительности, т.е. из "повседневности" в "высшую реальность".

В качестве примера можно привести знаменитый рассказ "Свет и тени" 1894 года [II, 11], где дуализм проецируется уже в названии. Иллюзорность игры тени и представленная ею сущная ценность выявляются лишь постепенно. Рассказ начинается с совсем конкретного, отчетливо указывающего на контекст современности, описания, когда из журнала "Нива" выпадает небольшой вкладыш, в котором описаны игры в тень. Он кончается в совершенно ином, фантастическом мире, в мире "блаженного безумия" матери и сына [I, 26], без чего невозможно раскрыть в этом развитии сюжета логическую каузальность.

Так же обстоит дело в рассказе "Смерть по объявлению" (1907) [II, 293]. Исходный внелитературный пункт выявляется довольно точно - объявление в газете "Новое время", приписка, двусмысленные чувства носителя главного действия: *"И захотелось вдруг развлечения не по установленной заранее программе."* [I, 294], события на почтамте и т. д. Финальная часть, напротив,

страницы в начале соответствующего рассказа арабскими цифрами.

⁵ Учитывая историческую ситуацию на Балтике это является особенно идеологическим!

⁶ По аналогии к немецкой военной пропаганде "Отдал золото за железо".

⁷ В этом рассказе уже имеется мотив воинственного ("героического") инвалида, который тематизируется позднее в печально-знаменитой военной повести (после второй мировой войны) "Повесть о настоящем человеке" (1946) Бориса Полевого.

⁸ В смысле в настоящее время действенного художественного приема этого жанра, описывающего нечто в потребительской литературе, что еще недавно являлось (сенсационным) сообщением в газете. Ср. начало рассказа "Возвращение" [II, 307] «Наши Перемышль взяли...».

становится своеобразно абстрактной и по связанности с началом довольно неотчетливой:

- «Стилет остер, и сладко ранит».

И прильнула, и целовала, и ласкала. И точно ужалила, - уколола в затылок отравленным стилетом. Сладкий огонь вихрем помчался по жилам, - и уже мертвый лежал в ее объятиях. [...] [1, 30]

Для фабулы следует таким образом взять логический обрыв, означающий, как бы сказать, место стыка между двумя мирами. В сюжете, напротив, переход из реального мира в "высшую реальность" не обозначен. Переход происходит постепенно, так что в конце рассказа реципиент, оглянувшись назад, остается под впечатлением двойственности, как момента эстетически действенной ирритации. По этому образцу построена обширная группа рассказов, может быть, даже большинство рассказов перед мировой войной. Они проецируют на экран повседневность, за которой раскрывается собственная более "высшая реальность". При этом "повседневность" и "высшая реальность" представляют не только или не в первую очередь значения внутри идеологической системы, именно "символистский дуализм"⁹, но двойная проекция воспринимается как символизация в себе скрытых, психических процессов. Здесь очевидно имеются многие вариации, в которых в любом случае роль играет также эмоциональное "открытие" реципиентом "скрытого".

Следующее основное различие между военными рассказами и написанными раньше (в узком смысле: символистскими) заключено в стилизации. Метким примером может быть первый рассказ Сологуба 1894 года "Ниночкина ошибка" [1, 1]. Он создает одновременно видимость некоей тривиальности и жизнеутверждающей морали. Нина, дочь купца, влюбляется в приехавшего актера и едва не становится его жертвой, так как он - конечно же! - нацелен лишь на ее деньги. Разумеется, что она своевременно находит путь назад в буржуазное общество и история заканчивается happy-end'ом. Но уже в сюжете становится ощутимой стилизация повествовательной перспективы, которая, как правило, отражается в произведениях Сологуба, но отсутствует в военных рассказах. При помощи стилистически проектируемого рассказчика подрывается положительная мораль, поскольку в конце становится сомнительным, в чем же состояла "ошибка Нины", в любви ли к актеру, или в признании разумных доводов отца. Рассказчик становится, так сказать "лицемерно", на сторону господствующей морали в отношении взаимосвязи между собственностью, браком, счастьем и любовью:

Балагуров добился-таки своего. Ниночка его полюбила и осенью была их свадьба.

Ниночка очень счастлива с мужем.

Когда она хочет капризничать, муж называет ее «madame Фунтикова». Ниночка смеется и делается опять нежной и ласковой. Да и как же иначе! Ведь муж так горячо, так страстно любит ее. [1, 10]¹⁰

⁹ Ср. абстракции в дополнительной литературе, являющиеся сами по себе полезными, но эвентуально оставляющие вне внимания художественную сторону системы. Hansen-Löve, A., Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der Motive. Band I Wien 1989; Schmid, U., Fedor Sologub. Werk und Kontext. Bern etc. 1995 (Slavica Helvetica. 49).

¹⁰ Ср. подобный комментарий в конце рассказа "Задор" (1897) [1,56]

Стилизация повествовательной речи носит и другую функцию. В принципе она строится на двух различных стилистических средствах. С их помощью имплицитно достигается упоминаемый контраст между двумя мирами: с одной стороны "повседневность" посредством краткой, лаконичной речи; с другой – "высшая реальность" посредством сплошной лиризации в синтаксисе и лексике.¹¹ В качестве примеров в цитируемой публикации Каролы Ханссон указаны рассказы "Свет и тени" (1894) [I, 11] (ср. выше), "Белая собака" (1908) [I, 317] и "Мудрые девы" (1908) [I, 331]. Здесь можно было бы указать и на другие рассказы. Особый случай в связи с стилистической вариабельностью представляет рассказ "В толпе" (1907) [I, 263], поскольку в нем во многих пассажах наблюдается дополнительно квазинатуралистическая дифференциация речи персонажей, в особенности *разговорная речь* или *просторечие*, которые проникают местами в речь рассказчика.

Если символистская мотивировка не воспринимается¹², то этот аспект стилизации воздействует подобно "монтажу" заданных литературных декоративных элементов. В поздних рассказах отпадает символистская мотивировка и вместе с нею существенная последовательность в значимой упорядоченности мотивов, стилистических оборотов и т. д. Сам же прием в определенных рамках сохраняется. Он получает лишь другую функцию. В военных рассказах всплывают определенные декоративные элементы, воздействующие подобно автоцитате: особая чувствительность носителей действия к подспудному ("Танин Ричард" [II, 263]; "Сердце сердцу" [II, 269]; "Незамерзающий мальчик" [II, 282] и т. д.), мечты ("Надежда воскресения" [II, 309]), дети в качестве носителей действия ("Незамерзающий мальчик" [II, 282]; "Дед и внук" [II, 288]; "Неутомимость" [II, 311]), или метафоры и обороты, как напр.:

обжигающие поцелуи небесного *Змия-Солнца* [II, 267 ("Три лампы"); курсив мой, U.S.]

И он проворно сбросил с себя всю одежду, и стоял *обнаженный* рядом со своим изображением, *бледная тень* созданного чарами искусства яркого образа. [II, 279 ("Сними траур"); курсив мой, U.S.]

Среди рассказов, опубликованных перед мировой войны, имеются, наконец, отдельные, которым приданы сильные аллегорические признаки, мистически проецирующие отличия между "повседневностью" и "высшей реальностью", и в которых, как бы сказать, имплицитно представлен повседневный мир в смысле указанного отношения к современности. Некоторые рассказы достигают тем самым сатирического качества, как, напр., рассказ "Дикий бог" (также под заглавием "За рекою Меирур") [I, 218], "Страна, где воцарился зверь" [I, 257] или в меньшей степени "Чудо отрока Лина" [I, 288] (все написаны в 1906 году). Другие тематизируют резкий переход из повседневности в миф, как, напр., два рассказа родственных по названию и опубликованных в одном и том же 1906 году "Соединяющий души" [I, 202]

здесь 63] "Глупый мальчик не мог понять, что он сделал тем, которые тоже томились, [...] и т. д.

¹¹ Ср. Hansson <как в прим. 3>, с. 19 passim.

¹² Как это иногда случается в дополнительной литературе, ср., напр., парафразы рассказов Сологуба у Лейтнера.

и "Призывающий зверя" [I, 209]. Временная близость этих публикаций к русской революции 1905 года может исторически из ситуации объяснить своеобразное отношение к современности.

Художественное воздействие символизма пошло на убыль после 1910 года. Таким образом, рассматриваемые военные рассказы представляют не только лишь националистические заблуждения, но их отличимость является результатом литературного развития. Уже в 1914 году появляется длинный рассказ "Барышня Лиза" [II, 215], который по описанным выше критериям дуалистического изображения двух миров не является более символистским рассказом. Он может считаться, так сказать, связующим звеном, поскольку в нем признак использования заданного образца выявляется особым способом. Заглавие указывает на два других текста русской литературы, а именно, на повесть Карамзина "Бедная Лиза" (1792) и повесть Пушкина "Барышня-крестьянка" из "Повестей Белкина" (1831). Заданные образцы имеются также в сюжете. Речь идет о мезальянсе, возникающем отсюда конфликте и о решении его в виде (положительной) "пролетаризации" барышни Лизы. Поскольку здесь стилизация под другие тексты выступает на передний план, текст не привязан больше к конкретной ситуации. Он становится неопределенным. Демонстрируется лишь феномен чувства.

Межтекстуальный момент использования других образцов также играет в русском символизме роль, с тем, чтобы отграничиться от реалистической прозы.¹³ Историчные или мифичные рассказы подчеркнута близки этому моменту, как, напр., вышеназванные рассказы 1906 года, а также следующие: "Милый паж" (1906) [I, 250] или овеянный скандалами рассказ "Царица поцелуев" (1907) [I, 284], который снабжен экзотичным жанровым обозначением новелла, по своему стилю и тематике явно соотносится с "Декамероном". Здесь нет никакой отсылки к современности, будь то исходный пункт или мистическое толкование, но, как феномен, представлено чувство "в себе" - в "Царице поцелуев" это сексуальная страсть. В этой связи можно угадать связь с рассказом "Опечаленная невеста" (1908) [I, 334], тематизирующего "печаль в себе". Поздние рассказы, прежде всего сборник "Слепая бабочка" (1914)¹⁴, продолжают опять таки традицию в мотивах, но не тематизируя, напр., эротику как "чувство в себе".

Основные приемы Сологубовского повествовательного искусства могут таким образом "смешиваться", подобно тому как мелкие осколки калейдоскопа образуют большое количество соединений. Их художественное воздействие не может, само собой разумеется, осмысленно однозначно. Здесь следует исходить из того исторического восприятия, что опубликованные перед мировой войной рассказы воспринимались более положительно, чем поздние рассказы, в чем отражается общая судьба символизма.

Ульрих Штельтнер
Перевод В. Беленчикова

¹³ Ср. первоначальное предисловие Брюсова к своему сборнику "Земная ось" (1906), в котором он называет мнимые образцы к своим рассказам. Подобное относится к драмам Сологуба; ср. Steltner, U.: Sologubs symbolistische Dramen. В кн.: Harer, K. и др. (ред.), Festschrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag. München 1995, с. 541-546.

¹⁴ От рассказа "Отрава" [II, 233] до "Самый темный день" [II, 384].

Алфавитный указатель рассказов Сологуба¹

Алая лента. (1912)	II, 164
Алчущий и жаждущий. (1908)	I, 370
Баранчик. (1898)	I, 103
Барышня Лиза. (1914)	II, 215
Белая березка. (1909)	II, 1
Белая мама. (1898)	I, 80
Белая собака. (1908)	I, 317
Благополучный Иуда. (1910)	II, 69
В плену. (1905)	I, 172
В толпе. (1907)	I, 263
Венчанная. (1913)	II, 203
Вечерний свет. <см. <i>Свет вечерний</i> >	
Визит. (1916)	II, 279
Возвращение. (1916)	II, 307
Голодный блеск. (1907)	I, 288
Голос крови. (1918)	II, 370
Дама в узах. (1912)	II, 199
Два Готика. (1906)	I, 233
Дед и внук. (1916)	II, 289
День встреч. (1916)	II, 316
День шестьдесят седьмой. (1908)	I, 347
Дикий бог. (1906)	I, 218
Жало смерти. (1903)	I, 148
Жена умного человека. (1914)	II, 206
За рекою Меирур. <см. <i>Дикий бог</i> >	
Задор. (1897)	I, 56
Звериный быт. (1912)	II, 127
Земле земное. (1898)	I, 87
Земной рай. (1911)	II, 90
Золотая лестница. (1909)	II, 50
Елкич. (1906)	I, 214
Иван Иванович. <см. <i>Иван Иванович воскрес</i> >	
Иван Иванович воскрес. (1909)	II, 8
К звездам. (1896)	I, 44
Колебание стен. (1921)	II, 407
Конный стражник. (1907)	I, 301
Конный странник. <см. <i>Конный стражник</i> >	

¹ В скобках () указан год первой публикации; римскими цифрами обозначается том данной публикации, арабскими цифрами страница.

Красавица и оспа. (1916)	II, 303
Красногубая гостья. (1909)	II, 58
Красота. (1899)	I, 105
Крутильда и семь других. (1918)	II, 356
Лелечка. (1898)	I, 73
Лелька. (1896)	I, 70
Лоэнгрин. (1911)	II, 102
Маленький человек. (1905)	I, 180
Мечта на камнях. (1912)	II, 172
Милый паж. (1906)	I, 250
Мудрые девы. (1908)	I, 331
Мышеловка. (1918)	II, 361
Надежда воскресения. (1916)	II, 309
Наивные встречи. (1910)	II, 65
Незамерзающий мальчик. (1916)	II, 282
Неутомимость. (1916)	II, 311
Ниночкина ошибка. (1894)	I, 1
Ничего не вышло. (1896)	I, 40
Обруч. (1902)	I, 145
Обручальное. (1916)	II, 261
Обыск. (1908)	I, 351
Одно слово. (1910)	II, 76
Они были дети. (1908)	I, 385
Опечаленная невеста. (1908)	I, 334
Отрава. (1918)	II, 333
Отравленный сад. (1908)	I, 355
Очарование печали. (1908)	I, 321
Ошибка Гофлиферанта. (1916)	II, 325
Ошибки и поправки. (1908)	I, 312
Перина. (1907)	I, 309
Помнишь и не забудешь. (1911)	II, 93
Поцелуй нерожденного. (1911)	II, 113
Правда сердца. (1916)	II, 252
Прачка с длинною косою. (1918)	II, 377
Превращения. (1904)	I, 168
Претворившая воду в вино. (1908)	I, 367
Призывающий зверя. (1906)	I, 209
Прятки. <см. <i>Лелечка</i> >	
Путь в Дамаск. (1910)	II, 82
Путь в Эммаус. (1909)	II, 12
Рождественский мальчик. (1905)	I, 193
Самосожжение зла. (1921)	II, 414
Самый сильный. (1918)	II, 350
Самый темный день. (1918)	II, 384
Свет вечерний. (1916)	II, 299
Свет и тени. <см. <i>Тени</i> >	
Сдавшиеся. (1912)	II, 201
Сергей Тургенев и Шарик. (1912)	II, 186

Сердце сердцу. (1916)	II, 269
Сказка гробовщицовой дочери. (1918)	II, 365
Смерть по объявлению. (1907)	I, 293
Смутный день. (1912)	II, 178
Снегурочка. (1908)	I, 373
Сними траур. (1916)	II, 274
Соединяющий души. (1906)	I, 202
Солнышко. (1918)	II, 381
Сон утешающий. (1909)	II, 4
Сочтенные дни. (1921)	II, 390
Старый дом. (1909)	II, 15
Страна, где воцарился зверь. (1906)	I, 257
Танин Ричард. (1916)	II, 263
Тела и душа. (1906)	I, 244
Тело и душа. <см. Тела и душа>	
Тени. (1894)	I, 11
Тихий зной. (1916)	II, 293
Томление к иным бытиям. (1908)	I, 313
Три лампы. (1916)	II, 266
Турандина. (1912)	II, 119
Улыбка. (1897)	I, 63
Утешение. (1899)	I, 111
Холодный сочельник. (1908)	I, 379
Царица поцелуев. (1907)	I, 284
Червяк. (1896)	I, 26
Чудо отрока Лина. (1906)	I, 228
Шаня и Женя. (1897) <см. Они были дети>	

...

